



МОСКВА

Юня РОДМАН

БОСТОН

Издано по инициативе автора
в серии «Страны»

Be
AVIA
PAR AVION

МОСКВА

Юня РОДМАН

БОСТОН

АЗУС

Москва
2002

Родман Ю.

Р 21 Москва—Бостон. — М.: «КРУК-Престиж»,
2002. — 584 с.

В книге рассказывается об одном десятилетии — конец 80-х—90-е годы — и обо всей прожитой жизни. Москва. Предотъездный калейдоскоп (люди, улицы, магазины, выставки, театры) и потрясения: смерть А.Д. Сахарова, государственный переворот. Бостон. Попытки начать жизнь сначала на пороге 70-летия. «Открытие» Америки, калейдоскоп американской жизни, русско-американские внуки. Открытие мира — поездки в Италию, Испанию, Грецию, Израиль, Австралию, другие страны — и путешествия в прошлое. Дневники, письма из Москвы уехавшим детям о событиях в Москве, письма друзьям в Москву о жизни в США, рассказы о поездках.

ISBN 5-901838-10-6

- © Ю. Родман, 2002
- © ООО Студия «КРУК-Престиж»,
оригинал-макет, оформление, 2002

Моему мужу,
моим детям
и внукам

БОСТОН, 1999

Почему не отпускают воспоминания? Почему сегодня, сейчас в декабре 1999 года в Бостоне — в Брайтоне на улице Эмбасси — папка с московскими письмами и дневниками восьмилетней давности сжимает горло? Почему на листы плохой бумаги с нечеткими строчками каплют слезы, а на душе становится легче?

В квартире на улице Эмбасси мало места для книг. В шкафу напротив двери пять глубоких полок без стекла. На них в два-три ряда стоят книги по литературоведению — немного, что уцелело от разоренной московской библиотеки. «Портрет Бориса Пастернака» Зои Масленниковой с трудом умещается на второй полке. Я люблю эту небольшую книжку с портретом Бориса Леонидовича на обложке. Работая над бюстом Пастернака, Зоя Масленникова записывала, о чем с ним говорила. Однажды разговор зашел о Прусте. Она спросила Бориса Леонидовича, в чем секрет найденного, возвращенного времени. Пастернак ответил: «У Пруста есть такая мысль. Иногда какая-нибудь мелочь вызывает в памяти пережитое. И мы испытываем блаженство не потому, что вспомнили, что-то дорогое, вспоминать мы можем и произвольно, а оттого, что ощущаем одновременно две точки во времени — прошлую и настоящую... Такое ощущение двух точек сразу вырывает нас из неволи времени и приобщает к тому, что условно можно было бы назвать вечностью»*.

Когда жизнь подходит к концу, неволя времени ощущается особенно остро. Остается одно: попытаться связать разорванные нити — соединить прошлое с настоящим, хотя бы на бумаге. Светится экран компьютера, бегут строчки, каплют слезы на старые дневники и письма. На душе становится легче.

* Зоя Масленникова. Портрет Бориса Пастернака. Москва, «Советская Россия», 1990, стр. 185.

Москва, улица Вавилова. Мы с Акивой уезжаем. Наши взрослые дочери, Маша и Юлия, уже уехали. Теперь уезжаем мы. Насовсем. На ПМЖ, как это официально называется. На человеческом языке — на постоянное место жительства.

Утро. Кухонный стол. Среди небранной посуды лежат пачки прямоугольных листов бумаги с бахромой надрезанных нижних краев. На бахrome номер нашего телефона. Первая строчка на листках: «Недорого за СКВ продаю»... Продолжение меняется: книжные полки, секретер, обеденный стол. За СКВ, то есть за американские доллары, в крайнем случае за немецкие марки — свободно конвертируемую валюту.

Утро. В полиэтиленовом мешочке баночка с самодельным клеем, кисточка. В сумочке 10—15 объявлений. Оббегаю улицу Дмитрия Ульянова. Останавливаюсь перед дверями «Кукурузы», «Аспирантского», булочной на другой стороне. Выхожу на Ленинский проспект: булочная, комиссионный, столбы около универсама «Москва», двери соседнего гастронома. Ветрено, сыплет мелкий снег, под ногами коричневая жижа. Клей на донышке, объявления кончились.

Медленно иду домой. Женщины с хозяйственными сумками окликают друг друга: «В «Аспирантском» были?» — «Пусто». — «Молоко нигде не видели?» — «Да что вы, какое молоко?» — «На горку в большой магазин заходили?» — «Битком набито. Не знаю, что там». — «Капуста в «Кукурузе» есть, не видели?» — «В «Кукурузе» еще не была». Москва перед отъездом.

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ

Ленинский проспект

Мужчина тяжело опирается на палку, женщина еле тащит тяжелую сумку.

— Не слышала, Америка присоединила Кувейт, нет?

— Ничего я не слышала.

— Чего ж ты? Ирак ух, как бомбили.

— А где он, этот Ирак?

— Далеко. Ракеты все иракские разбомбили и президентню Хуссейна ихнего.

— Наши, верно, тоже помогли?

— Нет, наши нет. Америке главное Кувейт присоединить. Им вся НАТО помогает. Англия, Франция и Бельгия.

— Тогда присоединят. Ты куда сейчас? Я в универсам, в «Москву». Может, что выкинули.

— Нет, я домой. Пока.

— Пока.

Двор на улице Вавилова

— Не скажете, как в военкомат пройти? Мне-то не в военкомат, старый уже, мне в административный корпус Академии. Военкомат все знают, а корпус этот, говорят, рядом.

— Пойдемте, покажу.

— Сын у меня болеет. В академическую больницу надо устроить. Жене больной муж не нужен, сами понимаете. А у него страхи и днем и по ночам. Работать не может. Жизнь, сами знаете, у нас теперь какая. Того нет, этого нет. Еще литовцы эти на нашу шею. Литовцы, правда, всю жизнь нас не любили.

— А за что им нас любить?

— Как за что? Что они плохого от нас видели?

— Их ведь насильно присоединили...

— Что значит насильно? Их к нам в Союз приняли!

— Приняли? Вам прямо и направо, вон в тот дом.

Новый Арбат

Двое подростков. Куртки, брюки — последний крик моды.

— Хорошо бы война, как в восемнадцатом году.
— Зачем?
— Дурак! Западные страны оккупируют всю страну. Знаешь, какая жизнь будет!

Ул. Губкина. Ателье по ремонту одежды

Старая женщина. Царь! Да что вы знаете про царя? Бабка ваша, небось, с протянутой рукой по Москве ходила, а вы в меховой шапке шеголяете!

Молодая женщина. Моя бабка была княгиня. Если бы не революция, я бы тоже была княгиня.

Старая женщина. Вы — княгиня?! Какая у вас фамилия? Какая? Молодая женщина. Завьялова. Мы — Завьяловы. У моей бабки до революции несколько домов было. А мы с мамой всю жизнь в коммуналках мыкаемся.

Старая женщина. Да полно вам ерунду говорить. Привыкли все на революцию валить, на Горбачева...

Молодой мастер. На Горбачева и надо валить. Мало что ли он натворил?

Старая женщина. Да как вы смеете? Его весь мир уважает.

Молодой мастер. А я не уважаю. Я Ельцина уважаю. А Горбачев трепло.

Старый мужчина. Все дело в коммунистах. Коммунистическая партия за 70 лет страну до ручки довела. Все коммунисты преступники. Их всех расстрелять надо.

Молодежная улица. Прачечная

На стене объявление: «Белье в стирку принимается только с крахмалом. Цена 37 копеек за килограмм».

— Сдаете? Все сдают, не дураки. С первого стирка в десять раз подорожает.

— Скажите, пожалуйста, можно заплатить по 37 копеек, а стирают пусть без крахмала?

— Ну да, будут они отдельно с вашим бельем возиться.

— Крахмальными полотенцами не могу вытираться.

— Не можете, сами стирайте.

Университетский проспект

Магазин без вывески. В дверях мужчина в мятом драповом пальто. Лицо тоже мятое. Женщина с сумкой: «Есть что-нибудь?» Мужчина: «Тут только для прикрепленных. ВОВам* рис дают по килограмму. Лицо разгладилось. Доволен.

Станция метро «Аэропорт»

Магазин рядом. Зайти? Не заходить? Надо все-таки зайти. Яйца! И очереди нет, в кассу человек пять, не больше.

— Два десятка. В визитке отмечено.

Выбила, визитку** кассирша даже смотреть не стала.

Ох, а во что взять? Бумажные пакетики очень маленькие, в сумке не довезти. Интересно, почему яйца по три рубля? Вчера были по 1 р. 30 к. десяток, сегодня по три рубля. Договорная цена, наверное, поэтому и очереди нет. Куры лично с Горбачевым договорились: дешевле, чем за трешку нести не будем.

В пакетиках, конечно, не довезти. Соображать надо. Выбить скорее еще десяток. Три десятка оставляют в картонной лотке. В гнездах, правда, иногда битые попадают, все равно лучше, чем в бумажных пакетах.

Выбила. Кассирша совсем засыпает.

— Оставьте, пожалуйста, в лотке. В пакетах не довезти.

— Еще чего! Мы лотки сдаем.

— Пожалуйста, очень вас прошу.

— Шура, тут вот одна просит три десятка в лотке оставить.

— Оставь, жалко что ли.

— Будьте добры, дайте второй лоток сверху прикрыть.

— Ну что за народ! Что за наглецы! Один дашь, тут же второй норовят ухватить. Ничего я вам больше не дам.

* ВОВ — Ветеран Отечественной войны.

** Визитные карточки покупателя с фамилией, именем и отчеством, фотографией и печатью выдавали в жилищно-эксплуатационных конторах (ЖЭКах), как стали называться бывшие домоуправления. Получая свою визитку, я сказала, что в нашей семье в магазин хожу только я. Доброжелательная пожилая делопроизводитель написала на обороте моей карточки: «Муж не ходячий» и поставила печать. Вместе с другими нужными и ненужными бумагами визитная карточка оказалась в Бостоне.

За соседним прилавком майонез в стеклянных банках. Банка на банку. Сколько выбросила этих банок. Нигде не принимали. Зато теперь хорошо: ходи по городу с майонезными банками, вдруг пове- зет. Банка с собой, купишь. С водкой то же самое. Есть бутылка, продадут. Нет, значит нет. Черт с ним, с майонезом. Яйца бы дове- зти. Что в сумке? Рассую по карманам. Рассовала. Лоток боком вста- вить в сумку. Встала.

В метро не очень много народу. До часа пик далеко. Села почти сразу. Вовремя. Руки совсем затекли. Переход на «Новокузнецкой» нетрудный. В поезде снова удача. Сижу, сумка на коленях. Выхожу на «Ленинском проспекте». Очередь на маршрутное такси машины на две. Рядом продают соленые огурцы. Бочка стоит на снегу. Дядь- ка опускает дуршлаг в ледяной рассол, одревеневшими руками ук- ладывает скользкие огурцы на весы. Берут бойко. Огурцы очень бы пригодились, но...

Первая машина уходит без меня. Вторая подходит довольно быс- тро. Осторожно сажусь. Пока едем, руки отдыхают. Выхожу. Ветер задувает в рукава, пробирает до костей. Идти, слава Богу, недалеко. Только бы не упасть перед самым домом. Снег растоптанный, сколь- зкий. Заветные семь ступенек к лифту. Последнее усилие. Удержать лоток в одной руке, другой дотянуться до звонка.

Победа. Дома. В холодильнике три десятка яиц.

ДНЕВНИК 8 октября. Серый осенний день. Утром звонок. Москва, 1991 Лара*: «Оксанка видела гречку на пр. Калинина. Килограмм — 132 руб. Месячная пенсия без над- бавки».

Звонок: «Здравствуйте! Это Ольга Константиновна вас беспоко- ит, ответственная за талоны. Не хотите талон на серебро?» — «Как на серебро?» — «Ну, чтобы купить серебро, деньги вложить». — «Спасибо, не хочу». — «Я так и думала. Тут на золото еще были талоны. Я даже не стала вам звонить. Всего вам доброго, до свидан- ния». — «Большое спасибо, до свидания».

* Лара — моя младшая сестра.

Тяжелый серый день. Вчера проснулась в половине восьмого, в восемь заняла очередь в булочную. Пока стояла, прочла в «Огонь- ке» интересную статью Марка Поповского: социологический ана- лиз состава эмигрантов из России, живущих в США. Как надо пи- сать: «Из России?» «Из СССР?» Кроме Поповского, ничего. Коро- тич ушел, и «Огонек» потух. В булочной простояла больше часа. Хлеба купила дней на десять. По науке это называется ажиотажный спрос.

На углу Ленинского и Дмитрия Ульянова остановил мужчина: «Простите, не знаете, где здесь магазин «Школьник»? Спросил ос- торожно, с опаской. «Школьник» в нашем доме, предложила про- водить. Смуглое лицо, старое пальто, чистая рубашка, галстук. Го- ворит с акцентом: «Плохо у вас в Москве. Ой, как плохо. Грязно очень и люди злые. У нас в Уфе люди не такие и помойки убирают. Побывал я в Москве, понял: вся порча отсюда, из Москвы. Здесь все спорят, спорят. Работать некогда».

У Ф А

Не могу вспомнить, когда это было. Наверное, году в 35-м.

Вечер. Папа за столом. Над столом, по-моему, уже висел шелко- вый оранжевый абажур с бахромой. В Москве тогда чуть не в каж- дом... Хотела написать «доме». Нет. «В каждом доме» стали гово- рить в шестидесятые годы, когда заботами Хрущева появились от- дельные квартиры. В тридцатые говорили: «В каждой комнате».

Папа сидит за столом, вертит в руках письмо. Мама убирает посуду.

— Шмуэл, этого нельзя так оставить, девочка погибнет.

— Что ты можешь сделать?

— Как, что? Пойду к министру, в партком.

— А, партком...

— Шмуэл, напиши сейчас же, пусть приезжают, слышишь?

Они приехали. Лиза, жена папиного брата Ефима, и Мира, их дочка. Наш огромный шкаф отодвинули от стены, за ним постави- ли кровать. На кровати спали Лиза и Мира. Высокая грузная Лиза возилась на кухне или молча сидела за столом, глядя в одну точку. У нас за столом ели, разговаривали, читали. Лиза мало ела, редко раз-

говаривала, никогда не читала. Я ее побаивалась. Мама сказала, что Лиза приехала к нам с надеждой спасти дочку.

«У Миры опухоль на позвоночнике», — шепотом объяснила мне мама. Мира носила странное широкое платье. У нее было милое еврейское личико, голова в мелких кудряшках, большой рот, всегда растянутый в улыбке. Ей все было интересно на новом месте: книги у нас в комнате, соседи в нашей огромной коммунальной кухне, Столешников переулочек, Красная площадь.

Мама приходила домой усталая, расстроенная. Папа отмалчивался, Лиза вытирала глаза, Мира радовалась жизни. Однажды вечером раздался звонок. Папа пошел открывать и вернулся с незнакомым мужчиной. Мужчина был большого роста, с большими руками, ногами. Он говорил непривычно громко, но почитательно, даже со мной. Папа сказал, что это его брат, он живет в Уфе, работает в сапожной артели. Перехватив мой вопросительный взгляд, папа добавил, что в артели делают сапоги и ботинки. Ефим приехал, чтобы забрать Лизу и Миру домой, но мама сопротивлялась так упорно, что Ефим вернулся в Уфу один.

Через несколько дней Миру куда-то увезли. В доме наступила тревожная тишина. Папа поздно приходил с работы. Лиза плакала с утра до ночи. Взрослые говорили только по-еврейски. В потоке непонятной речи я различала одно слово — Бурденко. Однажды вечером я, наконец, поняла, что мама одержала победу: Миру оперировал самый лучший врач — Бурденко*. Опухоль, грозившая ей параличом, оказалась безобидным жировиком. Побледневшая, похудевшая Мира вернулась в Столешников. Перед отъездом в Уфу она сказала, что непременно станет врачом. И стала. Но судьба ее... Нет, сначала про Илью.

Илью, старшего брата Миры, война застигла на румынской границе. В первые же дни он попал в плен. В его части было много грузин, они помогли ему выдать себя за грузина. В плену Илья заболел туберкулезом. К концу войны он был в безнадежном состоянии и после освобождения его не сослали в лагерь, как других пленных,

* Бурденко Николай Нилович (1876—1946) — хирург, один из основоположников нейрохирургии.

а отпустили умирать домой. Мать, отец и башкирский кумыс спасли ему жизнь. Илья кончил в Уфе Институт иностранных языков, преподавал в школе английский язык, женился, у него родился сын.

Мира после войны поступила в один из московских мединститут. Жила в общежитии, бывала у нас, мы дружили. После окончания института ее распределили в деревенскую больницу в Хабаровском крае. Она успешно работала, медицина, действительно, была ее призванием. Миру заметили: предложили место врача в Хабаровске. Утром накануне отъезда она пошла на речку — мелкую речушку, где всегда купалась. Дети нашли ее труп в воде. Что произошло, осталось неизвестным.

Лиза не пережила гибели дочери, проболела год и умерла. Вслед за ней умер Ефим, с его смертью Уфа ушла из нашей жизни. И вот ноябрь 1991 года, угол Ленинского проспекта и улицы Дм. Ульянова: «Простите, вы не знаете, где здесь магазин «Школьник»?

ДНЕВНИК 15 декабря. Где-то прочла: «Воспоминания разбегаются, как козы тропы в горах». Книга не двигается, потому что воспоминания разбегаются, как козы тропы в горах. Случайная тропка — старая запись в московском дневнике — привела в Уфу. Я сбилась. Но вот неожиданная помощь.

В номере «Нью-Йорк таймс» от 13 декабря в разделе «Искусство» опубликована статья о международном конкурсе эссеистов, объявленном два года назад в Веймаре. Ошеломляет все. Тема: «Освобождение прошлого от будущего? Освобождение будущего от прошлого?» Размах: к выбору темы было привлечено 113 ученых из разных стран. В каждой из семи языковых групп (немецкая, английская, французская, испанская, русская, китайская и арабская) была создана своя конкурсная комиссия. Обслуживало конкурс много десятков переводчиков. Окончательное решение выносила общая комиссия.

Из 2481 поданных работ к конкурсу было допущено 2203. Больше всего работ поступило из Германии — 630. На втором месте Россия — 232. Затем идут США (228), Франция (115), Япония (91), Швейцария (60), Испания (55) и Аргентина (54).

Хотя Германия славится философами, среди десяти награжденных финалистов нет ни одного немца. В финал конкурса прошли 4 американца, 2 человека из России, 2 из Китая, 1 из Югославии и 1 из Франции.

И, наконец, самое поразительное — имя победителя. Им стала единственная женщина и самая молодая участница конкурса: двадцатилетняя Ивета Герасимчук из города Самары. Школьницей она успешно участвовала в нескольких конкурсах, что дало ей возможность поступить в Московский государственный университет международных отношений. Сейчас она студентка, изучает Южную Африку и международную политику в области защиты окружающей среды.

В своем эссе Герасимчук делит людей на две группы: на анемофилов — дословно ветролюбков — и на хронистов. Анемофилы считают, что поток времени неиссякаем, как ветер, что время бесконечно, беспредельно. Поэтому их не тревожат изменения прошлого и настоящего, связь прошлого и настоящего с будущим. Для хронистов время — ценнейший дар Бога, его бездумная трата — великий грех. Неуверенные в будущем, хронисты стараются сохранить прошлое, оградить прошлое от изменений, грозящих ему в настоящем и будущем.

В каждом человеке живет частичка тех и других. Анемофилы и хронисты ведут бесконечные споры, но в их спорах нет победителей и побежденных. Те и другие ищут ответы на одни и те же вопросы, возникшие еще в глубокой древности. Иногда им это удается, однако новые сомнения заставляют их снова пускаться на поиски.

Так что же, можно оторвать прошлое от настоящего? Будущее от прошлого? Я не могу. Хронист во мне сильнее анемофила. Я не могу примириться с потерей прошлого. Мне жалко каждой его частички. Мне кажется, что все они прорастают в будущее. И ростки эти бесценны. Наверное, поэтому так медленно движется книга.

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ

Продолжение

Сумка на колесах

Сумку купила Дина. Лет десять назад? Да, наверное. Стоила она тогда очень дорого — 20 рублей. И вызывала ненависть: «Ишь, катит, барыня!» — «Лошадь бы запрягла, надорвешься!» — «Куда с сумкой в трамвай! Совсем очумела!» Но развитие цивилизации коснулось и сумок на колесах: «Простите, где вы сумку покупали? Сил нет в руках таскать».

Смотрю со страхом на свою кормилицу — сломается, пропаду. Длинная ручка буквой «П», зеленый клеенчатый мешок на металлической решетке с колесиками дышат на ладан. Горловину зеленого мешка когда-то украшала молния. Она давно сломалась, зубастую пасть моего дорожного крокодила я теперь зашпиливаю английской булавкой, нагруженную сумку стягиваю веревкой.

Веревка нужна сейчас редко. В магазины выхожу после трех. Молока все равно не достать, и телефон больше не помогает: если даже скажут, что молоко есть, пока дойду, пусто. После трех народу меньше, и все обеденные перерывы позади. С перерывами беда: где с часу до двух, где с двух до трех, не угадаешь.

В «Кукурузе» человек пять. На прилавке мандарины.

— Ничего не дорого! У нас самые дешевые на Ленинском. Подумаешь деньги — 16 рублей!

Молодая женщина ощупывает пять мандаринок на весах.

— Мне ребенку, будьте добры, пожелтее.

— Всем пожелтее. Зеленые самой что ли есть?

— Доченька, мне две штучки покрупнее, в больницу.

— Всем в больницу, у меня свиней нет мелкими кормить.

Прячу глаза, покупаю два кило. За спиной враждебное молчание. Беру, не глядя, свеклу, морковь, капусту. Выхожу на улицу. На углу Ленинского и Дмитрия Ульянова останавливаюсь. Сначала налево в «Рыбу» или направо в булочную? Пожалуй, в булочную. В маленький продамаг рядом с булочной тоже надо заглянуть.

Продамаг набит битком.

— Что дают?

— Сливочное масло. По одной пачке.

Неужели правда? За сливочным маслом теперь иногда стоят сутки. Ради лишних двухсот грамм приводят в очередь детей. Списки, номера, драки. И вдруг — никакой толчеи, очередь только в кассу. Стоят одни женщины. Какой-то мужчина энергично проталкивается к прилавку.

— Бабуль, а ну в сторонку!

— Да я и так в сторонке, — всхлипывает бабуля.

Несколько женщин оборачиваются.

— Не из-за него я, не из-за него. Подумаешь толкнул. Хамов что ли не видела.

Слезы катятся по ложбинкам морщин. На голове вытертая меховая шапка, поверх шапки шерстяной платок.

— Позавчера звонок в дверь. Кто, спрашиваю. Из-за двери: «Я, почтальон». Открываю. Наша почтальонша, знакомая. Ручку дает: «Распишись». Расписалась. Она мне два рубля сунула и за дверь. У нас теперь все про милосердие говорят. Слышала я, будто старикам к Новому году подарки давать будут. Решила, вот и мне подвалило. А вчера пришла на почту, пенсию я в этот день получаю. Отстояла к окошку, а женщина в окошке кричит: «Чего притащилась? Раз получила, второй захотела? Ведомость видишь? Вот твоя подпись». Тут я все и поняла. Христом Богом просила, два рубля эти показывала. У меня больше ни копейки не было. Хоть с обыском идите, хоть как. Поплакала и ушла. Проживу как-нибудь. Сын вечером приезжал, 30 рублей дал. Пачку масла, Бог даст, куплю. На хлеб, на молоко хватит. Сахар я на декабрь выкупила, макарон пачка есть. Проживу. Обидно только.

Кто-то советовал подать в суд. Кто-то написать в газету.

Мы уже подошли к кассе. Очередь вытянулась в струнку. Бабуля трясущимися руками достала кошелек.

Булочная. Сквозь витрину видны протянутые руки. Торопливо втаскиваю сумку. Яичный порошок! Фасованный! Пакетики нарахват. Кошелек, деньги — успела. Яичный порошок в сумке.

Яичный порошок на дне банки. Вон ту бы банку еще достать, там больше порошка. Ой, порезала палец о крышку. Красная капелька крови на желтом порошке. Москва. Наш двор в Столешниковом. 1944 год.

«Банки американские! Банки!» — прокатывается из конца в конец длинного коридора. Хлопают двери комнат. Все, кто дома, бегут во двор. У заднего крыльца знаменитой столешниковской кондитерской гора металлических банок из-под американского яичного порошка. Круглые, прямоугольные, большие, поменьше — хватай любую. Повезет, можно наскрести на омлет. Но главное — банки! Чего только не делали из этих легких нержавеющей жестинок. Через несколько лет после войны в нашей огромной коммунальной квартире все еще стояли «яичные» ведра, «яичные» коробки.

— Что встала на самой дороге! Еще с колесами!

Оттаскиваю сумку в сторону. Хлеб свежий, есть и черный, и белый. Удача за удачей.

Теперь в «Рыбу». Перед «Рыбой» еще «Олень». Длинный хвост за консервированными помидорами. Бог с ними. Что там еще? Хрен? Хрен надо бы купить. Стоять в такой очереди? Не хочется. Зайду на обратном пути. Помидоры, может быть, кончатся, очередь тогда схлынет.

В «Рыбе», кажется, пусто. Нет, ошиблась — селедочное масло! Как бы хорошо на день рождения. В кассе всего несколько человек. Чудеса.

— Двадцать два рубля, пожалуйста.

— За селедочное масло не выбиваю. Надо раньше завесить.

Бегу к прилавку.

— Не стойте! Масло кончилось!

Надо же так промахнуться! Бросилась почему-то сначала в кассу. Что теперь делать? Придется брать иваси, да еще копченую, в грязных мятых коробках. Возвращаюсь к кассе.

— Не досталось вам селедочного масла? Может, возьмете у меня креветочное? Купила Зине из «Синтетики», а она все не идет и не идет.

— Конечно, возьму! Большое спасибо! Сколько платить?

Редкое везение. Креветочное масло — деликатес. В понедельник Машин* день рождения. Селедкой запаслась, есть даже кусок

* Маша — моя старшая дочь.

красной рыбы, успела купить до повышения цен, есть баночка маслин. Отварю картошку, подам с креветочным маслом — пир!

В «Олень» все-таки надо заглянуть. Такая же бесконечная очередь. У самого прилавка пожилой мужчина. Рискну.

— Простите, пожалуйста. Не разрешите взять баночку хрена? Без сдачи.

Хмурое:

— Берите.

Теперь домой. Больше не могу.

Показалось? Нет. Вот опять. По улице Дмитрия Ульянова несут яйца. Магазин близко, только бы успеть. Дышать, как на зло, трудно. Нитроглицерин доставать некогда. Еще немного. Несколько шагов. Короткий вдох, длинный, длинный выдох. Помогает. Перед входом в магазин две ступеньки. Дотяну? Только бы войти внутрь, внутри сразу отпустит.

Дотянула. Отдышалась как раз, когда подошла очередь в кассу. Ой, дают три десятка, на три десятка не хватает рубля. Что делать? Мелочь? Вытряхиваю из кошелька все до копейки. Все равно не хватает. Вдруг осенило:

— Выбейте, пожалуйста, на одно яйцо меньше.

В одной руке железная сетка с яйцами, другой волочу сумку. Сердце успокоилось. Дом рядом. Что ни говорите, в магазины лучше ходить после трех.

Швейная машина

Звонок в дверь раздался в назначенное время — около восьми вечера. Вошел высокий рыжебородый мужчина. Швейная машина стояла на столе.

— Попробуйте.

— Лучше вы, я не умею.

Взглянул на шов, молча расстелил на полу большой кусок целлофана, ловко обернул машину, обвязал ремнями. Положил на стол деньги, вежливо попрощался и ушел.

Несколько минут сидела в прихожей. В первый раз отчетливая мысль: конец. Дому конец. Оставаться в квартире не хотелось. Со звонила и поехала за письмами. Пришли с очередной оказией.

Шла по темной улице и видела Столешников. Лето? Ранняя осень? Окно настежь. С улицы еще доносится магазинный шум. Значит, не поздно. Лара сидит на подоконнике с ногами. Щеки горят, глаза блестят, громко хохочет: «А я добегу! Вот посмотришь, добегу! Где сворачивать, посмотрела. Добегу!»

И добежала.

Папа умер в октябре 1948 года. На его сберкнижке осталось 1200 рублей. Мама не могла получить деньги, потому что они с папой не были расписаны. Получили деньги мы с Ларой как прямые наследницы. Через шесть месяцев, требуемых законом (друг объявятся другие наследники), в сберкассе на Пушкинской улице хмурая тетенька выдала мне с сестрой по шестьсот рублей.

Деньги эти казались нам огромными. Мама зарабатывала гроши, я ненамного больше, Лара училась на биофаке и получала стипендию. Мы не голодали и бодро носили папин плащ по очереди. 1200 рублей решили потратить только на что-то значительное и действительно необходимое. Швейная машина была нашим первым приобретением.

После войны швейные машины продавали в ГУМе по несколько штук в день. ГУМ открывался, кажется, в восемь утра. До этого времени все подходы к магазину перекрывала милиция. Делалось это для соблюдения порядка. Почему порядок блюли таким странным способом, понять было трудно, но если этот нежелательный вопрос возникал, кто-нибудь многозначительно говорил: «ГУМ... Красная площадь»...

Задача покупателя заключалась в том, чтобы правильно выбрать ближайшую к заветной двери цепь милиционеров, оказаться в первых рядах жаждущих и, когда милиционеры расступятся, добежать до прилавка в первой пятерке.

Лара прибежала второй. С первого раза.

— Знаешь, кто был передо мной? Вот такой детина. Физкультурник! Мастер спорта! Третий раз бежал, дурак. Обогнал меня в магазине. Я не туда свернула в последнюю секунду.

Как Лара была счастлива. Как горда. Как сияли Ларины глаза. Больше сорока лет служила нам швейная машина верой и правдой. Я подрубала на ней пеленки, укорачивала, удлиняла юбки, выпускала, сужала, латала... И продала. Отдала в чужие руки.

В тот вечер не плакала. Сейчас закапала пишущую машинку. Капают из глаз. Капают дождь за окном.

Газеты

«Во времена Маркса мы, смеясь, расставались со своим прошлым. Во времена Ленина мы, смеясь, расставались со своим настоящим. Теперь мы, смеясь, расстаемся со своим будущим. А какое у нас было будущее! Это было самое ценное, что нам удалось добыть в смертельной схватке с прошлым и настоящим».

Феликс Кривин. Рассказы об андорцах. «Литературная газета», 4 марта 1991 г.

«Не социальная защита, а социальное издевательство». «Россия устала от слов». «Наши цели ясны, но пока не ясно, как их достигнуть». «Разногласия на пути к согласию».

«Литературная газета», 4 марта 1991 г.

«Госбанк уполномочен заявить: дефицит государственного бюджета СССР уже превысил запланированный на конец 1991 года уровень, составив по итогам первого квартала текущего года 31,1 млрд. рублей».

«Известия», 4 марта 1991 г.

«Не вернулся домой из поездки в США со своими сверстниками девятиклассник одной из школ г. Находки В. Гуцало. По словам родителей, одоббивших поступок сына, он рассчитывает найти там хорошую работу. Юношу приютила одна из местных еврейских общин».

«Вечерняя Москва», 9 октября 1991 г.

«Память» против «Еврейской газеты». Прокуратура Черемушкинского района отказала Д. Васильеву в возбуждении уголовного дела против Т. Голенпольского, главного редактора «Еврейской газеты». Один из лидеров «Памяти» поставил ему в вину, что издание разжигает национальную рознь и что «ЕГ» некорректно назвала газету «Память» «антисемитской».

«Вечерняя Москва», 16 октября 1991 г.

«Являясь молокосдатчиком (короводержателем частником), я сдаю излишки молока в совхоз по 31 коп. за 1 кг. А пустые бутылки в магазине принимают по 50 коп. Кто это придумал? Неужели закупать сухое молоко на Западе выгоднее, чем стимулировать своих крестьян? Платите по 2 доллара за центнер молока, и мы затопим страну».

В. Воскобойник. Луганская обл. «Аргументы и факты», 13 (546) март 1991 г.

«Проведу анонимный курс оплодотворения любой пермячке, желающей иметь полноценное потомство. 27/184/73, здоров, симпатичен, образование высшее (медицинское). 614000, Пермь, Главычтамт, до востребования, предъявителю паспорта IX-ВГ № 719309.

«Аргументы и факты», 37(570) сентябрь 1991 г. «Биржа АиФ».

ПИСЬМА ДОЧЕРЯМ

Личные письма писала от руки каждой отдельно. Общую часть — дневник, который вела для девочек после их отъезда, — печатала на пишущей машинке в двух экземплярах под копирку. Одно письмо посылала в Нью-Йорк Маше (старшей), другое — в Бостон Юле (младшей). Многие письма у Юли и Маши сохранились..

1990 год

6/1-90.

Девочки мои дорогие, здравствуйте!

Очень устала за последние дни. Сегодня непременно рано лягу в постель и корректуру читать не буду. Во время нашего с папой позднего сегодняшнего обеда раздался телефонный звонок. «Незнакомый мужской голос, кто-то просит Юлию Самуиловну», — с недоумением сказал папа. Не знаю, как об этом рассказать. Позвонил Герман Левитас. Простите, Герман Григорьевич Левитас. Каких-нибудь сорок лет назад я учила его в школе (в 8 классе) французскому языку. Ой, какой прелестный был мальчик. Ох, сколько крови он у меня выпил. Последний раз видела его лет 15 назад. Герман пригла-

сил меня на защиту диссертации. И вот позвонил сегодня. Школа тогда была мужская, и оказывается, эти мальчишки до сих пор каждый год собираются и поручили Герману пригласить меня на очередную встречу, которая состоится... 7 декабря, т. е. почти через год. «Но почему так заблаго-временно?» — растерянno спросила я. «Чтобы вы освоились с этой мыслью», — услышала я такой знакомый теплый голос и «увидела» знакомую чуть насмешливую улыбку. Много было сказано хороших слов, что помнят, ценят и т. д. и т. п. А кончил Герман по-французски: «*Nous vous aimons*, Юня Самуиловна, *Nous vous aimons*»*. И ваша старая мать так разволновалась, что просто стыд. Все. Отдыхать. Нет, еще два слова. Мы посылаем вам две великолепные книги, книги-события: «Жизнь и судьба» Гроссмана и «Скрещение судеб» Белкиной (о Цветаевой). Если в вашей до краев заполненной жизни будет просвет, прочтите, не пожалеете.

Целую.

Мама.

14/IV-90.

Сегодня за обедом включила ТВ и обомлела. Международная панорама. Куба, Остров свободы. Лозунги: «Социализм или смерть!» Группа старушек занимается физкультурой. Вдруг все бабушки начинают подпрыгивать и кричать: «Кто не прыгает, тот янки!» Один митинг, другой — прыгают и кричат. СССР сократил поставки нефти. Ничего, сдюжим. Репортаж: завод работает вручную без электрического света. Металл выплавляют в ямах, топят щепками. Все на полном серьезе. Под непрерывный вопль: «Социализм или смерть!» «Кто не прыгает...» Следующий репортаж — Финляндия. Полезных ископаемых в стране нет, даже сахарного тростника нет. Но никто не прыгает. Соображают вместо этого. Научное производство, огромные вклады в развитие науки, молниеносное воплощение новых производственных идей, возрождение старой инфраструктуры — деревни возрождаются, если по-простому, — небывалый рост уровня жизни. Очень приятно мы пообедали, глядя на все это. Главное событие за последнее время произошло в среде. Папа прошел диспансеризацию (без этого не давали справки, необходимой,

* *Nous vous aimons* (франц.) — мы вас любим.

чтобы подать документы на поездку в США) и ЭКГ — какому Богу молиться? — стала лучше. А еще мы дозвонились в гор. Старицу под Калининским и заказали гостиницу на майские праздники. А еще вчера у меня был идиотский день. Утром побежала за молоком. Впустую. Потом ждала звонка автомобильного учителя. Впустую. Потом снова бегала за молоком. Чудом купила один пакет. Потом ездила отмечаться в очередь за авиабилетами. Вечером немного занималась английским. Но пока ждала звонка автоучителя, читала журнал «Наше наследие». Очень мне были интересны воспоминания Евгении Герцык «Портреты философов». Евг. Герцык (1878—1944), сестра поэтессы Аделаиды Герцык, прожила мученическую жизнь, но в начале века успела получить блестящее образование, побывать за границей и подружиться со многими замечательными своими современниками. И написать о них. До «Портретов философов» я ничего не знала про Льва Шестова, кроме того, что был таким философом в начале века. Лев Шестов, он же Лев Исаакович Шварцман, как выяснилось, много времени проводил за границей, где жили его русская жена и двое детей. Он скрывал свой брак от отца из страха, что тот не переживет женитьбы сына на русской. Лев Шестов был человеком прямым, цельным и честным. Дикая эта ситуация многое определила в его философских метаниях. Про Бердяева я тоже мало что знала. У него была своя трагедия. Русский, верующий, а жена его приняла католичество. Мне было очень интересно, что такое для Бердяева творчество. Перепечатаваю кусочек из Евг. Герцык: «... в нем (очередном труде) рождалось самое для него центральное: идея творчества, как религиозной задачи человека. Может казаться, что мысль эта не нова — кто не славил творчество? Однако религиозного оправдания его до Бердяева никогда не бывало. На религиозном пути утверждались праведность, любовь, но не творчество. Обычно культ игры творческих сил связан с какой-то долей скептицизма, с отрицанием высшего смысла или с бунтом против него. Для Бердяева же идея творческой свободы человека неразрывно связана с верой в верховный миропорядок, связана со страстным побиблейски богочитанием. Да, ныне человек в свои руки перенимает дело творчества (мир вступил в творческий период), но не как бунтарь, а как рыцарь, призванный спасти не только мир, но и дело

самого Бога». Завтра собираемся пойти гулять. Сейчас ложусь в постель. Чуть не забыла. В «Дружбе народов» напечатан роман Нарокова «Мнимые величины». Нароков — псевдоним Марченко, но не Анатолия. Он эмигрировал в 1944 г., умер в 1969-м. Роман переведен на все мыслимые языки. Нароков — это некий вызов Набокову. Вчера начала читать. Очень напоминает «Приглашение на казнь» Набокова, но это наша жизнь эпохи террора 30-х годов. Жуть. Читать очень интересно, только спать потом невозможно.

16/IV-90.

Читала Нарокова и спать не могла. Утром впустую бегала за молоком. Гуляли вчера мало и не очень удачно. Выбирались на шоссе мимо огромной зловонной помойки. Помойки душат Москву и Подмоскowie. В ожидании звонка учителя-водителя раздражаю старые журналы.

Да не сокрушится дух мой прежде тела!
Господи! Тебе ведь все равно!
Сделай так, чтоб птицей отлетела,
А не завалилась, как бревно...

Елена Благинина

Вчера вечером после прогулки ездила с Борей Вульфсоном в церковь на Ордынке. Пасха. Очень красиво пел хор «Всенощную» Рахманинова, речитативы Гречанинова. В церкви было много молодых.

1991 год

Пятница, 4 января. Сегодня сдала документы в ОВИР*.

Жаль, что не видели вы великолепные польские послевоенные фильмы: «Пепел и алмаз» с Цыбульским, «Как быть любимой» с Барбарой Крафтунной и тем же Збигневом Цыбульским. Это, пожалуй, самые мои любимые. Крафтунна играла девчонку, начинающую актрису, влюбленную в знаменитого актера, которого играл Збигнев Цыбульский. Польша оккупирована немцами. Спасая Збигнева (имен героев фильма не помню), Барбара прячет его у себя в

доме. Во время очередной облавы она запирает его в платяном шкафу, но немцы увидели у нее в квартире мужские ботинки. Они по очереди насилуют ее, зная, что женщина не плачет. Эту сцену я отчетливо помню до сих пор. В те целомудренные времена на экране показали только лицо Барбары, ее глаза. Выдержать, выдержать все, даже этот ужас во имя своей любви. Другой немец терпеливо ждал своей очереди и подробности сцены насилия зрители воспринимали, глядя на лицо этого скота, сгоравшего от нетерпения. Лицо немца, глаза Барбары, отстраненность и равнодушие Збигнева после ухода немцев. Он был голоден и больше всего его занимал суп, хотя он, конечно, ласково потрепал Барбару по щечке. После освобождения Польши Збигнев с радостью покинул опустыленный дом. Барбара стала знаменитой актрисой, ее осаждали толпы поклонников, но Збигнева (он спился, оставил сцену) среди них не было. Через несколько лет Барбара, так и оставшаяся одинокой, прилетела в Берлин по каким-то своим делам. «Да, это я, свободная женщина, добившаяся громкого успеха, хожу по улицам Берлина. Да, я свободна, я в Берлине и что же?» Не знаю, почему сегодня, выйдя из ОВИРа, где провела пять часов, я все время вспоминаю финал этого фильма.

5/1-91.

Совершенно не понимаю, зачем написала про фильм. Поразило собственное вчерашнее спокойствие. Безразличие. Отсидела в очереди 5 часов. Это мало. Мне повезло. Многие передо мной ушли. ОВИР на 5 этаже. Лифт не работает. Подниматься мне трудно, и я сидела, сначала задыхаясь от духоты, потом начался озноб. Наверное, я была красивого зеленого цвета. Женщина рядом со мной спросила, не надо ли мне валидола. В заветную дверь вошла последней перед перерывом. До этого объезжала ЗАГСы* (был у меня прекрасный день: возвращалась домой с пятью свидетельствами о смерти близких родственников — мои родители, папины родители и Ися**), сидела часами в нотариальных конторах, но это давалось как-то легче. А тут... Анкета в 3 экз. большая, анкета в 3 экз. малая, копии

* ЗАГС (Запись актов гражданского состояния) — учреждение, где регистрируют рождения, бракосочетания и смерть граждан.

** Исаак Яглом — брат-близнец моего мужа Аквы Яглома.

* ОВИР — Отдел виз и регистрации — учреждение, ведающее оформлением граждан, выезжающих за границу.

метрик, свидетельства о браке, о смерти близких родственников, моя трудовая книжка, папина трудовая книжка, объяснительная записка об отсутствии папиной метрики, объяснительная записка о том, что Шолом и Соломон одно и то же еврейское имя (в моей метрике мой папа Шоломович, в его свидетельстве о смерти Саломонович, через «а») и т. д. и т. п. У меня так тряслись руки, что испугалась даже девица-истукан, принимавшая у меня документы. Она все время предлагала мне воды. А потом я ушла. И все. Все. Будто под наркозом прямо из ОВИРа заехала в мастерскую и получила свои лыжи. Притащила их домой, взяла сумку на колесах и поехала на рынок. Купила десяток яиц, кислую капусту, мандарины. Мясо купить не смогла. На рынках запретили продавать мясо по цене выше 15 р. за кг. И мясо на рынках исчезло. Продают только свиное сало с костями или кости без сала, но по твердой цене — 15 р. за кг. На трамвайной остановке стоял дикий крик: «Стрелять их паразитов! Стрелять!» В этом были единомышленники все. Но, дожидаясь трамвая, я поняла, что единомышленники это кажущееся, потому что одни предлагали стрелять продавцов такого мяса по такой цене, а другие — говорильщиков, которые никак не поделят власть, из-за чего все мы и страдаем. Ситуация эта довольно характерная. Подобные сцены происходят постоянно. Сегодня наркоз отошел. Я с душой поплакала. В ОВИРе мне сказали, что ответа надо ждать не менее 6 месяцев. Завтра воскресенье и мы договорились пойти покататься на лыжах. Думаю об этом со страхом. Мы оба в плохой форме, но надо как-то из этого выбираться. Папе нелегко дался разговор с Голицыным (нынешний директор), но оформление анкеты в институте взяла на себя Марго Калистратова за что ей огромное спасибо. Это было очень большим облегчением.

Во вчерашней газете «Известия» большая статья про конкурс Чайковского. Про то, что его, видимо, больше не будет, так как во время последнего конкурса предлагались взятки членам жюри за присуждения призовых мест и это стало известно. И еще мелочь из нашей новой жизни: перегоревшие лампочки теперь не выкидывают. Их ввинчивают на работе вместо хороших, а хорошие приносят домой. Лампочек в магазинах нет. Лариними заботами была на очень хорошем концерте. «Виртуозы Москвы» Спивакова в программе «Новые имена». Какой это был радостный праздник! Моцарт, Гайдн,

совсем молоденькая девочка арфистка и девочка флейтистка. Двенадцатилетний Сережа Накаряков играл на трубе — великолепно! А об исполнении концерта для фортепьяно с оркестром Моцарта надо написать поэму. Костя Лифшиц (огромный нос, черные вихры, немного костей и руки — вот и весь Костя), совсем ребенок, играл с таким проникновенным пониманием, с таким безупречным артистизмом, что я кричала «Браво!» как во времена далекой молодости. В нарушение всех традиций стипендии и денежные награды раздавали не только юным исполнителям, но и их учителям. Так что я имела счастье увидеть учительницу Кости Лифшица по фамилии Заликман. Ей вручили диплом и денежное вознаграждение — 500 рублей. А еще я впервые увидела надпись мелом: «Долой Ельцина!» Одна минута разговора по телефону с США стоит теперь не 6 р. как прежде, а 12. Когда и как отправлю это письмо, пока не знаю.

7/1-91.

Вчера вечером к нам зашел Боря Вульфсон. Он рассказал, что значит слово «Сочельник». Вчера был Сочельник, сегодня Рождество, впервые официальный здесь праздник. Оказывается, в пост перед Рождеством можно есть только сочни — пирожки с творогом, поджаренные на конопляном масле. Отсюда и название этого дня — Сочельник. И еще он рассказал, как провожал в Израиль семью своего племянника из Ленинграда. Такси в Москве сейчас практически нет. С Ленинградского вокзала семью из восьми человек доставил к Боре микроавтобус из конторы при синагоге. Стоило это 300 рублей. За эту же сумму через два дня микроавтобус из той же конторы отвез их в Шереметьево. В «Аргументах и фактах» (№ 1, январь 1991 г.) прочла, что у нас до сих пор иностранные корреспонденты могут отлучаться из Москвы, только поставив об этом в известность соответствующее Управление и получив разрешение. Категорически запрещено появляться на родине ныне живущих руководителей страны и собирать там какую бы то ни было информацию.

13/1-91.

Вчера были с папой на выставке «Другое искусство» на Крымском валу. Выставка огромная. Чего там только нет. Натуральные

(особенно натуральные, потому что пустые) консервные банки, прибитые к куску доски. Картина с деревянной дверью, запирающейся на крючок. Открываешь и видишь очень натурально нарисованный унитаз. Называется она — ни за что не угадаете — «Сортир». В одном зале стоит нечто огромное из железа. Внезапно это нечто приходит в движение и издает оглушительные скрежещающие звуки, от которых хочется бежать, куда глаза глядят. (Недавно прочла в одном рассказе про ГУЛАГ, что в пять утра зеков поднимали с нар ударами кувалды о подвешенный на канате кусок рельса. Рельс этот зеки называли «Цинга». На выставке я как раз об этом вспомнила.) Но кроме поделок на выставке много хороших картин. Много. Хороших. Начинается эта выставка с развешенных на стенах фотографий. И запечатлены на них не портреты художников, а их жизнь. Сидят с мольбертами (и без) на фоне убогих сараюшек, в комнатенках-кухнях с газовыми плитами и веревками с бельем над головой. Деревянный стол на фоне какой-то развалюхи. Кое-как расстеленная газета, на ней бутылка, яйца, окурки, тюбики с краской. За столом трое мужчин, поглощенных беседой. Какие лица! Какие позы! Как явственна жизнь духа, совершенно не связанная с окружающей жизнью. Три фото Зверева. Одутловатое лицо больного человека. Наклонился к подвальному окну, блаженно закуривает. Всклопоченные волосы, растрепанная борода (другое фото), хитро улыбается: я вас всех провел. И последнее: запрокинутая голова, едва прикрытые глаза, на лице мука мученическая. Огромное фото Рухина. (В Ленинграде подожгли его мастерскую, он сгорел.) Три замечательные картины Вейсберга того периода, когда он еще не увлекся рисованием белых предметов на белом фоне. Белые цветы, портрет актрисы, тарелки с черной каймой на кухонном столе. Здесь тоже скромная палитра и столько нежности, любви и радости. Но король выставки, конечно, Зверев. Восемь картин, одна другой лучше. Особенно хороши две: «Сосны» и «Церковь в Переделкино». Это картоны. Они хранились на даче у Кастики, где случился пожар. Края обгорели, но реставратор (не знаю имени этого тончайшего знатока своего дела) так наклеил эти картины на холст, что бурные неровные края неправильной формы кажутся рамой картин и придают им особую красоту. Сосны розовые на фоне бездонного белого неба. Так много воздуха, так много света в этой

непритязательной картине, чем-то напоминающей японскую живопись, что хочется плакать. Рядом с этими «акварельными» зарисовками пастозный портрет. Краска наложена так густо, что кажется, усы и борода сейчас отвалятся. С портретом этим можно долго разговаривать. Простите это бестолковое описание. Выставка произвела на меня сильное впечатление. Очень прошу вас, вложите несколько марок по 25 центов в конверт с письмом. Неудобно каждый раз просить чужих людей тратить деньги.

30/1-91.

Это письмо я надеюсь отправить с Шерманами*. Все. Конец эпохи. Теперь это уже реальность. Совсем недавно мы с папой в первый раз пришли на ул. Правды. Напряженные минуты встречи и огромное чувство облегчения. Свои. Мы все свои. После отъезда Шерманов мне станет труднее. Но им, наверное, будет еще труднее. С этим ничего не поделаешь. В Москве внезапно сильно похолодало. В воскресенье было —20°C. Идти на лыжах не решились. Вместо лыж поехала к портнихе. Хочу привести в порядок свои старые тряпки. С дорогой, с заходом в магазин (молоко — вечная моя забота!) ушло у меня на это полдня. В понедельник с утра оба побежали в сберкассу: папа — в свою, я — в свою. Духота, толчея, неразбериха. Бестолковые старухи с пятого раза не могут без ошибок заполнить нужные бумажки. Отупевшие от усталости женщины за окошками заранее ненавидят каждого, сующего им свою сберкнижку. Денежная реформа. Третья за мою жизнь. По официальным сообщениям, в первые дни в очередях скончалось три человека. Потом сообщили про старушку, которая долго стояла в очереди с молочным бидончиком в руках, набитым скопленными за жизнь деньгами, из которых она могла как пенсионерка обменять только 200 рублей. Мне повезло. Я простояла в сберкассе немногим больше двух часов. Примерно столько же простоял в своей сберкассе папа. В четыре часа дня я была уже на станции метро «Баррикадная». Здание Совета министров РСФСР, куда я приехала за путевками, — великолепный образец стиля «Социалистический ампи́р». Это целый квартал много-

* Шерманы Инна Зиновьевна и Юрий Львович, родители Юлиного мужа Михаила Шермана, уехали в США вместе со своей младшей дочерью Катей и матерью Инны Зиновьевны на год раньше нас с Акивой.

этажных кубов, украшенных нелепыми башнями. А подъезд, а милиционер при входе... С путевками все неясно, но есть надежда поехать снова в «Оку», только уже не за 40, а за 100 рублей на прежние 12 дней. Плохо, что далеко от Москвы, но выбирать не из чего. У меня вообще не лежит душа к этой поездке. Я поглощена другим, и рвется моя душа к другой поездке. Но тело непрестанно напоминает о себе, а тут еще морозы и благоразумие — ох, уж это благоразумие! — подсказывают, что с телом (и с сердцем, не в душевном, а в физиологическом смысле) надо все-таки считаться. Времена, когда цель достигалась рывком, увы, миновали. Теперь только мелкими шажками. Повинуясь этому новому девизу своей жизни (все время твержу про себя слова А.Д.Сахарова: «Главное двигаться в нужном направлении, а результат — это уж как получится»), очень трудная для меня заповедь, я прямо из Совмина поехала в Столешников. В «букинист» на Столешниковом от Пушкинской шла пешком, не поднимая глаз от тротуара, — очень боюсь оступиться и упасть. Снег, лед, выбоины... В переулочк свернула не сразу. Не сразу поняла, почему огромная толпа людей заняла и тротуар, и мостовую. Почему темно в булочной на углу. Оказалось, что толпа людей — это очередь в винный магазин. А в булочной темно, так как она закрыта на ремонт. Пол-Москвы закрыто на ремонт. Улицы, дворы (и наш Вавиловский) разрыты и загромождены какими-то балками и трубами. В «букинисте» две девочки довольно долго возились с огромным каталогом книг по физике, который я им принесла. Готовы взять почти все (папа собирал книги не просто так, как вы знаете), но как доставить? Договариваюсь с одним, с другим, пока безрезультатно. Из «букиниста» зашла в кондитерскую, на свой подъезд старалась не смотреть. Купила торт «Птичье молоко» по случаю дня рождения Ин. Зин. Проблемы выбора передо мной не стояло. Торту я очень обрадовалась, несмотря на его патологическое уродство. Только бы оказался вкусным. Торты теперь такой дефицит! Окрыленная удачей, отважно перешагнула порог фирменного магазина «Птица» напротив кондитерской. Слова «отважно перешагнула» следует понимать буквально. В этом магазинчике (где стоят очереди не короче, чем в винный, когда здесь бывают «ножки Буша», как у нас называют мороженые куриные ножки, доставляемые из США) есть только один прилавок

напротив двери. Вдоль обеих боковых стен тянутся полки «под мрамор», куда покупатели могут положить сумки, пока стоят в очереди. А все пространство пола занимала в тот вечер коричневая жижа — грязный снег, стаявший с ног благодарных покупателей. Женщины жались у боковых полок, где эта «аппетитная» лужа была чуть поменьше. Одни стояли на носках, другие на пятках. Редкие счастливицы, вроде меня, у кого подошва обуви была достаточно толстой, могли даже стоять на полной ступне без большого риска промочить ноги. Давали колбасу. По договорной цене. Кто с кем договаривался, как и во всех подобных случаях, так и осталось неизвестным. На грязном прилавке, тоже, разумеется, под мрамор, лежали палки колбасы, обернутые посередине узкой полоской бумаги, на которой значилась цена. Мне очень повезло: по ноголомным тротуарам я дотащилась (с тортом в одной руке и с тяжелой сумкой в другой) до остановки 111-го как раз, когда подошел автобус, и всю дорогу сидела.

Сидела и вспоминала зиму 42—43 года, когда жила в Столешниковом одна. Старый мамин друг пришел, как только узнал, что я вернулась. Поставил мне железную «буржуйку», притащил дров. Магазин «Птица» был тогда безымянным продмагом. За прилавком слева от двери отпускали по карточкам крупы (в московских магазинах нет сейчас никакой крупы), хозяйственное мыло, спички. А за прилавком напротив двери продавали сахар и иногда — незабываемое блаженство! — конфеты. Шоколадные (прости, Господи) без бумажек, но зато с мармеладной (?) начинкой или соевые. Я покупала их на сахарные талоны и истекала слюной, пока продавщица старательно отвешивала 150 г, для чего нередко разрезала одну конфету пополам. Половинку я съедала, не добежав до второго этажа, но все остальные жевала, растягивая удовольствие как только могла. Довольно часто, опустошив кулек из толстой серой бумаги, я тут же бежала вниз и покупала еще 150 г конфет. Но когда бы я ни зашла в этот магазинчик, у двери всегда лежал кусок влажной мешковины, о который все старательно вытирали ноги, и пол в магазине был безукоризненно чистый.

Во вторник утром я сложила книги в сумку на колесах (4 бандероли по 3 кг каждая, больше на почте не берут) и пошла на Молодежную улицу (на нашей почте бандероли не принимают — неко-

му). Шла все время в гору по заснеженному тротуару. Сначала по Ленинскому пр., потом по Молодежной. Систему эту придется изменить. Тяжело. В очереди стояла недолго — часа полтора. Вернулась домой, передохнула и пошла в нашу поликлинику, где мне поставили пломбу взамен выпавшей. В нашей аптеке никаких лекарств не было, но давали горчичники. Купила, конечно. Для довершения картины нашей жизни я еще должна написать вам, что папа очень квалифицированно выбрал на свалке у нас во дворе изрядное количество картонных ящиков и приволок их домой, чтобы было в чем перевозить книги в магазин и на почту, когда удастся договориться с машиной. На прошлой неделе я отвезла большую пачку английских книг в «букинист» на ул. Качалова. Демонтаж. Помнишь, Юлька, когда ты была в 10 классе, я законспектировала для тебя роман какого-то современного писателя под этим славным названием? Демонтаж. Так недавно, с таким жаром, с такой радостью я созидала этот наш дом. Сейчас разрушаю его своими руками.

31/1-91.

Утром вместе с папой вынимала из шкафов книги по физике. Трудно. Морально труднее, чем физически. На каждой книге мои отметки. Каталог составляла и вела я. Как это тяжело папе, не хочется писать. Расскажу вам лучше про свой визит к зубному врачу. В понедельник вечером я решила вознаградить себя за трудный день стаканом чая с ириской. И вознаградила: ириску вытащила изо рта вместе с пломбой и кусочком зуба. К врачу пришла без записи. Врачиха пожилая, встрепанная и злющая. «Ну, что там у вас стряслось? Подумаешь, пломба. Ириска? А вы бы лучше «трюфеля» ели и нам бы принесли. Чашку чая не с чем выпить. Рот пошире! Зина, не уходите, мне халат нужен. Сколько можно в грязном тряпье пациентов принимать?» — «Халатов нет и не будет. Их совместное предприятие делает. Материя из ФРГ, шьют в Бельгии. 60% стоимости надо платить в валюте, а валюты нет, сами знаете». — «Господи, работала я в Четвертом управлении* и горя не знала. Да я не про зарплату. Полощите! Халатики приносили чистые, хрустящие. Рот пошире! А тут что? Пошире, я говорю!» Пломба моя пока держится.

* Четвертое управление — специальное медицинское управление, обслуживавшее высокопоставленных партийных и государственных чиновников.

Письмо без даты

*Белая армия, черный барон
Снова готовят нам царский трон.
Но от тайги до британских морей
Красная армия всех сильнее!*

Из песен 20-х годов

Воскресенье. Сияющее праздничное воскресенье. Солнце и снег — всегда праздник. А на Сенеже столько снега, столько солнца! Лыжи скользят хорошо, идти легко. Узкая губа озера позади и вот уже широкий плес. Что это, Господи? Огромная черная туча с рваными краями ползет нам навстречу. Но не по небу, по озеру. Туча уже заняла почти весь ледяной простор от берега до берега. Справа из нее выпятился длинный черный палец и... рассыпался на отдельные человеческие фигурки. Солдаты. Черная цепь солдат движется по льду вдоль берега. Идут неровно, нелепо машут палками. От испуга перехватило дыхание. Почему? На льду много людей, солнце, никто не стреляет, тихо. Нет, громкий плач. Я лежу на сундуке в нашей столовой в Столешниковом и громко плачу. Надо мной большая карта, прикрепленная кнопками к фанерной перегородке, отделяющей столовую от спальни. Папа что-то говорит и ласково гладит меня. Теплая папина рука у меня на плече. «Финляндия маленькая, а СССР большой. Финляндия совсем маленькая»... — реву я в три ручья и отчетливо вижу черные цепи солдат на белом финском льду. Мы уже едем в гуще солдат. Шапки-ушанки, длиннопольные шинели, сапоги, полужесткие крепления... На лыжах с такими креплениями мы катались когда-то по сугробам нашего двора в Столешниковом. Начальство экипировано как положено: брюки, куртки, лыжные ботинки. «Нажми! Не растягиваться!» На льду щит с надписью «Финиш», около щита толкуются какие-то чины. (Говорил же мне военрук в университете: «Каждая приличная девушка должна мгновенно определять чин военного по погонам!» А я...) «Это какая рота плетется? Связисты?» — «Нет, связисты ничего идут. Это разведчики». Солдаты смуглолицые, черноволосые. Казахи? Узбеки? С одним столкнулась на лыжне нос к носу. «Здравствуйте, нравится на лыжах?» — «Здравствуйте. Очень хорошо. Очень, очень

хорошо. Здесь ничего нет лучше». Разъехались. Я оглянулась. Крепления сползли с пяток, держатся только на мысках сапог, палками машет, как крыльями. Окрестности Сенежа, оказывается, сильно военизированны. Вчера долго блуждали по глубокому снегу в заколдованном Берендеевом лесу и вдруг выбрались на хорошо раскатанную лыжню. Через несколько минут увидели знакомый забор и обомлели — неужели сделали круг и вернулись домой? Но мы ошиблись. Перед нами был забор санатория военно-морского флота, как сказал повстречавшийся лыжник. Однотипные заборы из глухих бетонных плит рассекают на отдельные участки почти все побережье Сенежского озера. Это, так сказать, местная достопримечательность. Накануне Наташа Мартынова перепугалась насмерть, когда из леса прямо на нее выехал танк. Теперь-то мы знаем, что на другой стороне озера, чуть правее нас — танкодром, и туда лучше не соваться. А на нашей стороне, совсем рядом, размещается офицерская школа. В поселке, где живут военные, есть знаменитый (в прошлом) магазин с ласкающим слух названием «Выстрел». В доброе старое время дамы из нашего дома отдыха, как нам рассказывали, ходили туда каждый день и уезжали в Москву с набитыми чемоданами. Обычный разговор: «В «Выстреле» были?» — «Что сегодня дают в «Выстреле»? — «Сходим в «Выстрел» после обеда?» Вспомнилось Болшево, Дом творчества кинематографистов. По парку гуляют, видимо, кинематографисты. Все в дубленках — мужчины и женщины. У меня мелькнула шальная мысль: может, дубленки прямо тут и выдают? Первый наш выезд из Москвы после папиного инфаркта. Осторожно идем под руку вслед за дубленой парой дам. До нас долетают их слова. «В «Большевичке» уже были? Магазины при фабрике, совсем рядом. Все есть. Лично я одеваюсь в Париже и в Болшево». Наши посетили «Выстрел». Купили стиральный порошок и универсальный немецкий клей. Две новые поговорки (вычитала в «Литературке»): «Год овцы, кто уехал — молодцы», «Коммунизм — это советская власть плюс эмиграция всей страны».

Целую.

Мама.

Машенька, Гена, родные! Как вы там живете? Очень по вам соскучились, а письма от вас превратились в издевательство. Получили два дня назад от тебя, Машенька, письмецо. Обрадовались. Открыли, первая фраза: «Родные, уже неделя, как вы уехали от нас... Что это значит? Посмотрели на печать — письмо от 12/XII-1990 пришло к нам 16/II-1991. Чушь какая-то. Письма стали идти ужасно. Поэтому, если будут оказии, старайтесь их использовать для отправки писем. Почта уж очень медленной стала.

Обнимаю и целую вас, люблю и скучаю.

Папа.

7/VII-91.

Здравствуйте, мои дорогие!

Сегодня гуляли между станциями Вялки и Хрипанька по Казанке, но не по основной ветке, а по Егорьевской. Красивые поля, на горизонте лес, много озер. Под конец выкупались в озере, где вода была темно-коричневая. В этих местах много торфяных болот, поэтому такая вода. Она очень чистая, и после купания ощущение, будто на тебя натянули новую молодую кожу. А вчера вечером мы были в Большом театре. В самый разгар тяжелой жары я выстояла многочасовую очередь на раскаленном асфальте пл. Свердлова и купила билеты на французский балет. Вчера мы смотрели «Сон в летнюю ночь», 12-го идем на вечер одноактных балетов, а билеты на вечер молодых солистов подарим Але Солодухиной по случаю ее семидесятилетия — ох, ну и даты пошли, просто жуть берет. Очень вчера было интересно в театре. (Я еще надела туфли на каблучках, а смотрели мы стоя, так что мне было особенно интересно.) Сцены в лесу поставлены в сугубо современном стиле. Боже мой, какие, оказывается, узоры можно сплести из человеческого тела! А в бытовых сценах столько остроумных находок — оформление, костюмы! — такое это красочное захватывающее зрелище — шлейф невесты чуть не во всю сцену Большого театра! — глаз не оторвать. Поразила меня музыкальность танцовщиков: безупречная гармония между звучанием оркестра и движениями исполнителей. Под свадебный марш Мендельсона (эта заигранная музыка звучала так, что

хотелось плакать) на сцене происходило феерическое действо! Вечера в театре был настоящий праздник.

Устала и рассказываю не по порядку. До наступления жары мы ездили на экскурсию в Новгород. Встали в 5 утра. Около 7 утра наш автобус отъехал от Таганки. В 4 часа дня подъехали к гостинице «Россия» в Новгороде, где нас обещали накормить обедом. С обедом вышла неувязка и нас отвезли в гостиницу «Волхов», где поселили в хорошем номере с ванной, горячей водой и цветным ТВ. До 6 вечера успели осмотреть ближайшие достопримечательности (на пустой желудок смотрелось очень хорошо), а потом нас все-таки накормили ужином. После ужина ходили смотреть Антониев монастырь, что было интересно. К сожалению, вид из монастыря на Волхов изуродован трубами химкомбината на другом берегу. Весь следующий день были экскурсии, очень интересные и с хорошими экскурсоводами. Особенно интересный экскурсовод, глубоко верующий, очень образованный и знающий человек, показывал нам церкви на следующий день. В час дня накормили обедом, погрузили в автобус и около 9 вечера привезли домой. Я не совсем понимаю, как мы все это выдержали, но выдержали. Половина двенадцатого ночи. Спокойной вам ночи. Целую вас и кончаю.

8/VII-91.

На днях по книжным делам шла по Пушкинской в Столешников. Подошла к Столешникову и в растерянности остановилась. Булочной на углу нет. Нет нашей булочной. На грязно-синей вывеске глазорадирующей оранжевой краской написано: «Коммерческий магазин». Боже, и здесь тоже. На ул. Губкина закрыли прачечную. Оборудуют коммерческий магазин. Коммерческий магазин занимает уже половину «Аспирантского». На Ленинском проспекте коммерческие киоски, будки, лотки на каждом шагу. И вот теперь наша булочная... Зима. Медленно кружатся мохнатые снежинки. Папа (мой папа) пришел с работы и прилег отдохнуть в спальне-пенале. Я стою у окна и смотрю, как падает и падает снег. Не заметила, когда папа встал. «Хочешь пойти со мной в булочную? Купим печенье». Конечно, хочу. Иду рядом с папой. Тускло светятся витрины. Вечерами прохожих в Столешниковом почти нет. Снег все идет. Папа открывает дверь булочной. Глотаю вкусный ванильно-коричный за-

пах. Слева от двери прилавок с печеньем. Папа неуверенно указывает на вазочки. «50 г этого, 50 г вот того». Продавщица в крахмальной наклке аккуратно кладет печенье в небольшой пакетик: ромбики, квадратики, завитушки. Возвращаемся домой. Я рада печеню, папе, снегу... Весна! Настоящая! Окна уже открыты. Лара торопится в университет. «Сходи раньше за хлебом», — говорит мама. Лара выбегает на улицу. Через несколько минут возвращается. Смеется, глаза горят, румянец заливал щеки. «Юнь, поди сюда!» Подходим к открытому окну. «Вон, видишь?» Конечно, вижу. Очередная жертва стоит на улице и что-то кричит Ларе в окно. Лара с хохотом убегает. «Чего встала посреди дороги?» Возвращаюсь к действительности. Задница Института марксизма-ленинизма вылезает теперь чуть не на мостовую. Барельефы Маркса, Энгельса, Ленина, вытаращив глаза, в растерянности разглядывают здание напротив (где был угловой меховой магазин). Есть от чего растеряться: штукатурка обвалилась, под ней видна добротная кирпичная кладка. Витрины, с зеркальными еще недавно стеклами, заложены фанерой. Двухэтажные домики в начале переуллка тоже смотрят на прохожих слепыми фанерными глазами.

В «Октябре» №6 прочла трагические стихи Эмы Манделя*: «Я каждый день встаю в чужой стране»... А в №5 «Знамени» опубликована большая подборка стихов Анны Тимиревой. Удивительная эта женщина была возлюбленной Колчака. Она оставила очень интересные записки о Колчаке и о своей нестандартной жизни (до периода тюрем и ссылок — возмездие за Колчака). Записки опубликованы в сборнике «Минувшее» (надеюсь, он дойдет до вас) и частично в романе В. Максимова «Заглянуть в бездну» («Знамя» № 9—10, 1990). Мой отчет подошел к концу. Американец Кларк Росс, с которым я рассчитываю отправить письма, пока не звонил. Придет он сегодня или нет, не знаю. Договорилась отвезти завтра большую партию книг по математике в букинистический магазин. Послезавтра день смерти мамы. Поеду в крематорий. Папа, не забываясь, сидит над докладом.

* Эма Мандель — сохранившаяся среди друзей имя поэта, драматурга и публициста Наума Коржавина.

10/VII-91.

Свобода в нашей стране дошла до того, что с эстрады, пародируя речь Горбачева, поют частушку:

Есть консенсус,
Есть наметки,
Перспективы также есть,
Но мешает перестройке
То, что люди просят есть.

Только что по ТВ показывали, как Алексей благословлял Ельцина в связи с вступлением в должность президента, а заодно войну Азербайджана с Арменией. Надо кончать и хоть немного прибрать квартиру.

Целую.

Мама.

15/IX-91.

Вчера вечером ездила к Ларе. У нее были Ира с Томом. Мы давно не виделись и с удовольствием обсудили политические и неполитические новости. Лара приготовила роскошный ужин: картошка с мясом, помидоры, красиво нарезанные и посыпанные луком, яблочный пирог (желтки в тесто, белки сбиты с символическим количеством сахара для украшения — ни сахара, ни яиц в Москве нет. Яйца, правда, можно купить на рынке, а вот сахар...), была даже бутылка сухого вина. Я спросила Иру, как ей работается. «Когда поступает какой-нибудь реактив, нам сообщают, тогда мы придуываем, что можно с ним сделать». Том сказал, что денег у него в институте сейчас много, но ни оборудования, ни реактивов нет и не предвидится. Сегодня, в воскресенье, ходила с Майей Туровской* в Пушкинский музей на выставку Генри Мура.

На ступеньках музея между колонн парная скульптура «Король и королева». Она хорошо видна от ворот. Черная с прозеленью бронза. На скамье без спинки две плоские фигуры. Лиц нет. Плечи опу-

* М.И. Туровская — театровед и кинокритик, один из авторов сценария фильма М. Ромма «Обыкновенный фашизм» (1966).

щены, усталые руки лежат на коленях, ноги босые, над головами изогнутые полоски металла. Короны? Работа 1952—1953 гг. От скульптуры трудно отойти, потому что она «говорит». Речь бессловесна, но ее «слышишь» глазами, кожей.

Внутри перед лестницей наверх «Семейная группа» (1948—1949). Такая же скамейка. Мужчина и женщина сидят, полуобернувшись друг к другу, протянув друг другу руки. Младенец «вытекает» из их переплетенных рук. Три фигуры — воплощение единения душ и тел. Сороковые годы — время надежд. Потрясения шестидесятых — студенческие волнения, хиппи, сексуальная революция — далеко впереди. В белом зале в витринах под стеклом стоят небольшие бронзовые черно-зеленые скульптуры. Мать и дитя во множестве вариантов. Головы, руки, тела сплетены и излучают тихую спокойную радость.

Композиции Мура «текучестью» напоминают Сидура (помните его?), но по принципу сходства-отталкивания. У Сидура — вопль, крик боли. У Мура — гармония, покой. Его скульптуры пробуждают ностальгию: душевный мир, чувство удовлетворения — все это, оказывается, было. Даже деформированность, даже искусственность его фигур воспринимается как классика, наверное, потому, что главное в них — приятие жизни, завершенность, успокоенность. Очень красивы скульптуры выдуманных инструментов (арфы? лиры?) с настоящими струнами. Смотришь на них и слышишь Моцарта.

Генри Мур (1896—1986) родился в маленьком городке около Лидса. Это район английских каменноугольных шахт. Отец Генри, седьмого ребенка в семье, был шахтером. В те времена в тех местах искусством мало кто интересовался. Но вот, несмотря на «ужасы капитализма», Мур стал одним из великих художников мира.

В скульптурах Мура часто повторяются одни и те же мотивы: мать и дитя, семейные группы. Один из таких повторяющихся мотивов — женщина с ребенком в кресле-качалке. Выгнутая спинка кресла, выгнутая спина матери (протянув руки, она держит на коленях ребенка, который стоит, наклонившись к ней), выгнутая доска, к которой прикреплено кресло. Все эти полукруги каким-то таинственным образом создают гармонию движения и покоя.

Трудно понять, почему небольшие группы Мура без лиц, без

глаз так красноречивы — с ними можно говорить часами. Разглядывая менее «сюжетные», менее определенные сплетения тел и форм (у Мура их тоже много, но их трудно описать), Майя вдруг спросила: «Интересно, как бы сложилась история европейского искусства, если бы античные статуи дошли до нас неповрежденными? Если бы люди не увидели эти «обломки»?» И, действительно, как? Многие скульптуры Мура невольно вызывают в памяти античные «обломки». Удивительно, как классичен этот современный скульптор!

Во время войны жители Лондона с вечера укладывались спать на платформах станций метро. Боялись бомбежек. Сначала дюдей пытались прогнать, но потом построили 4-этажные нары, поставили вагончики-туалеты, открыли киоски, где продавали кофе. (В музее уже много месяцев не работают уборные. Надписи на русском и английском языках предлагают пройти на улицу, где стоит вагон-сортир. Войны и бомбежек пока, правда, нет.) Мур уже тогда (и до самой смерти) жил недалеко от Лондона. Вечером он приезжал в город и рисовал на стенах метро то, что видел вокруг. Известно, что эти «фрески» производили огромное впечатление. Честно должна сказать, что их зарисовки, выставленные в музее, меня почему-то не тронули.

В белом зале напротив двери висит огромный гобелен «Три парк» (1983—1984). Голубовато-серые тона, блики желтых и красных полосок. Мощные женские фигуры. Две крайние держат прялки, их соединяет общая нить. Средняя — у нее в руках ножницы — готова эту нить перерезать. Фигуры женщин древни как мир, но ужас наш — ужас XX века. Поразительна монументальность, скульптурность этого гобелена. Полная иллюзия, что фигуры высечены из камня. Только вблизи видишь, что это гобелен.

Забыла написать, что жена Мура, Ирина Радецкая, в 1919 году ребенком вместе с родителями приехала в Англию из России.

21/IX-91.

В проулке, ведущем от нашего дома к ул. Вавилова, буйствует красно-желто-рыжее пламя. Рано в этом году. Бывший школьный сад еще зеленый, но рядом в проходном дворе на ул. Губкина желтизна деревьев все ярче.

В Москве наконец-то не политическое событие: спектакль «Нос» по Гоголю, поставленный знаменитым литовским режиссером Няк-рошюсом. Монолог Майи Туровской по телефону: «Подхожу вчера к театру и глазам не верю — толпа. Огромная толпа озабоченных людей, милиция, все куда-то рвется. Еле прошла. В спектакле сбегал не нос, а, прости, мужской член. В этом вся соль. Из-за этого весь сыр-бор. Смотреть неинтересно, а главное, скучно. Жутко скучно. И это театр. На это я положила жизнь. Тоска». Такие вот дела, родные мои.

Обнимаю и целую вас.

Мама.

26/IX-91.

Прочла в «Книжном обозрении» интересную рецензию на книгу С. Ельницкой «Поэтический мир Цветаевой». (Вышла в ФРГ.) «Рябина — это, своего рода, символ цветаевского «Я»... мятежная огненность осенней рябины — красный жаркий цвет, горький вкус». Почему-то подумала, что красные осенние деревья хватают меня за душу, потому что мятеж: пусть гибель, но гореть до последнего дня, гореть еще ярче, потому что гибель.

Писать трудно, жду Валю с машиной. Условились, что он ответит меня на почтамт — очередная отправка книг. Вчера разобрала шкаф с литературоведением. Сколько прекрасных, сколько редчайших книг. Гибнет наша библиотека. Ужасно папа мучается. Преступница я.

Из разговоров в очереди: «Пусть уж скорее голод, а то столько всего набрала, девать некуда».

Девятнадцатого октября были у Марго. Она созвала друзей в день рождения своей покойной мамы Софьи Васильевны Калистратовой. Софья Васильевна была известным адвокатом, женщиной удивительной мягкости, доброты, честности и бесстрашия. Скольким людям она помогла за свою нелегкую жизнь, скольких спасла от беды — от бед, и каких! — не сосчитать. Дома у Марго собралось много людей. Была на этом вечере Вера Матвиенко. Она альпинистка (когда-то мы ходили с ней в поход по Кольскому полуострову) и этим летом водила группу в горы. За восхождение на гору местные власти Киргизии, где они были, взимают теперь плату

с каждого участника восхождения, хотя все они уже заплатили за свои путевки. Но это не единственное новшество. Начальник спасательной службы Киргизии получил гуманитарную помощь от спасателей ФРГ: теплую одежду, обувь, консервы. Половину он оставил себе лично, а половину отослал начальнику базового лагеря спасательной службы. Начальник лагеря половину оставил себе, а половину отдал главному инструктору. Главный инструктор половину взял себе, а... Гуманитарная помощь пришла при Вере, она очень живописно рассказывала эту и без того живописную историю.

Вали все нет. Завтра предстоит поездка на другой конец Москвы к дочери бывшего папиного сослуживца. Она летит в Бостон и согласилась взять несколько книг.

5/X-91.

У нас создается Российская академия наук. Ввиду особого расцвета науки оказалось, что мало у нас академий. Академик Маслов предложил кандидатуры новых российских академиков. Список впечатляет: Марк Вишек, Ролланд Добрушин, Яков Синай, Акива Яглом. Ученый совет ИФА* утвердил папу единогласно. Такие вот пошли игры и развлечения.

В №8 «Юности» за этот год очень понравилось стихотворение Окуджавы.

Не уезжай, жена моя, в леса
ни в лодке, ни в машине, ни в телеге.

Провидческие слышу голоса...

Еще нам предстоит разъезд навеки.

Его приход, увы, неумолим,
его шаги расчетливы и споры.
Повременим, мой друг, повременим
седлать коней и заводить моторы.

Из бытия земного своего
в грядущие не верю обещанья —
ведь там уже не будет ничего:

ни боли, ни прощенья, ни прощанья.

И поражений горьких, и побед
и жертвы, и охотники мы сами...
Не уезжай, мой ангел: счастья нет,
тем более за дальними лесами.

* ИФА — Институт физики атмосферы АН СССР, где Акива Яглом проработал больше 40 лет.

Говорили с папой о переименовании Ленинграда. Он вдруг медленно, неторопливо прочел:

В Константинополе у турка
Валялся порван и загажен
План города Санкт-Петербурга
В квадратном дюйме триста сажен.

И хлынули воспоминанья,
Споткнулся шаг, и взор мой влажен.
В моей душе, как и на карте,
В квадратном дюйме триста сажен.

Н. Агнивцев

Никогда прежде не слышала и не читала этих стихов.

Я ЕДУ В АМЕРИКУ

СПЕЙТ

«Я еду в Америку. Практические советы и рекомендации». Книжка лежит на каждом лотке. Цена стандартная: 25 р. Я еду в Америку. На самом деле? Похоже, что да. Пока, правда, надо доехать до Спейта. Спейт — это совместная американско-советская организация, где занимаются делами отъезжающих на постоянное место жительства — опять забыла, надо говорить на ПМЖ. Странно, но эта уродливая аббревиатура уже не воспринимается как неологизм. Бедный наш могучий русский язык.

Когда это было? Кухня на Вавилова. Юлия с Мишей за столом, я у плиты спиной к ним. Миша: «Юльк, на ПМЖ хочется. Надоело болтаться». Юлия: «Да, на ПМЖ оно бы неплохо». Я: «Что такое ПМЖ?» С тех пор прошло, наверное, больше четырех лет.

Ленинский проспект. Остановка 111-го автобуса напротив универмага «Москва». Автобуса нет как нет, троллейбусов тоже не видно. Это уже привычно. Под ногами прохожих крутится хромая дворняжка. Обнюхала выбоину на тротуаре, разгребла мусор, свернулась в клубок. В глазах человеческая тоска. Обвешанные сумками граждане — товарищи? судари? господа? — обходят собаку, не оглядываясь. Дети задерживаются, но раздраженные родители решительно пресекают попытки малышей проявить сочувствие к бедной твари.

Автобус! Слава Богу, втиснулась. Едем. В подземном переходе на Октябрьской площади что-то новое: церковное пение. Подхожу ближе. Кучка мужчин и женщин, у некоторых в руках иконы, двое держат самодельный плакат: «Присоединяйтесь к движению за возвращение Божьей Матери на русский престол!».

Рядом на столике кроссовки за 800 р., сапожки за 1500 р.

На подступах к метро царство роз: белые, алые, розовые, чайные, поштурно, в букетах, в прозрачной бумаге — на любой вкус. Справа розы, слева в огромной коричневой луже плавают окурки, обрывки бумаги. Тут же разложены книги — на лотках, на полиэтиленовых скатертях прямо на тротуаре, на ящиках, на чемоданах. Ангелика сердится, радуется, выходит замуж, разводится и т.д. и т.п. Секс в жизни мужчины, женщины, в семье и т.д. и т.п. Сто рецептов приготовления теста, кваса, овощных и рыбных блюд. Советы астролога, экстрасенса, предсказателя, народного целителя. Лечение травами, самомассажем, самовнушением и еще чем-то. Рядом «Мой выбор» Шеварнадзе, «Я надеюсь» Раисы Горбачевой, «Галина» Вишневской, Иосиф Флавий, книги Бердяева, Платонова и море детективов.

Выхожу на станции метро «Планерная». Глухая провинция. Тишина, очереди на конечных остановках загородных автобусов, небольшой базарчик: яблоки, морковь, зелень.

На унылой улице с одной стороны бесконечные заборы, с другой типовые жилые дома. Серый двухэтажный куб — это Спейт. Перед входом человек пятьдесят, в дверях милиционер — все как полагается. Отстояла на улице два часа, выяснила за две минуты, что надо снова пройти медобследование, получила бланк на бронирование билетов. Улететь можно из Ленинграда или из Киева. Никаких билетов из Москвы в США на 1992 год нет.

На следующий день еду с драгоценным бланком на улицу Викторенко. Станция метро «Аэропорт». Узкая улочка Викторенко начинается у Ленинградского шоссе, уходит в глубь квартала и теряется среди хрущевских пятиэтажек. Под ногами шуршат желтые листья, среди домов садики с детскими площадками, бабушки на лавочках — городская идиллия.

С трудом нахожу нужный подвал. Спускаюсь по лестнице с раз-

битыми ступеньками, открываю тяжелую дверь и останавливаюсь. Дорогу преграждает колено железной трубы, к нему прислонена доска с надписью: «Закрой калитку и ворота!» Коридор ярко освещен голый лампочкой под потолком. Обхожу трубу и доску. Дверь в комнату направо открыта. Голый письменный стол, других следов пребывания человека не видно. Нет, ошиблась. На стене записка: «Для бронирования билетов в США, выезжающие на ПМЖ... Дубининская улица... вложить в конверт... за полтора месяца отправить... деньги внести за 15 дней по адресу»...

Сбоку открывается еще одна дверь, кто-то выходит, вхожу. За столом молодой парень — растерянная улыбка, руки теребят какие-то бумажки, язык заплетается, но смысл ясен: билетов нет и не будет. Наверное, новенький, еще не понял, что он Бог и царь.

Показываю бланк из Спейта, говорю, что хочу купить билеты за рубли, обещаю 200 долларов.

— Не знаю, — говорит он, — не знаю... Все предлагают... рубли и зеленые... Не знаю... Зайдите в ноябре.

Бланк из Спейта ему, естественно, не нужен.

Ухожу с чувством исполненного долга и безнадежности. Что делать, не знаю.

ПИСЬМО ИЗ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

Бланк с машинописным текстом на сером листе бумаги. От руки чернилом вписана фамилия. Окончание в слове «Уважаемый» оставлено в мужском роде.

Уважаемый _____ Ю.С. Родман _____

В связи с тем, что Союз писателей СССР прекратил свое существование и предстоит юридически фиксированный раздел имущества между организациями, возникшими на его месте, просим Вас до 15 августа: подтвердить своей личной подписью факт Вашего вхождения в Союз писателей Москвы и Союз Российских писателей и, тем самым, Ваш выход из Московской организации СП РФ (В. Гусев) и самого Союза писателей РФ (Ю. Бондарев).

Правление
Союза российских
писателей:

М.Дудин, И.Золотуеский, В.Лукьянин,
Р. Солнцев, И.Шкляревский, М.Кудимов,
Х.Бештоков, А.Иванченко, К.Ковальджи,
Н.Кондаков, В.Соколов.

Правление
Союза писателей
Москвы:

Т.Бек, И.Виноградов, Ю.Давыдов, Н.Ива-
нова, В.Коростылев, Я.Костюковский,
А.Курчаткин, А.Мулярчик, Ю.Нагибин,
Е.Николаевская, В.Савельев, Б.Сарнов,
Р.Сеф, О.Хлебников, Ю.Черниченко,
С.Чупринин, Т. Луковникова.

Две печати: Правление Союза российских писателей, Правле-
ние Союза писателей Москвы.

Подтверждаю вхождение в Союз писателей Москвы и Союз рос-
сийских писателей и выход из аналогичных структур СП Российс-
кой Федерации.

_____ (подпись) _____ (число)
_____ (номер писательского билета)

P.S. В силу конфликтной ситуации в «Доме Ростовых» просьба
ответы присылать по адресам:

119048, Москва, а/я 567, Жукову Л.Б.
129515, Москва, ул. Кондратьюка, 14, кв. 31
Луковниковой Т.А.

Год 1991. Конец СП СССР... фамилия Т. А. Луковниковой.

Год 1980. Улица Воровского, «Дом Ростовых». Скрипучая дере-
вянная лестница из зала на антресоли. Низкий потолок, узкий ко-
ридор, несколько дверей. На одной надпись: «Секретарь секции пе-
реводчиков Т.А. Луковникова». В маленькой комнате сидят, стоят
несколько человек. Общий разговор, телефонные звонки. Кладу до-

кументы на стол Тани Луковниковой — мне нужно оформить пен-
сию. Таня проглядывает бумаги с печатями, мой «послужной спи-
сок», спрашивает, не поднимая головы: «Почему не вступаете в
Союз? Имеете право».

Официальные рецензии на переведенные книги, рекомендации
членов Союза писателей... Год прошел? Больше? Та же комната.
Снова люди, разговоры, звонки. Отдаю Тане заявление. «Посту-
пать будете по благу или в общей очереди?» — спрашивает она,
придерживая плечом телефонную трубку. «В общей очереди», —
отвечаю я, стараясь не выдать растерянности. «Ждать придется дол-
го», — деловито предупреждает Таня и возвращается к прерванно-
му разговору.

Таня не ошиблась. Годами, при каждом голосовании мне не хва-
тало одного-двух голосов, пока, наконец, не вмешался Вячеслав Все-
володович Иванов*.

Из письма дочерям 16 мая 1991 г.

...Позавчера мне в торжественной обстановке вручили билет Со-
юза писателей — толстую красную книжицу. Это был интересный
спектакль. В большой комнате (стиль «социалистический ампи-
р») с длинными столами, расставленными в виде буквы «Т», собрались
семь счастливых и секретарь Московской организации Союза пи-
сателей. (Фамилию не запомнила, так как услышала ее впервые.)
Секретарь внешне очень напоминал Ноздрева. Пятеро молоденьких
мальчиков и девочек современного вида, один пузатый мужчина и
знакомая вам пенсионерка чинно сидели за одним из столов и вни-
мательно слушали примерно такую речь: «Дорогие товарищи... по-
здравляю... в связи... желаю вам крепкого здоровья. Именно здоро-
вья. Оно вам всем понадобится, потому что вы сами знаете, в какое
время живем. Застойные времена облили грязью, а к чему пришли?
Раньше я, бывало, позвоню Промыслову**, приду, и мы в рабочем
порядке все дела тут же решаем. Не печатают какого-нибудь нашего
достойного товарища, я снимаю телефонную трубку, звоню кому

* Вячеслав Всеволодович Иванов — известный лингвист, литературовед и обще-
ственный деятель.

** В.Ф. Промыслов — советский государственный и партийный деятель,
в 60—80-е годы председатель Мосгорисполкома.

следует и все — печатают. А теперь что? Моссовет квартир нам не выделяет. В очередь на жилье вы имеете право встать через три года пребывания в Союзе. Заводы наши заявки на машины не выполняют. На машину имеете право встать в очередь тогда же. В последнее время мы не получаем ничего, буквально ничего. А тут еще Евтушенко задумал новый Союз организовать, а наш развалить. Так что здоровья, товарищи, я вам не зря желаю. Ну и, конечно, творческих успехов».

Моя жизнь Союз писателей, тем не менее, сильно облегчил: прикрепил к магазину «Заказ» рядом с метро «Ленинский проспект». От дома до магазина десять минут на трамвае. В магазине порядок, очереди небольшие. Ветераны партии, дети родителей, пострадавших от репрессий, ВОВы получают талончик в кассу у одного прилавка, члены Союза писателей и других важных организаций — у другого. Список продуктов висит на стене. Выбор необременителен: в списке указано, кому полагается гречка, кому манка, кому цейлонский чай, кому краснодарский. Отдаешь кассирше талончик и деньги, получаешь продукты и едешь домой. Очень удобно.

Удобству радовалась недолго — через несколько месяцев уехала. Письмо из Союза писателей и членский билет привезла с собой.

ПИСЬМА ДОЧЕРЯМ

1992 год

9/II-92.

Мы живем не в том городе, где прожили свою жизнь. Уже не в том, хотя все еще живем в Москве. Тверская. По обеим сторонам улицы кварталы нежилых домов с выбитыми стеклами, кое-где стропильные леса, краны, рабочих не видно. Непроходимые тротуары: лед, месиво из глины и снега, канавы. Стены домов в лишаях объявлений. Объявления срывают, соскребают, они появляются снова. Повесить в удобном месте доски для объявлений никому не приходится в голову, хотя есть теперь и мэрия, и Моссовет, и префектуры, и... «Молодой мужчина, врач, купит комнату посредством брака». «Продается башенный кран». «Измеряю радиоактивность жилья,

одежды, продуктов». «Меняю пишущую машинку (производство ФРГ) на автоприцеп к «Жигулям». «Возьму девушку на проживание». Ветер задирает нарезанные полоски бумаги с номерами телефонов — стены домов будто шевелятся.

Институт физики атмосферы не знает, сможет ли оплатить счет за электричество за последние месяцы — нет денег. Институт неврологии готов положить на лечение Миру Абрамовну Немеровскую (церебрально-сосудистый спазм, что-то вроде инсульта), если Третьяковская галерея, где она работала много лет, заплатит за ее лечение около восьми тысяч рублей. Лечиться дома невозможно — нет лекарств.

Мне нужна юбка. Ездил в ателье в проезде МХАТа. При входе прокат видеокассет. В примерочной страшно пробыть лишнюю минуту. Часть штукатурки уже упала с потолка, часть еще цела и когда упадет, неизвестно. Сшить прямую черную юбку (из материала, который, оглядываясь на дверь, тут же отрезали от рулона) стоит 700 рублей.

Долго уговаривала Екат. Ник. написать о том, что видела, что знает. Она удивительная женщина: ей около восьмидесяти лет, хирург, до сих пор работает консультантом, только что избавила папу от операции и привела в порядок его ногу. Екат. Ник. прожила очень интересную жизнь, «украшенную» еще тем, что ее муж был поляком. Она, наконец, согласилась взяться за свои воспоминания. Дочь достала бумагу, но в Москве нет ни шариковых ручек, ни стержней. Договорилась, что приятельница Екат. Ник. зайдет к нам сегодня после 11 вечера и возьмет ручки, книги и пластинки, которые я приготовила в подарок Екат. Ник. Стыдно, но не могу сама до нее доехать. Нет сил, нет времени.

Появилось новое отвратительное занятие: замазываю на книгах благодарственные надписи авторов папе. Сколько их, боже мой! Целая библиотека одних только книг с благодарственными надписями. Что с ними делать? Взять с собой невозможно, отдавать в «букинист» невыносимо. Сажу и замазываю. И отвечаю на звонки. Не хочется писать об этом. Надо продать секретер, книжный шкаф... Звонок. «Секретер продаете? А это что, вроде серванта? Мне сервант нужен». Звонок. «У вас какой шкаф? Понятно. Перезвоню че-

рез десять минут (через час, завтра точно в 11 утра), приеду через полчаса (сегодня в пять), будьте добры адрес, а какой этаж?» И, как теперь принято говорить, с концами.

Очень понравилось стихотворение Кушнера («Знамя», № 2, 1992).

Теперь я знаю, как
Разваливался Рим,
Наваливался мрак,
И луч сквозил за ним.

Теперь я знаю, чем
Авсоний жил поэт
И почему поэм
Он не писал, задет

Тем, что наглеет гот
И штукатурка вниз
Летит: испорчен свод
И обнажен карниз.

Теперь понятно мне
Смещение имен,
Когда в одной цене
Христос и Аполлон.

Постой в очередях
Со мной, родная тень!
Беда на всех путях,
Трагичен каждый день.

Теперь я знаю, где
Спасенье для живых:
На той ночной звезде,
Что сверху видит их.

Теперь я знаю, в чем
Им, бедным, повезло:
В том, что надрыв, надлом —
Их быт и ремесло.

14/II-92.

На днях папа увидел на Новом Арбате огромный плакат, который произвел на него такое сильное впечатление, что он переписал его, не пожалев полей «Московских новостей»:

«25 и 26 проводятся общие оздоровительные сеансы. 27 февраля только для женщин. Верующим и неверующим! Встреча с колду-

ном в четвертом поколении, одним из руководителей Ордена колдунов России Юрием Тараковским и его ассистентом Еленой Никитиной. В сеансах принимает участие член редколлегии журнала «Работница» Людмила Кобзева. Во время встречи у вас есть уникальная возможность поправить ваше здоровье, а также избавиться от сглаза, овладеть методами приворожения, изгнать бесов, снять перенапряжение, стресс, получить старинные рецепты, мази, маски. Категорически воспрещается присутствие беременных и больных эпилепсией. Начало в 20 часов».

В Ленинскую библиотеку ходят теперь со своими лампочками. Ввертываешь в настольную лампу и работаешь. Не ввернешь, работай как хочешь. Готовимся к отъезду. Утром папа отвез огромную партию книг в «Дом книги» (пр. Калинина). У приемщицы совещание. Поехал к себе в институт, хотел отдать чемоданчик с книгами Волкову (он летит в США, будет в Бостоне), у Волкова заседание. Вернулся в «Дом книги». Пять из 20 ящиков отвергнуты. Снова машина, увезти, привезти. Куда? Домой пришел перед самыми «Вестями». Готовимся к отъезду.

15/II-92.

До отъезда 29 дней. Меньше — сейчас уже вечер. Нездоровится. Первую атаку гриппа (простуды?) отбила, не останавливаясь. Один день не принимала контрастный душ — и обошлось. Вчера вечером вдруг возврат: насморк, побаливает горло. Но в 12 ночи по ТВ обещали показать фильм Годара. Мы с папой не видели ни одного фильма этого знаменитого режиссера. Оба боялись, что заснем. Оказалось, напрасно. Досидели до половины второго ночи и не заметили.

В главной роли молодой Бельмондо, кто играл героиню, не знаю. У нас фильм идет (в Москве фестиваль французских фильмов) под названием «На последнем дыхании». Любовная история бандита и интеллигентной девушки. Бандит склонен к рефлексии, интеллигентная девушка беременна, но не знает от кого. Бандита ловит полиция, девушка пытается его спасти, а потом выдает. Конеч фильма мы с папой восприняли как цитату из «Пепла и алмаза» Вайды. Помните? Там Збигнев Цибульский убегает от преследователей, прячась за развешенным бельем. Его ранят, он прижимает к себе простыню, по ней расплывается пятно крови.

Бельмондо бежит по узкой пустынной улице, выстрел, на рубашке (на спине) расплывается пятно крови. Он падает. Асфальт, распростертое тело, полицейские, девушка. Политизированная жизнь в польском фильме (после войны) воспринималась как своя. Во французском фильме жизнь чужая. Но все равно интересно.

Начала читать книгу Лимонова «Это я — Эдичка». Табуированная лексика, как культурно называются теперь матерные слова, напечатанная полностью, конечно, ошеломляет и, честно говоря, отвращает. Но через несколько страниц шок проходит, слова эти пересташь замечать, а книга поражает и захватывает — поток боли, вопль растерзанного человека, растерзанной души, хотя описываются страдания плоти, говорить о которых не принято.

Девочки мои родные, я пишу все это, потому что никак не могу написать другого. Я его продала. Сегодня. Три часа назад. Я продала секретер. Последние дни я приучала себя к разлуке и уже не хранила в нем наши паспорта. Теперь надо вынуть все. И убрать Нямочкину фотографию. Сегодня не могу. Завтра. Секретер уже не наш. Вы верите мне? Не верьте. Я не верю.

Сегодня выходила совсем ненадолго. Безуспешно пыталась продать облигации. Получила из ремонта папины брюки. Много лежала. Сейчас вымою посуду и снова лягу. Папа ездил на работу, передал, наконец, чемоданчик с книгами Волкову. Вчера купила несколько интересных детских книг. Сиду спиной к секретеру. Боюсь встать и увидеть его.

16/II-92.

Книгу Лимонова (читала ночью) хочется разорвать на мелкие клочки и спустить в унитаз. А потом встать под душ и хорошенько вымыться. И забыть о ней. Но вот это последнее не удастся и, боюсь, не удастся. Я поняла: конечно, это вопль души, конечно, душа эта не бесталанна. Но человек мелкий. И амбиции у него мелкие. Почему все носятся с Бродским, а не с Лимоновым? Почему в Союзе печатали Рождественского, а не Лимонова? Вот я, Лимонов, живу в Америке, а Сахаров сидит в Москве, в западной жизни ничего (Лимонов, естественно, употребляет другое слово) не смыслит, но его почему-то все слушают, а Лимонова нет и т. д. и т. п. Вот и вся подоплека крика души. Маленький человек и

писатель маленький, хоть и не бесталанный. Но основное качество, видимо, уверенность в значимости собственной личности и каждого сантиметра тела этой личности. Последнее, конечно, ошеломляет.

После нескольких дней слякоти, снега с дождем сегодня вдруг -10°C. Яркое солнце, синее небо. Мороз и солнце, день чудесный... А утром его увезли. Вошли двое мужчин, удивились малым размерам и легкому весу и унесли. Я сразу закрыла за ними дверь, не хотела смотреть, как его ставят в лифт. Целое утро разбираю старые письма и бумаги. Ваши письма, рисунки, Ларины письма. Слезы где-то в носу и в горле. Глаза сухие. Налево, на стеклянный столик, — увезти, направо, в корзину, — выбросить. Налево, направо, в середине прожитая жизнь. Такая вот простенькая схема.

ИЗ ПОСЛЕДНИХ ПИСЕМ

Март 1992 года

Без числа.

Вдруг повалил снег. Может быть, поэтому нехорошо. Говорят, что сердечники плохо переносят метель. Читаю «Шошу» Исаака Башевича Зингера. Почему евреи не бежали? Все, кажется, понимали, что зажаты между Гитлером и Сталиным. Польские газеты чуть не ликовали в надежде, что Гитлер очистит Польшу от евреев. Почему евреи не бежали? Даже те, кто мог? Колея. Страх сменить колею. Власть кажодневной рутины. Даже перед лицом смерти? Видимо, да.

Первое сообщение о митинге в Москве, на котором прозвучал призыв разрешить все проблемы издавна известным способом.

Сажусь в трамвай с тяжелой сумкой. На верхней ступеньке покачивается мужчина, чуть не тычет в лицо пальцем: «Ты еврейка. Я тебя узнал». В подъезде нашего дома объявление: «Открывается воскресная православная школа для детей. Запись в...»

Жизнь — каша. Каша жизни.

Три часа дня. Бегу в ЖЭК. Особенно, правда, не разбежишься. Бедный наш двор — перерыто все, что можно и что нельзя. Сегодня в ЖЭКе дают талоны на водку. Всем, от младенцев до столетних

стариков, полагается теперь раз в месяц пол-литра водки. Если, конечно, достанут. Стоять, говорят, недолго, всего часа три, но главное — в обмен нужна бутылка. Мне-то что. После торжественного вечера в институте по случаю папиного семидесятилетия я принесла домой четыре (!) бутылки из-под водки, положенные мне в сумку руками заботливых сотрудниц. Так что талоны буду дарить прямо с бутылками.

Вечер. Ничего не поделаешь. После ЖЭКа, беготни по магазинам писать не могу. Листала старый «Огонек» (№11, март 1991). В статье со странным названием «Хамством по перестройке» наткнулась на строчки: «У общества, которое стоит в очередях и состоит из людей, лишенных чувства собственного достоинства, нет будущего».

Перед входом в универмаг «Москва» на перевернутых ящиках, прямо на земле расставлена... посуда. Да, да, посуда — нечто давно уже невиданное. И дешево: четыре чашки с блюдами каких-нибудь 500 рублей. «Бери, тетка, где еще найдешь! Смотри, и тарелки есть, и сервизы. Какое там дорого! Деньги теперь, сама знаешь, ничего не стоят. На свадьбу? Да на свадьбу надо не посуду, а жену хорошую дарить!»

Внутри, у самого входа за посудным прилавком томятся две продащицы. За их спинами туалетная бумага по 7 рублей рулон и странного вида вазы непонятного назначения. Москва в «Москве», март 1992 года.

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ

Продолжение

Нина Ивановна

— Ой, насилу нашла. Да еще трамвая долго ждала. У вас кто-то есть? Я на минуточку. Вот коробка. Тут лекарства, шоколад внучке и шариковая ручка. День рождения у нее. И ножницы большие прошили. Дорого, наверное, там купить.

— Максим работает?

— Работает. Грузчиком в овощном магазине.

— Простите, а вы кто Максиму?

— Да никто. Вы же знаете их дела. Как с ума сошли: уехать, уехать... Зарабатывали оба прилично. Максим и говорить нечего — ювелир! Машина, квартира прекрасная, чего еще-то? И Марина зарабатывала. Массажистка она. У нее штамп в паспорте, что замужем. У него штамп, что женат. Иначе как уехать? Американцы введенным визы не дают. Справки о разводе у них при себе. Поженятся они с Мариной, буду ему теща. Я пока с его первой женой не разберусь. Верите? Замучала. Она и в ОВИР звонила, пока они не уехали. А теперь бегают в милицию, чуть не каждый день. Говорит, он ей денег не додал. Участковый ко мне. А я причем? У меня все квитанции на руках. Сколько они договорились, столько и плачу каждый месяц. Он, видите ли, ее обсчитал. А я-то причем? Скандалом всегда хуже. Если бы добром, конечно, он бы ей больше оставил. Да ведь бабенка такая вздорная, такая вздорная... Оговорила его: он и разбойник, он и вор. Ловили бы настоящих воров, вон их сколько. Кругом грабеж, кругом обман, уже и в Москве убивают. А милиционерам другого дела нет — ко мне таскаются. Надоели как собаки. Я побегу, ладно? А то на работу опоздаю.

Лариса Леонидовна

— Я буквально на одну минутку. Можно туфли скинуть? Ноги болят, сил нет. Поскольку я теперь не заведую отделением, приходится больше быть на ногах. А ноги уже никуда. До себя, конечно, руки не доходят. Лечу всех, кроме себя. Вы знаете, голубчик, из нашей академической поликлиники все дороги ведут через «Москву». Забежала, а там дают вот такие прелестные корзиночки. Вьетнамская соломка, где угодно можно повесить. Прелесть, правда? Пусть у вашей Машеньки и у моей Ирочки будут одинаковые корзиночки. Я уверена, что довезете. Они довольно прочные. Ну как не купить такую прелесть при наших пустых прилавках. У Ирочки никаких особенных новостей. Работает с утра до ночи. А как иначе? Очень надеюсь, что с осени попадет в школу. Работа осмысленная и положение другое. Говорит, что будут доплачивать за степень. И все-таки неполный рабочий день и два месяца отпуска. Сможет хоть немного времени уделить сыну. Только бы взяли. Тесты она, как будто, прошла хорошо. Сейчас ей надо переехать от нашего род-

стенника. Он очень пожилой человек, конечно, Ирочка с сыном его стесняют. Муж мой ничего. Занимаемся оба английским. Очень трудно. Голова уже не та. Память плохая, но что поделаешь. Не оставаться же здесь. Я уж не говорю, что оба мы далеко не молоды и болячек хватает, но не в этом даже дело. Вы знаете, еду в автобусе, и мне все время кажется, что на меня косятся, что кто-нибудь сейчас скажет: «Уезжай, жидовка, в свой Израиль!» Честное слово. Все вокруг как-то тревожно. Слава Богу, мы уже в компьютере. Как-нибудь дотянем. Всего вам доброго. Счастливо вам. Всего, всего доброго. Телефон Ирочки я написала на конверте.

Инееса Евгеньевна

— Спасибо вам огромное за письма. Рассылаем с каждой оказией. А что делать? Что мою дочку здесь ожидает? Профессия дурацкая. Кончила факультет журналистики, благо дед помог поступить. Конечно МГУ, Москва, но кого там этим удивить? Хочет заниматься искусством. Тоже ни то, ни се. Танцы — еще хоть что-то. Танцевала в хорошем ансамбле. Кончила курсы хореографов. Умеет ставить народные танцы. Русские танцы сейчас в моде. Может быть, на это клонут? Конечно, нелегко жить одной на маленькую стипендию, но что могу, то могу, а больше... Лишь бы отсюда выбраться. Из нескольких университетов уже пришли приглашения. К сожалению, пока неизвестны результаты экзамена по языку в посольстве. Экзамен трудный. Язык нужно знать прилично. И главное иметь навык. Времени дают немного, приходится торопиться. Записаться на экзамен тоже нелегко. Желающих много, а принимают два раза в год. И знаете, что интересно? Экзамен сдают по частям. За сдачу первой части она заплатила 50 рублей. Денег с собой не было заплатить еще 50 за вторую часть. Пришла через три дня и ушла ни с чем. За вторую часть экзамена попросили 300! Думаете, очередь уменьшилась? Ничуть. Скажут завтра 500 и 500 будут платить. А я, вы знаете, переквалифицировалась. Не стала готовить ее одну, взяла группу. С собственной дочерью заниматься не дай Бог! И хорошо получилось. Осенью наберу новую группу. Достала учебники, есть кассеты. Если будут желающие, посылайте. Ну, всего вам хорошего, дочек своих поцелуйте. Нет, нет, я пойду, знаю, что дел у вас

еще много. Очень мне неудобно, что придется вам марки покупать. Простите, Бога ради. Уж очень она рвется уехать, да я и сама понимаю. Конечно, молодым здесь делать нечего. Нам уже все равно, а молодым надо ехать. Ну, еще раз всего вам хорошего, огромное спасибо за письма.

Таня

— Танечка, подстригите меня покороче. Уезжаю. Насовсем. К детям.

— К детям? В Америку? Ой, как хорошо! Замечательно! Конечно, конечно покороче. Чего те-то деньги тратить. Здесь плавно, да? Уши не открывать. Как они там? Ну и что, что трудно. А здесь легко что ли? Там хоть знаешь, за что терпишь, верно? Перспектива есть. Главное перспектива. Мы с мужем уже старые. Куда теперь, раз за сорок. Вы знаете, когда муж в Антарктиде был, ему очень понравилось. Трудно, конечно, но интересно. Хоть что-то повидал. Мы тогда очень хотели уехать. А как? Потыркались, потыркались и остались. Второго ребенка завели, теперь уж все. А ваши какие молодчины, какие молодчины! И работают, и учатся. Ну и правильно, так и надо. Голову будем мыть? Помоем. Слава Богу, вчера шампунь хороший достала. Ведь все свое. Надоело до чертиков. Работаешь целый день на ногах, в духоте, в грязи. Вы посмотрите, какая у нас грязь! А знаете, сколько я с рубля получаю? 16 копеек. Почему, собственно? Вон их сколько в Управлении сидит. Зарплата из наших денег. Хоть бы саботились о нас. Думаете им есть до нас дело? Все сами достаем и из своих денег платим. Для чего тогда Управление, можете вы мне сказать? Вот именно, и я не могу. Правильно девчонки в кооператив бегут. И вообще-то бежать надо. Ничего здесь хорошего не будет. Нагнитесь, пожалуйста, сейчас ополоснем. Вот так. Господи, полотенец и тех не допросишься. Вытру голову, посушу и опять клиенту подам. А люди-то всякие. Разве это порядок? Конечно, неприятно. Господи, а что у нас приятно? Вся жизнь такая. Я своей все время говорю: «Лена, выходи замуж за иностранца. Нечего тебе тут сидеть». Но она у меня какая-то неактивная. Девочка хорошая, не могу пожаловаться. Кончила медучилище, работает хорошо. Электrokardiограммы делает. Толковая девочка, но неактивная. В «Комсомольской правде» заявления сейчас принимают. Слыхали? Чуть-

чуть пониже, пожалуйста. Вот так. Я ей сразу сказала: «Подавай!», А она говорит, сорок рублей жалко. Ну не чудачка? Неужели мы для своего ребенка ради такого дела сорок рублей пожалеем? Что надо написать в заявлении? Имя, фамилию, год рождения, рост, вес, объем груди, бедер, талии. Как обычно. Три фотографии в купальнике. Она у меня хорошенькая и ладная такая. Но неактивная. Две фотографии в купальнике есть, а третью надо сделать. Она все собирает-ся, собирается, а чего собираться? Правда? Прямо здесь на углу Дмитрия Ульянова? Кооператив? И на другой день готово? Поняла, поняла, почти напротив овощного. Ну да, ну да, в ворота налево и сразу вниз в подвал. Совсем рядом. Мы завтра обе с трех работаем. Возьму за руку и сведу. Купальничек я ей достала отличный. Югославский. Так хорошо обтягивает, просто прелесть. Спасибо, что сказали про фотоателье. Завтра же сведу. Ну вот, отличная у вас получилась голова. Ничего, что покороче сделала. Те деньги надо беречь. Ну, всего вам доброго. Ни о чем не жалеете. Здесь все равно ничего хорошего не будет. Счастливо, счастливо вам. Зачем так много. Ну спасибо. Счастливо. Девочек поцелуйте. Младшую-то я хорошо помню. Счастливо вам.

ДНЕВНИК 2 января. Не пишется. На улице яркое солнце и сильный ветер. Мой маленький письменный стол с компьютером стоит перед самым окном. Сажу и смотрю, как неистово машет ветвями елка под окном, как мечутся тени на белой стене позади меня. От пляски ветвей, теней, солнечных бликов в голове кавардак. Попробую написать об отъезде.

ОТЪЕЗД

— Выездную визу получите в Шереметьево в три часа ночи. Здесь все написано.

— Здесь написано, что визу выдают с 3.00 до 3.00.

— Именно так. Опоздаете на пять минут, не улетите.

Выехали из дома около двух часов ночи. Про забытый рюкзак

вспомнила в лифте. Чтобы дурное предзнаменование не коснулось нас, за рюкзакom вернулась Лара. На улице шел густой неторопливый снег. Машина тоже шла неторопливо. Торопились только стрелки часов. На Ленинградском шоссе задержало ГАИ. Волноваться уже не было сил.

В Шереметьево приехали без чего-то три. Тишина. Покой. На полу кучками спят люди. Увидели полупустую скамейку, спросили: «Ждете представителя Спейта?» — «Да». Гора с плеч.

Представитель появился в пять часов утра. За два часа ожидания не догадались записаться в очередь и оказались последними. Ждали еще два часа. В предотъездные дни много раз спасали Ларины стальные нервы. Но когда подошла наша очередь получать визу, она не выдержала: спросила представителя СПЕЙТа, почему надо приезжать в три часа, если он появляется в пять. Холеный отупленный молодой человек невозмутимо ответил: «У нас такой порядок».

На таможне поинтересовались, сколько мы возьмем золота, и, услышав, что у нас нет ни золота, ни платины, ни серебра, не проявили к нашему багажу никакого интереса. Последний раз помахала Ларе рукой. Вдвоем.

Подносим вещи к стойке регистрации. Четыре чемодана по 23 кг, слава Богу, на колесах, две сумки по 10 кг, рюкзак.

— С билетами «Аэрофлота» регистрируем в 10 утра. Ждите вон там.

На часах восемь. Акива пристроился на каких-то досках. Я — на ленте бездействующего транспортера. В 10 утра снова подходим к стойке.

— Это у вас такая ручная кладь?! Вы в своем уме?!

Произношу какие-то жалкие слова, что узнавали, что все по 10 кг и размеры, как указано.

— Ничего не знаю! Перепаковывайте!

Стою, наклонившись над чемоданами, не могу найти ключи, не могу попасть маленьким ключиком в замок, сердце остановилось, в голове стучит: только бы не упасть. Каждая вещь, которую я достаю из сумок, вызывает громкий смех девушек у стойки. У меня постыдно дрожат руки. Разгибаюсь в ту минуту, когда лента транспортера увозит в багаж сумку со всеми моими лекарствами. Кричу,

прошу, понимаю, что бесполезно, но не могу остановиться. Акива уводит меня. Глотаю нитроглицерин. Почему-то холодно, знобит.

Прошли паспортный контроль. За кордоном. Кучки людей, летающих тем же рейсом, уже узнаваемы. Томимся у одной двери, у другой. Рядом со мной мужчина в куртке, больше похожей на поддевку, около него три девочки. Старшей, наверное, лет одиннадцать, младшей года четыре.

— Куда летите?

— В Вашингтон. Брат у меня там. Врач. Экзамен не сдал. Язык плохо знает. Но мой брат сдаст. Он-то сдаст.

Неколебимая уверенность в неторопливых словах, в глазах, в наклоне головы.

— Профессии у меня, можно сказать, нет. Но работу найду. Я-то найду. И язык выучу. Не сразу, но выучу.

Лицо усталое, измученное, хорошая добрая улыбка. С девочками разговаривает спокойно, ласково.

Около часа дня вошли в самолет, сели на свои места. Бессонная ночь, почти семь часов на ногах — сели с облегчением. Слева от меня по узкому проходу медленно движется поток пассажиров. Величественная старушка в кресле на колесах, хорошо одетая, подкрашенная, гордое лицо красиво вопреки морщинам. Страх выдают только руки — десять пальцев судорожно вцепились в паспорт. Заплаканная пожилая женщина с палочкой, молодая мама с ребенком на руках. Двое молодых армян укладывают на багажные полки основательно набитые сумки и весело переговариваются:

— Неужели все это поднимется в воздух?

— И даже приземлится в Нью-Йорке?

Длинноногие американские бортпроводницы в голубых брючных костюмах — у каждой при полной форме свой бантик или косыночка — умело рассаживают растерянных людей. Все говорят порусски, легко переходят с одного языка на другой и все улыбаются. Только раз я увидела, как одна из них растерялась. Повторив это раз, что надо пристегнуть ремни и нельзя вставать с места, она увидела двух мужчин, которые почему-то снова встали.

— Пожалуйста, очень, очень пожалуйста, сядьте, ради Бога! — взмолилась она.

Летим как во сне в прямом смысле слова. Затекают ноги. Даже мои колени упираются в спинку кресла предыдущего ряда. Американская практичность: хочешь лететь дешево, плати коленями. Надо встать, походить. Явь: «Паспорт! Билет! Посадочный талон!» За это утро — утро? ночь? день? — я показывала паспорт, билет, посадочный талон... десять раз? двадцать? Не помню. Сон: непривычная вкусная красивая еда. Непривычная красивая, хоть и пластиковая, одноразовая посуда. Явь... Сон...

ДНЕВНИК 13 января. Вчера был трудный день: отвезла Акиву в МТИ*, привезла домой. Пообедали, Акива включил компьютер, но работать не смог: нужный текст и дискетку забыл на работе. Снова ездили в МТИ. Писала урывками.

Сегодня с утра за окном плотный снежный занавес: падают и падают крупные деловитые снежинки. Улицу Эмбасси не узнать. А мою ель будто подменили. Под тяжелым грузом снега ветви опустились чуть не до земли. Гордая колючая красавица превратилась в белую плакучую иву.

Первый снег в эту зиму. Совсем уже собралась ехать к Юле — сегодня мой день, — телефонный звонок. Поездка отменяется: с машиной мне не справиться, город тонет в снегу. Тонет, правда, по-американски. В двенадцать часов дня японки из дома напротив уже расчищали подъездную дорожку, а хозяин нашего дома — тротуар. Одна за другой по нашей маленькой Эмбасси проехали две снегоборочные машины и вслед за ними машина-дворник, заботливо посыпавшая мостовую смесью песка с порошком, вызывающим таяние снега. Сейчас половина второго, по улице уже можно ездить. Но я осталась дома. Снова перечитываю свои старые записи, письма, дневники.

**ЗАПИСИ
БЕЗ ЧИСЛА**

Март 1992 г. Нью-Йорк

Из Москвы прилетели в Нью-Йорк. Встретили нас Маша и ее муж Гена. Вещи погрузили в их маленькую машину, Гена с Акивой поехали домой, мы

* МТИ — Массачусетский технологический институт

с Машей пошли к автобусу. Тротуар круто поднимается вверх — в небо. На ярко-синем небе висит огромная желтая луна. Слева здание аэропорта: галереи, застекленные переходы, многогранные башни, и все это тоже устремляется вверх — к небу. А ветер! Напористый, упругий, горько-соленый ветер толкает меня в грудь, в спину, сбивает с ног. Хочется схватить его двумя руками, повиснуть на нем и лететь к луне.

Останавливаюсь. Достая нитроглицерин. Медленно идем в гору. Бесшумно подъезжает сияющий автобус, ослепительно улыбается негр за рулем. Садимся. В автобусе заговорились, проехали свою остановку. Идем по улицам Кью Гарденса. Уже стемнело. Маше нужно что-то купить. Заходим в небольшой магазин. Нет сил смотреть на полки, заваленные продуктами в яркой кричащей упаковке. Нет сил смотреть на самодовольное изобилие молока, сыров, колбас, на банки компотов, на горы фруктов — яблоки, груши, мандарины, апельсины, бананы, персики, киви, манго, что там еще?!?! Схватить, немедленно, все подряд, бросить в корзину, в ящик, в рюкзак, скорее, в Москву...

— Мам, здесь нет наших любимых крекеров. Ты не устала? Давай зайдем в другой магазин, он совсем рядом.

В другой? В «Кукурузу»? В «Аспирантский»? В «Заказ»? Я не хочу идти в другой магазин. Я больше нигде не хочу идти...

Март 1992 г. Бостон

Два дня жили в Нью-Йорке у Маши. В Бостон приехали на автобусе. С формальностями помогла справиться Юлия. И сразу же: как жить? Чем? Помогает мечта поехать в сентябре в Италию. Акиву пригласили прочесть лекции в летней школе под Перуджей и в Римском университете. Поверить, что эта поездка состоится, невозможно, но Италия — спасательный круг, брошенный судьбой. Держусь за него изо всех сил.

Одно из неотложных дел — получить нужные документы. Ездили за ними в учреждение с длинным названием: «Служба иммиграции и натурализации». Секретарь, огромный лиловый негр, внимательно выслушал Акиву, выдал анкеты и объяснил, что делать дальше. «Лиловый негр вам подает»... Нет, на сей раз не мантия, а всего лишь анкеты. Но анкеты сейчас нужнее.

«Служба иммиграции» помещается в огромном здании Правительственного центра в деловой части Бостона. Здесь много небоскребов. Они очень украшают город. Удивительно, как эти великаны вписаны в тесные узкие улицы. Удивительно, как они непохожи друг на друга. Но перед Правительственным центром находится нечто из цемента, что, видимо, надо считать скульптурой. Это вздернутое нечто стоит на трех то ли ногах, то ли лапах и не вызывает ни малейшего желания остановиться на нем взгляд. Рядом растет большое дерево. Это по-американски: при строительстве Центра дерева, конечно, сохранили. И оно прекрасно смотрится на фоне величественного здания — ничем не примечательное высокое дерево с голыми без листьев ветвями.

Впечатления переполняют глаза, душу, рвутся из горла. Все рассказать, записать, не забыть, не упустить. Для чего? Для кого? Не знаю, но пишущая машинка стучит и стучит.

Юля с мужем снимают такую большую квартиру — по нашим прежним меркам, — что в ней нашлось место для нас с Акивой и даже у Нямы есть своя комната. Сдалась: называю свою внучку Нямой, Нямошкой. Настоящего своего имени — Наоми — она не любит, хотя здесь, в отличие от Москвы, оно встречается довольно часто. Сбилась, хотела написать о другом.

В подвале дома, где все мы живем, удивительный порядок: обувь расставлена по полкам, одежда висит на вешалках. В одном углу стоит стиральная машина, в другом, рядом с древним водогреем (большой несударный котел с какими-то трубками и кранами) отгорожен кабинет. Стенами ему служат уложенные друг на друга бандероли с нашими книгами — те самые бандероли, которые я отправляла сюда из Москвы. Книги пока — надеюсь, что пока, — деть некуда.

В кабинете на письменном столе стоит компьютер. Нужно непременно научиться им пользоваться. Поражаюсь терпению Юлиного мужа Миши: вечерами после нелегкой работы он учит Акиву обращению с этой загадочной машиной. Поражаюсь отваге Акивы: на восьмом десятке, при полной беспомощности в обращении с любой техникой, он прилежно учится. Я боюсь войти в кабинет.

Я боюсь компьютера и храню верность бумаге и ручке, пишу-

шей машинке и бумаге. В большой толстой тетради веду дневник. На машинке пишу письма друзьям в Москву.

ДНЕВНИК 6 апреля. С чего начать? Начать? Когда скоро 70? В марте бежали часы, потом побежали дни. Сейчас мчатся недели. И при таком беге ощущение неподвижности. Жизнь остановилась. Нет, жизнь, конечно, не остановилась, но я из нее выброшена. Страшно. Как вернуться? Как соединить «там и тогда» со «здесь и теперь»?

Половина третьего. Через час придет из школы Няма. Надо ее накормить, исправить ошибки в ее классном сочинении и что-нибудь ей почитать. Потом придет Мишина сестра Катя и отвезет Няму на теннис. Назад привезет в шесть. К этому времени должен появиться Юра Тувим*. Он обещал построить в коридоре стеллаж для книг. Бесценный подарок. Юра придет с работы, нужно приготовить обед. У меня есть час, чтобы позаниматься английским.

ПИСЬМА В МОСКВУ

Из Москвы писала дочерям в Нью-Йорк и в Бостон. Из Бостона писала друзьям в Москву, как прежде дочерям: общую часть одну для всех, благо сделать копию здесь ничего не стоит, личную каждому отдельно.

*Письмо второе. 28 апреля 1992 г.
(Сохранившийся отрывок)*

Лонгвуд Авеню — не очень длинная улица, но часть ее находится в Бостоне, а часть в Бруклайне. А Юля, оказывается, живет не в Бостоне, как я думала в Москве, а в Ньютоне. Вся эта неразбериха из-за того, что собственно Бостон облеплен десятком небольших городков и все вместе это тоже Бостон. О чем или о ком здесь не спросишь, в ответ слышишь: «В каком это городе?» В Бостоне, черт возьми, в Бостоне. Но чертыхаюсь я зря. Не чертыхаться надо, а побыстрее переучиваться.

*Юрий Тувим — друг нашей семьи, принимал участие в правозащитном движении, в 1975 г. был вынужден эмигрировать в США.

Мы с Акивой ищем дом № 90 на улице Лонгвуд. Там находится еврейская организация, где можно подать заявление и встать на очередь, чтобы получить дешевую квартиру. Нам очень нужно это сделать. Вышли из метро около дома 350. Я испугалась: идти далеко, а времени мало. Но Акива напомнил, что у американцев номера домов соответствуют скорее номерам квартир. Большой дом делят на секции (квартиры) и соответственно нумеруют, в чем мы тут же убедились. Прошли три дома и увидели № 280.

А какая улица! Иду, разинув рот, и верчу головой во все стороны. Огромные дома не поражают красотой. Но люди! Вокруг молодые лица, все разные, и вся эта толпа молодых бостонцев куда-то торопится. Юноши и девушки легко одеты, многие в красивых удобных халатах синих или белых и в таких же шапочках. На улице Лонгвуд царит медицина. Многие здания принадлежат здесь медицинскому факультету Гарвардского университета, или Гарвардской медицинской школе, как его обычно называют. Здесь работает Миша, здесь учится Юля.

Приземистое серое здание в виде буквы «П». Между ножками и перекладиной «П» зеленая лужайка с деревьями. Под лужайкой многоэтажный гараж. Его строили с помощью вертолетов, потому что на неширокой улице, перегруженной потоком людей и машин, негде было разместить строительную технику. Огромное здание, вернее комплекс зданий, объединенных застекленными переходами на уровне верхних этажей — Дана Фабер Институт. Здесь занимаются изучением и лечением рака. Юля работала в этом институте до поступления в аспирантуру. У подножия зданий-великанов приткнулись автофургончики со всевозможной едой, маленькие кафе, пizzerии с непривычными вывесками: «Работаем 24 часа в сутки семь дней в неделю». Так работают в Лонгвуде.

Поперечная улица, номер дома на нашем углу 124. Нужно перейти дорогу. Это нетрудно. При виде пешехода машины останавливаются, как испуганные дети. Но за поперечной улицей другой мир. Двухэтажные бараки, голая земля, грязь, безлюдье. Изредка встречаются обтрепанные черные мужчины, пестро одетые черные женщины.

Вечером Юля сказала, что мы попали в знаменитый — город? район? — Роксбери, куда даже днем лучше не заходить. Роксбери —

бич Гарварда. Из-за близости Роксбери в Гарварде держат телохранителей. По вечерам они провожают сотрудников Гарвардской медицинской школы до автобуса.

Поняв, что заблудились, вернулись назад. Кто-то из прохожих объяснил, что мы ходим по Бостону, а дом, который мы ищем, находится в Бруклайне. Чтобы попасть в Бруклайн, надо идти по улице Лонгвуд в обратном направлении.

Послушно возвращаемся, пересекаем какую-то улицу и... Снова другой мир. Небольшие дома с лужайками, садиками. Цветы, чистота, тишина. Все очень ухожено, но как-то невесело. Кажется, что дома стоят, поджав губы. Бруклайн. Мы пришли в Бруклайн. Здесь живут богатые бостонские евреи и разбогатевшие эмигранты из России.

Страница без даты

В дождливую холодную субботу Юля в первый раз привезла меня в библиотеку города Ньютона, где все мы теперь живем. Библиотеку построили недавно, архитектурными красотами здание не блещет. Но внутри! Середина дня, в библиотеке полно людей. Мальчики и девочки, молодые родители с детьми, высохшие старички с палочками, нарядные седовласые бабушки — все роются в книгах, благо доступ открытый. Маленькие дети с книгами в красивых твердых переплетках сидят на низких стульях, лежат на полу, покрытом ковром.

В библиотеке тихо, чисто, красиво, удобно. О приветливости, терпении и доброжелательности тех, кто здесь работает, нечего и говорить. Сотрудники на выдаче были просто счастливы, что к ним пришла бестолковая пожилая женщина из слаборазвитой страны. Их нисколько не смущало, что женщина не в состоянии понять, как устроена компьютеризированная библиотека, зачем ей дают пластиковую карточку и почему не надо предъявлять никаких документов, а достаточно сказать свой адрес, после чего можно взять все, что хочешь: книгу, видеокассету, книгу-кассету. Есть и такие. Американцы проводят в машинах много времени. По дороге на работу и с работы часто пользуются кассетами. Слушают классику, детективы, научно-популярные книги.

Я взяла «Собаку Баскервилей», книгу и кассету. Сегодня несколько часов слушала текст. Когда не понимала, смотрела в книгу. Учиться

английскому языку по-другому пока не могу. А учиться надо. Говорю без затруднений, понимаю с трудом. Из-за произношения, быстроты речи и из-за слуха. Правым ухом, по-моему, совсем перестала слышать.

Домой возвращалась пешком. Долго поднималась вверх по нарядной улице Гомера. Названия здешних улиц — это отдельный рассказ. Их почему-то немного, и они упорно повторяются. Другой улицы Гомера я, правда, пока не видела, но Зимние, Весенние, Летние и Осенние улицы, не говоря про Главные, Центральные и особенно любимую улицу Вашингтона, непременно есть в каждом городе. Только в центре Бостона я видела осмысленные названия, как-то связанные с недалеким (далекого-то нет) прошлым города: Хлебная, Молочная, Мельничная.

Весна холодная, но на улице Гомера в богатом еврейском городе Ньютоне уже зацвела магнолия, зазеленели прибранные лужайки, незнакомые желтые цветы осыпали тонкие веточки форситии, удивительного кустарника, на котором сначала появляются цветы и только потом, когда они опадают, распускаются листья.

Тихая улица Гомера упирается в оживленную Центральную, Центральная, в соответствии со своим названием, приводит в Ньютон-центр. Такой центр есть в каждом городке. Обычно это небольшая площадь или квартал улицы с парковкой для машин, магазинами и магазинчиками (в Ньютоне, к сожалению, довольно дорогими), почтой и аптекой, где кроме лекарств продается все, что угодно для тела, а также для души.

От Ньютон-центра поднялась вверх по коротенькой улице Чейз, где уже знаю каждый дом, и свернула на нашу улицу Рипли. От библиотеки до дома шла минут сорок. Эта прогулка сделала нас ближе — меня и город Ньютон.

НЬЮТОН, 1992

Банк

От улицы Рипли до Ньютон-центра десять минут ходьбы. Говорим о пустяках. Стараюсь улыбаться. Юля все понимает, шутит, смеется. В отделении, где стоят банковские автоматы, слава Богу, одни. Прохладно. Спокойно.

— Все устроено предельно просто. Главное — внимательно прочесть, что написано на экране. Вставь карточку. Не так. Посмотри, видишь картинку? Понятно, каким концом вставлять? Вставляй. Не торопись. Прочти, что написано. Прочла? Нажимай нужную клавишу.

— Ой, ошиблась.

— Ничего страшного. Попроси вернуть карточку. Так, получила. Сначала. Прочти спокойно, что написано, ты же знаешь английский. Все получится. Не торопись.

С третьего или четвертого раза получилось. По спине бежит пот. Ноги дрожат. Кладу в сумочку карточку, деньги.

Дверь открывается. Входит молодая женщина, высокая, красивая. Рядом с ней бывшая женщина: согнутая спина, мертвые бесцветные волосы, бледные щеки в морщинах.

— Мама, только не торопись. Это очень просто. Не волнуйся, внимательно прочти, что написано. Прочла? Нажимай нужную клавишу...

Мама-тренинг. Очередная дочь учит очередную маму пользоваться банковским автоматом. Спокойные, терпеливые дочери. Растерянные, бестолковые мамы. Бостон, август 1992 года.

Едут и едут к детям старые родители. Старые, измученные — едут, только бы добраться. Приезжают. А дети еще дальше, чем прежде. Дети — набравшиеся опыта взрослые, родители — беспомощные дети. Мир перевернулся. Рвется и рвется необрываема пуповина. Как жить? Что делать? Ньютон, август 1992 года.

Комната-фонарь

Несколько дней шел дождь. Затихал, снова моросил. Иногда вдруг налетал ветер. Бушевал несколько часов и уносился, не разогнав тяжелые низкие облака. Разбойник ветер отнял у меня друга — плющ. Молодой, светло-зеленый, с гибкими, нежными стеблями, он так трогательно цеплялся за мое окно, просовывал усики между рамами, заглядывал в комнату. Злодей ветер порвал стебли, забросил зеленые плети на электрические провода. Бедный мой плющ.

Сегодня тихо. Комната-фонарь греется на солнышке. Кровать, вернее большой широкий матрас, на такой же широкой раме, стоит

вплотную к двум окнам. В изголовье — стена, напротив — два другие окна, между ними узкий простенок. Дверь-гармошка символически отделяет нашу спальню от кабинета, одна стена которого — тоже два окна. Плющ, кипарисы, рододендроны — зеленые руки тянутся ко мне со всех сторон. Комната-фонарь — мой новый зеленый дом. Остров в красивом чужом мире. Остров обитаемый, благоустроенный. Но я всю жизнь жила на материке. Как быть? Что делать?

Няма

— Нямочка, кого ты видела?

— Зайца.

— А кого еще?

— Бизона.

— Какой он, бизон?

— Большой. Очень. Попа голая, а тут — тычет пальцем в подбородок — тут борода. Длинная. Очень.

ДНЕВНИК 2 августа. Сегодня впервые сама подняла капот машины, налила рулевую жидкость, доехала до Ньютонской библиотеки, вернулась и запарковала машину в Ньютон-центре. На заправочной станции купила про запас бутылку рулевой жидкости и даже

осмелилась возразить против слишком высокой цены, благодаря чему сэкономила 60 центов. Окрыленная успехом благополучно проехала трудный перекресток и запарковала машину на крутом склоне у своего дома.

Очень хотелось пить. Вспомнила, как вчера Юля грозно сказала: «Мама, учти, пожалуйста, сок и фрукты здесь не только для детей». Открыла холодильник и налила себе полчашки апельсинового сока. Непривычное действие. Руки и ноги чужие — плата за успех. Писать трудно, но сегодня другого времени не будет.

Вчера смотрели дома фильм Каневского «Умри, замри, воскресни». За последние два года этот фильм получил все мыслимые и немыслимые награды на всех западных фестивалях. Почему? За что?

Однообразная, невыразительная съемка. Однообразная, невыра-

зительная игра детей. Драки, драки, драки. Телогрейки, телогрейки, телогрейки. Загаженная земля. Загаженные жизни. Школьник бросил в сортир дрожжи. Говно забродило и выплеснулось на улицу. Эпизод этот показан подробно, со вкусом. А чтобы было современно, в последнем эпизоде мать, скорбя о гибели малолетней дочери, скачет голая на метле.

Раскрепощенный кинематограф бывшего СССР устремился на Запад в поисках валюты и славы. Все на продажу! Несчастья, трагедии, убожество и, конечно, говно. Уж этого добра навалом.

Фильм Кончаловского «Свой круг» (тоже на кассете) сделан лучше. Хорошо играют актеры, есть выразительные кадры, любопытный сюжет. На должность киномеханика, который крутит фильмы для Сталина и его приближенных, попал наивный паренек Ваня, искренне преданный великому вождю и великому делу построения коммунизма. У Вани отняли любимую жену Катю — Берия сделал ее своей любовницей, — но вера его уцелела. Беременная Катя возвращается к мужу и в первую ночь дома вешается. Лицо Вани крупным планом. Полные слез глаза устремлены в пустоту. Сбоку раскачиваются две женские ноги.

Но и этот фильм сделан на продажу. Сделан, чтобы поугасть и разжалобить сытых и благополучных. Спекуляция на трагедиях — 37-й год в фильме тоже не забыт — отвратительна, профессиональная в том числе.

ДНЕВНИК 23 января. Воскресенье. В четверг утром Акива улетел в командировку, возвращается сегодня в восемь вечера. Сажу за компьютером, как все последние дни, и с тревогой поглядываю в окно. К концу дня обещали снегопад, не отложат ли рейс? Пять часов вечера. Пасмурно, но снега пока нет.

Проснулась сегодня поздно и с удивлением увидела, что елка под окном спокойна. Значит, холодный ветер, не унимавшийся несколько дней, стих. Одеюсь и до завтрака полтора часа катаюсь на лыжах.

* В сентябре 1993 г. Юлия и Миша с детьми переехали в дом, купленный в Ньюто-не, нашли нам квартиру в Брайтоне, помогли перебраться и устроиться на новом месте.

Каталась — это, конечно, преувеличение. Ходила на лыжах. Левая нога без лыж и с лыжами болит одинаково. Но снег, тишина, ивы на поляне все равно радость. Неприятно, что из-за короткой прогулки весь день чувствую усталость. С этим, видимо, надо смириться. «А слово «жить» ведь значит покоряться». Не помню, кто это сказал.

Странные четыре дня без Акивы: все время в прошлом. Ньютонская библиотека, комната-фонарь на улице Рипли... Как давно все это было. В другой жизни. В американской, но в другой. С тех пор прошло восемь лет. Как рассказать о первых месяцах? О страхе перед чужим, может быть, прекрасным, но чужим миром? О попытках узнать этот мир, принять его? О нашей новой жизни в Брайтоне отдельно от Юли?

Ночью несколько раз просыпалась. В голове вертелось написанное за эти дни. Необычные дни: никуда не выходила, ничего не делала, только писала. Нет, еще читала «Диалоги с Иосифом Бродским» Соломона Волкова. Очень интересно. Ночью что-то прояснилось в голове, как теперь иногда бывает по ночам. Хочу вернуться в Москву и в Ньютон.

ЖИЛБЫЛ У БАБУШКИ СЕРЕНЬКИЙ ОСЛИК

Знакомые знакомых сказали, кому позвонить, сколько дать. Без «дать» в автошколу можно было попасть только после долгого ожидания. На ожидание уже не было времени. Созвонилась, дала, начала посещать занятия. Вечером около универсама «Москва» садилась в автобус или в троллейбус, выходила на Октябрьской площади и через несколько минут была на месте.

В группе человек 20: молодые мужчины, женщины, бойкие девушки, парни. В возрастной категории после шестидесяти я одна. Многим нужна только бумажка, водить машину давно умеют. Некоторые старательно записывают объяснения инструктора. Я не могу даже этого — ничего не понимаю. Дома читаю учебник, успехи минимальны.

Однажды инструктор спросил, не могу ли я перепечатать нужный ему текст. «Перепечатаете, поставлю зачет. Сами зачет вряд ли

сдадите». Согласилась немедленно. Текст перепечатала, зачет сдала, нервничать на занятиях перестала.

Подошли выпускные экзамены. Обратилась за помощью к благодетелю, зачислившему в школу. Он объяснил, сколько кому полагается и посоветовал не волноваться: «Все будет в порядке».

В назначенное время приехала на Белорусский вокзал, встала в указанном месте, жду зеленую машину. Проходит тридцать минут, сорок, решила, что обманули, но машина, в конце концов, пришла. Не помню, где происходило все остальное. Ехали долго, потом снова ждала, потом был письменный экзамен, потом меня и двух мужчин кто-то посадил в машину и снова куда-то повез. На тихой безлюдной улице машина остановилась. Инструктор сказал, что каждый из нас должен доехать до конца улицы, повернуть и вернуться назад. Первым вызвал одного из мужчин, сам сел рядом. Мужчина выполнил задание почти без замечаний. Второй села за руль я. До поворота не доехала. «Хватит, самоубийца», — прошипел инструктор и сунул мне в руку бланк с отметкой «Экзамен сдан».

После экзамена долго не могла прийти в себя. Стала бояться машин, разучилась переходить улицы. Мучил страх, что не я одна получила водительские права с помощью благодетеля. Спас Александр Сергеевич. Не поэт, водитель-инструктор УПК.

Из окон нашей квартиры на улице Вавилова был хорошо виден большой школьный двор. Улица Вавилова — формальный адрес. Наш девятиэтажный корпус стоял в глубине двора, почти у забора школы, где в первых двух классах училась Юля. Зимой, выходя на лоджию, я смотрела, как на уроке физкультуры малыши катаются на лыжах. Юля, самая маленькая в классе, бодро бежала последняя. Кроме физкультуры Юля любила еще уроки труда, когда их крикливую основную учительницу заменяла благодущная мама одного из учеников.

Как-то в разгар затянувшихся торжеств, посвященных столетию со дня рождения Ленина, Юля пришла из школы понурая.

— Что случилось?

— Труда не было.

— А что было?

— Пионеры приходили. Рассказывали про Ленина.

— Что рассказывали?

Молчание.

— Ленин был хороший?

— Откуда я знаю, он в тюрьме сидел.

Через неделю.

— Юля, ты прочла, наконец, «Белого пуделя»?

— Нет.

— Почему?

— Опять про Ленина?

Когда детей в микрорайоне стало мало, в помещении школы оборудовали Учебно-производственный комбинат — УПК. Александр Сергеевич, штатный водитель-инструктор УПК, подрабатывал, беря левых учеников.

Отношения складывались трудно: «Как сидишь? Где правая рука, Юня Самуиловна... — Остальное деликатно про себя. — Сколько можно говорить? Поворачиваешь, переключи скорость!»

Старая, выдавшая виды машина. Да и я немолода. Не хватает сил, не могу справиться с двумя заданиями одновременно: поворот и переключение скорости. «Куда смотришь, Юня Самуиловна... Сколько можно говорить?! Не смотри под колеса! Вперед смотри, вперед и по сторонам! В городе едешь и ничего не видишь. Я когда еду, все вижу: где, что в магазине дают, где посуду принимают. Вечером жене расскажу. А ты что?!»

А я боюсь встречных машин, пешеходов. По двору ездить легче. Но не всегда. «Проезжай 50 метров и остановись». Проезжаю, останавливаюсь. «Сколько, думаешь, проехала, а?» Молчу, понятия не имею. «Сто, понимаешь, сто, не меньше! Снова!» Еду, останавливаюсь. «Ну и ну... Теперь тридцать. Не-ет, Юня Самуиловна, тебя к нам в органы никогда бы на работу не взяли. У тебя никакого глазомера нету!»

Александру Сергеевичу я благодарна. Он многому меня научил. Главное, вселил надежду, что железным ящиком на колесах под названием автомобиль, видимо, можно научиться управлять.

В Ньютоме, после нашего приезда Миша потратил много времени и сил на покупку подходящей машины. Сложность заключалась в том, что, как всегда, нужна была канарейка за копейку, чтобы пела и не ела.

Миша справился. В один прекрасный день перед домом на улице Рипли, где мы все тогда жили, появился ослик по кличке «Шевроле».

— Мам, ты ошиблась. Дверь открывай маленьким ключом. Правильно. Другим заведешь машину. Все, завела. Поехали. У светофора левый поворот. Встань в левый ряд. Еще немного вперед. Ты же ничего не видишь, когда так стоишь. Осторожнее поворачивай! Оставайся на своей полосе! На своей полосе!

Вечерами после работы, два-три раза в неделю, иногда в воскресенье Юлия терпеливо сидела со мной в машине. На скоростную дорогу первый раз выехала с Мишей. Парковать машину учил Юра Тувим.

— Поставь машину вон туда.

Безуспешная попытка.

— Чего сидишь? Не получилось, давай снова.

Снова неудача.

— Не могу.

— Как это, не могу? Давай!

— Сколько раз можно пытаться?

— Сколько нужно. Пока не получится. Поняла?

Поняла. Начала ездить сама. Проезжала мимо большой грузовой машины. Казалось, что места достаточно. Про глазомер Александр Сергеевич правильно говорил. Ошиблась. На боку серого осла появилась глубокая вмятина. Не сумела разминуться с тумбой у обочины — вмятина на носу. Медленно, неуклюже делала левый поворот на шоссе. В левую заднюю дверцу врезалась машина. Серьезная авария. Серого осла с трудом удалось поставить на ноги.

Я давно знала, что страдаю топографическим идиотизмом, но серьезность этого заболевания оценила, только став шофером. Поехала забирать Няму из школы. Поездка легкая — десять минут. На обратную дорогу потратила час: заблудилась, не могла найти свой дом. Очень испугалась. Маршруты стала записывать: «МТИ. По Рипли направо, на углу налево, второй поворот направо»... Проехав по одному и тому же маршруту раз десять-пятнадцать, дорогу запомнила и обходилась без шпаргалки. Пользоваться картой так и не научилась. Не смогла. В Америке это беда: прохожих на улице нет,

спросить дорогу не у кого, разве только остановишь проезжающую машину.

И все бы ничего, но после ремонта осел задурил. У него появилась привычка внезапно останавливаться в самую неподходящую минуту: на скоростной дороге, на трудном повороте, на подъеме по заснеженной улице. Разлука стала неизбежной. И тут оказалось... Я не могла поверить... Оказалось, что я привыкла, нет, привязалась к своему железному ослу. Мне было жалко с ним расставаться.

Жил был у бабушки серенький ослик. Вот как, вот как, серый осел.

НЯМА И БУРАТИНО

После школы читаю с Нямой «Буратино». Буратино голоден, еды дома нет. Папа Карло накидывает на плечи старую куртку, уходит, возвращается без куртки. В руках у него хлеб и луковица. Спрашиваю Няму, откуда у папы Карло хлеб.

— Купил.

— Но ведь у него не было денег.

— Юня, ты что, не знаешь? Если нет денег, надо пойти в банк. Провожу разъяснительную работу, спрашиваю, куда же делась куртка.

— Куртку он потерял, — не задумываясь, отвечает Няма, большая специалистка в этом вопросе.

ПИСЬМО В МОСКВУ

Письмо третье. 5 мая 1992 г.

(Начало не сохранилось)

Бостон цветет. Боже, сколько вокруг цветов и птиц. И все незнакомые. У нас в саду часто появляется довольно большая птица с удивительным хвостом: синим с белой полоской по краям. И будто мало такого хвоста, на голове у нее длинный синий хохолок.

Цветы ошеломляют. Искусственные — их здесь тоже много — такие нежные, такие трепещущие, что кажется, будто они пахнут. Поверить, что они искусственные, невозможно, даже когда, нарушая приличия, прикасаешься к ним рукой. А живые цветы часто кажутся почему-то искусственными и почти никогда не пахнут.

В Музее изобразительных искусств открылась выставка «Перекрестки импрессионизма». По средам с шести до десяти вечера вход бесплатный. В прошлую среду, кроме импрессионистов, в музее была еще выставка цветов. Ходила на выставку с Инной, мамой Юлиного мужа.

Цветы поразительные. Никогда таких не видела: фиолетово-багрово-красного цвета величиной с голову подсолнечника и совсем крошечные, на толстых мясистых стеблях, на едва видимых стеблях-ниточках, свернутые в спираль... Все эти диковины собраны в букеты немислимой красоты. Букеты стоят в соответствующих вазах (соответствие очень тонкое и, по-моему, безошибочное) и в соответствующем месте, т. е. рядом с картинами, цветовую гамму которых они или оттеняют, или обогащают, или освещают как-то по-новому. Диву даешься, как такое возможно. Но сами цветы — они живые, я их трогала — кажутся при этом тоже произведения искусства, то есть искусственными. Такой вот неожиданный эффект.

В музее было много народа, но места хватало всем. Ни духоты, ни толкотни. И те же непривычные лица, что в библиотеке: мамы и папы с крошечными детьми в рюкзаках и колясках, дети постарше, юноши и девушки, совсем старые люди со странными трехногими палочками, инвалиды в креслах на колесах. Многие ходят в наушниках с кассетными магнитофонами в руках — на прокат можно взять запись любой экскурсии. Встретила группу глухонемых со специальным экскурсоводом, владеющим азбукой глухонемых, — одним словом, Америка.

На выставке много великолепных картин французских импрессионистов из музеев и частных собраний. Впервые видела «Дом в Арле» Ван Гога — не репродукцию, а подлинник. Рядом с французами висят американцы. Не знаю, что хотели этим сказать устроители. Сравнение, мягко говоря, не в пользу американцев, но я не представляла себе, что влияние француз было здесь таким сильным. Самостоятельными работами я бы назвала только одну картину Саржента и две-три картины Уистлера.

У Саржента вытянутый вверх лист бумаги перерезает по диагонали черная изломанная линия фигур оркестрантов (все с разными

инструментами) и над ними одинокая, тоже черная, фигура дирижера. Не знаю, почему эта композиция производит трагическое впечатление.

На Уистлера обратила внимание из-за Остроумовой-Лебедевой: я только что прочла том ее воспоминаний, где она много о нем пишет. Удивительно, с какой выразительностью рассказывает Остроумова-Лебедева о своих поездках в Италию, во Францию, в Испанию. Кажется, что сама видишь всю ту красоту, которую видела художница. И как много она успела повидать и сделать. Глава об Испании начинается с упоминания, что всю поездку ее мучили приступы астмы и бронхит, а потом рассказывается, какие города она объехала и что увидела. Однажды в Толедо ее на улице застала гроза. Она бегом вернулась домой, но не могла смириться с тем, что пропадает рабочий день. Бродила по квартире, выглядывала в окна. Вид на город из окна чулана показался ей интересным. Она примостилась на ящике и нарисовала «Вид на Толедо в грозу». Акварель висит сейчас в Вологодском музее.

Кончаю. Акиве нужна машинка. Компьютером он еще не овладел. Общее письмо и отдельные письма надеюсь отправить с okazji ей 17 мая.

7 мая. Еще несколько слов.

Проснулась сегодня около 9, минут 20 лежала с обычными утренними мыслями: где я? Почему здесь? Зачем? Как прожить день? Острота их притупилась, помогает рутина. Сегодня четверг, значит стирка. Бегом в подвал, закинуть в машину первую порцию и... и начался день.

Акива торопится к зубному врачу. Сломался сделанный в Москве протез. Из почтового ящика вынула письмо мэра города Ньютона. Господин мэр сообщает, что узнал от своего друга проф. Атласа о приезде проф. Яглома с супругой и на целой странице рассказывает, как он счастлив по этому поводу. «В случае необходимости к вашим услугам»... и т. д. и т. п.

В конверт вложена брошюрка. Из нее можно узнать, что город Ньютон возник в 1630 г. нашей эры и что живет в нем сейчас 86 тыс. человек. В ней же сообщается, какие в Ньютоне школы, библиотеки, блага для пожилых (их много), как обстоит дело с

транспортом (хорошо!), с уборкой мусора (прекрасно!) и многое другое. Конечно, это игра, но игра приятная и небесполезная. Последняя страничка брошюрки — коротенькая анкета. Укажи имя, фамилию, адрес, чем интересуешься (культура, искусство, экология, школы) и отправь. Тебе быстро и доброжелательно ответят, и это прекрасный способ включиться в местную жизнь, что многие и делают.

Не перестаю удивляться американским газетам — «Нью-Йорк таймс», например. Большой интересный отдел политических новостей. Все удобно расположено: новости в мире, в стране, в Нью-Йорке. Но как непривычно! Бесконечные обсуждения кандидатов в президенты часто на постельном и кухонном уровне. Не могу поверить, что все это всерьез. Бунт обывателя: тот президент, другой — какая разница? Страна живет и, в общем, процветает. Понимаю, что не надо сравнивать страну, из которой уехала, с той, куда приехала. Но ощущение, что с жиру бесятся, не оставляет.

Газеты долго бушевали по поводу известной миллионерши, владелицы сети гостиниц в Нью-Йорке. Даме этой больше семидесяти лет, сидит в тюрьме за то, что не платила налоги. Что ей, дуре старой, стоило заплатить? На что не хватало денег? Говорят, что с такой психологией я никогда не стану миллионершей. Наверняка не стану, но не обо мне речь.

Поражают феминистки. Здесь ведь за убеждения не преследуют. Будь хоть феминисткой, хоть пацифисткой — пожалуйста! Так зачем сжигать перед мэрией гору бюстгалтеров? Кажется, пошлите лучше в СНГ в порядке гуманитарной помощи, так нет — жгут! Не будем стараться быть красивыми для мужчин! Не желаем! Собирают в кучу напольные весы и ломают — не хотим быть худыми и стройными ради мужчин! А врачи пишут в газетах, что лишний вес прежде всего вреден. Проблемы сытого общества. На самом деле проблем много. Убийства, грабежи, изнасилования, наркотики, не говоря о расовых столкновениях и многом другом.

С интересом читаю в «Нью-Йорк таймс» разделы искусства, науки. Разделы бизнеса и спорта выбрасываю. Весит эта газета пуд, стоит полдоллара. (За три доллара я купила себе на распродаже прекрасную шерстяную юбку, за полдоллара — нейлоновый рюкзак Няме.)

Кончаю, надо приготовить обед.

НЬЮТОН, 1992

Сара

Она моя ровесница. Но на этом сходство кончается. Высокая, стройная, длинноногая, в белых шортах, в белой блузке без рукавов Сара размашистым шагом ходит по саду, соседнему с нашим. В руках у нее лейка и садовые ножницы. Сара подрезает, подвязывает, поливает цветы и что-то напевает.

Однажды она зазвала нас с Акивой к себе. У нее большой двухэтажный дом, в доме все блестит и сияет.

— Простите, пожалуйста! Не могу угостить вас как следует. Обед готовлю к вечеру. Сегодня придет старший сын с семьей. Все купила, но готовить не начинала — рано. Я рада, что вы зашли ко мне. Сейчас, сейчас я вас чем-нибудь угощу. Нет, нет, непременно угощу! У меня есть черничный пирог! И сок!

Сара стремительно открывает холодильник. Пирог и сок на столе.

— Да, тарелки! Сейчас, сейчас!

Взмах руки. Сара выхватывает из стопки посуды три тарелки, две другие летят на пол, осколки разлетаются во все стороны.

— Не обращайтесь внимания! Это к счастью! Еще пирога! Еще сока! Я люблю, когда приходят гости. Люблю угощать и готовить люблю. Я люблю жизнь. А вы? Пойдемте, я вам дом покажу. Вот здесь я работаю, работы много. Я люблю шить и заказчиц своих люблю. Работать надо обязательно! Вы согласны? И читать я люблю. Сейчас! Сейчас!

На мгновение Сара исчезает. Возвращается бегом с толстой книгой по истории Испании.

— Книги беру в библиотеке. Я люблю ходить в библиотеку. А вы? Да, дети есть. Два сына и дочь.

В руках у Сары пачка фотографий.

— Это моя дочь в день свадьбы. Это сыновья. А это внуки. Я очень люблю своих детей, внуков еще больше люблю...

Прощаемся. Сара приглашает заходить. Если что-нибудь понадобится, непременно. И просто так, обязательно.

Пятнадцать месяцев назад Сара похоронила мужа. Умер от рака. Говорят, она мечтает выйти замуж за хозяина нашего дома, давно

потерявшего жену. Сара — еврейка из Румынии. Три года просидела в Освенциме. Показала номер на руке. В США живет 42 года.

Дурилаг

Дорогой мой, любимый, как хорошо, что мы снова вместе. Мало осталось рядом близких и любимых.

Даже те, кто благополучно добрался сюда, оказались в ссылке. Бессрочной. Они здесь не нужны. Я так старательно, так хитроумно собирала их в дорогу... Но для них не нашлось здесь места. Они не нужны. Ты, слава Богу, понадобился. Иди-ка сюда. Ты все такой же: белый, блестящий, гладкий, тебя приятно держать в руках. Помнишь, как мы встретились?

Заключительный вечер на летней базе Дома ученых в Литве, на озере Асавас. В Москве разгар подготовки к Всемирному фестивалю молодежи. На базе гвоздь программы — представление: «Ученые, будьте бдительны!». Понятно, что среди обольстительных представительниц стран и континентов, которые съедутся в Москву, будут враги нашей великой страны. Следовательно, надо проявлять... Правильно, бдительность. В порядке подготовки посмотрите на этих красавиц. Под громкий смех зрителей самодеятельные актеры в изошренных костюмах изображают опытных обольстительниц. Самым неопытным и самым обольстительным оказался Акива. Поверх плавок на нем была короткая юбочка из тростника. Грудь изображали подвешенные на шнурке мешочки из капроновых чулок, набитые песком. Ярко накрашенные губы, панамка на голове, растерянные глаза — с него сняли очки! — и беспомощное топтание на месте под зажигательную музыку... Жюри присудило ему первую премию: белый никелированный дурилаг — мечту хозяйки.

Сколько лет прошло с тех пор? Наверное, почти десять. Неужели десять? Да, восемь, если быть совсем точной. Инфаркт был осенью 1983 года. В августе 1984 мы приехали на Асавас. Сейчас август 1992.

Московский Дом ученых с толком выбирал места для отдыха. На Асавасе было очень красиво. Большое спокойное озеро, бухты, заросшие тростником, сосны на берегу, песок, зеленые холмы, цветы.

Здесь тоже зелено, холмисто, много цветов. Выгляни в окно. Видишь, сколько яблок на дереве у нас в саду? Я собираю их напегонки с белками. Эти шустрые негодницы пробегают по самым недоступным веткам, срывают двумя лапками яблоко поспелее и на прощанье машут мне хвостом.

Кроме белок здесь еще хозяйничают еноты. Пospела черешня. Она одичала, горчит, но на варенье годится. Только я приготовилась собрать ягоды, как вечером на дерево забрались четыре енота. Наши крики несколько их не смутили, они не оставили мне ни ягодки. А плющ! Ты знаешь, что творит здесь плющ? Его усики уже цепляются за оконную раму, они вот-вот доберутся до моей кровати. А рододендроны! Видел ты когда-нибудь стену цветущих рододендронов? Нет? Смотри скорее через все свои дырочки! Из кухни особенно хорошо видны белые пухлые шары среди зеленых глянцевого листьев.

Почему, ну скажи, почему я смотрю на белок, енотов, рододендроны и вижу тусклый, задумчивый Асавас? Палатки в то лето стояли на самом берегу. Утром я открывала глаза, протягивала руку за купальником, глотала таблетку нитронга и входила в воду. Сначала вода казалась холодноватой, но стоило поплыть, как радость заполняла душу, проникала в каждую клеточку рук, ног. Как упруга вода, как хорошо жить. Я плыву, я жива, я живу!

Живу? Стою в кухне, смотрю на малиновоощекие яблоки на зеленых ветвях, иду по улице Рипли, вижу знакомые цветы, деревья — нарядные, красивые! — и без конца спрашиваю: «Жива? Живу?»

Мне 68 лет. Сегодня первый раз села за руль одна. Сделала малый круг по нашим тихим улицам. Сегодня 16 августа 1992 года. Я прожила в Америке пять месяцев и один день.

Забегала вперед. Юлия с Мишей и двое их друзей сняли дом в Бартлете. Мы провели там почти весь июль.

ПИСЬМО В МОСКВУ

*Письмо четвертое.
Начало августа 1992 г.*

Черная лоснящаяся лента дороги разрезана двойной желтой полосой. Дорога бежит вправо к высоким холмам на горизонте и мягкой дугой сворачивает влево. За дорогой луг: высокая зеленая трава, ромашки, полевая гвоздика. У самой дороги — высокая сосна с длинными мягкими иголками, подальше — деревенский дом с красной крышей. Город Бартлет в штате Нью-Хэмпшир.

Главная улица с необычным названием «Медвежья засека», десятка три домов, магазин, почта, пожарное депо, церковь, кладбище. Есть городской пляж, о чем возвещает плакат почти такого же размера, как полоска песка среди камней на берегу горной речки. В реке скала, за ней чаша почти неподвижной воды, где можно плавать. Вокруг высокие холмы, горы с лесистыми склонами. Куда ни помотришь, зелено, светло, чисто, красиво.

Много цветов: на клумбах, вокруг стволов живых деревьев, в вазонах на верандах. На лужайке перед домом жители Бартлета часто расставляют небольшие гипсовые фигурки святых, напоминающие мне малютку Ленина, а по соседству — еще гипсовых уток и курочек. Все эти «скульптуры» смотрятся довольно странно, особенно когда на доме развешается американский флаг. Флаги американцы любят и развешивают их на своих домах, магазинах, пожарных депо, полицейских участках.

Я отвлеклась. Наш дом двухэтажный, как большинство домов в Бартлете. На первом этаже небольшой холл с цветным телевизором и раздвижным диваном, ванная комната, спальня с двумя парными кроватями одна над другой, огромная гостиная (две из четырех стен — стекло от пола до потолка) и большая столовая — длинный стол на красном ковре, по бокам скамьи со спинками. Рядом со столовой необъятных размеров кухня.

На втором этаже три спальни, проходная комната с двумя диванами-кроватями, большая ванная комната: две раковины, душ. Окна в ванной нет, и когда зажигаешь свет, включается вентиляция.

В доме всюду, где можно и нельзя, стенные шкафы — страсть

американцев. Очень удобно, но непривычно. В каждой спальне непременно есть комод, над комодом непременно висит зеркало, что тоже удобно и тоже непривычно, как отдельные спальни. Есть еще подвал со стиральной и сушильной машинами и огромным бильярдом.

Дом этот, видимо, уже давно сдают зимой и летом. В кухне на стене висит листок бумаги с указанием, где удобнее купаться, как проехать в ближайший супермаркет, какой подъемник рекомендуется для родителей с детьми и т. д. и т. п. Тут же указан номер телефона, по которому можно позвонить в случае каких-нибудь затруднений: «... буду рад помочь вам, звоните в любое время». Такие вот здесь дачи.

Что только не валяется в шкафах этого когда-то богатого, а сейчас запущенного дома. Шампуни и мыло всех сортов и видов, махровые полотенца, флаконы с жидкостью для мытья посуды, шерстяные носки и шапки, перчатки и рукавицы, костыли, сетки для тенниса, ракетки, банки консервов, коробки с какао, сухими смесями для выпечки тортов и кексов, колоды карт, путеводители, инструменты... Уф, хватит. Здесь живут... По нашим представлениям, здесь и сейчас живут богатые люди. Бедный богатого не разумеет.

К задней стене дома пристроен большой деревянный помост с перилами. На нем валяются останки кресел, на которых еще вполне можно сидеть. В соседнем доме на таком же помосте с большим зонтом от солнца протекает спокойная непонятная американская жизнь. Пожилая чета, иногда вместе с гостями, что-то готовит на жаровне. Защищаясь от солнца, зонт, укрепленный в полу, наклоняют то в одну сторону, то в другую. Сидят, разговаривают, неторопливо едят фрукты (!), овощи (!), пьют сок (!) или просто смотрят на газон, на огород. И есть на что смотреть!

Огород разбит вокруг погибшего дерева. Высокий голый ствол и могучие когда-то ветви на фоне ярко-голубого неба, ярко-зеленой травы и ярко-зеленых крон деревьев, стеной окружающих их и нашу лужайку — на эту красоту можно смотреть часами. Бартлет очень красив, по-настоящему красив. И красота эта обладает особым свойством: в ней разлит покой.

На горизонте зеленые лесистые горы. Бульшую часть штата Нью-

Хэмпшир занимают леса. Лес подступает почти вплотную к маленьким городкам в долине. Он смешанный: ели, сосны, клены, осины, березы. Почему считается, что береза — русское дерево? Березы здесь совершенно такие же, как у нас. И подберезовики такие же, и сыроежки, и лисички. А речка у Бартлета? Отошла немного от городского пляжа. Широкая излучина, низкий берег засыпан крупной галькой, на противоположном высоком берегу лес, невзрачный домик, на веревке сушится белье. Это Америка? Другое полушарие? Почему? Не может быть.

Но вот настало время обеда. В первые дни, когда пятеро детей сажались за стол, во мне просыпалось что-то полосатое. «Мне сока! Апельсинового! Мне яблочного! Налей немного апельсинового, а потом яблочного!» Америка. Это, несомненно, Америка.

Снятую с себя одежду дети бросают на пол. И почему, собственно, не бросать, если ни одна вещь не носится два дня подряд, а стиральная и сушильная машины работают без перебоев? Носки, майки, туфли оставляют где попало. Книжки, тетради, карандаши, ручки, домино разбрасывают по всему дому. Только своих любимых кукол и медведей девочки заботливо укладывают спать вместе с собой.

Вечером, перед сном, мальчики приходят в комнату к девочкам. Обряд чтения на ночь свято соблюдается. Пока кто-нибудь из взрослых читает вслух, дети едят фрукты. Вечерний заказ: «Мне зеленое яблоко! Мне апельсин и сливу! Мне банан!» Америка. Страна изобилия.

Читала юным американцам «Тома Сойера». Замучили вопросы. Что такое порка? Что значит, учитель наказал? Что такое розга? Парта? Почему оставили в школе? А как же школьный автобус? Америка. Чужая страна.

Перерыв. Позвонила Маша. Долго говорили про Лару. Она уже улетела в Сан-Франциско. Боже, моя сестра Лара в Сан-Франциско, моя дочь Маша в Нью-Йорке, мы в Бостоне. Акива сейчас в МТИ (Массачусетский технологический институт). Вчера пришло известие, что он зачислен профессором-гостем без зарплаты. Оба надеются, что это первый — очень важный — шаг.

Возвращаюсь в Бартлет. Хочу рассказать, как гуляют в здешних непроходимых лесах. Леса, действительно, непроходимые — дере-

вья стоят чуть не вплотную друг к другу, кустарник, камни, болота, горные ручьи. Но гулять можно.

Образцово-показательное шоссе, машина скользит как по маслу. Вдруг необычный дорожный знак: человек с рюкзаком. Значит, кроме места для машины, здесь есть стенд с картой и подробным описанием нескольких маршрутов: направление, расстояние, справка, какие водятся животные и птицы, а также непереносимая просьба не сходить с тропы, чтобы не повредить растительный покров, и не забыть унести с собой весь мусор и остатки пищи. Тропы в лесу четкие и хорошо маркированные. На развилке всегда есть опознавательный знак выбранного маршрута — кружок определенного цвета. Если сбоку от тропы открывается красивый вид, об этом обязательно сообщит надпись с указанием, сколько надо пройти до смотровой площадки.

Искусство, с каким проложены тропы, воистину изумляет. Каждая тропа естественна и безупречно вписана в пейзаж. Иногда подпилено дерево, преграждающее путь, в топких местах положены бревна, но такие же, какие валяются рядом в лесу. Время от времени тропу перерезают поперечные слеги, вдоль которых прорыты неглубокие канавы. Это водоотводы, чтобы в дождь горная тропа не превращалась в поток. Мы вполне оценили эту заботу, когда на крутом спуске попали под ливень: не будь водоотводов, шли бы по щиколотку в воде и не знали, на какой камень поставить ногу. У нас было две большие прогулки в горы с настоящими подъемами и крутыми спусками — не думала, что получу такой подарок. Небо, горы, водопады — несколько часов трудной святой радости.

Кстати о водопадах. Есть в этой долине знаменитое место, где вода падает вниз с нескольких террас. Дети, вернее внуки, — никак не привыкну — с восторгом съезжали с водяной горки. Внизу их ловили папы, чтобы не унесло туда, откуда целыми уже не вернуться. Акива соблазнился и на восьмом десятке решил тоже прокатиться с горки. Съехать он съехал, но поймать такое количество килограммов в малоудобной упаковке оказалось трудно. Миша и его друг Слава вцепились в Акиву, и их троих понесло вниз. Почему они не разбились и не покалечились, никто не понял. Миша и Слава отделались синяками, Акива — несколькими царапинами и потерей очков.

Письмо состоит из каких-то обрывков, может быть, потому, что и наша жизнь никак не обретет плавного течения. Чувствую себя щепкой, которую несет поток. Иногда с такой быстротой, что не успеваю плотнеть воздух, иногда медленно крутит в заводи. Что труднее, не знаю, и посему перехожу к помойкам.

Эта неаппетитная тема давно не дает мне покоя. Каждый вторник наша цветущая добропорядочная улица Рипли преобразается: перед домами у края тротуара выстраиваются помойные баки. Все они пластмассовые, с плотными крышками, потому что ночью на улицах хозяйничают еноты, некоторые баки на колесиках, чтобы их легче было передвигать. Рядом с помойными баками стоят зеленые ящики. тоже пластмассовые, с надписью: «Город Ньютон осуществляет замкнутый цикл». Американцы помешаны на пластмассе (изделия из дерева и металла стоят очень дорого) и на замкнутом цикле. Я очень не люблю пластмассовые столы, стулья и посуду, но какие здесь леса!

В зеленые ящики заботливые американские хозяйки складывают жестянки из-под пива и соков, пластиковые бутылки и бутылки. Рядом с ящиками лежат аккуратно перевязанные пачки прочитанных газет. Среда у нас — помойный день. Рано утром по улице проезжает специально оборудованная закрытая машина, и дюжие молодцы вытряхивают в ее разверстую задницу (прошу прощения) содержимое баков: завязанные полиэтиленовые мешки с пищевыми отбросами и домашним мусором. Металлические лапы загребают их в утробу машины, и она уезжает. Потом появляется машина, которая увозит содержимое зеленых ящиков, потом забирают бумагу. Все это добро развозится по трем разным адресам, где и перерабатывается.

Сегодня, возвращаясь домой, я купила толстую тетрадь, сделанную из бумажных отходов. На внутренней стороне обложки написано, что тонна отходов берегает жизнь 17 деревьям, и сообщаются другие ценные сведения на эту тему, причем так убедительно и трогательно, что мне захотелось немедленно купить еще одну такую тетрадь. Но вместо этого я села за машинку.

В Бартлете помойку надо вывозить самим. Миша ездил на приемный пункт. Деревья, цветы, чистота, красота. Открываешь люк,

и конвейерная лента увозит помойный мешок в подземную камеру, где с помощью специальных добавок содержимое мешков благополучно перегнивает. Уф, с помойками все.

С бостонской погодой не соскучишься. Два дня умирала от духоты, ныло сердце, обливалась потом. Вчера подул бодрый ветер, разорвал серое одеяло облаков и напоил меня кислородом. Праздничный солнечный день. Прочла подряд две книги: «Бегство пленных» Константина Большакова (в серии «Забывтая книга», 1991 г.) и «Нетерпение сердца» Стефана Цвейга.

Большаков и Цвейг почти современники: Большакова расстреляли в 1937 году, Цвейг покончил с собой в 1942-м. «Нетерпение сердца» написано в 1939 году. Это сентиментальный роман из эпохи, предшествующей Первой мировой войне. «Бегство пленных» написано в 1928 г. Это... Хочется написать, что это роман о Лермонтове. Но я все-таки напишу иначе: «Бегство пленных» — это портрет Лермонтова на фоне портрета эпохи.

И как непохожи эти две книги!

Цвейг — это XIX век. Предыдущий век человеческой психологии, предыдущая эпоха литературы. Красивая проза — река в живописных зеленых берегах. Не перестаешь изумляться, как можно так точно описывать словами течение душевной жизни.

Большаков — XX век. Его проза — каскад, водопад. Из неожиданного сочетания струй и брызг возникает увлекательное зрелище. Но не само по себе: для этого нужно участие читателя. Цвейг все делает сам. Высказывает тезис, подкрепляет его одним примером, другим, третьим. Мне показалось, что примеров слишком много.

Читаю сейчас книгу Коретты Кинг «Моя жизнь с Мартином Лютером Кингом». Очень интересно. Кинг учился в Бостоне и Коретта тоже. Так странно видеть в книге названия знакомых улиц. И каких? Бостонских! Но главное, конечно, в другом. Кинг, видимо, был замечательным человеком: по-настоящему образованным, умным, с большой душой. И хотя погиб в тридцать девять лет, очень много успел сделать.

В книге приводится Нобелевская речь Кинга. Ее основой послужило послание от Иоанна. «Длина, ширина и высота этого града

равны». Кинг считал, что все беды мира от незаконченности и дисгармонии. Греки достигли вершин поэзии и философии, но их великолепная цивилизация почила на рабстве.

Западные цивилизации тоже создали великую музыку, поэзию, искусство и добились неслыханного материального благосостояния. Но в основе этих цивилизаций лежат несправедливость и колониализм. Материальные ценности стали для них превыше ценностей духовных.

Америка — великая страна. Она дала миру Декларацию независимости и добилась поразительных технологических успехов. Но и здесь возобладали материализм. Не говоря о том, что Америка лишила 29 миллионов негров права на жизнь, свободу и счастье.

Дисгармония несет гибель цивилизациям и людям. Каждый человек должен стремиться к совершенствованию своих способностей, в какой бы области он их не применял. Это длина человеческой жизни. Каждый должен осознать свое единение с другими людьми. Это ширина человеческой жизни. Каждый должен стремиться приблизиться к Богу. Это высота человеческой жизни. А Бог — это язык вечности, переведенный на язык времени. Только законченность и гармония — залог счастья.

Многое поражает меня в этой книге. В том числе и сама Коретта. Она рассказывает, что, ухаживая за ней, Мартин говорил, что ему нужна жена, обладающая четырьмя свойствами: у нее должен быть характер, она должна быть личностью, она должна быть образованной и красивой. Женившись на Коретте, он, видимо, не ошибся.

На закуску «американский» анекдот. Василий Иванович и Петяка идут по Бродвею. «Петяка, это кто же такой черный там стоит?» — «Это Солженицын, Василий Иванович». — «Надо же, как человека очернили», — сокрушается Василий Иванович.

ДНЕВНИК 2 сентября. Одиннадцать часов вечера. Утром Ньютона, 1992 Няма часто прибегает к нам в кровать. Непременно ложится посередине, нежится, ласкается. Потом мне: «Давай играть. Я мама, ты дочка, хорошо?» Соглашаюсь без возражений. «Дочка, мне надо ро-

жать ребенка. Я уйду в больницу». Убегает в свою комнату. Возвращается с плюшевым мишкой или зайцем. «Дочка, я родила тебе братика (сестричку)». Кормит, прижимая к груди, своего ребенка, потом говорит, что уходит на работу. И так каждый раз. Сегодня было дополнение:

— Юня, мама сказала, что вечером соберет мои вещи. Я из них выросла. Лара отвезет их в Москву. Ты знаешь, в Москве есть очень бедные дети. Они даже не могут надевать каждый день другое платье.

Утром получила два письма из Москвы. Не прочла. Не прикоснулась к записям о Риме. Занималась с Нямой: английский, русский, «Мэри Поппинс». Жаль, что Няма не может оценить великолепный перевод Заходера. Обед, посуда, приезд Лары, отъезд Миши. Обычный день. Машину сегодня не водила.

ДНЕВНИК 17 марта. Взмолотный ветер мечется из стороны в сторону, стучит в окно, теребит мою елку. Колочий снег сыплется на землю, как горох из рваного мешка, — гонка обезумевших снежинок. Елку совсем замело, бедняга еле шевелит лапами. Мой стол тоже замело. Не снегом — письмами. Маша прислала из Нью-Йорка пачку моих старых московских писем. Исчезла зеленая улица Рипли в Ньютоне. Исчезла заснеженная улица Эмбасси в Брайтоне. Вернулась Москва — несколько наших преддотездных лет. Как соединить ту, прежнюю, жизнь, с теперешней, новой? По какому мостику перейти через пропасть? Приближается будущее, в котором для меня уже нет места. Тем сильнее желание не дать ускользнуть прошлому. Но инерция движения заставляет цепляться за бегущее колесо настоящего. Снег все идет. Я заблудилась в метели лет, городов и стран.

ПИСЬМА ДОЧЕРЯМ

1989 год

Страница из несохранившегося письма

Выставка памяти жертв сталинских репрессий

Москва, Крымский вал, Центральный дом художников, март 1989 г.

Перед входом в первый зал в стеклянном цилиндре на голом стволе дерева висит телогрейка. Напротив входа на стене большая карта СССР, на ней кружочками помечены лагеря. От кружочков рябит в глазах. Рядом с картой записка: «Если вы знаете еще какой-нибудь не указанный здесь лагерь, сообщите, пожалуйста». Перед картой стол. За столом сидит женщина. Она собирает отзывы о выставке. Слева от стола четырехугольный довольно высокий очаг, сложенный из кирпича. Над очагом свисает с потолка скрученный черный лоскут. Это фитиль. На нем небольшой плакат: «Сбор денег для облегчения участи тех, кто выжил в сталинских лагерях и тюрьмах». Рядом записка с указанием, сколько в какой день собрано. (28. III — 1660 руб.) На дне очага толстый слой денег: рубли, трешки, пятерки, десятки.

Зал переходит в длинный неширокий коридор. На стенах коридора висят картины, в основном реалистические, с изображением ужасов тех лет: сцены лагерной жизни, арестов, пыток, хороший карандашный портрет Эмы Мандела. Центральную часть коридора занимают белые и черные полотнища, спускающиеся с потолка. Внизу к ним веревками привязаны кирпичи. К полотнищам приколоты справки о посмертной реабилитации (подлинные и копии, иногда нотариально заверенные), фотографии погибших, их близких, от руки написанные биографии, подлинные письма, прошения, другие документы, газетные вырезки. Много записок: «Ищу могилу отца. Погиб в Воркуте тогда-то». «Ищу товарищей по такому-то лагерю». Указаны адреса, телефоны. На одном из полотнищ прикреплены отпечатанные на машинке отрывки из «Архипелага ГУЛАГ»

Письмо без даты

Девочки дорогие мои, если бы вы знали, что творится в Москве. Толпы людей осаждают американское посольство, посольство Новой Зеландии. Американские анкеты можно ксерокопировать, новозеландские нельзя. У перекупщиков американские стоят от 10 до 50 рублей за анкету. Трудно стало звонить по телефону. Почти каждый звонок — удар. Юра Ловский — школьный приятель Ягломов, жили в одном дворе. С войны вернулся без ноги, работает в московском отделении Аэрофлота. Папа позвонил, сказал, что купил ему счетную машинку, какую он просил. В ответ услышал, что его дочь с мужем уезжает в Израиль. Виктор Привальский. Папа был его оппонентом на защите докторской диссертации. Позвонил по какому-то делу, услышал, что его дочь с мужем... У Юры Ловского есть еще сын. У Виктора Привальского других детей нет. Я писала вам, что видела в ОВИРе Наташу с мужем. Они сидели, как мертвые: не читали, не разговаривали друг с другом — сидели и смотрели в пространство. Папа встретил Наташу на улице. Она рассказала, что Алику (ее мужу) обещали постоянное место в университете в Северной Каролине. Они ждут разрешения на выезд. Как будет жить Аля, мама Наташи? Как будет жить отец Алика, ему 80 лет? Семья дальних родственников Юры Тувима — пожилые больные еврейские женщины — бьется сейчас в толпе тех, кто рвется в новозеландское посольство. Елена Ароновна Жук, Ларина школьная подруга Леля Жук, учит иврит, английский, подала документы на выезд в Израиль. Исход. Как иначе все это назвать? Исход. Говорила с Майей Туровской. За последние годы Майя стала очень близким мне человеком. Единственным, с кем я могу разговаривать обо всем этом и о многом другом. «Юня, — сказала Майя, — если ты уедешь, я лишусь единственной подруги. Ситуация для меня гораздо более трагическая, чем можно было бы подумать. Но мой тебе совет: подайте анкеты». Майя еще не совсем поправилась, но работает опять изо всех сил. Кроме всех своих книг и дел, будет заниматься организацией выставки «Москва—Берлин» — вроде прошлой выставки «Москва—Париж». Ездил в Англию, где вышла на английском языке ее книга о Тарковском. Сейчас она в Мюнхене. Исход. Простите меня, дорогие. Я совсем не могу

писать. Дома одна. Папа, как все эти дни, вышел из дома в 8.45. Мне уже пора собираться. Аня Гришина завтра возвращается из больницы домой. Отвезу ей продукты, приготовлю обед и прямо от нее поеду в автошколу. Переписываю обещанное стихотворение.

Вероника Долина

Уезжают мои родственники.
Уезжают, тушат свет.
Не коржавины, не бродские —
Среди них поэтов нет.

Это вот такая палуба.
Вот такой аэродром.
Ненадрывно, тихо, жалобно
Да об землю — всем нутром.

Ведь смолчишь, страна огромная,
На все стороны одна,
Как пойдет волна погромная,
Ураганная волна?

Пух-перо еще не стелется...
Не увязан узелок.
Но в мою племяшку целится
Цепкий кадровый стрелок.

Уезжают мои родственники!
Затекла уже ладонь.
Не рокфеллеры, не ротшильды.
Мелочь, жалость, шелупонь.

Взоры станут неопасливы.
Дети стихнут на руках.
И родные будут счастливы
На далеких берегах.

Я сижу, чаек завариваю,
Изогнув дугою бровь,
Я шаманю, заговариваю,
Останавливаю кровь.

Если песенкой открыто
Капнуть в леготь, не дыша,
Кровь пребудет непролитою,
Неразбитою душа.

1989

Машенька, родная моя! Сегодня 22/X — день смерти нашего с Ларой папы, твоего дедушки. 41 год прошел с тех пор, как 22 октября мы перестали праздновать Ларин день рождения. Перенесли на седьмое ноября, как хотела мама. В пять часов встречаемся с Ларой у папиной могилы в крематории, потом приедем к нам. Вечером у нас последние гости симпозиума. Сегодня воскресенье, гулять опять не пошли. Вчера пришло письмо от Юли. Сегодня хочу отправить письмо тебе и Юле с okazji, которой потом долго не будет. Отправить купленные тебе вазы пока не с кем. Вчера принимали у себя очень милых и интересных людей — Каймалов. Он совсем черный индус, она очень светлая американка, оба пожилые. Удивительно гармоничная пара. Посидели с ними с большим удовольствием. Я изготовила глинтвейн, Каймалам он понравился. Горжусь. Целую тебя, родная. Всяческих тебе успехов в твоей героической жизни. Поцелуй Гену.

Мама.

28/X-89.

Девочки дорогие мои, здравствуйте!

Завтра воскресенье, и после долгого перерыва мы с папой первый раз собираемся пойти погулять. Вчера лежала днем, сегодня тоже лежала. Усталость, все время усталость. Не помню, когда раньше так стойко держалось это чувство. Три раза в неделю хожу на занятия в автошколу. Хожу с отвращением. Преподаватель — явный халтурщик и вымогатель, народ совсем чужой. Для занятий нужна только задница (прошу прощения), плохо у меня с этим местом. Не могу запомнить того, чего не понимаю. Дважды занималась вождением во дворе бывшей твоей, Юлька, школы. Как четко помнится: зима, мы с папой стоим раздетые на лоджии, Юлькин класс катается по двору на лыжах. На Юльке болгарская шубка: сверху бежевая плащевка, внизу белая цигейка. Маленький нескладный комочек настойчиво догоняет остальных детей. Папа, будто читая мои мысли, говорит: «Ты же видишь, она самая маленькая, ей трудно за ними угнаться». К цигейке от твоей, Юлька, шубки потом довязали рукава и сделали из нее куртку. По-моему, для Маши. А теперь я, на старости лет, делаю круги на машине на этом самом дворе и постоянно слышу:

«Ну куда, куда? Забор видите? Направо, направо, в столб врежесь!» Трудно. Иногда, правда, бывают миги, когда мне кажется, что я веду машину, а не она меня. Неотпускающее чувство усталости, наверное, из-за того, что я все время делаю что-то противоположаемое моему естеству. Отступать все равно нельзя, я знаю.

30/X-89.

Исполняется ровно год со дня создания «Мемориала». Вечером в этот день москвичи со свечами в руках будут стоять цепью вокруг известного здания на Лубянке. Журнально-газетных событий по-прежнему очень много, но это уже папина область. А я хочу переписать вам несколько стихотворений Инны Лиснянской. Ее теперь много печатают в журналах, и вышла даже целая книга ее стихов, правда, пока не у нас.

Архив

Неужто от всей бытовой суматохи,
От вечной любви и от всех передраг
Останется в цепких руках у эпохи
Лишь эта трехслойная кипа бумаг —
Стихи, за которые мне не платили,
Счета, по которым исправно плачу...
А письма, что горло мне перехватили,
Не лентой, а пламенем перехвачу.

Летало и пело...
А что это было,
Не вспомнило тело,
Душа позабыла.
Но даже не вспомнив, но даже забыв,
Творю я почти что языческий миф.

О том, что светилось,
Над миром летая,
О том, что отбилась
От облачной стая,
И слезы роняло, крыло накренив,
И жить на земле оставляло меня,
Где жить не умею,

Не жить ужасаюсь,
Запомнить не смею, забыть не решаюсь.

Я не знаю лица беды,
Но оно мне видится так:
Из болотной черной воды
Вверх подметкой торчит башмак.

Я не знаю лица вражды,
Но оно мне видится так:
Из недвижной красной воды
Заржавелый торчит тесак.

Я не знаю лица нужды,
Но оно мне видится так:
Из густой тротуарной воды
Желторезный торчит пятак.

Я не знаю лица доброты,
Но оно мне видится так:
У речной голубой воды
Серебристый лежит черпак...

1966

На отъезд Копелева*

Проводы, проводы в доме, где книжные полки
Нам для застолья оставили тесный квадрат.
Русские люди, а значит — и водка и толки...
Люди прощаются, русские книги молчат.

Люди прощаются — родственники и собраты.
Время, придвинься и с нами стакан осуши!
Это прощанье — как будто из жизни изъятие,
Это — под вишни и водку скоблелка души!

Что-то и я бормочу, и поет Окуджава,
И соловьиная Белла звенит о зиме, —
Трель замерзает... Какое имею я право
Думать о том, что не встретимся мы на земле?

С лесоповальных времен не тебе ли известно:
Корни удержит душа, как ее не скобли!

* Л.З. Копелев (1912—1997) — писатель, публицист, видный общественно-политический деятель, узник ГУЛАГа, один из персонажей романа А.И. Солженицына «В круге первом».

До самолета семь дней, но воздушная бездна —
Это еще, слава Богу, не бездна земли.
Мы еще встретимся, встретимся... От повторенья
Трель примерзает цветом ледовитым к стеклу.
Водка сладка, как рябина и ложь во спасенье.
Книги молчат и вплотную подходят к столу.

4 ноября 1980 г.

Сегодня первая воскресная прогулка после большого перерыва. Приятно. И так хорошо дышалось, хотя шли по вязкой глине. Я кончаю, мои родные, так не хочется вынимать бумагу из машинки и разрушать иллюзию, что мы рядом. Будьте здоровы! Будьте счастливы!

Целую и обнимаю вас.

Мама.

7/XI-89.

Девочки родные мои, здравствуйте!

В Москве сегодня праздник. Мыла посуду и включила телевизор. Демонстрация, Красная площадь... Так отчетливо вспомнился вдруг Столешников, запах пирогов на нашей огромной кухне, беготня детей по коридору. Дома не усидеть. На улицу! Поодионочке прорываемся сквозь цепь милиционеров из Столешникова на Дмитровку (теперь Пушкинскую). Нас человек пять. Пристраиваемся к колонне демонстрантов — духовой оркестр, песни, знамена! Счастливые идем до Дмитровского переулка, героями возвращаемся домой. Мама иногда брала меня с собой на демонстрацию. Радость эту помню до сих пор. Боялась только, что меня не пропустят с ней на Красную площадь. Чем ближе к центру, тем чаще проверяли колонны. Правифланговые — партийные активисты — отвечали за каждого человека в своем ряду. После демонстрации шли в гости к Майзелям. С Нелей Майзель мы были почти ровесники, ее и моя мама дружили еще до нашего рождения. Дома у Нели уже стоял накрытый стол. Белая скатерть, невиданные, немислимые яства: вино, икра, ветчина... Мне почему-то особенно запомнились пирожки с изюмом. Нелин отец, Израиль, высокий, в белой рубашке, держит в руке бокал с вином и громко смеется. А потом... Потом 37-й год. Израиль Майзель занимал какой-то ответственный пост в объединении «Главголь». Его арестовали

летом. Неле сказали, что папа уехал в длительную командировку. Нас с Нелей отправили в пионерлагерь. Израиль приговорили к десяти годам лишения свободы без права переписки. Тогда мало кто знал, что это означало расстрел. Маму Нели тоже арестовали, держали в Бутырьках, потом сослали в АЛЖИР — так сокращенно назывался Акмолинский Лагерь Женщин Изменниц Родины. Милые географические шутки зловещего времени. Нелю увез в Курск брат Израйля. Маленького Нелиного брата взяла к себе двоюродная сестра Нелиной мамы. Не знаю, почему сегодня все это вдруг ожило. Наверное, увидела по ТВ демонстрацию и... Заходила Инесса Евгеньевна, взяла пишущую машинку с латинским шрифтом. Ее дочка мечтает попасть на стажировку в США, хочет вырваться отсюда любым способом. Наша короткая беседа кончилась стандартной фразой: «Какая вы счастливая, Юнечка Самуиловна, — ваши уже там!» Два дня назад смотрели фильм венгерского режиссера Янчо «Интернационалисты». (Сейчас он называется «Красные и белые» или «Солдаты и звезды».) Фильм о гражданской войне. Сделан здесь 20 лет назад. Все это время пролежал на полке. Военная карта во весь экран, стрелки показывают движение белых на Москву. Без перехода: проселочная дорога под гору, по бокам кусты. Замедленная съемка: в верхней точке дороги (в самом верху экрана) появляются всадники с шашками наголо. Медленно надвигаясь на зрителей, всадники с горы скачут в зрительный зал. По спине бегут мурашки. Великолепные съемки, великолепная режиссерская работа. Бессмысленность боины обнажена до предела. Убивают кого попало белые (иногда вдруг милуют), убивают кого попало красные (иногда тоже милуют) — чудовищность происходящего держит за горло. Незабываемые кадры. Но фильм, по-моему, все-таки слабее «Комиссара» Аскольдова, из-за того, что в нем нет запоминающихся персонажей, только толпы людей. Мелькают лица (очень красивый молодой Михаил Козаков), но людей не успеваешь узнать. Так это и задумано, конечно, и своей цели достигает, но, что нет людей, все-таки жаль. Аскольдов, видимо, очень талантливый режиссер, герои «Комиссара», кадры из этого фильма врезаются в сознание. Страшно жалко, что кроме «Комиссара» ему больше ничего не дали сделать. Аня Гришина вернулась из глазной больницы на ул. Горького. Счастлива, что дома. Дома есть воздух и нет тараканов,

которые днем и ночью стадами ходили по хирургическому отделению больницы. Заразили ее там конъюнктивитом, но это пустяки.

Вчера, в воскресенье, гуляли. Собралось нас 15 (!) человек. Удивительный был день. Такая стоит благодатная, приветливая осень. Ни ветерка, иногда даже проглядывало солнце. Нашли бревна, чтобы посидеть, расстелили на траве клеенку, разложили принесенные закуски, и кто-то сказал: «Ну вот, сейчас все наедятся и перестанут ругать советскую власть!» Ошибся, не перестали. Шли из Трехгорки в Ильинское. В твое, Юлька, Ильинское*. Красиво было очень. Роскошные овраги и чистые, что всех поразило. Сидела я на платформе в ожидании поезда и было мне, что вспомнить. Пришел № 10 «Невы» с романом В. Тумблина «Заключительный период». Мы с папой давно заметили этого нестандартного писателя. У нас есть его роман («Доказательство»), по-моему, очень хороший. Новый роман начинается с эпиграфа из Торнтон Уайлдера: «Жизнь имеет только тот смысл, который мы ей придаем». Я прочла его и долго не могла вернуться к книге. Почему-то простая мысль, что каждый живущий на этой земле должен сам сделать свою жизнь осмысленной, очень меня поразила. На первой странице два персонажа в возрасте после 50 вспоминают свой давний школьный спор о том, кто самый великий герой античности: «Ты говорил, что Геракл, а я — что Тезей. Мы оба были неправы. Самый великий — это Сизиф. Потому что Сизиф — это каждый из нас. Вопрос лишь в том, у кого хватит терпения раз за разом, не отступая, втаскивать в гору камень, называемый жизнью». Пора кончать. Хочу еще только написать, что оглянулась вокруг и удивилась, как много Сизифов среди людей моего поколения.

13/XI-89.

Пронеслась неделя. Вчера снова хорошо гуляли. Обедали на опушке березового леса, на высоком краю большого живописного оврага. Странный ноябрь стоит в Москве: тихо, солнечно. В лесу ярко-зеленая трава, деревья спят в солнечных лучах. Но в этом освещении есть что-то тревожное. Затишье перед бурей. Я подумала, что это всплески моей собственной тревоги, оказалось, что нет. Другим тоже казалось, что несмотря на солнечную благодать лес как-то неспокоен. Наше обычное утро. Позавтракали, надо поста-

вить обед. Потом возьмусь за правила дорожного движения. Потом буду водить машину. Вечером автошкола. Очень жду разговора с тобой, Юлька, пятнадцатого*. Вчера после прогулки больше двух часов готовила салаты к праздничному ужину. В черной вазе на пианино стоит традиционный букет «Осенние мотивы». Очень красивый получился в этом году. Вернулась с урока вождения. Девочки мои родные, как трудно дается мне эта наука, как трудно. Перед каждым уроком сжимаюсь в комок, нервничаю так, что... Только бы не сорваться. Но вот сегодня — 10-й урок — первая награда. Инструктор сказал, он не верил, что у меня получится, хотел отказаться, теперь думает, что, наверное, смогу.

Целую вас.

Мама.

15/XII-89.

Девочки родные мои, здравствуйте!

Москва утопает в снегу. Морозы спали. Метели, метели... Трудно ходить по улицам, еле ползут машины. Вчерашний урок начался с предупреждения: «Сегодня будет вождение по трудной трассе». Первые 15 минут — сплошной крик: «Куда? Направо! Налево! Занесло! Как тормозите!» Потом справилась. Со снегом справилась. Но из машины вышла, шатаясь. Еле доползла до дома. Вопреки обыкновению не стала мыться, переодеваться. Не могла. Позвонила Майе Туровской. «Юлька, очень тошно. Приходи, если можешь». Полежала час и поехала. Выглядит Майя плохо. Рассказывала про твою, Юлька, аспирантуру. Показала, Машенька, твои характеристики. «Юлька, пусть им трудно, но они ведь строят свою жизнь. Понимаешь — строят! А тут...». Давно не видела Майю такой расстроенной. И, несмотря ни на что, сколько у нее замыслов и планов! Больше даже, чем лекарств на столе, а их гора. Кончить книгу о Книппер-Чеховой, написать книгу о Коонен, об искусстве 30—40 годов и т. д. и т. п. Посредине вдруг: «Юлька, а не взять ли мне анкетку, не кинуть ли в почтовый ящик»... Обычные московские разговоры. Папа с работы тоже приехал к Майе. Посидели вместе. Домой вернулись поздно. В кровати еще читали.

* Пятнадцатого ноября — день рождения Юли.

* Юля и Миша в начале своей семейной жизни снимали комнату в Ильинском.

Спала плохо. Тягучие бессмысленные кошмары. Разбудил папа. Вскочил к телефону, но опоздал. Поставил телефон около тахты, лег снова. Закрывает глаза. Звонок. Нашарила трубку. Юра Мартынов. «Вы уже знаете?» — «Что?» — «Как, Андрей Дмитриевич...» Положила трубку, наверное, изменилась в лице. Папа с тревогой спросил, что случилось. Страшно очень папа плакал. Но недолго. Шквал телефонных звонков. Наспех позавтракали. Я сбежала за хлебом. (Относительно съедобный хлеб бывает у нас теперь только с утра.) Приехали на улицу Чкалова. У дома толпа. Вез на левой машине какой-то молодой человек. Увидел толпу: «Что это тут стряслось? Сахаров? Не может быть!». Вытаращенные глаза, разинутый рот. На стене дома портрет А. Д. в очках, с наушниками, спокойное лицо, внимательный взгляд. Цветы. Две свечи прилеплены к стене. Горят. На лестнице люди. Трудно пройти. Толпа корреспондентов у двери. Вспышки, как только дверь приоткрывается и видна Елена Георгиевна, Люся. За пять дней, что мы ее не видели после похорон Софьи Васильевны Калистратовой, она стала старухой. Вчера 14/XII А. Д. вернулся домой после заседания межрегиональной группы. Поел. Сказал, что хочет послать, попросил разбудить в 10.30. В 8.30 спустился этажом ниже в свою квартиру из Люсиной (вернее, бывшей квартиры Люсиной матери). Когда в 10.30 Люся зашла к нему, он лежал на кровати с ключом в руках (видимо, собирался встать, открыть дверь и выйти). Лежал мертвый. Люди на лестнице, в нижней квартире. Много знакомых. Еще больше незнакомых. Старик в вытертой меховой шапке, на ногах валенки с галошами, в руках хозяйственная сумка. «Мне письмо отдать. Письмо отдать... Не может быть. Тогда жене. Где жена? Нет. Только в собственные руки». На лестнице рыдает в голос какой-то мужчина. «Уходите! Уходите! Хватит!» — истошно кричит Люся корреспондентам. В нижней квартире в первой комнате все перевернуто вверх дном. Саша Лавут рассказывает: «Это Андрей сам сделал. Вон в коридоре, видите? Он сам строил книжные полки. Сам. Никому не давал. Очень гордился именно этой своей работой. Поэтому в комнате такой разгром. Так он жил». Выходим. У подъезда стоит пожилая женщина. Рядом молодая, очень нарядная и красивая, с блокнотом в руках. В блокноте короткие английские фразы. Пожилая женщина: «Он один такой.

Другого такого нет. Он был выше всех нас. Чище. Мы все осиротели». До метро «Курская» шли пешком. В подземном переходе торгуют фотографиями голых красоток в соблазнительных позах. На Октябрьской площади мы расстались. Я поехала домой, папа в институт — организовывать и проводить траурный митинг.

16/XII-89.

Семь часов вечера. Вчера ездила на занятия в автошколу. Пришла с мыслью, что тут тоже будут говорить о Сахарове. Ошиблась. Здесь этого события как не бывало. Кто-то принес календарь на 1990 год с полуголыми советскими актрисами. Бурное обсуждение. Жизнь продолжается. Пришла домой. Очень было неуютно и одиноко, хотя телефон звонил, не переставая. Папа провел митинг в институте и поехал в Дом ученых, где проходил давно назначенный вечер памяти его учителя А.Н. Колмогорова. Пришел поздно. Выпили чаю, завели будильник на 8.30 и легли спать. Утро сегодня было на редкость солнечное. Заказанное накануне такси пришло вовремя, к 10 утра были уже в Доме архитектора, где происходило траурное заседание «Московской трибуны». Записывала бесполово. Сагдеев (он вел заседание, академик, из очень приличных) сказал, что присутствуют американцы, борцы за права человека. Они сидели в наушниках, им переводили. Они выступали, произвели очень хорошее впечатление. Выступали ученые, друзья Сахарова. Альтшулер говорил, что для Сахарова наука и нравственность были неразделимы: «А. Д., как атлант, держал на своих плечах нравственность всей страны. (Хорошо бы теперь не обронить)», — сказала я про себя. Сахаров — нравственный идеал целой эпохи». Волькенштейн: «Христос. Ганди. Толстой. Сахаров — один ряд людей. Забота о судьбах человечества поразительно сочеталась в нем с заботой об отдельных людях». Волькенштейн предложил присвоить «Трибуне» имя А.Д. Сахарова. «Трибуна» — его детище», — сказал он. Лев Тимофеев. Диссидент, сидел. Ветхие джинсы, мятая куртка, седая борода. Говорил о готовности А. Д. идти на любые муки ради истины, о его противостоянии злу. «А. Д. был христианином. Заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» была его заповедью». Деловые предложения: провести год Сахарова в СССР. 14/XII-1990 г. провести Международный сахаровский конгресс.

Обратиться в ООН с просьбой провести год Сахарова. День похорон объявить Днем всенародного траура. Почтить смерть А. Д. минутой молчания. Вести прямую трансляцию похорон. Сделать то, на чем так настаивал Сахаров: освободить всех политзаключенных. Создать фонд Сахарова и его орган — газету «Совесть» с девизом: «За мир, прогресс и права человека». В день рождения Сахарова присуждать премии борцам за права человека. (День рождения А. Д. — 21 мая, год — 1921-й, они с папой ровесники.) Выступал представитель «Общества социальной защиты», невзрачный, средних лет человек. На очень корявом русском языке рассказал много интересного и дельного. «Общество» помогает всем, кто отчаялся найти справедливость в официальных инстанциях. «Огонек» — это, конечно, хорошо. Ну там все эти прошлые дела, история, чтобы правильная была, да только зачем история, когда беззакония сейчас, каждый день, и никто кроме нас не поможет». Сухо, по бумажке, сколько людей обращались, скольким помогли. «А сделать надо прежде всего — дом ночлежный построить. Люди приезжают, ночью деться некуда, вокзалы все в ночлежки превратили. И психиатрией командуют все те же, кто раньше, а пора уже кончать сажать в психушки. Сажают. Сейчас сажают». На сцену с большим трудом поднялся Слободской, рослый грузный еврей с палкой. Сахаров помог ему выбраться из психушки, куда взяли его здоровым, а там переломали руки и ноги. Дело не закрыто. Добиться справедливости не может и потому уезжает. В знак протеста против ст. 6 Конституции (руководящая роль партии), отмены которой требовал Сахаров, в понедельник 18/XII отдает с соответствующим заявлением свой партбилет. Выступал Золотухин — адвокат, один из первых защитников диссидентов, за что был изгнан из адвокатуры и много лет сидел без работы. Он рассказал, что на первой сессии Верховного Совета была принята поправка к ст. 34 Уголовного кодекса, позволяющая без суда держать обвиняемого в тюрьме 18 месяцев, т. е. человека, чья вина не установлена судом, можно на полтора года посадить в тюрьму! Чтобы проташить это решение, в стране проводилась кампания запугивания, без конца кричали о росте преступности, создавали добровольные отряды по борьбе с преступностью и т. д. Золотухин привел данные, опубликованные в совет-

ской прессе, из которых видно, что весь этот рост — липа. Предложил добиваться отмены этой поправки, о чем ратовал Сахаров. После «Трибуны» поехали домой. Завтра прощание с Сахаровым во Дворце молодежи. Это чудовищное по своему уродству здание построено рядом с метро «Фрунзенская». Папа записался в почетный караул от «Московской трибуны». Я поеду с ним. Очень тяжкие это для него дни. В понедельник утром панихида в ФИАНе, где работал Сахаров. Потом прощание в Лужниках, потом похороны (только для близких) на Востряковском кладбище. Кладбище А. Д. выбрал сам. Официальных торжеств он не хотел, поэтому Колонный зал отвергла Люся. Вчера по ТВ, передавали интервью с ней. Она говорила, что похороны будут снимать для ТВ, и уговаривала пожилых людей не стремиться в Лужники. (Страшно, что там скопится слишком много людей.) 9 вечера. Очень устала. Мечтаю через час лечь в постель. Завтра тоже трудный день.

17/XII-89.

По дороге к «Фрунзенской» встретили в троллейбусе женщину, составлявшую накануне список участников «Трибуны», выразивших желание стоять в почетном карауле. Вокруг Дворца молодежи пустыня. Редкие цепи милиционеров. Благодаря списку легко прошли внутрь. Огромный зал. В потолке большой стеклянный купол. В центре купола сходятся узкие черные полотнища, противоположные концы которых укреплены по окружности купола. В одной стене глубокая ниша. Там на фоне красных и черных полотен большой портрет Сахарова. Тот же, что был на стене дома, только увеличенный. На полу в нише венки. Перед нишей помост, на нем гроб с телом, приподнятое изголовье обращено к нише. Лицо у А. Д. спокойное, задумчивое и как всегда отрешенное — человек глубоко погружен в собственные мысли. Только глаза А. Д., всегда пристальные и внимательные к тому, что здесь и сейчас, закрыты. Глаз нет, поэтому сразу понятно, что смерть, что Сахарова нет. Справа гроба (если стоять у изножья лицом к лицу А. Д.) несколько рядов стульев. В первом ряду сидит Люся, еще кто-то. Люся то встает, то снова садится. Обнялась с папой. Оба заплакали, расцеловались. Рядом со стульями толпятся люди, кучка людей по другую сторону гроба. Много репортеров. Мужчины увешаны фото- и киноаппаратами.

Вспышки и жужжание кинокамер. У нескольких репортеров в руках еще небольшие металлические стремянки. Они ловко расставляют их, влезая на последнюю ступеньку и снимают. Снимают, лежа на полу, сидя на корточках, положив «пушку» на плечо того, кто стоит впереди. Особенно изощрялся один удивительно верткий толстяк. Брюки сползли почти до колен, огромный живот кое-как прикрывает белая майка, ворот расстегнут, волосы торчат во все стороны. Люсю снимают непрерывно. Не помогают никакие просьбы. Как она это выдерживает, непонятно. Стою рядом со стульями у изголовья гроба. Снисходя к моему малому росту, пропускают вперед. Какая-то женщина в черном останавливается рядом с папой. «Не могу вас узнать. Кто вы?» — «Яглом Акива Моисеевич». — «Яглом... Акива, это вы? Я Таня Янкелевич*». Слезы, короткие объятия. Играет музыка, запись. Рядом со мной рояль. Когда умолкает запись, за рояль садится пожилая женщина. Иногда к ней присоединяется другая женщина, скрипачка. Час дня. Тишина. Машинально читаю надписи на лентах венков у гроба. «От ветеранов войны в Афганистане». Даже от них, оскорбленных тем, что Сахаров первый сказал: это была позорная война. Даже от них. Поняли. Передо мной в цепи мужчин с траурными повязками молодой парень в комбинезоне десантника с приколотой визитной карточкой общества «Щит». Входят люди, те, кто стояли в очереди. Очередь растянулась на 2,5—3 км. Она началась в районе Пироговки, петляла по переулкам и выходила к метро «Парк культуры». Вход в зал по диагонали от меня. Из глубины зала люди подходят к гробу, отходят назад и выходят в двери напротив входа. На улице —12°C. Не знаю, сколько часов стояли первые. Идут молодые и пожилые. Многие с детьми. Детей поднимают на руки, чтобы увидели лицо, дети кладут цветы к изножью гроба, маленькая девчушка положила цветы и замахала двумя ручонками, болтаются варежки на резинке. Мальчики без шапок. Некоторые родители велят детям встать на колени. Встают. С цветами почти все. Сейчас в Москве гвоздику продают по 1 р. 30 к. штука. Несут по одному цветку, по два, букеты. Многие крестятся, крестят покойного, кланяются в пояс, молча наклоняют головы. Какой-то мужчина подошел к гробу и поднял сжатый кулак. Беззвучная клятва. Гром-

* Т. Янкелевич—дочь Е. Г. Боннэр, жены А. Д. Сахарова.

кий всхлип: «Заступник ты наш!» Священник в черной рясе, с серебряным крестом на толстой серебряной цепочке, негр, мужчины с палочками, на костылях. Смена караула. У гроба стоит молодой мужчина. Обрубок левой ноги едва виден из-под пиджака. Папа стоит у гроба. Лицо искажено до неузнаваемости. Плачет или нет, не вижу. Пианистка и скрипачка играют траурный марш Шопена. Музыка разрывает душу. Люди идут неостановимым потоком. Шепот сзади меня: «Подсчитали: 3 тысячи в час». Глаза идущих: в слезах, изумленные, неверящие, испуганные, полубезумные, провалившиеся, гневные... Пожилая женщина, вязаная шапка-колпак, пальто колоколом, в руках горшок с какими-то красными цветами. Истошный крик: «Весь мир знает, кто убил Сахарова! Диктатура и узурпация!» Кричит много раз, пока ее не выведут. Цветы уносит с собой. Идут с горящими свечами. Недалеко от меня стоит человек и держит в руках горящую свечу. Папу сменили. Он подходит ко мне. Объявили, что прощание будет происходить, пока будут желающие. (Первоначально предполагалось, что оно закончится в 5 часов вечера.) Нет сил больше стоять. Что поделаешь, нет больше сил. Уходим домой. Пообедали. Писать тоже больше нет сил. 7 часов вечера. Завтра с утра папа с делегацией своего института идет в ФИАН. Вход по спискам. Пойти в ФИАН я не могу.

19/XII-89.

В один из этих дней позвонил из Франции Уриэл Фриш, давний папин знакомый, известный ученый-гидромеханик. Выражал папе соболезнование, просил передать мадам Боннэр, что вся Франция... Обрадовались, что он позвонил. Ощущение, что не одни, как-то помогает. Сегодня встали в 8 утра. Папа ушел в ФИАН. За ночь мороз сменился оттепелью. Температура плюсовая. На тротуарах вода, под водой лед, идти очень трудно, многие падают. Пока стояла в очереди в сберкассу (платила за квартиру), Ленинский проспект преобразился. На той стороне, где «Москва», на дорожке рядом с тротуаром колонна людей квартала на два. Пошел крупный снег. Стоят под зонтами, к пальто приколоты портреты Сахарова в целлофановых обертках, черные банты.

Очень тихо. Бросаются в глаза белые флаги. Их много, некоторые с голубыми и синими полосами. Самодельные плакаты: «Обще-

ство «Мемориал», «Народный фронт». «Мемориал» во главе колонны. Очень большой портрет А.Д. в черных лентах поднят высоко вверх. Плакат: «Мы уже не толпа, но еще не народ». Режут уши просительные интонации милиционеров. Из милицеских машин, медленно проезжающих мимо колонны, доносится: «Товарищи, пожалуйста, соблюдайте порядок! Постройтесь в колонну по шесть человек! «Мемориал», помогите нам, попросите колонну сдвинуться вправо! «Народный фронт», попросите свою часть колонны отойти назад!» В подземном переходе листовка: «Они травили Сахарова... сослали в Горький... люди, объединяйтесь»... Москва, декабрь, год 1989. Говорят, что из ФИАНа гроб с телом Сахарова понесут в Лужники на руках.

20/XII-89.

Дальше рассказ папы. В ФИАНе происходило прощание с Сахаровым сотрудников АН СССР. (Я был включен в делегацию от нашего института.) В самом конце прощания выступило несколько физиков (до этого люди просто проходили мимо гроба): новый директор ФИАНа Л. Келдыш (очень плохо), Е.Л. Фейнберг (неплохо, но я ожидал большего), трижды герой Ю.Б.Харитон (очень плохо, из его слов выходило, что единственная заслуга Сахарова — это бомба) и В. Гинзбург. Многих (включая меня) возмутило, что выступал Харитон, подписавший в свое время одно из самых гнусных писем о Сахарове. Сахаров всех этих людей давно простил (он ни на кого не имел зла), но все же, вероятно, Харитону выступать не следовало. (Возможно, он чувствовал это и потому выступил так плохо.) После этого гроб перевезли в Лужники (нести нельзя было из-за очень плохой погоды — скользко) и установили на площади перед стадионом. Здесь состоялся грандиозный митинг. (Считают, что было около 100 тысяч человек.) Первым выступил академик Лихачев (хорошо), потом Евтушенко (его стихи были вполне уместны). Выступало много народных депутатов: Афанасьев, Попов, двое из Прибалтики, от Украины. Депутат Армении Зорий Балаян объявил, что сейчас в Ереване проходит траурный митинг на пл. им. Сахарова. Выступали представители «Мемориала», «Московской трибуны». Очень хорошо говорили Сережа Ковалев и Таня Великанова (от диссидентов). Митинг сильно затянулся, мы еще полтора часа ждали его начала. От

других стран выступили представитель правительства Италии и польский сенатор, который сообщил, что Лех Валенса вылетел в Москву, но из-за плохой погоды самолет посадили в Ленинграде. Задержка началась еще в ФИАНе. Дело в том, что перед ФИАном тело доставили в Президиум АН СССР, где с Сахаровым прощались Горбачев, Рыжков и др. начальство. Горбачев спросил Люсю, что он может для нее сделать. Она ответила: «Освободите оставшихся политзаключенных — этого так хотел А.Д.». (Об этом говорил и Сережа Ковалев, который объяснял, что политзаключенных осталось очень мало, но все-таки выпущены не все.) Я сильно замерз на митинге, и поэтому на кладбище не поехал. Вечером мне позвонили и сказали, что поминки состоятся в ресторане гостиницы «Россия» и нас с мамой внесли в список. К сожалению, мамы не было дома, а я поехал, хотя был смертельно усталым. Огромный ресторан был полон самым разнообразным народом. Выступали Примаков (председатель Верховного Совета, кандидат в члены Политбюро), Юрий Марчук (президент АН СССР), Ельцин, Лех Валенса (в ресторан он успел), Лариса Богораз, Леонард Терновский (известный правозащитник, отсидевший три года) и др. чистые и нечистые. По-моему, лучше всего выступила Евдокия Гаер, народный депутат от Дальнего Востока, немолодая женщина, младший научный сотрудник, представитель одного из малых вымирающих народов Крайнего Севера. На выборах она победила генерала, начальника Дальневосточного военного округа, а на съезде, когда кто-то из «афганцев» обвинил Сахарова в предательстве и зал разразился воплями против А. Д., первая бросилась его защищать. Гаер говорила очень по-женски и очень от души. Какое чудо, что среди этих вымирающих и совершенно некультурных народов встречаются такие люди. В конце поминок я подошел к Люсе. Она мне сказала, что кончает читать корректуру мемуаров А. Д. и что в начале года в журнале «Звезда» будет печататься публикация А. Д. Кстати, на поминках выступила Таня Сахарова (дочь А. Д. от первого брака.) Она сказала, что уверена: Елена Георгиевна была очень хорошей женой А.Д., именно такой, какая ему была нужна в это время. Таня сказала: «Я очень любила свою маму, но ведь тогда было другое время, поэтому и жена А. Д. нужна была другая». Это выступление меня очень обрадовало.

Пора кончать. Весь этот месяц я все время кого-то хороню и почти не работаю. У меня скопилось масса дел, а тут еще врач в поликлинике велел мне сделать ЭКГ, обнаружил, что она похуже (странно, если бы это было не так), и велел полежать дома. Это грустно, но что делать — значит, надо полежать. Надеюсь в ближайшие дни поговорить с вами по телефону. А письмо я на этом кончаю. Я его диктую маме, а ей надо уходить все в ту же ненавистную автошколу, из-за которой она не попала в «Россию». Как жить дальше, непонятно. Но пока мы живы, надо стараться жить хорошо.

Очень горжусь вашими успехами, хорошо понимаю, как вам трудно сейчас. Уверен, что вы справитесь, только не перерабатывайте. Прежде всего вам (и нам тоже) надо быть здоровыми. Обнимаю и целую вас. Очень надеюсь, что летом смогу сделать это не на бумаге. (Но для этого тоже прежде всего надо быть здоровым.) Поэтому я решил выполнять указания врача, даже когда мне кажется, что это перебор. Еще раз целую вас всех и поздравляю с Новым — дай Бог, счастливым — годом. С любовью.

Папа.

1990 год

10/V-90.

... А я сажаю дерево. Рябину. Тоненький ствол. Ветки-прутики и листочки — растопыренные пальчики. Вырыла в лесу и сажаю около своего дома. Такую вот рассказываю себе сказку. Дом. Дом — гавань. Дом, откуда уже никуда не надо переезжать. Трехлетние скитания: Столешников — Грузинский вал и обратно, семь лет в Черемушках и все время мечта о доме. На сколько-то лет таким домом стала квартира на Вавилова, а потом... Не знаю, зачем все это написала. Иногда мелькает желание написать о доме, о Столешниковом. Недавно была там. Со стороны Пушкинской в переулок не пройти: огромная толпа народа. Думала, митинг, оказалось, очередь в винный магазин (перед праздником 9 мая). Зашла в свой двор. У меня в памяти он огромный, а увидела небольшую каменную коробку. В углу официальная елка растет на казенной клумбе. Помойные баки стоят почему-то не в подворотне, а прямо во дворе. Только угол двора у задней двери кондитерской все тот же: коробки, ящики, какие-то люди в грязных халатах. Ушла так торопливо,

что на свои окна посмотрела уже с Петровки. Они теперь тоже чужие. Другие и чужие. Мои остались со мной, как двор. Вот и все. Давно не писала. Были мы на вечере авторской песни (сбор в «Фонд Сахарова») в Театре эстрады. Совсем рядом твоё, Машенька, первое место работы на набережной. Вечер неожиданно оказался интересным. Очень согревала дружба, душевное единение выступавших певцов и публики. Пели старики: Берковский (на стихи Левитанского, Самойлова), Городницкий (автор знаменитой песни про атлантов, что держат небо на каменных плечах), пели знаменитые Вероника Долина, Никитины (очень хорошая песня «В старом зале» на стихи Евгения Рейна). Никитины стали профессионалами в хорошем смысле слова, и исполнение и музыка — все очень хорошо. Двое неизвестных мне певцов объяснили, что перестройка — это борьба народа с партией под руководством партии, и спели на эту тему песню на мотив «Интернационала», кончавшуюся словами: «Это есть наш последний и решительный бой и надо слезть с броневика». Начал концерт Дулов, спевший знаменитую песню на слова Эмы Манделя о том, что в России никого нельзя будить. Все слова были произнесены, и зал ответил громом аплодисментов. Очень горячо хлопали его песне на слова Лермонтова: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ...» В стихах этих открылся совсем новый смысл. Последним выступал Ю. Ким. Артистическое и человеческое обаяние его неотразимы, что он и доказал в очередной раз.

На майские праздники мы ездили в Старицу. Электричка до Калининна (2,5 часа) была набита туда и обратно так, что... На вокзале в Калининне пассажиров встречают таксисты. Десятка с носа — и через 30 минут на месте. Автобусы переполнены, билетов нет. На праздники в Старицу едет много народа помогать родным сажать картошку. К идиотам, которые едут что-то там смотреть, относятся со снисходительным недоумением. В гостинице встретили очень приветливо. Все удобства в номере, в каком это все состоянии, писать не хочется. В Старице есть новые каменные дома и старые деревянные, увы, утратившие обаяние старины, поэтому сказать, какая часть города безобразнее, не берусь. На каждом шагу помойки, разрушенные дома, трезвые мужчины на улицах не встречаются. И, конечно,

новый наш бич — тут и там что-то разрыто. Такое впечатление, что люди появились на этом клочке земли неделю назад и пока не успели прибраться. Но есть в городе несколько церквей. Все они красивые, стоят красиво и очень украшают все вокруг. И еще есть Волга. Оба берега в Старице высокие, с одного спускается большой зеленый язык (вроде Подола в Киеве), и на нем расположен старый монастырь, местами его начали реставрировать. Ездили мы вшестером. В первый очень яркий солнечный день шли по берегу Волги. Зелено, радостно, вдалеке где-нибудь на холме силуэт церкви. Во второй день частично пешком, частично на автобусе добрались до села Красное. Видели там удивительную церковь: смесь русского классицизма с готикой! В плане это ромашка с четырьмя полукруглыми лепестками-абсидами. Пять куполов, но крыши украшены улетающими в небо башнями, башенками и шпилями. В стенах окна-амбразуры. Строил церковь знаменитый архитектор Ю. М. Фельтен (прославился решеткой Летнего сада в Ленинграде). В Калининне, в Старице и в Красном встречали много людей кавказской национальности (прошу прощения за употребление этого идиотского определения) и деток с нерусским разрезом глаз. В Красном один из смуглолицых мужчин сказал, что приехал с Кавказа, и показал свой дом, построенный так, как строят на Кавказе. Он, кстати, был совершенно трезв. От него мы узнали, что церковь в Красном будут реставрировать финны и что Московская епархия, купившая ее и соседнее каменное здание развалившейся школы, собирается устроить здесь монастырь для православных из европейских стран и семинарию. Обедали мы в тот день на крыльце заколоченной избы, где укрылись от дождя. На душе было хорошо — чувство школьника, сбежавшего с уроков и наслаждающегося полной свободой. Дождь шел недолго, возвращались пешком красивой дорогой и автобусом. В Калининне перед отъездом в Москву зашли в местный музей. Он расположен во дворце, где жила какое-то время внучка Екатерины II, дочь Павла. Внутренние покои спланированы и обставлены по проекту Росси. Красиво. Музей очень неплохой. Автопортрет Фалька — молодой еврей в шляпе, горло обмотано шарфом, в глазах тоска. Хороший портрет Леонида Андреева на его любимой яхте кисти Репина. Картина Штернберга. На синем фоне стол в углу полотна, на столе

селедка. Помните в Третьяковке его картину «Шар улетел»? Колодец двора, маленькая фигурка девочки, в небе шарик. На довольно большой картине в Калининне тоже в углу полотна, тоже на синем фоне стоит парень в темной рубашке и темной кепке. Вечное для Штернберга одиночество. А называется картина «Комсомолец». Очень яркая, праздничная ранняя картина Юона «Люди будущего»: зеленая гора, мужчины в трусах с деревянными крыльями за спиной рвутся в небо. В музее очень много красивого старинного фарфора.

В другом крыле дворца небольшая выставка памяти жертв сталинских репрессий. Сразу у входа скульптуры Силиса. Воздетые руки, склоненные тела. Очень гибко, пластично и выразительно. Стол под зеленым сукном, настольная лампа, телефон. Я помню и эти лампы, и такие телефоны. На столе толстая папка: «Дело №...» Рядом толстый том: «Настольная книга следователя». На стене карта Калининской области, утыканная значками, отмечающими места нахождения тюрем и детских приемников. В витринах доносы, вещи, изъятые при обысках, удостоверения о смерти, о реабилитации в связи с отсутствием состава преступления, большинство помертных. Здесь же в зале камера с настоящей тюремной дверью. Много фотографий. В Калининне есть филиал общества «Мемориал». Выставка устроена его заботами.

Пишу уже вечером 11-го. С утра беготня — прачечная, магазины и пр. В «Вечерке» есть теперь рубрика: «Новое в городе». Сегодня знакомились с некоторыми новшествами на практике. На Ленинском, рядом с магазином «Кинолюбитель» появилась «Оптика». Без всякой очереди, очень быстро заказала себе очки, готовы будут через два дня. Заплатила 35 р. Индивидуальная трудовая деятельность — так это теперь называется. Оттуда доехала до «Власти». Очень хочется купить бусы своим дочкам и непременно красивые. Но «Власть» сегодня открыта только для покупателей с талонами, а магазин «Интерьер», куда я тоже собиралась зайти, закрыт почему-то на санитарный день. Купила на улице кубинские апельсины, что большая удача, и вернулась домой. Недавно была в новом киноцентре. Очень красивое современное здание рядом с метро «Краснопресненская». Показывали фильм Вайды 1976 года «Человек из мрамора». Фильм про то, как мясорубка тоталитарного го-

сударства перемалывает человеческие жизни. В свое время этот фильм был сенсацией, но сейчас, когда мы уже видели «Покаяние» и уже прочли и продолжаем читать столько книг и журналов про наши, а не польские варианты этого же действия (оклеветали, дали ни за что три года — три!), фильм, конечно, не производит ошеломляющего впечатления, хотя Вайда — это все равно настоящее искусство. В Старице я прочла маленькую книжку (приложение к «Огоньку») А. Володина «Одноместный трамвай». Это автобиография. Мне всегда казалось, что Александр Володин, автор таких прославленных пьес, как «Фабричная девчонка», «Пять вечеров», «Старшая сестра» (шли во всех городах страны) — один из немногих благополучных и процветающих драматургов. Оказывается, отчество у него Моисеевич, а Володин — псевдоним. (Зашел как-то в редакцию и услышал, что работа не пойдет из-за фамилии. Александр Моисеевич был с сыном Володей. Находчивый редактор, узнав как зовут сына, тут же предложил псевдоним Володин. Своей подлинной фамилии Володин не называет.) Автобиография очень горестная. Простой искренний рассказ о том, как ломали душу, втискивали в нужные рамки. И как сломали. Как он начал пить и по утрам прятать бутылку водки от маленького сына. Небольшая эта книжка производит сильное впечатление. Слушала программу «Время» и чинила какую-то ерунду. Объявили, что с первого июня уезжающие в гости могут вывозить подарки стоимостью не более 30 рублей на человека. Испортилось настроение. На 30 р. теперь ничего не купишь, это гроши. В «Дружбе народов» № 3 прочла «Записки уцелевшего». Автор Сергей Голицын — отец Гоги Голицына, нынешнего папиного директора. Еще один неведомый слой многообразной жизни 20—30 годов. Бывшие князья и прочая нечисть. Хорошо написано, сдержанно и в то же время ярко. Надо сказать, что с классово чуждыми элементами обходились все-таки мягче, чем с классово близкими. Конечно, лишали избирательных прав и, следовательно, права иметь хлебную карточку, но детям карточки давали. Конечно, выселяли, но все-таки не на лесоповал. Детей не брали в вузы, часто и в школу, но все-таки не сажали как членов семей врагов народа. Очень интересно в книге описание советского быта больших княжеских семей с разветвленными родственными связями. Удивительно, как они держались друг

за друга, как помогали и выручали один другого, как сохраняли традиции интеллигентности и культуры посреди всеобщего одичания и озверения. Мой отчет подошел к концу. Но мне очень понравилось одно стихотворение Юнны Мориц, и я хочу его вам перепечатать.

На смерть Джульетты

Опомнись! Что ты делаешь, Джульетта?

Освободись, окрикну этот сброд.

Зачем ты так чудовищно одета,

Остра, отпета — под линейку рот?

Нет слаще жизни — где любовь крамольна,

Вражда законна, а закон бесстыж.

Не умирай, Джульетта, добровольно!

Вот гороскоп: наследника родишь.

Не променяй же детства на бессмертье

И верхний свет на тучную свечу.

Все милосердие и жестокосердие

Не там, а здесь. Я долго жить хочу!

Я быть хочу! Не после, не в веках,

Не наизусть, не дважды и не снова,

Не в анекдотах или дневниках —

А только в самом полном смысле слова!

Противен мне бессмертия раззор.

Помимо жизни все невыносимо.

И горя нет, пока волнует взор

Все то, что в общем скоротечней дыма.

1966

12/V-90.

Воистину на ловца и зверь бежит. В дополнение к «Запискам уцелевшего» вчерашняя «Вечерка»: «В Центре пропаганды и общественных инициатив, что на улице Разина, завершилось собрание союза потомков российского дворянства — Дворянского собрания. Присутствовали представители известнейших фамилий, оставивших глубокий след в истории нашей страны. Цель организации Дворянского собрания — возрождение сословия, привлечение внимания к истории России, установление прочных связей с дальними родственниками в зарубежье. Предводителем дворянства избран князь Андрей Кириллович Голицын». Ничего, а?

24/VIII-91.

Девочки мои дорогие, где вы, что вы? Нет вас со мной ни в тяжкие мои часы, ни в радостные... Папа не услышал звонка в дверь. Пока возилась с ключом, сумка едва не оторвала руку. Папа сидел на кухне и смотрел ТВ. Похороны Усова, Комаря, Кричевского. Мы пришли с траурной церемонии — и вот продолжение. Усова и Комаря отпевают в церкви. Пышное церковное песнопение. Ризы, кадила, плачут, крестятся... Камера перескакивает к третьему гробу под белым покровом с черными полосами. Рядом мужчины в таких же белых с черным накидках. Один играет на скрипке. Высокие певучие звуки хватают за сердце. Читают кадиш. К гробу подходит молодой парень в комбинезоне «афганца». «Мы были рядом. Я не знал, что он еврей. Мы все были вместе. Мы все защищали наш Белый дом»... Три открытые могилы, одна рядом с другой. Несут венки. Нет им конца. Первый гроб опускают в землю, второй, третий. Музыка, цветы, искаженные горем лица родных, портреты погибших. Комарь — совсем мальчик (20 с небольшим). Сменяющееся лицо почти в профиль, сияющие глаза, полные жизни и надежды. Илья Кричевскому 28. Красивое лицо, высокий лоб, вопрошающие глаза — лицо интеллигента. Идут и идут люди, с цветами, без цветов, молодые, пожилые, в бесформенных плащах, в мини-юбках, в джинсах. Море людей, хотя настоятельно просили не приходить на Ваганьковское никого, кроме родных.

19-го проснулась до девяти от толчка тревоги, как все последнее время. Встала и включила телефон. Звонок раздался, когда я еще не успела убрать руку. «Юнь, военный переворот». У Майи бесцветный, безжизненный голос. «Да, Юнь, похоже, что конец». Наша квартира вдруг стала замурованным погребом. Темно. Трудно дышать. Лечь. Скорее лечь. Заснуть. Когда проснусь, ничего этого не будет. Не будет этого мертвого Майиного голоса. Дверь погреба откроется. Нельзя ложиться. Не знаешь, что делать, делай, что всегда. Держи колею. Главное — держать колею. Что сегодня? Хлеб и молоко. Опять кончилось это проклятое молоко. Горячей воды нет уже больше двух недель. Моюсь под холодным душем, не чувствуя холода. Кошелек, сумка на колесах. Нагибаюсь к сумке, включаю ТВ.

Приятная музыка по всем программам. Значит конец. И вдруг... Вдвоем с папой слушаем информационное сообщение. Да, конец. Оба понимаем, что конец. Телефон звонит, не умолкая. Впрягаюсь в сумку и выхожу на улицу. Кто-то уже успел сказать, что в Москве танки и БТР. На нашем отрезке Ленинского проспекта, на ул. Дм. Ульянова все как всегда. Молока нет, овощей нет, но только в овощном. В «Заказе» в молочном отделе есть помидоры, в мясном — картошка и капуста. Все как всегда. В булочной очередь, есть свежий хлеб. Встаю. Передо мной работага. Грязный изношенный пиджак, жеванная кепка. Лицо изрыто морщинами. Злобная радость. Доигрались бездельники и болтуны. Демократии захотели. Рабочему человеку хлеба не на что купить, а им давай свободу. Сзади кто-то: «Сибирь... убивали»... — «Убивали, кого надо, а в Сибири бездельникам самое место». Покупает четвертушку черного хлеба и одну самую дешевую булочку.

В середине дня пронзительный телефонный звонок. Папа хватается трубку. Звонит журналист из Техаса. Телефон дал Юрий Тувим. Журналист хочет знать, что делается в Москве. 20 минут папа отвечает на его вопросы. Я стою рядом. Мне кажется, что папа говорит недостаточно определенно и слишком отрешенно. Много «повидимому» и «вероятно». В середине разговор прерывается. Папа: «Он сказал, что передает мои слова в эфир. «Ваши слова слышат тысячи американцев. Они хотят знать правду». А что ему говорить? Я ничего не знаю». Снова пронзительный звонок, разговор возобновился. Только потом мы сообразили, что в Техасе было раннее утро и они еще ниоткуда не могли получить никакой информации. Но какова журналистская оперативность и каков Юра! Обзвонили знакомых, попросили сообщать нам все, что кто-нибудь узнает. Журналист сказал, что позвонит снова. Но он больше не позвонил. Самым трудным, самым безнадежным днем было 19 августа. Не могу писать. Дома одна. Позвонил некто по имени Слава. Мы пытаемся что-то сделать с квартирой. Я понимаю, как это важно, но все внутри меня сопротивляется. Стараюсь держать себя в руках, не терять голову и... не могу себя пересилить.

Мир махинаций, комбинаций, лжи, подлога... Не могу. В этом мире я бессильна. Мне страшно. Простите меня, не могу... Перерыв.

Пока я занималась своими душевными переживаниями, у нас КПСС самораспустилась!!!! Нет слов. Жизнь теперь протекает только у телевизора или на улице — на очередном митинге. 20 августа стало немного легче, потому что заработала радиостанция «Эхо Москвы». Как странно. Голос диктора, едва слышимый сквозь треск помех, воспринимается как надежная опора. Есть голос — есть жизнь. Замолк — оцепенение. Как костер в первобытной пещере: горит — живем, погаснет — помрем. Героические ребята. Их опечатывали, изгоняли, но они делали свое дело — спасали Москву.

27/VIII-91.

Папа ушел на работу, чтобы поговорить с Голицыным. Не могу смотреть папе в глаза. Рушится его жизнь. Он очень мучается. Впервые за всю нашу жизнь вместе он мучается, а я ничем не могу ему помочь. Вчера вечером сидели на грязной лавочке у метро «Университет» и обсуждали с юристом Минной Захаровной, как быть с квартирой. Хороших вариантов нет. Бороться за плохие? Отказаться? Не знаю, что делать. На этом же месте 24-го встретились с Иммой и Алей Солодухиной и поехали в центр, где к нам присоединилась Майя Туровская. Уже в метро ясно обозначилась струйка людей с цветами в руках. Она текла отдельно от обывденной, привычной жизни. Все эти дни в Москве было две Москвы: привычно-обычно замордованная и совсем новая. Новую раскованную, распрямленную Москву мы слышали по радио, потом увидели по ТВ, потом в то утро. В метро говорили о преображении «Известий». Молоденькая девушка рядом вдруг вмешалась в разговор. «Простите, мне так приятно слышать все, что вы говорите. Спасибо вам. Я работаю в «Известиях». Новая Москва. Толпа заняла всю Манежную площадь. Мы стояли у тротуара, не доходя до зданий университета. Нашего с Майей университета, где на крыше в тот день тоже было много людей. Обещали дождь, многие пришли с зонтиками, но солнце палило нещадно. Люди стояли под черными зонтами, прячась от солнца. То и дело раздавались крики: «Врача! Врача!» Цепочка поднятых вверх рук указывала дорогу. Толпа расступалась, на помощь бежал врач, и через несколько секунд очередного человека, потерявшего сознание, уже несли к машине «скорой помощи». С Манежа шествие двинулось по проспекту Калинина,

потом по Новому Арбату к Белому дому. Несли портреты Усова, Комаря, Кричевского, много российских флагов, транспаранты партий. За нами с большим черным флагом шли монархисты. У моста (пересечение Нового Арбата с Садовым кольцом) над проезжей частью Садового кольца, где погибли Усов, Комарь и Кричевский, лежали цветы, горели свечи. Первые баррикады вокруг Белого дома. Господи, да ведь это просто кучи хлама! Танки остановили не баррикады, а люди, это теперь знают все. Люди остановили, новые люди старой Москвы. Остановила Москва новых людей. Мы провели в толпе больше пяти часов. Вокруг нас были обычные люди — пожилые, молодые, многие с детьми, — но это было сообщество людей. Людей! А кто правил? Боже, какие ничтожества?! Крючков*, Павлов**... Какие ничтожества, какие неумехи?! Заказали в Пскове 250 тыс. наручников, заготовили бланки ордеров на арест. А убрать сначала безоружную команду Ельцина, а потом объявить чрезвычайное положение не догадались. Какие ничтожества! И это была команда Горбачева. Ужас! Я всегда относилась к Ельцину очень сдержанно, но в эти страшные дни он вел себя безукоризненно и, что еще более неожиданно, умело. Четко и организованно в каждую данную минуту делалось именно то, что надо было сделать в первую очередь. Поразительно. Не могу больше писать. За окном серое небо, серый моросящий дождь. Очень хочется кому-нибудь позвонить. Некому. Майя уехала на один день в Ригу. У Лары меняют АТС, будет новый номер. Пока телефон не работает.

1 сентября 1991 года. Воскресенье. Солнечно. Ветрено. Гулять не пошли. Папа работает. Вчера снова провел полдня в академической кассе Аэрофлота, но билета не купил. В пятницу вечером нас посетила молодая женщина. (Квартирные дела.) Высокая красивая блондинка. Нежные светлые волосы, нежный округлый овал лица, вся округлая, чуть полноватая, еще немного плоти — и прекрасная модель для Кустодиева. «Во Вьетнаме я выучилась на бухгалтера. Скуновато, конечно, но зато я теперь деньги научилась считать и записывать. Все теперь знаю: когда, куда, сколько истратила. Очень полезно. А мебель будете продавать? Для квартиры нам такая мебель, конечно,

* В.А.Крючков — с 1988 по 1991 г. председатель КГБ СССР.

** В.С.Павлов — с 1990 по 1991 г. премьер-министр СССР.

не подойдет, но мы только что очень приличную дачу отстроили. Для дачи кое-что нам бы подошло. Расходов, расходов, не знаю, как концы с концами свести. У нас еще сын взрослый. Знаете сколько расходов? В институте учиться, чтобы в армию не взяли. Так-то институт ему ни к чему, конечно. В школу бизнеса мы его устроили. Да, обучение платное. Теперь все платное. 30 тысяч заплатили. Нет, нет это только за один год. Я чуть с ума не сошла, когда цену сказали. А что делать? Сын ведь. Первый год здесь будет учиться. Если успешно, на второй год возьмут учиться в Штаты. Там стипендию небольшую будут платить, а 30 тысяч — это само собой. Ну и за третий год опять 30 тысяч. А что делать? С мебелью, значит, пока не решились?»

Неведомая Москва. Джунгли империализма на улице Вавилова.

Вчера по ТВ в программе «Вести» показывали Таллин. (Программа «Время» не работает. Перестройка.) Свалили очередного гранитного Владимира Ильича и внеочередного тов. Калинина. Жена его, посаженная Сталиным, была, оказывается, эстонкой. Памятник всеоюзному старосте был воздвигнут на могильных плитах, похороненных на этом месте людей. Низвергнутый Калинин, плиты с надписями, рядом большая группа молодых парней и девушек. Горящие глаза, широко открытые рты: «Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем!». На проспекте Калинина в Москве на пьедестале разбитого памятника все тому же Калинин у крупными буквами написано: «Долой КПСС!». Видела много нестандартных надписей, когда проходили по Москве с траурным шествием памяти Усова, Комаря, Кричевского. На мусорных баках: «Для членских билетов КПСС». На баррикадах: «Забьем снаряд мы в тушку Пуго»* и т. д. и т. п. Новая Москва.

Сегодня, 2 сентября 1991 г., открылась чрезвычайная сессия Верховного Совета... Чего? Как называется государство, в котором я пока живу? Сегодня папа купил билет в Швейцарию. Дозвониться по поводу паспорта пока не можем. Сегодня я получила первый писательский паек: пачку какао, пачку чая (50 г), один плавленый сырок (80 г), полкило сухого печенья. Нечто похожее я могу теперь получать еженедельно. А к праздникам, знать бы только к каким по теперешним временам, дают, говорят, даже колбасу. Заснула сегод-

ня после пяти утра, проснулась около девяти. Ночью читала Тэффи. Воспоминания, что любопытно, рассказы — совсем пустяки, по-моему. Была она, видимо, обаятельной, способной женщиной с цепким глазом, хорошим ухом и даром легкой связной речи. Но ведь писатель — это тот, кто пишет, потому что хочет сказать людям что-то свое. Тэффи — прекрасная рассказчица. А Чехов, тоже писавший «о пустяках жизни» — великий писатель. Во время Первой мировой войны, когда ели конину, служанка в одном из рассказов Тэффи докладывает, что обед готов, и говорит: «Барыня, лошади поданы». Все. Иду стирать. Да, чуть не забыла. Как вы думаете, какое издательство выпустило сборник рассказов эмигрантки Тэффи? Ладно уж, не мучайтесь. Госполитиздат. Голод не тетка. Ну и на закуску. «Эмиграция — переселение из какой-либо страны в другую, вызываемое различными причинами (экономическими, политическими, религиозными и пр.), неизбежный спутник эксплуататорского общества, получила особенное распространение в капиталистических странах в 19 и 20 вв.». Словарь иностранных слов, Москва, «Советская энциклопедия», 1964, стр. 755.

5/IX-91.

Хочу попытаться отправить почту с папой. Он улетает завтра. Вещи не сложены. Белье не поглажено. Обед не готов. Горячей воды нет. Папа ушел в институт. Телефон звонит, не переставая.

7/XII-91.

Девочки мои дорогие, здравствуйте! Не могу привыкнуть к новому городу в новой стране, где я живу — пока! Надеюсь, что пока, хотя вера моя тает, как последняя пачка маргарина в холодильнике. Улица Качалова, аристократический «Букинист». Подъезжаем на желтом микроавтобусе с красной надписью: «Лаборатория». Валя до сих пор не может починить свою развалюху. Сашу мне сосватали знакомые знакомых. Он работает в МГУ шофером на этом самом микроавтобусе. Машина казенная, время казенное — «... и тебе и мне хорошо», как поется в известной песне. У нас упорно говорят, что отправка книг подорожает. И почему ей, собственно, не подорожать, если творог в магазине стоит уже 20 р. кг, а за «ножками Буша» очередь тянется на три квартала? Но благодаря Саше мы вык-

* Б.К. Пуго — с 1990 по 1991 г. министр внутренних дел СССР.

рутились. Отправить осталось пустяки: оттиски, книги, которые ждут разрешения Ленинки — пустяки. Ленинка, кстати, вернее не-кстати, тоже озверела. В последний раз за разрешение вывезти 13 не Бог весть каких книг потребовали 200 р. пошлины. Папа вышел из душа. Сегодня у нас знаменательный день, поэтому он решил постричь ногти не только на руках, но и на ногах. Сидит рядом в кресле и ехидничает: «Пиши, пиши, должна же ты отрабатывать свой писательский паек». Баста! Теперь я пойду в душ. Остальное потом. Ну вот, душ, завтрак позади. Но я потеряла нить. Вспомнила — писательский паек. В прошлый раз в пайке дали коробочку конфет «Коровка». Конфет в городе нет никаких. Изредка появляются где-нибудь по сахарным талонам. Вчера, когда мы пили кофе, зашел Витя Царенко, бывший папин аспирант, ныне кандидат наук, сотрудник ИФА. Папа много с ним возился, сейчас пытается организовать ему приглашение на год в Стенфорд. Предложили Вите выпить с нами кофе. На столе стояла коробочка этих самых «Коро-вок». Витя протянул руку и вдруг сказал: «Нет, не хочу. Если можно, дайте мне с собой для дочки».

Пора, кажется, вернуться на ул. Качалова. На дверях магазина надпись: «Вход со двора». Въезжаем. Очередная стройка. Все разрыто и перекорезено. Новое мое шоферское образование позволило оценить Сашино мастерство. Петляя между заграждениями из досок и баррикад из бочек, Саша привез ящики с книгами в магазин. В магазине ремонт — грязь, гул, гвалт. Надменная молодая девица быстро расправилась с книгами. И вдруг каменное лицо расплылось в обворожительной улыбке: «Скажите, а вещи какие-нибудь вы не продаете? Одежду? Обувь?» А потом она и ее соседка за прилавком долго и жадно расспрашивали меня про США. Как туда попасть? Как устроились дети? И т. д. и т. п. Разговор кончился стандартно: «Ничего, здесь скоро отмучаетесь, зато там будете жить, как человек». По дороге домой захала в Столешников. От переул-ка осталось одно название, писать об этом не могу. Зашла к Фросе*. Оставила ей 300 г масла для Лары (тоже писательский паек), конфеты и чай для нее. (Масло у Фроси было. «Кусочек еще есть, Юня,

* Фрося, Ефросинья Павловна Романова — няня, помогавшая растить Лариного сына Мишу.

честно, есть».) Потом Кузнецкий мост. Магазин подписных изданий. Вышли очередные номера «Нашего наследия». Вхожу. Над прилавком напротив двери большой плакат: «Господа, извините, у нас коммерческие цены». Оказывается, кроме книг, здесь продают теперь одежду, сковородки с тефлоновым покрытием, наборы матрешек. А на прилавке справа от входа штабелями до самого потолка лежат тома Солженицына: «Раковый корпус» и «Архипелаг ГУЛАГ».

В Москве резко похолодало. Сейчас —13°C. Валит снег. Это плохо. Я всегда любила зиму и снег, но сегодня мне не по себе. Снег в декабре уже давно стал в Москве неожиданным стихийным бедствием для городских властей. А при теперешнем хаосе даже подумывать страшно, что творится в городе, да еще в субботу. Ни трамваев, ни троллейбусов. А нам вечером надо добраться до Дома кино, где будут показывать сделанный американцами фильм про Сахарова. Папу, как одного из киногероев картины, пригласили прийти. И друзей разрешили привести, так что наша небольшая команда уже готова к бою.

8/XII-91.

До Дома кино добрались вчера вполне благополучно. Перед началом несколько слов сказала знакомая нам по трем-четырем встречам Шерли Джонс — режиссер фильма. Она рассказала, что в очередной приезд в Москву попала на похороны Сахарова. Ее потрясло то, что творилось в Москве, и она захотела понять, что же это был за человек, которого так оплакивают. Начала собирать материал, увлеклась и решила рассказать американцам, кем был Сахаров для России. С этой задачей она, по-моему, не справилась. Но фильм мне понравился: и то, что сделано, и то, как сделано. А ведь Шерли — американка, чужая в этой стране. Главного — кем и чем был Сахаров для России, почему так трагично то, что его сейчас нет, в чем величие этого человека, как неоценим его вклад в историю, науку и культуру этой страны — Шерли показать не удалось. Она сделала, по-моему, очень хороший фильм, огромное ей спасибо, но главное все-таки не удалось. И я думаю, что не могло удасться. Я думаю, что понятие background* глубже, чем принято считать. И не потому только, что имена тех, кто рассказывает о Сахарове, ничего не говорят

* Background (англ.) — культура, воспринятая с детства.

большинству американских зрителей. (Здесь они тоже большинству ничего не говорят.) А потому, прежде всего, что разный жизненный опыт определяет разный строй ассоциаций, откликов, настроений и мыслей. И не в этом ли одна из мук эмиграции — в невозможности переключиться с одного строя мыслей и чувств на другой? Можно приблизиться, даже сблизиться, даже понять, но не переключиться. Меня занесло. Простите, пожалуйста. Уж очень волнующая тема. Шерли рассказывала, как трудно ей было работать (обычная неразбериха, необязательность и пр.) и как она впала в отчаяние, когда ее обокрали в Шереметьево и погибли пленки, которые она уже успела отснять. (Юлька, тогда же погиб англо-русский биологический словарь, который я тебе с ней послала.) Но ей здесь многие помогали, и она все-таки довела работу до конца. Только вчера мы с папой поняли, что вы видели по ТВ именно этот фильм, а не репортаж о Сахаровском вечере из Большого зала консерватории, который показывали по ТВ у нас. Я с трудом узнала себя, хотя все говорят, что я очень похожа. Совершенно не узнала свой голос. И — о Боже! — почему я так много махала руками? У меня одно оправдание: я думала, что снимают только папу. И все-таки я рада, что оказалась в этом фильме, в фильме про Сахарова. Рада, что сказала то, что считаю важным. И что слова эти останутся. В следующую субботу фильм «Гражданин Андрей Сахаров» будут показывать по нашему ТВ. Я попыталась объяснить Шерли, что слово «гражданин» имеет у нас специфическое значение, но в разговор вмешался Юрий Рост.

Он яростно защищал именно такое название, хотя и признал, что слова «гражданин Сахаров» имеют совсем неподходящий смысл. По его мнению, имя Андрей все меняет. По-моему — нет, но убедить его я не смогла.

На банкете мы сидели рядом с Мильграмом*. Шерли ведь сделала большой фильм про 45-ю школу, который ты, Машенька, видела. Господи, как тесна Земля, какое скрепление судеб. Леонид Исидорович постарел, ссутулился, отрастил животик, но глаза блестят по-прежнему и энергии хоть отбавляй. Ученики 45-й школы за последние полтора года дважды были в США, а кроме того еще в Австра-

* Мильграм Леонид Исидорович — директор московской школы № 45, где учились Маша и Юля.

лии, Новой Зеландии и Таиланде. Всех учеников школы кормят бесплатно горячими завтраками, обеды стоят около рубля, то есть даром по нашим временам. И все это, конечно, заботами Леонида Исидоровича. Кто-то из родителей подарил ему миллион, из этих денег он доплачивает учителям. Дрязг в школе хватает: кому, куда и когда ехать, сколько кому платить, учителя разбегаются в кооперативы. И все-таки Леонид Исидорович молодец. Наш советский молодец. С гордостью сказал, что получил звание Народного учителя. Я предложила ему забрать на пару оставшуюся на столе сухую колбасу. Хороша ваша мать, конечно, но мне решительно не из чего сделать бутерброд, чтобы дать папе с собой на работу. Л.И. от моего предложения отказался, небрежно заметив, что недавно вернулся из Парижа и привез много колбасы и сыра. Он доставил нас домой на своей машине, за что мы были очень ему благодарны. По дороге ругал своего сына, который не хочет уезжать, и сообщил, что здесь у него «жигули», а в Италии, куда он регулярно ездит с женой (она итальянка, помните?), у них, конечно, «форд». Все на сегодня. Надо убрать кухню, переглядеть белье, но прежде всего помочь папе отобрать оттиски.

Целую и обнимаю вас.

Мама.

1992 год

31/I-92.

Девочки мои родные, не знаю, сколько раз буду еще писать вам из Москвы. Время вдруг стремительно понеслось к... Ощущение, что к пропасти. Дна не видно, склон все круче, и больше всего хочется зажмуриться, поднять руки и... будь что будет. Я все вспоминаю Тянь-Шань, заснеженный склон, злого проводника, которого я извела вечным своим отставанием от группы. Он поставил меня первой, бросил через плечо: «Делай, как я!» и, зарубая ледорубом, начал глассировать по склону. Я попробовала, ничего у меня, конечно, не получилось. Тогда я села на пятую точку, подняла ледоруб над головой и полетела вниз. Такого восторга я, наверное, больше никогда не испытывала. Надо сказать, что и мата такого я тоже никогда больше не слышала. Мне показалось, что проводник спятил от бе-

шенства. Не обращая на него внимания, я встала и оглянулась. На вершине склона цепочкой стояла наша группа. Папа был белый как снег, нелепо торчали вытянутые вперед руки, рот широко открыт. Почему я тогда не разбилась о камни, как пронесло меня мимо острых выступов скал без единой царапины, так и осталось неясным. И вот сейчас мне все чаще хочется поднять руки и... будь что будет! Только теперь я знаю, что крыльев у меня нет, и это знание цепко держит меня в своих скучных объятиях. Я стала трусихой: осторожно хожу по непроходимым улицам, осторожно спускаюсь по обледневшим ступенькам, как спускалась вчера на подходе к Министерству юстиции. И все время строю планы — далекие в качестве приманки, когда становится уж очень тошно, и близкие — вместо перил. Без перил трудно и я боюсь, теперь уже боюсь слишком быстрого перемещения в пространстве и времени. Отчет о перилах. Мы видели «М. Баттерфляй» — спектакль Виктюка, одного из самых известных наших режиссеров. Это модернистское переложение известного сюжета, только здесь Баттерфляй — мужчина, и главный герой жил с ней (с ним) 20 лет, так этого и не обнаружив. Не задавайте вопросов, мы с папой этого фокуса не поняли. Остальные сюжетные ходы в том же духе. Мне было хорошо: я не слышала ни слова. Впервые сидела в театре и ничего не слышала. Сначала это открытие меня оглушило (понимаю, что выразилась не очень удачно). Но потом я привыкла. «М. Баттерфляй» — это совсем новый театр. Театр пластических форм прежде всего. Декораций нет. Сцена поделена пополам по высоте, так что получается два этажа. А вертикальные брусья делят сцену на центральную часть и на две (вернее четыре) боковые. Стандартная мизансцена: внизу в центральной части сцены главные герои сидят неподвижно и разговаривают. На всех остальных площадках фигуры мужчин в набедренных повязках — мини, мини! — двигаются, создавая красивый и осмысленный, вполне говорящий узор, дополняющий слова (для тех, кто их слышит). Мужчины в таком вот практически обнаженном виде изображают и женщин. Как это ни удивительно, вполне правдоподобно. У Курмангалиева, игравшего Баттерфляй, редчайший голос — контртенор. Его я, к счастью, слышала. Пел он удивительно. Удивительно, не могу найти более точного слова. Задник сцены

все время менялся. На нем возникали красочные узоры — яркие, необычные, волнующие. Каким-то образом они совпадали с действием. Вся эта красочная фантазмагория — узоров, человеческих тел, иногда восточных костюмов Баттерфляй, сделанных с подлинным мастерством и ошеломляющей роскошью — дополнялась звучащим мотивом единства мужского и женского начала — Курмангалиевым. Он появлялся в мужском костюме тоже. Главный герой, влюбленный в Баттерфляй, прямо на сцене надевал кимоно и становился женщиной. Жесты, походка, выражение лица — метаморфозу эту невозможно забыть. Такой вот спектакль. Спектакль-праздник, спектакль-развлечение, но очень высокого класса. Спектакль, каких мы никогда прежде не видели. А два дня назад мы были в Доме ученых и смотрели тоже современный спектакль венгра Табори «Майн кампф фарс», поставленный Розовским. Недоумение началось еще до начала. На сцену вышел Марк Розовский, но не прежний худощавый задира с горящими глазами, который отплясывал вместе со своими актерами, когда зал, стоя, аплодировал после «Гамбринуса». Новый Розовский толст, неподвижен и бесконечно доволен собой. Таков же и его новый спектакль. Ночлежка. На сцене настоящие кровати, на них настоящие тьюфики, дверь 00 (сортир) и все в том же духе. Ну и Гитлер, конечно, и девушка, прелестная нимфа, которая утешает еврея в ночлежке, а потом становится эсэсовкой. И все очень длинно, и все позавчерашний день и в жизни, и в искусстве. И это Розовский?

У меня появилось еще несколько минут. Мне всегда трудно кончить письмо — пока пишу, кажется, что вместе. Началась полоса прощаний. Не знаю, увижу ли когда-нибудь Майю Туровскую. Она сейчас в Германии. Возвращается 15 марта. Целую вас, родные, и на прощанье перепечатаваю два стихотворения Инны Лисянской.

Целую и обнимаю вас.

Мама.

Инна Лиснянская

Тело

Что в нем было, скажи?
Ни красоты ни стати.
Кроме певчей души,
Все в нем было некстати.
И стирать не могло,
И варить не умело,
Так и в землю легло
Бестолковое тело.

1987

Обыкновенная жизнь

Ничто не кажется мне чужим,
ни то, что прошло, ни этот режим,
ни угли в золе, ни звезды во мгле,
ни на море штиль, ни пыль на столе.
А я пришла сюда, чтобы понять,
как жить и как умирать.
Но в сад правоты войти не дозволю
через чужие врата.
Глаза мои — каленая соль,
душа моя — сирота.

1991

ДНЕВНИК
Брайтон, 2000

13 апреля. Сегодня приехала к Юле немного раньше. Вышла из машины, подошла к багажнику, чтобы вынуть сумки, и забыла о них. Молодое вишневое дерево перед домом в полном цвету. Стройный невысокий ствол, налитые соком короткие гибкие ветки и кружево белоснежных цветов. Рядом склонила голову наша с Акивой вишенка. Она — чужестранка, японка. Совсем еще ребенок: тонкая ножка, тоненькие ручки-веточки в прозрачных рукавчиках нежно-розовых цветов.

Весна. В Бостоне весна. «...И равнодушная природа»... Равнодушная природа снова сияет вечной красотой. А мне уже давно пора вернуться в Ньютон.

ДНЕВНИК
Ньютон, 1992

14 сентября. За окном так красиво, что смотреть можно, кажется, часами. Высокие деревья, ветви в густой листве. Зелень уже кое-где тронута желтым, оранжевым, темно-красным. Синее небо, легкие облачка. Симфония в зелено-желто-оранжево-синем цвете. Осенние листья падают на землю с таким победоносным видом, будто не смерть их ждет, а вечная жизнь. Улица Рипли, ты мне очень нравишься. Почему ты чужая? И... И неужели через два дня мы улетим в Италию?

ПИСЬМО В МОСКВУ

Италия. 16 сентября—14 октября 1992 года

Флоренция. 16—30 сентября

Ночью не спалось. Прочла «Дом с мезонином» и «Невесту» Чехова. Не отрываясь, как в первый раз. Утро началось со стирки. Бросила большую охапку белья в машину. Успела повесить. Вместо праздника на душе тревога. Страх опоздать, противное чувство, что непременно что-нибудь случится и никакой Италии не будет. Из Бостона в Нью-Йорк прилетели на крохотном самолете — обыкновенный «кукурузник». Только почему-то поили апельсиновым соком, раздавали пакетики с орешками и улыбки. В Нью-Йорке пересадка, ночь полета, Рим. Благополучно приземляемся в аэропорту имени Леонардо да Винчи. Не верю своим глазам. До чего уродлив аэропорт имени Леонардо! Кафель, трубы, плиточный пол. Вот так Италия! Аэропорт Кеннеди — чудо красоты по сравнению с аэропортом Леонардо. Нам нужно сесть в поезд, в необычный поезд. Он выходит из здания аэропорта и за два с половиной часа привозит пассажиров во Флоренцию. Сдали вещи в багаж, вошли в вагон. Мягкие кресла, отдельные для каждого пассажира. Складные столики, туалет с горячей и холодной водой, все блестит и сияет. Вот так Италия!

Сидим напротив друг друга и не отрываясь смотрим в окно. Как жалко, что скоро приедем, а тут еще туннели. Поезд идет по скоро-

стной трассе, проложенной среди холмов будто по линейке. Туннелей, увы, много. А за окном Италия. Первое впечатление — бедность. Красота и бедность. Красота земли и бедность тех, кто на ней живет. Невысокие дома с обвалившейся штукатуркой, жалкие балкончики, почти на всех окнах и балконах сохнет бельё.

За окном поезда холмы, холмы, холмы. И все возделаны. Огороды с неизвестными овощами и знакомой капустой. Делянки кукурузы, подсолнечника, винограда. Небольшие купы деревьев виднеются только в глубоких низинах и на границах участков. Участки маленькие, холмы словно в разноцветных заплатках.

Внезапно холмы исчезли. Облупленные дома, тесные улицы, балконы, увешанные бельем. Флоренция? На платформе нас встретил молодой итальянский математик Джанни. Он организовал школу под Перуджей, где Акива должен прочесть курс лекций. Флоренция ошеломила. Страшно жарко. Невыносимо душно. Удивительно грязно. Джанни сказал, что живет в деревне недалеко от Флоренции, там лучше, чем в городе. Я охотно ему поверила, потому что испугалась города, который увидела из окна машины. Унылые дома, толпы людей, скопище автомобилей и будто этого мало — мотоциклы. Мужчины, женщины, старики, подростки бесстрашно несутся на мотоциклах, не обращая внимания на машины, автобусы и светофоры. Грохот, чад и это... Флоренция?!

Когда машина Джанни остановилась, мне показалось, что он привез нас во дворец из сказки. Но Джанни надо было вернуться в город, в университет, а мы знали, что пробудем здесь недолго, поэтому, что-то перекусив, оставили вещи и поехали вместе с Джанни назад, искать Флоренцию. Джанни довез нас до автостанции, объяснил, как вернуться домой автобусом, и мы остались одни.

То ли от усталости, то ли от запаха бензина меня укачало в машине. Болит голова. Болит живот. Тошнит. Ноги деревянные. Господи, приехать в Италию и... Всего несколько дней во Флоренции и... Дойти бы до площади Санта Мария Новелла. Это недалеко, у нас есть карта, но... Спрашиваем, посылают то в одну сторону, то в другую. Дышать не могу совсем. Не помню, сколько уже съела нитроглицерина. Ноги, ну пожалуйста, шаг, еще шаг, жить — значит переставлять ноги. Акива идет впереди, я тащусь за ним. Наконец

просвет, уже видна площадь. Спасибо, ноги. Отпустило голову, еще тошнит, но живот прошел. Главное, можно дышать.

На площади нет машин. Люди, дома, церковь. Площадь замощена булыжником. Дома старые, бедные, но живые и все разные. Поблекшая краска на стенах, узкая дверь, над ней вывеска: «Отель Минерва». Рядом «Отель Италия» и еще какие-то отели с такими же громкими названиями и облупившимися стенами. Много туристов. Ходят, смотрят, улыбаются, присаживаются за столики, выставленные на площадь, подходят к лоткам с мороженым, фруктами.

Церковь XIII в. называется так же, как площадь, вернее, площадь называется так же, как церковь: Санта Мария Новелла. В церкви полутемно. Фрески на стенах освещаются лампами-автоматами. Бросишь монетку, загорается свет. Я плохо себя чувствовала и не могла ничего записать, о чем сейчас, конечно, жалею. Один из приделов расписан Гирландайо. Мы долго там стояли. Две стены разделены рамками — каждая на семь частей. Верхняя рамка вытянута в ширину, под ней три рамки справа и слева одна под другой. В каждой рамке рассказ о жизни человека. На двух стенах красочная бесконечная книга жизни. Чтение этой книги без букв и слов переворачивает душу.

Площадь Синьории оказалась недалеко. Издали увидела скульптуру Челлини, обрадовалась ей как родной. В отличие от Челлини Давид не тронул. Может быть, потому, что сильно обкакан голубями. Говорят, надо смотреть подлинник в музее Академии, а не копию на площади. Но в этот день мы туда не попали. Разинув рты и глаза, просто ходили по площади, по которой ходил Данте, где жег книги и картины Савонарола, где сожгли его самого. Сейчас площадь радостная, праздничная. Но прошлое живо.

Прошлое живо. Каким-то неведомым образом оно сосуществует с настоящим. Что это? Заклятие серого камня, из которого сложены дворцы? Колдовство красок, которыми расписывал церкви Гирландайо? Заклятие или колдовство, но за те недолгие дни, что мы провели во Флоренции, я поняла, что Флоренция — это два города. Старый бессмертный город дворцов, церквей и соборов, населенный теми, кого писал Гирландайо, кто запечатлен на дверях Баптистерия и чей дух живет в маленьких непохожих друг на друга домах,

теснящихся на узких улочках. И другой, современный город, замученный машинами и мотоциклами, с осыпающейся штукатуркой безликих, наспигованных людьми жилищ, которые не ремонтировали, кажется, с основания Флоренции в I в. д. н. э.

Баптистерий с его удивительными дверями мы увидели на другой день. Двери Баптистерия, из которых, к сожалению, отреставрирована только одна, это тоже бесконечная многостраничная книга. На каждой доске законченный рассказ, а досок в каждой из дверей больше десяти. Выпуклые фигуры людей из позолоченной бронзы кажутся живыми. Сколько лиц, сколько характеров, какие драматические и лирические сцены разворачиваются перед глазами. Дня мало, чтобы рассмотреть их все.

Но это было уже назавтра, а 17 сентября, в наш первый день в Италии, мы чуть живые добрались на автобусе до деревни с поэтичным названием Ла Мартелина и зашли в лавочку около остановки купить что-нибудь к вечернему чаю. Лавочка величиной со спичечный коробок. Полки вдоль стен от пола до потолка, холодильный шкаф, прилавок-холодильник, одна продавщица. Стоим в растерянности. Лоснятся маслины, каждая величиной с грецкий орех, слезятся сыры с дырками и без дырок, бесстыдно лезут в глаза сортов 20 колбас и копченого мяса. В холодильном шкафу масло, сметана, йогурт, что-то неведомое. Почему? Зрение двоится. Московские магазины зимой 1992 года. Лавочка в Ла Мартелине. Почему?! Ведь это бедная сельская лавка в бедной деревне в бедной стране Италии. Почему!!!

Бесконечный день 17 сентября на этом не кончился. Гордые, что справились с автобусом и нашли дорогу от остановки, приплелись домой. Жена Джанни в этот день танцевала на конкурсе. Она балерина. Прелестная, грациозная, совсем молодая женщина с прямыми черным волосами до плеч, с удивительной улыбкой — будто яркая лампочка зажигается в ее черных глазах, когда она улыбается. У нее трудное итальянское имя, я его не запомнила, поэтому буду называть ее Джульеттой, которую она мечтает станцевать. Выступление Джульетты прошло успешно. Ее взяли в какую-то хорошую балетную труппу, и она сияла от счастья. Мы пили чай, слушали «Ромео и Джульетту» Прокофьева и говорили о балете. Акива рас-

сказывал про Уланову, Джульетта про Макарову, Нуриева и Аллу Осипенко, которая танцевала в Кировском театре, попала за границу, занималась с Макаровой и теперь во Флоренции готовила к конкурсу нашу Джульетту. Когда и как мы добрались в этот день до постели, не помню.

Восемнадцатого сентября утром я рассмотрела наше жилище. Дом, построенный отцом Джанни по своему проекту, стоит на вершине холма. Все в нем просто, удобно и красиво. Каждая мелочь, от дверных ручек до выключателей, сделана со вкусом и пониманием. Просторные комнаты на разных уровнях — холм! — соединены деревянными лестницами. Черное дерево лестниц, дверей, ставен подчеркивает нарядную белизну стен и потолков. Дом опоясывает неширокая галерея, куда выходят двери кухни и гостиной. С галереи открывается удивительный вид на долину и соседние холмы. Дом царит, парит над долиной.

По склону холма спускается фруктовый сад: у самой галереи невысокие лимонные деревья в кадках увешаны спелыми лимонами, ветви молодых грушевых деревьев, кажется, вот-вот обломятся под тяжестью гроздьев темно-коричневых груш, много фиговых деревьев, оливковых. Я изменила свое отношение к оливковым деревьям. Эти уродцы с корявыми стволами так трогательно подставляют солнцу свои серо-зеленые листья и плоды, так трепещут при малейшем дуновении ветра, что кажется, будто они, не сходя с места, исполняют какой-то языческий танец во славу жизни. Холмы. Что в них притягивает глаз? Смотрю и смотрю на них и не понимаю. Плавные линии, бегущие то вверх, то вниз? Мягкие переливы желтых, зеленых, коричневых тонов? Сочетание движения и покоя?

В город отвез Джанни. Мы походили по площади Санта Мария Новелла, осмотрели Баптистерий внутри и зашли в кафедральный собор. Больше всего он поражает размерами. Купол его построен по проекту Брунеллески. По-моему, он скорее величественен, чем красив. На купол мы поднялись. По легкомыслию я не обратила внимания на надпись внизу: 463 ступени. Страшно вспомнить. Ближе к куполу и без того крутая лестница превратилась в винтовую. Температура все та же: +30°C. По причине малого роста мне не удалось перегнуться через барьер и посмотреть сверху, как устроен собор

внутри, но видом Флоренции я насладилась вполне. Черепичные крыши домов, купола и башни церквей — захватывающее зрелище.

Около трех часов мы провели в этот день в галерее Уффици. Долго стояли в очереди, прежде чем войти. Внутри тоже было много народа. Большие группы японцев прилежно слушали экскурсоводов, говоривших по-японски. Много английских групп, немецких, французов не встретили ни разу. Зато встретили нескольких монашек, они проявляли большой интерес к живописи. Музей хорошо оборудован. Здесь нельзя, например, подойти слишком близко к картинам — раздается свист. Автоматика и телемеханика на каждом шагу.

Уффици славится собранием картин Боттичелли. Зал Боттичелли небольшой. На потолке толстые деревянные балки перекрытия. На стенах картины. Входишь в этот зал и снова убеждаешься в старой истине: самые лучшие репродукции — все-таки только репродукции. «Рождение Венеры», оказывается, огромная картина. Маленькая хрупкая Венера кажется поэтому еще более трогательной. А в «Весне», оказывается, все движется, все кипит. Этого я на репродукциях не видела. Интересна странная картина Боттичелли «Женщина и кентавр». Обе фигуры очень реалистичны, и такая боль застыла на двух непохожих лицах.

В Уффици много замечательных картин, хорошая греческая скульптура. Ходить бы в эту галерею и ходить, но... От Уффици прекрасный вид на Арно и на мосты. Понте Веккио совсем рядом. Мы все-таки устояли, отложили до другого раза.

24 сентября. Перуджа. Пишу, сидя в нашем номере на вилле под Перуджей, где разместились школа. Акива вернулся после своей двухчасовой лекции, свалился и заснул. Хочу восстановить последовательность. Про 19 сентября я написала 19-го. Сейчас только вложу страницы на место.

19 сентября. Флоренция. В Сиену приехали в середине дня, на третий день после приезда во Флоренцию. Я все время напоминаю себе эти даты, потому что они не укладываются в голове. Мы всего три дня в Италии... Какой поставить знак, вопросительный? Восклицательный? Температура по-прежнему +30°C. Но вот поразительное открытие — в Сиене есть воздух, кислород! Здесь можно

дышать. Не тут-то было, дыхание сразу перехватило. Небольшая площадь рядом с автобусной остановкой находится, наверное, на холме. Прямо перед ней, но за ложбиной, видимо, на склоне другого холма ярко освещен солнцем какой-то знакомый — по картинам, открыткам — и совершенно незнакомый город: лабиринт узеньких улочек, игрушечные дома с горбатыми черепичными крышами. Скорее туда, только... Очень хочется есть. Завтрак состоял из крошечной чашечки кофе и малого джентльменского набора: нитронг, аспирин и пр. Заходим в кафе, берем бутерброды. Ни чая, ни кофе нет, так как в кафе что-то сломалось. Италия все-таки. Набрасываемся на бутерброды с лимонадом. Откусываю кусок хлеба и выплевываю кусок зуба. Черт с ним, с зубом, потом.

Улицы Сиены. Улицы? Ущелья, каньоны. Но зато почти нет машин, мотоциклов и велосипедов. Улицы ползут круто вверх, стремительно мчатся вниз, извиваются как змеи. Чисто. Зелень и цветы на окнах, на балконах и балкончиках, на крышах невысоких, чаще всего трехэтажных домов. Даже толпы туристов почему-то воспринимаются как жители этого средневекового города, сохранившего свой облик до наших дней.

Не знаю, что в Сиене удивительней: главный собор или главная площадь. Но описать собор я не в состоянии, поэтому — площадь. Это естественный, довольно большой пологий амфитеатр. Он вымощен красным кирпичом и разделен полосами из серого кирпича на девять секций (по числу правителей Сиены, в честь которых он был замощен). Вокруг дома. Средневековые невысокие дома под черепичными крышами. Один из них — большой, где теперь музей, — был когда-то, так сказать, мэрией Сиены. В других жили и сейчас живут граждане Сиены. На первых этажах лавки, лавочки, кафе, рестораны, пиццерии. Почти всюду столики выставлены наружу. Тут же лотки с сиенским ширпотребом: сумки, платки, флаги с гербом города, дивной красоты глиняная посуда из необожженной глины, небольшие медные тазы с выдавленным силуэтом города. На камнях амфитеатра лежат, сидят, едят, смотрят по сторонам разноязычные люди. Все вместе — готовая декорация для «Ромео и Джульетты». И в то же время Сиена — живой город, залитый солнцем и искрящийся радостью.

12 часов ночи. Пишу, держа блокнот на коленях. Во дворце, где мы живем, письменных столов не видно. Акива, вызывая у меня зависть, уже лежит. Из Сиены во Флоренцию вернулись автобусом, но в 9 часов вечера автобусная станция во Флоренции была уже закрыта. Долго не могли сладить с телефоном-автоматом. С помощью милой пожилой итальянки дозвонились, наконец, до Джанни, и он приехал за нами на машине. Все, силы кончились, ложусь спать. Мы провели в Сиене немногим больше трех часов и прожили за это время длинную интересную жизнь.

Из путеводителя-справочника я узнала, что основателем города считается Сенио, сын Рема. Видимо, поэтому герб города — волчица с двумя младенцами. Достоверно известно, что на месте теперешнего города существовало поселение этрусков Сена. Правительство девяти управляло Сиеной с 1280 по 1335 год. Это время расцвета Сиены, когда в городе было создано много замечательных памятников.

26 сентября. Флоренция. С последовательностью все-таки ничего не получается. Я пропустила Сан-Джиминьяно, Перуджу, Ассизи. Сейчас уже 10.30 вечера и единственное, на что я способна, это рассказать о сегодняшнем дне.

Утро началось необычно. Отоспались, лениво встали и вдруг мне на глаза попалось расписание автобусов из Ла Мартелины во Флоренцию. Автобус в 11.20, а потом только в 1.45. Сумка, рюкзак, Джанни отдает нам ключ. Остановка рядом. Чуть позже 12 мы были уже в городе. Прежде всего вокзал. Боже, каких трудов стоило выяснить расписание поездов в Венецию и Пизу и сколько туда ехать. Компьютер! Нажимаешь без толку одну кнопку, другую, а их много! Когда, не без помощи посторонних, мы узнали то, что нужно, я даже поняла, как просто и мудро устроена эта машина, но ни малейшего желания пообщаться с ней еще раз у меня все-таки не появилось. Покупка билетов в Венецию заняла несколько минут. Билеты... Венеция... Что это? Сон?

С вокзала пошли смотреть знаменитую флорентийскую церковь Санта кроче. Дорога к площади и церкви Санта кроче привела нас на площадь Синьории. Оттуда на площадь Санта кроче ведет узкая затененная домами улица. Сияющий на солнце фасад церкви увидели издали и невольно ускорили шаг. Небольшая красивая пло-

щадь. Нарядная радостная церковь. Рядом с ней мраморная скульптура Данте в два человеческих роста. Высеченный из серого камня, Данте стоит в накинутой на плечи мантии и держит в руках книгу. На высоком постаменте надпись: «Народ Италии — Данте Алигьери». Внутри церкви боковые нефы отделены от центрального прохода высокими легкими арками. Готика, но светлая, солнечная. Очень интересные и хорошо сохранившиеся фрески Джотто. В капеллах гробницы Микеланджело, Данте, Макиавелли, Галилея. Над алтарем большое распятие Донателло из темного дерева. На фоне светлых стен оно будто парит в воздухе.

Возвращаюсь вспать, чтобы хоть как-то сохранить порядок, поэтому...

23 сентября. Перуджа. Мысль съездить в Ассизи появилась, как только мы оказались под Перуджей. Ассизи рядом, рукой подать. Расписание лекций — один день с 9 до 11 утра, другой с 3 до 5 дня — предопределило день. Во вторник, пока Акива с 3 до 5 читал лекцию, я бродила по окрестностям и нашла дорогу вниз, к шоссе. Как и все участники школы, мы жили на вилле, подаренной каким-то щедрым меценатом. Вилла переоборудована в постоянный учебный центр, где преподают иностранные ученые. Центр, странным образом, даже подчиняется Министерству иностранных дел, а не Министерству просвещения. На холме вокруг виллы красивый парк. Внизу небольшой городок Ла Коломбелла. (Привыкаю понемногу к звучным итальянским названиям: Ла Мартелина, Ла Коломбелла.) Чтобы попасть в Ассизи, нужно сначала добраться до Перуджи, так как прямого автобуса в Ассизи нет. Возвращаясь из Ассизи, надо успеть на последний автобус из Перуджи, чтобы не ночевать под открытым небом. Преодоление этих технических сложностей на незнакомом языке в незнакомой стране потребовало некоторого запаса авантюризма и изрядной настойчивости. Но мы справились. Благодаря французскому, английскому и просто везению справились, хотя в Ассизи у нас, конечно, было мало времени.

Автобус из Перуджи довез нас не до верхнего города, куда обычно доставляют туристов, приезжающих в Ассизи, а, к счастью, только до нижнего. Выйдя из автобуса, мы сразу увидели высоко над собой башни и купола собора Святого Франциска. Остальное скрывали

мощные крепостные стены монастыря, внутри которого находится собор. Зрелище величественное и вместе с тем трогательное, может быть, благодаря куполам на фоне затянутого облаками неба. К собору поднимались по узким извилистым улочкам, где нельзя было разглядеть ничего, кроме полоски серого неба над головой и двух-трех ближайших домов. Только выйдя на небольшую соборную площадь, увидели фасад огромного собора, состоящего из двух церквей, построенных одна на другой. Внутреннее убранство собора ошеломляет и ослепляет. Богатейшее собрание картин, фрески, изображающие житие Святого Франциска, Иисуса Христа, Марии, орнамент, украшающий стены и потолки, — не знаешь, куда смотреть, как вместить в себя то, что видишь.

Подвиг людей, веками создававших и хранивших эти богатства, вызывает чувство благоговения. Но сильнее, чем сокровища прошлого, поражает в этом соборе кипение настоящего. Плотная толпа туристов: говорят по-английски, по-испански, по-немецки, по-итальянски. Гиды-монахи в черных рясах, гиды-послушники в коричневых, гиды-негры, гиды-японцы. В одной капелле священнослужитель в белом одеянии читает проповедь, в другой что-то внушает пастве женщина в строгом синем костюме. Посредине небольшого зала поют и молятся прихожане, в закрытых кабинках исповедуются; рядом монах, закатав рукава рясы, старательно моет огромную гранитную чашу, опрыскивая ее какой-то жидкостью из сугубо современного баллончика.

Множество паломников ежедневно приходит в Ассизи поклониться праху Святого Франциска, усыпальница которого стоит в нижней церкви. Дважды в год — в день рождения и смерти Франциска — Ассизи посещает папа и тысячи верующих. И все это происходит сейчас, в наше время, на исходе XX века. Вечером в ожидании автобуса мы довольно долго стояли внизу на площади. Смотрели на дома, на монастырские стены, сложенные из розово-серого камня. Небо на закате тоже было розово-серое. Небо, земля, прошлое, настоящее — могущество потока жизни ощущается в Ассизи так остро, что кажется вот-вот поверишь в собственное бессмертие.

25 сентября. Последний день в школе. После утренней Акивиной лекции проф. Бекки отвез нас в банк в Перудже, где Акиве

выдали увесистый пакет, набитый лирами. Деньги дурацкие, но так или иначе — миллионеры! Впервые в жизни ненадолго стали миллионерами. Странное это состояние очень нас развеселило, и хотя Акива произносил разные слова про усталость, я, бессердечная, настояла на своем: проф. Бекки вернулся в школу, а мы остались в Перудже. Прежде всего нужно было, конечно, отпраздновать конец трудовой деятельности и получку. В бедной стране Италии это несложно. Нашли симпатичное кафе. Пицца, пирожные — как-никак миллионеры! — кофе. Пир горой! Вот именно — горой. Пировали мы на горе, вернее, на вершине холма, где находится исторический центр Перуджи, который мы уже видели по дороге из Флоренции в школу.

Здесь на площади сохранился большой круглый фонтан XIII в., к сожалению, бездействующий и в неважном состоянии. Времени у нас было немного, и побродив вокруг фонтана, мы решили спуститься вниз. Оказалось, что это не так просто, потому что путь в нижний город, как мы выяснили, начинается с площади Партизанов, которую мы никак не могли найти. А как ее найдешь, если она находится под той, на которой мы топтались? Кому придет в голову, что попасть на эту самую площадь можно одним единственным способом: спуститься на эскалаторе внутрь огромной скалы?

До этого дня мне как-то не приходилось иметь дело со спелеологией, в Перудже сподобилась. Современный эскалатор доставил нас в подземное царство: темные переходы, глубокие ниши, таинственные закоулки, мрачные залы с высокими сводами, пещеры, где не поднять головы. Но так как это Перуджа, а не тридевятое царство, вдруг вспыхивает яркий свет, и снова появляется эскалатор, а потом опять ступени и мрак. В одной из ниш мы увидели некое сооружение из металла, напоминающее то ли разверстую пасть крокодила, то ли гинекологическое кресло. Табличка на стене гласила, что это памятник жертвам войны. Наконец выбрались на свет Божий и вздохнули с облегчением.

Улицы-магистраль с домами, заляпанными афишами и рекламой, остались позади. На улицах-ушелях, где мы оказались, серый камень домов расцвечен только гирляндами белья. Магазины, маленькие кафе, мини-пиццерии. Остановились на перекрестке, раздумывая, куда идти, подняли глаза и ахнули. На невысоком хол-

ме — в Перудже все на холмах — серый восьмигранник с башней. Глухие арки, строгий декор карнизов и нарядная в два пролета лестница от подножия холма к высокому portalу, к которому она взбегают справа и слева. Сан Эрколано. Одна из красивейших церквей Перуджи. Церковь-крепость, бывшая когда-то частью окружавших город стен. Гвельфы и Гиббелины, как известно, около трех веков успешно проливали кровь на этой прекрасной земле. Сан-Джиминьяно, Ассизи, Перуджа — это города-крепости, воинственное прошлое до сих пор во многом определяет их облик.

В следующий раз мы ахнули, подойдя к воротам Сан Петро. Высота и мощь сохранившихся стен, пролеты этих врат — язык не поворачивается назвать их воротами — строгость и красота арок, карнизов, самих стен удивительны. Но спешка, вечная спешка! Поглядывая на часы, дошли до монастыря Сан Доменико. У него странная башня-колокольня. Издали можно подумать, что она осела под собственной тяжестью, но вблизи, из внутренних дворики кажутся, что колокольня возносится к небу, как молитва, сложенная из камня. В одном из дворики сохранился старый фонтан, в другом — красивая галерея, но монастырь все-таки загублен редким, как мне кажется, в Италии, но хорошо знакомым нам способом. В нем размещился сельскохозяйственный техникум. По углам валяется строительный мусор, в одном месте что-то строят, в другом ломают... С обратным автобусом повезло. Акива успел на закрытие школы, я успела сложить вещи. В девять вечера, сразу после обеда, Джанни увез нас во Флоренцию.

28 сентября. Венеция. Встали в пять утра. Сумрачно. Ночью шел дождь. Автобус подошел ровно в шесть. На вокзале легко нашли поезд. В вагоне удобные кресла, очень чисто. Долго ползли по пригородам Флоренции. В Италии тоже есть Черемушки: мы уже видели кварталы одинаковых домов на окраинах Рима. Во Флоренции скопище таких жилищ ничем не лучше. На всех пригородных остановках садятся люди. Вошла красивая молодая женщина. Большие черные глаза, вьющиеся черные волосы до плеч. Хорошо одета, на животе сумка-рюкзак, в ней симпатичный чистенький младенец. Громким мелодичным голосом женщина просит милостыню. (Вечером Джанни сказал, что скорее всего это была цыганка. Во Флорен-

ции много цыган. Они решительно не хотят работать. Основное занятие — нищенство.)

За окном плоская серая равнина. Деревьев почти нет. В вагоне заняты уже все места. Многие стоят. Внезапно равнина за окнами исчезает. Куда ни посмотришь — вода. Поезд останавливается. Венеция. Вокзал как вокзал: бетон, стекло, только что называется Санта Лючия — и большой голубоватый купол церкви Санта Лючия виден на другой стороне Большого канала уже из дверей вестибюля. Большой канал — главная улица Венеции — рядом. Переполненные катера подходят к пристани каждые 15 минут. До площади Святого Марка плыли минут 40. Стояли, по счастью, на носу, все было хорошо видно. Старинные дворцы, о стены которых бьются волны, поднятые катерами и снующими между ними гондолами, изредка узкие набережные, боковые каналы с тесными рядами домов по щиколотку в воде и горбатыми мостиками через каждый квартал, солнечные блики и тени от легких облаков на воде, на домах. Прогноз погоды обещал на 28-е дожди и грозы по всей Италии. Мы не без тревоги поглядывали на небо, но весь этот неправдоподобный день погода была на удивление ласковой. Ласковое солнце, ласковый ветер. Сорок минут показались вечностью, наверное, потому что окунулись в вечность. Но когда катер пристал, первое желание: еще. Вернуться на катер, увидеть все снова. Время держало нас за горло, и мы пошли по набережной к площади Сан Марко.

В русском языке нет уменьшительного существительного от слова «площадь». В итальянском piazzetta — уменьшительное от piazza (площадь). Пьяцетта Сан Марко — это как бы преддверие, проход с набережной к самой площади, которая ни с набережной, ни с пьяцетты не видна. Поэтому когда выходишь на площадь Сан Марко, нужно остановиться и перевести дух. Такой огромной площади, не говоря о том, что ее окружает, я никогда не видела. На пьяцетте стоят две тонкие высокие колонны. На одной из них статуя святого Теодора, попирающего крокодила, на другой крылатый лев — эмблема Венеции. Статуя покровителя Венеции святого Теодора — это коллаж, она собрана из частей, неизвестно где взятых. Бронзовый крылатый лев, видимо, китайского происхождения. Когда потом, уже

с площади Сан Марко, смотришь на море, оно видится в раме из этих двух колонн. Но это потом, сначала сама площадь.

Рассказать о ней хоть сколько-нибудь внятно я не в состоянии. Но, слава Богу, здесь до меня побывало не так мало людей и среди них Остроумова-Лебедева, чьи воспоминания я недавно прочла с огромным интересом и сейчас попробую использовать, причем без кавычек, так как вынуждена безжалостно кромсать ее текст.

Первое, что видишь, попадая с набережной на площадь Сан Марко, — это башня со знаменитыми часами. К сожалению, она была обезображена реставрационными лесами, и самих часов, из которых каждый час выходят бронзовые фигуры и молотками отбивают время, мы не видели. Под прямым углом к часовой башне стоит собор Сан Марко. Грандиозная, причудливая, переукрашенная византийская базилика с готическими башнями. Почему это, в общем, нелепое сооружение кажется красивым, не поняла даже Остроумова-Лебедева, не говоря про меня. Но оно красиво. Оно красиво одному ему присущей неповторимой красотой.

На открытой террасе второго этажа собора замерли четыре бронзовых античных коня (когда-то вызолоченных). Скульптор неизвестен. Эти кони некогда украшали триумфальную арку Нерона, потом Траяна. Император Константин отправил их из Рима в Константинополь. В начале XIII в. один из дождей привез их в Венецию. В конце XVIII в. коней похитил Наполеон, но в 1815 г. австрийский император отослал их назад в Венецию. Поразительна не только история этой скульптуры, но и она сама. Каким-то образом монументальность сочетается в ней с удивительной легкостью и грацией. Торс кондотьера, управляющего четверкой коней, наклонен вперед и в сторону, и он тоже — воплощение силы и порыва. Знаменитых этих коней рисовал Леонардо да Винчи.

Рядом с собором Сан Марко еще одно чудо: Дворец дождей. Два нижних этажа этой диковинной постройки украшены легкой колоннадой. Над колоннами высится тяжелый верхний этаж с глухими стенами. Смотришь на грозные стены с недоумением. Кажется, что строители по ошибке сделали этот этаж верхним, а не нижним. Но через минуту недоумение рассеивается. Дворец удивительно красив, может быть, именно благодаря «ошибке», и в нем тоже многое

напоминает о Византии. Напротив Дворца дождей убегает ввысь легкая изящная колокольня, рядом, замыкая площадь с трех сторон, стоят вытянутые в длину здания Лоджии и Библиотеки. Библиотека считается шедевром архитектора Сансовино, но я ее не оценила, может быть, потому, что меня на это не хватило.

Долго ходили по площади. Под конец я даже перестала замечать голубей, которых не люблю. Их здесь действительно тучи, и наглые эти птицы в самом деле берут корм из рук, отчего они не показались мне милее. (Корм, разумеется, продается тут же в удобных пакетиках.) На площади много туристов, и мне это было приятно. Знатки говорят, что хорошую музыку лучше слушать дома. Я всегда предпочитала ходить в консерваторию, не только потому, что это праздник, но и ради единения с теми, кто в эти вечера сочувствует, живет тем же, чем я. Разделенная радость — радость вдвойне, как известно, а здесь в Венеции как-то особенно остро чувствовалось, что все вокруг радуются тому же, чему радуешься ты.

Переполненные впечатлениями от Большого канала и площади Сан Марко, решили зайти в музей Коррера. Начало этому музею было положено в 1830 году, когда богатый венецианец Теодоро Коррер подарил городу свое собрание картин. До 1922 года картины оставались в его дворце на Большом канале, а потом были перенесены в специальные залы Наполеоновского крыла Библиотеки. С тех пор музей так разросся, что некоторые его отделы пришлось разместить в других местах.

В залах живописи XIV—XV вв. царит покой. Удивительные люди на картинах: никто никуда не спешит, каждый знает, зачем живет. Трудно было отойти от небольшого зимнего пейзажа Брейгеля. Снег. Зима. Детство, вся прошлая жизнь. В музее большой зал Беллини. Необычная «Мадонна с младенцем». Грубоватая одежда мадонны, красивое, но тоже грубоватое лицо простой женщины и безысходная тоска в глазах. Сильные руки крепко держат младенца, глаза смотрят мимо него, они видят его кончину.

После музея снова бродили по площади Сан Марко, были внутри собора, обошли Дворец дождей, где ненасытный Акива смотрел на картины Босха, так как во дворце была его выставка, а я только на стены, потолки и полы, благо во Дворце дождей на них можно

смотреть часами, не говоря о том, что во всех этих величественных и роскошных покоех есть окна и из них видна Венеция.

Бродя по Дворцу дожей, а до этого в соборе, я все отчетливее понимала, что величие и роскошь внутреннего убранства этих двух поразительных творений рук человеческих наделены особым даром — даром речи. Мир принадлежит нам, венецианцам, возглашают стены, увешанные картинами в тяжелых золоченых рамах. Мир принадлежит и будет принадлежать нам, венецианцам, вторят им расписанные великолепными узорами, украшенные богатейшим орнаментом потолки и мраморные полы. Но умные и ловкие венецианцы не знали, в чем их настоящее богатство и могущество, благополучно пережившее, к счастью для человечества, крах Венецианской республики.

Долго стояли на мосту Риальто. Смотрели на дворцы, набережные, на Большой канал. Ходили по окрестным улицам, вернее, улочкам, и разглядывали дома, людей, витрины магазинов. А потом Акива посмотрел на часы и сказал, что нам пора возвращаться. Я не сразу ему поверила, пыталась возражать, но в конце концов подчинилась. 30—40 минут снова плыли по Большому каналу, в 6 часов вечера уже сидели в поезде. Мы провели в Венеции семь часов, не присев. Они пролетели, как минута. Спасибо Акиве и судьбе, подарившим мне этот день.

30 сентября, последний день во Флоренции. Встали в половине восьмого утра. В город отвез Джанни. На вокзале долго не могли справиться с покупкой билетов в Рим, звонили в Римский университет. Покончив с делами, пришли в музей Академии изящных искусств. В центре первой круглой комнаты, на стенах которой развешаны картины флорентийских художников начала XVI века, большая скульптура Джамболоньи (Джана из Болоньи) «Похищение сабинянок». Рвущаяся из рук римлянина сабинянка, изогнутый в стремительном шаге торс похитителя, туловище другого римлянина на коленях — он сейчас встанет! — излучают такую энергию движения, что невольно делаешь шаг назад: страшно. Но потом снова приближаешься, потому что красота рук, ног, тел, сплетенных в борьбе, притягивает как магнит.

От круглой комнаты начинается широкий коридор. В коридоре стоят главные сокровища этого музея — скульптуры рабов Микеланджело.

Их всего четыре: две справа, две слева. В простенках между ними висят огромные брюссельские ковры-картины необычайной красоты, на которые почти никто не смотрит, потому что силы человеческие ограничены.

Скульптуры рабов предназначались для украшения величественной гробницы Римского Папы Юлия II. Рабы должны были символизировать страдания искусств после кончины Папы-покровителя. Микеланджело трудился над их созданием около 30 лет. Работы то прекращались, то возобновлялись, но замысел так и не был осуществлен. И мощные скульптуры рабов, и удивительная по своему трагизму «Pieta», выставленная здесь же в коридоре, очень интересны еще тем, что из-за незавершенности работы (во всех этих скульптурах есть куски необработанного мрамора) они подтверждают убеждение Микеланджело, что произведение искусства изначально заключено в куске мрамора и задача скульптора — освободить его из плена камня.

Но вот, наконец, Давид. Подлинник. Та статуя, которую в 1502 году заказала Микеланджело Флорентийская республика. Та скульптура, которая с 1504 года, когда она была закончена, стала символом свободы Флоренции и простояла на площади Синьории более 300 лет. Поразительно все. Давид высечен из цельного (!) куска мрамора. Несмотря на размеры — высота статуи без пьедестала около пяти метров! — пропорции тела безупречны, хотя Микеланджело работал без натурщика. Статуя стоит в нише небольшого зала, в который выходит коридор. Такое расположение и специальное освещение подчеркивают ее размеры, красоту и выразительность. К Давиду приближаешься, медленно идя по коридору. И с каждым шагом все дальше уходят толпа туристов, разноязыкая речь, мелкие (и крупные) житейские заботы. Когдаходишь в зал, уже нет ничего и никого, кроме Давида, кроме этой статуи, в которой заключено, кажется, все, что есть прекрасного в душе и теле человека.

Остальные залы музея для нас пропали. Не хватило сил. Но это был наш последний день во Флоренции. Неумолимый и неутомимый в таких случаях Акива настоял на том, чтобы мы добрались до монастыря Сан Марко. И мы, слава Богу, добрались. Площадь Сан Марко, где стоит монастырь, — это ад крошечный. Оглушительная какофония гудков, свистков, скрежета тормозов разрывает уши. Один

за другим мчатся автобусы, несутся машины, шныряют мотоциклы, оставляя за собой хвост выхлопных газов. Мотоциклы — бич Флоренции. Мы вернулись из Венеции, когда автобусная станция была уже закрыта. Очень было неудобно, но позвонили Джанни и попросили за нами приехать. Минут 30 ждали его на привокзальной улице. После 10 вечера здесь было тихо и безлюдно. Вдруг раздался оглушительный треск. Подкатил мотоцикл, на нем восседала девушка с развевающимися волосами в полосатом свитере в обтяжку и джинсах с модными дырами на коленях. Она дернула со спины рюкзак, выкурила сигарету, не слезая с машины, и умчалась. Обыкновенная моторизованная девица, обыкновенная Флоренция, где курят, кажется, все, в отличие от Америки, где не курит уже почти никто.

Войдя во внутренний монастырский дворик, о площади Сан Марко мгновенно забываешь: здесь другой мир. В середине двора стоит кедр вровень с колокольней. Зеленая трава, цветы, тишина. И это тоже обыкновенная Флоренция. Сан Марко — доминиканский монастырь, здесь с 1435 по 1445 год жил и писал картины Беато Анжелико. Ради него мы сюда и приехали. Большой зал, где висят картины Беато Анжелико, — будто большая чаша радости. Столько жизни в мертвых сюжетах, какие лица, какие характеры, сколько их! Все картины, даже снятие с креста, праздничные. Торжество красного, синего и золотого цвета — это торжество жизни вопреки всему. А какие фрески! Они будто родились вместе с этими монастырскими стенами. Свод. Вытянутое вверх распятие с телом Христа — центр свода. Ниже, в полукруге свода, кресты с двумя разбойниками. Внизу клейма со сценами из жизни Христа. Это основание свода. Другой свод, более широкий и высокий. Сверху Христос на кресте, по бокам две фигуры в рост и две на коленях. Снова простая, естественная композиция, безупречно вписанная в заданное пространство. Под этой фреской другая: «Тайная вечеря» Гирландайо. Стол в виде буквы «П» с растянутой перекладной и укороченными ножками, обращенными к зрителю. Кроме лиц Христа и апостолов поражает ощущение глубины. Картина, служащая основанием свода, «уходит» в стену, и когда смотришь на нее и на распятие над ней, будто видишь толщину стены.

Лестница на второй этаж после первого пролета меняет направ-

ление и при повороте открывается кусок стены с фреской Беато Анжелико «Благовещение». До нее еще длинный марш. На Марию и ангела долго смотришь снизу вверх, и это удача. На них невозможно смотреть без благоговения в прямом смысле этого слова. На втором этаже монастыря расположены кельи монахов, в том числе учеников Беато Анжелико. На стенах много фресок, среди них варианты «Благовещения». Они очень интересны. Воочию видишь, как рождалось это творение удивительной проникновенности и красоты.

1 октября. Поезд Флоренция — Рим. Девять утра. Половина нашего путешествия позади. Через три часа Рим. За первые две недели в Италии мы видели шесть городов: Флоренцию, Сиену, Ассизи, Перуджу, Венецию и Сан-Джиминьяно, но письмо получается таким длинным, что о Сан-Джиминьяно я расскажу когда-нибудь потом.

Ньютон. 28 ноября 1992 г.

Рим. 1—14 октября.

20 декабря. Ньютон. Два дня живу одна. Акива в Принстоне, Юлия с Мишей и Нямой в Нью-Хэмпшире. Вчера впервые поднялась на холм над нашим домом и оказалась на территории теологической школы. Среди кленов, сосен и елей стоят старая церковь, большое современное здание библиотеки, учебные помещения, двухэтажные жилые дома для студентов, кафе. Тихо. Красиво. Пока шла вверх, раз пять нагоняли машины и повторялась одна и та же сцена: машина останавливается, мужчина или женщина за рулем с улыбкой предлагают подвезти. Я, тоже с улыбкой — уже выучилась, — отказываюсь. Недоуменная улыбка, вежливо киваем друг другу, машина едет дальше. Здесь, в Америке, если в холодный дождливый день по улице бежит трусцой мужчина или женщина в шортах и майке, это в порядке вещей. Но если кто-то идет пешком вверх по дороге, это ЧП.

Никак не могу начать. За последние две недели ни разу не открыла итальянский блокнот. Пока приводила в порядок первую часть записей, Италия все время была со мной — и когда мыла посуду, и когда читала Няме «Вини-Пуха». Вернее, я все время была в Италии что бы не делала здесь, в Бостоне. Совмещение двух жизней держало меня в постоянном напряжении. За время передышки из-

баловалась, и сейчас трудно заставить себя вернуться к прежнему ритму. Тем не менее...

2 октября. Рим. Вчера на вокзале нас встретил Дима Королук, сын известного киевского математика, давнего Аквиного знакомого. С вокзала, который я не успела разглядеть, довольно быстро выехали на кольцевую дорогу, где разглядывать было нечего: плоская равнина, серые здания непонятного назначения. С интересом слушала Диму. Он рассказывал про свою жизнь и небывалую жару в Риме — около $+30^{\circ}\text{C}$ весь сентябрь.

До квартиры, снятой для нас Римским университетом, ехали долго. Квартира — неслыханное везение, так как она стоит раз в десять дешевле гостиницы и в кухне можно готовить, что тоже очень большая экономия. Поселили нас в римских Черемушках недалеко от окружной дороги. Римские Черемушки красивее московских. Есть небольшие дворики — в нашем растут грецкий орех и фиговое дерево, — много зелени: цветы, сосны, пальмы. Но дома стоят так тесно, что со своего балкона можно поздороваться за руку с соседом через улицу. В окна квартиры все видно и слышно. Чтобы переодеться, надо спустить жалюзи. Нам выдали целую связку ключей, потому что здесь запирается все на свете, включая дверь с улицы и лифт, за пользование которым взимается дополнительная плата.

Наспех переодевшись, поехали с Димой в университетскую столовую. Римский университет находится за городом. Ехали мимо пустырей,строек, складов — знакомый родной пейзаж. Университетская столовая — большой ангар, заставленный длинными столами. В одном конце предъявляешь пропуск, платишь деньги и берешь поднос с едой (комплексный обед, вариации минимальные), в другом бросаешь в бак использованную одноразовую посуду. Очень быстро, очень чисто, очень неудобно. Но дешево. Мы уже знаем, что в Италии продукты стоят раза в три дороже, чем в США, а зарплаты много ниже. Поэтому Дима так боялся опоздать в столовую, которая закрывается в 3 часа дня. После обеда уже без Димы поехали в город.

Хотели начать, как полагается, с пл. Венеции, но по ошибке вышли из автобуса на пл. Санта Мария Маджоре, о чем не пожалели. На площади, занимая ее почти целиком, стоит одноименная церковь, одна из красивейших в Риме. Перед церковью — колонна,

привезенная папой Павлом V из Константинополя. В XVII в. на колонну поставили статую Марии с младенцем. К входу в церковь ведет амфитеатр, образованный длинной пологой лестницей. Наверху лестница той же ширины, что фасад, внизу значительно уже. Этот фасад церкви называется Tribuna di Santa Maria Maggiore. Он особенно красив благодаря неожиданно гармоничному сочетанию горизонтальных линий ступеней лестницы и вертикальных линий лопаток, украшающих стены церкви. Внутри были недолго. В 6 вечера уже темнеет, а нам хотелось еще увидеть площадь Венеции.

Довольно быстро выяснилось, что это не так просто, но какие-то туристы, в конце концов, показали нам дорогу. Ходили по площади, пока совсем не стемнело. Огромный памятник Виктору Эммануилу, дворец Венеция, несколько церквей, форум Траяна — Боже, когда и как успеть все это осмотреть?!

Вернуться домой оказалось значительно сложнее, чем найти площадь Венеции. Долго ехали не на том трамвае, наконец сообразили и вышли. Темно, пусто. На автобусной остановке увидели девушку, как-то она втолковала нам, на какой автобус нужно сесть. Разговорник, русско-итальянский и итало-русский словарь, английский, французский — пригодилось все. Домой пришли усталые и голодные. Ужинали бутербродами, разложенными на бумаге, запивали газированной водой из бутылки. Сегодня уже включили холодильник, газовую плиту, принесли кастрюли и посуду. А вчера... Наверное, это атавизм, но даже в горах на трудной стоянке, едва разгорался костер, появлялось ощущение дома. Вчера в благоустроенной квартире (с биде), но без очага (пусть в виде газовой плиты) было очень неудобно.

Сегодня утром звонок в дверь застал меня в постели. Встала, открыла. Вошла женщина неопределенного возраста. Светлые сожженные завивкой волосы, худая, замученная, бедно, но опрятно одетая. Жаль, что никто не заснял нашу встречу на пленку, хорошо бы, конечно, со звукозаписью. Анжела — уборщица. Она обязана приходить каждый день убирать квартиру. Ни слова ни на одном языке, кроме итальянского, она не знает. Но как ни странно, я выяснила все, что мне было нужно: на каком трамвае надо возвращаться домой, часы работы соседнего магазина, где купить спички и т. д. и т. п. В

Завершился этот день еще одним неожиданным звонком в дверь. Мы только что вернулись домой, проведя в городе около восьми часов. Я сварила на ужин макароны — Италия, так Италия! — поставила чайник, и вдруг звонок. На этот раз в квартиру вошла высокая толстая женщина в халате. Она энергично размахивала руками и громко кричала. Сначала я подумала, что где-то рядом пожар, но, слава Богу, ошиблась. Утечка газа. У нее в квартире пахнет газом, так как на нашей плите одна конфорка неисправна. Толстая попыталась что-то подкрутить, быстро поняла, что ее усилия тщетны, и убежала. Через минуту она вернулась в сопровождении невзрачного мужчины и еще одной женщины в халате. Эта пара тоже оказалась бессильна, и мы договорились, на итальянском языке, как ни удивительно, что я не буду пользоваться неисправной конфоркой. Все знакомо, все понятно, но сколько шума — и после такого дня!

На Капитолийский холм мы поднялись. К сожалению, увидеть единственную сохранившуюся в Риме бронзовую статую Марка Аврелия нам не удалось. Ее увезли на реставрацию. Но ни красавица

Кое-где произрастает трава, тут и там чахлые деревья. Остовы стен, высокие благородные колонны с отбитыми капителями, полуразрушенные ступени, арки, снова колонны, триумфальная арка... Руины, руины, руины... Но чем дольше я смотрела, тем явственнее ощущала величие этих камней. Нет, это не кладбище. Здесь храм жизни, а не смерти. Не руины у меня перед глазами, а окаменевшие густки памяти. И они вечны. Мы смотрели на них сверху вниз, а они там, под нами, смотрели сверху вниз на нас, потому что знали: мы тленны, а они бессмертны.

Колизей обшито только снаружи, внутрь уже не пускали. Над головой непрерывно летали вертолеты. Под ногами крутились кошки всех мыслимых и немыслимых цветов. По-нашему это бездомные страдальцы, но в Риме к ним относятся примерно так, как в Венеции к голубям, и они вполне процветают. Сильно пахло мочой. Правда, лошадиной. Красивые коняги, запряженные в извозничьи пролетки, вроде тех, какие стояли когда-то у нас в Столешниковом, жевали овес и в ожидании богатых любителей тонких ощущений украшали подступы к Колизею желтыми лужами и кучками зеленых «яблоко». Рядом с Колизеем находится одноименная стан-

ция метро, растут сосны, пальмы. Эмоции отказываются укладываться в слова. Ошеломление и онемение.

В чувство нас привела стайка милых детишек. Рассказывая о жизни в Риме, Дима предупредил, что в Вечном городе надо зорко следить за своим кошельком. В частности, опасаться детей. Они высматривают иностранцев, окружают со всех сторон, суют газету с чьим-нибудь портретом и, пока очередной ротозей разглядывает картинку, извлекают из его кармана кошелек. Именно так все и произошло, но мы вовремя спохватились, и дети убежали ни с чем.

Свернув в боковую улицу, оказались в другом мире. Тишина, покой. Много церквей, мало машин, небольшие дома окружены пальмами, кипарисами, соснами, повсюду цветы — Авентинский холм. Зашли в храм Святой Сабины V в. (пятого!). Полюбовались красивой резной дверью, фризом из цветного мрамора. Но больше всего радовались необычным улицам, особому воздуху Авентинского холма. Смотрели сверху на Рим, в первый раз увидели Тибр. И, конечно, оба посмотрели в знаменитую замочную скважину, не помню какой, церкви. Благодаря чуду перспективы (и двери в противоположной стене с такой же замочной скважиной) в ее размер точно укладывается фасад собора Святого Петра в Ватикане. Несмотря на большое расстояние, он хорошо виден. Перед нами к замочной скважине прикладывались по очереди молодые монахи и монашки из Японии, после нас — немцы. Около шести начало смеркаться, и мы расстались с Авентинским холмом.

По дороге к площади Венеции, уже в темноте, остановились ненадолго около церкви Святой Марии в Космедино, известной благодаря круглой мраморной маске *Vocca della verita*. (Пасть правды). Маска стоит на невысоком резном постаменте в портике церкви. Едва намеченные длинные волосы, грубо высеченный нос, неправильной формы глаза-дыры и большой рот-щель придают маске злобное выражение. Согласно старинному преданию, тот, кто положит руку ей в рот и произнесет ложную клятву, останется без руки. В упрощенном варианте считается, что маска откусывает руку лжецам. Поэтому около нее всегда толпятся туристы: каждому приятно убедиться в своей правдивости. Когда мы подошли, перед маской стояла очередь. Процедура стандартная: рука засовывается в рот,

вспышка, шелканье затвора фотоаппарата, смех, следующий. Очередь шла быстро. При всем идиотизме этого действия, оно, видимо, обладает гипнотической силой. Мы с Акивой тоже не устояли, но церемонию эту я не увековечила, так как фотоаппарата в тот день не захватила. Домой добрались без приключений.

Сейчас около двенадцати ночи. Сажу на кухню. Акива уже лежит. За окном гроза.

3 октября. Рим. Нелепая наша комната стала уже своей. Быстро привыкли к кровати ступенькой (одна половина кровати выше другой), к балконной двери вместо окна. Сегодня суббота, утром царил покой. Зато накануне наши соседи так бурно готовились к началу трудового дня, что стены дрожали — Италия!

Сидим с Акивой в нише внутреннего дворика монастыря. Вместо римских статуй, как с тоской сказал Акива. Льет дождь, льет и льет. Но мы уже успели походить по Романскому форуму, который археологи достали из-под земли — буквально, а не фигурально. Вчера мы смотрели на него с Капитолийского холма. Сегодня прикасались руками к воскресшим колоннам, стенам. Рядом шумный живой город. Здесь тишина, но эпитет «мертвая» к ней не подходит. Возникновение Рима, его величие, его падение — этим камням есть о чем рассказать. И они не молчат. Особенно когда ходишь среди них с таким спутником, как Акива. Как умещается у него в голове столько сведений? Как сохраняется? Все императоры с датами жизни и смерти, войны, которые они вели, земли, которые завоевали... Жаль, что Акиву слушала я одна.

Случайно наткнулись на дом Ливии, жены Августа. Настоящий жилой дом I в.н.э. Он был закрыт, но за скромное вознаграждение сторож открыл его и впустил нас внутрь. На французском языке он объяснил, где была спальня, где столовая, как поступала в дом вода, как дом освещали. В одной из комнат на стенах сохранились фрески. Нежно-розовые, голубые, золотистые краски. Как рассказать, что чувствуешь, когда ступаешь по камням, по каким ступала Ливия? Через эту дверь Ливия выходила в сад. Сад восстановлен. Сейчас через эту дверь выхожу я. Между нами девятнадцать веков человеческой истории. Как об этом рассказать?

Сидеть в нише неудобно. Болит спина. Быть статуей, оказыва-

ется, тоже нелегко. А дождь все идет. Ужасно жалко. Скоро начнет темнеть.

11 вечера. Аква уже лежит, изучает путеводитель. За окном, то есть за балконной дверью, светопреставление: проливной дождь, оглушительный гром, хвостатые молнии. Днем, когда дождь ослабел, мы вылезли из ниши и осмотрели форум Цезаря и Траяна. Поразительно, как естественно вписываются эти острова ушедшей жизни в сегодняшний город. Не только вписываются, а воспринимаются как его составная часть. Тщательно оберегаемый древний город в самом центре современного придает Риму тот удивительный колорит, который действительно делает его Вечным городом.

Указатель «К фонтану Треви» заметила случайно. Нашли фонтан не без труда. Он великолепен. Огромная чаша у фасада нарядного дворца ярко освещена мощными лампами. В центре Посейдон на колеснице, влекомой морскими конями, которых ведут под уздцы тритоны. Под ногами у них каменные глыбы, через которые каскадом переливается голубая вода. Вода бурлит и плещет, а вокруг бурлит и плещет праздничная вечерняя толпа туристов и римлян. В Риме ценят красоту и умеют ей радоваться. После купания под дождем и осмотра древностей так хорошо было купаться в беззаботных волнах веселья, плескавшихся на небольшой площади вокруг фонтана.

Но безжалостный дождь пошел снова. На возвращение домой едва хватило сил и сообразительности. Минут двадцать ждали автобус, вымокли до нитки, прозевали вокзал. Долго ехали до ближайшей станции метро, вернулись на вокзальную площадь, пересели на свой автобус. Наконец дома. Усталые. Промокшие. Голодные. Счастливые. Составить предложение не в состоянии. Горячий душ. Горячий чай. Постель ступенькой.

Не лирическое отступление. Достопримечательность местного значения — табачный магазин. Он расположен на углу нашей маленькой улицы Del'edera (edera по-итальянски — плющ) и одной из самых старых и длинных улиц Рима — Казилина. Мы заходим сюда дважды в день: утром, чтобы купить талончики на автобус, вечером, чтобы позвонить. (В квартире, где мы живем, нет телефона, что в Италии, в отличие от Америки, отнюдь не редкость.) Небольшая узкая комната. Напротив входной двери — прилавок. значи-

тельную его часть занимают кофейная машина и касса. Один продавец, он же кассир. Иногда это красивая молодая женщина, иногда пожилая дама. Кроме табачных изделий, билетов и абонементов на городской транспорт, здесь продают молоко, йогурт, мороженое (в застекленном морозильном шкафу его сортов десять), конфеты, печенье, вафли, булочки, детские книжки, игрушки, открытки с видами Рима, сувениры, батарейки и другие хозяйственные мелочи. Здесь всегдалюдно. Утром в магазин заходят женщины с детьми, берут чашечку кофе, булочку и болтают друг с другом, пока дети заняты игрушками; забегают выпить кофе и купить папиросы мужчины. Вечером, когда наш продмаг уже закрыт, сюда приходят за молоком, йогуртом и прихватывают что-нибудь к чаю.

4 октября. Рим. Воскресенье. Народ Италии трудится: моют дворники, убирают квартиры, развешивают белье. В доме все насквозь видно и слышно снизу, сверху, сбоку. Интересно, но очень уж шумно. До Ватикана доехали автобусом. Вышли на небольшой площади и в недоумении остановились. Много людей, нарядные витрины — Рим как Рим, но через улицу почему-то уже другое государство. (Ватикан, как ни странно, даже выпускает свои собственные марки. Купили две в подарок Няме.)

На знаменитую площадь перед собором Святого Петра пришли не так, как положено. Туристов подвозят по улице, которая выходит на площадь напротив собора. Они видят собор уже издали. Площадь для них — естественное расширенное продолжение улицы, которую собор замыкает. А мы пришли сбоку и увидели сначала площадь и только потом собор. Думаю, что мы выиграли, потому что сама площадь — два полукруга колоннады, разьединенные собором и улицей напротив него — для них пропадает, вытесненная собором, от которого трудно оторвать взгляд. Мы же, увидав прежде площадь, долго стояли, ходили, снова стояли, поражаясь ее величию, ее красоте, ее гармонии. Больше всего, наверное, гармонии. Две колоннады по сторонам площади естественно завершаются колоннадой фасада собора, а огромные размеры площади хорошо соотносятся с огромным зданием собора, отчего площадь и собор кажутся величественными, но не громоздкими, и взгляд не тупеет в неохватном пространстве. Но когда, поднявшись по широкой лест-

нице собора, видишь с высоты портика всю площадь и уходящую вдаль улицу, тогда тупеет не только взгляд, но и душа. Простая мысль, что все это создано руками человека, не укладывается в голове, а слова «Вера движет горы» перестают быть затасканной поговоркой и обретают свой изначальный смысл.

Рассказать, как выглядит собор внутри, я не в состоянии. Он слишком огромен, его богатства несметны. Но вот «Pietà» Микеланджело. Не понимаю, как можно заставить мрамор плакать? Как можно заставить людей плакать, глядя на мрамор? А ведь плачут. Я тоже плакала.

Главная святыня собора — бронзовый Святой Петр Бернини — мне показалась примечательной только размерами. Но я ошиблась. Эта действительно огромная скульптура примечательна другим. Святой Петр сидит в кресле босой. Его ступни на высоте глаз человека среднего роста. Пальцы на одной ноге заметно меньше, чем на другой. Они стерты руками верующих. Один за другим подходят люди, прикасаются к ноге, встают на колени, крестятся, отходят. С утра до вечера, изо дня в день, из года в год. Не знаю, есть ли Бог, не знаю, что это такое, но вера есть. В Италии она осязаема.

Вернулись в Рим, когда уже начало смеркаться. Спросили дорогу к площади Навона у пожилого мужчины. Он ответил по-русски. Несколько минут поговорили. Оказалось, что он много лет работал на русском радио в Ватикане, римлянин, пенсионер. Жаль, что эта мимолетная встреча так и осталась мимолетной — пролетела мимо.

Площадь Навона славится тремя фонтанами Бернини и красивыми зданиями, окружающими вытянутый овал древнего стадиона, на месте которого она находится. Но архитектурные красоты площади меня не тронули. Вернее, нечто другое тронуло гораздо больше.

Площадь небольшая, хорошо освещенная, все вокруг видно. В одном конце парень и девушка увлеченно танцуют что-то мне неизвестное, а всем вокруг хорошо знакомое. Зрителей много. Хлопают, смеются, бросают деньги в шапку на земле. На раскладных стульях сидят художники с мольбертами, вокруг них тоже толпятся люди. Много столов с разложенными картинами, гравюрами, рисунками, больше всего с видами Рима, явно рассчитанными на туристов. Но среди них нет рисунков с голыми женщинами, на площади не слыш-

но криков, нет толкотни, не видно пьяных. Бегают дети, гуляют молодые родители, пожилые люди, совсем молодые. В фонтанах уютно журчит вода, в воздухе разлиты покой и радость — на площади воскресный, хочется сказать безоблачный, семейный вечер. Увы, внезапно пошел дождь. Площадь быстро обезлюдела. Но покой и радость остались.

Мы постояли в каком-то подъезде, полюбовались на фонтаны и пошли домой. По дороге к автобусу я вспомнила лицо пожилой дамы, которую мы в очередной раз спросили, как пройти на площадь Навона. «Это совсем близко, вон там за углом», — сказала она с какой-то особенно теплой улыбкой. Теперь я понимаю, почему она так улыбалась.

В автобусе вступила в разговор с соседкой: «Простите, этот автобус идет по улице Казилина?» — «Да, идет, какое место вам нужно?» — «Угол Казилины и Пальмиро Тольятти». — «Да, да, идет. Ехать еще долго». Я все поняла, она меня поняла. Да здоровствует могучий и свободный, а главное понятный итальянский язык! Но два дня назад, когда мы сели не на тот трамвай, я многократно спрашивала, как доехать до перекрестка улицы Казилины и проспекта Пальмиро Тольятти, и ответом мне были недоуменные взгляды и отрицательные покачивания головой. Только на другой день я сообщила, что вместо слова «перекресток» (scroce) бойко произносила слово «забастовка» (scoperta), так как Дима Королук написал это слово рядом с нашим адресом, опасаясь, что начнется забастовка водителей автобусов. Сегодня кто-то дважды пытался залезть Акиве в карман. Так вот мы и живем в этой Италии.

15 января нового 1993 года. Ньютон. В Бостоне событие — снегопад. Падает и падает снег. За окном то лениво плывут большие узорчатые хлопья, то мечется вихрь едва различимых снежинок. Снег падает и падает. Ухоженные ньютонские домики надели снежные шапки, закутались в пушистые белые шали и стоят грустные и задумчивые, будто не Бостон за окном, а Таруса или Рязань. Закрыты школы. Но в среду, как всегда, огромный грузовик с бездонным брусом заграбастал выставленные на обочину пластиковые мешки с мусором. Каждое утро сгребает снег машина-совок, вслед за ней подметает улицы и посылает их песком машина-дворник. Мужчи-

ны расчищают дорожки и подъезды к домам. Бедный Миша вчера после 11 вечера оттребал снег от моей машины, а сегодня она снова в белом капкане.

Перерыв. Сбегала в наш ньютонский... Как назвать небольшой магазин в Ньютон-центре, где можно купить лекарство, еду, чулки, сквородку, электрический уют, игрушки и т. д. и т. п.? Здесь он называется «Волгрин» — по имени владельца фирмы. Сеть магазинов «Волгрин» довольно густо раскинута по Бостону. И покупателей хватает. Может быть, потому, что удивительно догадливый народ, эти американцы. В Бостоне снегопад, и в «Волгрине» на самом видном месте красуются разнообразной формы лопаты (все из пластмассы) и скребки, которыми удобно счищать лед с окон машин (тоже разнообразной формы и тоже из пластмассы). Купила скребок и какие-то мелочи, получила в кассе чек, улыбку, один цент сдачи и пожелание хорошо провести день. Только села за стол...

Сегодня, после перерыва из-за снегопада, Няма первый раз пошла в школу, а я отвыкла от ее режима и забыла, что в пятницу школьный автобус привозит детей домой на час раньше — еврейская школа, суббота начинается в пятницу. Только села за стол, явилась Няма. Румянец во всю щеку, глаза блестят, в руках... ну, конечно, могла бы и догадаться. В руках ком снега. Снег — ее любимая забава. Что она только не выделяет в лесу, когда выпадает снег. Визжит от радости, сгребает снег в кучи руками и ногами, ест пригоршнями.

В эту зиму мало того, что Бог (еврейский? христианский?) щедро одарил Бостон снегом, Шерманы старшие (Инна и Юра, Мишины родители) сделали Няме царский подарок: привезли из Москвы санки. В Америке обычные детские санки — это небольшие пластмассовые корыта. Есть, конечно, санки на полозьях, с рулем и другими изысками, но они не в счет — не по карману. Увидев московские санки, Няма перевернула их полозьями кверху и уселась в привычное ей корыто. Американка.

А вчера она прочла мне вслух очередную детскую книжку на английском языке под названием «Эмма». Английские книги я беру ей в ньютонской библиотеке. Долго роюсь на полках, потому что трудно совместить ее интересы — довольно широкие — и возможности, увы, скромные. Рассказ про бабушку Эмму Няме очень по-

нравился. На меня «Эмма» тоже произвела впечатление, настолько сильное, что я хочу пересказать содержание этой книжки, но, в отличие от Нямы, которая, дочитав книжку, немедленно побежала за красками и нарисовала картину из жизни Эммы, я ничего нарисовать не могу. А жаль, в книжке очень хорошие иллюстрации.

Итак, бабушка Эмма жила в большом красивом доме. На картинке убедительное подтверждение. Но она жила одна, ей было скучно, потому что поговорить она могла только со своим любимым рыжим котом. На картинке бабушка и кот, оба весьма элегантные. Дети и внуки приходили к бабушке в гости, они вместе пили чай, но потом все уходило, и бабушка снова оставалась в обществе кота. На картинке большой стол, за столом сидят красивые молодые дети и нарядные внуки.

Бабушка все чаще вспоминала свою молодость и маленький городок, где она родилась. Чуткие дети подарили ей к семидесятилетию картину с изображением ее родного города, но мрачноватая картина ей не понравилась. На картинке Эмма в тоске разглядывает картину. В один прекрасный день Эмма приняла решение. Она отправилась в магазин и купила краски и кисти. На картинке Эмма в красивом длинном пальто, в туфлях на высоких каблуках идет по улице мимо нарядных магазинов.

Дальше, я думаю, понятно. Бабушка Эмма нарисовала много замечательных картин, повесила их на стены своего дома, люди приходили любоваться ее картинами, и ей больше никогда не было скучно. Счастлива Эмма, счастливы дети и внуки, счастлив рыжий кот. Мораль: дети, проявляйте чуткость! Бабушки, рисуйте (вышивайте, выпиливайте...) и все будет хорошо. Вот и живи в этой Америке.

5 октября. Римский университет. Автобус долго петлял по... Нет, это уже не город. Один-два дома, пустырь, снова дома, рынок (овощи, почему-то матрасы, посуда, фрукты, обувь), снова пустырь, наконец низкая ограда из окрашенных в белый цвет железных полос. За ней лабиринт двухэтажных серых зданий известного архитектурного стиля «честная бедность». С бедностью в Италии все в порядке. Строительство университета было задумано с размахом: отвели большой участок земли за городом, обещали дотянуть к нему линию метро, а потом все пошло по знакомой схеме. Метро не дотяну-

ли, связь с городом плохая, столовую построили далеко, там, где было дешевле, — список этих нелепостей довольно длинен, как я поняла из околонучных разговоров. Тем не менее, это все-таки европейская бедность, а не привычная нам азиатская.

Над входом на факультет математики надпись на английском языке: «Airconditioned». Понятно, а как перевести, не знаю. Видимо: «Не бойтесь, здесь есть кондиционер». Спасибо, вполне уместно. Коридор увешан объявлениями о симпозиумах со списками участников. Сколько знакомых мне фамилий, мне, а Акиве! Входим в кабинет Луиджи Аккарди, Акивиного, так сказать, хозяина. Полу-круглый стол светлого дерева. На столе компьютер с принтером, над столом подставка на шарнирах — двигай, куда хочешь, — на ней телефон. Кресла на колесиках, вместительные книжные шкафы. Все продумано, все удобно. Но наша вольная жизнь кончилась. Акива должен читать лекции. От дома до университета около часа езды с пересадкой. Значит, полдня пропадает. В шесть вечера уже темно. И сегодняшний день, увы, тоже погиб.

Четыре часа дня, мы все еще в университете. Нескончаемая бумажная канитель. Обедали в знакомой столовой вместе с молодым американским математиком из Сан-Диего и мальгашским математиком, живущим ныне в Японии. Когда я сидела в стенном шкафу в нашей черемушкинской квартире и переводила мальгашские сказки, могло ли мне прийти в голову, что в один прекрасный день я увижу живого мальгаша? И где! В Риме. Сопровождала нас студентка университета, приехавшая в Рим из Англии. Вот компания какая.

Без даты. Рим. Пятого октября вечером были в гостях у итальянского математика Карло. Его фамилию я не запомнила, хотя он много раз приезжал в Москву и бывал у нас дома. А перед этим, по его совету, мы зашли в церковь Сан Клементе. Этой церкви не увидишь на открытках, туристов сюда обычно не водят, и мы бы тоже ее не увидели, если бы не Карло, хотя Сан Клементе — одно из чудес Италии. Италия, кстати, поразила меня легкостью, с какой чудеса включаются здесь в повседневную жизнь. Когда по дороге в Сан Клементе Акива спросил меня, куда идти, я ответила, не поперхнувшись: «Колизей справа, значит — налево». Тот же Карло сказал, что 70% памятников, охраняемых ООН, находятся в Италии,

30% из них — в Риме, и эти фантастические цифры я тоже почему-то восприняла, как нечто само собой разумеющееся.

Сан Клементе — это три церкви, построенные одна над другой. Верхняя церковь XII в. Ее апсида украшена золотистой мозаикой — золотистым ковром с узором немислимой красоты, который переливается, как драгоценная парча. На этом удивительном фоне висит большое распятие из черного дерева. Над головой Христа три белых голубя, под ногами тоже три, у рук по два. Пронзительное сочетание цветов — черное (крест) на золотом (мозаика) и белое (тело Христа и голуби) на черном — ударяет будто током, и мир за пределами церкви перестает существовать. В передней части нефа невысокие панели с колонками огораживают место для хора. На панелях хорошо видны изображения рыбы, голубки и виноградной лозы — ранние христианские символы веры. Эти панели были подарены церкви Сан Клементе папой Джоном II в VI в. (на них сохранилась его монограмма), а в XII в. перенесены из нижней церкви в верхнюю. Мозаика, распятие, место для хора перед алтарем — все в этой церкви необычно, все поражает. Церковь действующая, при нас в ней было довольно много прихожан.

В середине XIX века археологи открыли под верхней церковью нижнюю IV в., а под ней два здания I в.: жилой дом и храм Митры. Здесь, в подземелье, все по-другому. Глубокая тишина, низкие своды, темные ниши, узкие лестницы-щели. Стоят и лежат обломки красивых старых кувшинов, колонн, статуй, стоит саркофаг I в. с многофигурным барельефом «Федра и Ипполит». Саркофаг,местилище смерти, — поразительный слепок жизни. Всадники, пешие воины, собаки, мужчины, женщины — какое удивительное разнообразие характеров, лиц, поз, одежды! Кипят страсти, кипит жизнь, кажется, что слышишь не только голоса этих людей из камня, но и лай собак, и ржание лошадей. Саркофаг нашли в замурованной комнате здесь же, в подземелье, в 1937 году.

Но главное, конечно, фрески. Они, как ни странно, хорошо сохранились и хорошо освещены, что в подземелье очень важно. Смотреть на них — огромная радость. Наверное, это стыдно в наше обесцвеченное время, но когда видишь на стенах всех этих светло-коричневых, розовато-голубых мадонн и святых, пронесших через столько

веков свою наивную искренность, теплоту и человечность, хочется плакать. В церкви Сан Клементе похоронен Кирилл, тот самый, который Кирилл и Мефодий. Пути Господни воистину неисповедимы. Согласно легендам, Святой Клемент погиб в Крыму, где его гроб нашел Кирилл, передавший останки Святого Климента церкви его имени в Риме. В награду за доброе дело Мефодию разрешили похоронить брата в этой церкви.

Гроб с телом Кирилла покоится в отдельной капелле. На стенах капеллы иконы в тяжелых дорогих окладах, венки, тут же разложена церковная утварь из бронзы и серебра. Все это дары болгарского и украинского народа. А где русского?

На улице накрапывал дождь. О римская погода в бархатный сезон! Утром на невинном голубом небе сияет солнце, я надеваю туфли на босую ногу и легкое платье. К вечеру набегают тучи, начинается дождь. Домой прихожу мокрая до нитки. На следующий день влезаю в брюки и кроссовки. Днем парит: душно, жарко. Клянусь себя за трусость и на следующий день надеваю сарафан и босоножки, но к вечеру... и т. д. и т. п.

На улице накрапывал дождь. Мы шли мимо Колизея. В темноте, подсвеченный снизу, он кажется грозным и более величественным, чем днем. Пока ехали на метро, дождь разошелся вовсю. Обманутая в очередной раз безоблачным утром, я была в босоножках и в платье без рукавов. В наказание ветер яростно вырывал у меня из рук зонтик.

Карло встретил нас у выхода из метро и на машине повез к себе. Акива сел спереди, чтобы с ним поговорить, а я сзади, чтобы смотреть на Рим. И было на что смотреть. За окном в струях дождя мчались кварталы нового Рима. Многоэтажные дома, многоэтажные мосты с опорами-щупальцами и кружевными железобетонными арками, змеиные кольца сложных развязок на разных уровнях, нескончаемый рубиновый хвост задних огней несущихся машин — современный красивый деловой город.

У Карло большая комфортабельная квартира в одном из новых кварталов Рима. В тот вечер он и пятеро его гостей из России долго и страстно спорили на русском языке о судьбе бывшего СССР. Взрослая дочь Карло, его жена и сестра жены из-за незнания языка не

принимали участия в разговоре. Они молча взирали на странное сборище и угощали нас макаронами.

6 октября. Рим. Ночью бушевала гроза. Долгие оглушительные раскаты грома, длинные причудливые молнии, потоки дождя. Вечера нас привезли домой около 12 ночи. Сегодня будильник зазвонил в 8 утра.

Утренний автобус. Черный мужчина в джинсах, оранжевой рубашке на голову выше всех, в руках учебник английского языка. Рядом японка в шелковой белой блузке и плиссированных шортах-юбке. У дверей почтенный итальянец: светлый плащ, хороший кожаный портфель, зонтик. Сзади меня бабушка с внучкой, девочка дремлет на плече у бабушки.

Автобус, метро, наконец мы в Ватикане. Акива бежит вперед, чтобы занять очередь в кассу. Музеи в Италии закрываются в два часа дня, а мы, как ни торопились, добрались до Ватикана после 10 утра. В плотной разноязыкой толпе долго поднимались по пологим ступеням чугунной лестницы-спирали в холле музея. Лестница удивительная: современное литье, строгий и теплый металл. Толпа еще более удивительна — лица, одежда, прически!

Первые залы музея. Микеланджело, Рафаэль... Перечислять имена? Картины? Про музеи Ватикана написаны тома. Поразил зал искусства этрусков, которые в каком-то немислимом веке до нашей эры уже все умели и все понимали, и зал современной религиозной живописи и скульптуры, где, вопреки ожиданию, оказалось много интересных работ. Да, вера в Италии не только осязаема, но и зрима. И может быть, самое убедительное подтверждение этой странной мысли — Сикстинская капелла, один из великих подвигов духа человеческого, совершенный во имя веры.

Я не думала, что Сикстинская капелла такая большая и, честно говоря, не думала, что такая интересная. К счастью, ошиблась. В Сикстинской капелле можно провести и день, и два, но это нелегко: много людей, нечем дышать, кружится голова, так как рассматривать фрески на потолке можно, лишь запрокинув голову. До этого в капеллу надо еще пройти. В зале, где по стенам развешаны старинные географические карты (а не картины, вот что было особенно досадно), простояли минут двадцать, ожидая возможности протис-

нуться в узкий коридор, оказавшийся на нашем пути. Оттуда, повинаясь стрелкам, шли то направо, то налево, спускались и поднимались по лестницам, проходили по каким-то залам — музей огромный, это целый комплекс музеев! — пока, наконец, не попали в Сикстинскую капеллу. Попали поздно, о чем очень жалели — капелла очень интересная. Вышли из музея потрясенные и растерянные.

На улице шел дождь. Вопреки благоразумию решили доехать до Пантеона, вдруг он закрывается позже. Отыскивали нужный автобус, но по ошибке сошли на остановку раньше. Дождь усилился. К Пантеону пришли, когда куртки, рубашки, брюки промокли насквозь, в кроссовках хлюпала вода, в рюкзаке и в сумке плавали словари, карты, путеводители и прочее. Но Пантеон был открыт, видимо, потому, что это не музей.

Не могу сказать, что Пантеон красив, но в нем есть величие, он вызывает уважение. В Пантеоне хочется побыть, медленно его обойти, постоять у гробницы Рафаэля, посмотреть на купол. Что мы и сделали. Непонятно, как создали такой купол в 27 г. д. н. э. Центральная часть этого огромного полушара не закрыта, через нее в Пантеон проникает свет. При нас в нее проникал в основном дождь. Столб дождя внутри Пантеона, стена дождя снаружи. По площади Ротонды, где стоит Пантеон, бежали потоки воды. Гром, молния — потоп.

В минуту затишья добежали до бара напротив. Очень хотелось есть. Очень хотелось сесть. И тут, еще раз забыв о благоразумии, мы решились. Сели за красивый столик, накрытый крахмальной розовой скатертью. Нам принесли по куску пиццы, два пирожных и два бокала кофе капучино. Очень было вкусно. Такое безумие мы позволили себе в Италии первый раз. Я не в силах написать, сколько это стоило.

Пока мы пировали, дождь немного утих, и, вдохновленные кофе, мы бодро направились к церкви Santa Maria sopra Minerva. Церковь святой Марии, построенная в XIII веке на месте разрушенного храма Минервы, отчего она так и называется, — единственная большая готическая церковь в Риме. Но меня вдохновляла не столько готика, сколько — увы, слаб человек — соображение, что она рядом. Акива же очень хотел увидеть гробницу своего любимого Беато Анджелико.

Осмотреть церковь снаружи не удалось, так как она была в лесах. В Италии это обычная... Написать «неприятность» все-таки не поворачивается рука. Если бы в России так берегли свои сокровища, как берегут их в Италии. К сожалению, леса оказались не только снаружи, но и внутри. Они почти полностью закрывали фрески Филиппино Липпи. Кусочки, которые увидели, понравились яркостью и радостью. Главное же, конечно, — Беато Анджелико.

Около алтаря небольшой кусок пола обнесен чугунной оградой. Столбики ограды, в виде стеблей с резными листьями, такие легкие и красивые, что кажутся живыми растениями. Внутри светлая мраморная плита, на ней барельеф Беато Анджелико в монашеском одеянии и надпись: «Здесь лежит Джованни — гордость Флоренции». (Джованни — мирское имя Беато Анджелико.) После Флоренции, после монастыря Святого Марка, где мы только что видели его фрески — его «Благовещение»! — эта лаконичная надпись звучала как гимн. Не знаю, сколько бы мы простояли у чугунной ограды, но церковь закрывалась, и нас попросили уйти.

А потом... Потом долго искали площадь Испании и подошли к ней не по той улице, по которой полагается, поэтому сначала ничего не поняли. Есть площадь, есть название, а фонтана и знаменитой лестницы нет. Но пройдя еще метров 10, увидели и фонтан, и лестницу. «Девушки с площади Испании» — шел в Москве такой итальянский фильм. Первым вспомнил об этом, конечно, Акива. Девушки с площади Испании... Ах, какая это красивая площадь! Какая радостная, влекущая, уносящая ввысь! В Риме на каждом шагу продаются открытки с видами города. Открыток сотни. Одна хуже другой. Не понимаю, почему, но Рим, видимо, не фотогеничен. Так что придется обойтись словами. Площадь Испании вытянута в длину и по форме напоминает лежащую на земле восьмерку. Правая, меньшая ее часть, замкнута старыми довольно высокими, но узкими домами и дворцом Propaganda Fide Бернини, перед которым высится указующий в небо обелиск-перст, воздвигнутый в честь торжества догмы беспорочного зачатия. Здесь свой особый колорит — холодно-серо-серебристый — и особый стиль: все почтительно приглушено и замедлено.

Левая, большая часть, наоборот раскрыта *urbi et orbi*. В середине фонтан. Круглый бассейн, в бассейне лады. На носу и на корме

ладьи головы мужчин, из их раскрытых ртов в бассейн льется вода. Водой залита и ладья, потому что в центре ладьи на небольшом возвышении стоит чаша и из нее тоже бьет струя воды. Вода переливается из чаши в ладью, из ладьи в бассейн. Стоишь и смотришь, как непрерывно струится вода, как струится жизнь. Ладья плывет по волнам, чаша жизни полна до краев. Душа полна до краев. Оторвав взгляд от фонтана, видишь позади него широкую лестницу. Первый ее марш добегают до большого цветника, охватывает его по бокам двумя полукругами второго марша, вновь соединяется у широкой балюстрады, образуя третий марш, а тот взлетает к другому цветнику, раздваивается и, образуя четвертый марш, возносится к фасаду церкви Троицы на горе, силуэт которой врезан в синеву неба.

По этой лестнице поднимаешься как на крыльях. Но только мысленно. В каждом из четырех маршей 138 ступеней. Восхождение на купол собора во Флоренции еще не изгладило из памяти, а там было (всего!) 463 ступени. Мы остались внизу. Когда-то на этой лестнице сидели художники с мольбертами, а «модели» рассказывали вверх и вниз в надежде привлечь их благосклонные взоры. Сейчас этот римский Монмартр захвачен неутомимыми туристами и торговцами сувенирами.

На площади Испании много людей, растут высокие тонконогие пальмы, чуть в стороне метро. На площадь Испании полагается приходить, поднимаясь вверх по улице Кондотти, самой элегантной улице Рима, как сказано в путеводителе. Но мы шли по этой улице вниз. Улица действительно элегантна. В витринах золотые и серебряные украшения, которых хватило бы на женщин не только Европы, но и обеих Америк, красивая одежда и обувь по головокружительным ценам. Мы заглянули в модное кафе, где когда-то сидели за чашкой дешевого кофе художники и писатели, а сейчас стояли в очереди за дорогими пирожными процветающие деловые люди и их жены, главным образом жены (или любовницы). Но почему в Риме на площади Испании и на улице Кондотти так много английских вывесок? Snack Bar, American Express, McDonald's, Tea Room, Kodack, Fast Food, Hotel. Почему мужские рубашки надо продавать в магазине «Байрон», посуду в «Модильяни», а зонтики в «Гермесе»? Зачем им, свободным, гигиеническим подтяжкам имени Семашки?

Мини-отступление: «Черный человек». Нам повезло: мы жили рядом с перекрестком улицы Казилины и проспекта Пальмиро Тольятти. Когда-то Казилина была главной дорогой из Рима на восток. Сейчас это одна из самых старых и длинных улиц итальянской столицы. Казилина сохранила свое лицо. Не всегда умытое и ухоженное, оно, конечно, пострадало от оспин современных стеклянно-бетонных коробок и шрама трамвайной линии, но все-таки уцелело. Молодой бойкий проспект Пальмиро Тольятти обходится без лица, ему хватает многогранного двустороннего движения и раздельной полосы с едва подросшими деревьями. Да и зачем ему, в самом деле, лицо при таком звучном имени?

Большой перекресток — это хороший ориентир. Но не только. Круглые сутки машины, трамваи, автобусы, грузовики сплошным потоком движутся по Казилине и проспекту Тольятти, замирая лишь на перекрестке, когда зажигается красный свет. И вот тогда появляется Черный человек. Он высокого роста, на нем застиранные джинсы и цветная рубашка, на ногах изношенные кроссовки. Трудно сказать, сколько ему лет. У него тонкие губы, небольшие юркие глаза, длинные ловкие руки. Его широкие скулы обтянуты черной как смоль кожей, над низким лбом топорщится короткий ежик черных волос. Перебегая от одной машины к другой, он с неизменной застывшей улыбкой предлагает по утрам разложенные на небольшом лотке папиросы, спички, зажигалки, еще какие-то мелочи, а по вечерам — красивые букеты цветов. Каждый день, в любую погоду. Откуда он? Когда он ест? Где спит? Не знаю. Он часть этого шумного перекрестка. Увидев его, я знаю: мой дом рядом.

7 октября. Рим. Необычный день. Встали рано. Акива уехал в университет. Я зашла в магазин, отнесла покупки домой и решила посмотреть, где мы живем. Идти по проспекту Пальмиро Тольятти неинтересно — обычная транспортная магистраль. Необычны только пальмы, виноград во дворах, лимоны на деревьях. На стенах домов намалеваны то серп и молот с призывами в защиту пролетариата, то свастика без призывов. В боковых улочках грязно. На тротуарах валяются обрывки газет, пластиковые бутылки, папиросные коробки. У домов лепятся какие-то пристройки и сарайчики из фанеры, досок, обрезков железа. Людей мало. Наткнулась на магазин-

чик. У двери на столе аккуратно разложены чистые красивые овощи, фрукты, зелень. Увидела аппетитные красные перцы. Решила купить. Никак не могла сообразить, как спросить, горький это перец или сладкий. Внезапно осенило: «Dolce vita». Подошла хозяйка. Я ткнула пальцем в перцы: «Dolce?» Женщина радостно замахала руками: «Si! Si!» Я тоже обрадовалась.

Не могу привыкнуть к итальянским лирам, к счету на сотни и тысячи. Взяла два перца и протянула бумажку в 5000 лир, но хозяйка сочувственно спросила, итальянка ли я, и честно дала сдачу. На углу уже примелькавшийся мне старик кормил кошек. В какой-то немыслимой жилетке поверх выцветшей ковбойки, сгорбленный, с провалившимися глазами и запавшим ртом, он весь сиял, выкладывая макароны на пластиковую тарелку. Разноцветные кошки благодарно махали драными хвостами. Черный человек был на своем посту.

Гуляла недолго. Около нашего дома не разгуляешься: Черемушки, хоть и итальянские. Но в этом бедном квартале, где женщины ходят по улицам в шлепанцах и фартуках, есть мини-супермаркет, табачный магазин, бильярдный зал, аптека, прачечная, сапожная мастерская, овощной и хозяйственный магазины, бар, перед которыми за столиками сидят пожилые мужчины, пьют кофе, играют в карты, читают газеты. И нигде нет очередей, продавцы улыбаются и благодарят за покупку, а на неприбранных улочках с безобразными помойными баками (куда, приподняв тяжелую крышку, мусор бросают в завязанных пластиковых мешках) растут высокие сосны и пальмы.

Весь остальной день писала. Акива вернулся из университета около пяти вечера. Мы пообедали и разошлись: он к письменному столу, я к кухонному, он же мой письменный. Сейчас одиннадцатый час. Ложусь в постель, почитаю и, надеюсь, буду спать. Прошлой ночью почему-то не спалось. Акива продолжает готовиться к завтрашней лекции.

31 января. Ньютон. Необычное воскресенье. Проснулась, когда еще не было восьми. Обидно — воскресенье, можно поспать подольше. Машинально посмотрела в окно. («Машинально» здесь от слова «машина». Утром я прежде всего смотрю, не обледенели ли

стекла в машине, не надо ли откапывать ее из-под снега.) Что это? Улица Рипли занесена, да как, чуть не по крыши! За одну ночь Рипли преобразилась. Не знаю почему, из-за тяжелых снежных шапок на домах-кубиках или из-за низкого серого неба в черных расчерках голых веток, наша бодрая, румяная улица вдруг побледнела и загрустила, что, впрочем, ей к лицу.

Падает и падает с неба тонкая белая крупа. Калека-градусник, привезенный из Москвы, — я знала, что Фаренгейт мне не по зубам, — показывает -10°C . Царский подарок к воскресенью. Мороз и лыжи, день чудесный... Два часа катались на лыжах в парке, до которого пять минут езды на машине. Парк невелик, но живописен: холмы, поляны, овраги, заросшие лесом, речушка. Конечно, это суррогат природы. До настоящей природы в Бостоне рукой подать, но смогу ли я когда-нибудь сама до нее доехать, не знаю.

Свежий снег мягко пружинит под пластиковыми лыжами. Лыжи легкие, прекрасно скользят при любой температуре, никакой смазки не требуют — благодать. Ногам тепло и уютно в новых, вернее старых (купили подержанные, как и лыжи), но для меня новых ботинках. Таких удобных лыжных ботинок мои ноги еще не удостаивались.

Снег для меня всегда возврат в предпрошедшее. Лыжи скользят легко, мысли еще легче. Еду и смотрю одним глазом вокруг, другим в прошлое. Берендеев овраг, почти как под Москвой; Столешников в белом пушистом снегу, нескладная девочка медленно идет от Моссовета вниз, волоча по снегу папку с ногами; заснеженные, помертвевшие от холода Березники, наш 10 класс роет на главной площади бомбоубежище, от ударов ломов звенит глубоко промерзшая земля; парк кончается, поворачиваем назад, деревянный мостик через полузамерзший ручей, надо же, все доски целы; искристый снег в лесу под Звенигородом, бежит ручей, камушки на дне сверкают под солнцем; раскатанная до блеска лыжня из Картмазово в Сосенки, замерзли, ух, слава Богу, автобус, ура, наш, все влезли?

Конечно, влезли. Уложить две пары лыж в мою машину нетрудно. Вот этот толстозадый железный ящик — моя машина? Моя тут только подушка. Я сделала ее сама: обтянула кусок пенопласта подолом старого ситцевого платья. Так отчетливо помнится, как я покупала его в универсаме «Москва». Это было не платье, а халат,

перед я застрочила, низ подогнула... «Акива, ты пристегнулся?» Через пять минут дома.

Обедали вдвоем. Странное, в самом деле, воскресенье. Позвонила из Нью-Йорка Маша: «Минус десять по Цельсию? А сколько это по Фаренгейту? Я по Цельсию не понимаю». Тело побаливает даже после короткой, легкой прогулки. Акива после обеда полежа и сел за письменный стол. Я села за свой стол сразу же и возвратилась в Рим. Сейчас уже половина одиннадцатого. Миша вернулся из магазина. Покупал продукты на неделю. В это воскресенье все не как всегда. Сейчас уберу покупки, попьем вместе с Мишей и Юлей чаю и ляжем спать.

8 октября. Рим. Я знала, что синагога находится где-то рядом с мостом, по которому попадаешь на Тибрский островок, но нашла ее не без труда. В этом районе Рима улицы не соблюдают правил уличного движения, а я не в ладах с картой. В конце концов синагогу мне показали. Огромное массивное здание. Два куба один на другом с колоннами в центре фасада напоминают Моссовет. Третий куб поменьше, на нем лежит большой серебристый купол. Семисвечники на карнизе, еврейские письмена, восточный орнамент с позолотой на стенах — впечатление странное. Синагога построена в 1904 году в ассиро-вавилонском стиле, как указано в путеводителе. Может быть, дело в этом самом стиле, в котором я не почувствовала единства и связи с иудаизмом.

За синагогой начинается гетто. Небо исчезло. Темные узкие кривые улочки замощены булыжником. Трудно идти даже в туфлях без каблуков. Один дом выступил из ряда, другой попятился назад, у третьего снесен фасад, вместо него торчат какие-то доморощенные лесенки, балкончики, крытые галереи. Облупленные стены в потеках сырости. Тут и там вывески кошерных магазинов, над ними сушится бельё. Но чаще вывесок попадаются таблички: «Здесь... тогда-то... столько-то... зверски замучено... расстреляно нацистами и антисемитами»...

Евреи жили в этих местах много веков, бедные евреи живут тут до сих пор. Я боялась заблудиться и решила вернуться назад, но вдруг впереди появился клочок неба, дома расступились, и я оказалась на площади. Небольшая угловатая убогая площадь, а посреди-

не чудо красоты — фонтан, знаменитый римский фонтан с черепахами. Я бы никогда его не нашла. Видно, помог еврейский Бог.

Большая ваза вроде глиняной крынки с узким горлом. Опираясь одной рукой на нижнюю широкую часть, вокруг вазы сидят четыре обнаженных юноши. Второй поднятой рукой каждый из них помогает черепахе взобраться на край неглубокой чаши, стоящей на вазе. Из центра чаши бьет вверх струя воды, падает в чашу и переливается через край. Ноги юношей упираются в спины четырех рыб с изогнутыми хвостами. Из открытых ртов рыб струи воды падают в четыре ракушки и перетекают в бассейн, где стоит ваза. Округлые линии чаши, вазы, раковин и бассейна, поднятых рук юношей и их изогнутых торсов создают ощущение идеальной гармонии покоя и движения, а плеск воды звучит, как ласковая песня. Нежная прелесть этого фонтана породила легенду, что он создан Рафаэлем, но достоверно известно, что его сделал Ландини в 1585 году.

Так я и знала. Пошел дождь. Я уже два часа дома, Акива еще не вернулся. Лекция кончилась в пять, час на дорогу... Семь вечера. Телефона у нас нет. Зонт Акива забыл, но это ерунда. Утром я забыла положить ему в сумку лекарства, что много хуже. Такого со мной еще не случилось. Италия свела меня с ума.

9 октября. Рим. Второй день хожу по городу одна, потому что лекции Акивы начинаются в 4 часа. Вчера у меня было мало времени: уехала из дома в два вместе с Акивой, вернуться нужно было в шесть к его приходу, так как у нас один ключ. Сегодня вышла рано. Была в Национальном музее Рима, оттуда дошла пешком до Колизея. Рим перестал пугать. На улицах с радостью смотрю по сторонам, особенно в знакомой части города, где понимаю, куда иду. Вчера до того расхрабрилась, что перешла по мосту на Тибрский островок, оттуда на другую сторону Тибра и побродила по старому Риму — улочкам Трастевере. Сбилась. Слишком много впечатлений, трудно писать.

Колизей в первый раз увидела вместе с Акивой, но внутрь мы тогда не попали. Сегодня долго ходила внутри, и в памяти всплыло наше столешниковское кресло (как в кабинете Ленина), в кресле черноволосая девочка с двумя косичками, впившаяся в томик Лермонтова, и заворожившие тогда строчки:

Ликует буйный Рим... Торжественно гремит
Рукоплесканьями широкая арена:
А он — пронзенный в грудь — безмолвно он лежит,
Во прахе и крови скользят его колена...

Не хочется писать, сколько лет прошло с тех пор. Девочка за эти годы стала зыбким воспоминанием, а зыбкое видение Колизея — реальностью.

Арены в Колизее нет. Она погибла. Сохранились помещения под ареной, частично трибуны и наружные стены. Колизей разрушен и разграблен. Слишком долго его использовали как мраморный карьер. Но и разрушенный Колизей поражает и не отпускает. Уйти невозможно. Ушла, потому что попросили. Долго ходила вблизи. Смотрела, смотрела и смотрела.

Не без труда разыскала церковь, где выставлена знаменитая статуя Микеланджело «Моисей», которую он сделал для гробницы папы Юлия II. Тайна таких творений, как Колизей, Пантеон, древние стены Рима, «Моисей» Микеланджело, остается для меня тайной. Я не знаю, в чем их притягательная сила. Я только ощущаю ее. Как об этом рассказать?

Как рассказать о Национальном музее Рима, с которого начался сегодняшний день? В музее собрана подлинная греческая скульптура. К сожалению, из знаменитых статуй удалось увидеть только одну: «Дискобола» Мирона. Музей — часть термов Диоклетиана, которые сейчас реставрируются, поэтому большая часть помещений закрыта. «Дискобол» установлен в отдельном небольшом зале. По репродукциям и копиям у меня сложилось впечатление, что он большой и мощный. Может быть, виной тому один из кумиров нашего филфака — профессор Колпинский. До сих пор помню, как высокий худой Колпинский великолепно изображал «Дискобола» и, захлебываясь от восторга, рассказывал о совершенстве греческих статуй, а мы не спускали с него восторженных глаз и только в перерыве вспоминали о его обтрепанных брюках и чуть живом пиджаке. На самом же деле, несмотря на, так сказать, спортивный сюжет, небольшая скульптура Мирона скорее гимн красоте, чем силе человеческого тела. Изяществом линий рук, ног и торса «Дискобола» можно любоваться долго, напряженность его мышц — он весь как сжатая пружина — замечаешь не сразу.

В этом же зале стоит несколько безголовых женских статуй. В ниспадающих складках их хитонов столько величия и грации, они так точно передают позу скрытых под одеждой тел и так красноречиво говорят о характере женщин, что отсутствия лиц не замечашь. Удивительный покой царит в этом зале, и столько жизни в этом спокойствии.

Из зала попадаешь в квадратный внутренний двор. На зеленой траве под пальмами и кипарисами лежат обломки колонн, камни с барельефами, капители. Капители вблизи — это чудо. Рассматривать их — огромная радость. В центре двора фонтан. Небольшую чашу, откуда бьет струя воды, поддерживают хвостами четыре тритона. Морды их касаются зеленоватой воды бассейна, куда стекает вода из чаши. Журчит вода, в бассейне плавают золотые рыбки, звонят колокола в соседней церкви.

Двор окружен открытыми галереями. Здесь стоят и лежат статуи, головы, торсы, надгробные плиты, бюсты. Смотришь на них и не перестаешь удивляться. Какое поразительное разнообразие лиц и характеров. Огромный незнакомый мир. Завораживают барельефы с бегущими фигурами. Они бегут, в самом деле бегут! Но ведь это мрамор. Большое ложе со спящим мужчиной. Он спит, но он живой, он дышит! И это тоже мрамор.

Музей находится рядом с красивой современной вокзальной площадью. В центре площади огромное здание вокзала — стекло, бетон, широкие козырьки над входами, — его обтекают толпы людей, потоки машин, автобусов, мотоциклов. Прошлое рядом с настоящим. Все рядом: и жизнь, и смерть, и бессмертие. Это Рим.

10 октября. Рим. С утра в Ватикане. Суббота, очень много людей. Тяжелая погода: жарко, влажно. Долго ходили по картинной галерее. В конце этого предложения хочется поставить не точку, а десять восклицательных знаков. Осмотреть галерею за один раз невозможно, но что-то мы увидели, и среди этого «что-то» много неожиданного. Прелестные маленькие картины художников флорентийской школы, например. До сих пор мы знали маленьких голландцев. Оказывается, есть еще маленькие флорентийцы. Это тоже, главным образом, интерьеры, жанровые сценки, натюрморты, но есть картины и на религиозные темы.

Из художников венецианской школы больше всего понравился Кривелли. Его нежные, трогательные мадонны-девочки — энциклопедия материнских страданий. Совершенно заворожили огромные ковры, вытканые в Брюсселе по рисункам Рафаэля. «Тайная вечеря» — больше 10 метров длиной, я померила шагами. Уму непостижимо, как можно с помощью ниток создать такую проникновенную психологическую картину. В соответствии с западными традициями под многими коврами и картинами висят таблички с указанием, кто оплатил реставрацию.

Ориентироваться в галерее трудно. Огромные залы со множеством дверей, ведущих неизвестно куда, небольшие капеллы, лестницы, переходы... Только благодаря Аквинной настойчивости мы нашли капеллу Беато Анджелико. Это небольшая комната со сводчатым потолком, стены которой сплошь покрыты фресками. Поражает не только красота этих фресок и мастерство, с каким использован каждый сантиметр стены — фрески непринужденно вписываются в полукруги сводов, укладываются в узкие простенки между окнами, — поражает легкость и властность, с которой эти фрески переносят в другую жизнь, в другой мир. В мире Беато Анджелико, конечно, тоже есть добро и зло, горести и радости, но в отличие от нашего мира он естествен и гармоничен и поэтому светел. Уходить из капеллы Беато Анджелико очень не хотелось.

Разыскали мы, конечно, Аполлона и Лаокоона, но... То ли повышенный уровень ожидания тому виной, то ли усталость, но и тот и другой показались мне жалкой, невыразительной копией тех прекрасных величественных статуй, какие я надеялась увидеть.

Сегодня собирались еще побывать в термах Каракаллы, но опоздали и решили посмотреть катакомбы, раз уж все равно оказались на Аппиевой дороге. Тот отрезок этой знаменитой дороги, который мы увидели, произвел на меня, мягко выражаясь, мрачное впечатление. Два глухих каменных забора, между ними узкая лента асфальта, по которой одна за другой мчатся машины. Где же пальмы, красивые виды и булыжники, знаменитые булыжники, которыми она вымощена? Говорят, что до Аппиевых красот мы просто не доехали. Может быть, но силы человеческие, увы, ограничены.

Катакомбы тоже меня не растрогали. Входить туда можно только

с экскурсоводом. Экскурсии хорошо организованы. В садике перед входом сидят люди, купившие билеты, и говорят на всех мыслимых и немыслимых языках. Появляется экскурсовод и уводит тех, кто говорит, например, по-японски. Следующий приглашает говорящих по-польски или по-французски. В специально оборудованной комнате наш англоязычный экскурсовод — приятный седовласый образованный человек — прочел небольшую лекцию о катакомбах, а потом больше часа водил нас по огромному мрачному подземелью со множеством пещер, галерей, лестниц, коридоров и переходов. В стенах этого лабиринта сотни ниш, в которых хоронили близких бедные люди. Богатые занимали целые комнаты, где могли разместиться останки всех родственников. В некоторых комнатах устроено что-то вроде кроватей, стоят кушины, еще какая-то утварь. На стенах иногда висят иконы, кое-где сохранились фрески.

Катакомбы — это большой, плотно населенный город мертвых. Но почему-то этот город-символ, город-памятник преданности вере не произвел на меня впечатления. Может быть, потому, что я неведущая и земная жизнь волнует меня больше, чем загробная.

11 октября. Рим. Вчера вечером прочла в «International Herald Tribune», которую мы здесь часто покупаем, прогноз погоды. В Италии проливные дожди, возможны наводнения. Ночью проснулась от тяжелых раскатов грома, молнии слепили глаза, шел сильный дождь. Плакало наше воскресенье, последнее в Италии. Долго не спала. Но утром солнце сияло как ни в чем не бывало и мы поехали смотреть Термы Каракаллы, бани, построенные императором Каракаллой в III в. н. э.

«Если в полной совершенной красоте есть присутствие Бога, то в Термах Каракаллы он витает в каждом уголке». Это Остроумова-Лебедева. Сошли с автобуса, мчавшегося по широкой современной магистрали. Небольшая, ничем не примечательная церковь. За ней высокие стены. Верх разрушен. В провалах синее небо. Синева непривычно глубокая, густая. Иногда набегают серо-белые облака, легкие, прозрачные тучи — отзвуки ночной грозы.

Стены сложены из старых розовато-коричневых римских кирпичей. Высокие своды, огромные залы, просторные комнаты с сохранившимся мозаичным полом. Тут и там обломки колонн, вазы,

чаши, мраморные ванны, плиты с уцелевшей мозаикой. В расселинах стен растет трава, у стен — высокие пинии, лавровые деревья. Тихо. Много туристов, но тихо. Говорят мало, шепотом. Говорить не хочется. Только смотреть. Ходить и смотреть.

В банях Каракаллы могли мыться одновременно полторы тысячи человек. Тут были парные, бассейны с горячей и холодной водой, гимнастические залы. Сенека жаловался в письме к другу, что живет около бань и ему мешают шум и крики. Сейчас здесь тихо. «Если в совершенной красоте есть присутствие Бога, то в Термах Каракаллы он витает в каждом уголке». Мне нечего прибавить к этим словам.

До площади Венеции доехали на автобусе, оттуда пошли пешком к Тибру. Мне хотелось показать Акиве те места, где я ходила одна. Мы перешли по мосту на Тибрский островок, походили по другому берегу Тибра, вернулись к синагоге и по улочкам гетто дошли до фонтана с черепахами. Уходить от него во второй раз было так же трудно, как в первый. Прощальная прогулка. Щемит сердце. Не хочется расставаться с Римом. Бросая вызов судьбе, Акива бросил монетку в Тибр. Подавленные надвигающейся разлукой, сидели в кафе на улице Театр Марцелло. Пили кофе, смотрели на Тарпейскую скалу, на остатки (останки) круглых стен единственного уцелевшего хоть в таком виде древнего римского театра. Но этот лирический день завершился эпизодом в совсем ином жанре.

Нас много раз предупреждали о ловкости римских воров, мы и сами уже не раз в этом убеждались, поэтому, садясь в битком набитый автобус — Москва в час пик! — Акива положил руку в карман, где лежал кошелек, а я прижала к себе сумку. Через минуту почувствовала, что ее кто-то дергает. Перехватила сумку и увидела, что молния до половины открыта, но кошелек цел. Напомнила Акиве про его кошелек. Шевельнуться нельзя. Дышать нечем. Наконец вокзал, где нужно сделать пересадку. Выходя из автобуса, я заметила, что рюкзак у Акивы на спине расстегнут. Акива снял его, и мы тут же увидели, что бинокль, который, по моему совету, он положил в рюкзак, исчез. Перетряхнули рюкзак, но бинокля, конечно, не нашли. Огорченный Акива сунул руку в карман, но кошелек там уже не было. За те минуты, что мы возились с рюкзаком, молодые люди,

которые сновали вокруг нас — я обратила на них внимание, — сделали свое дело и исчезли.

Слава Рима многообразна. Карманные воры — одна из его достопримечательностей, о чем оповещают плакаты на нескольких языках, развешанные, в частности, в автобусах. В Акивином кошельке не было ничего, кроме двух-трех десятков лир — копейки! А бинокля жаль. Много лет назад я подарила его Акиве на день рождения. Он любил его. Это частичка нашей прошлой жизни. Бинокля жаль, но ничего не поделаешь.

Когда до нас дошло, что ничего не поделаешь, мы пошли на вокзал и купили билеты в Неаполь, благо деньги лежали у меня в сумке и уцелели. Поездка в Неаполь — моя идея. Очень хочется. И все время сверлит мысль: все, что отложено, отложено навсегда. Говорят, неаполитанские воры считают своих римских коллег сосунками. Прекрасная перспектива. Билеты взяли на среду, 13 октября. Выбора, в сущности, не было. 14-го — отъезд в Бостон, 11 и 12-го у Акивы лекции. Но и на этом наши воскресные приключения не кончились.

У нас дома нет телефона. Из университета Акива несколько раз безуспешно пытался дозвониться в Москву. Сегодня на вокзале из телефона-автомата дозвонились Ларе с первого раза. Сунули в автомат бумажку с непонятным названием «Магнитная карточка» и услышали Ларин голос.

Половина одиннадцатого вечера. За неимением привычного дивана Акива разложил свои бумаги на нашей кровати. Но это уже знакомые трудности.

12 октября. Рим. Накануне свет погасили после часа ночи. В три я проснулась. Лежала, закрыв глаза, и обдумывала, как спрятать деньги, билеты, ключи, когда поедем в Неаполь. И что-то меня все время цапало, какое-то непонятное беспокойство. На вокзале, купив билеты, мы тщательно все проверили: дату, время отправления, цену. Я удивилась, что дата продажи 11 октября, но подумала, что вечером в воскресенье кассир продал их завтрашним числом. Я твердо знала, что мы уезжаем 14-го, в четверг. В понедельник и во вторник, т. е. 11-го и 12-го у Акивы лекции. 13-е, среда — наш последний день в Италии. Я повторила про себя все эти расчеты, но беспокойство осталось.

Вдруг меня будто сдернуло с кровати. Я нашарила на полу прочитанную газету, вышла в кухню, посмотрела на день недели, число... Мы ошиблись. Вчера было одиннадцатое, а не десятое, уезжаем мы в среду, а не в четверг. В понедельник и вторник — двенадцатого и тринадцатого — лекции.

В пять утра я не выдержала и разбудила Акиву. К сожалению, моих знаний итальянского языка недостаточно, чтобы поехать на вокзал и вернуть билеты. И можно ли это в Риме? Никаких документов у нас нет. Свои паспорта мы отдали на хранение Диме Королюку. Когда Бог хочет наказать человека, он, как известно, лишает его разума. Акива много раз повторял, что мы улетаем 14-го, в четверг. Почему я ни разу не взяла в руки календарь? Гипноз авторитета.

13 октября. Рим, середина дня. Сегодня утром небо было празднично синим. Последний день в Италии. Ходили по квартире, по балконам — их у нас два на разные стороны. Как красиво даже на этой непритязательной улочке. Красивое небо, красивые пинии, большое фиговое дерево у балкона, пальма рядом. Не хочется уезжать. Очень не хочется уезжать. Вчера я все-таки возвратила билеты. Поехала с Акивой в университет, получила какую-то бумагу, с этой бумагой (вместо паспорта) отправилась на вокзал, произнесла там что-то на франко-англо-итальянском языке и получила деньги. Таков бесславный конец нашей неаполитанской авантюры. Помпеи мы так и не увидели.

После лекции Акивы Луиджи Аккарди, Акивин, так сказать, работодатель в Риме, повез нас к себе обедать. Луиджи, наверное, сорок с небольшим. Черноволосый, смуглый, в мятых брюках и жеваном пиджаке, он везет в Римском университете большой административный воз: организует, приглашает, публикует, устраивает и т. д. и т. п. Луиджи бывал у нас в Москве. С ним приятно разговаривать — человек он общительный, любознательный, ценит юмор. Учился в России, говорит по-русски и по-английски, как и его жена.

От метро мы ехали к нему домой на такси, что свидетельствует о высоком уровне благосостояния, так как такси в Риме очень дорого. Луиджи предупредил, что у него в квартире ремонт. Я пропустила его замечание мимо ушей и правильно сделала. Никаких следов ремонта в нашем понимании в квартире не видно. Кое-где сдвинута с места мебель, что-то прикрыто чехлами — это все. Но мы

вошли и ахнули. Дом, где живет Луиджи, стоит на холме. Из двух больших окон его квартиры виден вечерний Рим. От этого зрелища захватывает дух.

Обед отличался от обеда у Карло. Кормили примерно так же, но у Карло на столе стояла одноразовая посуда, а у Луиджи дорогой фарфор, и вода, неизменная спутница каждой еды на Западе, была не в пластиковых бутылках, а в красивом серебряном кувшине. У Карло хозяйничала жена, у Луиджи подавала на стол смуглая молодая женщина. Она делала это медленно и не очень умело, но старательно. Мне такое обслуживание казалось чем-то неестественным и малоприятным. Любопытно конечно, но очень уж непривычно, очень уж не соответствует представлению о домашнем обеде.

Как ни странно, в Италии и на таком уровне благосостояния люди живут трудно. Луиджи каждый день ездит в университет на двух автобусах (изредка на такси) и метро. Многочисленные административные обязанности не избавляют его от преподавательской работы и необходимости заниматься наукой. Жена Луиджи преподает физику. У нее усталое лицо, усталые глаза, хотя она еще молодая женщина. Уже несколько лет она безуспешно пытается найти работу в Риме, а пока езда на работу за город отнимает у нее полтора часа на машине в один конец. Ездит она всегда в часы пик, когда вести машину очень трудно. У них восемнадцатилетний сын. Пару раз ему удавалось получить стипендию на поездку в летнюю школу в США (он занимается то ли физикой, то ли математикой), но это только начало пути, а серьезное образование стоит в Италии очень дорого. На обеде присутствовал молодой американский математик с женой. Говорили, конечно, о России, но не только. У итальянцев и американцев много своих забот. Домой вернулись поздно, довольные, хоть и усталые. У Луиджи было интересно.

Сейчас около полудня. Акива скоро поедет в университет читать свою последнюю лекцию, а я отправлюсь к Лие Львовне Вайнштейн, о которой знаю только, что она очень старая, очень богатая и живет в особняке недалеко от той самой улицы Veneto, где протекала сладкая жизнь в одноименном фильме Феллини. Вчера с помощью жены Луиджи я до нее, наконец, дозвонилась. Мы привезли ей письма и книги из Бостона.

13 октября. Рим, вечером. Улица Венето мне не понравилась. Официальные здания, роскошные отели, шикарные кафе — улица богатая и безлика. Одно из самых больших официальных зданий занимает американское посольство. Подойдя к нему, невольно остановилась. И поняла, что смотрю на звездно-полосатое полотнище над входом. Зацепилась глазом за что-то знакомое на незнакомой улице. Что-то знакомое... Ирония судьбы.

По дороге к улице Венето нужно было пересечь площадь Республики. На площади все было очень живописно. В Италии сегодня всеобщая забастовка. Звучит грозно. Но Италия верна себе. Накануне по ТВ объявили, какое предприятие в какое время прекратит работу на 4 часа. Всеобщая забастовка по очереди, так сказать. На площади Республики толпы людей пели, смеялись, размахивали самодельными плакатами, а главное, свистели. Это вторая забастовка, которую я вижу в Италии. Первая была во Флоренции. И там, и тут участники забастовки почему-то дружно свистели в свистки вроде наших милицеских. Такой, наверное, тут обычай. Довольно обременительный для барабанных перепонки, надо сказать. Но никаких следов классовой ненависти на лицах забастовщиков я не обнаружила и совместить то, что я видела, со своими представлениями о забастовках, почерпнутыми, главным образом, из «Матери» Горького, мне не удалось.

Дом Лии Львовны Вайнштейн нашла легко. За глухим забором с нужным номером на калитке возвышался запущенный особняк, сохранивший следы былого величия. На мой звонок калитку открыла молоденькая белокурая итальянка, как-то мы с ней объяснились, и она провела меня в дом.

Большая комната. Потолки можно разглядеть, только сильно запрокинув голову. Углы комнаты разглядеть невозможно, так как в комнате полутемно. Люстра, размером с римский фонтан средней величины, погашена. Чуть светит торшер у небольшого дивана с шелковой обивкой. Перед диваном чайный столик, на нем расставлены вазочки с соблазнительными конфетами и орешками. К столу придвинута высокое старомодное кресло. Всю противоположную стену от пола до потолка занимает стеллаж с книгами. Штабеля книг громоздятся на полу.

Лия Львовна появилась довольно скоро. Тусклые седые волосы, поношенная юбка неопределенного фасона, шерстяная кофта не первой свежести, в руках тяжелая палка. Вместе с ней в комнату вошла молодая женщина с белой наколкой на голове. «Чай? Кофе?» — с порога спросила Лия Львовна. Я отказалась. (Зря, конечно.) По знаку хозяйки женщина ушла.

Родители Лии Львовны бежали из России в 1918 году, сохранив огромное состояние, которого хватило и на дочь. Лия Львовна родилась за границей, в России никогда не была, но дома говорили по-русски, и она хорошо знает язык. Много лет она работала журналисткой, добилась известности, и хотя в Риме живет уже давно, Россия — ее неизменная любовь, постоянная забота и тревога. У нее в доме много раз останавливалась Елена Боннэр, бывал А.Д. Сахаров. У нас оказалось не так мало общих знакомых. Я просидела у нее больше часа.

Лия Львовна спрашивала, как живут в Москве, что лучше послать из вещей и продуктов, расспрашивала о Горбачеве, Ельцине, Еvtушенко, Ю.Власове, книга которого «Огненный крест» лежала на полу рядом с ее креслом в большой стопке других книг, присланных из России. «Как можно такое писать!» — с презрением и негодованием сказала она об этом двухтомном труде. Стремительная в суждениях, умная, интересующаяся всем на свете и знающая, кажется, все на свете — разговаривать с ней было легко и интересно, не хотелось уходить. Тем не менее пришлось, так как единственный ключ от квартиры был у меня.

Но Рим — это Рим. Выйдя на улицу Венето, я увидела, что она упирается в старую стену с воротами. Не удержалась и вошла. И оказалась на вилле Боргезе. Вернее, в окружающем виллу прекрасном парке с великолепными деревьями, фонтанами, памятниками и старинными постройками. Из-за позднего времени попасть в картинную галерею Боргезе не удалось. В виде некой компенсации полюбовалась памятником королю Рима Умберто. Высокий постамент в форме усеченной пирамиды. Передний правый угол стесан. На этой добавочной грани большой барельеф: склоненная в горе женщина. Левая грань пирамиды тоже украшена барельефом, но многофигурным и воинственным. На постаменте Умберто верхом на ло-

шади. И конь хорош — гордый, могучий, и Умберто не хуже: воистину король.

К сожалению, быстро темнело, ходить одной по парку стало неприятно да и бессмысленно. Вернувшись на улицу Венето я сделала ошибку. Увидела эскалатор, решила, что попаду в метро и быстро доберусь до вокзала, но попала не в метро, а в подземный город, большой и малопривлекательный. Облупленные стены, лохмотья афиш, роскошные магазины — в витринах шикарные машины, украшения, бюстгальтеры, — спуски, подъемы, переходы, арки, кафе, пивные... Казалось, я никогда оттуда не выберусь. Выбралась, в конце концов, и даже приехала домой раньше Акивы. Последний вечер. Грустно пили чай. Прощай, Италия.

14 октября. Самолет Рим—Бостон. Без десяти минут двенадцать. Наши кресла у двери. За спиной: «Добрый день, сеньор, вам туда. Добрый день, сеньора, вам сюда. Добрый день... Добрый день... Добрый день...» Через десять минут должны взлететь. Прощай, Италия. Стыдно, но хочется плакать. Спала часа три-четыре. Встали в половине седьмого утра. Заказали нам такси в университете или нет, неясно. Ехать на автобусе до вокзала, где большая стоянка такси, страшно. Страшно набитого автобуса, непонятно, как в него сесть с нашими вещами — книги! материалы для лекций! — непонятно, что украдут по дороге.

Я очень нервничала. Держа в руках русско-итальянский и итало-русский словарики, Акива спустился вниз к соседям. Довольно скоро он вернулся и сказал, что соседки вызвали такси по телефону и машина уже стоит у двери. Мы стащили чемоданы вниз. Женщины из соседних квартир — одна с ребенком на руках — бурно желали нам счастливого пути и махали руками. Происходило все это, между прочим, в восемь часов утра. Таксист, конечно, содрал с нас не так мало лишних тысяч лир, но мы добрались до аэропорта заблаговременно. Хватило времени позвонить в университет, купить Няме интересную марку и даже выпить кофе. Сидим в самолете, ждем вылета. Прощай, Италия.

Ньютон, 14 февраля 1993 г.

ДНЕВНИК 2 января. Странный новогодний вечер. Не потому, что первый в Америке. Из-за разговоров. В компании пожилых эмигрантов, давних и новых, оказались гости — молодая пара из Москвы. Михаил, преуспевающий в Москве деятель, ошеломил всех.

Не успехами, хотя он филолог и преуспеть на этом поприще труднее, чем на других. Ошеломил взглядами. Свобода мысли и слова для Михаила — данность. Бесплодность предыдущего поколения и предыдущего этапа истории — нечто само собой разумеющееся. Что сделали диссиденты? Горстка людей вышла в августе 1968 года на Красную площадь. Есть о чем говорить! Уничтожение всего, всех и вся не коснулось еще, кажется, только Сахарова. Но Солженицын уже «сброшен с корабля современности». «Бодался теленок с дубом» — книга лживая. «Один день Ивана Денисовича» написан плохо. «Архипелаг ГУЛАГ» — еще хуже. Сам Александр Исаевич просто конъюнктурщик, в том смысле, что его идеи уже носились в воздухе, и он только перенес на бумагу нечто общеизвестное.

Изречения Михаила казались настолько дикими, что некоторое время все молчали. Можно не разделять взглядов Солженицына-публициста, Солженицына-историка, не любить Солженицына-писателя, но не понимать, что он сделал для России и мира, написал «Архипелаг ГУЛАГ», кажется, невозможно. Хотя бы потому, что, говоря о России XX века, без упоминания этой книги теперь мало кто обходится. Но вот, оказывается, возможно. Для поколения Михаила слова «Архипелаг ГУЛАГ» утратили цвет крови и запах смерти, а автор, давший им жизнь, из подвижника превратился в мало интересного писателя. И произошла эта метаморфоза за какие-нибудь десять лет. Михаил родился в начале 60-х, творческую жизнь начал в 80-е годы, сейчас 90-е.

Михаил поразил нас, а мы его. Такого яростного, обоснованного и дружного отпора он не ожидал. Привыкнув к положению общепризнанного авторитета, он оказался в положении нерадивого ученика, которого публично высекли за недобросовестно выученный урок. Разошлись, вернее разъехались, под утро.

10 января. Няма поет «Чижика» на американский манер: «Чижик, пыжик, где ты был? На фонтане воду пил».

28 января. Кончила первый том воспоминаний Александра Бенуа. Подхожу к концу мемуаров Эмы Манделя. Интересные эти книги чужие и чуждые друг другу. Воспоминания Бенуа — широкая полноводная река. Волны повествования плавно катятся от верховьев, где она возникает из разнородных ручьев, до самого устья, где, сохраняя свой цвет и характер, она выплескивается на широкий морской простор. Так много на этой реке манящих островов, так живописны ее берега, что месяцами можно плыть и наслаждаться дарами тонкого ума, широкой души и безукоризненного вкуса автора. Том воспоминаний Бенуа — дитя радости: радости творчества, радости созидания. И сколько бы не было в нем горестных страниц, солнечного света все равно больше.

Мемуары Эмы Манделя — река-страдалица. Ее тяжелые струи растекаются куда глаза глядят, то крутятся в водоворотах, то одолевают завалы на неудобном каменном ложе. Ни плыть, ни вброд перейти. Но и расстаться трудно, потому что мемуары Эмы — плод скорби. Об ушедшей жизни, о гнусном времени, в котором досталось жить. Скорбь — их мать. Их отец — пепел. Пепел Клааса. Доискаться до правды, рассказать правду, ничего, кроме правды, вновь и вновь пытается Эма. Читаешь, будто принимаешь тяжелые роды. Слова, мысли корчатся в схватках, стоны, пот. Какие уж тут красоты и радости.

Вторая часть итальянского письма подходит к концу. Иногда хочется избавиться от этой ноши. Но она для меня и кнут и пряник. Больше трех месяцев я держусь за это письмо, как за перила. А дальше?

14 февраля. Сегодня кончила итальянское письмо. До родов Юли осталось около месяца.

ПИСЬМО В МОСКВУ

Безумная неделя, или рождение внука.

12—20 марта 1993 г.

В пятницу 12 марта во время уютного, изысканно красивого и вкусного обеда у старых наших друзей хозяин дома сказал, что завтра ему придется встать в пять утра, так как участники семинара, которым он руководит, съехались издалека и им нужно освободиться часам к десяти утра, чтобы успеть вернуться домой до того, как на Бостон обрушится снежная буря. К прогнозам погоды я привыкла относиться иронически и про снежную бурю тут же забыла. Суббота началась безмятежно. За окном редкие крупные снежинки с достоинством опускались на землю. Я долго лежала в кровати, смотрела на них и гадала, удастся ли уговорить Акиву доехать до парка и часок покататься на лыжах. Но когда мы сели завтракать, за окном уже бушевал ветер и валил густой снег. Звонок Майи Туровской раздался неожиданно. Я была уверена, что аэропорт закрыт и Майя не прилетит. Но Майя вылетела очень рано и успела не только прилететь в Бостон, но и добраться до своей приятельницы Лиды, хотя по Бостону ее везли уже с риском для жизни: в городе бушевал ветер, лохматые темные тучи металась в безумном танце, улицы топились в снегу. Мы поговорили по телефону, о встрече не было и речи, хотя обе очень ее ждали.

Весь этот день я со страхом поглядывала на Юлию. Ей вот-вот рожать. Что если... Но обошлось. К вечеру буря стихла, снегопад прекратился. Воскресное утро выдалось хрестоматийное: «Мороз и солнце, день чудесный...» Невинное голубое небо, снег искрится на солнце, красиво, нарядно, празднично. Правда, из трех входных дверей нашего дома открыть удалось только одну. Улицы превратились в глубокие траншеи. А что если Юля... 14-е число, ей велено явиться в больницу 16-го.

После долгих переговоров сын Майиной приятельницы привез Майю к нам. Несколько часов просидели втроем. Сбивчивый, бестолковый разговор — вместить прошедший год в несколько часов было трудно и ей, и нам с Акивой. Около 6 вечера приехал Юра Тувим. Он с женой Марусей и дочкой Сарой и мы с Акивой давн

были приглашены на этот вечер к Норе, Юриной знакомой с московских времен. По пути к Норе Юра отвез Майю домой. Едем молча, я неотрывно смотрю в окно. Как странно выглядит Бостон. Ясное темно-синее небо с крупными звездами, улицы, вдруг ставшие вдвое уже из-за высоких сугробов и погребенных в снегу машин на обочинах — фантастический город.

А у Норы — блины! Обычные московские блины времен застоя, и Юра весь вечер ворчит, потому что Нора не приготовила растопленного масла. Вернулись рано: в понедельник всем на работу. По понедельникам Няму из школы забирают Мишины родители — Инна и Юра, или Шерманы-старшие, как мы их часто называем, и я заранее радовалась, что весь этот день проведу с Майей. Но в понедельник 15 марта — годовщина: ровно год со дня нашего приезда в США — около половины девятого утра Няма прыгнула к нам в кровать и радостно объявила, что из-за снегопада занятия в школе отменили. В эту небывалую для Бостона снежную зиму занятия отменяли уже несколько раз. Первая мысль: полетело свидание с Майей. Вторая — где Юля? Накидываю халат и, проклиная нашу крутую лестницу, бегом спускаюсь в подвал. Юля полулежит в кресле. Миша уже кое-как отгреб от двери обледеневший за ночь снег и выбрался из подвала на нашу горку. У Юли нехорошее лицо: бледное до синевы, нос заострился. Осторожно спрашиваю, стоит ли идти на работу. Подстегнутая моим вопросом, Юля рывком встает, протискивается в дверь, делает несколько шагов... и возвращается в подвал. Я смотрю снизу, как тяжело она поднимается по лестнице. Миша тоже возвращается, помогает Юле лечь. Мы все понимаем, что началось. Но Миша, в отличие от меня, считает, что времени еще сколько угодно. А мне страшно: вторые роды часто бывают очень быстрыми.

Няма чувствует, что всем не до нее, ей не хочется сидеть дома. Миша говорит, что отвезет ее к Оле (сотрудница его лаборатории, наша соседка), от Оли заедет в аптеку за эластичными бинтами и вернется домой. Мы с Акивой остаемся дома. И вдруг крик. Тонкий пронзительный крик. Вбегаю в спальню. Юлька лежит, закинув голову, глаза закрыты, рот оскален. Лежит молча. Схватка была короткая. Бросаюсь к телефону. У Оли Миши уже нет, только что уехал. Акива бежит на улицу в надежде его перехватить. Поздно, не успел.

Проходит пять минут, десять, пятнадцать — крик! Детский жалобный крик-вой: «Миша-а-а!» Долгая схватка. Юля катается по кровати. Наконец отпустило и, слава Богу! приехал Миша. В больницу, скорее в больницу! Как Миша довозит Юлю по узким обледеневшим улицам, где каждый разъезд — чудо и Божья милость? Юля спускает ноги и... Долгая мучительная схватка. «Скорую помощь!» Немедленно! Миша звонит в полицию*. Снова схватка, через пять минут после предыдущей. Акива выбегает на улицу, чтобы показать, как к нам пройти. Снег! Мы завалены снегом! Во время следующей схватки появляются четверо полицейских. Главный, с рацией в руке — типичный герой боевика. Про таких говорят: «Статный мужчина средних лет с мужественным обветренным лицом». Он спрашивает, как часто наступают схватки, и тут же передает что-то по радио. Почти мгновенно во время очередной схватки появляется медсестра. Черные прямые волосы, смуглые лицо и руки. Мексиканка? Пуэрториканка? Она прогоняет мужчин, влезает с ногами на кровать, где корчится и кричит Юля, ловко укладывает ее на спину и объясняет, как дышать: «Джулия, слушай меня внимательно, я сама только что родила ребенка, слушай меня внимательно», — твердит она. Снова входят полицейские. Старший спрашивает у меня Юлину фамилию. Не могу сообразить, кто она — Шерман? Яглом? Выручает Миша. Юлина фамилия по-прежнему Яглом. Они с Мишей до сих пор не поженились: некогда, хлопотно, дорого. Но у них общий банковский счет, который в Америке вполне заменяет свидетельство о браке в тех редких случаях, когда недостаточно слова и нужна бумажка.

Юлю сажают на стул. Полицейские доносят ее до террасы, где уже стоят носилки на колесах, так как за это время четверо других полицейских из второй машины, вызванной старшим, открыли дверь с террасы в сад и расчистили дорожку от двери дома до лестницы, по которой можно спуститься на проезжую часть улицы. Юлю укладывают на носилки, пристегивают ремнями и везут к машине «скорой помощи». Я иду рядом и... бегу по улице Дмитрия Ульянова. Они посадили Акиву на стул, но отказались донести до лифта. Остнавливаю всех прохожих подряд и повторяю одно и то же: «Ин-

* В любом случае, когда нужна срочная помощь, здесь прежде всего звонят в полицию. Все полицейские, кстати, умеют принимать роды.

фаркт. Помогите донести до лифта. Совсем немного. От лифта до машины. Совсем немного». Двое мужчин входят со мной в комнату. «А как со стула в машину поднимем? Двоих мало». Кто помог во дворе поднять Акиву в машину, не помню. Не помню, как вытащили носилки в приемном покое. Но лицо Акивы отчетливо стоит перед глазами. Я смотрю на него, не отрываясь, и вижу, как носилки с Юлей вкатывают в машину «скорой помощи». Внутри машины по стенкам тянутся какие-то трубки, стоят приборы. Поехать с Юлей может только один родственник. Я рада, что поедет Миша. Я больше ничего не могу. Даже подняться на нашу горку. На узенькой улице Рипли, из-за снегопада ставшей еще уже, стоят две машины «скорой помощи», две полицейские машины, машина Миши. Как они разъедутся? По воздуху? Старший полицейский что-то говорит, взмахивает рукой. Не знаю, сколько прошло времени. На улице мы с Акивой одни.

Дома тоже одни. Телефонный звонок. Далекий, глухой, незнакомый голос: «Юня Самуиловна, Юлька родила мальчика. Да, все в порядке. Видел обоих». Машина довезла Юлю до больницы за четыре минуты. В обычных условиях на это нужно минут 20—25. До родилки Юлю не донесли. Она родила в ближайшей свободной палате. Миша не присутствовал при родах, как это здесь принято. Он ехал между машинами «скорой помощи» и приехал вместе с ними, но пока парковал свою машину, Юля уже родила. Мы с Акивой растерянно сидим на кухне. Недолго. Повседневная рутина — хороший поводирь. Акиве в субботу уезжать, его статья еще не перепечатана. Надо ехать в МТИ. Посреди сборов звонок. Беру трубку. «Мама, все в порядке», — звонкий обычный — обычный! — Юлькин голос. Мои бестолковые вопросы, Юлькины вполне толковые ответы...

Я отвезла Акиву в МТИ, заехала за Майей и привезла ее к нам. Майя сказала, что ей надоело жить в функционально организованном пространстве кампуса: корпуса учебные, корпуса жилые, торговый центр, шоссе вместо улиц. Хочется увидеть город. Мы сели в метро и поехали в центр Бостона. Долго бродили по пешеходно-торговым улицам. В центре Бостона они пестрые, нарядные и называются по-человечески: Зимняя, Летняя, Хлебная, Молочная. Разглядывали огромное здание банка из какого-то удивительного зеле-

ного стекла. «Знаешь, какое здание было раньше главным в городе? — спросила Майя. — Храм. А теперь? Банк». Зашли в «Макдональд» выпить кофе и просидели несколько часов. Миша и Акива были уже дома, когда мы вернулись. Приехали Шерманы-старшие, вместе пообедали, выпили за нового члена семьи, которого видели уже все, кроме нас с Акивой, и Юра Шерман отвез Майю домой.

Как только они ушли, мы заметили, что дома очень холодно. Миша спустился в подвал, покрутился вокруг остывшего бойлера и попросил меня утром позвонить хозяйну дома. Так прошел понедельник. Но была еще ночь с понедельника на вторник. На улице -10°C , в доме... У нас в доме нет градусника. Сколько было градусов, не знаю. Я спала в шерстяном белье под двумя одеялами, замотав голову теплым шарфом. Во вторник утром позвонила Юля, сказала, что вернется в среду. Я обрадовалась — есть день, чтобы привести дом в порядок. Акива с утра очень нервничал, так как в понедельник секретарша не вышла на работу и, соответственно, ничего не сделала. Я довольно рано отвезла его в МТИ и вернулась домой. Утро было суматошное, ездить по городу трудно. Я вернулась усталая и решила, что сначала выпью чашку чая, а потом возьмусь за уборку. Машинально пощупала батарею. Холодная. Утром я дозвонилась хозяйну, он обещал прислать мастера, но мастер не появился. Нет отопления, значит, нет горячей воды. А как же стирка? Звонок. Инна Шерман: «Юнечка, радость. Юля вернется домой сегодня вечером!» Черт с ней, со стиркой, полы можно помыть холодной водой, главное — пропылесосить. Включаю пылесос. Не работает. Сломался именно сегодня. Ладно, как-нибудь уберу. Выпью все-таки раньше чаю. Так, плита тоже не работает. Тогда все понятно. Снежная буря. В Массачусетсе тысячи домов остались без электричества. Немедленно позвонить, задержать Юлю с малышом в больнице. Господи, раз нет тока, телефон, наверное, тоже не работает? Конечно. В трубке тишина.

Няма пришла из школы мокрая до нитки. Наелась снега, ползала по сугробам. «Юня, я замерзла. Можно я залезу в горячую ванну?» Передела, чем-то накормила. Что делать дальше? Решила дойти с ней до нашей центральной площади: вдруг там работают телефоны-автоматы. И в это время дали свет. Хватаю телефонную трубку, звоню Шерманам, прошу вызвать аварийную техпомощь. Гово-

рю, что я пока позвоню Юле (в палате телефон стоит на тумбочке рядом с кроватью) и попробую уговорить ее остаться в больнице еще на день. Только положила трубку, звонок: «Мама, где вы все пропадаете? Я очень беспокоюсь». Объясняю, что делается дома, прошу задержаться. Юля огорчена. «Сейчас придет Миша, я подумаю». Кладу трубку и слышу громкий стук в дверь. Бегу в подвал. Пришел мастер: «Я вам много раз звонил, никто не подходит к телефону. Приехал на всякий случай». Бегу вверх, где разбивается телефон. Юля. Миша поехал домой, не заезжая к ней. Краткая инструкция, какую одежду ему дать.

Поразила Няма — работала, как большая. Мы с ней все убрали и пропылесосили. Миша приехал, когда я домывала полы в кухне. Потом добрался до дома Акива. Потом приехали Шерманы с Катей. Потом Юра Тувим привез роскошную детскую кроватку и успел собрать ее к приезду Юли. За вечерним чаем нас было десятеро, включая нового члена семьи. Юля сияла, младенец спал, Няма не отходила от него ни на шаг. А ночь была тяжелая. Молоко не пришло, маленький, видимо, хотел есть, при каждом его писке Няма пролиwała горькие слезы.

В среду Акива кипел с утра — статья не готова. До субботы три рабочих дня. Ситуация, действительно, тяжелая. Утром ему нечего делать в МТИ. Все, что секретарша перепечатала вчера, он вчера же просмотрел и поправил. Раз так, едем в полицию. Нам нужно снять отпечатки пальцев, чтобы подать документы на получение грин-карты. Это тоже срочное дело. Новый для меня маршрут, но несложный. Добираемся без приключений. Благообразный каменный особнячок. В окошке сугубо цивилизная женщина с улыбкой просит нас подняться на второй этаж. Поднимаемся. В комнате несколько бравых полицейских. «Из Москвы? Что там у вас делается? Все хотят свободы. Только получают свободу, государство идет прахом. Люди думают, раз свобода, можно стрелять друг в друга. В Югославии то же самое. Никто не хочет соблюдать законы. Все хотят свободу». Расспрашивают с любопытством, дружелюбно. Сняли отпечатки, выдали по пакетику с влажной салфеткой, чтобы вытереть руки, взяли по пять долларов с носа — все за несколько минут.

Вечером к Юле и Мише пришли гости, но мы сидели у себя.

Акива мрачно читал газеты, я что-то писала. В ночь со среды на четверг снова выпал снег, и Акиве пришлось утром поехать в МТИ самому. Дорога на машине занимает минут 25, на метро с пересадкой — около часа. Статья не готова. Напряжение становится все мучительнее. Ритм жизни тот же. Завтра у меня урок с Рэйкел. Час я занимаюсь с ней русским языком, час мы говорим по-английски. Уроком этим я очень дорожу. У меня мало возможностей говорить по-английски, а с Рэйкел к тому же интересно разговаривать. Она хорошо знает древние литературы, археологию, психологию, социологию. У нее нестандартная биография: родилась на Тринидаде, отец англичанин, кто мать, не знаю. Училась в Англии, но уже лет 20 (ей сорок) живет в США. С мужем разошлась, двое взрослых детей — дочь в Англии, сын здесь. У нас много общих интересов, и это облегчает вторую, английскую, часть урока, хотя и эту часть я всегда заранее продумываю и даже составляю план. К первой же тщательно готовлюсь, так как русский дается Рэйкел с трудом, и только в последнее время она начала делать успехи.

Просидев за подготовкой к уроку часа два, я поехала к Майе. Застала ее уже одетой. Ждем вместе женщину со странным именем Вида. Она преподаватель факультета славистики в Тафт университете, ее усилиями организована лекция, которую Майе предстоит прочесть. Майя встревожена, но держится безукоризненно. Сколько лет я ее знаю, столько не перестаю ей удивляться. Больная (часто), здоровая (реже), в радости, тревоге и тоске, она всегда полна новых планов и замыслов. И как только они рождаются, некий участок ее мозга переключается на обдумывание практических возможностей их осуществления. Кажется, что Майина голова — это бесперебойно работающий генератор творческих и деловых идей. Сейчас она читает в Дьюк университете (откуда прилетела в Бостон) семестровый курс «Кино тоталитарных государств» (СССР и фашистская Германия). Пользуясь пребыванием в университете, она пересмотрела на видеокассетах всю американскую киноклассику. Сопоставление американских и советских фильмов кажется ей интересным и многообещающим. Американские слушатели ее курса видят в советских фильмах, которые она им показывает, совсем не то, что видим в них мы. Классифицировать расхождения,

осмыслить их и объяснить — другая задача, которая сейчас ее увлекает*. А есть еще задуманные прежде книги, выставка «Берлин—Москва» и т. д. и т. п.

На лекции в Тафте присутствовало человек 20 студентов разных стран и народов. В черной юбке и блузке, с красивой цепочкой на шее и не менее красивыми серьгами в ушах, Майя выглядела как всегда эффектно и элегантно. Она извинилась за свой английский и, сидя на стуле с пюпитром, прочла заранее написанный и переведенный текст лекции о сталинском и гитлеровском кино. Вождь-полу-бог, обожание толпы, искупительная жертва во имя торжества Дела, образ врага (шпиона), образ положительного героя — все эти непреходящие составляющие искусства той эпохи Майя не только четко выделила и указала, но и показала в тщательно подобранных отрывках из немецких и советских фильмов, удивляющих сходством столько же, сколько различиями. Слушали внимательно. Все, что Майя говорила и показывала, было убедительно и интересно. Интересной была и общая беседа с преподавателями факультета после лекции.

Из университета Вида отвезла нас с Майей к Лиде, Акива приехал к Лиде прямо из МТИ. Лида устроила красивый ужин. Был ее сын, еще кто-то, получилось вполне московское, вернее старомосковское, застолье. Мы с Майей долго прощались, стоя у лифта. На следующее утро она улетела.

В пятницу я снова отвезла Акиву в МТИ, потому что перепечатка статьи все еще не была доведена до конца. Акива совсем извелся за эти дни. Секретарша никогда прежде не печатала математических текстов, она делала множество ошибок, в компьютере не оказалось нужных символов — полная неразбериха. Возвращаясь из МТИ, я подъехала к дому одновременно с Рэйкел. Урок начался на улице. Рэйкел уже может... не говорить, конечно, но хотя бы отвечать на вопросы. Мои успехи куда более скромны. В предложениях и артиклях я по-прежнему часто ошибаюсь.

В конце дня Акива вернулся домой наконец-то со статьей. К его

* В «Новом русском слове» от 27 июня 2001 г. прочла заметку «Третий фестиваль русских фильмов в Нью-Йорке обещает быть». В ней сообщается, что на фестивале будет показана подборка советских и американских фильмов 30—40-х годов, составленная киноведом Майей Туровской.

приходу я сложила вещи, и мы перевели дух. Все эти дни я почти не видела маленького, да и Юлю с Мишей тоже, не говоря про Няму. Вечерами, когда я появлялась дома, у них сидели очередные гости, утром и днем не давали разогнуться неотложные дела. Наконец передышка.

Около семи вечера приехали с подарками и цветами Юра Тувим с американской женой Марусей и американо-еврейской дочкой Сарой. Няма и Сара дружно играли, маленький спал, мы спокойно пили чай. Юра увез своих рано — у него в семье режим соблюдается неукоснительно, не то что у нас. В субботу 20-го марта мы с Акивой вышли из дома около 10 утра. Благополучно доехали на метро до аэропорта, попрощались, и я вернулась домой. Присела к столу, хотела что-то записать. Очнулась часа через полтора на кровати — в юбке, свитере и туфлях. Села за стол и написала: «Безумная неделя, или рождение внука».

Ньютон, 27 марта 1993 г.

P.S. Маленькому сделали обрезание. Его зовут Леви-Натан.

ДНЕВНИК 10 июня. Вчера была у Юли. Перед уходом зашла к Левке в комнату попрощаться. Он лежал на кровати и читал «Пеппи Длинныйчулок». Увидел меня, положил палец на строчку, где остановился.

— Я прочел две страницы, но я теперь каждый день читаю три.

— «Пеппи» большая книга. Сколько ты уже прочел?

— Сейчас посмотрю. Юня, ты знаешь, я уже прочел 44 страницы.

— Сам?

— Нет, сначала мама прочла несколько страниц, чтобы мне стало интересно.

— Теперь интересно?

— Да, интересно.

Левке семь лет. Хорошо говорит и читает по-русски. Говорит по-английски, начал читать. Учится в еврейской школе, знает иврит. Взрослый мальчик. Бег времени... Кажется, только вчера выучил русские буквы, читал «Буратино» по несколько строчек в день.

Совсем недавно мы разговаривали с ним про стишок Чуковского:

Курица красавица
У меня жила.
Ах какая умная
Курица была!
Шила мне кафтаны,
Шила сапоги,
Сладкие румяные
Пекла мне пироги.

— Лева, что такое кафтан?

— Майка такая.

— Что такое сапоги?

— Тапки такие.

Рассказала Левке сказку: «Жила-была девочка Няма. Она очень хотела, чтобы у нее был братик. Она попросила маму...»

Голодный Миша пришел с работы. Сидит, ест суп. Левка крутится рядом, мешает. Чтобы его унять, прошу Левку рассказать папе новую сказку.

Левка охотно соглашается.

— Жила-была девочка Няма, — начинает он. — Она очень хотела братика. Попросила маму, а...

— А маму как звали? — перебивает Миша.

— Маму звали Юля, — продолжает Левка. — Мама родила братика Леву. Он был совсем маленький, вот такой. — Левка растопыривает большой и указательный пальчики. Миша поднимает голову от тарелки.

— Может быть, все-таки такой? — Показывает руками.

— Нет, такой, — стоит на своем Левка. — Но он пил молочко и стал большой.

— Понятно, — говорит Миша. — Как же звали папу этого мальчика?

— А папа был на работе, — отвечает Левка.

Леве семь лет. Его новорожденному брату через четыре дня исполнится месяц. Малыша называли Шимон Эзра. Мы почтительно называем его Шимон Эзравич, а попросту Сеня. Я беру его на руки, он перебирает ножками, вертит головкой, пытается сосать мою блуз-

ку. Я прижимаю его к себе и вижу, как он бежит по траве, быстро, быстро. Бегу за ним и не могу догнать. Его мне уже не догнать. И сказки я уже вряд ли буду ему рассказывать. Бег времени...

Но сегодня, пока еще есть силы, я возвращаюсь в Ньютон.

ДНЕВНИК
Ньютон, 1993

23 мая. Утром поездка в МТИ. Все еще надежда — вдруг взяли, приняли, заплатили... Мои наболевшие наставления: «Скажи ему... Ведь ты...» Все те же ответы Акивы: «Да, да, я понимаю...» Остановилась у подъезда МТИ, благополучно развернулась в первой боковой улице — слава Богу, научилась! — обратный путь.

Сапожная мастерская рядом с магазином. В магазин надо бы зайти. Достая кошелек. Тридцать долларов. Нет, сначала в мастерскую. Чистый, аккуратный полуподвал. На прилавке колокольчик. Рядом записка: «Для вызова мастера звоните». Звоню. Из задней комнаты выходит пожилой мужчина. Опрятная ковбойка, усталое лицо, натруженные руки. «Двадцать долларов», — говорит он и ставит на прилавок две пары починенных туфель Акивы. Пугаюсь, как ребенок. Тону в жалкой растерянности и машинально сжимаю в руках кошелек. Он понял. «Что же вы не спросили, когда отдавали? Ладно, пятнадцать». Двадцать долларов — небольшие деньги, но для меня это целое состояние. Пятнадцать я тоже не имею права истратить. Почему не спросила?! Ответ я знаю — постеснялась. Плачу пятнадцать долларов, беру туфли и уезжаю. О магазине не может быть и речи.

Юля уже одета. На ходу сую ей банан. Левка спит. Грязное белье стаскиваю в подвал и бросаю в стиральную машину. По крутой лестнице из подвала поднимаюсь, конечно, не без труда, но гораздо легче, чем в первые дни. Привыкла. Няму из школы заберут Шерманы, обед можно не готовить, обойдемся тем, что есть в холодильнике. Левка мало спит между дневными кормежками. Меняю подгузники, ношу на руках. Юля приезжает на пятнадцать минут. Обычный конвейер. Я кормлю ее, она кормит сына. Передышка. Юля уехала, Левка спит в саду. Приношу на террасу магнитофон, пьесу Олби

«Хрупкое равновесие», словари, тетрадь. Читаю, слушаю, глядя в книгу, без книги. Поможет мне это понимать устную речь? Не знаю. Слух падает. Еще тревожнее, что падает способность «узнавать» слова даже по-русски. Пьеса интересная. Пулитцеровская премия 1967 года. Читают Кэтрин Хэпберн, Пол Скофилд и другие. Трагедия старости, трагедия бесплодной жизни — ничего не удалось, ничто не свершилось. Трагедия молодости — одиночество, бесприютность. Всем плохо, как всегда у Олби. Слова: «В старости мы становимся аллегорией самих себя» удивили неожиданностью и меткостью.

Акива вернулся рано, огорченный. Очередные переговоры кончились ничем. Похоже, что обещающее начало привело в никуда. О зарплате нет и речи. Нет речи даже о том, чтобы заплатили за прочитанные лекции. Зато предупредили, что с кабинетом придется расстаться, так как он нужен начальству. Может быть, подыщут другой, а может быть...

Во мне кипит бессильный гнев. Как им не стыдно! Он столько сделал за свою жизнь. Их студенты и профессора до сих пор пользуются его книгами. Он ведь беззащитен. Он здесь чужой. Он старый. Как им не стыдно! Что же защищает нас в старости, кроме нажитых денег? Акива прожил на зависть плодотворную жизнь. Много успел, много сделал, добился признания и... И починка ботинок — непозволительная роскошь. Стыдно перед Юлей, перед Машей. Попирающие родителей на глазах у детей. Впервые страшно. Нет времени. У нас нет времени. Мы старые. Мы опоздали. Не могу заставить себя в это поверить. Надо заставить? Не верить? Но это уже ночные мысли.

В постели, как часто в последнее время, просматривала «Новое русское слово». Прочла большую гневную статью Татьяны Менакер об эмиграции: о тщете надежд, горечи разочарований, о бесплодности усилий влиться в чужую жизнь.

Чтобы успокоиться, взяла томик пьес Максуэла Андерсона. Накануне прочла первый акт «Тысячи дней Анны Болейн». Второй акт, пожалуй, еще сильнее. Рассуждения Томаса Мора о бессилии справедливости, смерть Анны, пережившей гибель всех своих надежд, судьба Англии... Пьеса настоящая. О том, что по-настоящему важно. Спала часов пять-шесть.

НЕ НАПИСАННЫЕ РАССКАЗЫ

Победители? Побежденные?

1. Серо-синий дом

Чистенькие зеленые улицы — трава, деревья, кусты. Белые одностажные домики в стиле ранчо, как их здесь называют. На пригорке удивительное дерево: высокий серебристый ствол, тонкие ветви, униженные нежно-розовыми цветами, опущены, как у плакучей ивы. В шатре из ветвей сидит на стуле дедушка с палочкой. Орлиный еврейский нос, лучистые глаза, едва заметная насмешливая улыбка.

За деревом дом, но не белый, как все кругом, а благородного тускло-синего цвета. Крохотная передняя — роскошь в Америке, где с улицы входишь обычно в гостиную или в кухню. Большая вытянутая в длину гостиная. Стол, красивые стулья. Нарядная кухня-столовая, несколько спален, кабинет, две ваннные комнаты. В стенных шкафах висит одежда, на стенах картины, фотографии, на письменном столе, на тумбочках у кроватей лежат книги — дом живой, но безлюдный.

Кроме нас здесь два агента по продаже: один со стороны покупателей, другой — продавцов. Да, этот дом продается. Юля и Миша хотят его купить. По пустым комнатам, полным жизни, чужой, но ощутимой, продолжающейся и уже оборванной жизни, ходим мы, не имеющие к этой жизни никакого отношения. Кто-то шутит: «А дедушка тоже продается?» Кто-то отвечает: «Какая ерунда! Молодые, видно, куда-то уехали. Старик получит кучу денег и будет жить припеваючи в доме для престарелых». Молодые куда-то уехали... припеваючи в доме для престарелых...

Теплый солнечный день. Мне почему-то холодно.

2. Вита

*Хорошо прожитый день превращает
каждое вчера в память о счастье и
каждое завтра в видение надежды.*

Санскритская поговорка

Встретились с Лелей на углу Гарвард-стрит и Бикон, или улицы Маяковского, как называют ее эмигранты («Бикон» — по-английски

ки «маяк»). «Вита, Юня, Акива», — познакомила нас Леля с женщиной, у которой остановилась. Мы собирались погулять с Лелей, но она забыла куртку, а погода испортилась. «Давайте вернемся», — сказала Вита, — дом рядом, посмотрите, как я живу». Звучный голос, в глазах искорки, знакомое — знакомое? — лицо. Через несколько минут мы уже стояли перед массивным многоэтажным зданием.

Темно-коричневый камень, зеркальные стекла, подъезд заперт. Сухощавый высокий мужчина в строгом костюме, узнав Виту, приветливо улыбается, с достоинством открывает перед нами дверь. Просторный вестибюль с огромным эркером, ноги тонут в ворсистом ковре. Цветы, много света. Свет льется из окон и откуда-то сверху. Мы стоим на дне глубокого колодца, в одной стене которого бесшумно движутся лифты. Поднимаемся на седьмой этаж. Ковры, цветы, свет. Поблескивает металлическая баллюстрада. Внизу под нами вестибюль, откуда мы поднялись. Высоко над нами стеклянный свод.

Небольшая передняя перетекает в гостиную-зал со стеклянной стеной, за которой тянется просторная лоджия. Часть одной из стен сложена из кирпича. Здесь камин, действующий. Хорошее пианино, книжный шкаф, разумеется, журнальный столик, телевизор и прочее. В двух боковых стенах гостиной двери в две спальни, при каждой ванная комната. В одной из спален стенной шкаф, куда можно войти и, обозрев весь свой гардероб, развешенный на плечиках, выбрать, что тебе нужно, не выкручивая рук. Большая кухня-столовая, стенной шкаф-чулан со стиральной и сушильной машинами. Из окон прекрасный вид на крыши и деревья, благо вокруг коричневого великана стоят дома-карлики в три—четыре этажа. В зеленом дворе большой плавательный бассейн для тех, кому посчастливилось жить в этом доме. Все удобно, все красиво, все радостно.

Я не удержалась и задала неприличный в Америке вопрос, сколько стоит квартира. По здешним ценам недорого — 250 тысяч долларов. Вита с мужем приехали в США больше 18 лет назад, сдали медицинские экзамены, что редко удается эмигрантам, оба успешно работали. Он стал известным кардиологом, она рентгенологом вы-

сокого класса, сейчас оба на пенсии. Они победители. В этой сияющей радостной квартире живут победители. Они хорошо живут сегодня, их вчера — воспоминание о счастье, их завтра полно надежд. Можно в этом усомниться, стоя в их гостиной?

— Вы знаете, кто такая Вита? Она, кстати, видела вас у каких-то знакомых, — сказала Леля, когда обсудив, кажется, все проблемы США, эмиграции и Израиля (откуда Леля приехала), мы присели в скверике на ул. Маяковского, потому что никак не могли расстаться. — Ее фамилия Гельштейн. Дело врачей...

Я вспомнила сразу. Вспомнила, что видела Виту, что проф. Гельштейн, ее отец, упоминается в книге Раппопорта о деле врачей, вышедшей недавно в серии «Время и судьбы», и что газета «Еврейский мир» больше месяца печатала отрывки из книги «Врачи-убийцы и убийцы врачей», где тоже мелькала фамилия Гельштейна. Вспомнила, что странное имя Вита дал ей отец, потому что «vita» на латыни значит «жизнь».

О том, что пережила эта женщина в юности, когда арестовали отца, можно не говорить. Она не первая жена своего мужа. Злые языки говорят, что и не последняя. Муж много старше ее. Недавно он вызвал в Бостон одну из первых своих жен с их сорокалетней дочерью, которую он прежде никогда не видел. Дочь нуждается в серьезной операции. Жены, когда-то соперницы, теперь нежно любят друг друга или делают вид, что любят.

Вита родила двух сыновей. Старший женат, есть дети. Младший повесился в 20 лет, через несколько лет после женитьбы. Депрессия. Семья врачей, показывали психиатру, тот не нашел ничего серьезного. После гибели сына муж Виты перенес тяжелый инфаркт и остался инвалидом. Таково счастливое «вчера». Каково «завтра» нетрудно себе представить. Как быть с санскритской поговоркой? Может быть, дополнить ее известным изречением Мартина Лютера Кинга: «Нужно смириться с неизбежностью разочарования в конце пути, но нельзя терять надежду до последнего вздоха».

К Леле это изречение имеет, видимо, прямое отношение. Умница-разумница в школе, блестящая студентка в московском медицинском институте. Талантливый врач, образованный человек с разнообразны-

ми интересами. Успешная научная карьера: кандидат наук, доктор наук, заведующая отделением во Всесоюзном институте гастроэнтерологии. И неотвратимый спуск. «Вон идет наша евреечка!» — кричали вслед Леле высокопоставленные алкоголики, которых она лечила. Травля директора института, уход, скитания по поликлиникам. Растянувшееся на годы умирание сначала любимого отца, потом матери. И финал, казалось, финал — комфортабельное угасание одинокой женщины под шестьдесят.

Но ничего подобного! Деловитые продуманные сборы и отъезд в Израиль. Леля выучила иврит, добилась возможности работать врачом, любима пациентами. Из Израиля в США приехала в гости стройная элегантная женщина, полная сил и надежд. «В следующий раз прилечу не на подаяния друзей, а на собственные деньги», — обещает Леля на прощанье.

Концерт

Не люблю бостонское лето. Есть что-то недоброе в слепящем ярко-синем небе, в металлическом блеске темно-зеленых листьев. Влажный липкий воздух, нос и рот будто забиты горячей кашей — +30°C. Левка почти не спал днем. О концерте думаю с тоской. Только бы управиться с Левкой, с посудой, с обедом, с Нямой. Да, Няма. Не забыть посмотреть Куна. Сегодня конец рассказа о Тезее. Няма пришла из школы и легла. Уговариваю снять шорты, футболку, помыться. Сегодня успешно: встала под душ, отмыла черные коленки, лицо. Обед. Няма ест, я рассказываю о Тезее. Слушает с интересом: радуется, огорчается, глаза блестят, забывает о еде. Приятно рассказывать.

Хочу сегодня выйти из дома пораньше. Акива с утра в МТИ, он пойдет на концерт прямо с работы. Рядом с метро, где мы встречаемся, есть французское кафе. Хорошо бы посидеть там несколько минут, передохнуть, выпить чашку кофе. Хорошо — теоретически. На самом деле ничего мне сегодня не хочется — ни концерта, ни кафе, ни кофе. Душно, нечем дышать.

Только переоделась, проснулся Левка. Скандалит, ему уже пора есть, а Юли нет. Юле надо кончить опыты, чтобы дописать статью. Без опубликования статьи нельзя защитить диссертацию. Юля кор-

мит, мчит на работу, приезжает, снова кормит, уезжает на работу, а вечерами занимается статьей, иногда вместе с Мишей. Я не хочу брать Левку на руки — вдруг испачкает мое парадное платье. Но делать нечего, беру. Наконец приехала Юля, я ухожу.

На улице тяжелее, чем дома. С горы кое-как спускаюсь, но дальше приходится остановиться. Глотаю нитроглицерин, делаю несколько шагов и вспоминаю, что забыла слуховой аппарат. Возвращаюсь назад, подъем в гору дается с трудом. Увидев меня, Юля, ни о чем не спрашивая, оставила Левку на Няму и довезла меня до метро. Вечером Юля рассказала: Левка беспокоился, Няма решила, что ему жарко. Она положила его на кровать и поливала из чашки холодной водой. Оба были так довольны, что Юля смеялась вместе с ними.

Акива уже сидел в кафе, когда я приехала. Но ни кофе, ни вкусная булочка не привели меня в чувство. Пятнадцать минут до концертного зала я еле шла, обливаясь потом и глотая нитроглицерин. Перед входом вынула из сумочки билеты. Боже, у нас балкон второго яруса. Значит, надо еще подниматься по лестнице и целый вечер умирать от духоты.

Но оказалось, что подняться можно на лифте, а на балконе свежо и прохладно. Оглядываюсь вокруг, смотрю вниз. Что это? В партере вместо обычных рядов стульев расставлены маленькие круглые столики. Нет, не круглые, часть круга срезана. За столиками сидят троим, четвером: один — у плоского края лицом к сцене, остальные по бокам. Спинки легких серых стульев и столешницы сероногих столиков светло-зеленого цвета. Наверное, поэтому в зале весна. Официантки в розовых ситцевых платьях с белыми воротничками разносят воду, еще что-то. В зале праздник. А сцена! Трубы широкой центральной части органа полускрыты огромным букетом из живых цветов. Букет плоский и лежит наискось: несколько длинных зубцов расходятся веером из нижнего правого угла к верхнему левому. Бордюры из цветов украшают боковые части органа. От этого цветочного изобилия веет такой свежестью, что тело становится невесомым, а душа обретает плоть.

Свет в зале меркнет. На сцену выходят музыканты. Мужчины в черных брюках, белых пиджаках и белых рубашках с черными ба-

бочками, женщины в черных юбках и разноцветных блузках — нарядный цветник на фоне белых пиджаков. Появляется дирижер, он же скрипач-солист, и начинается очередной концерт известного и уважаемого здесь «Общества Генделя и Гайдна». Весь вечер старинная музыка. Седоголовый Стэнли Ритчи дирижировал и играл без нот. Звучание, выразительность, слаженность были, по-моему, на высочайшем уровне. Сдержанные бостонцы долго, бурно аплодировали. А я не могла. Боялась расплескать подаренную радость.

Суббота в Нью-Йорке

Вошла в лифт, нажала кнопку первого этажа. Сбоку выехала дверь и бесшумно закрылась. Через мгновение она так же бесшумно уехала вбок, и я оказалась в вестибюле старого добротного дома. Чисто, прохладно, просторно. Выхожу на улицу. На моей стороне тень, но температура все равно впечатляет. Раскаленный воздух недвижим. Перехожу через широкую Брайтон Бич-авеню. Здесь она ничем не примечательна. Стандартные шести-семиэтажные дома, прохожих мало. Под холщовыми навесами томятся развалы фруктов и овощей, у дверей магазинов стоят вешалки с одеждой. На стенах надписи: «Покупайте пирожные только в «Золотом ключике», «У нас есть канадский творог и венгерская колбаса». Цыганский табор, созданный на Брайтон Бич русскими евреями, доплескивается до двухэтажного каменного сарая с огромной вывеской «Ресторан Одесса» и иссякает. «У нас поет Вилли Токарев!» — последний крик, срывающийся с афиши у дверей «Одессы». Дальше тишина.

Но и здесь есть на что посмотреть. Мужчина в темном костюме, в темной фетровой шляпе; женщина с толстенными ляжками в коротеньких шортах и в кофточке нараспашку; черные парни в пестрых трусах и огромных кроссовках; исхожая старушка с палочкой в кокетливой соломенной шляпке. А вот и знаменитый Boardwalk — широкий деревянный настил с перилами длиной в несколько километров. Настил лежит на сваях и возвышается над пляжем метра на два-три. Он устроен специально для тех, кто любит дышать морским воздухом и не хочет месить ногами песок. На Брайтон Бич Boardwalk называют по-домашнему: «Деревяшка». Итак, справа от

меня начинается знаменитая «Деревяшка», а слева океан, который я по привычке называю морем. Соленый ветер, простор, синева, прокаленный песок. Прокаленный на самом деле — босиком до воды не дойти, обожжешь ноги.

Пляж бурлит и кипит. Чем ближе к воде, тем труднее обходить тех, кто уже захватил место под солнцем, в данном случае в прямом, а не в переносном смысле. Поют, бренчат на гитарах, играют в волейбол, в гандбол, в карты, едят, доставая припасы из больших пластиковых ящиков со льдом, тянут сквозь соломинки кока-колу. Говорят по-русски, по-английски, по-испански. А люди?! А туалеты?! Массивная негритянка, черная как смоль, в малиновом купальнике. Рыжая белокожая американка в черном. У кромки воды мужчина цвета кофе с молоком: лихая белая косынка на голове, орлиный нос, бусы из крупных «золотых» колец на седой груди, пестрые трусы до колен. Женщина в три обхвата в розовой майке, из-под которой виднеется крошечный треугольник черных плавков, под ними ноги-тумбы.

Слепят глаза женские лифчики. Чашечки-раковины в полстворки, чашечки-кружочки, срезанные до сосков, полоски, перетянутые ленточкой между грудей, нащепки, прикрывающие грудь только сбоку или только снизу, зеленого, желтого, красного, синего, белого, фиолетового цветов во всех мыслимых и немыслимых сочетаниях. И как много красивых!

Мужчины не ударяют лицом в грязь. Лицом? Мини-плавки, трусы-шорты, трусы до колен в обтяжку, трусы до колен широкие. Одна штанина оранжевая, другая пурпурная, трусы шестицветные, полосатые, клетчатые, в цветочек, в горошек — Боже, спаси и помилуй! Но вершина — стройные загорелые парень и девушка в черных купальниках, которых я долго и бесстыдно разглядывала. На девушке вместо трусиков продернутая между ягодицами тесемочка, чуть более широкая тесемочка спереди и тесемочка вокруг талии, к которой привязаны две первые тесемочки. Плавки юноши — мешочек скромного размера, куда он, явно не без труда, упаковал свой... Опять же тесемочка между ягодицами, вокруг бедер и тесемочка, поддерживающая мешочек. Зато дети одеты по всей строгости закона. Крошечные девочки в подгузниках непременно обряжены в цельные

купальники, девочки постарше в трусики и лифчик-полоску на будущей груди, мальчики, даже те, которые еще не умеют ходить, — в длинные купальные трусы.

И надо всем этим месивом из человеческих тел и кричащих тряпок стоит пряный, въедливый, конфетный запах масла от/для загара. Тела лоснятся, глаза блестят, гремит музыка, летают мячи, взвиваются разноцветные бумажные змеи — праздник, на пляже праздник поклонения солнцу и свободному дню. Бурное это действо не ограничивается сушей. Моторки, водные мотоциклеты, катера на подводных крыльях с оглушительным треском носятся по заливу. Надменные чайки сидят на сваях (останки причала?), с презрением поглядывают на суету бескрылых и оглашают воздух пронзительными криками. Венчает этот сумасшедший дом парад рекламы на небе, где то и дело проносятся самолеты, растягивая транспаранты с разноцветными призывами и неперенным словом «самый»: «Покупайте соки нашей фирмы, приготовленные из самых свежих фруктов!» Название фирмы. «В нашем банке продаются самые надежные облигации по самым низким ценам!» Название банка. «У нас в ресторане самые знаменитые tops topless*». Название ресторана.

А в будние дни на пляже малоллюдно и тихо. Пожилые и старые люди сидят на складных стульях, медленно прохаживаются по песку, неуклюже делают зарядку. Многие тут же закусывают, вынимают из целлофановых пакетов недоступные когда-то фрукты и овощи. Говорят только по-русски, на песке лежат русские газеты. И грустная дымка висит над берегом, где столько людей нашли приют, благоустроенность, покой... и тоску. Неизбывную эмигрантскую тоску о трудной, мучительной, несправедливой, нищей, но своей жизни там, за океаном.

К вечеру стало прохладнее, мы вышли погулять. Свернули за угол и остановились. Широкая улица, по обеим сторонам двух-трехэтажные — дома? коттеджи? Скорее, особняки или мини-поместья. Красивые (во вкусе предыдущей эпохи), добротные (видно, что строили для себя, для детей и внуков), окруженные не символичес-

* Игра слов: Tops — знаменитости, занимающие в анонсах верхнюю строчку. Topless — без верхней части туалета, без лифчика.

кими садами, а большими участками ухоженной земли, они кажутся анахронизмом рядом с тесным, грязным районом Брайтон Бич. На столбе надпись: «Охраняется частной полицией. Парковка запрещена». Это Манхэттен Бич — большой, богатый, благоустроенный район Нью-Йорка с частными пляжами, бассейнами, теннисными кортами и прочими благами современной цивилизации.

Незаметно дошли до парка на берегу океана, где разбросаны корпуса Кингсборо колледжа. Комплекс строгих современных зданий с необычными геометрическими формами и подчеркнутой функциональностью на редкость удачно вписан в ландшафт узкого мыса, поросшего невысокими соснами, искривленными морским ветром. В парке оказалось много людей, все они двигались в одном направлении и, присоединившись к ним, мы вышли к эстраде, перед которой на траве стояли ряды стульев. Через несколько минут начался бесплатный симфонический концерт — довольно обычное субботнее развлечение в Нью-Йорке. Появился дирижер, раздался американский гимн, все встали. Рядом с нами, спереди, сзади пожилые люди — большая часть аудитории — пели, повинаясь палочке дирижера. Впервые в Америке мне стало стыдно, что я не знаю гимна страны, где живу. Мы торопились и после гимна ушли. Возвращались домой берегом канала. Стемнело. Перламутровая неподвижная вода, черные силуэты яхт так явственно напоминали картины Марке, что казалось, будто мы во Франции, а не в США.

Вернулись поздно. После жаркого дня хотелось выкупаться, мы взяли купальники и пошли на пляж. Вот когда «Деревяшка» явила себя во всей красе. Разряженная толпа, мешаясь с «пролетариями», шествовала по доскам, как по зеркальному паркету. Длинные юбки, шорты, платья с декольте до талии, майки, туфли на гвоздиках, кроссовки... Дети, подростки, пышнотелые дамы, стройные длинноногие девушки, белые, желтые, коричневые, черные — вавилонское столпотворение. Скамейки со спинками, днем обращенные к морю, развернуты на 180 градусов. Те, кто не могут или не хотят двигаться, взирают на пестрое шествие сидя.

Вывески не дают забыть о соседстве с Брайтон Бич: «Гастроном Москва», «Ресторан Москва», «Только у нас русская кухня: Lula Kebab, Kneshes». Рядом «Студия звукозаписи» и заведение с рос-

кошным названием: «Бар, ресторан, таверна». Столики с несвежими скатертями выставлены наружу. Суетятся официантки. На одной, с лицом загнанной лошади и мохлястыми руками, нелепо торчащими из безрукавной «серебряной» кофточки, мини-мини-юбка. На другой, с личиком падшего ангела, длинная черная юбка и прозрачная кисейная блузка, украшенная на груди кружочками более плотной ткани. Все столики заняты. Взрывы смеха, обрывки музыки, пестрота лиц и одежд, рябит в глазах, звенит в ушах — субботний вечер в разгаре.

А на море тихо. Прохладный перелетный ветер, огоньки на дальнем мысе. Над головой луна, звезды. На воде лунная дорожка. Как когда-то в Алупке.

ДНЕВНИК 20 октября. Ветер разошелся вовсю. Бедная моя мохнатая ель с перепугу стучится в окно. Голой акации легче: ветру за нее не ухватиться. Серые тучи то прячут солнце, то отпускают на минуту. Бостонское предзимье.

Днем у Юли. Няма хорошо пересказала по-русски сказку о войне обезьян с крабами, которую только что прочла по-английски. Эту изданную в Китае книжку-малютку, напечатанную не на бумаге, а на материи, Акива давным-давно купил в Москве, в «букинисте» на улице Герцена. Ее читала маленькая Маша, потом Юля и вот теперь прочла Няма. Неужели можно сохранить неосезаемую ниточку, связующую всех нас?

27 ноября. Маша с мужем в Бостоне. Перед отъездом из Нью-Йорка они были на выставке «Советский социалистический реализм, 1932—1956». Шедеврами Герасимова, Налбандяна и иже с ними можно теперь любоваться и в Нью-Йорке. Любованье происходит под советские песни того времени. Кассеты продаются. Маша купила кассету, и мы включили магнитофон. «Тучи над городом встали», «Тачанка», «Легко на сердце от песни веселой»... Результат неожиданный. Так горько я не плакала здесь еще ни разу. У Акивы по щекам текли слезы. Маша сказала, что на выставке она тоже плакала. Почему? Может быть, если не оглядываться, легче

сохранить иллюзию, что позади не пропасть, а... длинная дорога. Если не оглядываться и смотреть только вперед, пропасть, хоть и остается, но как бы не существует. Жить, чувствуя, что в спину дует из пропасти, а в лицо с того света, трудно. С лицом ничего не поделаешь, но назад оглядываться нельзя. Что означает миф об Орфее и Эвридике в наше время? Скоро буду рассказывать его Няме. Надо внимательно перечитать.

28 ноября. Темно с утра. Ель бьется в судорогах. Окно залито дождем. Акива мучается с компьютером. Иногда кричит от бессилия. На лбу надуваются вены. Пою валерьянкой. Ветер завывает, как сирена «скорой помощи». Но ни скорая, ни медленная помощь не помогут. Только работа. Стараюсь работать. Пишу, переделываю. Только бы справился Акива с компьютером. Если сил у него не меньше, чем терпения и упорства, справится, я надеюсь.

Купила в соседнем магазине пылесос. Выбрала самый дешевый. К счастью, он по устройству похож на мой прежний. Прежний — первый пылесос в жизни — купила, когда мы переехали в Черемушки. Этот второй. Интервал 33 года.

Очень надеюсь, что поездка во Францию состоится.

ПИСЬМО В МОСКВУ

Франция 10 января—10 февраля 1994 года

1. Воспетая Ницца

Да, нужен мне берег лазурный
И Африка тоже нужна*.

Неприметная дверь в серой стене, крутая лестница, узкий коридор. Темно. Кнопка выключателя-автомата едва мерцает. Точность расчета производит впечатление: лампочка под облупленным по-

* Строчки «заимствованы» из популярной советской песни «Летят перелетные птицы» с припевом: «Не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна».

толком гаснет как раз тогда, когда доходишь до следующей кнопки. Унылая комната, на потолке черные потеки. Две кровати, тумбочка, небольшой круглый стол, дряхлое кресло. В углу какая-то загородка. Понятно — раковина в разводах трещин и биде. Раз есть биде, значит, мы во Франции. Рядом с загородкой нечто вроде платяного шкафа. Одна филенка выломана. Очень кстати. Просовываю руку в дыру и толкаю дверцу изнутри. Иначе шкаф не открывается. За границей мы в такой гостинице еще не жили. Подхожу к окну, вернее, к двери в никуда. В комнате душно. Открываю оконную дверь настежь. Зову Акиву. Долго стоим и молчим. Да, в такой гостинице мы еще не жили. За окном море. Синее море до горизонта. Нет, не синее, лазурное. Название «Лазурный берег», оказывается, не поэтическая метафора, а точное определение. За окном лазурное море. Спокойное облитое солнцем лазурное море под лазурным небом. Гостиница стоит на холме. Под нами красная черепица крыш, зеленые шапки деревьев с оранжевыми шариками мандаринов и море. Смотреть, только смотреть — десять минут, двадцать, весь день.

Увы, суровая французская действительность берет нас за горло железной рукой автобусного расписания. Наша живописная гостиница находится не в Ницце, а в городке Сен-Жан кап Ферра, или по-нашему: Святой Жан на мысе Ферра. Городок меньше своего названия, с Ниццей его связывает автобус. Последний автобус из Ниццы отходит к нашему святому в 7 вечера. Уже середина дня. Бросаем вещи и бежим на остановку — благо, она рядом. Через 20 минут мы в Ницце. Первые привычные — после Италии уже привычные — заботы: понять, как на обратном пути найти автобусную станцию и наш автобус. Наконец свободны. На глаза попадает указатель: «Пешеходная зона». Годится.

Пересекаем широкий современный проспект и попадаем в старый город.

Узкие улицы, маленькие уютные площади. Вешалки с одеждой, лотки с фруктами, киоски с мороженым и сладостями, цветы, обувь, украшения, косметика — все на улице. Цены устрашающие, покупателей мало, ротозеев куда больше, но нарядные изобильные улицы и беззаботные прохожие настраивают на праздничный лад. Буд-

ний день в старой Ницце для нас — карнавал. Правда, ценами мы интересуемся не бескорыстно. Завтракали в самолете, когда летели из Лондона в Ниццу. Можно уже и перекусить.

В Лондоне у нас была пересадка. Аэропорт Хитроу — это большой город. С одного терминала на другой везут на автобусе. Чтобы отыскать выход на посадку, нужно пройти сквозь лабиринт залов и переходов. Но, удивительным образом, как только теряешь направление, перед глазами оказывается указатель, и нить Ариадны снова в твоих руках. Няма уже знает про Ариадну, похоже, что служащие Хитроу тоже. Почему, спрашивается, они тут все такие образованные? Ответ, впрочем, известен теперь и в России. В России... Прочла в «Геральд Трибюн» отчет об открытии российского парламента. Завыть? Заплакать? Выругаться матом? Забыла, что мы в Ницце. Иногда все-таки нужно себя ущипнуть, чтобы в это поверить. Сейчас, например, так как мы вышли на набережную.

Море. Направо, налево — море. Синее и ласковое. Глаза не верят простору, голубизне, покою. Перед глазами снег. Он падает и падает всю субботу. Не видно неба, не видно земли. Машины, дома, улицы тонут в снегу. В этом белом потоке есть что-то зловещее. А в воскресенье, 2 февраля, на небе ни облачка, снег безмятежно блестит на солнце. Утро. Солнечное воскресное утро. Куда нам приспичило ехать? Зачем? Встанем на лыжи у порога дома. Дойдем до семинарского парка, покатаемся на широкой поляне, проведем наши ивы с бледно-зелеными ветвями до земли. Куда нас несет? Зачем? Опять подстраивать жизнь под расписание самолетов, автобусов, заседаний? Остановиться, отдохнуть просит душа. Остановиться, отдохнуть просит тело. Так хорошо лежать, просто лежать. Телефонный звонок. «Как сборы? Будете в Ницце, не забудьте про Грасс. Всемирный центр парфюмерной промышленности, между прочим. Не знали? Тем более. И Арль рядом. На машине совсем пустяки. До Корсики, кстати, тоже недалеко». Можно ли упустить возможность побывать на Корсике, черт бы ее побрал! А когда полежать? Телефонный звонок. «Во Франции ужасная погода: небывалые ветры, дожди со снегом. Тяжелая эпидемия гриппа. Непременно сделайте прививки». Прививки сделали, благо, здесь это просто. Но что надеть на ноги? Вся наша обувь промокает. На Акивины ботинки по-

ставила резиновые наклейки. Себе беру резиновые сапоги. В Ницце и Париже они будут смотреться куда интереснее, чем в Картмазово. Все воскресенье, понедельник и вторник Акива сидит, не поднимая головы, над заявками ученых из СНГ (Господи, до чего трудно напечатать эти три буквы!) на соросовские гранты. В среду, 5-го, провожаю его в Вашингтон на заседание комиссии, утверждающей распределение грантов. В четверг вечером над Бостоном снова разражается снежная буря. Я, слава Богу, успела вернуться от Юли, пока снегопад еще не начался. Но семейный совет вынес мне вотум недоверия: в пятницу Миша сам привез меня к Юле и вечером отвез домой. В субботу, 8-го, бостонский аэропорт захлебнулся в снегу и закрылся. У нас билеты на 10-е, понедельник. Вылет во Францию повис в воздухе в прямом смысле слова. Целый день бессмысленно хожу по дому из угла в угол. Успеет Акива вернуться, не успеет? Улетим, не улетим? А вечером открылась дверь и вошел Акива. Каким чудом он попал на единственный рейс, который в субботу вылетел из Вашингтона и был принят в Бостоне, так и осталось неясным. Но ясно, что мы все-таки летим.

Два чемодана, сумка на колесах, рюкзак, Акивина сумка с бумагами, моя сумочка — где бы призанять еще пару рук и хоть одно сердце без инфаркта? В середине тротуара, ставшего сугробом, протоптана узкая дорожка. Идти недалеко, но с нашими вещами каждый шаг требует усилий. Бостонцы невозмутимы только внешне. На первом же перекрестке нам помогла немолодая темнокожая женщина. Сесть в трамвай, он же вагон метро, помогла другая. И так до самого аэропорта. У каждой лестницы, при каждом входе и выходе немедленно протягивалась чья-то рука и кто-нибудь с улыбкой предлагал помощь.

В Ницце на набережной растут пальмы: пышногривые коротышки с толстыми как бочки стволами, длинноногие стройные красавицы с задорной прической на уровне шестых этажей. В Ницце на набережной зеленеют газоны, а на прибрежную гальку неторопливо набегают перламутровые волны. Щемит сердце. Нет, нитроглицерин не нужен. Здесь хорошо дышится, хорошо ходится. Сердце щемит, потому что море. Море и пальмы — это Сухуми. С гор приходили обычно в Сухуми из лета в лето. Море и дальний горбатый

мыс с мордой в воде — это Гурзуф, гора Медведь. Море — это лето и детство. Сейчас январь, мы сиды, и почему-то в Ницце. Но ведь в Ницце, не в Магадане. Почему так грустно? Почему мы так цепляемся за детство и молодость? Почему все время кутаемся в воспоминания, стараемся подоткнуть их под бок и под спину, как подтыкали одеяла в первую холодную ночь в нашей ветхой гостинице?

Ницца у моря красивая и деловая. По одну сторону набережной тянется пляж: узкая полоса прибрежной гальки. По другую — широкий проспект, он же шоссе, где мчится поток машин. Проспект то и дело меняет названия, одно значительнее другого: Английский бульвар, Набережная Соединенных Штатов... Здесь царство солидных особняков в стиле «Капиталистический ампир» или «Прагматический модерн», мир шикарных отелей, ресторанов, шумных площадей, запруженных машинами и людьми. На набережной и на пляже людей почти нет — зима, не сезон. Наверное, поэтому кажется, что галька у воды, море до горизонта, синее небо и солнце — подарок Всевышнего лично нам, что недалеко от истины, так как хорошая погода установилась в Ницце буквально в час нашего приезда.

Идем вдоль моря, но все чаще поглядываем на вывески. Таиландский ресторан, вьетнамский, китайский, интересно, есть ли на набережной Ниццы французский ресторан? Интерес, впрочем, чисто теоретический — цены! — хотя есть здорово хочется. Но вот, кажется, что-то подходящее: азиатский ресторан быстрого обслуживания. Быстро — значит, дешево. Такова непривычная логика в этом непривычном мире. Заходим. Длинный застекленный прилавок, на тарелках заманчивая диковинная еда. Цены указаны, поэтому выбрать нетрудно. Ткнули пальцем в то, что подешевле, сели, все было мгновенно разогрето в микроволновой духовке и поставлено на стол. Мы так и не поняли, что ели: птицу, рыбу или мясо. Узнаваемым оказался только рис, но все было очень вкусно. Вывеску музея Дюфи я увидела из окна машины по дороге с аэродрома в гостиницу. Музей здесь же, на набережной. Жена Дюфи родилась в Ницце. После смерти мужа она подарила городу 25 его картин. Так в Ницце возник музей, который называется «Дюфи и его друзья». В двух небольших залах среди прекрасных полотен, знакомых по репродукциям, есть и неожиданности. Красивый натюрморт с белой вазой, по

стилю напоминающий скорее Сезанна, чем Дюфи. Станный, очень интересный портрет обнаженной. На ярко-синем фоне сидит женщина. У нее слишком полное, нарочито некрасивое тело почти красного цвета и черные волосы. В поднятой руке она держит у самой головы большую черно-белую ракушку. Не знаю, почему так красиво резкое сочетание, казалось бы, несочетаемых красок, но от картины трудно отойти. И таких картин в этом маленьком музее много. Яркий праздничный «Фейерверк в Ницце», залитая солнцем «Терраса в Сан-Тропезе» с сидящей за столом женщиной в платье с розами, большой триптих Ван Донгена: «Адам», «Ева», «Адам несет Еву».

Возвращались на автовокзал по узким улицам старой Ниццы, где, вопреки объявлениям о пешеходной зоне, машины и мотоциклы ездят взад и вперед, чудом не задевая стены домов. Поднялись в номер с одним желанием — лечь. После бессонной ночи в самолете очень хотелось спать. Но едва мы сняли куртки, как снег на голову свалился Уриэл Фриш, заботами которого состоялась эта поездка. Он предложил обсудить неотложные дела за чашкой кофе. Покорно спускаемся с нашей голубятни, огибаем дом, входим через другую дверь в гостиничный ресторан и садимся за столик у широкого окна. «Вот эта ближайшая цепочка огней — Монако, а та, дальняя — Италия», — небрежно бросает Фриш. Итак, кофе с видом на Монако и Италию. Кроме огней, впрочем, ничего не видно, но в каком зале мы сидим! Двумя арками он разделен примерно пополам. Арки скрывают дальнюю стену, отчего зал кажется огромным, а в каждой его половине уютно. В зале высокие потолки, большие окна. Круглые столы застелены двумя белыми скатертями: квадратной в размер стола и нижней круглой, складки которой ниспадают до пола из-под углов верхней. На столах стоят канделябры с пышными бантами из желтых парчовых лент и с желтыми кленовыми листочками в чашечках подсвечников, на этажерках возвышаются огромные пузатые вазы с необъятными букетами роскошных цветов. Столовая и чайная посуда так хороша, что к ней страшно прикоснуться. На блюдах под чайными чашками лежат кружевные салфеточки. Где мы? Где я все это уже видела? Вспомнила не сразу, но вспомнила. На одном из кинофестивалей, просидев в сортире «Иллюзиона» минут 30, я прошла без билета на «Смерть в Венеции» Висконти. Вот где

я видела такой ресторан. Да здравствует кино, самое важное, самое массовое из искусств, как сказал вождь и учитель.

В этом ослепительном зале мы две недели ежедневно завтракали и обедали (по-нашему, ужинали), а по утрам еще любовались видом на море: белой башней маяка на узкой песчаной косе, отгораживающей небольшую бухту, где ждали лета разноцветные яхты, с гористым мысом с едва различимыми домами, синим небом и синим — лазурным! — морем до горизонта. На второй или третий день я разглядела, что вазы пластмассовые, цветы искусственные, салфетки бумажные, но все равно радовалась им каждый раз, когда садилась за наш столик. И каждый раз возносила хвалу искусству. Всякому: искусству Творца, создавшего лазурный простор за окном, искусству французских умельцев и искусству нашей хозяйки, ежедневно ошеломлявшей нас изысканными блюдами, приготовленными из самых дешевых продуктов. Ее кулинарные шедевры радовали не только желудок, но и глаза, чему я не переставала удивляться.

Однажды, набравшись храбрости, я ей об этом сказала. Она очень обрадовалась и попросила написать несколько слов в книгу посетителей. Перспектива писать по-французски, чего я не делала, не хочется говорить, сколько лет, лишила меня языка и, как на грех, французского. Я пролепетала что-то невразумительное. «Вы не думайте, у нас останавливаются знаменитые люди. В книге есть запись Кокто», — сказала хозяйка, убив меня наповал. Перед отъездом, вспомнив азы, которым меня обучали на нашем дорогом филфаке, я что-то написала и, листая книгу, увидела рисунок и подпись Кокто. Мы с хозяйкой разговорились, и тогда выяснилось, что семейная история этой французской кудесницы вполне в духе нашего времени.

Ее отец родился на Украине. Во время войны его угнали в Германию, где он остался после освобождения и женился на немке. Отец и мать живы, она с мужем и сыном их навещает. Ей, наверное, лет 40, иногда видно, что она была хорошенькой. Ее муж и сейчас красавец: высокий, стройный блондин с насмешливыми голубыми глазами и аристократическими манерами. Шага и шляпа с перьями пошли бы ему больше, чем поднос и свитер (всегда один и тот же, что в США, где взрослые и дети ежедневно меняют одежду, считается грубым нарушением приличий, а во Франции является просто

знаком бедности), но даже без перьев он великолепен и за рулем автомобиля, и с супницей в руках. Перед тем как подать на стол, он зажигает свечи в канделябре и спрашивает, хорошо ли мы провели день. Ему все интересно: откуда я знаю французский, физик Акива или математик, как по-русски «спасибо», есть ли у нас дети. Его собственный сын производит приятное впечатление. Он рассказал мне, что пока учит в школе немецкий язык, а потом будет учить английский. Выбор второго языка у них в школе свободный: английский, немецкий, итальянский или испанский, но знать два иностранных языка обязан каждый.

По случаю защиты диссертации, где Акива был оппонентом, в ресторане гостиницы состоялся банкет. Наш хозяин очень его украсил. Он не только ловко и красиво приносил и уносил подносы и разливал вина, но и радовался празднику как... как пэр, принимающий гостей у себя в замке. Удача! Я не знаю его имени, но раз он держался как пэр, пусть будет Пьером, а его жена Пьереттой. Весь этот вечер Пьеретта, в отличие от мужа, провела на кухне, что показалось мне естественным. И напрасно. За несколько дней до нашего отъезда из Ниццы Фриши устроили у себя дома чай и пригласили нас с Акивой и Пьера с Пьереттой. В капиталистической Франции совместный чай двух почтенных профессоров с женами (жена Фриша, кстати, весьма ученая дама) и хозяина маленькой гостиницы с женой — нечто вполне естественное, хотя мне, гражданке бывшего самого передового и демократического государства, каюсь, такой состав гостей показался несколько странным.

Но «Чаепитие у Фришей», как я окрестила этот вечер, действительно оказалось странным. Вопреки ожиданию в парадной одежде и в роли гостя, а не хозяина, Пьер потерял весь свой аристократический блеск и все свое обаяние. Изредка он вежливо улыбался и весь вечер безучастно молчал. А Пьеретта, мастерски накрашенная, в изящных брючках, молодая и красивая, оживленно разговаривала на любые темы и чувствовала себя как рыба в воде. Станным показался большой богатый дом Фришей, окруженный красивым садом. Кухня-столовая, где все не к рукам. Неуютные комнаты с дорожной мебелью. В спальне громоздкий книжный шкаф, в кабинете ни одной книжной полки. Стол был накрыт на шестерых, стульев стояло

пять, шестой нашли не без труда. К трем небольшим кускам пирога никто, кроме меня, грешницы, не решился протянуть руку. Едва начали пить чай, кончилась заварка, потом иссяк кипяток.

Удивила меня, но совсем по-другому, еще одна чайная церемония, уже не в Ницце, а в Каннах, куда мы приехали на концерт русского хорового квартета, исполнявшего старинную церковную музыку. Проплутав по городу, мы вышли на знаменитую каннскую набережную, когда уже смеркалось. Вышли и открыли рты. Какой прозаической, какой провинциальной вспоминается набережная Ниццы, когда идешь по бульвару Круазет. Величественные пальмы надменно покачивают головами в недостижимой высоте, не устывая вниманием не только простаков с открытыми ртами, но и отель «Мажестик». Широкая желтая полоса пляжа — песчинка к песчинке — не допускает даже мысли, что ее может коснуться нога простого смертного. От одних названий — Круазет, Мажестик, Аллея звезд — мурашки бегут по спине. А царь и повелитель Канн — Дворец фестивалей! Уму непостижимо, сколько стекла и бетона ушло на это сооружение, красивое и даже стройное, несмотря на гигантские размеры. Да, при всей нелюбви к подобному стилю, я вынуждена признать, что оно красиво, не в последнюю очередь потому, что отвечает своему назначению.

Это действительно дворец в современном понимании этого слова. Дворец кинофестивалей, дворец театральных фестивалей, развлечений и удовольствий. Он вмещает в себя несколько больших и малых залов, подземные гаражи, казино, кафе, рестораны и прочее, и прочее, и прочее. Когда идешь по набережной, стоишь перед дворцом, трудно представить себе, что все это великолепие, вся эта роскошь появились в Каннах благодаря... эпидемии холеры. В тридцатых годах XIX века некий лорд Бригем по дороге в Ниццу остановился в безвестной деревушке Канн, так как ему преградил путь холерный кордон. Оценив красивый берег и чудесный воздух, он построил в Каннах дом. У него нашлись последователи. Остальное понятно. В Каннах подолгу жили Мопассан и Фредерик Мистраль, здесь умер Проспер Мериме. Чего не хочется, решительно не хочется в Каннах, так это умирать. Здесь все кричит и взывает: «Жить! Радоваться! Наслаждаться!» Но у нас, как всегда, не было времени. Мы торопились на концерт.

Расставшись с парадными Каннами, мы нашли церковь, где уже начался концерт, и вошли внутрь. Голые стены протестантского храма. В алтаре высокий деревянный крест с прямой перекладиной. Перед крестом четверо мужчин в черных подрясниках поют a capella. Глубокая тишина. Церковь полна, людей так много, что стоят в проходах, вдоль стен. Мужчины поют красиво и проникновенно, но внутренне чужая музыка не трогает меня, как не трогают и еврейские песнопения. Меня трогает, меня задает за живое тишина, царящая в церкви. В Ницце много эмигрантов из России, я это знала, но здесь, в церкви, я увидела, что это значит. Увидела, как жаждут единения люди с переломанной судьбой, всегда и везде чувствующие себя одинокими. И сумрачная церковь, освещенная только верой, любовью и надеждой, рожденными музыкой, показалась мне гораздо более впечатляющим зрелищем, чем каннская набережная со всем ее великолепием.

Пора все-таки вернуться к чаепитию. На концерт в церкви нас пригласил один из четырех певцов — Алексей Оболенский, чьими заботами существует и процветает квартет. После концерта он предложил заехать к его друзьям на чашку чая. Машина долго карабкалась вверх в полной темноте. Наконец, большой многоэтажный дом, подъезд, лифт. Дверцы лифта открываются, и мы оказываемся в квартире. Я не ошиблась — в квартире, а не на лестничной площадке: бывает, значит, и такое.

В большой просторной гостиной, где собралось человек 50—60, вся наружная стена стеклянная. За ней на просторном балконе разбит сад с малоизвестными цветами и кустами. Перед стеной-окном длинный стол с малоизвестными яствами и знакомыми стопками одноразовых тарелок. Ели стоя, разбившись на небольшие группы, говорили по-французски и по-русски о концерте, о музыкальной жизни в Ницце и в Каннах, об университетских делах — среди гостей оказалось много преподавателей большого университета в Ницце — и, конечно, о России. С нами больше всего о России. Милая пожилая дама на приличном русском языке расспрашивала нас о последних событиях в Москве, а мы ее о давних событиях войны: об ее участии в движении Сопротивления. Было в этом доме удивительно тепло, уютно и интересно. «Чай» затянулся допоздна. На обратном пути

Алексей рассказал, что хозяин квартиры — пастор церкви, где состоялся концерт. Любитель и знаток музыки, человек широких взглядов и большой души, он помогает кому может, не спрашивая о вероисповедании. В своей роскошной квартире он живет один и, что память покойной жены, заботливо ухаживает за садом на балконе, который она любила. Чаепития после концертов — традиция его дома.

Сам Алексей Оболенский — не менее примечательная личность. Его дед был известным думским деятелем, потом членом крымского правительств, потом бежал из России. Его внуки родились уже во Франции. Алексей — славист, во время стажировки в Москве он познакомился со своей будущей женой, тоже слависткой, но другого происхождения. Отец Зои француз, мать ирландка. Алексей преподает русский язык и литературу в Ниццком университете, вечерами читает курс русской литературы в Ницце и Грассе пожилым вольнослушателям. Зоя занимается современным русским искусством, работает в одной из многочисленных в Ницце частных галерей. У Оболенских двое взрослых сыновей и дочь. Дети уже разлетелись. Дочь учится в Париже, старший сын изучает арабский язык в Тунисе, второй сын учится недалеко от Ниццы и поет в квартете вместе с отцом.

Мы подружились с Алексеем и Зоей сразу, как это ни странно в нашем возрасте. Родство душ, языка, интересов: Россия, живопись, музыка, русская литература. Оболенские возили нас в Антиб. Это была очень интересная поездка. Как только Алексей свернул с шоссе и поехал проселками, мы оказались в другой стране. Одинокие, неказистые дома, ограды, сложенные из камня, пастбища, огороды, поля, изредка одно-два дерева — сельская Франция. Тишина, покой, желтые, коричневые, блекло-зеленые краски, все тона приглушены — сельская Франция в январе. Выше в горах сельская Франция еще суровее и еще беднее, но бедность здесь тоже французская. Десяток домов из камня, магазинчик, небольшой ресторан или кафе, в стороне церковь — горная деревушка. Дороги безупречны. Очень чисто, очень красиво. Небольшие плато, неширокие долины; снежные вершины, розовые на закате, подпирают низкое небо. На склонах заброшенные искусственные террасы. Усеянная камнями земля с побуревшей прошлогодней травой и белыми заплатками слежавше-

гося снега кажется древней как мир. Живут в этих деревушках старики, которым земледелие уже не под силу. Молодые приезжают на выходные дни или летом в отпуск. Тишина, покой здесь еще осязаемее, чем внизу. Плавные спуски и подъемы сельских дорог, плавные линии гор. Сельская Франция в январе завораживает, околдовывает.

Вдруг крутой поворот. Перед глазами гористый мыс, узкие, высокие дома на крутых склонах, лестницы, площадки, переходы, зубчатые стены, островерхие башни — Антиб. Улицы упираются в бурное море, ветер сердито треплет одежду, волосы, но ветреный день, небо с бегущими облаками, блики и тени идут беспокойному, своенравному Антибу. В этом странном городе, в одном из замков на берегу моря несколько лет жил Пикассо. Теперь в замке музей. И какой! Такого Пикассо я не только никогда не видела, но даже не подозревала о его существовании. Розовый Пикассо, голубой, кубистический — все известно. А нежный Пикассо? Ласковый, теплый, солнечный Пикассо? Без памяти влюбленный на старости лет в красивую молодую женщину — свою очередную жену, родившую ему двух детей? Ее большая фотография с детьми висит в музее. На посетителей смотрит смеющаяся мадонна нашего времени — чуть грубоватая, полная сил, энергии и задора. Она действительно оказалась женщиной нашего времени: довольно быстро развелась с Пикассо и получила огромную сумму денег. Но это случилось потом, а пока они жили в антибском замке, Пикассо, видимо, был счастлив и работал как одержимый. Живопись, графика, керамика — он сделал так много, что трудно поверить собственным глазам.

Небольшое овальное блюдо. Широкая светло-коричневая полуса бордюра. По бордюру стелется чуть зеленоватый изогнутый стебелек с небольшими боковыми отростками. Само блюдо тепло-коричневое, на нем «детский» рисунок: кисть винограда и ножницы. Когда смотришь на это блюдо, ощущаешь теплоту земли, согретой солнцем. На белом листе бумаги три фигуры, почти силуэты, обозначенные легкими черными линиями. В центре прелестная обнаженная женщина причесывает пышные волосы, подняв к голове обе руки. Рядом с ней сидит длинноногий фавн с изогнутыми рожками. Он подтянул тонкие колени почти к подбородку и, закрыв глаза, самозабвенно играет на флейте. По другую сторону от женщины

стоит кентавр. Его голова мудрого бога повернута в профиль, взгляд устремлен на женщину, в руках трезубец. Изгибы трех этих фигур, линии их тел так изящны, так гармоничны и певучи, что, глядя на них, слышишь гимн любви и красоте, возносимый художником.

С Алексеем и Зоей мы ездили на концерт в Грасс. Но в этом городе, куда мы приехали вечером, я разглядела только вывески, вернее, одну и ту же вывеску «Духи», красующуюся на гостиницах, ресторанах, кафе — всюду, где это только возможно. Теперь я уже не забуду, что Грасс — центр парфюмерной промышленности. Концерт тоже запомнился. Молодой пианист исполнял Шуберта, Равеля и незнакомого французского композитора прошлого века, а в небольшом уютном зале сидели пожилые люди и радовались музыке. Обстановка напоминала Большой зал консерватории предыдущей эпохи: радостные встречи в фойе, особая тишина в зале, теплые аплодисменты и долгие расставания у подъезда.

Напоследок Оболенские пригласили нас к себе. Мы встретились в Ницце, у русской церкви. С чего начать? С их дома? С русской церкви? С Ниццы? Глаза и впечатления разбегаются, рука будто чужая. Начну, пожалуй, с Ниццы. Как никак, Ницца — пятый по величине город Франции.

Душа Ниццы — море. Ницца живет морем и у моря. За пределами набережной Ницца — обычный город с одним высокоразвитым видом производства — индустрией туризма. Никаких видимых следов большого Ницкого университета я не обнаружила, не считая обсерватории, куда Акива ездил по долгу службы, а я из любопытства. Но обсерватория, она же астрофизический факультет университета, находится за городом. С высокого холма, где она расположена, прекрасный вид на море. На холме кактусы растут рядом с одуванчиками, цветущими в январе, пальмы рядом с соснами, берез не видно, но эвкалиптами можно любоваться на каждом шагу.

Попытка создать в Ницце еще один центр вдали от моря, по моему, потерпела неудачу. Построенный местными архитекторами грандиозный Дворец искусств, туризма и конгрессов, или Акрополь, как его называли, сооружение такое же громоздкое и претенциозное, как его название, и главное чужое в этом городе. Считается, что оно походит на огромный многопалубный корабль — таков, во всяком

случае, был замысел. Каюсь, ни замысла, ни корабля не разглядела. Но туристское лицо Ниццы красиво и ухожено: чистая гладкая кожа, губы накрашены, глаза подведены. Возраст скрыт так умело, что город кажется лишенным прошлого. Почти. Французы захватили Ниццу в конце XVII века, но через несколько лет вернули Савойе. В XVIII веке Ницца принадлежала Сардинии. После успешной осады Тулона Ниццу снова присоединили к Франции, но в 1814 г. возвратили королю Сардинии. Только в 1860 г. Ницца окончательно вошла в состав Франции. Это событие увековечено на набережной, где на внушительном круглом постаменте с надписью: «Ницца Франции. 1860 г.» высится женщина-воин. Мраморные складки длинного платья, руки воздеты к небу — все как полагается. Жаль только, что этот Богдан Хмельницкий в юбке стоит в таком красивом месте.

По дороге к русской церкви на глаза попался небольшой сквер. Как мы ни торопились, зашли. Посыпанные песком дорожки, свежие зеленые газоны. На одном из них высокое оливковое дерево и скромная плита с надписью: «Это оливковое дерево, символ мира, посажено в честь героев, отдавших жизнь Франции». В другом конце сквера среди пальм, елей и магнолий стоит серый гранитный памятник: вытянутая рука с урной. На плите надпись: «Погибшим в Алжире». В центре сквера фонтан. Обнаженная женщина, высеченная из черного камня, сидит на низком постаменте, опустив руки в небольшую овальную чашу. По ее рукам, по длинным распущенным волосам струится вода. Вокруг фонтана, под деревьями сидят на скамейках пожилые женщины и мужчины, молодые мамы с колясками, бегают дети — жизнь продолжается. Смерть рядом, но жизнь продолжается.

Русскую церковь увидели неожиданно, войдя в ограду другого сквера. Вошли и замерли. Снова зеленый газон, все так же желтеет на дорожках песок и растут пальмы. Под пальмами стоит русская церковь. Большая, нарядная, она немного похожа на петербургскую церковь Спаса на крови и кажется удивительно знакомой. Но пальмы? Глаза, душа отказываются воспринимать это соседство. Луковичы куполов, звонница — почему они здесь, под чужим небом, в чужом сквере, рядом с пальмами? Изломы отторгнутого прошлого. Водовороты жизни, прихоти потока жизни... Подходят Оболенские, садимся в машину, едем к ним домой.

Едем долго, городские дома уступают место сельским, окруженным садами, в просветах между деревьями далеко внизу видно море, наконец останавливаемся. Алексей открывает калитку в небольшой дворик, вернее, в небольшой ботанический сад. Экзотические деревья, кусты, цветы, бассейн с красивыми рыбками — все сделано, выращено и ухожено своими руками. Своими руками украшен и небольшой дом: акварели, рисунки, раскрашенное дерево, поделки из глины. С глиной у Алексея особые отношения. В мастерской, устроенной под террасой, стоит, лежит и висит несколько десятков его работ: вазы, шкатулки, статуэтки, глина натуральная, раскрашенная, керамика и барельефы. Алексей собирает на побережье куски дерева, просоленные морем, и использует их как основание для барельефов на религиозные темы: житие Иисуса, Девы Марии и другие. Все его работы — более удачные, менее удачные — интересны, своеобразны и красивы, в каждой видно, как мастерски использована фактура дерева, глины, красок, в каждой светится душа. Но на то, чтобы устроить выставку, ни его, ни Зои не хватает, что, по-моему, страшно обидно. Потеря для них, потеря для всех, кто этих работ не видел.

В Марсель меня погнала жадность — не хотелось упустить возможность хоть краем глаза взглянуть на этот город. От Ниццы до Марселя два с половиной часа езды на машине, в середине дня у Акивы доклад. Фриш, организатор этой поездки, не скрывал, что на туристские развлечения вряд ли останется время. Но за прожитую жизнь накопился такой голод, такая жажда увидеть мир, что я поехала, не раздумывая. Марселя я не видела.

Вывавшись из утреннего потока машин, захлестнувшего распластанную вдоль побережья Ниццу, мы долго объезжали голые пепельные горы, расцвеченные островками бледно-зеленого леса. На самом деле мы объезжали не горы, а одну гору, знаменитую Викторину, которую так любил рисовать Сезанн. Но Сезанн рисовал ее с другой стороны, с нашей, из окна машины Виктория была похожа на мою крымскую любовь — Ай-Петри. Тянулись и тянулись аккуратные поля у подножия Викторины, бледно-коричневые, бледно-зеленые. Неожиданно, без перехода, появились многоэтажные дома большого современного города. Приехали. Марсель.

В Институте механики Акива расписался в книге для гостей и

нашел свою старую подпись с датой 28 августа 1961 года. Да, в предыдущий раз он был в этом институте больше 30 лет назад. Юля тогда еще не родилась, но это событие было уже не за горами. Из Франции Акива привез мне красивую кофту апельсинового цвета. Днем, когда он ушел на работу, я безуспешно пыталась примерить его роскошный подарок, стоя перед зеркалом в нашем знаменитом черемушкинском шкафу, бывшем также моим кабинетом, ящиком для постельного белья и гардеробом. Я носила эту кофту много лет. Чинила, переделывала, снова носила. Однажды в Крыму, в Кацивели, гуляя по ущелью с маленькой Юлькой, Машей и Лариным Мишей, я ее обронила. Оставила детей, бросилась искать, нашла и счастливая, умирая от страха, примчалась назад. И вот снова Институт механики. На сей раз я не осталась в шкафу в Черемушках, я в Марселе, а Юля сейчас в Бостоне, Маша в Нью-Йорке, Миша в Хьюстоне.

Акиву долго водили по залам и комнатам с трубами, проводами, гудящими и мигающими приборами. Он очень странно выглядел на этом непривычном фоне, но, к моему удивлению, воспринимал все происходящее как нечто совершенно естественное и в каждой лаборатории что-то увлеченно обсуждал со своим очередным гидом. В соответствии с традициями после обхода лабораторий всех участников встречи (и одну неучастницу) пригласили в ресторан на ланч. Правда, местоположение ресторана несколько поколебало мое представление о традициях.

Мы жили уже на ул. Вавилова в роскошной, как мы считали, трехкомнатной квартире, когда в Москву из Швейцарии приехал профессор Бэтчев со своей взрослой дочерью. В разгар праздничной трапезы дочь выразила желание осмотреть квартиру. Я показала ей нашу большую детскую комнату, прибранный по случаю гостей Акивин кабинет и, вернувшись к столу, с гордостью сказала, что гостиная, где мы сейчас ужинаем, служит нам столовой и спальней. «Ой, как интересно! — воскликнула она, — я еще никогда не ела в комнате, где спят». Нечто подобное сказала и я, когда оказалось, что ресторан находится в метро.

Несмотря на странное местонахождение, ресторан оказался вполне приятным, но ланч тянулся так долго, что на вожденную прогулку по городу осталось очень мало времени. Выручила машина.

Нас отвезли к церкви Богородицы, заступницы Марселя и его жителей. Церковь стоит на высоком холме, откуда хорошо видны город, море и остров Иф с знаменитым замком, где когда-то томился граф Монте-Кристо. Когда смотришь на небольшой приветливый замок на зеленом острове вблизи марсельской гавани, понимаешь, каким фантазером был великий Александр Дюма. Желто-розовые дома города, синее море и синее небо — вид с холма очень красив.

Но и церковь производит сильное впечатление, хотя сама по себе не представляет художественной ценности. Все стены внутри церкви покрыты надписями: «Спасибо Богородице за спасение сына», «Спасибо за излечение дочери», «Спасибо за облегчение душевных мук». Под каждой надписью число и подпись. Многие сделаны совсем недавно. Культ Богородицы, как ни странно, до сих пор жив в Марселе. Он играет большую роль в жизни этого города, славящегося легкомыслием и беспутством, следов которых я не заметила. В отличие от следов войны, которые бросаются в глаза.

Память о войне в Марселе берегут и чтут. Выбоины от снарядов, намеренно оставленные на стенах церкви Богородицы, американский танк на постаменте посередине улицы, место в порту, где высадился американский десант, — все это мы успели увидеть за полтора часа нашей короткой экскурсии. Потом была Акивина лекция, на которую пришло человек сорок, а потом неумолимый Фриш увез нас домой. Увы, Марселя я не видела.

Мы возвращались в темноте, но по обеим сторонам шоссе текли два широких потока огней. Ярко освещено было все, что создано на побережье для удобства и удовольствий состоятельных любителей удобств и удовольствий. Отели, рестораны, клубы и казино призывали в свои объятия с жаром и размахом, исчисляемыми миллионами киловатт/часов. И какое разнообразие! Отели с кондиционерами, бассейнами, теннисными кортами, видом на море и местом для личных машин (два последних преимущества ценятся особенно дорого); отели, построенные в виде спиралей, цилиндров, пирамид и сегментов; отели с наклоном к морю (кого сейчас интересуют ступени вроде Пизанской башни?); отели, откинувшие корпус в сторону, стоящие на одной ноге, на голове — да здравствует выдумка, да здравствуют стекло, металл и бетон! И да здравствует свет! Кило-

ватт не жалеть! Южный берег Франции ночью не лазурный, он электрический.

Да, Марселя я не видела, но по совету того же Фриша мы побывали в Ментоне. Какой это теплый, солнечный и ласковый город. Такой же теплый, солнечный и ласковый, как погожие январские дни на Лазурном берегу. В такие дни прогулка из Сен-Жана в Болье, ближайший городок, откуда можно поездом добраться до Ментоны, сама по себе подарок судьбы. Неширокая дорога послушно повторяет изгибы высокого берега. При каждом повороте открывается новый прекрасный вид на горы, на море с дальними и ближними мысами. Над каменными заборами вилл со «скромными» названиями, вроде «Вилла Ротшильда», красуются вершины могучих сосен с длинными мягкими иглами, пышные кроны магнолий и мимоз, качают головами пальмы. А по дороге, наслаждаясь разлитой кругом красотой и воздухом, который хочется пить, хочется смаковать, как хорошее вино, гуляют люди: изредка молодые в джинсах и куртках, чаще хорошо одетые пожилые пары, одинокие женщины. Покой, царящий здесь, поражает. Не красота, видит Бог, достойная изумления — покой, прежде всего покой.

Недалеко от нашей гостиницы высоко над морем тянется пустынная прямая улица — бульвар генерала де Голля. Здесь тоже по сторонам стоят каменные заборы с неприметными калитками и приметными воротами гаражей, растут пальмы, сосны, кипарисы и мимозы. По улице катаются на велосипедах пожилые пары, оживленно разговаривая друг с другом, проносятся одинокие велосипедисты. Открылась калитка. Женщина в халате поверх брюк, в накинутой на плечи вязанке перешла через дорогу, бросила письмо в почтовый ящик и вернулась домой. Крутая каменная лестница в разрыве заборов. На площадке лицом к морю стоит старуха. Седые, коротко остриженные волосы, серое, хочется сказать седое, пальто, на ногах толстые шерстяные носки и босоножки. Рядом на земле плетеная корзинка с кочаном капусты, пакетами и свернутой в трубку газетой. Старуха оборачивается, берет корзинку и поднимается по лестнице. Глаза сияют, радостная улыбка на загорелом лице с глубокими морщинами. Откуда этот покой? Горы его дарят? Солнце? Море? Но ведь здесь тоже получают письма, читают газеты.

Карикатура в «Геральд трибюн»: стол уставлен бутылками водки. За столом со стаканами в руках сидят Клинтон и Ельцин. «Понимаешь, Борис, — говорит Клинтон, — я боюсь, что реформы провалятся, народ взбунтуется, к власти придут реакционеры и страна вернется во мрак восьмидесятых годов». — «Понимаю, Билл, — отвечает Ельцин, — у нас в России те же проблемы». В маленьком тихом городке украли двух девочек. Одну из дома, где в это время спала ее мать, другую из детского сада. После долгих поисков их трупы нашли. Убийцу тоже нашли. Это США. Двое подростков 12 и 14 лет увели двухлетнего мальчика из игровой комнаты большого магазина, где воспитательницы, обычно вдвоем, развлекают детей, пока родители занимаются покупками. Они затащили мальчика на пустырь и забили кирпичами насмерть. Это Англия. Муж убил любовника жены и принес его отрезанную голову жене в больницу, где она лежала из-за неблагополучной беременности. Семнадцатилетняя девушка-инвалид в кресле на колесах, которая сообщила в полицию, что трое бритоголовых вырезали у нее на щеке свастику за то, что она отказалась кричать по их приказанию: «Смерть инвалидам!», как выяснилось, изуродовала себя своими собственными руками. Это Германия. А убийства туристов в Египте и иностранцев в Алжире? А Израиль? А бывшая Югославия? А бывший СССР? Что же ты, Господи, сделал с миром, который сотворил? Ты хочешь сказать, что море, цветущие мимозы и мандарины среди глянцево-листые созданы тобой, а бесконечные кровопролития и надругательства над всем и вся дело наших собственных рук? Ты прав, ты прав, Господи, но зачем же ты допустил? И как это вяжется одно с другим — дорога в Болье, бульвар де Голля и «Геральд трибюн»?

Небо вдруг затянуло облаками. Солнце то показывается на минуту, то снова исчезает. Море потемнело, но все так же переливается вода всеми мыслимыми оттенками синего и голубого цвета, море все равно лазурное. И удивительно прозрачное. Каждый камешек виден в воде, как когда-то в Крыму, и скалы здесь такие же, и так же бьются о них волны, только мы другие. На мысу рядом с Сен-Жаном солнечно и просторно — вокруг море. Здесь гуляют пожилые люди вроде нас, родители с маленькими детьми, бабушки и дедушки с внуками. Сидят небольшими группами на камнях, согретых солнцем, что-то

едят. На расстеленных бумажных салфетках стоят яркие картонные коробки, пластиковые бутылки с соками и водой. Молодые, видимо, катаются на лыжах, благо, до снежных вершин рукой подать. Алексей и Зоя рассказывали, что летом, накатавшись на лыжах, они на машине спускаются вниз и с наслаждением плавают в море.

Летом в Ницце многие еще катаются на яхтах. Порт Сен-Жана — это лес мачт. В небольшом заливе, отгороженном от моря песчаной косой, где стоит маяк, между яхтами не видно воды. Вдоль залива теснятся дорогие магазины и рестораны. В Сен-Жане это первый этаж набережной, с которой они не видны. Но реклама практична и вездесуща. Любуясь морем со второго этажа набережной, никто не ошибется лестницей, спускаясь к кинотеатру или пивному бару на самом берегу. А Лазурный берег — это все-таки метафора, потому что берега, вольного морского берега на самом деле нет. От Сан-Тропеа до Ментоны тянется сплошная полоса пляжей: общественных, частных, платных, где есть кабинки, туалеты, шезлонги и зонтики, и бесплатных, где нет ничего, кроме моря, песка или гальки. Вдоль пляжей построены набережные, которые иногда превращаются в шоссе или, огибая мыс, уступают место пешеходным дорожкам вроде той, по которой мы шли из Сен-Жана в Болье.

Поезда пришлось подождать, но на чистенькой платформе крохотной станции нас ожидал приятный сюрприз: театральная афиша, сообщавшая, что в Монакском оперном театре идет опера Чайковского «Евгений Онегин» с Дмитрием Хворостовским в главной роли. Странно читать такую афишу по-французски, еще более странно слышать русскую речь в поезде Ментона — Ницца (на обратном пути сзади нас двое мужчин громко говорили по-русски) и уж совсем странно в солнечный январский день сойти с поезда и оказаться в Ментоне.

Ментона — это, собственно, три разных города: набережная-ресторан, где у самой воды стоят столики кафе, баров и прочих заведений, красиво утоляющих голод и жажду, южный туристский город — нарядный, чистый, с пальмами, акациями и завлекательными магазинами, и старый город с лабиринтом узких улочек, карабкающихся вверх по склонам. Центр старого города, его душа — церковь Сен Мишель. Это самая большая и самая красивая барочная церковь на

побережье. К сожалению, она так зажата со всех сторон домами, повернутыми друг к другу под самыми разными углами, что увидеть ее всю сразу невозможно. Хорошо виден только фасад, выходящий на маленькую площадь, где в сезон устраивают концерты камерной музыки. Не знаю, как звучит здесь музыка, но декорации этого концертного зала под открытым небом очень трогательны и живописны.

Из реликвий прошлого в Ментоне сохранился еще бастион XVII в. Этот некрасивый угрюмый куб со стенами из грубого камня, узкими окнами-бойницами и четырьмя цилиндрическими башнями, нелепо торчащими по углам, громоздится на самом берегу моря. Трудно понять, почему Кокто выбрал именно это здание для своего музея, и совсем непонятно, как ему удалось превратить крепость в храм искусства. Но удалось. Вход в музей украшен большим панно с условным изображением человеческого лица на фоне традиционного здесь серо-белого узора. Это как бы мостик, связывающий груды камней на берегу и сам бастион (тоже груды камней) с изысканными произведениями искусства, собранными в музее. Рисунки, панно, керамика, вазы из необожженной глины, фотографии самого Кокто, его посмертная маска — чего здесь только нет. Как ни странно, персонажи Кокто, его грустные, насмешливые, иногда вычурные, нарочито примитивные красавицы, арлекины, дон-кихоты, пары с одним туловищем, головы без туловища хорошо смотрятся на фоне серых каменных стен, и узкие щели окон, сквозь которые проглядывает море, тоже нисколько им не мешают. Но при всей своей оригинальности и занятости музей Кокто несравним с музеем Шагала.

Музей Шагала стоит на одном из холмов, на которых разбросана Ницца. Невысокое одноэтажное здание из небольших желтовато-серых гранитных плит окружено зеленым парком. Здание необычной формы: оно напоминает широко растянутую гармонь со сведенными концами. Парк тоже необычный. Он был создан специально для этого музея, построенного при участии Шагала. В каждом зале вид на парк из нешироких вытянутых от пола до потолка окон как бы дополняет экспозицию зала. А когда смотришь на музей из парка, он воспринимается как его живописное украшение. Одна из наружных стен музея занята большой овальной фреской, отражающей в пруду. Полузамкнутый дворик, скамейка, где можно сидеть и смот-

реть на фреску и ее отражение, этот уголок музея и парка — преддверие и завершение мира Шагала, в который попадаешь, переступив порог вестибюля.

Полное название музея — «Национальный музей библейского послания Марка Шагала». Он был построен в 1973 году. Здесь все сделано так, как хотел Шagal. Кроме выставочных залов в музее есть библиотека и прекрасный концертный зал с большими витражами Шагала. Как видно из развешенных по стенам афиш, в зале выступают музыканты со всего света. Одним из первых мне попалось на глаза имя Ростроповича. На небольшой сцене стоит клавесин с поднятой крышкой, расписанной Шагалом. Клавесин был изготовлен в Чикаго и подарен Шагалу его американскими друзьями и почитателями.

Шагал похоронен недалеко от Ниццы, где жил с женой в последние годы. Памяти своей жены он посвятил целый зал музея. Здесь много ее портретов, вернее, женских портретов, нарисованных художником Шагалом. Они все выполнены в красноватых тонах, все очень теплые и радостные. Но самое удивительное в музее — цикл акварелей и гуашей на библейские темы: возвращение блудного сына, Иосиф рассказывает о своих снах фараону, Авраам оплакивает Сару, Авраам и Исаак идут к месту жертвоприношения. Акварелей много, и нарисованы они в странной для Шагала манере — сугубо реалистической. На всех этих картинах с каноническими сюжетами люди ходят по земле, у них одна голова и столько рук и ног, сколько полагается. Все как полагается и в акварели «Давид». Трудно представить себе более реалистический портрет юноши. Но сколько нежности, сколько любви, сколько душевной красоты даровано изображению этого юноши, этого мальчика... Да, сюжеты канонические, но картины рисовал не канонический художник, а человек с необъятным сердцем. Поэтому так трудно уйти из музея Шагала. На свете счастья нет. Покоя и воли тоже давно нет. А красота есть. Она не спасет мир (спасет ли что-нибудь наш обезумевший мир?), но она дарит радость. Она дарит надежду. Спасибо Марку Шагалу. И спасибо Лазурному берегу, где красота разлита так щедро.

Особенно щедро она разлита на клочке земли под названием Великое княжество Монако. По площади Великое княжество значи-

тельно уступает самому маленькому району Москвы. Границы этого государства видны из любой его точки. Тем не менее оно делится на две части: старый город, или просто Город, как его называют, и новый город — Монте-Карло. Город расположен на высокой скале, с трех сторон омываемой морем. Несмотря на свои малые размеры он сохраняет величие столицы. Перед дворцом, где и сейчас живет князь Монако, марширует стража, состоящая, правда, из одного солдата. В газетах пишут, что князь собирается вступить в законный брак со своей давней возлюбленной, известной в молодости шведской манекенщицей. Сын не отстает от отца: он уже объявил о помолвке со знаменитой парижской манекенщицей. Над дворцом явно витает тень Грейс Келли. А на дворцовой площади к стенам государственных учреждений прижимаются киоски с сувенирами, где можно купить, например, веер с портретами всех монашеских князей. В Городе есть мэрия, здание парламента, кафедральный собор. Океанографический институт (один из князей Монако был известным океанографом), школа. Каким-то чудом по узким улочкам с рестораничками и магазинами ездят машины и автобусы.

Скала, где стоит Город, почти отвесно обрывается в море. Тем не менее на ее склонах разбит ботанический сад — гордость князей Монако. Кактусы, поражающие разнообразием, агавы, поражающие размерами, кипарисы, пальмы, могучие итальянские сосны, платаны, экзотические цветы и кустарники — что здесь только не растет! Есть и бассейны с причудливыми рыбками, и скамейки, где можно, наверное, часами сидеть и смотреть на море. На одной из них мы устроили ланч, по-нашему перекус. Сидели, ели хлеб с сыром и смотрели, смотрели и смотрели. Как красиво кругом! Как умело использован необычный рельеф этого сада! Да, монашеским князьям есть чем гордиться. Но удивляет и радует в Монако не только живописность. Еще больше поражает осязаемая повсюду на этой скале привязанность монашеских к своей земле. Каждый камень в Монако на месте, каждый квадратный сантиметр использован так, чтобы было удобно и красиво сегодня и всегда. Похоже, что девиз монашеских: «Мы жили здесь испокон века и намерены жить века». Свидетельство чему их новый город — Монте-Карло.

Узкая полоса земли, зажата между морем и цепью гор, — вот и

все Монте-Карло. Несколько улочек спускаются к морю, несколько поднимаются в горы. Главная, она же единственная настоящая улица начинается у вокзала и приводит в приморский парк и на площадь, где в одном огромном здании в пышном мавританском стиле уместаются знаменитое казино и не менее знаменитый Монакский оперный театр. Тот самый, афишу которого мы видели на станции. (Билеты доступны только весьма состоятельным людям, увы.) На улице шумно: мчатся машины, рокочут высоченные строительные краны, несутся мотоциклы. Дома бесстрашно цепляются за склоны гор, громоздятся один над другим, развернув фасады под острыми углами друг к другу и к улице. Улицы неожиданно расширяется. Небольшая площадь. За ней глубокое ущелье, вход в которое преграждает маленькая нарядная церковь. Позади церкви через ущелье перекинут мост, в глубине еще один. И снова деловой современный проспект: банки, конторы, туристические агентства, рестораны, магазины. На одном из домов мемориальная доска в честь Рауля Гинзбурга, более 20 лет руководившего Монакским оперным театром. Очень уж не французская фамилия. Потомок эмигрантов? Может быть, из России? Небольшая площадка над морем. Интересный памятник: на низком широком постаменте стоит на ребре неглубокая круглая чаша, в ней полулежит женщина. Тонкий профиль, короткое платье с гладким лифом и пышной юбкой, красивые ноги с обнаженными ступнями свисают за край чаши. Джакомо Манцу, бронза, 1982 г.

Главную улицу Монте-Карло украшают невысокие тонкоствольные деревья с густой темно-зеленой листвой, расцвеченной оранжевыми шарами. Это мандарины. Настоящие. И деревья и мандарины настоящие. Я останавливаюсь у каждого дерева. В Сен-Жане тоже растут мандарины, там тоже хочется ходить и ходить по улицам, любоваться морем, небом, мандаринами на деревьях. И под деревьями, благо их никто не подбирает. Однажды, возвращаясь с моря, я подняла с земли несколько мандаринок. Дома открыла настежь окно-дверь и, глядя на маяк, на море, на ближний и дальний мыс, сидела и ела чуть побитые мандарины с терпким запахом глянцевых листьев и соленой воды. Ела я что-нибудь вкуснее за всю мою жизнь? Видела что-нибудь красивее этого залива? Не знаю. В Монте-Карло на шумной улице я останавливаюсь и ахаю у каждого

дерева. Прохожие не обращают внимания ни на меня, ни на мандарины. Нигде ни одной надписи: «Не рвать. Не ломать». Но много указателей: «К центру международных встреч», «К банку Ротшильда», «К театру Грейс Келли», «В казино».

Парк перед казино разбит на склонах высокого морского берега. Много памятников: Сергею Дягилеву, Массне, Берлиозу. Парк подступает вплотную к задней стене казино. У самой стены высокая многоствольная магнолия раскинула огромный шатер из глянцевых зеленых листьев. Но цветов в шатре нет — январь, цветут только мимозы. В центре площади, к которой обращен фасад казино, журчит безликий, но внушительный фонтан, окруженный безликой, но внушительной клумбой пестрых цветов. Вокруг отеля, магазины и рестораны тоже весьма внушительные и безликие. Вся эта лишенная дара речи площадь во все горло кричит о роскоши и богатстве.

Я со страхом приблизилась к высоким зеркальным дверям казино. Акива, как человек бывалый, снисходительно надо мной подсмеивался. Вошли, разделись. Внутри все поражает размерами. Огромный вестибюль, у дверей огромного роста швейцары, в недостижимой выси потолков огромные люстры. «Галстук! Где мой галстук?» — внезапно всполошился Акива. Боже, где, действительно, галстук? Пускают в казино без галстука? Галстук в конце концов нашелся. В поезде было жарко, Акива снял его и сунул в карман пиджака. Не знаю, пускают ли в казино без галстука, но без паспорта не пускают. Свои удостоверения мы оставили дома. Попытка Акивы приобщить меня к мировой культуре на сей раз кончилась неудачей — нас не пустили.

В Болье нам сказали, что последний автобус в Сен-Жан уже ушел. Ушел, так ушел, дойдем пешком. В темноте, спокойствия ради, решили идти по шоссе, а не вдоль моря. Дорога простая: все время прямо. Море слева, горы справа, обед, он же ужин, впереди. Жизнь прекрасна. Первыми исчезли горы, но это нас не удивило — поздно, темно. Через некоторое время стало изгибаться и раздваиваться шоссе, но мы, слава Богу, во Франции: на каждой развилке, на каждом перекрестке есть четкие указатели. Судя по времени, до нашего дорогого Сен-Жана уже недалеко. Жаль, что море куда-то подевалось, но, наверное, скоро покажется. И море, действительно, вскоре показалось. Справа. По шоссе изредка проносятся машины,

кругом полная тьма, но море видно отчетливо. Оно справа. Жизнь прекрасна, надо только помнить, что не только прекрасна, но и удивительна. Что делать? Идти вперед? Повернуть назад? Что случилось? Где теперь зад, а где перед? Клянусь на чем свет топографию, топографию и всю остальную географию. «Чудес-то не бывает, — твердит Акива. — Почему же море справа?» Откуда я знаю, почему оно справа?

В растерянности стоим на обочине. Поднимаю руку в надежде остановить какую-нибудь машину и спросить дорогу. Тщетно. Машины стремительно мчатся мимо. Боятся? Торопятся? Наконец удача. На другой стороне шоссе кто-то останавливается. Бросаюсь к спасителю. Спрашиваю дорогу в Сен-Жан, слышу в ответ, что мы идем правильно, спрашиваю снова, показываю на море. Шоссе узкое, объехать остановившуюся машину нельзя, сзади гудят. Водитель теряет терпение и уезжает. Идем вперед. Море справа. И вдруг... Нет, я не ошиблась, наш перекресток! И море опять слева! Вот оно наше авеню Альберта Первого! Мы так и не выяснили, кто такой этот самый Альберт и сколько всего их было, но сейчас он все равно нам друг. От радости я громко запела, благо, кругом не было ни души. Запела, конечно, про флибустьеров и дальнее синее море, раз уж оно рядом и снова слева. Хотя на самом деле я пела о Ницце, о счастье побывать на Лазурном берегу. Но с Акивой не попоешь. Я ошиблась в словах, он стал меня поправлять, и я замолчала. Вовремя. Мы пришли.

Сен-Жан находится на узком мысу. Дорога из Болье в Сен-Жан идет сначала по одной стороне мыса, потом по другой, поэтому море то справа, то слева. Эту тайну на другое утро открыл нам Фриш. Он очень долго над нами смеялся. Но я считаю, что Ниццу я все равно воспела, присоединив свой малозвучный голос к многочисленному хору прославленных и безвестных певцов. Да, нужен мне — всем нужен! — берег Лазурный. Что же касается Африки...

Перед отъездом во Францию Акива позвонил своему давнему другу Чаку Ван Атте, профессору университета в Сан-Диего. Вопреки ожиданию Чака он не застал, к телефону подошла его жена Энн, которую заставить дома обычно нелегко. Энн вырастила дочь, бросила работу помощницы зубного врача и в зрелом возрасте занялась изучением китайского искусства. Поступила в университет,

много раз ездила в Китай, овладела техникой китайской акварельной живописи, с увлечением рисует. Она сказала, что Чак взял отпуск и уехал на пару недель в Африку. Отпуском он очень доволен, поднялся на Килиманджаро, скоро вернется.

В связи с потеплением климата снега Килиманджаро тают, может быть, в недалеком будущем от них останутся только воспоминания и рассказ Хемингуэя. Я бы с удовольствием поехала в Африку. Подняться на Килиманджаро я уже, к сожалению, не могу, но увидеть снега Килиманджаро — разве это не огромная радость?

2. Невоспелый Париж

*Не знаю, что стало со мною,
Печалью душа смущена.
Мне все не дает покоя
Старинная сказка одна.*

Г. Гейне, пер. В. Левика

Мы шли под грохот ... Нет, все-таки не канонады. Вырываясь из-под земли, поезда метро несутся вдоль набережной Сены в открытом туннеле. Грохот, скрежет тормозов, пауза, наполненная гулом машин, мчащихся по улице, и снова грохот. Справа течет Сена, слева, по другую сторону потока машин, плечом к плечу стоят современные многоэтажные дома. Один спит огромным полушарием сплошных зеркальных окон. Другой режет глаза узором из железных полос. Идти трудно. Небывалые снегопады и дожди переполнили чашу терпения Сены, она вышла из берегов, затопила нижние ступени лестниц, площадки у воды, пешеходные дорожки. Текут и текут воды Сены. Машины, поезда метро — ей нет дела до сегодняшней суеты. А нам есть дело, мы ведь только люди. Идти трудно: под ногами вода, в ушах звон. Наконец спасение — мост. Старый низкий мост с опорами-арками. Скорее на другую сторону. Перешли и окунулись в тишину.

Смеркается. В этот первый день в Париже — пока прилетели из Ниццы, добрались с аэродрома до гостиницы, справились с неотложными делами — на прогулку остался только вечер. Уже смеркается. Низкое небо в серых тучах, серо-зеленая вода Сены, серая

лента тротуара вдоль узких островерхих домов, неширокая замощенная серым камнем мостовая. И тишина. По какому мосту мы перешли в другой мир, в другой век? Названия моста не знаю, а век семнадцатый. Анжуйская набережная. Таблички на четырех-пятиэтажных домах свидетельствуют: «Этот дом в 16... году построил королевский обойщик, живший здесь до своей смерти в 16... году». «В этом доме, построенном на свои средства в 16... году, жил и умер поставщик двора его Величества»... такой-то. И так почти на каждом доме. И каждый шаг на этой набережной с трехсотлетними домами уносит все дальше и дальше от самолетов, аэропортов, поездов и нашего бездомного XX века.

Внезапно, казалось, незабываемый покой Анжуйской набережной сминает налетевшая буря. Вздываются вверх, тянутся к нам черные, темно-зеленые руки. Нет, это под ударами ветра схлестнулись могучие ветви огромных деревьев. Нет, этот неудержимый порыв, этот вихрь скрещенных изогнутых опор — он же из камня. Перед нами апсида Собора Парижской Богоматери. Мы не заметили, как вышли к Собору, и увидели его сзади, а не с фасада. Кто перенес нас из одной сказки в другую?

Течет, течет Сена. Снова мост. За мостом путаница узких улиц Латинского квартала. Светятся окна в мансардах, светятся витрины кафе, кондитерских, ресторанчиков. На улицах много людей. Их лица светятся улыбкой. Наверное, привычной, ничего не выражающей, но я улыбаюсь им в ответ, и на душе становится теплее. Как легко идти по этим улицам. Идешь, будто плывешь в спокойной ласковой воде. Потому что Латинский квартал такой старый? Потому что так много молодых лиц вокруг? Чары разрушает мое брненное тело. «Хватит, — бесцеремонно заявляет оно, — пора возвращаться. Есть у тебя голова на плечах или ты уронила ее в Сену?»

Завтрак в гостинице входит в стоимость номера. (Для нас чудовищную, хотя гостиница скромная, но нам некуда деться.) На следующее утро покорно встаем и идем завтракать. В небольшой столовой без окон можно ослепнуть от сияния пластика. Столы, стулья, стены и потолки — все из пластмассы. Три официантки (на шесть посетителей), видимо, тоже. Одна из них — красавица цвета какао, две другие — гигиенические халатки без лиц. Прежде чем поста-

вить на столик кофе, две булочки и джем, шоколадная красавица дарит нам улыбку кинозвезды и просит показать ключ от номера. Акива протягивает ей перфорированную карточку, которой мы открываем дверь. (Пока с большим трудом.) В столовой тихо, как в покойницкой. Наверное, поэтому я мысленно улетаю из Парижа в город Боулдер, штат Колорадо.

Небольшая столовая в гостинице. В углу камин, рядом диван. Тесно, между столиками едва можно пройти. В широкие окна смотрит во все глаза голубое небо, бесцеремонно заглядывают цветы. На длинном столе-прилавке хлеб, булочки, сыр, масло, джем, фрукты, соки — список можно продолжить. Рядом, на столе поменьше, тостеры, кофейная машина, кипящий титан, коробки с пакетиками чая. Завтракают человек 30, много детей. В США не принято говорить детям «нет» и «нельзя». Это считается нарушением прав ребенка. С нарушением прав в США не шутят, даже если речь идет о правах пятилетних нахалов и нахалок и шестнадцатилетних наркоманов и убийц. («Ох, доиграются американцы со своей демократией, ох, доиграются», — твердит Юра Тувим.) Дети бегают между столами, хватают, что попало, плачут, смеются. Родители невозмутимо пьют кофе. Время от времени открывается дверь, в комнату появляется темнокожий юноша в джинсах, бросает в ящик-урну одноразовые тарелки, оставленные на столах невоспитанными посетителями, и уносит в мойку кофейные и чайные чашки.

Странно, что прошлое вдруг оживает, отрастает заново, как хвост у ящерицы, даже если ящерице семьдесят лет. (Это мне 70? Не может быть.) Почему так нужно прошлое? В чем его власть над настоящим? Жалко, что я недостаточно внимательно слушала Леонида Ефимовича Пинского, когда он на филфаке МГУ рассказывал нам о повести Шамиссо «Необычайная история Петра Шлемиля». Петер лишился тени, т. е. прошлого, т. е. себя. Не могу вспомнить цепь рассуждений Леонида Ефимовича. Помню только свое изумление. Оно живо во мне до сих пор. Прошу извинения, полет явно затянулся.

Наша гостиница стоит на углу двух бульваров: Сан-Марсель и Больничного, названного так в честь больницы Сальпетриер, самого большого лечебного комплекса Парижа. Когда-то в уцелевших до нашего времени корпусах делали порох. В конце XVII в. Людо-

вик XIV приказал перестроить завод в больницу. В этой больнице под руководством Шарко работал начинающий врач Фрейд.

Ближайшая к нам станция метро — Аустерлицкий вокзал. Через квартал от гостиницы в бульвар Сан-Марсель упирается улица Жанны д'Арк. На перекрестке дома расступаются, образуя небольшую площадь со старым памятником Жанне. В двух кварталах от гостиницы бульвар Сан-Марсель перерезает широкая шумная улица Гобеленов. В середине XV в. — почти пять с половиной веков назад! — некий Жан Гобелен построил здесь небольшую красильню. Сейчас старое приземистое здание фабрики знаменитых французских гобеленов, где их делают до сих пор, с недоумением поглядывает на своих молодых легковесных соседей и на суетливую толпу прохожих. Здание сложено из камня, его вытянутый фасад украшен строгими барельефами: ткач за работой, красильщик у чана и т. п. Венчает фасад внушительный фронтон с многофигурной композицией.

От фабрики гобеленов вверх по улице минут пять ходьбы до Площади Италии. Она, как корона, надета на вершину холма. Зубцы короны — современные стеклянно-бетонные башни с лабиринтом магазинов, контор и ресторанов. Оправа — старые тупоносые дома-утоги. Вниз по склонам холма лучами расходятся улицы-скверы. У начала одной из них стоит памятник: невысокий постамент, на нем голова мальчика. На постаменте надпись: «Вечная память детям 13 округа, погибшим за Францию, свободу и мир». Рядом металлический столбик, к нему прикреплена табличка с воззванием де Голля: «Франция проиграла одну битву, но не проиграла войну. Французы, объединимся в борьбе и надежде, объединимся во имя спасения родины!» Война кончилась почти 50 лет назад. Таблички с воззванием де Голля продолжают жить в городе. На стенах домов, на парапетах набережных часто встречаются надписи: «Здесь тогда-то погиб, застрелен»... Имя, фамилия, почти всегда возраст: 20—25 лет. В Сорбонне, в Эколь нормаль при входе на каждый факультет на стенах висят длинные списки погибших во время войны. В Париже, видимо, знают, зачем нужно прошлое.

От гостиницы до Эколь нормаль, где Акива был официальным гостем, не больше 20 минут ходьбы. Знаменитая Эколь нормаль — оказывается, всего лишь несколько кирпичных коробок. Внутри боль-

шие комнаты со старомодными высокими потолками, серые коридоры, крутые лестницы. Несоответствие формы и содержания вызвало у меня детское чувство обиды. Но вокруг все интересно. Улица Муфтар, например. По обеим ее сторонам стоят столы, столики, прилавки, заваленные фруктами, овощами, мясом и рыбой. Что рыбой! Моллюсками, ракушками, устрицами, крабами, креветками, не говоря про здешний французско-туристский ширпотреб: бюстгальтеры, медные кастрюли, свитера, бусы, обувь. Здесь же пекут на жаровнях блины, жарят каштаны — какие запахи! Какие краски! Какие кафе, бары и ресторанчики! И как чисто кругом!

Недавно я прочла воспоминания Вертинского и узнала, что раньше здесь все было по-другому: «На улице Муфтар в подвале на задворках, среди мусорных ям и развалин, помещался кабак, особенно посещаемый туристами, желающими узнать «дно» Парижа. Их приводили туда... гиды... часто после спектаклей «Гранд опера», во фраках и вечерних туалетах. Там собирались апаши, воры, проститутки. Хозяйкой была старая, седая бывшая светская львица, опустившаяся до самого «дна», с манерами хозяйки публичного дома и хриплым голосом. Там танцевали..., пили, хохотали, пели. Полуголые, растрепанные женщины извивались в непристойных телодвижениях, танцую с сутенерами и ворами. Тусклые керосиновые лампы освещали грязные потолки, столы и грубые скамьи. Внезапно в разгар веселья начинался скандал: бутылки, стаканы, столы — все летело в воздух, в руках у апаши сверкали ножи. Кто-то разбивал бутылкой лампу. Наступала темнота, неслись стоны и крики: «Убили! Убили женщину! Полиция!» Резкий свисток оглашал воздух. Испуганных англичан и американцев выводили тайком через задние дворы. Они были в восторге и ужасе. Они видели настоящее «дно». Когда они уходили, зажигался свет, и все эти «апаши», «воры» и «убийцы» спокойно разгримировывались и шли к «львице», тоже разгримировывавшейся, получать свой разовый гонорар. Это были актеры из маленьких театров, а сама «львица» была актрисой «Одеона». Вся эта комедия разыгрывалась для переживаний доверчивых иностранцев». (А. Вертинский. «Дорогой длиною...», Москва, «Правда», 1991, стр. 201-202.)

Очень, по-моему, живописная сцена. Но пора и честь знать. Я возвращаюсь в год 1994-й. На улице Муфтар не только торгуют, едят

и пьют. Здесь можно посидеть в скверике рядом с фонтаном и полюбоваться на большое круглое окно-витраж, украшающее фасад древней церкви Сен-Медар. Ее начали строить в XV веке в честь Св. Медара, покровителя Меровингских королей. Строительство продолжалось почти полтора столетия. Церковь невысокая, но массивная, с мощными контрфорсами, подпирающими боковые приделы. Ее возраст, вид внушают почтительное удивление. С таким же почтительным удивлением я как-то вечером поднялась по ступеням церкви Сен-Рош, которую мы случайно увидели, возвращаясь из Лувра. Огромная, мрачная, она была едва освещена и почти безлюдна. Этой церкви без малого триста лет, здесь похоронены Корнель и Дидро, а под ее высокими барочными сводами, во мраке капелл, кажется, еще витают души гильотинированных во время французской революции, которых везли мимо Сен-Рош на соседнюю площадь Согласия, тогда площадь Революции. Шарлотта Корде, Дантон, Робеспьер, Людовик XVI, Мария Антуанетта — оглядывались они на церковь, как оглядывались мы?

Церквей в Париже много. Они все разные. Церковь Сент-Этьенн-дю-мон совсем не похожа на Сен-Медар и Сен-Рош. Она стоит рядом с Пантеоном недалеко от улицы Муфтар. Не знаю, к какому веку, к какому стилю ее отнести. Сент-Этьенн-дю-мон начали строить в XV веке, кончили в XVII. Из-за ее классического фасада выглядит готическая башня, стены украшают витражи XVI и XVII веков. Ее внутреннее убранство — стройные колонны, лестницы с легкими узорными перилами — пестрая смесь готики и ренессанса. Но вопреки теории, эта небольшая церковь, построенная с нарушением всех правил и стилей, удивительно гармонична. И такая она теплая, такая радостная и трогательная, что невольно тянешься к ней глазами и душой. Снаружи Сент-Этьенн-дю-мон напоминает вильнюсский костел Св. Анны, который Наполеон хотел увезти в Париж. Да простят меня литовцы, полюбовавшись Сент-Этьенн-дю-мон, я поняла, почему у Наполеона возникло это дерзкое желание. В Сент-Этьенн-дю-мон похоронены Паскаль и Расин. Так на старости лет судьба еще раз свела меня с Расином — любовью моих студенческих лет.

Другая непредсказуемая встреча произошла в знаменитой церкви Сен-Жермен де Прэ. На этот раз с Шостаковичем. Сен-Жермен

де Прэ — самая старая из парижских церквей. Ее построили в XI—XII вв. Это редкий в Париже образец романской архитектуры. Церковь огромная, величественная, суровая и неприступная. Недоступная для ума и сердца малых сих, для меня в частности, потому что она требует не любви, а поклонения, преклонения. Моя душа в ответ молчит. Меня не смягчило даже то, что здесь похоронен Декарт, гробницу которого в полутемных капеллах нам не удалось найти.

Афишу о концерте в этой церкви мы увидели случайно, и хотя билеты были явно не по карману, не устояли. *Salve Regina* Перголези слушали с недоумением и огорчением. Небольшому оркестру не хватало звучности, музыка растекалась по приделам церкви и умирала, не находя отклика. «Заход солнца» Респиги неожиданно прозвучал очень хорошо: легко, красиво и интересно. О Восьмой симфонии Шостаковича трудно рассказывать. Сидишь в церкви, где похоронен Декарт, смотришь на старинное распятие и слышишь в оркестре мотив «Замучен тяжелой неволей». Фантазмагория XX века. Исполнение, по-моему, было на высоте, вложено в эту музыку так много, так много сказано в ней про нас, про нашу жизнь и про жизнь вообще, что мне нечего к этому прибавить. Дирижировал француз, слушали парижане. Концерт начался в 9 вечера в будний день в городе, где рано встанут и много работают, и где даже на бульваре Сен-Жермен в 10 вечера почти не видно людей. Но в этот вечер в церкви Сен-Жермен де Прэ было много народа. Музыка, французы и двое иностранцев — мы все были вместе. Спасибо Шостаковичу за это редкое единение.

Мне жалко, что нам не удалось посмотреть в Париже «Братья и сестры» в постановке Додина. Это моя вина. Не купила билеты сразу, а когда собралась, театр уже уехал. Но одно театральное впечатление я все-таки увезла из Парижа. Как-то днем, около полудня мы оказались рядом с театром «Одеон», и я обратила внимание на афишу, где рядом с именем Горького было написано что-то непонятное. У Горького не так много пьес, но даже с помощью словаря я не догадалась, что же идет в «Одеоне». Такого я не могла пережить. Вошла внутрь. Много пожилых людей, бойкий молодой человек помогает то одной даме, то другой. Мой вопрос о названии пьесы поверг его в крайнее смущение. Он попытался рассказать, о чем

пьеса, но я ничего не понял. Тогда он куда-то ушел и принес программку, где рядом с длинным французским названием на родном русском языке было написано: «Дети солнца». Поди догадайся. Мы разговорились. Молодой человек бывал в Москве и в Бостоне, немного (совсем немного) говорил по-русски. Он сказал, что спектакль благотворительный, что устроила его мэрия специально для пожилых парижан. Тем не менее — о французская учтивость! — если мы хотим посмотреть спектакль, пожалуйста, вот бесплатные билеты. «Сейчас не можете? Приходите вечером, вы же гости, получите бесплатные билеты на вечерний спектакль». Любопытно, наверное, посмотреть Горького на французском языке, еще любопытнее взглянуть на публику. Что им, французам, «Дети солнца»? Что им Гекуба? Но силы человеческие ограничены. Публику мы, впрочем, увидели. Часа через три случайно снова прошли мимо «Одеона», как раз когда оттуда выходили пожилые хорошо одетые женщины. Они шли медленно по двое, по трое и оживленно разговаривали друг с другом. Мужчин среди них почти не было.

В Нише основным средством передвижения был для нас автобус. В Париже — метро. Парижское метро не так чудовищно грязно, как нью-йоркское. В уродливости залов, платформ, переходов оно тоже уступает своему прославленному заокеанскому собрату. Но и в Париже есть на что посмотреть. Стены станции «Одеон» украшены стихами Ламартина (второпях не записала и забыла, теперь кусаю локти), а на станции «Варенн», ближайшей к музею Родена, первое, что бросается в глаза — огромное изображение мужчины, спускающего штаны. Реклама немнущихся джинсов, ничего более. Яркость однообразных рекламных щитов на многих станциях смягчают немые всклокоченные мужчины, неторопливо соображающие на троих. Что они соображают, сидя на крашенных железных табуретках, намертво прикрепленных к полу? Пиво. И каждый соображает из своей бутылки. Много нищих. Один, узнав в Акиве иностранца, попросил денег по-английски. Много черных: интеллигентные мужчины в белых рубашках с галстуками, школьники со множеством аккуратно заплетенных косичек, мамы с чистенькими детками на руках, пожилые носатые на еврейский манер негритянки в накидках вместо пальто. Много китайцев, японцев и других

азиатов. Повсеместное почернение и окосение белого мира производит, надо сказать, сильное впечатление.

В вагонах метро людно и тесно. Но однажды я видела, как прижимаясь к окну, желтолицый парень с чуть раскосыми глазами самозабвенно читал по-французски «Воспитание чувств» Флобера. Пожилые француженки и французы читают, если удастся присесть. Молодые целуются враскоряку, и сидя, и стоя на самом ходу. Правда, никто не бросает одежду на пол — одежда дорогая, ее берегут, — и никто не задирает ноги на свободное сиденье. Какие-то обычаи Старого света здесь еще сохраняются. Новшества, однако, тоже немало. На каждой платформе горит яркий желтый щиток со словом «Alarme!» (Тревога!), под которым вделан в стену телефон для срочного вызова полиции. По вечерам немногочисленные пассажиры, ожидая поезда, стоят около этих телефонов. Женщины крепко прижимают к себе сумочки, тревожно оглядываются.

Изысканную радость доставляют в парижском метро лестницы. Их множество на каждой станции. Эскалаторы, сработанные руками русских умельцев во времена диктатуры, до легкомысленного Парижа еще не дошли, а лестницы так круты и высоки, что без гексаметра просто не обойтись. Пришлось срочно «перевести» с древнегреческого:

Дивны ступени лестниц в быстролетном метро парижском.
Смело вздымаются ввысь они, всем старушкам назло.

Но лестниц много, потому что много переходов, а переходов много, потому что плотная, разветвленная сеть метрополитена охватывает весь город. На платформах и в вагонах метро бросаются в глаза четкие и ясные указатели, на станциях — большие подробные карты квартала. Заблудиться в парижском метро трудно, а жить под землей можно, наверное, месяцами. Магазины, кафе и туалеты (!) есть всюду. На конечной станции «Дефанс» под землей построен целый город с огромным супермаркетом и множеством фирменных и нефирменных магазинов, где можно купить все: трусики, автомобиль любой марки, китайский сервиз или специальные ножи для сыра. Я ограничилась ножами и вышла из метро посмотреть на новое предместье Парижа.

Вышла и тут же остановилась, ослепленная серебристо-зеленоватым сиянием огромных зданий из стекла и металла. Их нельзя охватить взглядом, они закрывают небо. В их нестерпимом блеске мертвыми кажутся даже зеленые деревья и трава на причудливых лужайках, врезанных в бетонированные площадки на разных уровнях. Арки, въезды под землю, переходы над землей, эстакады... Дефанс — царство практичности и техницизма. Улиц нет. Площадей тоже нет. Есть свободные пространства, ограниченные плоскостями, вернее, объемами различной формы, которые трудно назвать домами. Тем не менее эти постройки с бесчисленными окнами, эти гигантские соты — все-таки дома. И они составляют некое единство, хотя ничем не связаны друг с другом. Их объединяет только стиль, только идея. Грандиозно, неожиданно, интересно, по-своему красиво. Но... я на луне или в Париже? Сколько новизны может переварить город, оставаясь самим собой? Париж переварил Эйфелеву башню, центр Помпиду. Переварит и Дефанс? А если нет? Ответа не знаю, надо спросить Сэну.

Течет, течет Сена. Река колдунья, река ворожея... Хорошо идти по набережным Сены, смотреть на Собор Парижской Богоматери, на мосты, на воду. Идти и чувствовать за спиной века и века жизни человеческой. Я не расслышала, что сказала Сена в ответ на мой вопрос, переспрашивать не хочется. И мы уже пришли. Мы в саду Тюильри. Зимний солнечный день, деревья голые, людей немного. В саду просторно и радостно, шепчутся о чем-то минувшие столетия, подзывают детей мамы, а я безуспешно спрашиваю то у одного, то у другого, как пройти к музею Оранжери. Французов в саду мало, англоязычных туристов больше, но ни те, ни другие не знают, где Оранжери. Выручили, как всегда, японцы. Красивая молодая японка с прелестной маленькой девочкой так четко объяснила по-французски, где находится музей, что даже мы нашли его за пять минут.

Высокий холл. Два полукруга лестниц: один справа, другой слева. В потолке большой стеклянный овал, откуда льется свет. Поднимаешься по лестнице и попадаешь в длинную анфиладу просторных комнат. И в первой же из них — в трагические объятия Сутина. Стеклянный кувшин на темно-коричневом фоне — на темно-коричневой Земле. В кувшине четыре темно-красных гладиолуса с

увядшими коричнево-зелеными стеблями. Цветы гибнут. Не цветы — мир гибнет. Натюрморт: шаткий стол, на столе застыли искореженные ваза, бутылка, кусок мяса — случайные минутные гости. Еще мгновение — и буря жизни сомнет их и поволочет вместе со столом дальше, в никуда. Много портретов. В изломанных линиях фигур, лиц трагизм изломанных жизней. Старуха с уродливым лицом, с уродливыми руками, иссушенными работой. На ней белое платье. Саван? Картина называется «Невеста». Мужчина в черном костюме. Черные волосы, черные усы, черный галстук. Скомканное лицо чем-то напоминает Гитлера. Рядом с подписью Сутина дата: 1932 год. Много пейзажей. И в каждом буря или первый день творения. Леса, холмы, трава еще не обрели покоя, но уже предчувствуют гибель. Один из самых трагических сутинских пейзажей «Дома». На склоне горы жмутся друг к другу пять-шесть домишек. Белые, розоватые, грязно-серые стены, черные дыры окон, темные крыши. Каждый дом искривлен по-своему, будто это не дома, а карликовые сосны, исхлестанные злыми ветрами, и каждый дом рассказывает свою страшную историю.

В сутинских комнатах трудно находиться. Трагизм его картин выплескивается из рам, хватает за душу, впивается в сердце. Еще труднее из этих комнат уйти. Даже в соседний зал, где висит Сезанн. Но когда это, наконец, удастся, можно перевести дух. Можно подойти к окну и полюбоваться круглым озером с чайками в саду Тюильри. Или постоять у другого окна, откуда видны Сена, Эйфелева башня вдалеке за ней, а у самого Тюильри поток машин, несущихся по площади Согласия мимо Египетского монумента.

В Оранжери много прекрасных картин. Натюрморты, пейзажи и портреты Сезанна, две необычные картины Утрилло: на обеих городской пейзаж с группой людей, которые нарисованы со спины, будто они уходят от зрителей, портреты Модильяни, Пикассо, танцовщицы и собаки Мари Лоренсен, и те и другие с черными овалами глаз без зрачков, и те и другие розово-голубые, воздушные, будто сотканые из облаков — удивительная акварельная живопись. Но почему так знамениты «Водяные лилии» Клода Моне, которые считаются чуть ли не главной достопримечательностью Оранжери, я не поняла. Восемь огромных полотен — дар Моне музею — выставлены в двух

специально пристроенных для них комнатах. Размеры картин ошеломляют, но цветы и вода, по-моему, мертвые, как и сами картины.

Некоторое разочарование вызвал у меня и музей Родена, куда мы приехали прямо с вокзала на обратном пути из Гренобля. Да, Гренобль... Я еще не рассказывала об этой поездке. Может быть... Нет, Гренобль все-таки потом. Сначала Роден.

Вокзал, сумки, отрывающие руки на лестницах метро, грохот поездов и, наконец, старая парижская улица Варенн. Серое небо, высокие чугунные ворота, за ними небольшой парк и особняк XVIII в. — музей Родена. Вещи оставили при входе и, войдя в парк, оказались в предыдущем столетии. Деревья, газоны, тишина, покой.

Небольшая площадка окружена пирамидальными кипарисами. В центре роденовский «Мыслитель». На постаменте надпись: «Памятник установлен на средства, собранные парижанами». С площадки хорошо виден купол соседнего Дворца инвалидов и силуэт Эйфелевой башни вдаль. Здесь хорошо стоять, вдыхать запах кипарисов, смотреть на «Мыслителя» и перебирать воспоминания. Лучи аллей ведут от площадки к другим скульптурам: «Бальзаку» и «Гражданам Кале». Пирамидальные кипарисы той же высоты, что скульптуры, которые они окружают, образуют отдельные зеленые залы. Красиво. Необычно. Позеленевшая бронза памятника гражданам Кале и темно-зеленые кипарисы, из-за которых они будто только что вышли, как ни странно, хорошо сочетаются друг с другом, и гармония бронзы и хвои открывает в памятнике что-то новое.

В большом регулярном парке позади музея вместе с завершенными работами выставлены скульптуры-этюды, скульптуры-варианты. Натурщик Пьер обнаженный, рядом он же без рук и головы, подалее он же одетый. Специалистам все это интересно, но для обычного посетителя вариантов и этюдов слишком много. Мне кажется, что их слишком много и в самом музее. Они отвлекают внимание и, приоткрывая дверь в творческую кухню Родена-мастера, не открывают новых горизонтов в мире Родена-художника, отчего в какой-то момент начинаешь чувствовать ограниченность этого мира.

Но сколько в невеликом мире Родена прекрасных бюстов-портретов, удивительно разнообразных и выразительных. Глядя на них, не перестаешь удивляться, каким теплым может быть мрамор, сколь-

ко чувственности скрыто в этом холодном камне и как целомудренна чувственность в скульптурах Родена. Небольшая скульптура «До свиданья». Голова юноши. Глаза закрыты. У самого рта кисти рук: воздушный поцелуй. Изогнутые пальцы — все по-разному — воплощение любви и нежности. В лице с закрытыми глазами не только страсть, но и преклонение. Глаза закрыты, чтобы не расплескать любовь, не обжечь возлюбленную. Мастерство Родена-скульптора не знает преград. Завитки волос, кружево женских платьев, изгибы тела, движения губ, оттенки чувств, воздушность облаков — Родену доступно все. В пределах его мира. В пределах мира, который в конце XX века нам уже тесен.

Мне давно пора вернуться назад, в Гренобль. Я сделала ошибку, не написав о Гренобле раньше. Не люблю возвращений, никаких, никуда. Конечно, это чудачество, но и сейчас, когда я плаваю, уже с оглядкой, в некогда знаменитом озере Уолден (в том самом, из книги Торо «Уолден, или Жизнь в лесах»), даже сейчас я, как прежде, легко плыву от берега и с напряжением возвращаюсь назад. А раньше, в море, когда с первым движением рук подхватывало и несло радостное «Вперед! Вперед!», я плыла и плыла, пока изнеможение не заставляло лечь на спину и опомниться. Возвращение всегда было только работой. Даже в Гагре и в Сухуми, где такой красивый берег. Был. Недавно видела в «Нью-Йорк таймс» фотографию развалин Сухуми. Не могу соединить два эти слова: «развалины» и «Сухуми». Не могу представить себе Гагру иной, чем видела ее в 1957 году.

Но теперь я понимаю, что настоящие сложности с возвращением начались давно, с Ленинграда. (Этот город, особенно в прошлом, для меня все-таки пока Ленинград, не из-за привязанности к Владимиру Ильичу, а из-за цепкости прошлого.) Я уже кончила университет, уже умер папа, на Новый (1949?) год мама и Лара подарили мне билет в Ленинград. Я прожила тогда в Ленинграде около двух недель, не спускаясь ни на минуту с заоблачных высот радости и восторга, где пребывала невзирая на январские ветры и осеннее пальто. Перед самым отъездом я все еще не могла понять, почему люди на Невском куда-то спешат, а не стоят, как я, разинув рот, напротив Казанского собора. Второй раз я попала в Ленинград летом. В душе у меня все было перевернуто, и глядя на грязную, мутную воду в

каналах, я без конца вспоминала заснеженный город и радость, которую увезла тогда с собой. С тех пор прошло много лет, но шрам остался. Не люблю возвращений. Никаких. Никуда. Даже во Францию не хотела второй раз ехать, чего Акива до сих пор не может мне простить. И правильно. Какое счастье, что он меня переубедил и поездка состоялась.

В Гренобль, где мы были в первый приезд во Францию, мне тоже не хотелось ехать. Не хотелось расставаться с Парижем даже на два дня и не хотелось разрушать праздник, оставшийся в памяти после первого приезда. Гренобль небольшой город. Его очень украшают красивый полноводный Изер (приток Роны) и снежные горы, подступающие к самому городу. Главная улица, современная и нарядная, с большим фонтаном, похожим на дикобраза, из игл которого бьют струи воды, упирается одним концом в вокзал, другим — в старый город. Старый, вернее старинный, Гренобль (знаменитый гренобльский Дворец правосудия построен в XVI в.) не утратил своей суровой живописности и сейчас. Здесь на ул. Руссо в ничем не примечательном доме родился Стендаль. Сейчас в этом доме музей Сопротивления, а музей Стендаля почему-то в соседнем доме.

В свой первый приезд в Гренобль я часами бродила по улицам, стояла на мостах, смотрела на горы, на Изер. Помню до сих пор силуэты гор и ветер с брызгами воды; и монастырь Шартрез в горах над Греноблем, где в наглухо отгороженных друг от друга кельях жили когда-то монахи, давшие обет молчания; помню нарядные рестораны по дороге к монастырю со столиками на лужайке и стульями под цвет скатертей; и винный погреб в подземелье — огромный, с лабиринтом переходов и залов, — куда нас отвезли в конце экскурсии, чтобы мы попробовали и купили (чего я, к стыду моему, не сделала) знаменитый ликер шартрез (который Акива потом все-таки купил); и концерт в церкви, и... и...

Но я что-то уж очень долго еду в Гренобль. Хватит. Утро. Проснулась от толчка тревоги. Проспали. Таймер, черт бы его побрал, почему-то не зазвонил. Отдергиваю занавеску, тупо смотрю в колодец двора. Ветерки с бельем на балконах, зигзаги железных лестниц на обшарпанных стенах, куча хлама глубоко внизу. Где я? Вспомни-

ла, в квартире Павла Лунгина. Мы сбежали сюда из разорившей нас гостиницы. Если бы не Павел — он так тепло и сердечно, совсем по-московски пригласил нас к себе, — если бы не Павел, не знаю, как бы мы выкрутились. Но это было три дня назад, а как выкрутиться сейчас? Душ отменяется. Умыться, бросить в сумку тапочки и халат, проглотить нитронг. Присаживаемся на минуту. Дурак родился. Уже внизу в подъезде страшная мысль: где текст лекции?! Письмо Лезье?! Слава Богу, на месте. Метро рядом. Но лестницы! Главное, не запутаться в переходах. Справились. Наш поезд. Ехать на Лионский вокзал недалеко, но с двумя пересадками. Выходим на «Площади Италии». Скорее! Вон указатель. Бежим вверх по лестнице. Удача. Успели на отходящий поезд. Следующая пересадка на «Площади Бастилии». Мелькают уже знакомые названия станций: «Сан-Марсель», «Аустерлицкий вокзал». Наконец «Площадь Бастилии». Последняя пересадка. Можно вздохнуть.

На Лионском вокзале длинный переход привел нас в большой зал со множеством дверей, эскалаторов и табло на стенах. Тщательно ищу глазами надпись La gare (вокзал). Наконец вспоминаю, что буквы SNCF (сокращение от Société Nationale de Chemin de Fer), красующиеся над всеми дверями, означают, что мы на вокзале. Остались пустяки: понять, как попасть на перрон, и найти свой поезд. Но во Франции, как и в США, если умеешь читать, не пропадешь. На всех табло в зале указаны номера отходящих и приходящих поездов. Минут за 10 до отправления на них появляются номера соответствующих перронов и эскалаторов. Все просто и удобно. В вагоне хорошие кресла, туалет с горячей и холодной водой. Но можно бы уже и тронуться. Не тут-то было. Скоростной безостановочный поезд Париж — Гренобль, похожий снаружи на дорогую длинную сигару с зачищенными концами, выехал из Парижа с опозданием на полтора часа. И за все эти полтора часа никто из пассажиров ничем не проявил своего недовольства. Кто-то читал, кто-то принес чай и бутерброды из соседнего вагона-бара. По радио время от времени объявляли, что поезд скоро тронется. Но поезд стоял. Прошел контролер, спросил, не нужно ли кому-нибудь официальное подтверждение опоздания поезда, сделал кому-то отметку в билете. Наконец поехали. Только в Гренобле мы узнали причину задержки: поезду прегра-

дила путь демонстрация фермеров, протестовавших против правительственных закупок дешевого продовольствия в Испании.

Молодой человек, которому из-за этой демонстрации пришлось полтора часа просидеть на вокзале, отвез нас в гостиницу, и Акива тут же с ним уехал, так как до начала его лекции оставалось совсем мало времени. А я подошла к окну, раздвинула шторы и увидела прямо под окном Изера, мост, снежные вершины вдаль за мостом и на другом берегу Изера желтые, белые, розовые домики, прижавшиеся к боку горы с зубчатой стеной крепости выше на склоне.

— Здравствуй, Изер, — сказала я. — Я вернулась. Не хотела, но вернулась. Ты совсем не изменился. Все так же спешишь. Куда? Зачем? Посмотри лучше, как блестят на солнце твои голубые буруны. Не хочешь, торопишься. Какая у тебя свежая, упругая вода. Ты совсем не похож на задумчивую Сену. Напился в горах талого снега и бежишь к Роне? Что ж ты так плещешься? Достанется тебе от матери за шалости. Ой, посмотри на этих чудачков! Зачем они идут по мосту? Зачем вы идете по мосту?! Идите по воде! Не бойтесь! Изер вас удержит!

Не слышат. Как бы узнать, разноцветные домики на той стороне игрушечные или настоящие? Они почти одной высоты, а этажей у одних два, у других три, вон у тех есть даже мансарды. И окна на фасадах все разные, пробиты где придется. Спросить?

— Простите, — сказала я, — вы... настоящие?

Белый дом с одним окном над аркой мигнул единственным глазом — луч солнца пробился сквозь облака, блеснул в окне и спрятался под темными сводами. В соседнем доме открылось окно-дверь, на балкон, величиной с детский стол, вышла женщина в халате, вытряхнула половики, ушла.

— Теперь вижу. Настоящие. У вас и вывески есть: «Пищерия», «Ремонт часов», «Кафе». Конечно, настоящие. Что же вы так теснитесь? Почему держитесь друг за друга, как маленькие? Бойтесь Изера? Да? Что подлаещь. Старые и малые, вот и бойтесь. Сколько лет вы здесь стоите? Сто? Двести? Я тоже старая. Понимаю, как вам трудно. Мне бы сидеть в таком домике с Левкой на руках, с Нямошкой рядом. Сидеть и смотреть на бегущую воду, вспоминать убежавшую жизнь. А я... Я еще немного постою у окна. Поговорю с

вами, посмотрю на Изер, на мост, на горы. Снег на вершинах вдруг порозовел. Не уходи, солнце! Скрылось. Мне тоже пора. Пойду в город. Я знаю, где здесь дешевый магазин. У меня две дочки, двое внуков. Хочу привезти им что-нибудь на память о вас. До свидания, Изер. Я скоро приду.

И я ушла, и унесла их с собой — дома, Изер, розовый снег.

Вечером Марсель Лезье, профессор Гренобльского университета, организовавший эту поездку, сказал, что из окна нашей гостиницы самый красивый вид на Изер и горы. Такое выпало нам во Франции везение на гостиницы и виды.

Марселю Лезье лет 50 с небольшим. Он недавно второй раз женился и, как настоящий профессор, привел нас сначала не в тот ресторан, где мы должны были встретиться с его женой. Жёну он в конце концов нашёл. Она уже сидела за столиком, когда мы вошли в зал. Увидав мужа, молодая прелестная Патрисия засияла от счастья. Стройная, длинноногая, с точеными чертами лица — Марселю Лезье протянула руки королева красоты. Только... Только она была черная как смоль. Да, в этот вечер в гренобльском ресторане сидели за столиком мы с Акивой и пожилой французский профессор со своей молодой женой, черной женщиной с острова Гваделупа, няней в гренобльском доме для престарелых. В соответствии с западными традициями Марсель тут же сообщил нам, что Патрисия на третьем месяце беременности. В ресторане и на другой день у себя дома он то хвалил ее, то бранил за то, что она не знает английского языка. Патрисия смеялась. Веселая, любознательная, она хорошо рисует, хорошо готовит, но кто возьмется предсказать, что ее ожидает? Пока они с Марселем живут в деревне и ждут появления ребенка.

В Гренобле очень дорогие квартиры, потому что городу в узкой долине, зажатой между горами и рекой, некуда расти. Марсель вышел из положения распространенным здесь способом — купил дом в деревне, откуда за 20 минут добираться на машине до своего кабинета в университете. В его деревенском доме много книг и книжных шкафов, на фоне которых длинная в ярких цветах юбка Патрисии и она сама выглядели довольно странно, как, впрочем, и железная печь с трубой через всю гостиную. В этой французской избе с современным туалетом и ванной Патрисия устроила для учеников

и коллег Марселя красочный ужин с лангустами и поила всех каким-то очень вкусным и крепким гвадолупянским напитком. Проведя в Гренобле два дня и две ночи, мы вернулись в Париж и прямо с вокзала поехали в музей Родена, где оказались в другом веке.

Париж, надо сказать, располагает к путешествиям во времени и в пространстве. У нас их было несколько. В одно из воскресений мы поехали в Лувр. По воскресеньям парижские улицы пустеют: прохожих почти нет, магазины закрыты, лотки убраны. Даже в метро гораздо меньше людей. Может быть, поэтому мы так удивились, увидев длинную очередь у входа в Лувр. Но спокойная интеллигентная очередь в музей даже рядом с невысокими пожелтевшими от времени зданиями Лувра и новой стеклянной пирамидой Пэя — это все равно что-то свое, знакомое и привычное. Так что удивлялись мы недолго. Да и стояли минут 30, не больше.

Внутри нас, как и многих, привлекла выставка с непонятным названием «Египтомания». Я не знала, что поход Наполеона в Египет и первое знакомство с древним египетским искусством вызвало в Европе волну подражания, действительно превратившуюся в манию. Выставка большая. Изделия XVIII—XIX вв. — веджвудский фарфор, оружие, часы, напольные вазы, ожерелья, серьги, шкатулки и канделябры, расписанные и украшенные в египетском стиле, — нарядны и красивы. И все-таки мне трудно воспринимать эти предметы роскоши как произведения искусства. Ими можно любоваться, восхищаться, особенно, по-моему, мебелью (очень хороши ножки стульев и столов в виде египетских статуй-кариатид), но с ними не о чем разговаривать. Они немые, и я около них тоже немею.

Зато в залах египетского искусства, куда мы сбежали, можно ходить и стоять часами и все равно не увидишь и не услышишь всего, о чем говорят выставленные там статуи, мумии, барельефы и росписи. Небольшая парная скульптура Нефертити и Эхнатона, огромный высеченный из камня бюст мужчины с полужакрытыми глазами (дар Египта Франции в знак благодарности за спасение сокровищ искусства) — в этих и многих других изваяниях не только лица и глаза, но тело и одежда — повесть о жизни. Об их жизни в XIV—XV в. д. н. э. (!) и о нашей жизни в XX в. н. э. (!) Не знаю, как и чем это достигается, но сходство, родство духовной жизни при всей экзотике и удаленнос-

ти огромного мира древнего Египта поразительно. Может быть, поэтому и возникла египтомания?

Египетские залы отнимают много душевных сил. Прожив два — три часа в XIV—XV в. д. н. э., трудно ходить по Лувру. Но все так же перехватывает дыхание, когда поднимаешься вверх по лестнице и смотришь на летящую навстречу Нику Самофракийскую. Все так же останавливается сердце, когда подходишь к Венере Милосской, рядом с которой непрерывной чередой фотографируются девушки, главным образом некрасивые. А за окнами Лувра течет Сена. Она видна почти отовсюду: ее зеленоватая вода, стайки прогулочных катеров у пристаней, мосты и сетчатая Эйфелева башня на фоне серого неба.

Течет, течет Сена, утекают парижские дни. Как успеть еще раз попасть в Лувр, побродить по городу, побывать в музее Орсе? А тут еще выздоровела от гриппа Мари Фарж, и завертелась светская карусель.

Мари Фарж не назовешь красавицей, но глядя на нее, понимаешь смысл немецких слов «ewig Weibliche» — вечная женственность. Густые светлые волосы собраны на затылке в простой пучок, милое приятное лицо. Стройная, среднего роста, она очень хороша в трикотажных шерстяных брюках и таком же свитере, подчеркивающим мягкость и плавность линий ее фигуры. Как это часто бывает, умница, живой интересный человек и талантливый математик, Мари Фарж не очень счастливая женщина. Разошлась с мужем, одна воспитывает маленького ребенка. Правда, в свои тридцать пять—тридцать шесть лет, она обладает, как мне показалось, движущей силой локомотива и даром всегда и везде быть царицей бала, что, наверное, должно ей помочь. Во всяком случае, на обеде у Робера Садурни все глаза были прикованы к ней.

Это был интересный вечер. Робер Садурни заведует лабораторией в Эколь нормаль, Акива приехал в Париж по его приглашению. Жена Робера Ишийя (она испанка) устроила дома прием для друзей и сотрудников мужа. Сначала все сидели в кабинете Робера, где он угощал гостей вином, орешками и крохотными сухариками. На несколько минут в кабинет зашли дети: двое сыновей лет десяти и двенадцати. Потом гостей — нас было 12 человек — пригласили в столовую, но уже без детей, которых родители, как оказалось, отправили в

ресторан. (Чтобы не мешали взрослым и приучались согласовывать желания с возможностями, в данном случае с выданной суммой денег, как объяснила Ишийя, которую я спросила, куда ушли дети.) На столе стояло хорошее мясо, миска с отварным картофелем в мундире, миска с салатом, который тут же за столом заправила и смешала Мари, и, конечно, вино. Вторым блюдом был сыр, разложенный крупными кусками на красивой деревянной доске. К чаю Ишийя подала собственноручно испеченный яблочный пирог. Весь вечер она сидела за столом и оживленно беседовала с гостями. Я спросила ее, трудно ли в Париже приготовить такой ужин. Ишийя сказала, что трудно только испечь пирог (он был очень вкусный!), на это нужен примерно час, все остальное легко.

Через пару дней вместе с Ишийей и Робером мы были на обеде у Юры Хоменко. Юре под сорок, он доктор наук (Акива был оппонентом у него на защите), живет за границей уже несколько лет. Пытался получить постоянную работу в Испании, не удалось. В Париже работает в лаборатории Робера Садурни, но тоже временно. Положение трудное. Тем не менее Светлана и Юра устроили в своей очень скромной квартире лукуллов пир в старомосковском стиле. Ошеломленная Ишийя с простодушием ребенка и пылкостью испанки указывала пальцем на бесчисленные салаты, фаршированные овощи, заливное из рыбы и дичи и спрашивала, как называется каждое блюдо. Юра вышел из положения, объявив, что все это закуска. «За-кус-ка!» — радостно твердила Ишийя с нескрываемым изумлением глядя на Светлану, которая металась между кухней и столом, принося все новые и новые яства. После горячего Светлана вспомнила, что забыла подать холодец, расстроилась, и кто-то из гостей мужественно положил себе на тарелку кусок холодца. Потом был еще фруктовый салат, и мороженое, и чай с тортом. На прощанье Ишийя сказала: «Закуска c'est bon!» (Закуска — это хорошо!), а я была рада, что Володя Цейтлин отвез нас домой на машине, избавив от лестниц в метро.

На следующее утро я позвонила Светлане. Она сказала, что два дня простояла на кухне и должна отлежаться, поэтому не поедет со мной в Дефанс, как собиралась. Но в Париже, как и везде на свете, эмигранты живут по-разному. Светлане трудно дается французский,

она боится открыть рот. Тамара, жена Володи Цейтлина, язык едва знает и говорит бесстрашно. У Володи постоянная работа, он профессор Парижского университета. Это, конечно, совсем другая жизнь. Но тоже очень трудная. Акива спросил, может ли Володя содержать семью. «Как видите, могу, — сказал Володя. — Квартира у нас большая, хорошая. Мебели почти нет, но обходимся. Живем в пригороде, но добраться от нас до центра нетрудно. В кино и театр не ходим — дорого. Газет не покупаем — дорого. Очень трудно с языком, вернее, без языка. Готовлюсь к лекциям днем и ночью. Сын понемногу приспосабливается, учится хорошо. Будет учиться, выберется. У Тамары никаких перспектив. Пока выучит язык, кончат какие-нибудь курсы, как раз подойдет к роковому рубежу. Что это значит? Во Франции после сорока двух лет нельзя участвовать в конкурсе на замещение вакансий в государственном секторе. В частном она тем более никому не нужна». — «Идти мыть посуду пока не хочется, как жить, не знаю», — сказала Тамара. Эмигрантские разговоры, увы, часто кончатся этими словами.

Володя отвез нас домой. Вернее, в квартиру Павла Лунгина, которая с середины как раз этого дня стала для нас домом. Утром мы ходили на выставку древнего сирийского искусства. Днем переезжали из гостиницы к Павлу. Проводив Павла — он с женой уехал на 10 дней в Индию, — некоторое время сражались друг с другом и с самими собой. Я и наши души рвались на улицу, Акива и ноги просили отдыха. Акива и ноги победили, а меня и души умилоствовали книги Павла. Часа два до приезда Володи Акива лежал и читал «Слезы на цветах» Евгения Харитоновна, а я «Новое о Мандельштаме» Э. Герштейн. Потом был вечер у Володи. Когда мы наконец попросились, я мечтала только об одном: лечь и закрыть глаза. Но в 12 ночи по ТВ показывали «Такси-блюз» и мы, наконец, нашли место и время посмотреть этот знаменитый фильм Павла. Легли после двух.

Текла, текла Сена, бежали дни и вечера. Мари Фарж звонила, договаривалась, что-то кому-то поручала и наконец грянуло. «Завтра в 12 ланч. Мари Фарж пригласила довольно много людей, не пойди неудобно», — сказал Акива. В 12 часов! В 5 все музеи закрываются. Если ланч в 12, никуда не успеть ни до, ни после. Пропал день. Из-за чего? Из-за какого-то ланча! «Не хочу. Не пойду», — твер-

дила я всю дорогу. «Мы уже почти пришли», — снова и снова повторял Акива. Сена удивленно прислушивалась к нашему диалогу.

— Мы уже почти пришли. Видишь, это площадь Монжа. Знаешь ты, кто такой Монж?

— Понятия не имею.

— Не знаешь кто такой Монж? Какой позор! Невежественная ты женщина. Монж великий ученый. Он основатель начертательной геометрии.

— Что-о? Геометрии? Да еще начертательной? Ненавижу геометрию! Тем более начертательную!

— А ты знаешь, что Монж был с Наполеоном в Египте?

— Учил Наполеона начертательной геометрии?

— В египетском походе Наполеона участвовало много ученых. Могла бы и знать. Про знаменитый приказ Наполеона тоже, наверное, не знаешь?

— Не знаю.

— А говоришь, что филфак окончила. Когда на отряд Наполеона внезапно нападали мамелюки, Наполеон отдавал приказ: «Ослоб и ученых в середину!»

Я хохотала так долго и так громко, что Сена с негодованием свернула в сторону.

В дверях ресторана стояло несколько мужчин. Двое в костюмах и галстуках, остальные в свитерах и куртках. Представление, рукопожатия. Акива с кем-то здоровается и мгновенно забывает о моем существовании. Я в растерянности пытаюсь сказать что-то умное человеку в костюме, с которым меня не познакомили. К счастью, появляется Мари Фарж и все встает на свои места. Вернее, все садятся за стол на места, указанные Мари Фарж. Оглядевшись, я понимаю, что двое в костюмах — это швейцар и метрдотель, остальные — гости. Моим соседом по столу оказался высокий седой мужчина в ковбойке и свитере. Он рассказал, что родился в Загребе, учился и долго работал в США, последние 20 лет живет во Франции. От Акивы я потом узнала, что он известный математик с «редкой» фамилией Гроссман.

В середине обеда появился директор Эколь нормаль. Посидел несколько минут, не снимая плаща, сказал, что торопится на дело-

вое свидание, извинился и ушел. Мари Фарж очень досадовала, что секретарша не предупредила его о ланче заранее, из-за чего и произошло недоразумение. Сама Мари Фарж была особенно хороша в этот день: милая, остроумная, живая. Где только глаза у мужчин! Сидели мы в уютном ресторане недалеко от Эколь нормаль в небольшом зале с низкими потолками и маленькими окнами в глубоких нишах. На широком подоконнике ближнего к нам окна лежал старый толстый фолиант в кожаном переплете. Перед уходом Мари Фарж открыла его, и мы увидели, что это факсимильное издание отчета ученых о египетском походе Наполеона. А я только что открыла 16 том БСЭ, прочла статью о Монже и узнала, что Монж, помимо всего прочего, известен тем, что деятельно участвовал в создании Эколь нормаль. Круг замкнулся. Идеальный конец ресторанно-банкетной части. Но я не могу поставить точку.

В один из первых дней в Париже Робер Сидурни пригласил нас на ланч и, конечно, тоже в ресторан по соседству с Эколь нормаль. Во Франции и в США ланч в рабочее время входит в распорядок дня, как у нас когда-то обеденный перерыв. Утром дома выпивают обычно чашку кофе, а часов около 12 едят уже основательно. Таков стиль жизни, поэтому на некоторых улицах вокруг Эколь нормаль вывески кафе и ресторанов красуются чуть не на каждом доме. И, увы, в пестроте арабских, китайских, корейских и других экзотических заведений французских почти не видно, как не видно американских среди такой же пестроты в Бостоне. Экзотики, экзотики прежде всего требуют притупившиеся чувства и избалованные желудки. Это Верлену прежде всего нужна была музыка, теперь другие времена.

Кроме нас Сидурни пригласил одного из своих учеников, юношу бельгийца лет 20—22. Ресторанчик, куда мы пришли, оказался греческим. Тяжелая низкая дверь. От двери до первого столика полшага. Стены небольшой узкой комнаты выложены из грубого камня, кухня тут же за невысокой перегородкой. Деревянные балки потолка нависают над тесно расставленными столиками, как своды пещеры. Хозяин, он же метрдотель и официант, — высокий широкоплечий старик в черной рубаше и черных штанах. Больше всего он похож на контрабандиста из детской книжки: большая гордо посаженная голова с шапкой черно-седых волос, пышная черно-седая борода, смуглое

лицо с глубокими бороздами морщин, орлиный нос, орлиный взор и большие жилистые руки. Неспеша двигаясь по проходу в середине комнаты, он взглядом показывает, куда кому сесть, мгновенно ставит на стол заказанную еду и время от времени перекидывается словом с завсегдатаями. Хозяин-контрабандист и его заведение произвели на меня более сильное впечатление, чем греческая кухня. Не помню, что мы ели. Помню, что я с любопытством смотрела по сторонам, что сидели мы довольно долго и говорили, конечно, о России. Правда, на этот раз и о Бельгии, где в наше недоброе время вдруг вспыхнула вражда между валлонами и фламандцами. Боже, им-то что делить? Малогабаритную Бельгию, где они жили вместе испокон веку?

Гастрономический раздел явно затянулся, но Париж велик, и прежде чем расстаться, наконец, с этой увлекательной темой, я должна рассказать о Монмартре. Тихий пасмурный день. То дождь моросит, то солнце выглянет. Крутые улицы Монмартра почти безлюдны. Подарок судьбы: улицы принадлежат нам. Невысокие, все разные дома, церкви на углу, влажные мостовые — все это наше. О сладкое чувство собственности! И небо тоже принадлежит нам. Мари Лоренсен нарисовала его специально к нашему приходу. Откуда еще могли взяться у нас над головой эти переливы серого, розового и голубого? Долгий медленный подъем. Каждый шаг — радость. Наверху у Сакре-Кёр все по-другому. Здесь приходится делиться Монмартром с другими. На широких ступенях лестницы, у баллюстрады как всегда много людей, хотя Парижа из-за тумана почти не видно. Жалко. Нам, правда, все равно пора возвращаться. Это нелегко. Улицы на склонах Монмартра так трогательны в этот невзрачный день, что расстаться с ними можно только усилием воли. Но у воли нашелся союзник — желудок, и в поисках дешевого кафе мы вернулись на Пляс Пигаль.

К моему удивлению, даже здесь, в таком исконно парижском месте, большинство кафе не французские, а арабские. Все они удручающе похожи друг на друга, не видно в них ни следа восточной фантазии, только голый европейский практицизм. Небольшое окон-витрина заставлено восточными сладостями вперемежку с расхожей американской едой: булками, взрезанными посередине и наби-

тыми чем-нибудь мясным и зеленым. У самой двери за крохотным прилавком с кофейной машиной стоит опрятный (или не очень) темнолыцый мужчина. Дверь то и дело открывается. Заглядывают женщины с детьми, забегают молодые люди в джинсах. Взгляд, жест, хозяин ловко укладывает в пакет булку или сласти, дверь закрывается. В одной из таких забегаюлок мы увидели столики и зашли. Небольшая чистая комната. В углу дверь в туалет, где можно помыть руки. Хозяин громко переговаривается с двумя соплеменниками, занятыми какой-то хозяйственной деятельностью. Незнакомая гортанная речь заполняет всю комнату. Быстро съедаем булку на двоих, выпиваем по чашке кофе с чем-то сладким, я спрашиваю, сколько заплатить.

— Что так быстро? Посидеть не хотите?

— В Париже много интересного, мы здесь ненадолго.

— Откуда? Из России? О-о! Елцын? Борис Елцын, хорошо? Нет? Горбачев? Тоже нет? Сталин плохо. Ленин хорошо?

— А как вы относитесь к Миттерану?

Гримаса неудовольствия. Друзья хозяина бросают работу и присоединяются к разговору. Они, видимо, совсем не знают французского, хозяин им переводит.

— Кто же хороший? — спрашиваю я.

— Де Голль! Де Голль — великий человек!

Радостный смех, рукопожатия, хозяин желает нам интересных путешествий, двое других улыбаются, кивают головой.

Пожелания трех арабов двум евреям исполнились. Наши путешествия по Парижу оказались очень интересными. В древнюю Сирию, например. Афишу «Искусство древней Сирии» я увидела во время первой вечерней прогулки. Попастъ на выставку удалось не сразу, и пришла я не без опасений, к счастью, напрасных. Интересным оказалось и что показывали, и как показывали.

В большом помещении с помощью коричневых сукон выгорожен длинный коридор. Он тянется вдоль фасада с окнами. За окнами широкая улица: идут люди, бегут машины, чуть дальше Сена. Хорошо виден мост со статуей Святой Женеьевы, заступницы Парижа, и апсида собора Парижской Богоматери на другом берегу. Поблескивает в редких солнечных лучах темно-зеленая вода Сены,

живой поток времени. А в коричневом коридоре время остановилось на отметке 8 тысяч лет до нашей эры.

В стеклянных витринах выставлены таблички с клинописью. Среди них дипломатический договор между Эблой и Абарсалемом, самый ранний из известных документов такого рода. В нем сказано, что за убийство человека полагается штраф: 50 баранов. Мозаичное панно с религиозными сценами: на синем фоне белые, розовые, темно-синие барельефы, выразительные, красивые. Кувшин, расписанный фигурками животных. Одна сторона кувшина выпуклая, другая плоская. На плоской стороне два ушка с дырочками, чтобы кувшин можно было привязать к поясу. Небольшие глиняные статуэтки. Их много, они все разные и все вылеплены с безупречным мастерством. Но не художественное совершенство поражает в них больше всего. Маленькие человечки в витринах за стеклом — люди, понятные, близкие, с нашими муками, надеждами и горестями. Смотришь на них, как в зеркало. Где же прошлое? Где настоящее? Чем и как они связаны? Что такое жизнь? Единение прошлого с настоящим? Поэтому так больно, когда открывается прошлое?

В Лувре в отделе древнего искусства я задавала эти же вопросы старым гробницам, украшенным барельефами-эпопеями, барельефами-поэмами. В этих серых шероховатых картинах из камня запечатлена, кажется, вся жизнь тела и духа человеческого. Не знаешь, чему больше изумляться: беспредельным возможностям камня или беспредельности жизни. В том же отделе в нише за стеклом стоят две деревянные скульптуры. Строгие скупые линии почти плоских вытянутых тел, ладони рук сложены под подбородком одна на другой. Иисус Христос и Дева Мария, XIII век. Дерево от времени стало пепельно-серым, кое-где растрескалось, а глаза живы, и в них наша жизнь — жизнь людей XX века. Бургонь, вторая половина XII века, деревянное распятие. Руки Христа раскинуты, ноги с удлиненными ступнями безвольно свисают вниз. Ни тени страдания на лице. Все, отмутился. Христос не на кресте, он парит в воздухе, он летит, его руки — крылья. Я понимаю, что так нельзя, но поток впечатлений — как их удержать, сохранить? — захлестывает меня, кружит как шепку и выбрасывает на горячий желтый песок.

К коричневому коридору примыкает небольшая комната с заш-

торенными окнами. В глубине цветной телевизор, перед ним несколько рядов стульев. Здесь непрерывно идет фильм о Сирии, кончается, начинается снова. Посетители присаживаются минут на 20, выходят, возвращаются. На широком экране пески: желтые, красноватые, оранжевые, белые. Редкие кусты колючек, оазисы с тонкоствольными пальмами. Диктор рассказывает о природе страны, храмах, произведениях искусства, которые демонстрируют на экране. Под гипнозом непривычных звуков восточной музыки исчезают стулья, коричневые стены, Париж. Я в Сирии. Это ощущение сохраняется и в коричневом коридоре, где после фильма видишь что-то новое в большой статве босого мужчины. Она высечена из черного камня, у нее, как у Венеры Милосской, нет рук, но хотя черного босого человека не назовешь красивым, его тонкое умное лицо, даже лишенное глаз, — это книга жизни, ее хочется читать и читать. По новому смотрится огромный зеленый лев с выпученными глазами и широко разинутой пастью. И становится понятнее, о чем думает знатный человек из серого гранита, сидящий в высоком кресле.

Да, путешествия по Парижу очень интересны. И не только на выставках. На улицах они тоже волнуют и, может быть, еще сильнее. Мне показалось, что на станции метро «Сен-Поль» лестницы особенно крутые и длинные. Пересчитывая ступени чуть не носом, я думала, что окажусь в тихом уголке Парижа, и заранее радовалась возможности спокойно постоять, отдышаться, посмотреть вокруг. Но выйдя из метро, мы попали в людской водоворот. Торопливые парижане бежали направо и налево, одни стремились войти в метро, другие выйти, кто-то, преграждая путь остальным, останавливался у газетного киоска, кто-то у цветочного, на переходе плотная толпа людей нетерпеливо ждала зеленого света, а рядом по широкой асфальтовой полосе с ровным гулом мчались в несколько рядов машины и автобусы.

Перейти на другую сторону оказалось непросто. Но как только это удалось, началась сказка, которая называется: «Квартал Марэ». Гул за спиной стих почти сразу. Неширокие мощеные улицы с неухоженными старыми деревьями. Невысокие особняки за чугунными оградками. Небольшие скверы. Немногочисленные прохожие. Не... не... Несостоявшаяся жизнь. Что это справа от меня? Пыльная

темная витрина. За стеклом куски старой парчи, книги с пожелтевшими страницами, медная лампа под шелковым абажуром, блюда с помертвевшей позолотой, чашки в трещинах. Где я? Откуда здесь эта Лавка древностей? Я в Париже, в квартале Маре. Как тихо здесь. Маре — марево. Маре — мираж. О чем думают эти дома, мостовые, разросшиеся корявые деревья? Тоскуют о милом им XVII веке, когда здесь кипела жизнь сильных мира того? Слышат до сих пор цокот подков холеных лошадей, влекущих по бульварной мостовой роскошные экипажи? Вспоминают, как сменилась мода, отхлынула волна удачи и унесла радость и веселье в Сен-Жермен? Маре — марев. Маре — парижский Вишневы сад.

В старинных особняках давно поселились музеи, государственные учреждения, архивы, библиотеки, в одном из них разместилась ювелирная фабрика. Первые этажи многих обветшалых домов попали в руки деловых людей. Вывески, вывески... Сапожная мастерская, кафе «Амазонка», мясной магазин, ювелирный, тайские, китайские ресторанчики. Таблички... таблички... «Отель Гизов», «Отель Эрве». Кто такой Эрве? Сейчас посмотрю. Нашла. Жан Эрве был казначеем Людовика XIII. «Отель Ламуаньон» — резиденция первого председателя парижского парламента, в XIX в. в этом доме жил Альфонс Доде.

Названия улиц в Маре хочется повторять вслух, как стихи: улица Четырех сыновей, улица Старого храма... Маре — сказка, старая, старая сказка. Как в каждой сказке здесь есть заветный перекресток и на перекрестке столб с тремя указателями. Прямо пойдешь, в музей Пикассо зайдешь. Направо пойдешь, в музей Карнавале пойдешь. Налево пойдешь, в Исторический музей придешь.

Отель Сале, где находится музей Пикассо, совсем рядом. Большое сумрачное здание, перед ним просторный двор с несколькими деревьями, парадный вход, флигель, боковой вход, итальянский дворик. Внутри залы с высокими потолками, анфилады комнат с окнами-нишами, антресоли, торжественные мраморные лестницы, коридоры с глухими стенами. Отель Сале — обычное (чтобы не сказать типичное) аристократическое жилище XVII века, такие дома и назывались тогда отелями. Но это только видимость. На самом деле отель Сале — волшебный замок, он заколдован. На стенах отеля висят картины Пикассо, в комнатах, в итальянской дворике стоят его скульп-

туры, но ни картин, ни скульптур я не увидела и не запомнила. Смутное воспоминание о чем-то давно знакомом — единственное, что осталось в памяти. Но вот светильники в этом доме — люстры, бра, напольные лампы — я увидела и вряд ли забуду. Все они сделаны из черного металла специально для музея Пикассо братом известного швейцарского скульптора Альберто Джакометти тоже Джакометти, имя его я, к сожалению, забыла. Как, почему изломанные линии и силуэты всех этих причудливых, трагических, ни на что не похожих, остро модернистских ламп и люстр гармонируют с классическими интерьерами отеля — тайна, колдовство. Я не ошиблась: отель Сале — волшебный замок.

Отель Карнавале, построенный в середине XVI в., находится на улице Севинье, названной в честь маркизы де Севинье, поселившейся в отеле Карнавале столетие спустя. Парижане чтут этот музей, здесь собраны документы и редкости, относящиеся к истории города. Я до него не дошла. Я повернула налево и пошла по улице Архивов. Постояла перед зданием, где в 1800—1825 гг. находилась мэрия прежнего 7 округа Парижа, заглянула в окна Национального архива прессы. Подумала, что только в сказках архивы находятся на улице Архивов. В действительности... В действительности, много, много лет назад, бродя по знаменитому ростовскому кремлю в городе Ростов Великий, мы обнаружили, что он стоит на улице Сакко и Ванцетти.

Национальный архив Франции тоже, как ни странно, находится на улице Архивов. Богатейшее в мире собрание документов, относящихся к истории Франции, начиная с эпохи Меровингов и кончая событиями наших дней, хранится в нескольких зданиях и во дворе князя Сюбиз, отданном Историческому музею Франции по указанию Наполеона. Среди многих сокровищ здесь есть акт об учреждении Сорбонны, Нантский эдикт, шесть писем Жанны д'Арк, первый каталог Лувра. Увы, когда я пришла, музей был закрыт. Я постояла перед коваными воротами, полюбовалась красивым, изогнутым подковой двором, фасадом здания, украшенным статуями четырех времен года, послушала объяснения экскурсовода, который с увлечением рассказывал о внутреннем убранстве дворца большой группе туристов, и медленно пошла назад.

Медленно, потому что в квартале Маре не хочется торопиться. Потому что с Маре не хочется расставаться. Но вот показался перекресток с тремя указателями, осталась позади Лавка древностей. Слышится гул машин. Гул все сильнее. Зажигается надпись: «Курить воспрещается. Пристегните ремни». Разбег. Взлетели. Прощай, Маре. Прощай, Маре-мареву. Прощай, парижский Вишневый сад. Парижа уже не видно. Был он?

ДНЕВНИК 2 февраля. Был Париж. Был и остался. Уже семь лет Брайтон, 2001 Париж и Ницца со мной. И полгода между возвращением из Франции и поездкой в Израиль тоже со мной.

ТОРОПЛИВЫЕ ЗАМЕТКИ

Брайтон, 1994

Нездоровится. Пролегала в кровати до пяти вечера. Дочитала «Быт и бытие Марины Цветаевой» Викторнии Швейцера. Одна из лучших книг, прочитанных за жизнь. Новые для меня строки Цветаевой на последних страницах книги так легко ощущаются своими в Брайтоне:

Что для oka — радуга,
Злаку — чернозем —
Человеку — надобна
Человека в нем.

Вчера у нас были все: молодые, маленькие и Шерманы старшие. Левку купали в нашей ванне, положили спать в складной кровати, в ней же увезли домой — Бостон, Америка.

Человеку — надобна
Человека в нем.

Всегда и везде. В Америке на старости лет, наверно, особенно. На нашей стороне улицы акация уже шелестит зелеными листьями. Через дорогу нежится на солнце удивительной красоты розовая японская вишня в полном цвету. В саду у Юли расцвела яблоня.

Не удержалась, сломала веточку, поставила в чашку с водой в нашей гостиной. Весна в Бостоне розовая, желтая, красная, очень пышная и чужая.

Душный жаркий день. Израильское посольство в центре города. Быстро и без труда получили визу. Встретили супружескую пару. Пожилой муж 20 лет назад приехал в США из России, по-русски говорит с трудом. Молодая жена родилась в Польше, жила в Египте, во Франции, говорит по-польски, по-французски, по-английски. Шестилетний сын знает только английский. Семья XX века.

Случайно наткнулась на объяснение смысла слова «совесть». Оно произошло от слов «со весть» и означает причастность к высшей вести, к высшей мудрости.

1 сентября. В Бостоне несколько университетов, много колледжей. Профессора, научные сотрудники, студенты приезжают, уезжают, квартиры ищут, сдают, снимают, договора обычно заключают с первого сентября. Конец августа, начало сентября — время кочевья. Ездить по городу трудно: высокие закрытые грузовики загромождают все улицы. Ходить тоже трудно. Середина тротуара — дно ущелья. С обеих сторон высятся кучи хлама — американского: при переезде оставляют диваны, стулья, матрасы, холодильники. Перевезти дороже, чем купить новые. В Америке все приспособлено для бродячего образа жизни. Верхний свет заменяют в квартирах высокие стоячие лампы. Ящики с полками из чуть подмороженного дерева заменяют шкафы, они стоят сейчас на тротуарах у каждого мебельного магазина. Рождаются здесь в одном месте, учатся в другом, работают в третьем, пятом, десятом... Школы начинают учебный год в сентябре, но в разное время. Все, что когда-то было связано со словами «Первое сентября» осталось в прошлом. Не могу к этому привыкнуть, как и ко многому другому.

Прочла «Книгу любви и гнева» Нины Комаровой. Рассказ о ее жизни с Виктором Некипеловым*. Книга вышла в Париже крошеч-

* Виктор Александрович Некипелов (1928—1989) — известный диссидент и поэт, муж Н.М. Комаровой.

ным тиражом. Опечаток и путаницы много. Исправила, что смогла, и отослала Нине Михайловне вместе с коротеньким письмом. До- читала последнюю страницу в метро, когда приезжала к Маше в Нью-Йорк, и тут же набросала письмо, благо, ехала сидя.

«В конце XX века написать книгу любви такую горячую, что она жжет пальцы, жжет душу — подвиг, который мне не с чем сравнить. Разве что с подвигом прожить такую жизнь, какую прожили Вы, и суметь после всего прожитого и пережитого написать эту книгу. Спасибо Вам, большое Вам спасибо. Гнев клокочет, когда читаешь Вашу книгу, кипит и клокочет. Увы, бессильный гнев, потому что мужа Вашего замучили, и мучители остались безнаказны. Но я все-таки думаю, что гнев Ваш, хоть и бессилён, но не бесплоден: родилась и живет книга. Плоды уже есть и еще будут...»

Книгу переиздали в том же 1994 году. Я получила исправленный экземпляр с надписью-подарком: «Дорогой Юне с благодарностью от автора и с внутренней радостью и чувством облегчения, что не в равнодушный дом».

Аркадий, русский умелец еврейской национальности, в США больше 16 лет. Выучил английский, мастерски чинит обувь, сумки. Словоохотливость не уступает деловитости. «Через несколько дней переезжаю на Бикон, место там побойчее. А как начинал?! В Италии сняли с пособия. За все платил сам. Знаете, сколько я там оставил? 10 тысяч долларов. В Нью-Йорк приехал без копейки. Родственник один взял к себе на фабричку. Полы у него подметал, мешки таскал. Жена тоже не сидела. Образование у нее два класса. Девчонка была, когда война началась. Потом уж не до учебы было. Здесь все делала: за детьми смотрела, за стариками. Пока я мастерскую купил и сюда перебрался, знаете, сколько мои да ее руки переделали? Это теперь работы бояться. Брат троюродный ко мне приехал. В городишке своем, в России, ведущий инженер был. Подумаешь, инженер! Кому он тут нужен в 57 лет? У них здесь все другое. Кто его возьмет? Есть место, молодого возьмут. Молодого понятно, зачем учить, а этого? Взял к себе. Начал к делу приспособливать. Так нет, жена покоя не дает: «Наум, ты себя губишь, Наум, у тебя светлая голова». А светлая эта голова только и гонится, знаете, куда ее

окунуть? Приезжают, ничего не понимают и слушать не хотят». Город Бостон, осень 1994 года.

В трамвае*. Женщина сзади: «Простите, вы русская? Вы очень хорошо подстрижены. Нельзя обратиться к вашему парикмахеру?» Извинилась, сказала, что парикмахер переехал. «Как жалко. У меня есть парикмахер. Тоже русский, то есть еврей, конечно. Но, понимаете, ему уже 87 лет. Руки трясутся. Сам трясется. Хочется найти кого-нибудь помоложе. Я понимаю: ему приходится работать, что поделаешь. Хотя пенсионерам здесь хорошо живется. Молодым, действительно, трудно. А пенсионеры вполне обеспечены. Вы уже выходите? В вашем доме случайно не сдаются квартиры? Ко мне вторая дочь с семьей приезжает». Город Бостон, осень 1994 года.

Завтра в русском книжном магазине «Лавка читателя» можно ненадолго окунуться в московскую жизнь. Вячеслав Всеволодович Иванов — Кома, как его называют друзья, — будет рассказывать об Ахматовой и Пастернаке. Окунуться хочется. Юра Тувим сказал, что придет с Лелей, своей сестрой. С Лелей я в Москве дружила. Она училась на филфаке МГУ, вышла замуж за исландца и уехала в Рейкьявик. Скоро Юрин день рождения, Леля прилетела из Исландии побыть с Юрой. Хочу пойти послушать Кому и увидеться с ними обоими. Аквив окунается более основательно: уехал в Москву повидать своих коллег и друзей. Жду с тревогой его возвращения. Город Бостон, осень 1994 года.

ДНЕВНИК 2 октября. Что не отдано, то пропало. Не отдано, пропало... Обидно, когда пропадает. А как отдать? Годы странствий — обычно удел молодых. Но молодость и почти вся жизнь прошли взаперти. Дверь в мир приоткрылась под конец жизни, когда силы уже на исходе. Как рассказать о невероятном?

Была во Франции, расплакалась на набережной Сены, остолбенела, увидев собор Парижской Богоматери — это обо мне. А Сена,

* Трамваями называют здесь поезда метро, когда они идут по улицам, а не под землей.

набережная, собор... Как рассказать о них? Пытаюсь, тороплюсь. Рассказать — отдать, не дать погибнуть. Рассказать — прожить радость снова, подарить, сохранить, не дать исчезнуть. Что не отдано, то пропало. Пишу и пишу письма. Посылаю друзьям в Москву, друзьям здесь, в Америке, передаю дочерям. Купила удобную тетрадь. Через две недели Израиль.

ПИСЬМО В МОСКВУ

Израиль. 16 октября — 6 ноября 1994 года

Отъезд

16 октября был легкий, спокойный день. Вещи сложила накануне. Сидела за компьютером и перепечатывала свои записки об Италии. Снова Флоренция, Сиена, Венеция... Только что прочла роман Верфеля «Верди». Книга о смысле творчества, о жизни человека, одержимого творчеством, о том, как творит творец. Последние годы Верди провел в Венеции. В городе, где я тоже жила, всего один день, но жила.

Юля приехала вовремя. От дома до аэропорта 20—25 минут езды, 30 — если не везет со светофорами. Мы ехали полтора часа. Последние 40 минут без надежды успеть. На моем дешевом билете написано, что его нельзя сдать, нельзя переменить час, день вылета. В плотном потоке машин Юля использовала все мыслимые и немыслимые возможности, ведя машину только что не по крышам других машин. Но надежды не было. За полтора часа мы едва сказали друг другу несколько слов. Я не видела ничего, кроме Юлиных рук, сжимающих руль. Что видела Юля, не знаю.

У пассажиров, вылетающих в Израиль, все проверяют особенно тщательно: документы, билеты, багаж. Это меня спасло. Контроль не справился, посадка затянулась, я благополучно сдала чемодан и улетела.

Нелепость отъезда, видимо, предопределила нелепость встречи со Святой землей. Я прилетела в Тель-Авив в час ночи. Получение чемодана и таможенные формальности заняли довольно много вре-

мени. В половине третьего, когда толпа прилетевших и встречающих рассеялась, я поняла, что Мурика, двоюродного брата Акивы, который обещал меня встретить, почему-то нет.

Большой опустевший аэропорт. Надписи на... Надписи на английском тоже есть, но я их не сразу увидела. Впервые за границы мои глаза уперлись в значки, которые я не могла не только понять — прочесть. Я растерялась. Две бессонные ночи, наверное, тоже не прошли даром. Из-за разницы во времени, вылетов из Бостона вечером, я прилетела в Амстердам рано утром, не сомкнув глаз. День в Амстердаме пролетел как миг. Город, где я совсем недавно, но в другой жизни, ходила околдованная по улицам и, не отрываясь, смотрела на дома и каналы, будто обрызгал меня живой водой. Ночь, снова сокращенная из-за смены часовых поясов, промчалась быстро дня. И вот Тель-Авив.

В конце концов я справилась. Нашла банк, обменяла доллары на шекели, отыскала почту, купила телефонную карточку и около половины четвертого утра — не самое, надо сказать, подходящее время для телефонных разговоров — дозвонилась Мурику. Недоразумение сразу же разъяснилось. Так как с Муриком договаривался Акива, а он, как известно, всегда страшно занят, несущественные подробности — день, ночь — он опустил, и Мурик был уверен, что я прилетаю в час дня, а не в час ночи. Тем не менее, Мурик и его жена Хая довольно быстро приехали за мной, так как аэропорт, к счастью, расположен недалеко от Тель-Авива. Около 7 утра я уже лежала в кровати. Акива благополучно прилетел из Москвы в 6 часов вечера того же дня, мы его встретили и началась наша... рука хочет написать туристская, но я этого слова не напишу... началась наша израильская жизнь: Тель-Авив, Иерусалим, Хайфа, экскурсии, музеи и бесконечные разговоры. Встречи и разговоры, разговоры и встречи.

Тель-Авив

Улица Дизенгофа

— Я поняла, что дома, как только сошла с трапа самолета. «Наумчик! Ты где?» — громко кричала какая-то женщина. Услышав ее крик, я поняла, что дома. Да, да, в эту самую минуту. И в первые же

дни я поняла, как всю жизнь мучилась от того, что жила в чужой стране. Вы не представляете, какой груз свалился с моих плеч в Израиле. Здесь я дома, и все вокруг мое. Плохо тут, хорошо, это моя жизнь, — говорила помолодевшая, похорошевшая Леля.

Мы шли по улице Дизенгофа, названной в честь первого мэра Тель-Авива. Был вечер страшного дня — 19 октября 1994 года. Утром араб-смертник взорвал бомбу в переполненном автобусе, ехавшем в час пик по этой улице — главной улице Тель-Авива. Тель-Авив не знал таких террористических актов. Окровавленные куски человеческих тел разметало по мостовой, по тротуарам, не всех погибших удалось опознать. В стене здания, рядом с которым взорвался автобус, зиял черный провал, в соседних домах вылетели стекла. По ТВ показывают жуткие кадры: месиво искромсанных, растерзанных трупов. Плачут женщины, рыдают мужчины, один из них держит на руках прелестную крохотную девочку, мать которой погибла в автобусе. Очередь перед донорским пунктом — добровольцы бесплатно сдают кровь для пострадавших. Кадры перебивает голос диктора. В потоке чужой гортанной речи, как заклятие, как набатный колокол, вновь и вновь раздается: «Хамас! ... Хамас! ... Хамас!»

Мы идем по улице Дизенгофа.

— Я приехала сюда одна в 58 лет, — говорит Леля. — Никто не верил, что у меня здесь никого нет. Я прекрасно понимала, что в 60 лет меня уже по закону нельзя взять на работу. Я занималась ивритом с утра до ночи. Когда попала на практику в больницу, оказалось, что я лучше всех заполняю истории болезней. Я почти ничего не умела делать руками. Здесь это необходимо. Пока я училась, врачи делали процедуры за меня, а я заполняла за них истории болезней.

На улице Дизенгофа как обычно ходят автобусы, много людей, работают кафе, рестораны, из открытых окон доносятся смех, музыка. У края тротуара тут и там горят свечи.

— Я живу в арабской помойке, в крошечной квартире, езжу на работу двумя автобусами. У меня полставки. Прием больных очень напряженный, не хватает времени. Но я все равно успеваю каждому улыбнуться, сказать два слова. Больные меня любят. Врачам недавно прибавили зарплату. У меня дешевая квартира, так что полставки достаточно на жизнь и на удовольствия.

Рядом с местом взрыва толпа людей. Многие держат в руках плакаты. «Долой изменника Рабина!» «Записывайтесь в партию трансфер! Мы за депортацию арабов!» «Приветствуем мирные переговоры!» «Смерть арабам!» «Мир! Требуем мира!» Шум, крик, смех, споры. Открыты магазины, кипит вечерняя жизнь. У края тротуара горят свечи.

Перед тем как расстаться с Лелей, мы зашли в кафе в подвальном этаже большого нарядного магазина. За стойкой болтают молоденькие официантки, в витрине под стеклом разложены соблазнительные пирожные, сласти. Одна из официанток с приветливой улыбкой тут же подходит к нашему столику, мгновенно приносит все, что мы попросили.

— Да, не удивляйтесь, — говорит Леля. — Взрывы, кровь, смерть, но те, кто не пострадал, продолжают жить привычной жизнью. Это Израиль.

Слова: «Это Израиль» слышишь здесь постоянно. Их повторяют так часто, что они въедаются в сознание. Их хочется поставить в заголовки, сделать эпиграфом, включить в национальный гимн. Мне кажется, это происходит потому, что клочок земли, именуемый Израилем, бесконечно разнолик. Нет в этой стране единства ни национального, ни культурного, ни географического, ни исторического. Слова: «Это Израиль» — заклинание. В них все: вера, надежда, отчаяние и любовь.

Музей диаспоры

Красивое современное здание музея снаружи и внутри похоже на музей и на храм. Его двуликость производит сильное впечатление. В вестибюле лежат глыбы серого камня, уцелевшие от разрушенного Храма. На стене доска со словами Аблы Ковнера: «Дерево может быть одиноко в мире. Человек может быть одинок в мире. Но ни один еврей не может быть одинок в день святого праздника». Доски с изречениями Аблы Ковнера развешаны в музее во многих местах. При входе в зал, посвященный Холокосту, надпись: «Помни».

Экспозиция начинается с выставки мастерски выполненных макетов синагог, построенных в разных концах света. Синагога во Флоренции напоминает итальянский католический храм с куполом, в Венеции — дворец на Большом канале: на ее отсыревших стенах

тоже облупилась штукатурка, при входе стоит гондола. Рядом макет китайской синагоги-пагоды. Силуэт синагоги в Пенсильвании напоминает гору Синай.

В одной из первых комнат музея на стенах светятся экраны нескольких телевизоров. На них, сменяя друг друга, появляются лица: мужские, женские, старые, молодые, детские. Панорама лиц со всех концов земли удивляет разнообразием и общностью. При всей несхожести черт все они — евреи. На других экранах показывают евреев — лауреатов Нобелевской премии, евреев, прославившихся в науке, искусстве, космосе. Тут же висит карта мира, где отмечены города, в которых жили и работали знаменитые евреи. Карл Маркс, например, и Пастернак.

В одной из комнат телевизоры стоят на столах. Можно сесть за любой из них, надеть наушники, нажать нужную кнопку и прослушать на доступном тебе языке сжатый курс истории евреев Германии, Польши, других стран. Иллюстрации показывают по телевизору.

В музее есть большой отдел генеалогии. На его дверях висит доска с надписью Аблы Ковнера: «Помнить о прошлом. Жить настоящим. Надеяться на будущее». Большая картотека этого отдела многим помогает найти родственников. Оторвать от картотеки Мурика удалось с трудом даже его жене Хае, хотя он бывал в музее много раз и Хая прекрасно умеет им руководить.

Очень они хорошие люди, Мурик и Хая: сердечные, теплые и интересные. В Бостоне, готовясь к отъезду, я спросила Юлию, как узнать Мурика в аэропорту. «Мама, у него такая картофелина вместо носа, его нельзя не узнать», — не задумываясь ответила Юлия. И оказалась права. Я узнала Мурика мгновенно. С такой легкостью узнавали, наверно, Сирано де Бержерака. Небольшого роста, довольно толстый, с внушительным ежиком седых волос и большими голубыми глазами, он показался мне красивым, несмотря на свой, действительно, выдающийся бугристый нос, занимающий едва не пол-лица. Я не сразу поняла, что своим обаянием он обязан удивительно открытой, доброй улыбке и сияющим глазами.

Родители Мурика эмигрировали из Литвы, когда он был ребенком. В Тель-Авиве еще помнят его отца-врача, у которого была большая частная практика. Сам Мурик — уважаемый и известный в

Израиле журналист, поэтому ходить с ним по Тель-Авиву нелегко: то он кого-то окликает, то с ним кто-то здоровается. Мы шли по бульвару Ротшильда, я засмотрелась на высокие пальмы и зонтичные акации. Но Мурик тут же вернул меня на землю. «Посмотри лучше сюда», — сказал он. Мы стояли около памятника городу Тель-Авиву. Гранитный куб, на его гранях высечены имена тех, кто строил город, и надпись: «Я тебя строю, и ты будешь построен». Рядом невзрачный дом, хорошо известный в Тель-Авиве. В этом доме Бен Гурион объявил о создании независимого государства Израиль.

На месте гимназии им. Герцеля, первой гимназии, где обучали детей на иврите, теперь высится небоскреб. С обзорной площадки небоскреба видны море, Яффа и Тель-Авив — небольшой город в плоской чаше среди холмов, подступающих к черте города. Когда выглядывает солнце, холмы рыжие, когда набегают облака — серые. В лабиринте улиц бросается в глаза круглый купол главной синагоги. На обзорной площадке и в прилегающих холлах взгляд невольно задерживается на группах молодых парней и девушек в военной форме.

Мурик учился в США, но когда началась Война за независимость, вернулся в Палестину. Несмотря на почтенный возраст, он продолжает работать. Встает с рассветом, садится за компьютер, которым овладел не так давно, около девяти утра завтракает и уезжает в редакцию. Днем возвращается домой, спит часа 2—3, вечером допоздна читает и смотрит ТВ. Родной язык Мурика иврит, но он хорошо говорит по-русски и по-английски. У него в доме много книг на всех трех языках.

Религия Мурика не интересует. Я как-то спросила, хотел бы он, чтобы Израиль стал религиозным государством. Он рассмеялся:

— Конечно, нет. Больше половины евреев тут же убежит из Израиля и правильно сделает.

Но хотя к религии Мурик равнодушен, к Израилю он относится горячо.

— Скажи Мише и Юле: пусть переезжают в Израиль. Я помогу им устроиться. В Америке они всегда будут эмигрантами. Евреи должны жить в Израиле.

— А как быть с арабами?

— Это вопрос сложный. И это вопрос времени. Сейчас главное,

чтобы нас стало больше. Чем многочисленнее будет еврейское население Израиля, тем больше мир будет с нами считаться.

В главном Хая согласна с Муриком. Она сабра. Израиль — ее дом. Она тоже училась в Америке, бывала в Европе, но дом — это Израиль. А Хая — женщина, прежде всего — женщина, женщина до мозга костей. И дом — основа ее жизни. Ей сильно за семьдесят, ее лицо непоправимо разрушено морщинами, но с раннего утра до позднего вечера Хая красиво, со вкусом одета, тщательно причесана и поглощена заботами о доме. О своем малом доме — своей квартире и своих близких. И о большом доме — Израиле.

Мы стоим перед стендом с фотографиями в Музее диаспоры.

— Видите? Вон там в середине мой отец, — говорит Хая. — В первом ряду мужчины сидят на земле, во втором стоят. Третий с левого края во втором ряду — мой отец. В их отряде было 12 человек. Отец экономист. Он бросил все, приехал в Палестину и работал землекопом. Отряд осушал болота, резал тростник, сажал плодовые деревья.

Хая улыбается, глаза блестят. С такими же блестящими глазами она улыбалась, вода нас вечером по Центру искусств. Центр расположен в старой части Тель-Авива. Одноэтажные обветшавшие дома, плохо замощенные улицы, редкие тусклые фонари — убогое зрелище. Неожиданно мы вышли на небольшую площадь.

— Во время борьбы за создание государства Израиль в этом доме, — говорит Хая, — сначала была школа для мальчиков. Потом школу занял штаб. Видите, вот памятная доска. Сейчас здесь театр. А вон там — здание, где в 1942—1948 гг. проходили военную подготовку девушки. Здесь балетная школа.

На площади растут пальмы и апельсиновые деревья, журчит вода в оросительных канавках. До начала спектакля оставалось минут 20. К площади то и дело подъезжали машины, из них выходили нарядные парни и девушки. Они негромко переговаривались и стайками шли в театр. На площади было светло, спокойно и радостно. Вокруг — темно и тревожно.

— Да, совсем недавно штаб, военное училище, теперь театр, балетная школа, рядом полуразвалившиеся дома — это Израиль, — говорит Хая.

Хая вторая жена Мурика. Взрослые сын и дочь Мурика от первого брака искренне к ней привязаны, и Хая преданно заботится о них и их детях и расцветает душой, когда они появляются в доме. На семейной встрече по случаю нашего приезда за столом собралось больше 20 человек. Приехала даже легендарная Рая Яглом, возглавляющая Международную женскую сионистскую организацию. Рая — Яглом только по мужу, двоюродному брату отца Акивы и Иси, но это неважно. Поговорив с ней минут 10, я оценила ее власть, решительность и уверенность в себе. Несмотря на свой внушительный еврейский нос, она и коня на скаку остановит, и в горящий дом войдет, если сочтет нужным.

Яблочный пирог, испеченный Хайей, вызвал всеобщий восторг. Но душой этой семейной встречи был все-таки не пирог, а Мурик и Хая. Оба они удивительно щедро дарят сердечное тепло и внимание всем членам своей большой семьи и постоянно кого-то опекают. Как им это удастся в водовороте повседневных дел и обязанностей, трудно понять. В свои семьдесят с лишним лет Хая готовит, покупает, читает в университете курс лекций по социологии, подготовка к которым отнимает у нее много времени, делает раз в неделю прическу в парикмахерской и никогда не жалуется на усталость.

Правда, от тяжелой домашней работы Хая избавлена. По определенным дням в доме появляется молодая стройная еврейка из Сухуми, эмигрировавшая в Израиль больше 10 лет назад. Она приезжает на собственной машине, в красивой юбке и шелковой блузке, надевает шорты и майку, работает, не жалея сил, часа три, переодевается и уезжает. Я очень хотела с ней поговорить, но грузинский и иврит мне недоступны, а других языков она не знает.

Зато я по душам поговорила с молодой женщиной из Днепропетровска, пока Мурик что-то покупал в соседнем магазине.

— Мы с мужем приехали первые. Огляделись, устроились. Три года пролетели — и заметить не успели. Иврит, конечно, выучили. Теперь говорим совсем свободно. Нам здесь хорошо. Дочь с семьей вызвали. Вот ей пока трудно. Квартира очень дорогая, языка не знает, зарабатывает уборкой. Конечно, тяжело. Но уезжать не хочет. А сын приехал, побыл и сказал, что из Днепропетровска никуда не

поедет. У него там квартира, работа, дети учатся. А здесь что? Здесь, конечно, надо начинать с самого начала. Это ж Израиль.

Яффа

Яффа — арабский пригород Тель-Авива, или Старый город. Яффа действительно очень стара. Ее название связано с именем Яфета, сына Ноя. Известно, что ливанский кедр, который царь Соломон покупал для строительства Храма, морем привозили в Яффу, откуда доставляли в Иерусалим. Я видела только парадную туристскую часть Яффы и только вечером. Эта Яффа красива и своеобразна в отличие от Тель-Авива, лишенного какого бы то ни было своеобразия, даже туристского.

Небольшие дома с глухими стенами без единого окна, мощеные камнем улочки, расположенные на разных уровнях, под разными углами друг к другу, лестницы, крутые повороты, подъемы и спуски создают впечатление таинственного лабиринта. Впечатление ложное. Туристская Яффа — место вполне цивилизованное. Индустрия торговли здесь хорошо развита и организована: магазины и магазинчики с предметами искусства любой цены и на любой вкус встречаются на каждом шагу, кафе и рестораны тоже. И хотя меркантильность этого лабиринта притупляет ощущение старины и подлинности, живописность и красочность этих улочек влечет сюда множество людей.

Очень украшают вечернюю Яффу башни и минареты на фоне темно-синего неба в ярких больших звездах и удивительная колокольня христианской церкви. Три куба с открытыми оконными проемами и слегка приподнятыми краями крыши стоят один на другом: на большом — средний, на среднем — маленький. Несмотря на крест, венчающий колокольню, она напоминает китайский павильон, и так как основания ее из-за густой зелени не видно, кажется, что она парит в воздухе.

Недалеко от колокольни стоит интересный памятник в виде буквы «П». Он богат украшен барельефами. На одной из вертикальных опор изображен сон Иакова, на другой — жертвоприношение Исаака, на поперечине — победа: стены Иерихона рушатся от звука труб.

Старый арабский город, христианский храм, еврейский памят-

ник сосуществуют в Яффе на скалистом пятнышке, висящем над морем. Над морем? Или над пропастью? Что их объединяет, кроме прихоти истории и географии?

Окрестности Тель-Авива

Кейсария

Наверное, я уже избалована американскими дорогами, где через каждые сто метров написано что, где, куда, но, на мой взгляд начинающего водителя, указателей на израильских дорогах слишком мало и они недостаточно четкие. Так или иначе поездка в Кейсарию оказалась скомканной из-за того, что Хая заблудилась и мы попали в Кейсарию уже к вечеру.

Кейсарию построил иудейский царь Ирод, выбрав для города красивое место на берегу Средиземного моря. Красивое место, увы, оказалось несчастливим: город завоевывали и крестоносцы, и арабы, и римляне. А красота побережья сейчас пострадала, так как рядом с Кейсарией построена электростанция, работающая на привозном угле, и ее высокие трубы уродуют пейзаж.

Свое теперешнее название Кейсария получила в честь цезаря Августа. Все, что осталось от ее бывшего великолепия, обязано своим воскрешением трудам археологов. Осталось немного: крепость и амфитеатр.

Башни и стены крепости крестоносцев сложены из кирпича, но не красного, а цвета соседних холмов — желтовато-серого. Они высятся на скалах, обрывающихся в море, и даже полуразрушенные временем и войнами кажутся гордыми и грозными. На площадках крепости стоят найденные при раскопках римские колонны и скульптуры, вполне здесь уместные, наверное, потому, что они тоже часть этой древней земли, как сама крепость, ее стены и рвы. Но здесь же работают несколько кафе, рестораничков, киосков с сувенирами, салон современного искусства. И хотя в салоне много интересных работ, в крепости крестоносцев они решительно не смотрятся. Почему всю эту коммерцию нельзя вынести за пределы крепости, я не поняла.

Знаменитый римский амфитеатр на три тысячи человек мы, к сожалению, видели только снаружи, так как приехали слишком по-

здно. Он был очень красив и величествен в лучах солнца, опускавшегося в море. Жаль, что попасть внутрь не удалось.

Назад ехали долго, так как Хая в очередной раз ошиблась на повороте. Хая — опытный водитель и хорошо знает страну. Как не чертыхнуться по поводу израильских дорог! Хотя я должна быть им благодарна. Мы ехали между невысоких холмов, красивых тихой, печальной красотой. Жара спала, наступили сумерки, но было еще достаточно светло и все вокруг хорошо видно.

Большую еврейскую деревню недалеко от дороги заметили издали. Правда, слово «деревня» как-то не вяжется с двумя-тремя десятками красивых и, наверное, удобных домов-кубиков из бетона, окруженных молодыми деревьями, едва различимыми среди камней. Земли не видно. Между домами и вокруг деревни камни и песок, песок и камни. На песке среди камней играют дети.

Ашкелон

От древнего Ашкелона сохранилось только предание, согласно которому в этом городе родился Ирод Великий. Прямое, почти без поворотов, шоссе из Тель-Авива в теперешний Ашкелон проложено на плоской равнине. Из окна машины видны кочки с редкой травой, иногда небольшие купы деревьев, распаханная земля.

Город появился внезапно. Вдруг показались невысокие дома с маленькими окнами, глухими стенами и солнечными батареями на крышах. Дома красивы и хорошо приспособлены к местному климату. И улицы в городе красивые: пальмы, свежие газоны — зримые плоды труда в пустыне. Красивы даже местные «Черемушки»: большие кварталы однотипных домов в «восточном» стиле. Улиц нет, дома стоят под разными углами друг к другу. Такая планировка дает дополнительную тень, что в Ашкелоне очень важно. В одном из этих домов живет Акивин московский знакомый, который обещал показать нам ашкелонский парк.

В лифте поднимались с хорошенькой девушкой. На ней была черная майка, едва прикрывавшая грудь, черная мини-мини-юбка и джинсовая куртка такой же длины, как юбка. На ногах коричневые сапоги выше колен с каблуками-тумбами, в ушах большие «золотые» серьги-колеса. По контрасту вспомнился мужчина на бензокон-

лонке, где заправляли машину по дороге в Ашкелон. Высокий, худой, редкие седые волосы вокруг большой лысины, за стеклами очков умные, грустные глаза. Темные форменные брюки и яркая желтая майка с названием фирмы казались на нем такой же экзотической одеждой, как наряд девушки в лифте. Поговорили минутку. Журналист из Киева. Здесь заправщик. Другой работы не нашел.

Парк в Ашкелоне расположен на холмах, поросших высокими сонами с длинными иглами и незнакомыми лиственными деревьями. Главная его достопримечательность — раскопки. На зеленой поляне стоят и лежат древние римские статуи, бюсты, колонны, капители, кажется, только что вырытые из земли. Очень красива статуя Ники, стоящей на земном шаре, который держит Атлас. Я встретила с ней, как с доброй старой знакомой. Долго стояла, смотрела, хотела спросить, как она очутилась в Израиле, сказать ей, как я рада этой неожиданной встрече.

Реховот

Тамара родилась на Украине, училась в Москве в техническом вузе. В Вильнюсе, куда ее распределили, вышла замуж за Марика Брудно. Брудно и Ягломы очень дальние родственники, но те, кто попадают в необъятный круг интересов и симпатий Мурика, немедленно становятся близкими — теплоты Мурика хватает на всех.

В Вильнюсе, в доме на Коммунистической улице, где жила глубоко чуждая коммунизму семья Брудно, состоявшая из пожилых родителей, Марика с Тамарой и их маленького сына, нас считали родными. Долгие годы сидения в отказе погубили Марика. Из способного инженера и интересного человека он превратился в горького пьяницу. Когда семья получила, наконец, разрешение на выезд, Марик уже был женат на другой женщине. Тамару с матерью и сыном он, тем не менее, привез в Израиль, но сам так и не встал на ноги и вскоре после приезда в Израиль умер.

— Мама тоже скоро умерла, — рассказывала Тамара. — Изю воспитывала одна. Работала очень тяжело. Знаете, женщина-инженер — это трудно, тем более, все чужое, все не так, как привыкла. Иврит выучила в Вильнюсе, пока ждала разрешения. Сначала все равно ничего не понимала, говорила кое-как. Зарабатывала, правда, хорошо, и Мурик помогал. Своим отношением помогал. Вы знаете,

какой он человек. Я для него была как родная, и для Хайи тоже. Но главное, я здесь как-то сразу почувствовала себя дома. Да, трудно, очень трудно было, но все равно дома.

От Тель-Авива до Реховота минут 30 езды на машине. У Тамары в Реховоте большая красивая квартира. Изя работает в США, женился на американке.

— Конечно, одиноко. Конечно, хочется, чтобы Изя жил здесь. Но на скуку я не жалуюсь. У меня хорошая пенсия. Европу я уже объездила, была в Японии, в Африке, последний раз в Кении. У Изы два раза гостила. Он советолог, преподает в Йельском университете. Фотографией, как видите, увлекаюсь.

Мы разговаривали у Тамары дома. На стенах ее квартиры висят великолепные фотографии диких животных, экзотических цветов, интересные пейзажи.

— У меня очень хороший фотоаппарат, — предупредила мой вопрос Тамара. — Снимаю издалека, а кажется, будто стою рядом. Людей перестала фотографировать. Знаете, люди в общем-то везде одинаковые. И заботы одинаковые, и радости, и горести. А мир вокруг разный. Мне это интересно. Когдаходишь к Тамаре в квартиру, глаза упираются в снимок, сделанный во французской деревне. У стены сарая с низкой соломенной крышей стоят две деревянные бочки, одна побольше, другая поменьше. В косых лучах солнца старые пузатые бочки кажутся теплыми и «живыми», а стена сарая, грубо обмазанная глиной, — древней как мир. Все вместе — законченный рассказ.

В Институт Вейцмана пошли пешком. При входе остановил вооруженный патруль. Молодой солдат вежливо объяснил, что после взрыва в Тель-Авиве на территорию института пропускают только машины с именным пропуском, который у Тамары, к счастью, был, так как она плавала в институтском бассейне. Со второго захода, уже на машине, в институт мы попали.

Недалеко от входа в большой парк, где среди незнакомых деревьев с красными и желтыми цветами разбросаны здания института, устроена площадка для торжественных церемоний. Она разбита под зонтичной акацией, что оказалось кстати даже в сентябре. Прямоугольник площадки с трех сторон окружает низкая стена из светло-желтого кирпича, четвертая сторона открыта, здесь вход.

У центральной стены напротив входа возвышается разорванный свиток торы: большой цилиндр из серого камня с черным провалом разрыва, установленный на постаменте с надписью: «Помни». Сбоку на той же стене надпись на иврите и на английском: «Я уверен, что наука принесет этой земле мир и вернет ей молодость, создав благоприятные условия для возрождения духовной жизни и процветания страны, при этом я имею в виду не только чистую науку, но и прикладную». Хаим Вейцман.

В глубине парка на невысоком холме прячется среди деревьев ничем не примечательный дом, где жил Вейцман. Рядом, на посыпанной песком площадке, стоит громоздкий автомобиль — подарок Форда. Невдалеке могила Вейцмана: саркофаг с надписью: «Хаим Вейцман. 1874—1952». Единственное украшение могилы — небольшая корзина с цветами. Сумрачная аллея — сплетенные воздушные корни деревьев едва пропускают свет — ведет к дому, где хранится архив Вейцмана.

Но опустевший дом, здание архива и могила воспринимаются здесь как части живого целого. Они тоже живут, пусть иной жизнью, но живут и, наверное, поэтому не вызывают грусти. Ощущение продолжающейся жизни, продолжающегося, вопреки всему, созидания не оставляет ни на минуту в этом парке науки. Особенно острым оно становится в Научном центре для подростков.

В отличие от многочисленных зданий института, построенных и оборудованных на деньги американских миллионеров, этот комплекс создан совместными усилиями многих стран. Он состоит из небольших одноэтажных зданий-лабораторий, выходящих на красивую общую площадку. Работают с детьми сотрудники Вейцмановского института. Переходишь от одного здания к другому, читаешь названия лабораторий, научных фондов, субсидирующих их работу, и отчетливо видишь палочку эстафеты. Не символическую — реальную. Эстафета внушает доверие. Хочется добавить: «И надежду». Но мы были в Вейцмановском институте через несколько дней после взрыва в Тель-Авиве. Я пишу об этом на другой день после взрыва в Оклахоме*. Поэтому от добавления воздерживаюсь.

* 19 апреля 1995 года в г. Оклахоме (США, штат Оклахома) было взорвано здание федеральной службы, погибло 168 человек, среди них много детей.

В отличие от Института Вейцмана в кибуце по соседству с Реховотом не отпускает мысль, что жизнь отсюда ушла. Красивые пальмы, свежая зеленая трава, в воздухе запах эвкалиптов. Недалеко от прекрасно оборудованной детской площадки большое раскидистое дерево, под ним бак, на дереве плакат: «Если обнаружена бомба, бросать сюда».

Длинная одноэтажная столовая, как в пионерлагере, клуб вроде клуба в колхозе. Всюду чисто. Даже в больших коровниках с черными коровами. Коровники пахнут сеном и..., но буренки ухоженные и откормленные.

Мы были в кибуце в субботу и поразились безлюдью.

— Но ведь суббота, что ж вы хотите? Развезаются, кто куда, — сказала Тамара. — Молодым скучно, старикам тоскливо. Здесь и так людей немного. В праздники, в субботу совсем никого не остается. Не очень-то теперь стремятся жить в кибуцах.

Это чувствуется сразу, как только попадаешь в кибуц. Оборудовано, благоустроено, но русло жизни свернуло в сторону, и кибуцы оказались на мели. Не диалектическое противоречие: единомышленники, воодушевленные общей идеей, хотят вместе идти к цели, но чтобы идти вместе, надо слушать команду и соблюдать строй, против чего восстают душа и разум. Люди, видимо, не могут долго жить в стаде, даже если пастух хорош, а стойла благоустроены. Но ведь и одиночество — тоже беда. Один из вариантов компромисса мы видели там же, в Реховоте.

Тамара возила нас по городу и показывала непохожие друг на друга кварталы Реховота.

Йеменский бедный. Глинобитные лачуги, к низким каменным огородам жмутся женщины и дети в яркой одежде. Тонкие изящные фигурки детей, выразительные красивые лица угловатых, большеглазых подростков, неподвижные черные тела женщин в пестрых платьях.

Йеменский богатый. Те же глинобитные лачуги, но двухэтажные с пыльными убогими садами. Около одной из них Тамара притормозила:

— В этом доме жила женщина, которая приходила ко мне убирать квартиру, — сказала она.

— У нее было 13 детей, она подрабатывала уборкой.

Эфиопский квартал. Дома получше. На улицах кучки чернокожих людей с европейскими лицами. Большие темные глаза недоверчиво смотрят на мир. Темная современная одежда. Детей меньше, чем в Йеменских кварталах.

Еврейский. Огромная трехэтажная вилла местного раввина. Вычурные окна, лепнина, арки, балконы, балкончики — вилла восточного вельможи. На улицах бородатые мужчины в лапсердаках и черных шляпах. Стайки мальчиков. У каждого на черных волосах белая кипа. В этом богатом районе много небольших красивых vill с тенистыми садами. Есть свой дом для престарелых с громким названием «Дом Давида». На большой террасе сидят, уставившись в пространство, старухи, стариков почти не видно. Зрелище печальное, хотя «Дом Давида» — прибежище богатых, где ухаживают за стариками безотказно и квалифицированно.

Разъединение во имя объединения. В этом выход? Мне он кажется малопривлекательным и малоперспективным.

По субботам Реховот пуст. Общественный транспорт не работает, на улицах не видно людей, почти нет машин. На весь город открыто одно кафе, один магазин. Какой же, однако, странный винегрет: еврейский квартал, Институт Вейцмана, йеменский квартал, кибуц у самого города...

— Что ж вы хотите, это Израиль, — говорит Тамара.

Иерусалим

Мне показалось, что Иерусалим — город без лица. Вернее, лицо этого великого трагического города так загромождено реликвиями прошлого, так безжалостно рассечено на части толпами враждующих пришельцев, так истерзано войнами и обезображено лишениями голой земли — не земли, песка и камней! — что лицо его невозможно разглядеть. Мне, во всяком случае, это не удалось. Для меня Иерусалим — мозаика, разрезанные, разрозненные куски картины-головоломки, решить которую я не смогла.

Иерусалим иудейский

Автобусная экскурсия по иудейскому Иерусалиму продолжалась несколько часов. Такая экскурсия могла бы продолжаться, наверное, несколько дней или несколько месяцев, в Иерусалиме этого все

равно мало. Слишком много исторических событий произошло на этом клочке земли. Одно их перечисление — у нас был хороший экскурсовод — оглушает и ослепляет. А когда первый раз в жизни собственными глазами видишь Гефсиманский сад с оливковыми деревьями, которым больше двух тысяч лет, Масличную гору, римскую улицу Кардо II в. н. э., гору Сион, голова идет кругом.

Первая часть нашей экскурсии завершилась у Стены плача. Здесь нам ничего не рассказывали, в течение часа мы были полностью предоставлены самим себе. После переулков Старого города, узких переходов среди развалин, после тесноты храмов здесь с облегчением дышишь полной грудью. И радуешься простору. Над головой простор неба. Перед глазами простор большой площади. Деталей сначала не различаешь, Стена воспринимается как граница площади и только. Но гипноз пространства скоро ослабевает и тогда видишь, что на площади много вооруженных солдат. Замечаешь большой полицейский участок и расхаживающих по площади полицейских. Глаз царапает стоянка автобусов, антенны, торчащие над Стеной, за Стеной, лотки, где незадачливые мужчины могут взять кипу, а легкомысленные женщины накидки и юбки-распашонки. Но потом все эти мелочи исчезают. И остается Стена. Ты и Стена. Ты и все, что с этой Стеной связано. И века мук, надежд, страданий сжимаются в комок, комок стоит в горле, а из глаз текут слезы. И тогда, непонятно как и зачем, ты достaeшь клочок бумаги, пишешь на нем то, что не решаешься произнести вслух, и, как все кругом, ищешь щелчку в камнях, прячешь дрожащими руками свою самую сокровенную надежду в этой Стене, такой скупой на исполнение надежд и такой щедрой на горе и слезы, и, не видя военных, полицейских, автобусов и антенн, молча уходишь.

Вторую часть экскурсии целиком заняло посещение музея памяти Катастрофы. Необычное название этого музея «Яд вашему», что значит «Память и имя», связано с глубоким и широким смыслом понятия «Имя», очень важным в иудаистике. Часть музея, посвященная детям, поразительным образом наглядно воплощает эти сложные абстрактные представления.

К зданию музея, построенному в 1956 году, ведет длинная Аллея праведников, где увековечены названия государств, защищавших

евреев от Гитлера, и имена тех не-евреев, которые спасали евреев, рискуя собой и своими близкими. Трудно читать их имена. Трудно, потому что они не всегда согласуются с привычной шкалой ценностей. Маннергейм, Франко, царь Борис (Болгария)... Италия... Рядом с аллеей стоит лодка, одна из тех, на которых спасали евреев Дании. К сожалению, вызванное этим перечнем сложное душевное состояние — смесь надежды и отчаяния, горечи и гордости — в самом музее не сохраняется.

Громоздкий и претенциозный барельеф Нафтали Безема «Стена Катастрофы и героизма» кажется таким вычурным после Аллеи праведников, что не производит никакого впечатления. Многочисленные фотографии трупов и измученных людей достаточно выразительны, но, видимо, неудачно развешаны и их слишком много. Они притупляют, а не обостряют зрение, приглушают, а не пробуждают боль. Надежды устроителей на то, что такие снимки будут говорить сами за себя, в этом случае, как и во многих других, по-моему, не оправдались. Это особенно обидно, так как происхождение фотографий хорошо известно и достаточно драматично. Во время войны немецкий солдат Гейнц Юсс, прогуливаясь по варшавскому гетто, сделал себе на память 129 снимков. После смерти Юсса снимки нашла его жена и в 1980 году прислала в музей.

«Яд вашему» расположен в двух помещениях. Выйдя из основного здания, попадаешь в парк. Посыпанные песком дорожки, молодые деревца, пригорки, пологие спуски — все радует после только что увиденного кошмара. Кошмар остается кошмаром при любой экспозиции. Удачная она или неудачная, об этом задумываешься потом.

Но вот дверь. Самого здания за деревьями не видно. Только дверь. За дверью темно. Густой мрак. Тишина. Из глубины — сбоку? сверху? — чуть слышно доносится низкий мужской голос. Расслышать слова не удастся. Голос притягивает. Чуть подсвеченные перила вдоль изогнутых то вправо, то влево мостков тоже. Мостки заставляют идти. Руки сжимают перила. Под ногами доски. Высоко над головой, сбоку, сзади темно-фиолетовое небо. Мерцает звездочка. Одна, другая. Вдалеке звезды ярче, их много — Млечный путь. Низкий мужской голос звучит явственнее. Уже можно разобрать слова: «Сара Мария Яблонска. Четыре года... Натан Эммануил Кирцер. Пятнадцать лет...

Клара Эльфрида Заммер. Восемь лет...» Голос звучит громче. Небо обступает теснее. Слезы не проливаются из глаз. В горле колом стоит крик. Колотится сердце. До звона в ушах. До глухоты. Голос слабеет, он уже едва слышен. «Исаак Гирш Левин. Три года... Элиза Розалия Барух. Шесть...» Небо светлеет. Звезды гаснут. Дверь.

Детский музей построил архитектор Моше Сафдил в память полутора миллионов еврейских детей, погибших во время Катастрофы. Деньги на создание музея пожертвовали Абрахам и Эдит Шпигель из Беверли Хилл, Калифорния. Их сын погиб в Аушвице в 1944 году.

Иерусалим христианский

Христианский Иерусалим поражает богатством исторических памятников не меньше, чем иудейский. Церкви, монастыри, древние крепостные стены, дворец Ирода, Крестный путь Христа, Вифлеем — нужны бездонные душа и голова, чтобы вместить все увиденное. Самое яркое впечатление, наверное, все-таки — крестный путь, знаменитая *Via dolorosa*.

Пестрая разноязыкая толпа туристов. Группы различимы только благодаря экскурсоводам: чтобы не растерять своих подопечных, одни размахивают разноцветными зонтиками, другие самодельными плакатиками, третьи флажками.

Пестрая разноязыкая толпа торговцев, среди которых особой юркостью и неутомимостью отличаются продавцы воды. Солнце палит немилосердно. Большие бутылки с водой, маленькие, средние покупают нарасхват.

Пестрая до рези в глазах вереница лавок и лавочек, кафе, ресторанчиков и забегаловок. На улице жарят мясо, пекут лепешки, варят кофе. Крестный путь проходит по нескончаемому базару, где продают все: платья, иконы, электротовары, фрукты, открытки, картошку, сувениры. Бусы и кольца лежат рядом с полуживой рыбой, мясные туши висят рядом с бюстгальтерами, глиняные горшки стоят рядом с пирамидами сладостей. На тележках везут мешки с бобами, бутылки с вином, связки лука, разноцветные гирлянды перца. Звонят колокола, орут на полную мощность магнитофоны, в минутные паузы слышны призывные крики муздинов. И в этом невообразимом гвалте, сквозь какофонию цветов, звуков и запахов доносятся

прокаленные солнцем голоса гидов: «Вторая остановка. Мария встречает сына, несущего крест... Третья остановка. Иисус падает... Пятая остановка. Дом Симона. Симон помог Иисусу нести крест...»

Двор церкви Гроба Господня, куда мы попали, пройдя под сводами эфиопской церкви, где перед незнакомой иконой стоял и молился высокий черный как сапог мужчина, оказался наводнен туристами, главным образом немцами. Тем не менее наша экскурсовод Рина ухитрилась и здесь многое показать и рассказать.

Церковь Гроба Господня принадлежит нескольким враждующим конфессиям: ортодоксальным грекам, армянам-христианам и католикам. Договориться, как отреставрировать церковь, они не в состоянии. Начавшийся, было, ремонт приостановлен. На одном из уступов крыши стоит забытая стремянка — памятник нескончаемых свар.

В результате многочисленных разрушений и перестроек конец пути Христа оказался под сводами церкви. На том месте, где распяли Христа, в церкви стоит алтарь святых гвоздей. Там, где раскаялся римлянин, проткнувший Христа копьем, где делили одежду Христа (считалось, что одежда распятого приносит счастье), где надругались над Христом не верившие, что он сын Божий, воздвигнуты часовни.

Голгофа, как ни странно, тоже находится внутри часовни, а под ней стоит армянская церковь, купол которой виден снаружи. Под армянской церковью есть еще пещера, где нашли крест, на котором распяли Христа. Для полноты картины остается только добавить, что вся эта «география» вряд ли имеет отношение к действительности. Известно, что после основания Константинополя мать императора Константина приехала в Палестину искать святые места. Руководствуясь своими вещими снами, она их нашла. С тех пор они и существуют. Что правда, что вымысел в легендах о Христе, не знает никто, но традиции живучи.

Церковь Гроба Господня полна людей. Чтобы взглянуть на гроб Христа, надо простоять в очереди часа полтора. Чтобы приложиться к чудотворной иконе, заглянуть в некую таинственную щелку — я не усвоила, что там такое, — немногим меньше. Стоят, заглядывают, целуют святыни — поток жаждущих не иссякает. Молодые и средних лет женщины в модной одежде без колебаний опускаются на колени, бьют земные поклоны, истово крестятся, плачут, глядя на иконы. Ка-

кая им разница, где на самом деле шел Христос, где нес крест, где упал. В глазах у них вера, надежда и любовь. Недаром же сказал классик: «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман».

Автобусная экскурсия по Иерусалиму христианскому завершилась поездкой в Вифлеем. После Иерусалима Вифлеем оказался небольшим тихим музеем. Святыни Вифлеема — могила Рахели, церковь францисканцев, церковь Рождества Христова — столько раз опустошались, разрушались и перестраивались, что, по-моему, утратили какую бы то ни было ценность, кроме сугубо религиозной. Удивительную предусмотрительность проявили в VII в. крестоносцы: чтобы мусульмане не въезжали в церковь Рождества Христова на лошадях, они заложили камнями большой арочный вход и оставили такую маленькую, низкую дверь, что с тех пор входящим приходится сгибаться чуть не вдвое. Но и эта мера не спасла церковь.

Выезжая из Вифлеема, экскурсионный автобус остановился около большого ювелирного магазина. Нам раздали купоны, дающие право на скидку, и все пошли в магазин. Я удовлетворила свое любопытство минут за десять, вернулась на улицу и присела на подоконник витрины. Рядом со мной примостилась женщина из нашей группы, которую, видимо, тоже не заинтересовали драгоценности. На вид ей было лет сорок. Живые глаза, загорелые руки и ноги, красивое ситцевое платье, уместное и в церкви, и в автобусе — она производила очень приятное впечатление. Мы разговорились.

— Да, английский знаю, я из Петербурга, учительница в школе. Работать сейчас хорошо. Группы маленькие, человек по восемь. Ребята стараются. Сейчас все хотят знать язык. Родители доплачивают, так что зарплата хорошая. В Израиль я в гости приехала, очень тут интересно, хотя иврита не знаю. В США была, Вашингтон, Филадельфию, Нью-Йорк видела. Весной ездила с учениками в Англию. Директор у нас очень деловой, энергичный. Сейчас организует поездку в Швецию. Боюсь только, что он добьется для нашей школы статуса гимназии. В гимназиях на язык отводится много часов по программе. Родительской доплаты тогда уже не будет...

К нам подошел юноша араб и вежливо предложил купить какие-то открытки. Разговор о петербургских школах прервался. Экскурсовод пригласила всех в автобус, и мы уехали в Иерусалим.

Иерусалимский калейдоскоп

Старый город

В Иерусалим нас привезла Тамара. Дорога из Тель-Авива в Иерусалим все время идет вверх. Из окна машины видны зеленые холмы, долины — мирный убаюкивающий пейзаж. На крутом песчаном склоне при въезде в город разбит парк, больше похожий на лесозащитную полосу, чем на место прогулок и отдыха. Всплывшие в негостеприимную землю, на равном расстоянии друг от друга стоят молодые неокрепшие деревья и раскачивают кронами, не дающими тени. Парк называется «Сады Сахарова». Когда видишь эту надпись в Иерусалиме, чувствуешь острый укол горестной радости. На соседнем склоне раскинулся еще один парк с большими деревьями, зелеными газонами, цветниками и клумбами. Это «Сады наций». Цветы и деревья для «Садов» присланы из разных стран мира, что указано на многочисленных табличках: «Дар Франции», «Дар Германии» и т. д. И «Сады Сахарова» и «Сады наций» — уже Иерусалим, и с этим как-то трудно освоиться.

Огромное тяжеловесное здание Кнессета, похожее на Лужники, красивое ультрасовременное здание Верховного суда, многометровая менора — подарок Великобритании Израилю, Французская площадь (другое ее название Красная из-за постоянных пробок перед красным светофором), грузинский монастырь, где похоронен Шота Руставели, старая шотландская церковь — это все тоже уже Иерусалим, небольшая его часть по соседству с «Садами Сахарова», «Садами наций» и старым городом. Глаза и голова отказываются все это вместить.

На смотровой площадке у входа в еврейский квартал старого города стоят, будто часовые, две ветряные мельницы. Мельницы на Монмартре, в Амстердаме — нечто само собой разумеющееся. В Иерусалиме пузатые кирпичные башни с крыльями ошарашивают. Рядом с мельницами в большой витрине за стеклом выставлена роскошная карета сэра Мозеса Хаима Монтефиоре (1784—1875), английского филантропа, помогавшего евреям в Палестине, Марокко и России. Соседство мельниц с позолоченной каретой тоже, конечно, производит впечатление.

С площадки открывается очень красивый вид на песчаные холмы, церкви, монастыри, башню Давида, долину, в глубине которой находится Мертвое море. И, конечно, на старый город: небольшие, хорошо отреставрированные домики с черепичными крышами, окруженные садиками с цветами. Чистота, покой, безлюдье — мы приехали в субботу.

Чтобы насладиться этой идиллией вблизи, надо спуститься вниз по длинной каменной лестнице. Но на первой же площадке мы остановились, засмотревшись на молодую девушку, жгучую еврейскую красавицу: точеный носик с горбинкой, пушистые черные брови, огромные глаза, большой, ярко накрашенный рот и водопад блестящих черных волос ниже плеч. На девушке была маечка в обтяжку и лоскуток материи вместо юбки. По указанию толпившихся вокруг молодых людей с теле- и кинокамерами она принимала то одну соблазнительную позу, то другую и неумоимо улыбалась. Сценку эту, наверное, надо назвать «Новая суббота в старом городе». Но и продолжение, пожалуй, не противоречит такому названию.

Побродив по пустынным улицам, мы вышли к гостинице «Царь Давид». Узкий устремленный вверх фасад этого красивого здания из желто-розового песчаника напоминает фасад готического собора. «Царь Давид» — гостиница для богатых и знаменитых, но войти туда могут все. Мы не пренебрегли этой возможностью, миновали роскошный вестибюль и вышли на большую террасу ресторана, где сидели за столиками, если не самые знаменитые, то, наверное, достаточно богатые люди. Вместе с ними мы полюбовались зеленой лужайкой, древовидными кактусами, голубым бассейном и скромно удалились.

Напротив гостиницы, на той же улице Царя Давида, пересекающей недалеко от гостиницы улицу Вашингтона — такая вот занятная мешанина, — стоит большое здание с высокой ажурной башней, принадлежащее Союзу молодых христиан. Внутри здания залы для заседаний и концертов, недорогая гостиница, относительно дешевый ресторан. Снаружи на балюстраде надпись: «Пусть царит здесь мир, пусть будут забыты здесь политические и религиозные распри, пусть расширяется и крепнет всеобщее единение». В этих словах лорда Алленби, произнесенных в апреле 1933 года на цере-

монии открытия здания Союза, не содержится никакой особенной мудрости, но в Иерусалиме, написанные на иврите, арабском и английском языках, они останавливают взгляд и остаются в памяти как пожелание, исполнение которого вряд ли возможно в ближайшем будущем.

Русский центр

Улица Раввина Натана Штрауса. Все вокруг кипит и бурлит. Спешат люди, машины, автобусы. Стоп — затор. Разгружают грузовичок. Молодые веселые парни ловко таскают ящики с какой-то снедью. У каждого на голове кипа, так что снедь, наверняка, кошерная. Несмотря на задержку люди вокруг взирают на суету вполне доброжелательно. Через несколько шагов снова остановка. На сей раз пробка на тротуаре. Мальчик лет десяти-одиннадцати самозабвенно играет на скрипке. Прохожие останавливаются, бросают мелочь в футляр скрипки у его ног, идут дальше. В двух шагах от мальчика бородатый еврей в лапсердаке просит милостыню. Дела у него идут хуже, чем у симпатичного мальчугана.

Минута, другая — опять остановка. У края тротуара примостился пожилой еврей со смешными зверюшками. Разношерстные собачки, обезьянки вертят головами и дергают лапками, сбившиеся в кучку дети млеют от восторга. Проходим метров пять и снова останавливаемся. Справа от нас чахлый садик, в садике мечеть. Вместо двери в мечети решетка. За ней куча хлама.

Впереди виднеется блочная пятиэтажка с узкими балкончиками, как в московских Черемушках на улице Архитектора Власова. Слева оказался овалный фасад красивого современного здания с узкими окнами. Рядом больница, над ее главным входом нависает что-то вроде китайского павильона. Чуть дальше евангелическая церковь, облицованная светлым иерусалимским камнем. На небольшом соседнем доме яркая вывеска: «Салон париков».

Стайка мальчишек с длинными пейсами обегает группу бородатых евреев в черных шляпах. Один из бородачей, заметив нашу растерянность, подходит и, как типичный американец, спрашивает, не надо ли нам помочь. Поговорили с ним несколько минут по-английски и увидели знакомого уличного скрипача. Он весело шагал вместе с другими мальчишками. Труды его не пропали даром: в одной

руке он держал скрипку, в другой — игрушечную собачку. Собачка дергала лапками, скрипач и мальчишки радостно смеялись.

Наконец пришли. Стены Русского центра — его официальное название «Иерусалимский культурный центр» — плотно увешаны объявлениями: «Прием в Детский музыкальный театр... Запись в кружок жонглеров... Курс лекций «Серьезные разговоры на легком иврите»... Запись на экскурсии... Русская антреприза Михаила Козакова. Продажа билетов...»

Книжный магазин Русского центра — цель нашей прогулки — занимает большую круглую комнату. По стенам стоят стеллажи с книгами, в середине — небольшой журнальный столик. За столиком сидит женщина-продавец. На ней широкая черная блуза, стянутая в талии лаковым черным ремнем. На ногах черные босоножки на толстой подошве и черные чулки. На... на причинном месте ярко-красная мини-мини-юбка в обтяжку. С продавщицей оживленно беседует то один, то другой покупатель. Акива самозабвенно роется в книгах. Я глазею по сторонам.

Лифта

Элла долго вела нас по шумной улице, потом по еще более шумному и забитому транспортом шоссе. Наконец дошли до поворота, оставили шоссе за спиной и оказались на узкой тропинке, петлявшей по крутому склону холма. Иерусалим исчез. Песок, тут и там одно-два дерева, чахлая трава, идиллический покой. Я не сразу поняла, что покой не идиллический, а мертвый. Мы шли по заброшенному арабскому городу Лифта. Его полуразрушенные дома так безупречно вписаны в рельеф склона, что их трудно заметить.

— Вот как надо строить, а вы говорите Маале Адумим красиво построен, — сказала Элла. — Маале Адумим чужой месту, где стоит.

Маале Адумим мне очень понравился, но отказать Элле в логике я не могу и в растерянности молчу.

— Те, кто строили эти дома, использовали каждую впадинку, каждый изгиб склона. Эти дома будто выросли из земли, — продолжает Элла.

Я слушаю ее и чувствую, как любит она эту неприветливую землю, как дороги ей эти скупые колючие пески. Элла тоже дома в Иерусалиме, наконец, дома.

— Почему здесь все разрушено? Почему вокруг такое запустение? Ведь это тоже Иерусалим, мы в Иерусалиме? — спрашиваю я.

— Потому что не хватает сил и денег. Потому что все время война. Да, это тоже Иерусалим, пока разрушенный.

Дома ярусами лепятся на склоне. Стекла в окнах выбиты, двери выломаны, под ногами мусор. В комнатах без потолка кучами навалены лохмотья, валяются пластиковые стаканы, бутылки, иногда лежат аккуратно расстеленные джинсы. Этот бывший арабский город давно стал приютом бездомных. Когда-то он был очень красив, что видно и сейчас, хотя теперь он мертв. Мертвые разрушенные кварталы, плечи пустырей — все эти неизбежные шрамы войны — часто встречаются в Иерусалиме, внося щедрую лепту в своеобразие города. Лифта — один из них.

Библиотека имени Исаака Яглома

Недалеко от рынка в центре города (хотя понять, где центр Иерусалима, вовсе не просто) несколько кварталов занимают старые небольшие одно-двухэтажные дома. В лабиринте переулков-тупиков с обшарпанными домами и улиц шириной в шаг трудно, по моему, невозможно ориентироваться. Но Жения* уверенно вел нас вперед. Мы покорно поворачивали то направо, то налево и неожиданно вышли на улицу пошире. Красиво замощенная мостовая, хорошие тротуары, аккуратные небольшие дома — казалось, что улица забрела сюда из другого города.

— Раньше в этом квартале жили художники. Сейчас его реставрируют, — сказал Жения. — Когда-нибудь все вокруг тоже приведут в порядок.

Жения говорил о Иерусалиме с нескрываемой любовью. Он очень переменялся с московских времен. В нем появилась спокойная уверенность человека, ощущающего себя на своем месте. Да, Иерусалим — его город, его дом. Он в этом не сомневается.

Так же спокойно и уверенно он держался со своими тремя дочерьми, хозяйничал на кухне. Элла была занята срочной работой,

* Жения — сын Исаака Яглома, брата-близнеца Акивы Яглома, умершего в Москве в 1988 г., Элла — жена Жени.

поэтому он сам приготовил очень вкусный обед, которым угощал нас без суеты и надрыва. У Жени и Эллы нестандартная квартира. Все комнаты — сколько их, я не поняла, — расположены на разных уровнях. Переходя из одной в другую, я попала в небольшой сад, где на деревьях висели лимоны и гранаты. В одной из комнат с прорубленным потолком тоже растет дерево. Повсюду много книг на стеллажах, на стульях, на столах. Бегают три девочки, звонит телефон, кто-то приходит и уходит, но в доме спокойно и уютно.

Мы уже собрались уходить, когда вдруг появился Женин приятель Володя с тяжело набитым портфелем, из которого торчала бутылка водки. Бутылку Володя поставил на стол, мужчины тут же ее распили, а на закуску Володя отвез нас в Библиотеку имени Исаака Яглома.

Ехали недолго. Вошли в какой-то дом, поднялись по лестнице и оказались в большой комнате, тесно заставленной стеллажами. На стеллажах стоят знакомые книги, на двери висит расписание работы библиотеки и большая Иси́на фотография. И книги, и мы почему-то в Иерусалиме. А Иси нет.

Спасибо Жене за то, что библиотека существует. Спасибо Володе — он вложил в создание библиотеки много сил, нервов и времени. Очень хотелось молча походить среди этих книг, постоять около Исиной фотографии. Но Володя говорил, не умолкая: «Израиль... арабы... Ликуд... убить мало... расстрелять всех подряд...»

Такой же бурный словесный поток обрушился на нас во время недолгой прогулки по темному городу: «Нет, вы только подумайте, что делают арабы! Не дают проводить раскопки! Тут, видите ли, было их кладбище, там еще что-то. Выбрали бы меня мэром, я бы им показал!!! Я бы все до последнего шекеля истратил на раскопки. Сколько шума из-за какой-то там Трои! Да тут под каждым камнем Троя! Дали бы мне только отрыть, весь мир ахнул бы! Убивать их всех подряд! Расстреливать... Убивать... Расстреливать...»

Попасть в библиотеку нам больше не удалось, а с Володей мы виделись еще раз перед самым отъездом из Иерусалима. Он неожиданно появился в кабинете у Жени на работе, где мы сидели в последний вечер и пили чай. Водрузив на стол очередную бутылку, Володя тут же вступил в дискуссию с Женей. Я стояла у окна и прощалась с вечерним Иерусалимом, до меня долетали только обрывки их разговора:

— Да кто он такой, твой Мурик?

— Мурик, конечно, социалист, но...

— Какой он социалист, он же типичный социал-демократ...

— Нет, позволь, тогда он скорее коммунист, только...

— Ерунда, видал я таких коммунистов, всех их надо...

Володя привез нас домой после 11 вечера, но едва мы вошли в квартиру, раздался телефонный звонок. Звонил Боря. С его звонком в этот последний иерусалимский вечер, уже перегруженный встречами и разговорами, вторгся такой большой кусок московской жизни, что о сне не могло быть и речи.

Боря был дипломником Акивы на мехмате МГУ. Добрый, мягкий человек после окончания университета он менял одно неудачное место работы на другое, потом женился и уехал в Израиль. Первый его сын родился еще в Москве, два других уже в Израиле. Некоторое время мы переписывались. Боря уезжал убежденным сионистом, и его письма были полны спокойной, трезвой любви к Израилю, где он не сразу, но обрел себя и встал на ноги. Он успешно работал в хорошей фирме, работала его жена Марина. Она художница, делает интересные куклы и другие игрушки, ей даже удалось устроить несколько выставок. Уже в первых письмах Боря очень здраво оценивал положение в Израиле, писал о трудностях и надеждах своей страны. Своей — в этом он не сомневался.

Прошло около 18 лет. Мы сидели с Борей в его прекрасной квартире в хорошем современном доме в хорошем районе Иерусалима. Квартира на первом этаже, из гостиной можно выйти в сад с несколькими тенистыми деревьями. Боря и Марина рассказывали о музыкальных успехах старшего сына, об интересных поездках, путешествиях. Все у них хорошо. Но... Некоторое время они оба молчали.

— Знаете, дело даже не в арабах, не в терроризме. К этому, оказывается, тоже привыкаешь, — сказала Марина, предупредив мой вопрос.

— Страна меняется, — осторожно начал Боря. — Понимаете, за последние годы произошли такие перемены... Я теперь все чаще задумываюсь, не сделал ли я ошибку... Я как-то перестал понимать, где живу... зачем я здесь живу...

Возмужавший, сияющий Боря первых минут встречи исчез. В

красивой кухне, где мы пили чай, сидел поникший, растерянный человек. И я вдруг увидела, как Боря постарел.

Хадасса

«Медицинский центр Хадасса», или просто Хадасса* — это медицинский факультет Еврейского университета и больница с 75 отделениями различного профиля. Больница расположена в парке с огромными деревьями, щедро дарящими густую тень. Ее корпуса, разбросанные по склону холма, ничем не выдают своего назначения. В один из таких корпусов в 1962 году была встроена синагога, для которой Шагал сделал 12 витражей.

Открыв больничную дверь, попадаешь в туристский центр. В нарядном вестибюле ожидают очереди разноязыкие группы экскурсантов. На стенах висят доски с именами тех, кто пожертвовал деньги на создание этого медицинского учреждения. Надпись рядом с киоском сувениров извещает, что доход от продажи идет на нужды больницы.

Стены небольшой синагоги сложены из светлого иерусалимского камня. Единственный источник света — солнечные лучи, проникающие сквозь цветное стекло окон. Изготовление витражей заняло около двух лет. Делали их во Франции. Благодаря особой технологии прямоугольные, закругленные сверху витражи кажутся выпуклыми. Основные цвета витражей повторяют цвета 12 камней — по числу колен израилевых, — украшающих облачение первосвященника: рубин, топаз, изумруд, карбункул, сапфир, алмаз, яхонт, агат, аметист, хризолит, оникс, яшма. Витражи разбиты на четыре группы и образуют замкнутый круг. Такое их расположение символизирует порядок построения колонны и размещение на привале 12 колен израилевых в период странствования по пустыне. Во время Шестидневной войны иорданская артиллерия повредила четыре витража. В 1981 году, за четыре года до смерти, Шагал изготовил их заново. Витражи, по-моему, очень красивые, как и вся синагога, что же касается символики, мне она показалась любопытной, но никаких струн в моей душе не задела. Наверное, у меня их просто нет.

* Хадасса — сионистская организация американских женщин, основанная в 1912 году.

Окрестности Иерусалима

Сталактитовая пещера. Мемориал Кеннеди. Могила Рубинаштейна

Этот день подарил нам Саша Лунц, давний знакомый Ягломов. Показав витражи Шагала, Саша повез нас в сталактитовую пещеру. Довольно долго мы ехали по склонам лесистых Иудейских холмов, но даже здесь камни и песок то и дело разрывали зеленый полог. Рябь желтых каменистых полянок будто тревожный ветер бежала по холмам.

Знаменитую в Израиле сталактитовую пещеру нашли случайно. На западных склонах Иудейских холмов многие годы добывали камень. В 1968 году во время очередного взрыва породы неожиданно открылось окно в подземное царство. Сейчас здесь создан небольшой туристский центр.

Вокруг павильона, где ждут очереди группы посетителей, растут необычные сосны. Их бледно-зеленые кроны с редкими метелками тонких иголок и гроздьями маленьких черных шишек похожи на легкие кружевные шары, венчающие мощные серо-желтые стволы. Отсюда хорошо видна узкая долина, извинаясь между зеленых холмов, и сами холмы, тесно прижимающиеся друг к другу. Красиво. Здесь очень красиво. Но когдаходишь в пещеру и за спиной закрываются плотные тяжелые двери — в пещере тщательно поддерживаются постоянная температура и влажность, — обо всем, что осталось снаружи, мгновенно забываешь.

Узкие деревянные мостки, полумрак, глуховатый голос молодой девушки-экскурсовода, говорившей по-английски и на иврите, и заколдованное царство, поражающее причудливостью форм и красок: дворцы, башни, замки, водопады, карлики, великаны, дикие животные, смешные человечки, принцессы, старухи, красавицы, уроды и... и все это просто отложения известняков, со странным названием сталактиты и сталагмиты, о которых когда-то что-то рассказывали в школе. Трудно себе представить, что весь этот фантастический мир обязан своим существованием прозаическим фактам древнейшей истории: на территории Израиля некогда было мелкое теплое море, на дне которого отлагались известняки и

доломиты. 35 миллионов лет назад в результате мощных тектонических сдвигов здесь образовались холмы, горы и ... И очередная группа входит в пещеру.

От пещеры до Мемориала Кеннеди меньше часа езды на машине. Дорога сбегает с Иудейских холмов, пересекает долину и уходит круто вверх. Мемориал находится высоко в горах. Отсюда открывается широкий вид на долину, на Иудейские холмы за долиной. В самом этом месте есть что-то приподнимающее над землей, над земным, какое-то радостное и скорбное парение.

Большая круглая площадка обнесена невысокой сплошной оградой из светлого камня. Полосы из такого же светлого камня и черного стекла начинаются у ограды и в середине площадки, чередуясь друг с другом, плавно поднимаются вверх, образуя высокий двухцветный цилиндр. Светлое и черное, надежда и отчаяние. На каменных полосах укреплены медали штатов, принявших участие в создании мемориала. На стеклянных полосах таблички с именами тех, кто пожертвовал деньги. Внутри цилиндра горит вечный огонь, круглый зал с высоким плоским потолком освещается только отблесками пламени и солнечными лучами, проникающими сквозь темное стекло.

Вокруг мемориала растут большие красивые деревья. Все они посажены и входят в 98% деревьев Израиля, посаженных рукой человека. Не знаю, случайно или нет, недалеко от мемориала находится один из офисов службы «Посади дерево», которая за соответствующую плату сажает деревья по просьбе частных лиц и организаций из любой страны. Деревья «именные». Приехав в Израиль, можно разыскать «свое» дерево и посмотреть, как и где оно растет.

На обратном пути Саша показал нам могилу Рубинштейна. Она расположена в очень красивом месте. Небольшой уступ на холме. Над ним по краю более высокой гряды холмов вьется песчаная дорога, проложенная римлянами. Четыре невысоких белых столбика и натянута между ними металлическая цепь ограждают белую плиту с надписью по-английски и на иврите: «Артур Рубинштейн. 1887—1982». На краю уступа высечена мраморная клавиатура с белыми и черными клавишами, строй ее взломан: одни клавиши взметнулись вверх, другие стремительно опустились. В воздухе звучит мощный аккорд. Он не только виден, он слышен. По бокам клавиатуры

лежат каменные глыбы, растут две высокие сосны. Жаль, что я не могу восстановить неразборчиво записанные в блокноте фамилии скульптора и архитектора по ландшафту, создавших этот необычный памятник. Очень хочется сказать им спасибо.

Саша Лунц живет в Израиле уже лет восемнадцать. И он, и его жена Люся работали, сейчас оба на пенсии. У них хорошая квартира в одном из новых пригородов Иерусалима. Из окон открывается величественный вид на песчаные холмы пустыни.

— Нравится вам тут? — спросила я Люсю.

— Да, очень, — ответила она, не задумываясь. — Мы специально попросили квартиру на последнем этаже, чтобы любоваться пустыней.

В благоустроенном доме Лунцев царят мир и спокойствие.

— Нет, про Россию не читаю. Не интересно, — сказал Саша за обедом. — В последнее время очень нравится Скандинавия. Ездили с Люсей в Норвегию, Швецию. Хотите, покажу снимки? Красиво, верно? В этом году снова поедem.

Маале Адумим

Иерусалимский автобус долго петлял по тесным городским улицам, забитым транспортом. Наконец вырвались. По обеим сторонам шоссе пустыня: серо-желтые холмы, невысокие, невыразительные, не примечательные ничем, кроме пустоты. Людей в автобусе осталось мало. И вдруг снова город. От неожиданности белые стены домов, красная черепица крыш и зелень газонов режут глаза. По-английски спрашиваем у шофера нужную остановку и слышим в ответ: «Нескоро». Один из пассажиров предлагает: «Сходите со мной. Я проведу вас дворами. Автобус будет объезжать весь город». Выходим. Жарко. Жар обжигает лицо, клещами схватывает горло. Граница Маале Адумима четко обозначена: желтый песок — пустыня, зеленая трава — город. Без переходов, без полутонов.

Нашему провожатому на вид под 50. Невысокий, сухощавый, волосы чуть тронуты сединой, загорелое лицо, живые глаза.

— Нравится вам тут?

— Конечно. Видите, какая красота?

Вижу. Город прекрасно спланирован. Мы в самом деле идем дво-

рами. Только Маале Адумимскими, а не теми, к каким привыкли с детства. Невысокие двух-трехэтажные дома стоят так, что образуют полузамкнутые площадки, где днем всегда есть тень. Площадки переходят одна в другую, они все разные и все красивые. Их очень украшают зеленая трава, клумбы с яркими цветами и молодые ухоженные деревца.

— Давно в Израиле?

— Давно. 19 лет.

— Работаете?

— Нет, что вы, я пенсионер.

Невольно поворачиваю голову. Хорошие светлые брюки, красивая рубашка, но не в рубашке дело — лицо, глаза, походка!

— Что же вы делаете на пенсии?

— Учусь.

—?

— А что вы удивляетесь? Здесь можно учиться в любом возрасте. Было бы желание. Я свое отработал, получил приличную пенсию, купил хорошую квартиру, семья обеспечена. Почему же не учиться? Работал инженером. Работа тяжелая, не очень интересная. Теперь, наконец, могу заниматься тем, что хочется.

— Что же вы изучаете?

— Экономику.

— Где?

— В Иерусалимском университете. Всю жизнь увлекался экономикой, а учиться... Учиться не было возможности. Вот дожил.

Студент-пенсионер довел нас до дома Лины, нашей старой московской приятельницы. Мы пожали друг другу руки и расстались.

Одно-двухэтажный дом Лины сильно вытянут в длину и состоит из маленьких квартир-секций с отдельным входом и садиком.

— Дом-коммуналка, — говорит Лина, — все видно, все слышно. Ничего, терпю. Слава Богу, что купила квартиру, когда Маале Адумим только начали строить. Теперь не подступиться.

Сама квартира вполне отвечает европейским представлениям о комфорте, но со скидками на израильскую бедность. Крошечная прихожая, две небольшие комнаты, маленькая кухня с газовой мини-

плитой на кухонном столе. За окном пустыня. Серые пустынные холмы до горизонта. Смотреть на них страшно.

— Да, страшно, — соглашается Лина. — Там арабы. Мы ведь живем на поселении. Мечтаем, чтобы нас включили в Большой Иерусалим. Не знаю, получится ли. У нас как раз сейчас перевыборы мэра. Видели, наверное, плакаты, когда шли. Один из кандидатов обещал бороться за Большой Иерусалим, буду голосовать за него. Многие сейчас готовы отдать поселения арабам. Представляете? Вот этот город с музыкальной школой, концертным залом, цветами, деревьями, со всем, что евреи сделали здесь своими руками — взять и отдать арабам! Безумие! Бред!

Лина говорила, не умолкая, с той минуты, как мы вошли. Готовила обед, накрывала на стол и не закрывала рта. Красноречие эмигрантского одиночества. Не с кем перекинуться словом. Русский язык помнят только двое старших внуков. Трое младших говорят на иврите, которого она не понимает. Объясняются жестами. Сын живет на той же улице. Но у Марка своя напряженная жизнь. Он организовал экскурсионное бюро, добился известности. Контора дома. Обязанности диспетчера выполняет его жена, она же смотрит за пятью детьми. Некоторые экскурсии Марк проводит сам, остальные — его экскурсоводы. Все это требует сил и времени.

— Им всегда некогда. Не позволю сама, и не надо. Здоровая я, есть у меня деньги, кому какое дело. Нет, Марк очень ко мне привязан, не могу пожаловаться, просто ему некогда. Слава Богу, пока работаю. На работе платят гроши. И за них спасибо. В таком возрасте найти работу да еще с моей специальностью... Гидробиологов здесь не рвут на части, как вы понимаете. Не будет работы, не на что будет доехать до Иерусалима. Да, да, я не преувеличиваю.

— Как тут с наукой?

— С биологией дело дрянь. Все оборудование давно устарело. В Москве у меня был микроскоп в сто раз лучше здешнего. Деньги на науку дают США. Бросают крохи со своего стола, так что сами понимаете.

— А как вам вид из окна? Холмы эти?..

— Жуть. Терплю. Куда деться? Только бы заварушка какая-нибудь не случилась.

— Что, по-вашему, делать с арабами?

— Резать.

— ?

— Да, да, резать. Не удивляйтесь. Лучше послушайте, что я вам расскажу. Сижу в очереди к гинекологу. Передо мной беременная арабская женщина. Жду, жду. Наконец она выходит из кабинета. Вхожу. Врач — сама не своя: лицо белое, руки дрожат. Спрашиваю, что случилось. Она рассказывает: «Женщина тяжело больна. Ей необходимо лечь в больницу. Объясняю, а она в ответ: «Ты про меня не толкуй. На меня наплевать. Мне надо сына родить, чтобы он вырос и тебя убил». А вы спрашиваете, что делать. Конечно, резать. Главарей-то уж точно надо перерезать.

— А кто будет решать: главарь, не главарь? — осторожно спрашивает Акива.

— Ну так ошибутся. Тоже не беда.

Серые жаркие холмы подступают почти вплотную к окну — вплотную к столу. За столом сидя интеллигентная женщина. На столе знакомый борщ. К чаю незнакомое, очень вкусное печенье. Не могу удержаться, ем печенье одно за другим.

— Купила на базаре в Иерусалиме. Я уже знаю, где, что надо покупать, — с гордостью говорит Лина.

Знакомая гордость пожилых эмигрантов, вечных первоклашек: «Счет выписать? Конечно, могу». — «Деньги в банковской машине-автомате получить?» — «Разумеется, научилась».

Пора уходить. Лина провожает нас до автобусной остановки.

— Марк живет вон в тех красивых домах. Нравятся?

Нравятся. Мне нравятся и дома, и Маале Адумим. А жить здесь? Жить в Израиле? Ни во Франции, ни в Италии мне не приходило в голову такие вопросы. Здесь приходят.

Страна Израиль

Мертвое море

Мертвое море — самое низкое место на земле, как сообщила нам экскурсовод Рина. Оно лежит на 400 метров ниже уровня моря, как ни странно писать это о море. Иерусалим находится на высоте

800 метров над уровнем моря. Когда едешь в автобусе, спуск почти не ощущается, хотя вид пустыни меняется. Та же Рина сказала, что американский астронавт Армстронг, побывавший в этих местах, был потрясен сходством пустыни с Луной. На Луне не была, не знаю, но пустынность пустыни, ее скорбный морщинистый лик — зрелище величественное и тающее угрозу.

Бедуинов видела только издали. Нас не привезли к ним на стоянку, так как на стоянке... засорилась канализация. Grimасы цивилизации иногда довольно причудливы, как известно. Молодые бедуины давно уже предпочитают оседлую жизнь в городах, старые держатся за старое и, навещая детей, привязывают верблюдов к их автомашинам. Чем это кончится, понятно.

Вместо бедуинов по дороге на Мертвое море нам показали кибуц. Он был создан в 1979 году усилиями шести энтузиастов. Сейчас здесь живет и работает 60 человек. Встают в четыре часа утра. Работают до середины дня, когда жара становится невыносимой. Днем отдыхают, вечером снова работают. Когда-то в этих местах было море. Земля соленая. Редкие дожди — бедствие, так как после дождя соль выступает на поверхность. Спасение в капельном орошении. На земле прокладывают тонкие трубы с маленькими отверстиями. Датчики, измеряющие влажность земли, передают сведения на пульт управления, регулирующий капельный полив. Вся система автоматизирована и требует минимального количества воды. Для ее нормальной работы достаточно одного оператора. Продажа технологий и оборудования для капельного полива — важная статья в экспорте Израиля. Результаты поразительны. В кибуце посреди пустыни все зелено, много цветов, деревьев. Бахчи, где выращивают арбузы и дыни, приносят большой доход.

Так как недалеко от кибуца находятся Кумранские горы со знаменитыми пещерами, в одном из подземелий кибуца создан музей, где есть любопытные экспонаты, связанные с Кумранскими рукописями. Фильм о рукописях, который нам показали, смотрится с интересом. Доходы от туризма тоже идут в казну кибуца.

О доходах в Израиле заботятся. Иногда, по-моему, слишком навязчиво, но это уже детали. На подъезде к Мертвому морю наш автобус остановился у небольшого магазина-музея. В красивом про-

хладном зале магазина рассказывают о целебных грязях Мертвого моря и, конечно, продают изготовленные из нее кремы, мази, шампуни и косметику. Показывают фильм, как добывают грязи, как их перерабатывают и расфасовывают в красивые коробочки, тюбики и флакончики, которые расставлены в витринах. Вокруг белого здания с плоской крышей, где царит двадцатый век, лежат древние мертвые пески, высятся мертвые дюны, синее на горизонте полоска Мертвого моря. Все вместе — это Израиль.

И крепость Массаса — тоже. Она хорошо видна с дороги, когда едешь на Мертвое море. В жарком мареве за окном автобуса среди расплывчатых силуэтов дюн вдруг возникает четкий контур огромной трапеции. На плоской вершине этой трапеции девятнадцать столетий тому назад были построены дворец и крепость Ирода — последний оплот сопротивления Иудеи римскому владычеству. Когда защитники крепости поняли, что сопротивление бесполезно, они убили жен, детей и самих себя.

Мы поднялись наверх на фуникулере. «Встаньте в тень, под навес! У всех есть вода? Мужчина в белой кепке (женщина с розовым зонтиком, молодой человек в...) вы, по-моему, давно не пили. Пожалуйста, не забывайте про воду!» — эти призывы раздавались постоянно, пока мы не вернулись в автобус. Температура +38°C. Сухой горячий ветер мгновенно слизывает пот. От резкого обезвоживания теряют сознание крепкие молодые люди.

Вид на пустыню сверху страшит и изумляет. Опустошенная, разрушенная, сожженная — выжженная! — Массаса, где от бывшего величия не осталось ничего, кроме песка и камней, изумляет и страшит. Здесь, среди смертоносного песка, под испепеляющим солнцем Ирод воздвиг роскошный дворец, утопавший в зелени, провел водопровод, построил виллы для своих приближенных, бассейны для воды, миквы, синагогу, завел голубиную почту. В крепости при раскопках нашли сделанные при Ироде запасы продовольствия (финики и др.) и бревна для строительства. Сохранились полуразрушенные стены, которые возводились вокруг небольших участков полей, чтобы их не заносило песком. Уцелели развалины римской бани с двойным полом: камни под деревянным настилом, на которые лили горячую воду, чтобы можно было париться. Битвы за Мас-

саду пережила лишь пустыня. Все, что было создано руками людей, от рук людей и погибло.

Воды в Мертвом море нет, барахтаться в густом теплом месиве, по-моему, неприятно. Но когда выбираешься из соленой каши, появляется ощущение, что родилась заново и кожа несколько дней остается шелковой. Стоя на берегу под душем, услышала разговор двух «новых русских», как теперь говорят: «Да, обслуживание здесь слабовато. А как на Кипре?» — «Никакого сравнения! Нет, сюда больше не поеду». — «В Турции, я слышал, здорово». — «Надо съездить».

На обратном пути автобус несколько раз притормаживал у больших придорожных камней. «Обратите внимание на эти камни, — говорила Рина. — Это памятники евреям, погибшим от рук арабов».

Назарет

Встали в шесть утра, но из-за бесконечных пробок добрались до автовокзала с большим опозданием. Расстроенные и растерянные бегали взад и вперед и вдруг: «Простите, не вы записывались на экскурсию по Галилее? Я — Володя». Бывают же чудеса на свете, мы записывались, мы. Высокий сухощавый молодой человек лет тридцати с небольшим открыл дверцу легковой машины, и мы с облегчением забрались на заднее сидение, где уже сидела пожилая женщина. «Аня», — представилась она. Познакомились. Аня рассказала, что живет в Москве, в Израиль приехала в гости, через пять минут у нас нашлись общие знакомые.

«Едем в Тель-Авив, — сказал Володя, — захватим еще одного человека и поднимемся на гору Тавор». Так начался этот длинный день. Володя кончил в Москве нефтяной институт (факультет прикладной математики), приехал в Израиль, покрутился в поисках места программиста, ничего не нашел и поступил в Школу гидов — очень престижное в Израиле учебное заведение. Работой доволен, хотя живется ему нелегко. Весь этот день он не закрывал рта и без конца оборачивался к нам троим на заднем сидении, даже когда вел машину по скоростной трассе и поднимался на Тавор по узкой извилистой дороге. Говорил он на хорошем русском языке и произвел впечатление человека образованного и знающего. Даже вездливый Аки-

ва поспорил с ним всего один раз. В тот же день поздно вечером Володя позвонил нам домой, извинился и сказал, что нашел нужную книгу и убедился, что ошибся.

Целый день мы ехали по Галилее. Галилея... Зеленая печальная страна. Плавные линии зеленых холмов, плавные изгибы зеленых берегов озера Кинерет (оно же Тивериадское озеро, или Галилейское море), спокойные зеленые воды Иордана, зеленый купол Тавора — почему так низко нависает над ними выгоревшее блеклое небо? Откуда эта дымка печали, окутывающая стройные храмы, нарядные сады? Что гнетет эти благодатные земли? Тяжкое прошлое? Зыбкое настоящее? Туманное будущее? Галилея... Печальная зеленая страна. Слишком много здесь разноликих символов, напоминаний, упоминаний... не охватить их разумом, не вместить в душу. Тщета усилий человеческих, величие подвигов духа — все здесь рядом, все осязаемо и все — сказка.

И как в сказке, высоко на холме в прозрачном вечернем воздухе мы вдруг увидели город. Экскурсия подходила к концу. Мы уже поднялись на Тавор и осмотрели церковь Преображения с алтарем из золотистой мозаики XII века, спустились к Кинерету, омочили ноги в Иордане, не обойдя вниманием магазин сувениров, удачно — для магазина — расположенный при впадении Иордана в Кинерет, мы уже побывали в базилике на вершине холма, где Иисус Христос произнес Нагорную проповедь, постояли перед витражами с десятью заповедями на латыни, походили по саду, окружающему базилику, где растут незнакомые деревья с розовыми цветами, полюбовались перламутровой гладью Кинерета внизу, в долине, и оранжевым заревом, загоравшемся на небе, когда лучи заходящего солнца вдруг прокалывали серые тучи. Сердце, глаза, голова, казалось, заполнены до отказа.

Но высоко на холме мы вдруг увидели город. Машина шла вверх, город спускался вниз, нам навстречу. Он становился все пестрее, все оживленнее. Он наступал на нас, и под его натиском впечатления длинного яркого дня отступили и спрятались на самом дне сознания, в самой глубине души. Мы приехали в Назарет.

В I в. н. э., когда в Назарете жили Иосиф, Мария и мальчик Иисус, Назарет был еврейским городом. Сейчас, кроме евреев, здесь

живут мусульмане и христиане, принадлежащие к самым разным конфессиям: православной, римско-католической, маронитской, англиканской, коптской, армянской и к различным протестантским сектам. Город застроен церквями, храмами, монастырями, мечетями. От разнообразия головных уборов, одежды, говоров, лотков с фруктами и овощами, ярких вывесок и витрин на тесных улицах, запруженных людьми, ослиами и автомобилями, голова идет кругом. Звонят колокола, грохочут желтые землеройные машины, вопят ослы, громко поют птицы, будто стараются перекричать всех и вся. И вдруг тишина.

За высокой каменной оградой церкви Благовещения тишина. Внезапная перемена оглушает, глаза невольно открываются шире и видят церковь. Она такая большая, что ее трудно охватить взглядом, но взглянув на нее, оторваться уже невозможно.

Необычный вогнутый фасад из теплого светло-розового мрамора украшен более темными горизонтальными полосами. Плавную успокоенность его линий разрывают вертикальные прорезы окон и несимметричные барельефы ангела, девы Марии и святых, но ограда из легких ажурных арок по краю треугольника двускатной крыши объединяет все детали фасада в единое целое и превращает его в стройный, радостный гимн из камня.

Церковь Благовещения построена архитектором Джованни Муцио в 1969 году. В ней все неожиданно: и внешний вид, и внутреннее убранство. Хотя церковь огромная, ее размеры не подавляют. Наоборот, простор зала под высоким куполом рождает ощущение свободы, полета, а теплая красота отделки стен дарит ощущение покоя. Картины, мозаика, скульптура, щедро украшающие капеллы церкви, подарены, кажется, всеми странами мира. Повторяя снова и снова рассказ о благовещении, они поражают разнообразием толкований и воплощения этого канонического сюжета. Бронзовые ангел и Мария — дар африканских стран, браслеты с изображением святых из Индии, иконы из Болгарии... По мере того, как разворачивается этот свиток, все явственнее ощущаешь, как многообразие красок, видов и форм поклонения тем, кто обитает на небесах, сливается в мощный хор единения и надежды тех, кто живет на земле, и это, наверное, производит самое сильное впечатление.

Хайфа

Мы приехали в Хайфу на автобусе, дом Лили нашли с трудом. А встретились так легко и сердечно, будто вчера расстались на филфаке МГУ, где учились больше пятидесяти лет назад. Это тем более удивительно, что на филфаке мы не дружили. Знали, конечно, друг друга и только. Виделись в Киеве, через много лет после окончания филфака, в Москве, когда Лилия приезжала в гости из Израиля, куда уехала с двумя женатыми сыновьями, — встречи можно пересчитать по пальцам. Но общее прошлое обладает удивительной властью: мы встретились как родные. Удивительнее власти прошлого, наверное, только радость единомыслия и одиночества. Эту радость судьба щедрой рукой дарила нам троим в те короткие дни, которые мы провели вместе. Спасибо судьбе за этот редкий подарок.

Хайфа — живописный и своеобразный город. Гора Кармель, море, храм Бахаи... Стыдно признаться, но до приезда в Хайфу я не подозревала, что орден кармелитов обязан своим названием горе Кармель, где во второй половине XII в. обосновалась их первая монашеская община. Знаменитая эта гора, разделяющая Хайфу на верхний и нижний город, особенно красива, по-моему, вечером.

В первый день мы гуляли по городу вниз, у моря. Было уже темно. Крохотные, едва освещенные кафе со столиками на тротуаре, ряды лотков с пышными булочками, хлебцами, леденцами всех цветов. На каждом шагу продается шаурма, и запах жареного мяса, смешиваясь с запахом кофе, волнами плывет по улицам. На улицах чисто. Тут и там небольшими группами стоят люди, негромко переговариваются друг с другом. Дети только в колясках или на руках у родителей. Пьяных не видно. Светится матовым светом высокая башня из стеклянных кубов — метро, оно же фуникулер. И как естественная часть этого театрального зрелища высятся гора Кармель: уходящая в небо стена огоньков и темных силуэтов деревьев. Красиво.

Красиво в уютной Лилиной квартире. В комнате с явно избыточным количеством углов продуманно использован каждый квадратный сантиметр пола и стен. Очень чисто, ни пылинки. А это нелегко: за окном горячий ветер то и дело взметает тучи песка. Разговор перескакивает с одного на другое.

— Как тебе все вокруг?

— Осатанело. Все осатанело: и кактусы, и песок, и пальмы.

— А море?

— Что мне море? Жарища, песок. Ребята, конечно, ездят купаться, но это мероприятие не для меня. Мне бы на речку с зеленым бережком, с травкой, с нормальными деревьями.

— Устроены твои?

— Ребята — да. И Валерка, и Шурик. А Верка, Шурикова жена, работает на полставки лаборанткой в школе. Ты знаешь ее?

Я знаю эту удивительную молодую женщину — умную, с тонким чувством юмора, с лошадиной выносливостью, — знаю заочным, по разговорам друзей.

— Учителя в школе — невежды. Лаборантки — девчонки, кончившие двухмесячные курсы. У Верки университетское образование, но хода ей нет. Образованные соперники вызывают еще большую ненависть, чем необразованные. Сефарды ненавидят ашкенази, сабры — репатриантов. Недавно выступала министр труда: «Не надо пускать в Израиль стариков, матерей-одиночек... Нам нужны молодые, крепкие, здоровые...» Понимаешь, до чего дошло? Израиль принимает всех. Страна крошечная, вот и захлебнулись.

Лилия показала нам много интересного в Хайфе. Крестный путь Христа, например. Вещие сны матери императора Константина убедили не всех верующих. На горе Кармель вдоль наружной стены монастыря кармелитов четко размечен другой крестный путь Христа с теми же четырнадцатью остановками.

Дорога круто поднимается в гору. Справа — древняя стена монастыря, слева — крутой обрыв, далеко внизу город и море. Старые корявые оливы вдоль дороги из последних сил цепляются за камни толстыми узловатыми корнями. Высоко в небе плывут облака. Крестный путь Христа — дорога к облакам, к синеве и простору неба. Здесь в это верится легче, чем на базаре в Иерусалиме.

В церковь при монастыре кармелитов мы вошли вместе с группой туристов. В алтаре церкви стоит нарядная мраморная скульптура девы Марии. Подходя к алтарю, ступаешь по могильным плитам крестоносцев. Не глядя ни на Марию, ни на плиты, туристы

торопливо помолились, приняли облатку, что-то спели хором и ушли.

Особенно интересно было во Всемирном центре веры бахаи. Я ничего не знала о бахаи. Если бы не Лиля, так бы ничего и не узнала. Вера бахаи — особая религия. Одна из ее заповедей гласит: «Земля — единая страна, все люди — ее граждане». Бахаи проповедуют единство и целостность всего человеческого рода, гармонию веры и науки и считают религию важнейшим средством установления мира среди людей. Не знаю, справедливо ли последнее утверждение, но первые два мне очень дороги.

Вера Бахаи распространена во многих странах. Ее провозвестником был некто Баб, объявивший о своей миссии в 1844 г. Через шесть лет за свои религиозные убеждения он был казнен в иранском городе Тебризе. Через пятьдесят с лишним лет его останки перенесли в Палестину и захоронили в святилище, которое называется теперь «Святилище Баба». Это необычное здание — сплав восточной и европейской архитектуры — увенчано большим куполом, крытым позолоченной черепицей. В «Святилище» входят разувшись. Внутри много ковров, живых цветов и такое же, как снаружи, странное смешение Европы с Востоком.

«Святилище Баба» стоит в парке, разбитом высоко над морем. Купол виден издалека, он будто парит над Хайфой. Окружности купола вторят округлые кроны деревьев в парке, круглые цветочные клумбы, расставленные тут и там круглые вазы. Устремленные вверх конусы темно-зеленых кипарисов подчеркивают плавные линии газонов и аллей парка и его гармонию с главным зданием.

Мы стоим у парапета. Далеко внизу лежит спокойное синее море. По склонам горы Кармель скатываются вниз беспокойные каменные ручьи — дома Хайфы. Дует хамсин — жаркий сухой ветер. В голове почему-то крутятся строчки: «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал». Может быть, хватит? Хватит углов, противоречий, противоборств, противостояний? Не пришло ли время овалов? Может быть, пора уже роду человеческому опомниться, оглядеться вокруг и осознать, наконец, свое единство? Что еще может остановить бесконечное кровопролитие и истребление себе подобных на маленькой, истерзанной войнами планете Земля?

Хамсин дул неутомимо. Из-за песчаной бури Хая и Мурик долго не могли найти дом Лили, но в конце концов нашли и увезли нас в Тель-Авив.

Возвращение

Перед отъездом из Тель-Авива мы еще успели побывать в зоопарке и в Тель-Авивском университете. Зоопарк очень хорош: зеленый, чистый, красивый. Он занимает такую большую территорию, что без машины не обойтись. Возила нас по зоопарку Тамара, большая любительница животных. Был прекрасный солнечный, не очень жаркий день. Для начала огромный страус подошел вплотную к нашей машине. Окно было открыто, и страус попытался всунуть голову внутрь. Я никогда не видела вблизи этих занятных и, честно говоря, довольно безобразных птиц. Намерения у страуса, видимо, были самые мирные: он ожидал подачки. Но мы ничем не могли его угостить, и, бросив на нас презрительный взгляд, страус величественно заковылял прочь на своих нелепых узловатых ногах с длинными растопыренными пальцами.

Грозные львы мирно нежались на солнышке. Их покормили перед нашим приездом, и они не проявили ни малейшего интереса к появлению машины. Но жирафы так грациозно тянулись к протянутым рукам, что смотреть на них было одно удовольствие. Резвились мартышки, гордо расхаживали павлины, ослепляя великолепием своих необъятных хвостов, бегали по дорожкам стайки счастливых ребятишек, благодушно посмеивались родители — в зоопарке царили мир и радость.

В Тель-Авивском университете бурлила деловая жизнь. Большое современное здание университета на окраине Тель-Авива, вернее целый комплекс зданий, связанных между собой крытыми переходами, лестницами и галереями, и корпуса из стекла и серого камня, разбросанные вокруг — это целый город. Я видела маленькую его часть. Меня удивили громкие, уверенные голоса, мелькание молодых лиц в широких коридорах, видимо, не только студентов, но и преподавателей, горячие споры в просторных холлах с деревьями в кадках. Новизна и молодость зданий, людей, деревьев как-то не вязались с давно сложившимися — и явно устаревшими — представлениями о том, что такое университет.

Небольшая лаборатория, где работает сейчас Миша, один из бывших московских коллег Акивы, в первую минуту показалась мне тихой гаванью. Стеллажи с непонятными приборами, столы, заваленные папками и бумагами, закуток с кофеваркой и пластиковыми стаканчиками — все привычно, все знакомо. Мише нелегко дался отъезд в Израиль: сидел в отказе, брата арестовали за то, что давал уроки иврита — стандартный набор предотъездных радостей. В Израиле Миша уже лет десять. Он сильно изменился: уезжал мальчишкой, встретил нас мужчина с зарубками трудной жизни на лице.

— Уберите сумку со стула! Вам же неудобно сидеть. Советская привычка жаться, тесниться! — сказал Миша, обернувшись ко мне, когда кончилась мирная научная беседа и начались бурные разговоры об Израиле.

— Как вы, Миша, относитесь к Рабину, к мирным переговорам? — осторожно спросила я, когда мне удалось вставить слово.

— К Рабину? К этому проходимцу?! Как можно относиться к человеку, который ищет только личной выгоды? Какие переговоры? Зачем? Война с арабами все равно будет. Из-за Рабина она будет, когда это выгодно им, а не нам, вот и все. Война нам нужна, не мир, а война! Зачем? Чтобы вырезать арабов, не вырезать, так депортировать с нашей земли! Чем вы думаете заняты умники из Тель-Авива и Иерусалима? Пудрят мозги. Вообразили, что они — это и есть Израиль. Страна — это мы, те, кто живет на поселениях. Идиоты из правительства не имеют никакого отношения к нашей стране!

Гневному Мишиному монологу не было конца. Но мои силы кончились. Я перестала слушать и слышать. Домой. Домой! Только... где дом мой?

ДНЕВНИК 24 августа. Где дом мой? Идут годы, мелькают страны — ответа нет. Но острота «неответа» притупилась, и колесо жизни все еще щедро дарит радость.

Сегодня четверг. В прошлый четверг вернулась в Бостон. Удивительные были каникулы. Две с половиной недели в Альпах! Глаза, душа полны сиянием снежных альпийских вершин. Какие они изменчивые! То серые, когда набегает тучи, то золотис-

тые или ослепительно белые под ярким солнцем, то розовые на закате. А гроздь красной рябины на фоне серых скал в снежных шапках!

Но поразило и другое. Летняя школа по турбулентности, где Акива читал лекции, была организована на средства Отдела помощи науке восточно-европейских стран НАТО. Есть, оказывается, в НАТО такой отдел. Среди 50—60 участников школы больше всего было русских и евреев, разбежавшихся из России по всему миру. Молодые ученые — средний возраст около 30 лет — приехали в эту школу из Франции, Англии, Германии, Канады, Израиля, Колумбии (!) и всего два-три человека из Москвы и Новосибирска. У них хорошие лица, хорошие глаза — свет Божий в глазах! — и за редким исключением все они — эмигранты. Что ожидает страну, из которой уезжают молодые ученые, не говоря про старых?

Возвращаюсь в Брайтон, хотя глаза мои и душа полны Альпами и тело помнит непривычное напряжение всех мускулов от подъемов и спусков по крутым и некрутым тропам и дорогам. Возвращаюсь в Брайтон. Дома тихо. Акива в Москве. Маша в Нью-Йорке. Юлька крутится как белка в колесе: перед выходом на работу нужно хоть как-то привести в порядок свои дела, не говоря про выпавшие за лето пломбы у детей, одежду, из которой они выросли, кружки, в которые их надо записать, и т. д. и т. п. Нет у нее ни сил, ни времени со мной поговорить. В квартире тихо и пусто. Квартире на улице Эмбасси нет дела ни до Альп, ни до меня. Я даже немного ее прибрала — вымыла стены на кухне, вытерла пыль. Но ей все равно нет до меня дела. Может быть, из-за этого так плохо пишется всю неделю?

25 августа. Вчера уже в постели, чтобы переломить настроение, решила позвонить Игорю Каплану, создателю и главному редактору альманаха «Побережье». У него давно лежат мои «Записи на ходу», пора узнать, включил ли он их в очередной номер ежегодника. Перед каждым таким звонком до сих пор стискиваю зубы, и если бы только зубы. Могла бы, кажется, уже привыкнуть, но не получается.

Позвонила утром. Разговаривал Игорь, как всегда, сердечно. Очередной номер «Побережья» юбилейный: альманах исполняется десять лет. «Записи» этому номеру ни к чему, так как формально от-

носятся к жанру путевых очерков, а нужна художественная проза, рассказ, например. Неуверенно предложила «Березники». Неуверенно, потому что «Березники» уже опубликовал журнал «Вестник». Мне даже заплатили гонорар: 15 долларов. К моему удивлению, Игорь сказал, что «Вестник» его альманаху не помеха и попросил прислать текст и дискетку.

Сегодня целый день под впечатлением от этого разговора. Не знаю, что получится, но текст и дискетку pošлю. Надо только перечитать рассказ на свежую голову.

Я уже давно раздумывала, не включить ли в книгу три своих рассказа. Сегодня, наверное, из-за утреннего разговора, решила переписать первый.

ПИАНИНО*

Мама никогда не плакала. Зимой 1937—1938 года не заплакала ни разу. Каждый вечер перед сном: «Если ночью кто-нибудь придет, будет шуметь, не вставай. Может быть, мы с папой уйдем. Утром пойдешь к Цилиньке. Лару возьми с собой. Осторожно переходи дорогу. Лару держи за руку...» С сухими глазами. Каждый вечер. Всю зиму.

Утро 22 октября 1948 года: «Подождите! Подождите!» Истощенный мамин крик жив до сих пор. И лицо: белое как мел, огромные провалившиеся черные глаза, посиневшие губы. Больница в бывшей школе на улице Архипова, напротив синагоги. Папу положили на носилки, накрыли простыней, понесли. Мама бежит за санитарями с одеялом в руках: «Подождите! Накройте. Там холодно». Трясущиеся мамини руки расправили одеяло, застыли у папиной шеи. Накрыть папу с головой мама не смогла. Папу унесли. Сухие горящие мамини глаза на побелевшем лице не потухли до сих пор.

Но однажды мама расплакалась. Я видела, отчетливо видела, как по ее щекам текли слезы. 1961 год. Свершилось. Мы переезжаем. На этот раз в свою квартиру. Первые три года семейной жизни мы переезжали два раза в неделю от одной мамы к другой, из Столешникова на Грузинский вал и обратно. Пишущая машинка, до-

машинные тапочки, бидончик с супом, книги, текст английский, текст русский, словари... Наконец свой дом. Я потеряла голову от радости. «Квартира плохая... далеко... без телефона... метро нескоро...» — причитали все вокруг. Я не понимала, о чем они говорят. Какая разница? Ведь дом! Свой дом!

Не помню, как приехала машина на Грузинский вал. Не помню, что мы увозили с Грузинского, кроме моей старой тахты и маленького секретера. Книги, конечно. Горы книг. Румынские книжные шкафы я купила заранее, они уже стояли в новой пустой квартире. Да, конечно, увозили книги, тахту, секретер, что-то еще, наверное.

Тахту я купила у соседки в Столешниковом. Секретер — свадебный подарок. Мы привезли его из комиссионного магазина на грузовике, я сидела в кузове с ним в обнимку. Французский секретер прошлого века: дубовый, с гнутыми ножками, с маленькими ящичками под резной крышкой. Маша в школе, маленькая Юлька спит на балконе. Вожделенная минута: сесть, откинуть крышку и улететь на Мадагаскар к мальгашам, к их сказкам... Сколько часов я просидела за ним в стенном шкафу, где в Черемушках был устроен мой кабинет, сколько клякс оставили на нем дети... Дорогой мой Луи каторз пятнадцатый, — ты ведь не сердись, что мы тебя так называли? — кто мог подумать, что ты доживаешь с нами последние дни? Прости меня. Прости меня, пожалуйста, — я не могу взять тебя с собой в Бостон.

Не помню, как мы уезжали с Грузинского, хотя считала часы до свершения этого чуда. Но несколько минут у подъезда в Столешниковом врезались в память. Из-за мамы. Февраль, середина дня, неяркое солнышко, тепло. Пианино уже взгромодили на грузовик. Я влезла в кузов и счастливая — все в порядке, едем! — оглянулась. Мама стоит в подъезде без пальто, на плечи накинута серая шерстяная кофта, по щекам текут слезы. Я крикнула: «Мама!» Она не ответила, не махнула рукой. Она стояла и плакала. Машина тронулась, маму заслонили прохожие. Я уехала в растерянности. Мама так радовалась, что у меня, наконец, есть квартира. Почему она плакала?

Мамы уже семь лет нет в живых. Я уезжаю в Бостон. Совсем. Навсегда. Слова эти я часто повторяю про себя. Повторяю механически, осознать их я не в состоянии. Но теперь я знаю, почему мама плакала.

* Рассказ «Пианино» опубликован в альманахе «Побережье», Филадельфия, 1997, № 7 и в газете «Новости Филадельфии» 28.11.98 г., № 8 (80).

— Шмуэл, ребенку нужен инструмент. Так больше не может продолжаться. Нельзя каждый день ходить к Цитиньке. Ты слышишь, Шмуэл?— Папа что-то бормочет, уткнувшись в газету.— Перестань, Шмуэл. Как-нибудь выкрутимся. Сейчас надо внести первый взнос. Лия обещала одолжить деньги.

Я не раз слышала эти разговоры. Менялось в них только числительное перед словом «Взнос» и имя в последней фразе. Мама, конечно, выкрутилась. Однажды несколько мужчин в комбинезонах, с широкими лямками через плечо втащили к нам в комнату огромный картонный ящик. Ящик раскрыли, и я увидела пианино. Оно было такое красивое: черное полированное дерево сверкало так ослепительно, что страшно было к нему прикоснуться.

Моя первая учительница музыки приходила к нам домой два раза в неделю. Высокая, стройная, в красивом черном платье, с узлом пышных светлых волос, она казалась мне феей. У нее были длинные тонкие пальцы и высокий нежный голос.

«По дальним стра-а-нам я-я бродил и мой суро-ок со мно-ю...» Я чуть не плакала, фальшиво повторяя за ней трогательную мелодию, которую никак не могла запомнить. «Нет, музыкальных способностей нет, но желание есть. Попробуйте, может быть, возьмут в музыкальную школу»,— сказала она как-то маме. Меня почему-то взяли.

Музыкальная школа была недалеко, на Пушкинской площади, во дворе дома, где теперь комбинат «Известия», а раньше был кинотеатр «Центральный». Перед войной в классе своего отца-виолончелиста в этой школе учился белокурый мальчик Слава Ростропович. Однажды мы вместе выступали на школьном концерте. Слава бесстрашно вынес на сцену виолончель и сыграл что-то очень звучное и красивое. Я играла с кем-то в четыре руки и, умирая от страха, старалась вовремя взять два несложных аккорда, из которых состояла моя партия.

Имя своей второй учительницы я помню: Рахиль Давыдовна. Она занималась со мной с ангельским терпением и упорством Сизифа. Мои маленькие изуродованные рахитом руки, короткие пальцы, отсутствие слуха, чувства ритма — ей все было нипочем. На каком-то экзамене все дети должны были играть «Интернационал». Рахиль Давыдовна сделала для меня переложение без октав, и я сдала экзамен. Из урока в урок она учила меня радоваться красоте

музыки, волшебству музыки, и когда у меня хоть что-то получалось, сама радовалась как ребенок. Она открыла мне огромный мир, потом мне удалось открыть этот мир своим дочерям, тоже лишенным музыкальных способностей. Моя внучка хорошо поет, но нет ни сил, ни денег учить ее музыке. Может быть, когда Миша и Юля обживутся в Бостоне, встанут на ноги...

Каждое утро перед школой я под сурдинку играла гаммы и упражнения. Иногда час, иногда дольше. Меня никто не заставлял. Я играла гаммы, потому что хотела заниматься музыкой. Пианино стояло тогда в нашей большой проходной комнате, откуда двери в фанерной перегородке, не доходившей до потолка, вели в две другие комнаты. В одной из них, маленькой и узкой (мы называли ее пенал) спали на тахте папа и мама. В другой, пошире и побольше,— мы с сестрой.

Перед войной пианино, чтобы мне удобнее было заниматься, передвинули в детскую комнату и поставили у самого окна. Уезжая в эвакуацию, мы его там и оставили. Я вернулась в Москву весной 1943 года. Первое, что я увидела, когда вошла в нашу незапертую комнату, было пианино. Оно стояло боком к двери. Задняя неполированная стенка, обычно невидимая, назойливо лезла в глаза. Пианино казалось чужим, незнакомым. «Не удивляйся,— услышала я за спиной голос самой любопытной нашей соседки, Татьяны,— мы передвинули, мы. Стекла, видишь, вылетели? Вот и передвинули, чтобы не попортилось». Как только Татьяна ушла, я подвинула пианино к стене, благо, оно было на колесиках. Подняла крышку. Взяла несколько аккордов. И поняла, что я дома.

В Черемушках пианино заняло всю стену напротив окна в нашей большой, тоже проходной комнате. Оно уже не сияло, но по-прежнему хорошо держало строй. Не зря, видимо, в первых выпусках «Красного октября» вся начинка была немецкая.

Черемушки... Непривычный адрес без номера дома: Новые Черемушки, квартал 21А, корпус 1, квартира 11. Номер квартиры — постоянное напоминание о прежнем адресе: Столешников 11, квартира 22. Голая макушка невысокого холма, разбросанные как попало плитзажки. Улица-шоссе отделяет наше райское жилье с канализацией, горячей водой и центральным отоплением от села Семеновского

без канализации и без воды, даже холодной. Несколько колонок остались только на нашей стороне, где еще недавно стояли избы. Семёновцы набирали воду у нас под окнами и везли к себе в чанах и бутылках, летом на тележках, зимой на санках. Когда они заблаговременно выносили домашний скарб и поджигали избы, чтобы получить московскую квартиру, пожарные хоть и приезжали, но огня не тушили: шланги не дотягивались до колонок. Весной и летом, выйдя на балкон, мы не раз видели, как жительницы этой славной деревни выбегали на огород, присаживались и задирали юбки. А однажды маленькая Юлька, стоя на балконе, громко закричала: «Мама, конь! Мама, конь!» В Семеновском кто-то вспахивал огород на лошади.

До ближайшей станции метро и до ближайшего телефона-автомата в первые годы мы ездили на автобусе. Автобусный круг был под окнами. Выйдешь на балкон, увидишь, что шоферы кончили играть в карты, и бежишь на остановку. Возвращаться домой было сложнее. Около станции метро «Университет», тогда конечной, мы ждали наш дорогой 103-й автобус минут по 20 и больше. Игра в карты — дело серьезное.

Но кварталу 21А повезло. Два раза в неделю с другого конца города к нам приезжала молодая красивая женщина Адель Самуиловна. Приезжала, потому что на жалование учительницы музыки и мужа инженера трудно было жить с больной матерью и дочкой. В квартале 21А, куда судьба забросила много интеллигентных семей, она за один день зарабатывала больше, чем за полмесяца работы в музыкальной школе. Переходя из дома в дом, из квартиры в квартиру Адель Самуиловна учила детей любить музыку. Прежде всего любить. Как ни странно, у нее хватало на это и душевных сил, и огня, и терпения.

Способных детей было мало, но музыку любили все ее ученики. И Маша прилежно сидела за пианино каждый день. А какие экзамены-концерты устраивала весной Адель Самуиловна! Как сияли банты на макушках девочек и рубашки на мальчиках! С каким старанием играли дети! Как волновалась за каждого своего ученика Адель Самуиловна! Как слушали мамы, папы и бабушки! О пианино, о мой дорогой черный истукан, сколько радости, сколько счастья дарило ты в незабвенных убогих Черемушках!

И вот улица Вавилова. Квартира-дворец. Три изолированные комнаты на четверых, две большие лоджии, прихожая, коридор, кухня вдвое больше черемушкинской. Просторный зеленый двор с высокими раскидистыми тополями. И все это в городе, где есть улицы, магазины, пешеходы. Конечно, это не Столешников, где рядом и Большой театр, и МХАТ, и Консерватория, конечно, это унылая новая Москва, но все-таки Москва. Вечерами в Черемушках, уложив детей спать, я часто стояла у окна, смотрела на пустынную дорогу, на редкие огоньки Семеновского и тихонько плакала. Маминой стойкости я не унаследовала.

Получив ордер, мы бегали из одной пустой комнаты в другую и спрашивали друг друга: «Это все нам? Неужели это все нам?» Как было не отпраздновать это невероятное событие? На радостях мы доехали до Дома тканей на Ленинском проспекте и — о идилические времена! — купили отрез розовато-сиреневой шерсти мне на платье. Материя — производство Голландии, как тогда говорили, — как-то по особому переливалась, выходное платье из нее служило мне много лет. И не мне одной.

На улице Вавилова пианино стояло в самой большой нашей комнате — в детской. Гаммы и упражнения играла Юля. Два раза в неделю приходила Лия Михайловна. «Музыкальных способностей, конечно, нет. И ручки крошечные. Но старается». Выпускной экзамен Лия Михайловна устроила у себя дома. Юля впервые села за рояль. Лия Михайловна подняла крышку. Бледное растерянное Юлькино личико. Губы кривятся в знакомой улыбке. Ох, эта Юлькина улыбка! Сколько мук она стояла в школе. Обычная сцена: объяснение с учительницей химии. «Я ее ругаю, — неистовствует она, — я ее ругаю, а Юля, видите ли, улыбается!»

Юля положила руки на клавиатуру. Только бы сыграла, как угодно, только бы доиграла до конца, твержу я про себя. И вдруг... Господи, что это? Красивый сильный звук, уверенно, ритмично. Лия Михайловна со слезами на глазах целует Юлю. Я тихонько хлопая носом. А через несколько дней: «Мама, я не хочу больше заниматься музыкой... я лучше буду... возьми меня на концерт в консерваторию».

Как постарело пианино. Крышка облезла. Бока исцарапаны. Все

собиралась привести его в порядок. Теперь чего уж. Иногда к пианино подходила Маша. Иногда я, когда никого не было дома. Иногда кто-нибудь из гостей. На пианино лежали ноты. Стоял подарок Наташи: армянский обливной кувшин с ручкой. В нем особенно хорошо смотрелись розы и осенние ветки с красными и желтыми листьями. Тихая, достойная старость. Ноты я раздала, кувшин жив, я привезла его в Бостон. Наташа умерла.

Покупательница пришла без опоздания, минута в минуту. Пришла не одна. Пианино нужно для внука, невестка тоже хотела взглянуть на инструмент. Пожилая женщина, знакомая знакомых, она прекрасно понимала, что происходит, и старалась не доставлять лишних неприятностей. Что-то спросила, с сочувствием покачала головой. Села за пианино, поиграла. Пианино ей понравилось. Одеваясь, она сказала: «Я бы все-таки не смогла уехать, просто не смогла». — «Ну почему же? — мягко возразила невестка. — А я бы смогла. Хотя бы ради сына». Обычный, теперь уже обычный в Москве разговор. Они вежливо попрощались и ушли.

Я перешла в другую комнату. Постояла у окна, посмотрела на школьный двор. На бывший школьный двор. Когда-то Юлька каталась здесь на лыжах. Она была меньше всех в классе и всегда отставала. Школу давно закрыли. Сейчас здесь КПО — Комбинат производственного обучения. На этом дворе бывший кеgebешник Александр Сергеевич учит меня водить машину. Я отстаю от всех его учеников. Как опустела квартира без пианино. Пианино еще стоит на прежнем месте, но квартира уже опустела.

Его увезли через неделю. Четверо мужиков в грязных куртках вломилась в квартиру: «Деньги! Доплачивай, хозяйка, внизу до лифта ступеньки! Доплачивай!» Засаленные лямки обхватили пианино. Оно дрогнуло, будто вздрогнуло. Зазвонил телефон. Я схватила трубку, что-то торопливо ответила и выбежала на лестничную площадку. Пианино уже втащили в лифт. Гулко ухнула дверь.

Мама, я хочу сказать... ты слышишь меня? Я хочу сказать, что от моей московской жизни почти ничего не осталось. Прошлое все дальше, до будущего еще идти и идти. Дойду ли? Я уже старая. Мне сейчас столько лет, сколько было тебе, когда ты плакала в подъезде в Столешниковом. Я знаю, мама, почему ты плакала. Теперь знаю.

ДНЕВНИК 27 августа. Утром узнала о пожаре на Останкинской телебашне. Почему-то надеялась, что не очень серьезно. В середине дня сообщение Си-зи-зи. Серьезно, есть погибшие. Акива в Москве, я здесь.

Все время страшно. Кричать? Молиться? Ощущение гибели мира, к которому принадлежала, принадлежу. Ноги висят в пустоте. Руки хватаются за пустоту... Что-то делать. Непременно что-то делать, взять себя в руки. Для начала взять в руки дневник за 1995 год, просмотреть, отметить, что выписать.

ДНЕВНИК 21 января. В понедельник 9-го, едва открыла утром глаза, стены и потолок вдруг поплыли. Догадалась измерить давление. Гипертонический криз, как гром среди ясного неба. Мой день у Юли. У Юли через два дня защита диссертации. Выручила, как всегда, Инна. Полторы недели измеряю давление несколько раз в день.

Защита прошла благополучно. Сложился с Шерманами, Инна и Катя купили Юле брюки, к ним две блузки и свитер. Подаркам Юлька очень обрадовалась. По случаю защиты в прошлую пятницу было семейное торжество. От Юли осталась тень. Но свершилось — защитилась, работает в хорошей лаборатории с приличной зарплатой. Во вторник 17-го целый день готовила салаты для ее гостей с работы.

29 января. Прочла в «Неве» (№10, 1989) заметку «Солнце моей жизни» об А.Г. Достоевской. 14 лет она прожила с мужем, 37 лет одна во имя мужа. В 1918 г. погибла от голода в Крыму. Цифры ошеломили. Еще больше ошеломило, что Анна Григорьевна Достоевская погибла от голода. Очень люблю стихотворение Владимира Корнилова:

Жена Достоевского

Нравными,
Взорными,
Приткыми

Были они испокон.
 Анна Григорьевна Сниткина
 Горлица — среди ворон.
 Кротость — взамен своеправия,
 Ангел — никак не жена.
 Словно сама Стенография
 Вся под диктовку жила.
 Этой отваги и верности
 Не привилось ремесло.
 Больше российской словесности
 Так никогда не везло.

31 января. В десять утра села за руль. Вернулась домой в половине седьмого вечера. Впервые ездила на автомобильную свалку. Накануне Юля узнала по телефону, что там есть ветровое стекло для моей машины. Я умудрилась его разбить и, пока не починю, не могу пройти очередной техосмотр. В магазине стекло стоит очень дорого. Свалка — выход. С трудом ее нашла, купила стекло. С трудом за машиной-поводырем доехала со свалки до стекольной мастерской. Просидела в мастерской четыре часа, вернулась с целым стеклом.

Пока сидела, читала «Клуб счастливых женщин» Эми Тэн. («The Joy Luck Club» by Amy Tan.) Судьбы матерей, выросших в Китае, и их дочерей, родившихся в США или привезенных в США во младенчестве. Столкновение культур, поколений, эпох в форме семейных рассказов. Прекрасный язык, простой и образный. Очень интересно. Но ожидание все равно извело.

5 февраля. Воскресенье. В пятницу на дневном концерте в филармонии было много пожилых людей. Исполняли «Военный реквием» Бриттена, дирижировал Озава. Прекрасная солистка, великолепный хор, мощный оркестр, вернее, два оркестра: симфонический и камерный, при этом удивительные piano и pianissimo. Слушала с волнением. Возвращение войны. Вспомнилась Галина Вишневская. Первое исполнение «Военного реквиема» состоялось во время торжеств, посвященных восстановлению разрушенного во время войны Кентерберийского собора. Галина Вишневская была в это время в Англии, партию сопрано Бриттен написал специально для нее, но петь ей не разрешили. Такие были времена.

Вчера целый день писала письма в Москву — появилась оказия.

Утром звонила Ларе. Сыну ее Мише исполнилось сегодня 38 лет. Написала и тупо смотрю на цифру. Господи, Мише 38 лет... А мне сколько? А Ларе?

В «Октябре» № 5, 1994 очень интересная статья Юрия Айхенвальда «Отцы и деды». Она начинается стихотворением «Моя родословная». Все последнее время это стихотворение со мной. Обидно, что кроме двух-трех строк ничего не могу запомнить.

Юрий Айхенвальд

Моя родословная

Был мой прадед в Балте раввином.
 Не любил он модных затей.
 Он ходил в лапсердаке длинном
 И еврейских учил детей.
 Знал он точно, что плач и стоны
 Слышит Бог наш века подряд.
 А спасенья нет...
 По закону
 Был обманщик Христос распят!
 И на тихом берлинском кладбище,
 Под тяжелой белой плитой,
 Кто откликнется, кто отыщет,
 Где он вечный нашел покой?
 Просто смерть,
 И кисть винограда,
 И под кожей свежий сок —
 Никому ничего не надо
 В самой дальней из всех дорог!
 А потом мальчуган чернявый,
 Сын раввина в семнадцать лет
 Вдруг решил — философы правы,
 И еврейского Бога нет.
 Просто жизнь,
 И кисть винограда,
 И под кожей свежий сок —
 А потом ничего не надо
 В самой дальней из всех дорог.
 И в гостинице на Лубянке
 Без раздумий и до конца
 Отдал сердце он русской дворянке
 И крестился ради вена.

Был он проклят родней за это,
Только не был ничьим слугой
Почитатель русских поэтов,
Модный критик, эстет, изгой.

И пускай он не понял века
Или веком не понят был, —
Над собою,
Над человеком
Он земных богов не любил.

И на тихом берлинском кладбище,
Под тяжелой гранитной плитой,
Кто откликнется, кто отыщет,
Где он вечный нашел покой?

А упрямый его сынишка
Убедился в пятнадцать лет:
Философские лживы книжки,
Революция — вот ответ.

И ушел он в ночь,
В лихолетье,
Пошатнулся, казалось, гнет.
Шел семнадцатый год столетью.
Шел России тысячный год.

И пускай он поверил в чудо
Им самым творимых легенд —
Опрометчивый, узкогрудый,
Непреклонный интеллигент, —
Только где, на каком кладбище,
За какой сибирской рекой —
Кто откликнется? Кто отыщет? —
Он нашел, наконец, покой...

И не знал я другого чуда,
И не слышал других легенд,
Кроме тех, что знал узкогрудый,
Непреклонный интеллигент.
Неизбежность кратчайших сроков
И права на любой урой...
Ведь никто из его пророков
Право жить не возвел в закон, —

Просто жизнь, и кисть винограда,
И под кожицей свежий сок,
Право выбрать не ту, что надо, —
Ту, что хочется, из дорог.

21 февраля. Снова нездорова. Заложен нос, в ушах вода, плохо слышу. Хозяйственный день: магазины, готовка, глажка. Гладила и слушала Моцарта. Еще одна «победа»: научилась пользоваться своим магнитофоном и кассетами. Пока с напряжением. Купила Акиве на день рождения кассеты Бетховена и Прокофьева. Себе — бутылку желе алоэ. Желе глотаю, может быть, поможет. Моя простуда тянется уже четвертый месяц почти без просветов.

Покупала продукты. В кассе передо мной стояли пестро одетая молодая чернолицая женщина с нагруженной доверху тележкой и старая американка, одетая бедно, но по-американски: куртка, джинсы, кроссовки. В тележке у нее лежали две картофелины, одна морковь, одна луковица, еще какие-то мелочи. Одной рукой она крепко прижимала к себе банку декафинированного кофе, другой перебирала покупки в тележке. Сколько недель она сэкономила ради банки кофе?

Начала читать по-английски большую книгу китайки Джанг Чэнг «Дикие лебеди» (Jung Chang «Wild Swans»). Сaga о трех поколениях китайских женщин. Очень интересно.

Сдаюсь, ложусь в постель.

3 марта. День четко делится на четыре части: 1. Утро. Ничего не могу, ничего не хочу. 2. Первая половина дня. Много хочу и довольно многое могу. 3. Вторая половина дня. Ничего не могу, но еще что-то хочу. 4. Вечер. Ничего не могу, ничего не хочу.

В Бостоне хрустальная неделя. В понедельник лил дождь. Разбухшая кора голых веток порозовела. Ночью подморозило. Деревья, кусты превратились в хрустальные букеты, люстры, факелы. Хрусталь чуть розоватый. Никогда не видела такой красоты. Но ходить по улицам невозможно: скользко. Ездить мука: заносит.

7 марта. 6-е пришлось на понедельник, день рождения Акивы справляли 5-го. С 1953 года, когда 5 марта объявили о смерти Сталина, этот день у нас тоже считается праздничным. Копченая форель, капуста «провансаль» (добавляя в готовую квашеную капусту морковь, яблоки, чернослив), клубника, красивый торт — праздничный стол, кажется, всех удовлетворил. Весь вечер говорили о России.

18 марта. 16-го был очень хороший концерт. Гергиев дирижировал седьмой симфонией Шостаковича. Удивительный дирижер. У него гибкие «поющие» руки (дирижирует без палочки) и удиви-

тельно властная манера управления оркестром. Поразительно, сколько успел этот человек. Поднял из праха Кировский театр (Большой в это время рассыпался в прах), дирижирует лучшими симфоническими оркестрами мира, ставит оперы по всему свету, организовал два международных фестиваля в Петербурге и в Финляндии, и это, наверное, еще не все. Американцы слушали Шостаковича, не шелохнувшись. Счастье — сидеть в таком зале и слушать симфонию Шостаковича.

19 апреля. Вчера девятилетняя Няма подарила мне два прекрасных изречения. Рассказывала ей о Таците. «Он все записывал, как Анна Франк?» — удивилась Няма. Неожиданно спросила, сколько я вешу. Пришлось сказать. Чтобы сгладить впечатление, стала говорить о возрасте. «Для бабушки ты совсем не толстая», — утешила меня добрая внучка.

В Бостоне проходит балетный фестиваль. 9 апреля, кроме очередного вечера балета, состоялись еще выступления Исаака Стерна и Иосифа Бродского. Культурная жизнь в этом городе не иссякает. Судя по рассказам, интереснее всего был вечер Бродского. Мы смотрели балеты. Жаль, что пропустила вечер Бродского.

14 мая. Дневник совсем забросила. Плохо себя чувствует Акива: скачет давление, тяжелая голова, трудно работать. У меня скачет давление, болит голова, неприятная сухость во рту.

Сегодня утром ходили гулять в семинарский парк. На тихой зеленой улочке, пересекающей нашу, сидела на низком стуле женщина лет тридцати. Рядом под ее присмотром бегали три девочки-погодки. Заглядевшись на приятное лицо и белые ухоженные руки — женщина что-то шила, — я не сразу заметила, что она разговаривает по телефону, придерживая плечом трубку. Едва заметила, вспомнила. Тушетия, горная дорога. По дороге бредет стадо овец, за ним идет старуха. На спине у нее внушительный мешок, в руках мелькают спицы и болтается недовязанный носок, под мышкой хворостина. Кавказ, зеленая Тушетия, наш самодельный турпоход. Не могу вспомнить, в каком году. Знаю только, что до рождения Юльки. Уже стемнело, а мы все не могли найти место для привала. В конце концов поставили палатки у самой тропы. Утром оказалось, что мы заняли часть горной дороги. Овцы и старуха благополучно нас миновали.

8 июня. Не писала почти месяц. Не хватает сил. Про поездку в Нью-Йорк так и не написала. Оба много лежали, гуляли только по берегу океана. После обнадеживающего разговора со Стенфордом — зарплата! — напряжение немного спало.

Вчера встали в 5.30 утра. Акива улетел в Принстон. Ездить на машине в аэропорт не научилась, не смогла. Довезла Акиву до метро на пл. Кенмор и в 7 утра была уже у Юли. Вернулась домой после 7 вечера. Выстирала белье. Трудно стало ходить в подвал к стиральным машинам.

Новое изречение Левы: «Мужчина куд куда» (хоть куда). До отъезда в Австралию осталось чуть больше месяца.

11 июля. В воскресенье ездили к Марку Азбелю. Первый раз доехала на машине до Гарвардской площади. Круглым путем, но доехала. Азбель — яркий человек. Говорили об Израиле, о многом другом. Очень интересный вечер.

Кроме нас, у Марка была еще одна гостья. Приехала в США около 20 лет назад. Трудности устройства. Семья распалась. Кончила курсы бухгалтеров. Училась, напрягая все силы. Не знала языка, чужое неинтересное дело. В Москве работала техническим редактором в литературных издательствах. В Бостоне 15 лет проработала бухгалтером в фирме. Никуда не рвалась, ничего не искала, жила под страхом потерять не очень хорошо оплачиваемую, очень неинтересную работу. Исполнилось 50 лет, фирма предложила 80% пенсии. Ушла. Дешевая квартира позволяет прилично и безбедно жить. Позади — ничего. Вспомнить о прожитой жизни в США нечего. Воспоминания только о Москве. Впереди тоже ничего. Родных нет, подруг растеряла — итог успешной, благоразумной жизни.

Марк Азбель — полный сил, идей, интересов, известный, успешно работающий ученый — один после двух разводов.

Как жить? Вертятся в голове последние строчки из «Моей родословной»:

Право выбрать не ту, что надо, —
Ту, что хочется, из дорог.

Ответ? Может быть, не знаю. Не знаю, когда вернусь к дневнику. Через несколько дней улетаем в Новую Зеландию и Австралию.

ПИСЬМО В МОСКВУ

В двух частях с прологом

*Новая Зеландия и Австралия.
17 июля—16 августа 1995 года*

Пролог

МЫ ЕДЕМ В АВСТРАЛИЮ!

Водевиль в 2 действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Юня — весьма пожилая женщина с седой головой и громким голосом.

Акива — ее муж, ученый, склонен к задумчивости.

Юля — их дочь, решительная молодая женщина, к задумчивости не склонная.

Лева — ее сын, очаровательный малыш двух с половиной лет, характером в маму.

Саша — друг дома, молодой бородатый архитектор с лучистыми глазами, в Бостоне проездом.

Мара — соседка Юни, милая, добрая женщина средних лет, родом из Киева.

Время действия: день вылета в Австралию, 17 июля 1995 года.

Действие первое

Ньютон, дом Юли. Утро. В кухне за столом кончают завтрак Юля, Саша и Лева. Открывается дверь, торопливо входят Юня и Мара.

Юня, Мара, Юля, Саша одновременно:

Юня. Здравствуй, Юлька! (Лева.) А это что за мальчик? (Саше.) Сашенька дорогой, как я рада тебя видеть! Господи, когда ты успел отрастить бороду?

Мара (нараспев). Здра-авствуйте! Здра-авствуйте! Ой, как же Левочка вырос!

Юля. Привет! Привет!

Саша. Здравствуйте, тетя Юня! Я тоже ужасно рад вас видеть!

Юля (продолжает кормить Лева, наспех допивает чай). Ну как, мама, твоя жизнь в этот торжественный день?

Юня (разгружая сумку). Моя жизнь прекрасна. Ты не могла раньше позвонить, что Левке сок нужен? Мать у тебя, конечно, молодая, шустрая, но все-таки. Вот, купила. (Ставит на стол трехлитровую банку сока.) Приехали мы с Марой, кажется, вовремя?

Юля. Вовремя, вовремя. Ты у меня, мама, герой! Так, Саша, допил чай? Поехали, а то все мои дрозодилы сдохнут.

Лева. Мама, татать! (Тычет пальцем в лежащую перед ним книжку.) Тут татать!

Мара. Ой, Юля, у тебя ж все горит на сковородке! Смотрите, пожалуйста, у нее новая плита да какая красивая, а она молчит! А что ж ты тут жарить?

Юля. Из головы вылетело! Я ничего не жарю. Это я продукты спасаю. У меня холодильник сломался.

Мара и Лева одновременно:

Мара. Ой ты Господи! В такую жару без холодильника да с ребенком! Надо же скорей чинить! Слышишь, Юля?

Лева. Мама! Татать! Татать!

Юня. Юлька, я понимаю, что ты торопишься, я сама тороплюсь, но у меня к тебе просьба: наш принтер не работает, вставь дискетку в свой компьютер, очень хочется напечатать «Израиль».

Юля. Давай дискетку. Левочка, я не могу сейчас читать, понимаешь, мои дрозодилы...

Телефонный звонок. Юля хватается трубку и бежит к компьютеру.

Юня. Как живешь, Сашенька?

Саша. Сложно живу, тетя Юня. Сейчас вот еду в Вермонт за

дочкой своей, Дашенькой, боюсь только, что не смогу взять машину напрокат. Понимаете, у меня права просрочены, вернее, их уже продлили, но они еще в полиции, у нас в Калифорнии. Конечно, сам виноват, поздно спохватился. Как всегда, тетя Юня, все как всегда. А, кстати, на вашей машине нельзя в Вермонт съездить?

Юня. Сашенька, дорогой, моей машине сто лет в обед. От столба до столба на ней можно ездить, но в Вермонт!

В кухню вбегает Юля.

Юля. Мама, дискетку вставила, принтер включила. У папы компьютер выключился, что-то он срочное не может допечатать. По телефону все, что могла, объяснила, но вроде без толку. Лева, сейчас же положи молоток на место! Не ребенок, а... никакие игрушки ему не нужны, только молоток, пила, отвертка... Мара, я побежала, пошли, Саша.

Мара. Иди спокойно, мы сейчас с Левочкой будем на велосипеде кататься. Левочка, ты только посмотри, какой красивый велосипед!

Лева (*бежит за Юлей с книжкой*). Мама, тут татать.

Юня (*вбегает в кухню*). Юлька, твой принтер печатает мой русский текст латинскими буквами!

Все, кроме Мары, устремляются в кабинет, крошечную комнату, почти целиком занятую письменным столом и стеллажом с книгами.

Юля. Так. Черт возьми, как же переключить? Саш, ты не знаешь, как это сделать?

Саша. Сейчас попробую. (*Возится с компьютером.*) Тетя Юня, получилось! Пошел русский текст.

Телефонный звонок. Юля бежит к телефону.

Юля. Папочка, дорогой, понятия не имею, почему твой компьютер не работает. Ты не пробовал позвонить Мишке на работу?

Никто не берет трубку? У них это вечная история — всем некогда. Подержи подольше. Не могу, дико опаздываю, целую тебя. (*Кладет трубку, бежит к входной двери.*)

Юня. Юлька, в принтере, наверное, кончилась краска. Вместо текста пошла какая-то мазня.

Юля. Мама, мои дроздофилы...

Юня. Сдаюсь. Покажи только, как вынуть дискетку. С дискетками я еще не научилась обращаться.

Саша. Тетя Юня, я сейчас выну. (*Бежит в кабинет.*)

Юля. Саша, поехали. Где, кстати, ключи от машины?

Мара. Юля, а чем я буду кормить Левочку? Ты днем его теперь во сколько кладешь спать?

Лева (*вцепился в Юлину юбку*). Мама, татать, татать.

Юля (*бежит по дому*). Интересно, где все-таки ключи от машины?

Саша (*возвращается в кухню, отдает дискетку Юне*). Может в машине забыла?

Юля выбегает на улицу.

Лева. Уня, где мама? Где мама?

Юля бегом возвращается в кухню.

Юля. Я здесь, Лева. Я все еще здесь. А ключей нет.

Юня. В чем ты вчера ходила?

Юля. В джинсах.

Юня. Посмотри в карманах.

Юля убегает в спальню.

Саша. Надо все вытряхнуть из сумки.

Юля (*вернулась, бежит по кухне*). Ни фиги. Так. Где моя сумка? Лева, ты ничего не вынимал у меня из сумки? Вот из этой сумки? Ну-ка пойдем к тебе в комнату, давай поищем ключи от машины. (*Уходит с Левой.*)

Мара. А чей же это такой красивый кошелечек? Почему он тут валяется?

Юня подбегает к Маре, открывает кошелек, достает ключи от машины.

Юня. Юлька! Юлька! Вот твои ключи!

Юля, Саша, Юня, Лева, Мара одновременно:

Юля. Ура! Саша, поехали! Дроздофилы уже точно сдохли, но все равно поехали! Пока, Левка!

Саша. До свидания, Левка. До свидания, тетя Юня. Счастливо вам.

Юня. Счастливо, Сашенька. Поцелуй дочку, привет всем твоим.

Лева. Мама, пока, пока.

Мара. До свидания, до свидания! Левочка, помаши ручкой!

Юля и Саша уезжают в одну сторону, Юня в другую.

Действие второе

Прошло два-три часа. Квартира Юни и Акивы. Гостиная, она же прихожая и столовая с кухней-нишей. В глубине дверь в спальню, справа от нее дверь в кабинет. Акива сидит в спальне за компьютером. Юня торопливо накрывает на стол.

Юня (с тарелками и вилками в руках). Акива, кончай! Пора! Давай перекусим. Кормить в самолете будут только вечером.

Акива (из спальни). Да, да... Я должен кончить фразу.

Юня (роняет вилки). Все из рук уже падает. Поздно! Хватит! Один компьютер сломался, слава Богу, но когда не везет, так не везет: у некоторых выдающихся ученых в доме не один компьютер, а два. Где наши пояса с деньгами и документами?

Акива (бежит в кабинет, хватая какие-то бумажки и возвращается в спальню). Мне осталось донести буквально несколько слов.

Юня (роняет ложки). До вылета самолета осталось буквально... Где наши пояса?

Акива (кричит из спальни). Должен я выключить компьютер?!

Звонок в дверь.

Юня и Акива (одновременно). Кто это?

Юня (Акиве). Надень скорее рубашку, выйди, посмотри.

Открывается дверь. Входят Юля и Саша.

Юля. Привет, папочка. Мы на одну минутку, мама.

Саша. Мы на одну минуточку, тетя Юня.

Юля. Мама, почему ты такая взмыленная?

Юня. Мы, между прочим, сегодня улетаем. А у тебя что стряслось? Вы пришли вовремя. У меня все готово. Садитесь скорее за стол. Как, Юлька, твои...

Юля и Саша (одновременно). Нет времени... машина... мои дроздофилы... моя Даша... машина...

Юня (торопливо раскладывает еду по тарелкам). Акива, дай еще один стул! Саша, садись сюда! Юля, туда. Начинайте. Акива, дай хлеб.

Акива (занят своими мыслями). Хлеб сейчас дам. (Нерешительно идет на кухню.) Хлеб в принципе...

Юня. Господи! Хлеб не в принципе, а в холодильнике! Мы уже три года здесь живем, можно, кажется, усвоить.

Акива (невозмутимо). В принципе, наверное, можно.

Юня. Сашенька, ты знаешь, какой подвиг Акива недавно совершил?

Саша. Нет, конечно.

Юня. Я была у Юли, Акива в очередной раз не нашел дома хлеб. Пошел в магазин и купил.

Юля и Саша (одновременно). Не может быть! Вот это да!

Юня. Магазин напротив, но все равно. Юлька, не забудь про мою дискетку, слышишь?

Юля. Слышу, мама, слышу. Про твою дискетку, про холодильник, про папин компьютер...

Акива. Знаешь, Юлька, милая, ничего у меня не получилось с моим компьютером. Что-то я допечатал на маминном, но формулы на нем невозможно печатать, совершенно не понимаю, что мне делать.

Саша. Пока, я думаю, ехать в Австралию, а потом...

Юля. Мама, где телефон? *(Вскакивает из-за стола.)* Вылетело из головы! Мне нужно срочно позвонить на работу, иначе все мои дрозофилы... *(Замечает на журнальном столике пояс.)* Что это у вас тут валяется?

Юня. Приготовили, чтобы надеть. В моей прежней жизни женщины для сохранности прятали деньги в лифчик, а мужчинам пришивали карманчик к трусикам. Дошлые американцы изготавливают, оказывается, такое вот чудо комфорта: молнии, завязочки и прочее. Надеваешь под платье, под брюки и живешь спокойно. Положи на место, а то мы их забудем. Сядь, наконец, и поешь.

Акива. Юнечка дорогая, купила ты мне «Новое русское слово»?

Юня. Кто о чем, а... Купила, купила. Самое новое купила и вчерашнее тоже, поскольку ты ценишь новости со стажем. Чего не сделаешь ради любимого мужа.

Акива. Особенно, когда муж везет жену в Австралию.

Юля. Послушайте, можете вы минутку погодить с вашей Австралией. Мам, у тебя, кстати, все сложено? Тебе ничего не нужно? *(Юня отрицательно качает головой и в очередной раз что-то роняет.)* Сашке надо в Вермонт добраться, это несколько ближе, чем Австралия, но без машины...

Акива *(задумчиво).* Без машины, я боюсь, это трудновато.

Саша *(Акиве).* Вы совершенно правы, но дело в том...

Юля. Дело в том, что взять машину напрокат не удалось, а Мишке как раз надо поехать... а я без машины не могу... Сережа Сокол готов дать Саше свою машину, но он без машины тоже не может...

Юня. Господи! Юля! Мы не поедem в Австралию на моей машине. Она стоит во дворе на обычном месте. Вот тебе ключи и катись к своим дрозофилам! Доешь только раньше...

Юля и Саша *(одновременно).* Мамочка, мы должны бежать, мои дрозофилы наверняка сдохнут... Папочка, счастливо вам там в Ав-

стралии! Спасибо, тетя Юня, до свидания, дядя Акива, ждем вас обоим в Калифорнии! *(Убегают.)*

Юня. Чаю так и не выпили. Ой, Акива, яблоко осталось, догони их, отдай.

Акива убегает. Юня торопливо моет посуду.

Акива *(вернулся, в дверях).* Догнал.

Длинный настойчивый звонок в дверь.

Юня. Ой, такси! Акива, бери чемоданы! Постой! Пояса! Все наши деньги! Документы! А где билеты? У меня в сумке нет. Посмотри в бумажнике. Есть? Слава Богу. Садимся. *(Секундная пауза.)* Дурак родился.

Акива. А мы едем в Австралию!

Хватают чемоданы, поспешно выходят.

Конец

Часть I. Сказка

Море. Синее, иногда зеленоватое море до горизонта. На западе, на востоке, на юге, куда они плыли, вздымаются волны. Далеко на севере осталась их родина, Гавайи. В лодках, выдолбленных из деревьев-великанов, сидело 20—30 гребцов, их жены, дети, хранился запас пропитания, воды. Но устали гребцы, всего несколько клубней кумары, сладкого картофеля, лежало на дне лодки вождя, и ни в одной лодке не осталось питьевой воды. Море. Синее, иногда зеленоватое море до горизонта.

И вдруг... Что-то белое, серебристое показалось вдали. Облако? Кажется, да. Облако касается воды... оно становится все длиннее... ветер рвет его края, но облако все растет и растет. «Ao-Tea-Poa! — закричали гребцы на первой лодке, — Ao-Tea-Poa! Длинное белое облако!» — подхватили на других лодках. Ao-Tea-Poa — Длинное белое облако — называли маори страну, где они оказались, видимо, в

середине X века. До сих пор никто не знает, почему они отправились в далекое плавание, почему покинули Центральную Полинезию, или Гавайи, как они называли свою оставленную родину. На двух больших необитаемых островах, куда привела их судьба, в густых лесах водились невиданные животные и ни одного хищника. Озера и реки кишели рыбой. Снежные горы сверкали на солнце и манили смельчаков. Маори остались на островах и благополучно прожили здесь несколько столетий. Только в середине XVII века до этой благословенной земли добрался голландский мореплаватель Тасман. Только тогда она получила название Новая Зеландия, и для маори началась новая жизнь.

Наш самолет приземлился около шести утра на Северном острове Новой Зеландии в городе Окленде. Стеклопакетные стены аэропорта были плотно укутаны в белую вату тумана. После многочасового полета казалось, что огромное облако опустилось на аэропорт и несет его неведомо куда. Но в этом воздушном аэропорту прозаическое экскурсионное бюро, как ни странно, было уже открыто. «Если самолет прибывает в шесть утра, значит, экскурсионное бюро откроется в шесть утра», — уверяли меня в Бостоне опытные путешественники, которым я, конечно, не верила.

Около часа занималась нашими делами молодая приветливая фея XX века. Вылетев из Бостона 17 июля, мы прилетели в Новую Зеландию 19-го (один день из-за смены часовых поясов куда-то делся) и должны были 22-го утром вылететь в Австралию. За три дня хотелось посмотреть все, что можно, и то, что нельзя, разумеется, тоже. Я знала, что самое интересное на Северном острове — национальный парк в окрестностях небольшого городка Роторуа. Знала, так как...

Сказка в сказке. Знала, так как много лет занималась фантастической деятельностью: составляла, переводила и добивалась издания книги «Сказки и легенды маори». Книга — о чуде! — вышла. А я — еще одно чудо! — оказалась в Новой Зеландии, где герои сказок ожили и заговорили по-английски. Билеты на автобус из Окленда в Роторуа и обратно, однодневная экскурсия в Роторуа, выбранная еще в Бостоне, гостиница в Роторуа, согласование времени приездов, отъездов — и все это в шесть утра, в аэропорту в Новой Зелан-

дии. Не знаю, как у феи хватило терпения, но хватило. Ей, правда, помогали компьютер и телефон, работавшие, как и полагается в сказке, безотказно. Здесь же в экскурсионном бюро мы оставили огромный чемодан с теплыми вещами, приготовленными для суровой австралийской зимы, и, не веря себе, сели в такси, довольно быстро доставившее нас в гостиницу, предусмотрительно заказанную в Бостоне. Как говорится, на сказку надейся, а сам не плошай.

Туман поредел, моросил дождь. В гостинице быстро нашли наш заказ и указали номер. Нда-а... Окна упираются в глухую стену, две кровати — двуспальная и односпальная, — ни одного стула, не говоря про стол. Ну что ж, любишь кататься... Не раскрывая чемоданов, выходим на улицу.

Туман рассеялся, дождь перестал. Мы в Окленде, в Новой Зеландии, в другом полушарии, в другом времени года. Бывает такое? Или кто-то снова взмахнул волшебной палочкой, как в Лос-Анжелесе, где при пересадке оказалось, что для нас нет двух мест рядом? Радуюсь, что летим в Австралию, мы не обратили внимания на эту мелочь. При посадке в самолет вдруг что-то объявили по радио и Акива расслышал свою фамилию. Я перепугалась, решив, что не в порядке билеты, но когда мы поднялись по трапу, стюардесса с обворожительной улыбкой сказала, что два места рядом нашлись, только... в первом классе. Мы — так и быть! — согласились. Впереди долгая ночь. Широкие кресла очень кстати, ноги можно вытянуть и так и эдак, тоже замечательно, кормят явно с расчетом, чтобы задорос до ширины кресла, это, правда, ни к чему, но разок можно стерпеть, как и шампанское в красивых бокалах.

Вкусно поев, Акива блаженно уснул и проспал всю ночь, а я с интересом наблюдала, как седовласый мужчина недалеко от меня снова и снова вставлял карточку в телефонный аппарат и спокойно вел, видимо, деловые переговоры, летя над океаном. Зрелище очередного чуда новой цивилизации разбудило во мне беса. Я достала тетрадь, увидела в отсеке, где стюардессы раскладывали еду, некое подобие стола и, стоя на одной ноге, набросала водевиль, который назвала потом «Мы едем в Австралию». Сна не было ни в одном глазу.

И вот мы в Окленде. И наша задрипанная гостиница с громким

названием «Международный отель Киви» находится, оказывается, в самом центре города на Королевской улице. Сказочное везение! Окленд будто нарядился к празднику. К празднику зимы? После убийственной духоты бостонского лета я готова была в это поверить. Два цвета, видимо, больше всего любит этот город: ярко-зеленый — трава, высокие многоствольные деревья с пышной кроной — и ярко-красный: дома, крыши, машины, афиши. Фон перламутровый — цвет океана и неба. И что за удивительная погода! Яркое солнце, все блестит и сияет. Вдруг подул ветер. Небо тут же затянули серебристо-серые облака, льет дождь. Через 15—20 минут снова как ни в чем не бывало светит солнце и капельки дождя, будто оброненные Богом драгоценности, украшают траву и деревья. Улицы полны людей. Как хорошо они одеты! Женщины в жакетах, юбках и туфлях, изредка в плащах, все красиво причесаны. Мужчины в костюмах с галстуками. Джинсы, куртки и кроссовки носят только дети и подростки. Зонтики не в почете. Молодые и пожилые радуются выглянувшему солнышку, на дождь никто не обращает внимания. Ничего похожего на Бостон, где у мужчин и женщин из-под куртки всегда выглядывает свитер, из-под свитера майка, на ногах непременные кроссовки, а дождь или, не дай Бог, снег воспринимаются как стихийное бедствие. Что за фантазмагория? Мы же прилетели на край света! Смотрю по сторонам. Ничего подобного, мы в Европе.

Улицы в Окленде сами себе господа. Они бегут, куда вздумается, круто поднимаются в гору, полого спускаются, изгибаются, переплетаются. Холмы! Окленд стоит на холмах. Дома в этом городе не считаются с чинами и званиями. Великолепные небоскребы демонстрируют все изыски современной архитектуры по соседству с патриархальными трех-четырёхэтажными особнячками начала века. Прямо перед нами величественные отель и банк будто держат под руки скромный пансион на 12 комнат. Чуть подальше дома, точно дети, наступают друг другу на пятки. Большие заглядывают на улицу через голову маленьких, маленькие бочком протискиваются поближе к тротуару. И никто никого не обижает, все добродушно посмеиваются. Вон показался карапуз в пояске из красных балкончиков. К нему прижался крепыш повыше с фасадом, усыпанным веснушками рыжих цветов. Рядом стоит пара щеголей-великанов. Один

из желтого стекла, другой из синего. Шею сломаешь, верхних этажей все равно не увидишь. Зато увидишь небо, изменчивое новозеландское небо, то голубое, то перламутровое, то серое, то золотистое. Как много здесь света, воздуха даже во время дождя!

Дождь снова идет. Хорошо бы позавтракать или уже заодно пообедать — время летит. На улице много азиатских лиц. Ресторанчиков и кафе тоже больше всего азиатских. Вошли в китайскую забегаловку. За несколькими столиками сидят люди в мокрых плащах и пальто, на каждом столе чуть дымится жаровня. Тепла от нее немного, но тлеющие угли мерцают так призывно, что устоять невозможно. Еда очень дешевая и вкусная: кусочки мяса с рисом и овощами, политые нежным, душистым соусом.

И снова улица, и снова дождь. Зашли в Центр искусств, где расположены библиотека, театр, кинотеатр и выставочный зал. Центр удивил непривычным соседством современных зданий с традиционными маорийскими постройками, богато украшенными резьбой, и гигантскими человеческими фигурами из раскрашенного дерева. Все непривычно в этом городе, даже вездесущий «Макдональдс», куда мы заглянули из чистого любопытства. Просторный зал с высоким потолком, много зеркал, столики отгорожены друг от друга невысокими нарядными перегородками, кадками с цветами — планировка, противоречащая американскому принципу: главное — практичность, остальное потом.

В двухэтажном экскурсионном автобусе, до которого мы добрались в середине дня, пассажиров оказалось немного, на второй этаж поднялись только мы. Автобус неторопливо ехал вдоль берега океана. Ах, как он красив в Окленде! Плавный овал бухты, вереницы парусных яхт и невдалеке цепочка гористых островков, облепленных домами. Всю эту широкую панораму то освещает яркое солнце, то пронизывают нити дождя, то заволакивает белая пелена тумана, и переливы перламутрового неба сливаются на горизонте с перламутровой гладью океана. Не миновали мы, конечно, зоопарка. Но здесь нас постигла неудача. Прославленная киви, любимца Новой Зеландии, спала во мраке своей благоустроенной клетки и не пожелаала нам представиться. В Роторуа мы ее все-таки увидели. Длинные тонкие ножки, длинный тонкий клюв и два грязно-коричневых

шарика: маленький — головка, большой — все остальное. Нескладное это создание не водится нигде, кроме Новой Зеландии, чем и объясняется пылкая любовь к этой странной птице в Ао-Теа-Роа. Банки, парикмахерские, рестораны, магазины — все подряд называют здесь ее именем.

В гостиницу возвращались пешком. На одной из уютных маленьких улочек я засмотрелась на экзотические вывески: «Клеопатра», «Эвридика». Увы, никакой экзотики. Массажные салоны. На дверях мелким шрифтом дополнительная информация: «Приходите к нам. Вас встретят очаровательные девушки с шелковистой кожей. Принимаем без предварительной записи. Великолепное обслуживание по доступным ценам». Вот тебе и Ао-Теа-Роа. Как грубо вторгается в сказку бесцеремонный двадцатый век. Как много одиноких женщин сидят в кафе в Окленде. Я шла по улицам и заглядывала в широкие окна. Молодые и не очень молодые, они сидят иногда с книжкой за чашкой кофе, иногда просто с папиросой. Но даже это невеселое зрелище не разрушает впечатления благополучия и процветания города. В Окленде живет полтора миллиона человек. При том, что во всей Новой Зеландии — около четырех миллионов, это много. Тем не менее в городе чисто, всюду, где только можно, разбиты клумбы, растут деревья, нет ни нищих, ни бездомных, как в Бостоне и Нью-Йорке. Общительный таксист, который вез нас из аэропорта в гостиницу, рассказывал о Новой Зеландии с гордостью: «Мы не австралийцы, мы другие. Нашу страну заселяли фермеры. Мы ведем свой род от фермеров, а австралийцы от воров и мошенников. В семидесятые годы у нас было плохо с экономикой. Выбрали дельное правительство, все наладили, теперь опять хорошо. Вы кто, откуда? — спросил он Акиву. — Профессор? Из России? У нас хорошие школы, институты, своих профессоров хватает. Иммигрантов из России немного. Здесь нужны люди, которые умеют что-то делать руками. Японцы, китайцы, корейцы приезжают. Работают тяжело, на грязной работе. Копят деньги, потом открывают свой бизнес». Я не очень внимательно слушала рассуждения нашего первого гида в Новой Зеландии. Меня больше занимало изменчивое небо, деревья с огромными кронами высоко в небе, яркие цветы на земле и знакомый утренний город, умытый дождем.

Вечером, когда мы добрались, наконец, до нашего неуютного номера, больше всего хотелось выпить чашку горячего чая, сбросить мокрую обувь и забраться в постель. Электрический чайник, пакетики с чаем, кофе, сахаром — все на месте. Прекрасно. Вставляю трехногую вилку в трехдырчатую розетку, непривычно, конечно, но ведь и чайник в номере тоже непривычен. Увы, чайник не греется. Это привычно. Эмиграция развивает пытливость ума. Начиная жизнь заново, смиряешься с необходимостью каждый день учиться простейшим вещам. Зачем, например, на розетке красная пупочка? Что если нажать? Загорелась. Уже что-то. Но чайник все равно не греется. Так, на штепселе, оказывается, тоже есть красная пупочка. Нажимаю. Загорелась. Ура, чайник начал согреваться! Первый день в Новой Зеландии окончился победой. Я поставила будильник на шесть утра, и мы блаженно заснули. В Роторуа выехали точно по расписанию. Когда больше четырех часов смотришь на Новую Зеландию из окна автобуса, кажется, что вся страна — это пастбище, разгороженное невысокими зелеными изгородями. Редкие деревья защищены от скота деревянной оградой. Черно-белые коровы и белые овцы медленно бредут по зеленой траве и прилежно жуют, не поднимая морд. Ни одна овца, ни одна корова не уклоняется от выполнения своих обязанностей. Поразительно добросовестный и трудолюбивый скот. Пастухов нет и в помине. Людей вообще не видно. В Новой Зеландии численность овец во много раз превышает численность людей. Идиллия.

Редкие купы деревьев, холмы, долины — все кругом зелено, кроме овец, коров и серой ленты дороги. Автобус мчит со скоростью 95 км в час. Мелькают удивительные названия остановок, где водитель изредка открывает дверь одному-двум пассажирам или просто снижает скорость: Палакуре, Пупекохе, Рамарама и для разнообразия Бомбей.

Ресторанчик у дороги. Полчаса на ланч. Хозяйка ресторанички и водитель автобуса, видимо, старые друзья. Они усаживаются за столик в уголке, что-то обсуждают, смеются. В Новой Зеландии малоллюдно, может быть, поэтому кажется, что здесь все друг друга знают. Пассажиры быстро разбирают тарелки с аппетитной горячей едой, выставленной на небольшом прилавке. Кое-как справляемся с

этой задачей и мы, единственные туристы в автобусе. Июль — разгар новозеландской зимы, туристский сезон начнется нескоро.

Но вот над землей сначала вдалеке, потом все ближе справа и слева появились клубы пара. Автобус идет уже по улицам с невысокими двух-трехэтажными домами. Четыре с половиной часа пролетели, как минута. Мы в Роторуа на автобусной станции.

Туристский центр, естественно, находится тут же. Красивое деревянное здание в маорийском стиле украшено резьбой, в холле высятся раскрашенные фигуры древних маорийских воинов. В рабочем помещении — царство компьютеров. Четкие указатели разделяют небольшой поток посетителей на тонкие ручейки: гостиницы оформляют у одной стойки, билеты в театр у другой, экскурсии у третьей, но у каждой стойки можно оформить все, что нужно, в любой комбинации. Потратив минут пятнадцать, мы получили комнату в гостинице, билеты на экскурсию, которая начиналась через час, и договорились, что экскурсионный автобус заедет за нами в гостиницу.

Странно, но весь этот бесконечный день — все три бесконечных дня в Новой Зеландии — не хотелось ни спать, ни есть, ни передохнуть. Только смотреть. К сожалению, начало первой экскурсии в Роторуа оказалось неудачным. Институт искусства и ремесел маори, куда нас привезли, — учреждение, наверное, очень нужное и полезное. Здесь изучают прошлое маори и охраняют их настоящее во имя будущего, как написано в проспекте института. Посетителям показывают подлинные старинные предметы быта, долбленные лодки, в которых когда-то плавали маори, их дома, деревянную скульптуру. Но экспонатов немного, и они не очень интересны. Чтобы сохранить искусство маорийских ремесленников, в институте работают школы плетения корзин и одежды, резьбы по дереву, камню и кости. Все, что вырезают, выпиливают и плетут маори на глазах посетителей, можно тут же в институте купить. Не знаю, угнетает ли учеников и мастеров маори жизнь напоказ, меня этот спектакль не обрадовал. В самой идее коммерческого этнографического театра есть, по-моему, что-то унизительное.

Красивые, черноволосые, с правильными чертами лица маори отличаются от новозеландцев лишь невысоким ростом и смуглой

кожей. Наверное поэтому в Новой Зеландии много смешанных браков и, в отличие от австралийских аборигенов, маори включены в жизнь страны. В институте много экскурсоводов маори. Один из них почему-то подошел ко мне. «Меня зовут Стив, — сказал он. — Я школьный учитель. Давайте поздороваемся по-нашему», — предложил он и, не дожидаясь ответа, потерся носом о мой нос. Школьный учитель был в брюках и в свитере, а мне на мгновение показалось, что на нем плетеная юбочка и ожерелье из перьев, какие носили герои сказок.

От института до долины горячих источников с грозным названием «Врата ада» мы ехали минут 20. Мы — это три молодые девушки, симпатичный веселый парень-экскурсовод, Акива и я. Автобус остановился у традиционной маорийской арки, украшенной резьбой — два деревянных столба, на них две доски «домиком». В маленьком кафе рядом с аркой нам раздали бесполезные, как я легкомысленно решила, карты-схемы и предложили, что было весьма полезно, по чашке кофе. И вот мы стоим у врат ада. «Только не сходите с тропы. Это очень опасно!» — в сотый раз повторяет экскурсовод и возвращается в автобус. Девушки уже ушли. Мы одни.

Клубы пара над голой серой землей, серые стремительно бегущие облака, пахнет сероводородом. Мироздание в первые дни творения. Впереди кипит и клокочет серое озеро. Рядом низенький столбик с табличкой: «Ванна Дьявола. Температура +95°C, глубина 6 метров». Невдалеке высится стена ярко-зеленого тропического леса, здесь по обеим сторонам тропы лишь кое-где растет мох, лишайник, стелются чахлые, едва живые кусты. Тут и там сереют глыбы застывшей лавы, между ними бурлят грязевые лужи. Одна из них очень точно повторяет контуры Австралии и называется «Карта Австралии». Шумит водопад, окутанный клубами пара, — единственный горячий водопад в южном полушарии. Температура не очень высокая: +38°C. Рядом глухо рокочет чрево узкой расселины, извергая пары серы и горячие комья грязи, взлетающие высоко в воздух. «Осторожно! «Глотка дьявола». Грязь долетает до тропы!» — заботливо предупреждает очередная табличка.

И вдруг посреди мрачного царства смерти возникает, как мирраж, островок жизни: речушка, зеленая трава, деревья. По траве

невозмутимо расхаживают фазаны и голуби, павлины и петухи с курами. Создала этот оазис речка — единственный в долине источник холодной воды. Тепло, оказывается, может сеять смерть, а холод дарить жизнь. Иногда.

Но островок невелик. Снова пахнет сероводородом. Все кругом опять мертво, только духи огня ведут свой нескончаемый танец под неотвердевшей корой земли и время от времени извергают наружу то облако горячего пара, то месиво серой грязи.

Духи огня появились здесь давно. Их привели в Роторуа сестры Нгаторо. Нгаторо бросил свой дом и отправился на юг. Он дошел до бескрайнего плоскогорья и сел отдохнуть. В эту минуту облака рассеялись, и перед его глазами предстала во всем своем грозном величии гора Тонгариро. Красота горы поразила Нгаторо, она зажгла в его сердце страстное желание взойти на ее вершину, еще не покоренную человеком. Долго шел он по плоскогорью вместе со своими спутниками, пока не приблизился к тому месту, где земля вздымалась к небу. «Оставайтесь здесь», — сказал Нгаторо провожатым. — Я поднимусь на вершину горы. Не знаю, вернусь я или нет, но, если хотите, чтобы я остался жив, не прикасайтесь к пище, пока мы снова не будем вместе».

Нгаторо быстро миновал зеленые заросли, где громко распевали птицы, и вышел на безмолвный склон горы, покрытый нескончаемой пеленой белого снега. Крутой подъем и глубокий снег заставили Нгаторо замедлить шаг. У него ооченели руки и ноги, замерзло лицо. Ледяные пальцы холода все сильнее сжимали его тело. Но остроконечная вершина была уже рядом. Собрав последние силы, Нгаторо сделал несколько шагов и упал лицом в снег.

Далеко внизу, в теплой зеленой долине томились голодные провожатые. «Нгаторо, наверное, погиб», — сказал один. — Долго же нам придется его дожидаться. Но голод не ждет. Давайте поедим». Искоса поглядывая на гору, они зажгли костры и приготовили пищу. Как только они начали есть, холод вонзил ледяные когти в сердце Нгаторо. Чувствуя, что его настигает смерть, он крикнул: «Сестры, несите огни! Скорее, я погибаю!»

Далеко, далеко на берегу Гавайи сестры услышали голос Нгаторо. Они призвали духов огня, бросились в море и поплыли на

помощь брату. Они плыли очень быстро, но в озере Роторуа им пришлось вынырнуть, чтобы набрать воздух, и в соседних озерах тоже. Вот почему, говорят старики, боги огня до сих пор тешатся игрой глубоко под землей вокруг Роторуа. Вот почему кипит здесь земля и бьют горячие источники.

С быстротой молнии пронеслись духи огня сквозь огромную пирамиду Тонгариро и вырвались наружу на самой вершине, где лежал полумертвый Нгаторо. Могучий подземный жар согрел его, теплая кровь заструилась по жилам, руки и ноги вновь обрели силы. Нгаторо спустился вниз живым и невредимым. С тех пор пляшут в кратере вулкана Тонгариро языки пламени, окрашивая в красный цвет вершину могучей белоснежной горы.

Мы не видели Тонгариро, хотя этот красивый вулкан находится недалеко от Роторуа. Не успели. Следующая остановка автобуса — маорийская деревня. Невысокий зеленый пригорок. На пригорке деревенские избы. Бледно-голубое небо с редкими облаками, одно-два дерева тут и там. Какой чародей перенес нас в Подмоскovie? Правда, почти перед каждой избой стоит хорошая машина, кругом очень чисто, не видно ни мусора, ни домиков знакомой архитектуры. И избы то и дело накидывают белые газовые платочки. Газовые в прямом смысле: ветер играет облачками пара. Воздух пропитан запахом сероводорода, на горизонте белеют снежные горы. Нет, о Подмоскovie здесь можно только грезить. Но грезы быстро тают в клубах пара, так как мы подошли к серной купальне, устроенной тут же в деревне, благо, горячие источники бьют здесь из-под земли чуть не на каждом шагу. На стене рядом с открытым бассейном надпись: «Только для владельцев. Просим туристов ноги в купальню не опускать». Какой стремительный спуск с облаков на землю!

Большинство маорийцев, живущих в этой деревне, работает в Роторуа. Но едва наша небольшая группа — в деревне к нам присоединилось еще несколько человек — остановилась около купальни, как в беседке по соседству появилась темнолицая пожилая чета с объемистой корзиной, прикрытой белой салфеткой. Горячая кукуруза! Мужчина берет деньги, женщина протягивает дымящийся початок в белом бумажном пакетице и две маленькие пластиковые коробочки: одну с маслом, другую с солью. Быстро. Чисто. Краси-

во. В жизни не видела, чтобы торговля кукурузой была организована на таком высоком санитарно-эстетическом уровне. Да здравствуют маорийцы!

На закуску в этот день было рыбное кафе в Роторуа, где за очень скромную плату нам предложили блюдо под названием «Корзина рыбака». Оно состояло из кусочков свежайшей рыбы самых разных сортов и таяло во рту. Мы, правда, целый день ничего не ели, но я думаю, что и на сытый желудок оно показалось бы царским угощением.

Третий, последний день в Новой Зеландии. Семь часов утра. Привычный звонок будильника. Душ. Быстро убираем в чемоданы все, что не понадобится днем, и спускаемся на первый этаж в уютную столовую, где за несколькими столиками уже завтракает человек десять. Наша гостиница — это небольшой частный дом, где пожилые муж и жена устроили несколько комнат для гостей, когда разъехались взрослые дети. Они все делают сами, но современная деловитость не мешает им сохранять старомодную приветливость. Увидев нас, улыбающаяся хозяйка, в красивой юбке и нарядной блузке, мгновенно приносит что-то горячее и вкусное, будто на кухне у нее расстелена скатерть-самобранка. Хозяин, ловко двигаясь между столиками, разливает прекрасный кофе, обмениваясь парой слов то с одним гостем, то с другим. Как только мы кончаем завтрак, он же помогает вынести на улицу два наших чемодана, и точно в назначенное время мы садимся в подъехавший к дому автобус.

Дорога полого поднимается вверх. Горы и леса, леса и горы. Поднялись не так уж высоко: всего на 500 метров над уровнем моря. Но отсюда хорошо видна огромная заросшая травой и кустарником впадина. Это самый большой в мире кратер вулкана, потухшего в 1904 году. Выходим из автобуса, спускаемся по тропе в извилистый каньон, идем вдоль реки с горячей водой и выходим к небольшому озеру. Крутые скалистые берега, серебристая вода, крошечный причал, у причала белый катер. Нарисованный? Заколдованный? Тишина. Безлюдье. Небо в серых облаках.

В автобусе по дороге к кратеру вулкана участники экскурсии заказали ланч из предложенного меню, на катере получили картонные коробки с приколотыми бланками своих заказов. Пластиковые стаканы, термосы с горячим чаем и кофе стояли на столике около

капитанской рубки. Откуда все это взялось? С ковра-самолета упало? Волшебник-невидимка принес?

Катер объезжает озеро. На открытой палубе ветрено, но уходить в каюту не хочется. Скалы, бухты, песчаные пляжи. За прибрежной полосой стена леса. По воде бегут тени облаков, то брызнет дождь, то блеснет солнце. Стоять и смотреть. Вбирать в себя эту тишину глазами, ртом, ушами. Смотреть на серебристые блики в воде, в небе, в воздухе. Стоять и смотреть. Запомнить, унести с собой, спрятать, сберечь это озеро.

Катер сделал круг. Выходим. Дорога идет круто вверх, слегка изгибаясь среди огромных могучих деревьев. Вокруг чащоба леса, с дороги не сойти. Перевал. Красивый вид на два озера: одно позади, другое перед нами. Каменистая тропа вниз и снова озеро. На этот раз бескрайнее. И снова у причала стоит катер. Хорошо плыть по серебристой воде. Хорошо жить, отдаваясь потоку воды, ветра. Полтора часа радости. Не хочется расставаться с озером, но вдали на отлогом берегу показались белые домики. Пристань. Выходим.

В 1886 году вблизи озера, по которому мы плыли, произошло извержение вулкана. Вулканический пепел и жидкая грязь толстым слоем покрыли все вокруг. От извержения пострадало семь маорийских деревень, 108 человек погибло, цветущая страна превратилась в пустыню. Но прошло время, земля снова зазеленела и ожила. И только гейзеры и горячая река на дне каньона напоминают, что духи огня до сих пор веселятся в подземном царстве.

Одну из погребенных под пеплом деревень отрыли и превратили в музей под открытым небом. Вернее, не в музей, а в туристский объект с кафе, магазином сувениров и прочими благами цивилизации, что умертвило деревню теперь уже навсегда. Даже обнаруженная рядом пещера, где сохранились наскальные рисунки — едва заметные, доступные пониманию, видимо, только специалистов, — даже эта пещера на территории музея кажется запылившимся экспонатом, а не чудом уцелевшим отблеском далекого прошлого.

Но вблизи деревни есть водопад. И он полон жизни. Мощный, поток синеватой воды в белых клочьях пены низвергается с высоты 83 метров. Рядом с водопадом в тропическом лесу пробита тропа.

Вниз, вниз, вниз вместе с водой сами бегут ноги, скользя по влажной глине и мокрым каменным ступеням. Водопад скрыт за деревьями. Только грохот, гул и треск говорят, что он рядом. Вдруг резкий поворот тропы, площадка с перилами, и брызги воды летят в лицо — вот он, бело-синий красавец. Смотришь вверх — кружится голова. Смотришь вниз — захватывает дух. А ноги уже бегут к следующей площадке над бурлящей водой, потом к следующей — бег воды властно задает темп, не покориться ему невозможно. Внизу через поток перекинут деревянный мост. Перед мостом — водопад во всем великолепии, за мостом — стремительная горная река.

По другую сторону водопада проложена тропа вверх к автобусам. Кроны деревьев сомкнулись, тяжелый зеленый полог закрыл небо. Кап, кап, кап, застучал дождь по зеленой крыше. Душно. Густой влажный воздух застревает в горле. Ноги останавливаются, дыхание тоже. Рев водопада все слабее, в просветах зелени показалось небо. Пришли.

Автобус мчится по шоссе прочь от вулканов, холмов и озер. За окном зеленая равнина, вдаль маячит лес. Вот он уже рядом. И что за лес! Роща секвойи. Как не запрокидываешь голову, верхушки деревьев едва видны. Ровными рядами стоят великаны с красноватыми стволами, еще не очень толстыми, потому что великаны молодцы — им лет по восемьдесят. Младенцами их привезли из Калифорнии, и они прекрасно прижились на новой родине. В лесу полумрак, землю устилают бурые иголки, пахнет хвоей, поют птицы — гулять бы в этом лесу и гулять. Увы, экскурсия неумолимо приближается к концу. Двадцать минут езды по шоссе — и мы в Роторуа.

Последняя достопримечательность в этот нескончаемый день: приземистый дом, похожий на цилиндр с вмятинами и выступами. Сильно пахнет сероводородом. Это серные бани, они тоже — слава Роторуа. После целого дня безлюдья суета вокруг ошеломляет. Все куда-то спешат, где-то раздеваются, куда-то кладут одежду. Стою в этом водовороте и ничего не понимаю. Ноги подкашиваются от усталости, в голове туман. Бассейнов несколько: в помещении, под открытым небом, с горячей водой, с теплой. Выбираю бассейн с теплой водой в помещении — благоразумие слабости. С трудом

нахожу шкафчик для одежды, надеваю купальный костюм, вхожу в воду.

«...Упал он без кровиночки в лице и лежит бездыханный. Бросили его в живую воду, встал он на ноги, статный и красивый, с румянцем во всю щеку...»

Я вхожу в воду, плыву и чувствую, как оживают руки и ноги, уходит усталость, проясняется голова, радость вливается в душу. Я плыву в живой воде, она чуть клубится, и сквозь струи пара я вижу, что все вокруг улыбаются так же блаженно, как я.

От серных бань до автобусной станции доехали в мгновение ока. Чемоданы, с которыми мы расстались рано утром, какой-то чародей уже уложил в багажник автобуса, отходящего в Окленд. Полюбоваться Новой Зеландией на обратном пути из Роторуа не удалось: за окнами быстро стемнело. Обидно. Но сказки должны кончаться хорошо. Видимо, зная это, пожилой водитель, изрядно, наверное, уставший за пятичасовой рейс, довез нас до дверей гостиницы, что вовсе не входило в его обязанности. Счастливые, пьяные от всего увиденного, мы поднялись в номер. Я сказала: «Спасибо, Новая Зеландия!» И поставила будильник на пять часов утра.

В Новой Зеландии — это ли не чудо! — была.
Во живой воде плыла.
По горам, по лесам ходила.
Рыбку ела.
Мед, пиво пила,
По глазам текло,
Да и в рот попало.

Но на этом сказка не кончилась. 22 декабря 1995 года в газете «Новое русское слово» появилось короткое сообщение о том, что королева Великобритании Елизавета II во время недавней поездки по Новой Зеландии посетила Институт искусств и ремесел маори в городе Роторуа. На снимке она и ее супруг запечатлены в традиционных маорийских накидках из перьев киви. Теперь все.

Часть II. Быль

Половина седьмого утра. Зал ожидания международных рейсов в аэропорту города Окленда переполнен. Тревога. Всех просят перейти в другое помещение. В аэропорт подложена бомба. Горят табло: «Тревога. Все рейсы откладываются до особого распоряжения». Поиски бомбы оказались безрезультатными. С опозданием на два часа наш самолет прилетел в Мельбурн, где два часа ждали нас в аэропорту Диана и Джон Гарраты. Джон — высокий худощавый брюнет с седеющей бородкой и шевелюрой ежиком. Диана — стройная маленькая блондинка с нежным бело-розовым лицом.

Гарраты отвезли нас в мотель в один из пригородов Мельбурна со знакомым названием «Брайтон». Облетев полмира, мы, как ни странно, снова оказались в Брайтоне, только не дома, а в мотеле. Огромная восьмиугольная комната, такая большая, что хоть въезжай в нее на машине, удивила обилием мебели: 12 стульев, три стола, две широченные кровати с тумбочками, диван, пара кресел, холодильник, что-то еще. Но удивлялась недолго, жалко было времени.

Мы прилетели в Мельбурн на симпозиум в честь восьмидесятилетия Билла Пристли, основателя школы атмосферной турбулентности в Австралии. Симпозиум располагал довольно скромными средствами, и Джон Гаррат, организатор этого праздника, должен был расхоронить деньги осмотрительно. Насколько я могу судить, осмотрительность и продуманность — характерные черты австралийской деловой жизни. Но умение избегать лишних затрат не умаляет гостеприимства австралийцев, это лишь еще одна грань их организаторского таланта и, видимо, дополнительный источник их щедрости. Во всяком случае, они оплатили все дорожные и прочие расходы, включая авиабилеты из США в Австралию и обратно и перелеты внутри страны, не только интересовавшего их А.М.Яглома, но и его жену.

Первые дни мы жили в мотеле, так как Диана была занята на работе. Как только она освободилась, Гарраты перевезли нас к себе. Второй половиной нашего пребывания в Мельбурне занимался профессор Мельбурнского университета Перри. Он позаботился о том, чтобы нам дали дешевую комнату в университетском общежитии, и он же встретил нас в аэропорту, когда мы вернулись в Мельбурн из Аделаиды, причем не один, а с пятнадцатилетним сыном, так как

Гаррат предупредил его о нашем тяжелом чемодане. Просить своих аспирантов или младших сотрудников таскать чемоданы гостей в Австралии, как и всюду на Западе, считается неприличным.

В Сиднее, где нам нужно было переночевать, нас пригласил к себе профессор Билджер. Он привез нас из аэропорта в университет к началу семинара, в котором Акива принял участие, потом к себе домой и рано утром отвез на автобусную станцию, где посадил в экскурсионный автобус. Хорошо понимая ситуацию, проф. Билджер попросил водителя высадить нас вечером рядом с вокзалом, так как мы в тот же день уезжали в Кернс, и водитель не забыл о его просьбе. В Ньюкасле нас опекал профессор Дэвид Биссет. В последний день он приехал в гостиницу со своей трехлетней дочерью, так как ребенка не с кем было оставить, и вместе с ней отвез нас в аэропорт.

Все это делалось немолодыми людьми спокойно, деловито, без стонов и жалоб на занятость, при том что работают австралийские профессора очень много и жизнь у них совсем непростая. Мы провели в Австралии 25 дней, побывав за это время в Мельбурне, Аделаиде, Канберре, Сиднее, Ньюкасле и Кернсе. Все встречи и проводы в аэропортах, посещения университетов, лекции и семинары были организованы австралийцами, и хотя переезды и перелеты происходили каждые три-четыре дня, ни одна накладка не нарушила сложного расписания этой поездки.

Что такое Австралия? Что такое большое, обычно зеленое пятно в нижнем правом углу карты? Ответ ясен: край света. Задворки мира. Кенгуру, аборигены, каторжники... что там еще? Ах да, английская королева. С этим я приехала. Австралия — один из перекрестков современного мира, сложная развязка, где сходится множество дорог и культур, молодая страна, полная сил и надежд на будущее. С этим уехала.

Мельбурн небогат достопримечательностями: университет, центр города со старым вокзалом, современным оперным театром и сердитой рекой Яррой, коричневой из-за смывы с холмов глины, да еще молодая торговая улица Свенстон — вот, наверное, и все. Жилые кварталы и пригороды застроены такими же, как в Бостоне, коттеджами с аккуратными садами. Даже основанный в прошлом веке поселок Сент-Килда, давно ставший пригородом Мельбурна,

ничем не выделяется среди своих собратьев, хотя расположен на берегу океана. Наверное, потому, что в Сент-Килде набережная — это просто тротуар на берегу океана, а океан — просто волны насколько хватает глаз. Без прошлого. То куцее прошлое, которое когда-то существовало здесь как настоящее, ничем не связано с сегодняшним городом. Поэтому в Мельбурне на берегу океана глаза радуются, а душа молчит. В Ницце на набережной останавливается сердце, душат слезы. В Сент-Килде с сердцем все в порядке, глаза слезятся только от сильного ветра.

Мы гуляли по центру города в воскресный день и удивлялись непривычному многолюдью. На набережной Ярры в плотном кольце зрителей выступали цирковые артисты. Перед оперным театром стояла толпа людей. Здание театра примечательно обилием позолоты внутри и башней на крыше снаружи. На башню заброшена декоративная рыболовная сеть из-за чего она кажется карикатурой на Эйфелеву. Но архитектурные причуды не мешают выдающимся певцам со всего света выступать в этом театре, славящимся великолепной акустикой.

На улице Свенстон много людей и в будни, и в праздники. Магазины на все вкусы и возможности, огромный крытый рынок, банки, рестораны и кафе, общественные бани, небоскребы, с которыми успешно соперничают шпили соборов, дома прошлого века, ультрасовременное здание с цветными трубами на фасаде, похожее на детский рисунок парижского Центра Помпиду, кованые железные скамейки с узорными спинками на остановках смешного старомодного трамвая — редко где увидишь такое смешение вкусов, стилей и обычаев. В мельбурнский трамвай входят в середине вагона. Напротив входа стоит что-то вроде кафедры. В трамвае, в котором я ехала, на кафедре восседал довольно полный бородатый мужчина в пиджаке и белой рубашке с галстуком. Я думала, он расскажет что-то интересное, но он вежливо предложил мне купить билет.

Кирпичные здания Мельбурнского университета увиты плющом. В зеленых двориках растут эвкалипты и магнолии, усыпанные большими красными цветами. Много студентов в примелькавшейся одежде: джинсы, свитера, куртки — где парень, где девушка, не разберешь. Но от многообразия лиц рябит в глазах: белые, желтые, смуглые, ост-

роносые, широконосые, скуластые, круглые... Перри пригласил нас на ланч в профессорскую столовую. В зале, куда мы вошли, было много людей. Одни, пользуясь свободной минутой, оживленно разговаривали друг с другом, другие просматривали газеты, журналы.

«Смотри, вон видишь, абориген?» — тихонько сказала я Акиве, но Перри уже заметил нас и пригласил к столу, где сидело несколько человек, и в том числе абориген. На столе стояла обычная еда: отварное мясо, овощи, пирог со шпинатом, салат из морковки и т. д. Мужчины вели научные разговоры, а я разглядывала аборигена. Ну и тип: короткие черные волосы торчат во все стороны, большой лоб вдвинут в череп вместе с переносицей, узкие глаза-щелки едва видны под нависшими бровями, посреди измятых щек задран ноздрями вверх нос-картошка, под ним растянуты в улыбке толстые губы. «Ты с ума сошла, — шепнул мне Акива, воспользовавшись паузой в разговоре, — это профессор Чонг, китаец из Малазии».

Кроме австралийца Перри, китайца Чонга и нас с Акивой за столом сидели американец Брайан, хорват Марусич и молодой филиппинец. Это обыкновенная Австралия.

В общежитии мельбурнского университета дверь нашей комнаты вместе с тремя другими выходила в небольшой холл. В соседней с нами комнате жил японец, рядом с японцем — аспирант из Мельбурна, напротив — скрипач из Москвы Игорь. Это тоже обыкновенная Австралия. «Страна мне нравится, — сказал Игорь, встретившись с нами в холле, — много фруктов, овощей, всего много, только на скрипке никто не умеет играть. Вот приехал на шесть месяцев их учить». Игорь говорил с нескрываемым чувством превосходства, обычным для многих, недавно приехавших в Австралию.

Но те, кто живут в Австралии дольше, разговаривают иначе. Вечером, в день ланча с Чонгом, Перри пригласил нескольких своих коллег в ресторан. Перед рестораном все зашли в пивной бар рядом с университетом. Небольшая комната в полуподвале. В середине нарядная стойка. В одном углу студенты сдвинули столики, бросили на пол рюкзаки и громко что-то обсуждают, потягивая пиво из кружек, похожих на большие рюмки без ножек. В другом углу наклонился над кружкой пива старик с газетой. На нашем столе тоже стоят кружки, мы ждем Розу, которая должна вот-вот подье-

хоть на своем микроавтобусе и отвезти всех в ресторан. В Мельбурне принято вечером после лекций зайти в бар и выпить пива, даже если предстоит обед дома или в ресторане. Бар — это общедоступный клуб. Университет облеплен пивными барами, большими и маленькими, и по вечерам они обычно не пустуют.

Роза, наконец, приезжает. В бар входит высокая полная женщина в красивом длинном жакете и длинной юбке. Несмотря на полноту, она кажется стройной и легкой. У нее прямые светлые волосы, молодое свежее лицо, сияющие глаза и ярко накрашенные губы. После неперенной кружки пива все рассаживаются в микроавтобусе, Роза занимает шоферское место, и через десять минут мы входим в итальянский ресторан со странным названием «Ключ на стене». Еще одна странность этого итальянского ресторана — полное отсутствие чего бы то ни было итальянского в меню и обстановке. Большая, тесно заставленная столами комната, накрывает на стол и убирает посуду толстый старик в несвежей ковбойке и брюках на подтяжках. Но комната никого не интересует. За столом все радуются вкусной еде и дружелюбной беседе ни о чем — радуются отдыху после напряженного рабочего дня.

Я сижу рядом с Розой. С ней легко и интересно разговаривать. О замечательной книге «Дикие лебеди» китайки Джанг Чэнг, которую мы обе только что прочли, о музыке, которую слушали я в Бостоне, она в Мельбурне. Роза рассказала, что родилась в Англии, в Австралию приехала 20 лет назад молодой девушкой. «Понимаете, — сказала она, — в Англии жить, наверное, легче, но если хочешь что-то сделать, начать какое-то новое дело, лучше уехать в Австралию. Здесь просторнее, люди не так скованны обычаями и традициями. Сначала было очень трудно, сейчас я стою на ногах. У меня своя мастерская. Мы делаем театральные костюмы. Работа интересная, заказов хватает, у меня много планов». Я спросила, легко ли совмещать работу с семейной жизнью. Роза рассмеялась: «Конечно, трудно, но мне повезло: я уже 18 лет замужем, потому что мой муж любит готовить и прекрасно это делает». Я поинтересовалась, кто же ее муж. Роза посмотрела на меня с недоумением и сказала: «Вот он, сидит рядом со мной». С другой стороны рядом с Розой сидел профессор Чонг. И это тоже обыкновенная Австралия.

По закону падающего бутерброда туфли, в которых я приехала, развалились в первый же день. Но сапожную мастерскую в мельбурнском Брайтоне я нашла без труда. Щуплый мужчина в длинном фартуке долго вертел туфли в руках. Грузная женщина рядом с ним напряженно вслушивалась в мои объяснения: «Приехала ненадолго... много хожу... хорошо бы починить сразу»... — «Послушайте, вы, часом, по-русски не говорите?» — спросила вдруг женщина. Туфли мне починили быстро. Починили великолепно и рассказали много интересного. На мой вопрос, откуда они приехали, сапожник ответил не сразу. «Да мы с Украины... из маленького города... вы, наверное, не знаете. Кривой Рог, слышали?»

Они приехали шесть лет назад. За это время купили дом, открыли свою мастерскую, где муж чинит обувь, а жена ремонтирует сумки, вставляет молнии, чинит застёжки и все, что придется. Взрослые дети учатся. В Австралию на постоянное жительство можно приехать или к близким родственникам или на учебу, если докажешь, что хорошо учился там, где жил прежде, и избранная специальность интересует страну. «Наши дети хотели учиться, мы приехали с ними, — сказал сапожник, — а к нам через неделю последний, двадцать третий родственник приезжает. Всех вытащили».

В Мельбурне много русских, здесь есть свой Брайтон Бич, выходят три газеты на русском языке. Попасть в Австралию непросто, но условия жизни благоприятствуют эмигрантам. Все, проживающие в стране на законном основании, получают пособие, если по каким-то причинам не могут работать или если получают стипендию ниже прожиточного уровня. Пособие автоматически подтягивается к среднему прожиточному уровню в случае инфляции и увеличивается при рождении ребенка, а также при переходе ребенка из одной возрастной группы в другую. Нищих и бездомных в Австралии нет. Говорят, что эмигранты из России уже научились получать пособие обманным путем, и многие предпочитают не работать, а загорать на пляже.

В удобных целых туфлях я с удовольствием поехала на прогулку с миссис Уэбб. Правда, ходить нам почти не пришлось, большую часть времени я разглядывала окрестности Мельбурна из окна машины. Австралия красивая страна. Равнины, холмы, горы — здесь

все крупно, броско, много простора, разнообразия. Но деревня Олинда, куда любят ездить отдыхать и развлекаться жители Мельбурна и куда, именно поэтому, привезла меня миссис Уэбб, показалась мне еще одним неинтересным пригородом. Приятные магазинчики с разнообразными сувенирами, симпатичные маленькие кафе, домики с садиками — все вместе это напоминает художественно оформленный торговый центр под открытым небом, где люди служат, а не живут нормальной человеческой жизнью.

На обратном пути мы ненадолго зашли домой к миссис Уэбб. Переступив порог, я остановилась. Дом-покойник. Давно я не видела такого запустения. Двери не закрываются, потолки в потеках, на полу истертые ковры. Комнаты загромождены реликвиями прожитой жизни, среди них есть красивые вещи, но под слоем пыли их трудно разглядеть. Миссис Уэбб, наверное, лет 60. У нее огрубевшие руки, светлые с сединой волосы стянуты на затылке резинкой. Прическа «конский хвост» не идет ее поблекшему лицу, но у нее живые глаза и открытая радостная улыбка. Трое взрослых детей давно оставили дом. Двое живут в Австралии, старший сын женился на японке и уехал в Токио. Муж продолжает работать, а сама миссис Уэбб увлекается живописью. Во всех комнатах висят ее работы. Вместе с другими любителями она ездит на этюды, бывает за границей, устраивает выставки. Живопись — это ее жизнь. А дом... Дом — покойник.

Вечером в тот же день я снова встретилась с миссис Уэбб в нарядной столовой Гарратов. В каждой комнате большого ухоженного дома Гарратов есть что-то интересное: одна-две картины, статуэтка, ваза, необычно отделанный дверной проем. Эти сюрпризы создают стиль комнаты и стиль дома. Диана юрист, работает три дня в неделю. «Могла бы работать больше, но не хочу. Жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее в конторе, — говорила Диана, когда мы гуляли с ней по берегу океана. — Детей у меня нет. Первый муж умер рано, от рака. За Джона я вышла, когда заводить детей было уже поздно. Дети Джона от первого брака живут в Англии. Младшая часто приезжает и гостит у нас. Я с ней прекрасно лажу». Диана рассказывала о своей жизни просто, сдержанно, со спокойствием человека, уверенного, что он хозяин своей судьбы: «Джон скоро уйдет на пенсию, будем радоваться жизни: слушать хорошую музыку, путешествовать».

На обед, кроме Уэббов и нас с Акивой, Гарраты пригласили еще нескольких друзей. За столом много говорили об Австралии. Австралийцы считают себя гражданами мира. Они обижены тем, что Австралия исключена из круга интересов Европы и Америки. Их тревожит, что богатая малонаселенная Австралия живет в окружении бедных азиатских стран с огромным населением, и они справедливо считают, что эта проблема касается всего человеческого сообщества, а не только Австралии.

Говорили, конечно, и о личных радостях и заботах. Миссис Уэбб рассказала, что в семье ее старшего сына, женатого на японке, ждут ребенка, и она собирается в Токио. О поездке в Японию миссис Уэбб говорила, как мы когда-то о поездке в Ленинград. Так живут австралийские женщины. Вариантов много, непривычная для нас степень свободы производит большое впечатление.

Миссис Бильджер, например, увлекается керамикой. Весь подвал ее дома в Сиднее занимает гончарная мастерская. Дети Бильджеров живут уже самостоятельно, есть внуки, за которыми миссис Билджер помогает ухаживать, но большую часть времени она проводит у гончарного станка и печи для обжига.

Жена известного австралийского ученого Филиппа — художница и архитектор. На торжественном заседании, посвященном восьмидесятилетию Пристли, самого Пристли не было. Но на сцене стоял большой, очень выразительный его портрет, нарисованный миссис Филипп. Филиппы живут в Канберре. Их дом, построенный по проекту миссис Филипп, стоит на высоком холме. После шоссе-серпантина уже в саду перед домом дорога все еще идет круто вверх. Зато когда стоишь на террасе и видишь вокруг зеленый лес и синее небо с белыми облаками, кажется, что их дом — корабль, плывущий в воздушном океане.

Место это выбрала миссис Филипп. Она же разбила сад и устроила оранжерею в виде вращающегося стеклянного цилиндра с полками внутри, уставленными горшками с рассадой. Одно из чудес ее сада — бутылочное дерево. Голый зеленоватый ствол этого австралийского красавца, внизу очень толстый, плавно сужается кверху и действительно напоминает гигантскую бутылку.

В доме-корабле Филиппов много света и воздуха, что не мешает

ему быть уютным, может быть, прежде всего благодаря развешенным на стенах картинам хозяйки дома. Вместе с несколькими друзьями Филиппов нас пригласили в этот дом на завтрак. В столовой, вытянутой вдоль стеклянной стены и отделенной от кухни только шкафом с посудой, собралось человек восемь. За стеклом раскачивались на ветру зеленые верхушки деревьев. На толстоногом деревянном столе без скатерти стояла плетеная корзинка с горячими пышками, которые собственноручно напек Джон Филипп, и глиняная миска со свежайшим сливочным маслом. Гости усердно намазывали пышки толстым слоем масла, хозяин дома разливал великолепный кофе в глиняные обливные кружки. После завтрака миссис Филипп устроила экскурсию по дому и саду. Разговор перескакивал с живописи на науку, много говорили о Билле Пристли.

Джон Гаррат возил Акиву к Биллу Пристли. На портрете миссис Филипп он похож на молодого Эрнбурга: умные насмешливые глаза, длинный нос, прядь взъерошенных волос на лбу. Дома жена вывела к нам высокого худого старика с непослушными руками и ногами. Минутами казалось, что он слышит и понимает, о чем с ним говорят, но в середине фразы его глаза вдруг тускнели, губы растягивались в бессмысленной улыбке и замечательный ученый, интересный человек превращался в седого несмышленного ребенка. Страшное зрелище. Очень жаль его жену, с тактом и достоинством выполняющую тяжкую работу смотрительницы памятника.

Что-то Диана приготовила к праздничному обеду сама, что-то в знак уважения к хозяйке принесли гости. Все было очень красиво, вкусно и просто. Обеды, завтраки, ланчи, а их было много в Австралии, отличались, как правило, именно этими тремя свойствами: красотой без вычурности, заботой о желудке без излишеств, простотой замысла и исполнения. Украшали такие трапезы хорошие вина, как ни странно, главным образом австралийские.

Австралия — винодельческая страна, что было для меня открытием. Австралийские вина высоко ценятся дома и широко экспортируются. На австралийских равнинах виноградники тянутся на многие километры. Они содержатся в идеальном порядке. Невысокие кусты, аккуратно подвязанные к деревянным колышкам с поперечной планкой, кажутся человечками с раскинутыми руками. Когда

стоишь на холме и смотришь на эту несметную рать, на купы деревьев тут и там, на высокое небо над головой и горы далеко на горизонте, когда воочию видишь этот простор и размах, начинаешь яснее представлять себе, что такое Австралия и австралийцы.

Австралийские виноградники изрезаны великолепными дорогами, на перекрестках которых часто стоит большая винная бочка или рекламный щит, оповещающий путников, что в соседнем винном погребе рады видеть гостей. Правда, русское слово «погребок» решительно не подходит для этих заведений, так как все они находятся на земле, а не под землей. Практичные австралийцы приспособливают для них любое подходящее и неподходящее помещение. Покосившаяся от времени деревянная церковь, новенький небольшой ангар, отслужившая срок мельница, заброшенный каменный сарай — все годится. На стенах погребков висят дипломы и награды владельца, которому принадлежат обычно и погребок, и соседние виноградники.

Любители и ценители вина приезжают сюда ради удовольствия, ради компании. Дегустация бесплатная. Можно выпить рюмку одного вина, другого, третьего. Расчет хозяев прост: что-то понравится, одну-две бутылки купят, тем более, что вино в погребках стоит дешевле, чем в магазинах. За стойками стоят обычно женщины. Тем не менее никаких заигрываний, вольностей никто себе не позволяет и пьяных в погребках не встретишь. Смех, шутки — обстановка дружелюбная, непринужденная, но без тени фамильярности.

Каждый погребок по-своему старается привлечь посетителей. В одном устроен музей винного дела. Стоят старые давяльные прессы, громоздкие машины, вставлявшие когда-то пробки в бутылки, клеившие ярлыки. В другом живописно расставлены бочки, горками сложены бутылки с местными винами. Почти всюду на стенах висят фотографии основателей дела, больше похожих, обычно, на разбойников, чем на виноградарей. К небольшому уютному залу с железной печкой вроде буржуйки иногда примыкает ресторанчик или магазин, где продают изделия ремесленников: вазы, посуду, журнальные столики из корневищ, пней. Все они красивы и оригинальны, но стоят дорого и плохо вписываются в современные квартиры, по современной жизни. В такие магазинчики ходят как в музеи, покупают здесь редко. Ремесленное искусство в Австралии умирает.

А ресторанчики при погребках процветают. В одном из них мы перекусывали с профессором Аделаидского университета Сэмом Лакстоном и его женой. В небольшой комнате за тремя-четырьмя столиками сидело человек двенадцать. В меню, кроме обычного набора овощных, мясных и рыбных блюд, значились омары и шашлык из кенгурятины. Вино посетители брали сами: спускались в подвал и выбирали бутылку по вкусу. Все остальное быстро и ловко подавала высокая стройная женщина, успевавшая еще и убирать посуду. Светлые волосы почти до плеч, большой ярко накрашенный рот, красивые глаза — латышка из Риги. Когда мы прощались, она рассказала, что живет в Австралии уже двадцать лет, замужем, двое детей, свой дом, но работа в ресторане ей по душе. «Люблю, когда кругом люди, все улыбаются, все довольны», — говорила она, стоя с тяжелым подносом в руках. Официантка латышка, кенгурятина и местное вино — такой вот набор австралийских достопримечательностей встретился нам недалеко от Аделаиды.

Сама Аделаида — плоский квадрат, расчерченный прямыми улицами. Чуть не вплотную к домам подступают невысокие лесистые холмы, где хорошо гулять зимой и летом. В городе много церквей. «Аделаида — город церквей и пивных баров», — сказал Сэм Лакстон. На центральных улицах стоят памятники участникам двух мировых войн. Художественной ценности они не представляют, но придают городу некоторую солидность. Тем более, что прошлое более далекое, чем Первая мировая война, в Австралии как бы не существует. Вернее, вспоминать о нем не принято ввиду его непочтенности. Кроме церквей, баров и памятников в Аделаиде еще бросаются в глаза специальные магазины для женщин старше восемнадцати лет, куда усиленно приглашают женщин с мужчинами, и заведения, где делают татуировку.

Но главная достопримечательность Аделаиды, не считая хорошего университета, — это казино и множество залов с игральными автоматами. В залах под ревущую, грохочущую музыку молодые парни и девушки с упоением стреляют, за кем-то гонятся, что-то куда-то бросают — автоматов много, они все разные, это целый мир, чужой и устрашающий. В казино тихо. Ковры и портьеры приглушают шаги и голоса. В комнатах, залах, около рулетки и автоматов

толпятся древние старушки, энергичные молодые мужчины, уставшие женщины, семейные пары всех возрастов и обликов. Кажется, что эти люди глубоко равнодушны к деньгам. С каменными лицами они бросают их, как мусор. Но бросают снова и снова по многу часов, дней, лет. И этот благопристойный безмолвный мир подавляет еще сильнее, чем оглушительный мир игровых автоматов.

Столица Австралии Канберра — тоже город, построенный по линейке. Но в отличие от Аделаиды Канберра — один из образцов градостроительного искусства. Ее создал талантливый чикагский архитектор Уолтер Берли Гриффин, проект которого получил первую премию на международном конкурсе, организованном правительством Австралии в 1912 году. Строительство началось через несколько лет, но, как ни считай, Канберра — город-младенец. Сколько, однако, энергии у этого ребенка, какая уверенность в себе, широта.

Главные здания Канберры — Парламент, Верховный суд, Национальная галерея, Национальная библиотека, Военный мемориал — расположены по берегам искусственного озера Берли Гриффина, где устроен мощный фонтан в честь Кука. Все они построены с размахом, хорошо вписаны в ландшафт и отвечают своему назначению.

Четыре крыла здания парламента объединяет высокий флагшток. Его четыре длинные металлические «ноги» опираются на крышу каждого крыла, сходясь над центром здания и возносят национальный флаг Австралии высоко в небо. Очень эффектно снаружи и внутри здание Верховного суда с оригинальным фасадом из стекла. На черных гранитных стенах мемориала выбиты имена и фамилии павших воинов. В щелях между плитами алеют цветы. Стены будто сочатся кровью. Вечный огонь горит в бассейне из черного гранита, наполненном водой. На дне множество монет, их бросают посетители.

Рядом с озером расположен посольский квартал. Здесь на небольшом расстоянии друг от друга в окружении экзотических цветов и деревьев стоят здания посольств 60 стран мира, построенные каждое в своем национальном стиле. Посольский квартал замечателен своей архитектурой. Но и вся Канберра — интересная архитектурная выставка. Прямые широкие улицы, в конце улиц видны горы. Между домами, удивляющими разнообразием форм и использован-

ного материала, сохранены участки леса, вписанные в улицы и площади. Все вместе это красиво и удобно.

В центре города угол двух деловых улиц занимает необычное сооружение — церковь всех конфессий. При строительстве этой церкви были использованы, кажется, все мыслимые формы и объемы. Но полушария, цилиндры и кубы из розового мрамора гармонично сочетаются друг с другом и образуют стройный красивый ансамбль, воплощая в камне идею духовного единения. Таких архитектурных и не только архитектурных чудес в Канберре много.

На тихой улице позади широкой магистрали стоит черная мраморная пирамида со срезанным верхом и высоким православным крестом. На фасаде пирамиды укреплен медная доска с изображением босой женщины в платке, прижимающей к себе скелет ребенка. Под доской большая медная пластинка с надписью на украинском и английском языках: «Памятник семи миллионам человек, погибшим в 1932—1933 годах от искусственно созданного голода на Украине. Воздвигнут в 1983 году в пятидесятую годовщину голода на деньги, собранные украинской общиной Австралии и Новой Зеландии». В самом низу на постаменте есть еще одна доска, где на английском языке подробно рассказывается, как и почему был создан голод.

Рядом с памятником стоит небольшая часовня с белыми оштукатуренными стенами, украшенными мозаичными медальонами с изображениями Мазепы, Святого Андрея, других святых. Часовня построена в 1988 году в честь тысячелетия принятия христианства на Украине. В этом уголке Канберры не слышно машин, тишину нарушает только стрекот сорок и хриплые крики попугаев на высоких деревьях.

А на соседних улицах шумит современный деловой город — город, открытый миру, тесно связанный со всем миром. Афиши на улицах, калейдоскоп лиц, разноязыкая речь, множество объявлений о международных встречах и конференциях, рассказы австралийцев о поездках во все концы света — все это создает особый климат Канберры. Он ощущается в большом и малом.

Спросили дорогу у седого мужчины. Разговорились. Родители бежали от большевиков в Шанхай, в Австралию перебрались, когда ему было три года, Россией интересуется до сих пор. В малайском

ресторане при мотеле, где нас поселили, сказали молодому официанту, что нам нравится живописное оформление ресторана: свечи, национальные украшения, красные салфетки, свернутые рожками и вставленные в высокие бокалы. Официант рассказал, что приехал в Канберру из Вьетнама изучать туристское дело, в ресторане подрабатывает, чтобы иметь возможность учиться. В итальянском кафе при этом же мотеле нашей официанткой оказалась молодая женщина, кончившая факультет славистики в Канберрском университете, она бывала в России, хорошо говорит по-русски.

Очень украшает Канберру расположенный рядом с городом заповедник. Великолепный лес на холмах, поляны, где безбоязненно нежатся на солнце кенгуру, охотно подпускающие к себе людей, горы со снежными вершинами на горизонте — во всем чувствуется мощь, свежесть и молодость. Маршруты пешеходных прогулок разработаны на все вкусы, а лесники каждое утро отмечают квадраты леса, куда можно прийти и, запрокинув голову, полюбоваться коалами, лениво и грациозно поедающими листья того единственного вида эвкалиптов, который спасает их от голодной смерти.

После деловой Канберры красочный бурлящий Сидней ошеломляет. Извилистые бухты, диковинные береговые скалы, длинные песчаные пляжи, выглаженные высокими волнами с белыми гривами, разнородных улиц, карабкающихся по холмам, — на террасе предпоследнего этажа Сиднейского университета, откуда я впервые увидела город, мне показалось, что перелет Канберра-Сидней продолжается. Это чувство полета сохраняется в Сиднее, и когда любишь пестрыми кварталами города из окна автобуса, и когда стоишь в порту, с изумлением глядя на множество кораблей у причалов, и когда плывешь на катере и неотрывно смотришь на причудливо изрезанный берег, застроенный как попало разнотильными домами. Недаром символ Сиднея — необычное здание оперного театра, построенное из бетона, стекла и керамических плиток. Оно стоит на мысу и благодаря белым «парусам» высотой в пятнадцатизэтажный дом кажется летящим по воде. Это грандиозное сооружение с тремя залами построено в 1973 году по проекту датского архитектора Йорна Утзона, что, наверное, неслучайно в Австралии — стране, открытой всем ветрам мира.

В Сиднее ветры мира — часть жизни города. Во время ланча на

катере «Капитан Кук» нашими соседями за столом оказались две женщины из Хьюстона. «Вы из Хьюстона? А мы из Бостона! Вот так удача — земляки». В Австралии, конечно, земляки. Ланч на туристском катере — еще одна достопримечательность. Несколько столов, уставленных... Можно не перечислять. Все на свете от устриц до арбузов, бери, что хочешь, ешь, сколько хочешь. Чай в Сиднейском университете был просто чаем, к крошечным печеньицам почти никто не притронулся. Но и чай — тоже австралийская достопримечательность: за низким столом в небольшой комнате сидели уроженец Новой Зеландии профессор Бил Билджер, двое молодых ученых из США, двое чернокожих студентов, студенты из Ирана, Германии и Ливана, аспирант из Харькова и мы с Акивой. Австралия — страна, открытая всем ветрам мира.

Ветер непринужденно гуляет по Сиднею, люди спешат по своим делам, голубые туристские автобусы лавируют среди машин. Проезжаем ресторан «Герой Ватерлоо», таверну «Губернатор», бар «Дубы». Минуем высокие башни небоскребов в центре города, улицы, забитые транспортом и людьми, и останавливаемся в большом парке со старинным — по австралийским понятиям — замком, построенным в прошлом веке каким-то разбогатевшим чудаком. Зеленые лужайки, красивые деревья — все как полагается. Недалеко от парка в квартале Паддингтон живут художники. Это отдельный маленький город в городе Сиднее. По обеим сторонам узких улиц с редкими прохожими вплотную друг к другу стоят желтые, розовые, белые дома в два-три этажа с одним окном на фасаде и крошечными ажурными балкончиками. Здесь царство художественных магазинов, галерей, салонов, о чем оповещают вывески чуть не на каждом доме. Здесь же находится музей памяти евреев, погибших во время Второй мировой войны. И снова пестрый кипучий Сидней. Он живет своей торопливой жизнью и не обращает внимания на привычные голубые автобусы, из окон которых его разглядывают туристы.

В тихом, ничем не примечательном Ньюкасле туристов не видно. Небольшой город прилепился к низкому прозаическому берегу океана, лишь кое-где украшенному скалами. За городом равнина: поля, великолепные дороги, виноградники с винными погребками. Это сельская Австралия, страна трех «П»: простор, процветание,

покой. Простор и процветание явственны, а покой обманчив. Покой только дымка. Ньюкасл тоже город, открытый миру, связанный с миром тысячами видимых и невидимых нитей.

Одну из них я видела своими глазами. По равнине довольно быстро двигался товарный состав из белых цистерн длиной, наверное, в километр. В ответ на вопрос, что везут в этих цистернах, я услышала: «Каменный уголь». Да, оберегая природу, каменный уголь перевозят в Австралии в наглухо закрытых цистернах. Везут его в ньюкаслский порт, где стоят суда многих стран. Кроме вина, Австралия экспортирует газ, золото, уран, алюминий и каменный уголь, залегающий близко к поверхности, что делает его дешевым и конкурентоспособным. В прозаическом ньюкаслском порту кипит жизнь. В самом Ньюкасле много перерабатывающих заводов, но промышленная зона отделена от города, где процветает индустрия комфорта и удовольствий.

Один из объектов этой индустрии — гостиница «Ноев ковчег». Она построена так близко к воде, что, когда начинается прилив, страшно стоять у окна: океанские волны, кажется, вот-вот ворвутся в номер. Гостиница дорогая, в просторном номере этой многоэтажной коробки из стекла и бетона все удобно и по-казенному красиво. Большой гостиничный ресторан полон даже в будни. В восемь часов утра, в разгар завтрака, трудно найти свободный столик. Обилие еды, ее разнообразие и качество поразительны: фрукты свежие, фрукты консервированные, мясо, яйца, сыры, соки... Но едят торопливо и немного — в Ньюкасле в гостинице останавливаются деловые люди.

Вечером деловые люди позволяют себе отдохнуть. В зале шумно и весело. Утром в ресторане самообслуживание. Вечером развлекает гостей и принимает заказы пожилой метрдотель с балетной выправкой и зоркими глазами. На стол подает молодая официантка в красивой белой блузке, элегантно черном жакете, длинной черной юбке с разрезом на боку, в черных чулках и изящных черных туфлях. Она работает быстро, четко и очаровательно улыбается. Класс обслуживания соответствует классу гостиницы.

В семь часов утра эта же официантка в розовом спортивном костюме и красных перчатках делает на пляже китайскую зарядку. На строительстве соседнего восьмиэтажного дома кипит работа. В

океане человек 15 прыгают по волнам на досках, на набережной трусцой бегают любители бега, по влажному песку шагают любители ходьбы. Утро красит нежным светом древние скалы около «Ноева ковчега», а весь Ньюкасл просыпается, видимо, с рассветом.

Но и вечером в конце рабочего дня в местном бюро путешествий много людей. В большой комнате за десятком компьютеров в красивых форменных платьях сидят красивые, приветливые девушки. Стены комнаты увешаны красочными плакатами, приглашающими побывать в Гималаях, на Аляске, в Южной Африке, в Сингапуре. У любого окошечка можно получить билеты во все концы мира, заказать любую экскурсию с любым необходимым оборудованием. Желающих хватает, и приветливые девушки напряженно работают. Происходит все это в небольшом промышленном городе Ньюкасле на краю света.

Ньюкасл, правда, не только промышленный город. Здесь есть хороший университет с широкими международными связями. Профессор этого университета Боб Антония, пригласивший Акиву в Ньюкасл, в августе читал лекции в Канаде. Опекал нас по его просьбе проф. Дэвид Биссетт, австралиец, женатый на китайке. В университетской столовой «Морской конек» на ланче после Акивиной лекции за столом сидели Дэвид Биссетт, молодой полуфранцуз-полуалжирец из Марселя, приехавший в Австралию с женой французкой, и ученый из Сингапура, женатый на американке. К чаю подошли китаец и индус. Так как я не принимала участия в обсуждении прошедшей лекции и связанных с ней научных вопросов, я смотрела на сидевших рядом со мной людей и задавала себе другие вопросы. Может быть, Австралия, лишенная прошлого, это и есть прообраз будущего? Может быть, эта страна-перекресток и есть та колба, в которой создается новая модель мира? Может быть, именно здесь, где живут вместе столько представителей разных цивилизаций, возникнет новое сообщество людей, способных отказаться от насилия? Ибо что, кроме терпимости и уважения к инакодумующим и инакововеряющим, спасет жизнь на планете Земля?

На следующий день рано утром Дэвид Биссетт вместе с трехлетней дочкой заехал за нами в гостиницу и отвез на аэродром. На смешном маленьком самолетике мы долетели до Сиднея, пересели

на другой самолет и прилетели в Керис — другую, развлекательно-туристскую Австралию.

Керис — курортный город на берегу Тихого океана. Его слава связана с близостью Большого барьерного рифа. В самом городе нет, кажется, ничего, кроме экскурсионных бюро, отелей, банков и ресторанов — маленьких, больших и очень больших. Все службы работают безупречно. Завтрак приносят в номер в точно назначенное время, автобус подъезжает к гостинице минута в минуту. Платишь, получаешь — отлаженность этого механизма производит большое впечатление, так же как уважение к деньгам.

Среди дешевых кафе на набережной в первый же вечер нас привлекла вывеска: «Зал международной кухни. Готовим национальные блюда по лицензиям. Приносить спиртные напитки строго воспрещается. Приличная одежда обязательна». В этом заведении по сторонам просторной прямоугольной комнаты в небольших кухнях-нишах готовят свои национальные блюда японцы, корейцы, китайцы, тайцы, греки, итальянцы и кто-то еще. Подходишь к прилавку со свежей горячей едой, кладешь, что понравилось, на пластиковую тарелку, платишь хозяйке и садишься за столик тут же в комнате или на набережной. В тот вечер я по ошибке вместо одной тарелки взяла две. Хозяйка вежливо попросила одну вернуть. Цена тарелки грош, но и грош — деньги.

В городе много птиц. Вдоль набережной гуляют пеликаны. Один из них долго смотрел на Акиву, разинув внушительный клюв. Акива с радостью его разглядывал. Но пеликан ждал угощения, и когда терпение его иссякло, решительно перешел в наступление. Застигнутый врасплох, Акива оборонялся зонтиком. Зрелище было забавное.

Очень интересна местная 75-километровая ветка железной дороги от Кернса до Куранды. Ее строили пять лет: с 1886 по 1891 год. Чтобы проложить рельсы от берега океана до высокогорной Куранды, рабочим, в руках которых были только кирки, лопаты и динамит, пришлось пробить 15 тоннелей и построить несколько мостов через горные реки. Во всех проспектах рассказывается, как тяжело им жилось из-за нерегулярного подвоза продуктов, затяжных дождей, многочисленных обвалов и оползней, и непременно сообщается, что во время этого строительства погиб один человек, задавленный сруб-

ленным деревом. Увы, тем, кто прожил большую часть жизни в СССР, трудно читать это трагическое повествование без улыбки.

Дорога на Куранду удивительно живописна. Она все время идет вверх по ущелью, иногда такому узкому, что ветви деревьев касаются крыш вагонов. Но иногда горы отступают, дорога изгибается дугой и открывается широкий вид на долины и холмы внизу. В таких местах поезд останавливается, пассажиры выходят из вагонов и любуется необычным зрелищем.

Куранда, когда-то небольшой горный поселок, где жили рудокопы и старатели, давно превратилась в международный туристский центр. Здесь есть театр аборигенов, любопытный музей «Мир бабочек», красочный рынок, где продают красивые изделия из дерева, кожи, кораллов и опалов, и, конечно, множество кафе и ресторанчиков. Но, может быть, самое интересное в Куранде — это возможность походить по настоящему тропическому лесу, куда туристов привозят на автопоезде, составленном из нескольких открытых вагончиков.

В лесу деревья растут так тесно, что не позволяют сойти с узенькой тропки. Высокие стволы опутаны лианами, на ветвях сидят удивительные птицы с удивительными голосами. Под плотной зеленой шапкой темно, солнце только слегка золотит макушки не похожих друг на друга пальм, о которых рассказывает проводник, он же водитель автопоезда. На небольшой полянке среди непроходимой чащи стоит деревянный дом и устроен навес, под которым туристов угощают чаем.

В театре аборигенов выступает профессиональная труппа танцоров, разыгрывающая под фонограмму спектакль из прежней жизни аборигенов. Мужчины танцуют в тонком трико от горла до пяток, раскраска которого имитирует татуировку. Танцы очень выразительны, особенно хороши сценки охоты, где одни танцоры изображают охотников, а другие страусов, кенгуру, журавлей. Но представление оставляет неприятный осадок. Все танцоры — аборигены, демонстрация старинных обрядов в театре — все-таки некая профанация. Особенно покорила финал спектакля, когда на сцене прозвучала вполне «советская» песня: «Мы — аборигены, вы — белые. Мы учимся у вас, вы учитесь у нас. Все вместе мы будем жить счастливо. Мы гордимся тем, что мы аборигены».

Большой барьерный риф, ради которого мы приехали в Керис, посмотреть как следует не удалось. Не повезло с погодой. Но поездка на риф — все равно подарок судьбы. Встали в четверть седьмого, в половине восьмого уже подъезжали к пристани, где нас ждала цепочка рук и улыбок. «Ваши путевки, пожалуйста. — Улыбка. — Вам сюда». — «Ваши путевки»... И так до трапа двухэтажного катера «Большие приключения».

На верхней палубе было ветрено, но океанский простор и высокие волны дарили такую радость, что мы сидели как замороженные. Вода то серая, то зеленая превращалась вдруг в расплавленное серебро, когда из-за туч выглядывало солнце, соленые брызги кололи щеки и хотелось только одного: плыть и плыть. Правда, не всем. Многие страдали от морской болезни и матросы — мужчины в белоснежных рубашках и шортах, женщины в таких же рубашках и коротеньких юбочках, — надев пластиковые перчатки, ловко подавали и убирали мешочки, поддерживая на катере стерильную чистоту.

На небольшом понтонном острове, где высадились 300 пассажиров катера, в безупречном порядке лежали разложенные по размерам ласты и маски с трубками. Тех, кто имел справки об окончании курсов подводного плавания, ждали специальные костюмы, кислородные баллоны и ловкие инструкторы, помогавшие им одеваться. Впервые в жизни я надела маску, ласты, зажала во рту трубку и сошла в воду. Увидев в первый же миг поразительное подводное царство, я от неожиданности открыла рот. Трубка выскользнула, высокая волна накрыла с головой. Какое-то время я барахталась в воде, потом начала задыхаться и сдалась. Акива оказался не многим удачливее меня. Широкие окна в бортах понтона позволяли увидеть рифы, но мутная из-за волнения вода скрывала красоту этого удивительного мира.

На том же катере нас привезли на Зеленый остров, где мы должны были пересечь на маленькие катера с прозрачным дном и около двух часов плавать над рифами. Из-за плохой погоды эта экскурсия, увы, не состоялась. Мы гуляли по красивому, действительно зеленому острову, купались в Тихом океане, разглядывали гигантских крокодилов и черепах в террариуме и экспонаты тут же устроенной выставки искусства Меланезии. Своеобразная деревянная скульптура, резьба по дереву, фигуры людей и животных, сплетенные из

сухой травы — все было очень интересно, и хотя присутствие живых крокодилов не помогало восприятию искусства, уходить не хотелось.

В Кернс катер привез нас уже вечером. Мы погуляли по набережной, съели в кафе какое-то вкусное тайское блюдо и попрощались с Австралией. На следующий день в четверть шестого утра к гостинице подъехало такси. Некоторое время мы в растерянности метались по безлюдному вестибюлю, так как не могли открыть запертые на ночь двери, но опытный шофер проник в гостиницу через боковой вход, и мы приехали в аэропорт вовремя. На этом наша австралийская эпопея благополучно завершилась.

ДНЕВНИК 5 сентября. Проснулась от внутреннего толчка. Посмотрела на часы — восемь, закрыла глаза. Вчера днем переписала для книги письмо в Москву о поездке в Австралию и Новую Зеландию. Неожиданно для себя справилась без Акивы с файлами, дискетками. Потратила много сил, времени, нервов, но справилась. Очередная победа первоклассницы, но все-таки победа. Как давно это было — Новая Зеландия... Австралия... Бегут и бегут годы. Ни понять, ни принять...

... Просто жизнь,
И кисть винограда,
И под кожицей свежий сок —
А потом ничего не надо
В самой дальней из всех дорог...

Потом ничего не надо, но пока надо. Вчера вечером готовилась к занятиям с Нямой. Французская революция — трудная тема. Слишком большая, очень важная. Просматривала свои записи, заново составила конспект первых разделов. В голове все время стучало: понадобится мой конспект? Продолжатся занятия? Как втиснуть их в Нямино расписание? В мое? К занятиям слевой подготовилась раньше. С семилетним Левым и с греками — подошли к персидским войнам — проще, чем с четырнадцатилетней Нямой и Великой французской революцией.

Сегодня утром после восьми, наверное, задремала. Когда снова открыла глаза, было без нескольких минут девять. Встала рывком. Скорее. Не думать, не собираться. Зажать себя в кулак. Душ, завтрак потом. В сумочке все на месте: ключи, книга Майи Туровской «Памяти текущего мгновенья» — может быть, придется ждать, в машине злосчастная ручка переключения передач повернулась сегодня на удивление легко. В мастерской рядом с домом машину предложили оставить на неделю. На бензоколонке тут же посмотрели, обещали починить за несколько часов.

Машину оставила, домой шла пешком. Солнце, синее небо, холодный ветер — шла с удовольствием. До сих пор — спасибо Альпам! — легко хожу, легко дышу. От радости кулак разжался, пошла медленнее. В голове закрутился клубок тревог.

Сколько еще продержится машина, сколько я смогу ее водить? Сможем мы каждый месяц платить тысячу долларов за квартиру? Будет у нас медицинская страховка? Куда деться от разрухи старости? Падает слух, слабеет память, плохо сгибаются пальцы на правой руке...

Дома, пока завтракала, набросала несколько фраз. Набросала на «оборотике». В Москве никогда не писала черновиков на чистой бумаге, только на обратной стороне черновиков Акивы. Есть у меня теперь компьютер, и бумагу можно не экономить, но «оборотики» все равно храню. Люблю брать их в руки, писать на них. «Оборотки» — частица прошлой жизни, не могу с ними расстаться.

Сегодня все сияет. А вчера был гнетущий день. Тусклое небо лежало чуть не на крышах домов. Просидела несколько часов за компьютером, вышла на улицу передохнуть. Вокруг все было серым: дома, цветы, дети. Изредка налетал ветер, с неба падало несколько тяжелых капель, и снова все замирало, как перед грозой. Но гроза так и не разразилась.

Если не считать грозой последние известия из России. Взрыв на рынке в Рязани, есть убитые и раненые. Взрыв в Петербурге. Сердце остановилось: Акива в Петербурге. Не сразу поняла, что обошлось без жертв. Год со дня трагедии в дагестанском городе Буйнакске. Черная мраморная доска с именами погибших при взрыве жилого дома. Идут и идут люди, останавливаются перед черной дос-

кой, плачут, уходят. Достаточно, наверное, для одной передачи. Долго ходила из угла в угол по пустой квартире.

Но в Бостоне ТВ не единственный источник российских новостей. Позвонил Эма Мандель, дополнил передачу. Бессмысленная ложь в официальных сообщениях о гибели подводной лодки «Курск» — столкнулась с неведомой подводной лодкой, например, — поразила даже выдавших виды российских граждан. После пожара на Останкинской телебашне появился новый анекдот. Разговор двух москвичей: «Знаешь, отчего загорелась Останкинская башня? Нет? Точно установлено: столкнулась с другой башней».

НЕ НАПИСАННЫЕ РАССКАЗЫ

День рождения

Завтра 15 ноября — Юлин день рождения. Юле исполняется... Ноябрь 1995 года, Юле исполняется 34 года. 34 года тому назад в ночь с 14-го на 15-е мне приснился странный сон. Иду в Черемушках по нашей тогда безымянной улице в квартале 21А. Иду под гору в широком темно-синем пальто без шапки. Отчетливо себя вижу: толстая, живот до носа, в руках круглая буханка черного хлеба. «Орловский» он тогда назывался. Буханка тяжелая. Я боюсь ее уронить, прижимаю к животу и роняю. И тут же просыпаюсь.

За завтраком рассказала сон Марусе. «Ты сегодня родишь», — сказала она и ушла в кухню мыть посуду. Я посмеялась про себя, а через несколько часов начались схватки. Акива отвез меня в Институт акушерства и гинекологии, где с небольшими перерывами я пролежала почти всю беременность. Врач сказал, что роды нескоро. Акива уехал и пошел смотреть знаменитый тогда американский фильм «Двенадцать рассерженных мужчин». Я долго лежала в предродилке у самой двери. На койке в углу истошно кричала женщина, время от времени к ней подходили сестры, врач. Юля родилась в 4.25 утра. Ей было года три, когда я при ней кому-то рассказала, что она родилась ночью. «Ой, мамочка, я тебя не разбудила?» — спросила Юлька.

Рожала я тяжело. Врач, молодая женщина, перепуганная гиб-

лью ребенка у роженицы, измученной в предродилке, прочитала мою историю болезни и совсем потеряла голову. В крошечной палате прямо у моих ног стояли мальчишки-практиканты. Истерические окрики врача, мальчишки — мне все было безразлично.

Юлька родилась синяя, долго не кричала. Все, что происходило, я видела и слышала, будто сквозь сон. Из оцепенения вывел тяжелый озноб. Один из практикантов, присутствовавших при родах, раздобыл где-то еще одно одеяло и укрыл меня. Тогда я заплакала.

На следующий день, уже в палате, получила первую записку от Акивы. К ней была приложена телеграмма: «Дорогой Акива Моисеевич! Очередное занятие руководимого вами семинара было посвящено последнему событию: рождению вашей дочери. Все участники горячо...»

В палате лежало восемь женщин, всем носили детей, мне нет. Спросила, почему не приносят мою дочку. «Потому что она еще не решила, хочет она жить на этом свете или нет», — сказал детский врач. Снова бесчувствие. Лежала молча, никого ни о чем не спрашивала.

Потом... Потом Юля поступила на биофак МГУ, вышла замуж за Мишу, они уехали в США. В Бостоне Юля поступила в аспирантуру, родила второго ребенка, защитила диссертацию и... И завтра у нее день рождения. Ей исполняется 34 года.

Post scriptum. Неотвязное воспоминание. 19 октября 1995 года. Блаженный день. Тихий, солнечный. Поздно проснулась, после завтрака снова лежала. Наконец встала, пошла покупать цветы. Вечером наш семейный праздник: Няме исполнилось 10 лет. Иду, радуюсь солнцу, предстоящему вечеру. Вдруг провал... Москва, улица Вавилова, 18 октября 1985 года. Вечер, телефонный звонок. Напряженный прерывающийся Мишин голос: «Юня Самуиловна, Юлька не хочет ехать в родильный дом, возится на кухне». Звонки... звонки... звонки: я Юле, Миша мне, я врачу — с ней условились, что она будет принимать Юлины роды, — я снова Юле, Миша снова мне. Все, уехали в роддом.

Сию у телефона. В очередной раз глотаю болеутоляющее — у меня воспаление тройничного нерва, болит вся левая половина лица, челюсти. Двенадцать, час ночи, два, три... Звонок. Миша: «Юня

Самуиловна, Юлька родила дочку! Да, да, благополучно, обе в полном порядке».

Спать не хотелось. Еле дождалась утра. Обмотала лицо шерстяным платком, надела свое «рабочее» пальто, поехала на Черемушкинский рынок. Долго ходила по мясному ряду, выбирала телятину. Хотела сварить Юльке бульон и отнести в роддом. Наконец нашла подходящий кусок. Спрашиваю, сколько стоит. Продавец, пожилой мужчина, мнетя, оглядывает меня, наконец говорит: «Вам, хозяйка, дорого будет».

Купила, сварила, отвезла. На другой день вечером звонок. Юлька: «Мама, все в порядке! Чувствую себя хорошо, дочку видела, она... Ой, телефон около детской палаты. Сейчас туда под дверь мышка пробежала!»

Неизвестный Эйзенштейн

Небольшая прямоугольная комната в глубоком подвале — «Лавка читателя». Совсем недавно русские книги и журналы продавались в закуске русского продовольственного магазина над подвалом. Но Бостон стремительно русифицируется, и вот уже есть русский книжный магазин, он же клуб, где довольно часто выступают приезжие и здешние литераторы.

В небольшой комнате собралось человек сорок. Со стеллажей на нас смотрят знакомые книги и журналы: «Азбука», «Винни пух», «Бременские музыканты», «Новый мир», «Знамя», «Нева». В комнате тесно, стулья стоят вплотную друг к другу. Вячеслав Всеволодович Иванов в очередной раз приехал в Бостон из Лос-Анджелеса, где читает несколько курсов в университете. Мы пришли послушать его рассказ об Эйзенштейне.

Вяч. Вс. Иванов много занимался Эйзенштейном. Но две его большие книги о творчестве и личности Эйзенштейна до сих пор не опубликованы. Мешают киноведы — считают, что материалы, собранные Ивановым, разрушают сложившийся образ прославленного режиссера. У киноведов, наверное, есть для этого основания, тем интереснее предстоящий рассказ. В комнате напряженная тишина. Пытаюсь записывать, часто не успеваю.

Отец Сергея Эйзенштейна был главным архитектором Риги. Что-

бы получить эту должность, он крестился. Сергей Эйзенштейн ненавидел отца, считал его архитектурный стиль неинтересным, убогим. В юности он изучал математику и японский язык. Интерес к иероглифам, как к одному из способов образного выражения, сохранил на всю жизнь. Многие считают, что самое большое достижение Эйзенштейна — фильм о Павлике Морозове. Эйзенштейна увлекла тема богоборчества и неподчинения сына воле отца. В картине была незабываемая сцена разрушения церкви. По велению свыше фильм смыли. После «Броненосца Потемкина» Эйзенштейн был вознесен на вершину славы. Но признанный и прославленный, он оказался связанным по рукам и ногам. Ему ничего не давали делать.

Свою творческую жизнь Эйзенштейн начал в театре Мейерхольда. Яркий, талантливый человек и художник, он скоро стал слишком замечен, и Зинаида Райх не могла этого стерпеть. В один прекрасный день она передала Эйзенштейну записку: «Когда Всеволод Эмильевич достиг вашего уровня самовыражения, он ушел от Станиславского». Эйзенштейн ушел от Мейерхольда.

Какое-то время он работал в Первом рабочем театре пролеткульта. Здесь его помощником, а потом любовником стал Григорий Александров, будущий создатель известных фильмов «Веселые ребята», «Цирк» и других. В 1923 году Эйзенштейн поставил свой первый самостоятельный спектакль «Мудрец» по пьесе А.Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Дневник Глумова он показал как фильм. Этот спектакль можно считать дебютом Эйзенштейна в кинематографе. В 1925 году на экраны вышел «Броненосец Потемкин». В 1958 году на всемирной выставке в Брюсселе «Броненосец Потемкин» стоял первым в списке 12 лучших фильмов всех времен.

В СССР допускался лишь один вид искусства: национального по форме и социалистического по содержанию. Авангардист Эйзенштейн пытался создать другое искусство — ироническое по форме и трагическое по содержанию. Двусмысленность положения прославленного режиссера с чуждыми устремлениями предопределила его трагическую судьбу.

Снятый Эйзенштейном фильм «Октябрь» (1927 год) был переделан, так как Сталин счел, что в нем слишком велика роль Троцкого. Но и в переделанном виде на экраны не вышел. Ирония, скво-

жившая в фильме, была не в почете. Во время личной беседы со Сталиным, Эйзенштейн сказал, что увлечен «Капиталом» Маркса и хочет поставить на эту тему фильм в духе «Улисса» Джойса. Что он услышал в ответ, нетрудно себе представить.

Годы 1929—1932 Эйзенштейн провел во Франции, США и Мексике. Это было время Великой депрессии и найти финансовую поддержку Эйзенштейну не удалось. Фильм «Да здравствует Мексика!» остался незавершенным. Деньги кончились, когда Эйзенштейн приступил к монтажу, важнейшему для него этапу создания фильма. Он мучительно переживал срыв работы и решил вернуться в Советский Союз. Принять такое решение его вынудили не только финансовые неудачи. Эйзенштейна очень звал Александров, который потом бросил его и стал великим советским режиссером.

В Москве у Эйзенштейна был тесный кружок друзей: Выготский*, Лурия**, Марр***. Все они были увлечены изучением архаического сознания. Выготский умирал от чахотки. Лурия в глухих районах Узбекистана изучал мышление узбекских старцев. Ободованный подтверждением теории Выготского (архаическому сознанию не свойственно абстрактное мышление, иллюзии о будущем, например) Лурия послал умирающему другу телеграмму: «У узбеков нет иллюзий». Гром грянул незамедлительно. Лурия лишился работы. Эйзенштейну не разрешили прочесть в МГУ подготовленный им курс «Психология выразительности». Выготский умер.

Во время пребывания Эйзенштейна в США некий человек по почерку очень точно определил его характер и предсказал ему смерть в день пятидесятилетия. Эйзенштейн воспринял предсказание всерьез. Вяч. Вс. Иванов рассказал, что зимой 1948 года часто бывал в магазине «Академкнига» на ул. Горького, где дружил с приветливой продавщицей иностранного отдела, хорошо разбиравшейся в книгах. Однажды она сказала, что заходил Эйзенштейн, нашел интересующую его книгу, но покупать не стал. Сказал, что скоро его пятидеся-

тилетие и в этот день он умрет. Эйзенштейн умер в феврале 1948 года в день своего пятидесятилетия от разрыва сердца.

ЗАМЕТКИ ДЛЯ СЕБЯ

Праздничный вечер в честь семидесятилетия Эмы Мандела.
«Стихи» сочинились сами собой. Прочла ему одному.

В наши трудные времена она особенно нужна.
Нужна, как «Танька»*! Нужна, как водка!
Как поэзия и как селедка!
Совесть нужна позарез, душа и лира,
Что про малых сих не забыла.
Живи же долго, пиши же чаще,
Себе и нам, и детям на счастье.

Вечер не понравился из-за пошляка томады и одиночества Эмы за длинным пустым председательским столом. Людей было много, тепла мало.

Прочла «Триумф и трагедию Эразма Роттердамского» Стефана Цвейга. Удивительная книга. Прекрасно написана, прекрасно переведена Марком Харитоновым. Автор на уровне своего героя высотой духа, широтой взгляда и глубиной понимания. Нечастое совпадение.

«Laterna Magica» Бергмана («Иностранная литература», № 9—11, 1989) — большой пестрый клубок. Бергман, кажется, наугад вытаскивает то одну ниточку, то другую, клубок разматывается, и возникают картины его жизни. Разрозненные, пестрые, они складываются в единое полотно — *Laterna Magica*. Волшебный фонарь. Интересно.

Фильм Бергмана «Змеиные яйца». Пивной путч в Мюнхене. Бессмысленность и неправдоподобность происходящего. Естественная реакция нормальных людей: кретины, как-нибудь пронесет. Но мы знаем конец. Незабываемый кадр: жизнь героини рушится, рухнула. Она ест суп. Зачерпывает ложкой жидкую баланду, подносит ко рту

* Л.С. Выготский (1896—1934) — психолог, основатель одной из школ советской психологии.

** А.Р. Лурия (1902—1977) — психолог, один из основателей нейропсихологии.

*** Н.Я. Марр (1864/65—1934) — советский востоковед и лингвист.

* «Танька» — популярная в 50—60-е годы поэма Эмы Мандела о женщине, прошедшей через тюрьмы и лагеря ГУЛАГа и сохранившей веру в Сталина и коммунизм.

как эликсир жизни. Голодная ест с достоинством, ест по-человечески. А человеческая жизнь кончилась.

Накануне рассказывала Няме о Шекспире. Спросила, почему авторство Шекспира вызывало сомнения, а Пушкина — нет. Задумалась, потом сказала: «Потому что Пушкин написал «Памятник».

Читала Левке стишок про грозу с картинками: тучи, молнии. «А где гром? Покажи гром», — требовал Левка.

Новое Левино достижение. Марширует по комнате и в такт повторяет: «Погиб поэт, невольник чести. С яйцом в груди и жаждой мести».

ПИСЬМО В МОСКВУ (мужу сестры)

Лева дорогой, здравствуйте!

...Здесь сейчас много пишут о новом фильме «Никсон», поставленном по своему сценарию Оливером Стоуном. Враждебных рецензий больше, чем хвалебных, семья покойного президента публично выразила протест против умаления и искажения образа Никсона, неправильного изображения личных отношений Никсона с женой. Мне, тем не менее, хотелось этот фильм посмотреть.

«Никсон» идет сейчас рядом с нами. Вчера вечером я шла по нашей почти пустой улице и думала, сколько идиотов будет смотреть политический фильм в предновогоднюю субботу. Ближайший к нам кинотеатр «Круг» представляет собой довольно безобразный двухэтажный куб из стекла, где в нескольких залах идут разные фильмы. Сквозь прозрачные стены я уже издали увидела, что кинотеатр полон. Это меня насторожило, но прочитав, что идет, кроме «Никсона», я спокойно встала в очередь в кассу, купила билет для пожилых, который стоит заметно дешевле обычного — интересно, что никаких документов при этом не спрашивают, — и вошла в довольно большой зал. Вошла и оторопела. Зал был полон. Сидели даже в первых рядах, что здесь небывалая редкость. Места в кино не нумерованы. Оглядевшись, я нашла свободное место и увидела, что оно не единственное, но после меня пришло еще довольно много людей. Я пишу об этом, потому что часто слышу эмигрантские разго-

воры о некультурности американцев. Не так давно я в очередной раз посетила Ньютонскую библиотеку, где было полно народа, и снова вспомнила об этом приевшемся обвинении.

«Никсон» идет три часа. Все три часа я смотрела этот фильм с большим интересом, хотя понимала с трудом и многое для меня, конечно, пропало. Очень хорошо показана в фильме страна Америка. Просторы юга, севера, оба побережья, старая Америка, теперешняя. И люди этой страны: бедная семья в маленьком американском городке, где вырос Никсон, политические вожди. Киссинджер почти не сходит с экрана, много документальных кадров с Джоном Кеннеди. Хорошо сняты массовые митинги, шествия, политические собрания в Белом доме — фильм очень широкий по охвату событий, масштабность съемок поражает.

Великолепны камерные сцены с женой Никсона Пэт. История жизни этой первой леди исполнена настоящего трагизма. Она родилась в сельской глуши в очень бедной семье. Девочкой ухаживала за матерью, несколько лет умиравшей от рака. Потом за тяжело больным отцом. Своим трудом скопила деньги и поступила в колледж, где познакомилась с безвестным тогда Ричардом Никсоном. Сделав блистательную политическую карьеру, Никсон перестал замечать жену. В высшем свете, где Пэт приходилось вращаться, ее презирали как плебейку. Гордая, пылкая женщина, она была обречена на одиночество и пренебрежение. Рассказывают, что к какому-то торжественному приему ей было приказано одеться особенно нарядно. По просьбе Пэт знакомая светская дама обратилась за помощью к другой даме и услышала в ответ: «Что? Платье для Пэт? Пусть пойдет в магазин и подыщет себе что-нибудь на вешалках». (Я, грешная, только тогда узнала, что выражение «Платье с вешалки» означает нечто вроде русского: «Не платье, а тряпка».)

Пэт пыталась развестись с мужем, которого преданно любила до последних дней, но пользуясь своей властью Никсон, конечно, не допустил развода. Актриса Джоан Аллен, сумела рассказать обо всем этом в маленькой роли почти без слов. В большинстве сцен она молча присутствует. Только взгляд, поворот головы, движение руки говорят о том, что у нее на душе, только ее лицо или походка. Аллен прочат «Оскара» за эту роль. По-моему, справедливо.

Никсона играет известный актер Энтони Гопкинс. Он прославился ролью дворецкого в фильме, который я бы назвала по-русски «Вечерами». Фильм был сделан по роману замечательного английского писателя Казуо Ишигуры «The Remains of the Day». Дословный перевод заглавия: «Остатки дня». Ишигуро родился в Японии, мальчиком был привезен в Англию, английский стал его родным языком. Сейчас он один из писателей широко известных в мире. Я читала и этот его роман, и два другие. Написаны они, по-моему, великолепно. «Вечерами» — это воспоминания дворецкого Стивена, прослужившего 30 лет у некоего лорда, в доме которого вершилась большая политика, к судьбам которой Стивен не без основания считал себя причастным. После войны он впервые за долгую службу берет отпуск и путешествует на машине по Англии, а вечерами (в оставшееся от дня путешествий время) вспоминает о прошлом. Удивительно, с каким безупречным мастерством исполнил Гопкинс эту роль. Сколько в нем мудрости, понимания, чувства собственного достоинства при том, что он всюду прежде всего — дворецкий, дворецкий-профессионал, для которого его служба — дело жизни. Удивительнее, разве что, провал Гопкинса в роли Никсона.

Три часа идет фильм и почти три часа Никсон на экране. И каким-то чудом такой актер, как Гопкинс, умудрился за все это время ничего не рассказать ни о Никсоне-человеке, ни о Никсоне-президенте. Какой яркой личностью был дворецкий Гопкинса. Как велик его президент. С художественной точки зрения «Никсон» — конечно, плохой фильм. Но я смотрела его с большим интересом и радостью, что увидела.

Всего вам доброго, Лева. Пишите, пожалуйста.

Целую вас.

Юня.

ДНЕВНИК Последний день 1995 года. Не хочется ни подводить итоги, ни заглядывать в будущее. Вместо всего этого:

Леопольд Эпштейн
День благодарения

В предзимнем Ботаническом саду
Прозрачность цвета, чистота рисунка
С холодным светлым воздухом в ладу
И требуют от чувств и от рассудка
Гармонии. Прекрасна и проста
Картина дня — случайное богатство.
Я знаю, как священная немота,
Когда любое слово — святотатство.
Мне не был воздух родины чужим,
Я не искал дороги в жизнь иную.
Кого благодарить — судьбу? режим?
За то, что я повторно существую,
За этот день, за то, что к ноябрю
Так зелена трава, за тишь такую?
Мне хочется сказать: «Благодарю.
А мысленно добавить: «Не взыскую...

1988. (Из книги «Грунт»)

ДНЕВНИК 18 сентября. Утром торопилась. Вышла с пачкой писем — сложила заранее, знала, что заеду на почту, — сумку с ключами от квартиры и от машины оставила дома. Ключи от квартиры, к счастью, были у Акивы. Вернулась, взяла сумку. Накануне решили перед МТИ заехать в «Бостон симфони» купить билеты на концерт в начале октября: японский ансамбль ударных инструментов и «Фантастическая симфония» Берлиоза. На Массачусетс-авеню к «Бостон симфони» надо повернуть направо. По привычке повернула налево к МТИ. Развернуться на этой улице трудно. Переехала через мост, после нескольких тщетных попыток развернулась.

Перед «Бостон симфони» остановила машину в неположенном месте, другого не нашлось. Осталась за рулем, Акива, слава Богу, быстро купил билеты и вернулся. Снова та же задача: развернуться. На боковой улице увидела разрыв в разделительной полосе, свернула и едва не столкнулась с потоком встречных машин. Задним ходом — трудное для меня упражнение — вернулась на свою полосу,

в другом месте кое-как развернулась. До знакомой парковки на Кулидж Корнере доехала без приключений. Решила, что на магазин, химчистку, почту и банк часа вполне хватит и, как обычно, опустила в счетчик один квотер. Отправила почту, подошла к банку, взглянула на часы. Время стоянки почти истекло. Бегом вернулась на парковку, опустила еще один квотер.

В банке, чтобы поменять иностранные деньги на доллары, нужно заполнить небольшую анкету: адрес, номер паспорта или водительского удостоверения. Написала адрес, достала паспорт и увидела, что вместо своего положила в сумочку паспорт Акивы. Водительское удостоверение всегда со мной, так что обошлось. Вернулась к машине, перечитала на всякий случай список дел. Хорошо, что перечитала: забыла про химчистку. Дошла до химчистки, получила вещи, приехала домой.

Физические нагрузки до сих пор переношу хорошо, если не бунтует сердце. Нервные и психологические, самые ерундовые — всегда плохо. Еле дошла от машины до подъезда, с трудом поднялась на семь ступенек, долго шла по длинному нелюбимому коридору, тупо стояла перед своей дверью — никак не могла повернуть ключ в замке. Ноги не хотели меня держать, руки дрожали, голова налилась свинцом. Справилась, открыла дверь, все положила на место. Справилась.

Такие дни теперь — частые гости. Их будет все больше, я понимаю. И хорошо, если только такие — тревожения по пустякам. Как быть? Как успеть... Много еще неоконченных дел. Папа... Без папы я бы не осилила сегодняшнего дня. Я все время слышала: «Упала, встань. Не получилось, начни сначала. Упала, встань...» Я помню, папа, я стараюсь. Папа... Может быть, сейчас? Если не здесь и сейчас, то где и когда?

Рассказ «Осенний день» написала давно, в 1993 году. Опубликовать удалось недавно: год назад.

ОСЕННИЙ ДЕНЬ*

Здравствуй, папа!

У меня сегодня необычный день: я одна и свободна. Спала плохо. Заснула после 12, проснулась посреди ночи. Читала в шестом номере «Звезды» за 1990 год военные дневники Ольги Берггольц. При всей их откровенности и горячности они, по-моему, скорее произведение для печати, чем записи для себя. Меня коробит их литературность, мне неприятна их развязность. Недавно я прочла воспоминания и дневники Анны Тютчевой, дочери поэта. Она 13 лет прослужила фрейлиной, сначала при дворе Николая I, потом Александра II. Удивительно яркий и проникновенный — проникающий в суть — портрет Николая I она оставила. Видимо, была умным и тонким человеком. И дневники, и воспоминания хорошо написаны: искренне и сдержанно. Прости, папа, я хочу рассказать тебе о сегодняшнем дне и никак не могу начать.

Утром ходила на распродажу, благо, она оказалась рядом. Я до сих пор не справилась с мелочами своей новой жизни. На нашем обеденном столе соль стоит в баночке из-под лекарства, сахар — в банке из-под варенья. Помнишь эвакуацию? Березники? Откуда мы взяли тогда посуду: тарелки, чашки, ложки? Привезли из Москвы? Мы уезжали в такой суматохе, до последней минуты не знали, куда тебя пошлют: в Среднюю Азию, на Северный Урал? Мне кажется, мама успела взять с собой только одежду. Прости, я опять сбилась.

Город сейчас удивительно красив. У нас осень, знаменитая бостонская осень. Высокое синее небо в белых облаках, бодрый ветер с океана. Хорошо дышится, хорошо ходится и, главное, смотрится. Каждое дерево в городе, а они здесь повсюду, каждое дерево — творение художника. Немудрено, что многие специально приезжают в Массачусетс полюбоваться осенними деревьями. По телевизору в сводке погоды сообщают, где деревья сейчас особенно красивы, а где листья начинают опадать. Говорят, Бостон и его окрестности обаяны этим великолепием ветрам, насыщенным морскими солями.

* Рассказ «Осенний день» опубликован в альманахе «Побережье», Филадельфия, № 8, 1999.

Ты не поверишь, папа, но осень здесь — самое радостное время года. После недолгой промозглой зимы с дождями и туманами — снег выпадает редко, — после тревожной изменчивой весны с бурным зацветанием неведомых мне цветов и кустарников, на исходе удушающего мертвящего лета вдруг начинается праздничный карнавал. Хрупкие деревца-подростки и раскидистые могучие старцы, величественные дубы, клены и скромные березы и акации превращаются в факелы торжествующей жизни. Они одаряют прохожих всеми мыслимыми и немыслимыми переливами желтого, красного, оранжевого, коричневого, зеленого цвета и расстилают на прозаическом асфальте праздничный восточный ковер. Пир красок, вакханалия красок, оргия красок. Трепещут на ветру тонкие веточки незнакомого мне деревца с прозрачными желто-зелеными листочками. Недвижимы корявые великаны с красно-лиловыми листьями-лапами — незнакомая мне разновидность дубов. Празднично разодетые клены, мои любимцы, нежатся на солнышке и роняют на землю желтые и красные листья. Мне жалко на них наступать.

Шур, шур, шуршат листья желтые...

Шур, шур, шуршат листья красные...

Помнишь? Мы жили тогда в нашей первой комнате в Столешниковом, в той, где окна выходили во двор, а не в переулок. Помнишь? Стол у стены, чуть не во всю ширину комнаты. За столом спиной к двери сидишь ты, у тебя на коленях я. Перед тобой раскрытая книжка. На большой плотной странице разбросаны красные и желтые кленовые листья. По листьям бежит девочка. На ней берет, широкое пальтишко с шарфом, на ногах башмаки. Девочка бежит по листьям. Ты в сотый раз читаешь мне книжку. Одна твоя рука на столе, другой ты обнимаешь меня. Твое лицо совсем близко. Ты знаешь, что я знаю книжку наизусть, ты сам знаешь ее наизусть, но все равно читаешь, переворачиваешь страницы — ты играешь со мной, это наша с тобой любимая игра.

Шур, шур, шуршат листья желтые,

Шур, шур, шуршат листья красные...

Папа, ты помнишь эту книжку? Помнишь, папа?

Шур, шур, шуршат годы, десятилетия,
Шур, шур, шуршит уходящая жизнь.

Как ее удержать? Держать... ать...

Я иду по желтым и красным листьям. Они шуршат под ногами. Высокое синее небо, яркое солнце, холодный солоноватый ветер. Вниз, вниз, вниз бежит узкая улица. Вниз, вниз, вниз бегу я по листьям. Бежать, бежать, бежать! Ать, ать, ать! Праздник! На улице золотисто-желтый, оранжево-желтый, красно-желтый праздник под синим небом.

Квартира, где происходила распродажа, показалась мне такой грязной и жалкой после солнечной улицы, что я обошла ее за пять минут, ни к чему не притронулась и вернулась домой. Я забыла, ночью я еще читала «Бостон глоб». Помнишь, как ты приходил с работы, приводил в порядок наши так называемые три комнаты и ложился с газетой на вашу с мамой тахту? По-моему, ты никогда не ел, пока не полежишь. Странно, я только теперь вдруг вспомнила, что, прежде чем лечь, ты относил на подоконник всю еду, какую находил на столе. Затмение. Вернее, знамение. Знамение времени. В моей взрослой жизни уже был холодильник, в твоей нет. В твоей был подоконник и незабвенное окно кухни, заставленное кастрюлями. После войны кто-то соорудил между рамами полку, и она тоже всегда была заставлена закопченными кастрюлями. Незабвенное окно и незабываемая музыка: гудение примусов в кухне на 12 семей.

Да, газета... Покончив с газетой, ты накидывал на лицо пиджак, клал руки под голову, поднимал локти, чтобы не задохнуться, и дремал в этом укрытии минут 30. Спален, пледов, как и холодильников, тогда не было. И тогда мне казалось, что ты читаешь газету очень долго. Но здешние газеты ты читал бы гораздо дольше. Когда берешь в руки «Нью-Йорк таймс», перед тобой распахивается мир. Я не могу привыкнуть к огромности этого мира, к его сложности, жестокости. Я плохо в нем ориентируюсь и, устав от политики, убегаю в раздлы искусства. Разнообразие художественной жизни Нью-Йорка и Бостона ошеломляет. Страшно хочется... нет, в другой раз, об этом в другой раз.

Ночью я прочла в «Бостон глобе» про необычную выставку, открывшуюся в Бостоне. Женщина-скульптор по имени Лесли Дилл попыталась сделать осязаемой, зримой поэзию Эмили Дикинсон. Англиязычная поэзия мне недоступна. Не слышу рифмы, не чувствую ритма. Но однажды, еще в Москве, мне попалось на глаза несколько стихотворений Эмили Дикинсон в переводе на русский язык. Эти стихотворения остались со мной. Конечно, я не запомнила их, как мгновенно запоминала стихи когда-то. Помнишь наше кресло-раскоряку, обитое черной клеенкой? «Как в кабинете у Ленина», — сказал мастер, когда мы собрались, наконец, его перетянуть. Помнишь, я часами сидела с ногами в этом кресле и учила наизусть «Евгений Онегин»? Кресло стояло у окна в вашей с мамой спальне-пенале, помнишь? Ты приходил с работы, заставлял меня с желтым томиком Пушкина и спрашивал: «Ну как, выучила?» Я страшно на тебя сердилась. Прости меня, папа. Во время войны, когда я жила в Столешниковом одна, каждый раз, подходя к креслу, я видела твои усталые полуприкрытые глаза, щеки, потемневшие от пробившейся за день бороды, и сжатые губы, дрогнувшие в едва заметной улыбке. В ту зиму я поняла, что ты радовался моему пристрастию к Пушкину. Я согревалась твоей радостью в ту холодную зиму, папа. Я страшно жалею, что не сказала тебе об этом раньше.

Многие строфы «Онегина» я помню до сих пор. Недавно рассказывала Няме про театр: откуда взялось слово «партер», что такое амфитеатр, ложи, кулисы. Тут же всплыло: «Театр уж полон, ложи блещут, партер и кресла, все кипит...» Вот видишь: помню до сих пор и «Онегина», и наше кресло. А стихи Эмили Дикинсон я не запомнила, но свой отклик, отзвук, который они вызвали, запомнила. Мне захотелось поехать на выставку.

Я спустилась с нашего холма к метро по другой узкой улочке, тоже усыпанной осенними листьями, и доехала до Капли. Об этой площади и о Ньюбери-стрит, по которой я шла на выставку, я расскажу тебе потом, хорошо? Сначала о выставке.

Две большие комнаты на пятом этаже старого дома. Много света, много воздуха. В первой комнате на полу напротив входа стоит платье. Юбка-колокол, узкий лиф с квадратным вырезом, узкие прямые рукава до локтей. Платье голубовато-серое, с нежными, едва

заметными розовыми бликами. Сделано оно из букв, вырезанных из уплотненной бумаги. В глубине комнаты стоят два платья почти такой же формы, но поменьше. Одно белое, другое светло-коричневое. Еще одно, более нарядное, с широкой расклешенной юбкой и глубоким вырезом висит на стене. Ряды слегка деформированных блекло-бирюзовых букв, из которых оно сделано, похожи на хорошо накрахмаленные кружева. Платье кажется тяжелым и воздушным одновременно — барельефом и одеянием нимфы. Рядом на стене колышется белый переливающийся занавес из лент и струй, испещренных буквами. Текут струи букв, бегут ленты слов. Звучат стихи Эмили Дикинсон, их мелодия, их суть.

Во второй комнате на стенах руки. Контуры поднятых вверх ладоней с длинными пальцами. С ладоней свешиваются тонкие веточки почти без листьев. Графика, тоже струящаяся. Полуоткрытые ладони сложены в мольбе. Они вырезаны из плотной бумаги и прикреплены к белому прямоугольнику картона, как створки полуоткрытой ракушки. Что это? Что это за вид искусства, все эти работы Лесли Дилл? Не знаю, но когда смотришь на них, стихи Эмили Дикинсон оживают. Я услышала их и обрадовалась.

Ты бы тоже обрадовался, папа. Потому что эта странная выставка прославляет Слово. Печатное слово, Книгу. Ты любил книги, я знаю. Книги были для тебя чем-то очень дорогим. Я поняла это давно. Помнишь старые дома на Петровке напротив Пассажа? Их снесли, теперь там сквер. Я помню их, потому что там были книжные и букинистические магазины. Ты часто брал меня с собой, когда туда заходил. Я любила разглядывать книги на полках от пола до потолка. Любила смотреть, как ты наклоняешься к прилавку, осторожно берешь в руки одну книгу, другую, бережно листаешь. Среди книг ты был не таким, как дома. Лицо разглаживалось, ты чему-то улыбался, глаза... у тебя были совсем другие глаза — большие, радостные.

Ты любил книги и никогда об этом не говорил. Почему? Почему у нас дома никто не произносил слов «любить», «любимая»? Зато часто говорили «надо», «обязательно». Почему мама и ты никогда нас не целовали? Нет, один раз ты меня поцеловал. Я помню. Ты поцеловал меня в поезд, когда увозил из пионерского лагеря под Новороссийском. Мне не понравилось в лагере. Я ни с кем не под-

ружилась, стеснялась ходить в форме — в коротких сатиновых шароварах и майке в обтяжку, — но главное, не могла смириться с тем, что в море нельзя заплывать за веревку и по свистку надо выходить на берег. Я написала маме, что убегу, если меня не заберут. Я ждала тебя, я знала, что ты приедешь. И ты приехал. Потеряв голову от радости, я прищемила руку вагонной дверью. Мне было тогда... Я перешла в девятый класс. Значит, мне было 16 лет. Я так удивилась, когда ты меня поцеловал, что перестала плакать. Ты ведь любил меня, я знала и знаю, что любил, и никогда, никогда не называл любимой девочкой, любимой дочкой. Почему?

Мне не хотелось уходить с выставки. Я подошла к окну и с высоты пятого этажа засмотрелась на небольшой пустынный двор: на стройное желто-красное дерево посреди двора, на скамейку, украшенную несколькими яркими осенними листьями, на красно-коричневую стену старого кирпичного дома с черной пожарной лестницей-гармошкой. В Столешниковом двор был совсем другой. Это бостонский двор.

Да, папа, я живу теперь в Бостоне. Я иду к метро по Ньюбери-стрит. На этой нарядной, праздничной улице сегодня особенно нарядно и празднично — суббота и прекрасная погода. По обеим сторонам вплотную друг к другу стоят четырех-, пятиэтажные дома, такие узкие, что непременные эркеры и мансарды едва не касаются друг друга. Сверкают на солнце зеркальные витрины магазинов, в витринах одежда, белье, ковры, картины, украшения, парфюмерия, старинные (по американским понятиям) мебель и посуда, и все это кричит: «Купите!» Поминутно останавливают взгляд вывески художественных галерей и салонов, от них рябит в глазах и звенит в ушах: «Мы открыты! Заходите!» — на разные голоса выкрикивают они. Во всю стараются кафе, пиццерии, рестораны и ресторанички. «К нам! Нет, к нам!» — бесцеремонно перебивают они друг друга. Столики под пестрыми зонтиками и тентами выставлены наружу, смех, суэта официантов, красочные натюрморты на тарелках, соблазнительные запахи. Заманивают в свои цепкие объятия подвалы с красивыми лестницами и декоративными мини-садиками ниже уровня тротуара. Там тоже продают, покупают, любят, едят и пьют.

Двигается, течет разноликая толпа. Светлокожие, желтые, шоколадные, черные мужчины и женщины в длинных и коротких юбках, в брюках и шортах, в майках и блузках несут бумажные сумки с названиями модных магазинов, пьют на ходу кока-колу, потягивают через трубочку горячий кофе из закрытых пластиковых стаканчиков и громко радуются жизни.

Я иду одна, и мне тоже все в радость: старые кирпичные дома, новомодные витрины, столики на тротуаре, солнце на небе. Мне в радость каждый шаг, каждый вдох. Я плыву в потоке радости и заплываю далеко, далеко — на зимнюю Ньюбери-стрит. В первый приезд в Бостон я шла зимой по Ньюбери-стрит в хмурый будний день. Но погода не властна над этой улицей. Белые лоскутки снега, разбросанные на зеленых кустах и цветочных клумбах, делали ее только наряднее. А когда вдруг выглянуло солнце и улица улыбнулась, я готова была запеть. Я до того забылась, что почти бесстрашно спустилась в какой-то подвальчик и, сидя за столиком, долго наслаждалась кофе с булочкой, продолжая мысленно идти по Ньюбери-стрит.

Как давно это было. И столько всего было потом. Отъезд из Бостона. В слезах, душа дыбом. На дыбе. Отъезд из Москвы. Без слез. Все задавлено, стиснуто и втиснуто в чемоданы — четыре чемодана на две жизни. Идет снег. За стеклами такси темная заснеженная Москва. За автоматическими дверями залитое мертвым светом «Шереметьево». О «Шереметьево» не хочу. Дальше, раньше.

Раньше, совсем давно мы шли с тобой зимним вечером по Моховой мимо старого здания университета. Редкие крупные снежинки медленно опускались на тротуар. «Вырастешь, будешь здесь учиться. Хочешь?» — спросил ты и повернул ко мне голову. Помоему, ты даже замедлил шаг, ожидая моего ответа. Я помню твои глаза за стеклами очков в круглой железной оправе. Я помню тревогу в твоих глазах. И помню, что я промолчала. Сколько раз, торопясь на лекции, я бежала потом по Моховой и вспоминала этот зимний вечер и наш несостоявшийся разговор. Но тогда я промолчала. Ты, конечно, знал, почему. И беспокоился, и мучился. Прости меня, папа, если можешь.

Учиться в университете — это, наверное, была твоя мечта. Мама рассказывала, что твой отец был резником, жили вы очень трудно,

образование дали только тебе, самому младшему из детей. Мама говорила, что уроки ты готовил за столом, где отец разделывал мясо, а в гимназию на другой конец Минска ходил пешком, потому что не было денег на трамвай. Почему ты сам ничего о себе не рассказывал? Никогда. Почему? Я знаю, что ты хорошо кончил гимназию, что учился недолго в Институте народов Востока, потом попал в технический ВУЗ, стал химиком и почти всю жизнь проработал в ГИАПе.

ГИАП — еще одно дурацкое сокращение тех лет. Ньюбери-стрит исчезла. Москва. Я иду по улице Чкалова. Серые безликие дома, на одном из них, недалеко от Курского вокзала, вывеска. Пыльное черное стекло, четыре большие белые буквы: ГИАП. Под ними четыре слова мелким шрифтом: «Государственный институт азотной промышленности». Ты ведь был специалистом по азотно-туковым удобрениям, да? Какие-то начались у тебя тяжкие неприятности, когда строили азотно-туковый комбинат в Хибинах. Ты не соглашался с руководящими указаниями, считал их ошибочными. Потом оказалось, что ты прав, но к тому времени тебя уже отстранили от строительства комбината. Слава Богу, не арестовали. Может быть, потому, что все это происходило в самом начале 30-х годов. В Столешниковом на шкафу долго хранилась папка с газетными статьями, приказами на бланках, записками. Разезды, переезды, отъезды... Где она? Прости, я понимаю, что спрашивать тебя про папку бесполезно. А про Розлера? Я давно хотела тебя спросить, что стало с Розлером?

Вас было трое: ты, Миркин и Розлер. Три носатых черноволосых еврея небольшого роста. Миркин и Розлер приходили вечером. Вы часами сидели в «пенале» за маленьким дамским письменным столом. Не знаю, как попала в наш дом эта реликвия прежней жизни. Стол, представь себе, цел, стоит у Лары на Дмитровском шоссе. Мама приносила вам чай в граненых стаканах на глубоких блюдах и на отдельном блюде несколько кусков пиленого сахара. Когда к тебе приходили Розлер и Миркин, дверь в «пенал» всегда была закрыта. Иногда, постукав, я под каким-нибудь предлогом заходила к вам. Мне было интересно, о чем вы разговариваете. Но при мне вы сразу замолкали. Я помню свою досаду, опущенные головы Розлера и Миркина и твои желтоватые пальцы, сжимавшие стакан с почти прозрачным чаем.

Первым перестал приходить Розлер. Потом Миркин. У тебя вдруг появилось много седых волос, глаза стали тусклыми, ты редко заходил в книжные магазины, еще реже брал меня с собой. С мамой вы все чаще говорили по-еврейски. Миркин появился нескоро, через несколько лет после войны. Розлера я больше никогда не видела.

Стоп! Так можно под машину попасть. Задумалась и не заметила, как дошла до угла Ньюбери и Дартмут-стрит. Здесь я обычно поворачиваю налево и выхожу на Капли. Но сегодня особенный день. Жаль расставаться с Ньюбери-стрит, давай дойдем до следующего угла. Мне еще хотелось спросить, папа, откуда ты знаешь немецкий? Как появились в твоей жизни книги, театр? В моей — благодаря тебе. Я до сих пор помню, каким потрясением была для меня «Раймонда» с Семеновой, первый балет, который я увидела в Большом театре. А Третьяковская галерея? Помнишь? Это ведь было целое путешествие. Ехали на трамвае, переезжали через Москву-реку, кружили по Замоскворечью. Твоими стараниями я, как видишь, докружила до Лесли Дилл. А прошлой зимой до Филадельфии.

От Бостона до Филадельфии шесть часов езды на автобусе. Меня давно не укачивает в машинах, но во время этой поездки я так мучилась, что думала не доеду. Мы поехали в Филадельфию ради удивительного музея «Барнс Фаундейшн», и я бы завтра с радостью снова села в автобус, чтобы побывать там еще раз.

Представь себе большой дом-дворец в красивом парке. Внутри на всех стенах развешаны прекрасные картины. Развешаны вопреки хронологии, направлениям, авторству, но так, что само их соседство создает удивительную картину. Перед каждой стеной можно стоять часами — такая это всепоглощающая радость, такое редкое наслаждение. Спасибо, папа, что ты возил меня в Третьяковку.

Но ты хотел, чтобы я училась в университете, а я... Я была маленькой, глупой девочкой, одержимой другой мечтой. И тогда на Моховой ты отнесся к моей мечте бережно. Я... конечно, я этого не поняла. Но почувствовала. И обрадовалась. Я молча шла мимо университета. Я до сих пор помню, как медленно падали редкие крупные снежинки, как хорошо мне было идти рядом с тобой.

Мне хорошо идти рядом с тобой по Ньюбери-стрит, папа. Разговаривать, смотреть по сторонам. Я ведь уже старожил — скоро два

года, как я уехала из Москвы. Нет, я не привыкла к Бостону. Думаю, что никогда не привыкну. Но на Ньюбери-стрит я не чувствую себя чужой. Не знаю, что объединяет меня с пестрой толпой вокруг — солнце? ветер? радость? — но здесь мне хорошо. Давай все-таки повернем, я хочу показать тебе Капли, пока не стемнело.

Ну вот, смотри. Удивительное место, верно? Сквер обыкновенный, не считая, конечно, осенних деревьев. А как тебе нравится вот тот голубоватый стеклянный небоскреб, составленный из двух параллелепипидов? Видишь, один повыше, другой пониже? Что ты скажешь про этот остекленевший порыв ввысь, в небо? И рядом старая вросшая в землю церковь без намека на архитектурные красоты. Видишь? Видишь? Ветер вдруг унес облака, церковь отражается в одной из граней небоскреба. Смотри, церковей стало две: одна внутри небоскреба, другая рядом. Это площадь Капли.

Да, мы в Бостоне. Обернись. Перед нами Бостонская публичная библиотека, как говорят экскурсоводы. Огромное здание занимает целый квартал. Оно не блещет красотой, как видишь. Обычный фасад: ступени, портик — античная архитектура этого храма знаний довольно примитивна. Но я люблю на него смотреть. Видишь круглые барельефы на фронтоне? Это портреты великих ученых. Я не в состоянии их узнать, а разобрать подписи уже трудно. Но высеченные над ними слова: «Свободный вход для всех» видны еще совершенно отчетливо. В этих словах, в этом громоздком суровом каменном доме, невозмутимо взирающем на людную площадь, есть, по-моему, что-то от первых американских поселенцев. От их веры в труд и разум, в будущее рода человеческого.

Солнце село. Как быстро изменилось все вокруг. День отгорел. Ничего не поделаешь, пора домой. До свидания, папа. Завтра я иду на концерт. В зале Бостонского симфонического оркестра будет играть твой однофамилец Ицхак Перельман. Говорят, он великолепный скрипач, мне хочется его послушать. Жалко, что концерт не сегодня, не в твой день. Тем более, что в этом году круглая дата: 45 лет. После смерти мамы перед куском черного гранита с твоей и маминой фамилией в этот день всегда стояли мы с Ларой. Но последние два раза Лара приезжала одна. Лара осталась в Москве, а я уехала, потому что в Нью-Йорке и в Бостоне уже почти пять лет

живут Маша и Юля, две мои дочери, которых ты никогда не видел. Весной у меня тоже круглая дата: мне исполнится 70 лет. Странно, да? Мне тоже трудно привыкнуть к этой мысли.

До свидания, папа. Я тебя очень люблю. Мне стыдно, что я не успела тебе этого сказать. Теперь-то я знаю, что ничего нельзя откладывать. Но тогда... Тогда я думала, что каждую осень буду ходить по Петровскому бульвару, усыпанному красными и желтыми листьями и каждую осень красные и желтые листья будут шуршать на знакомых дорожках, как в нашей с тобой любимой детской книжке:

Шур, шур, шуршат листья желтые...

Шур, шур, шуршат листья красные...

ДНЕВНИК 1 октября. Необычное воскресенье — без прогулки. В середине дня торжественный обед: Юре Тувиму вчера исполнилось 70 лет. Перечитала «Осенний день», тупо смотрю на цифру 70, просматриваю свой дневник за 1996 год. Бег времени... Колесо жизни... Сколько слов написано, сказано об этом и... И все так же неостановим бег времени, все так же крутится колесо жизни. Но вопреки бегу и колесу мне кажется, что какие-то мгновенья можно... нет, не остановить, конечно, — но сохранить. Не знаю, смогу ли, а как узнать, не попытаться?

ДНЕВНИК 29 января. О смерти Бродского узнала вчера. Сегодня большой некролог в «Нью-Йорк таймс», портрет на первой странице. Прочла некролог и подумала, что надо рассказать о Бродском Няме. Вчера и сегодня перед глазами зал в Институте востоковедения. 1966 год. Сорок дней со дня смерти Ахматовой. Много людей. Сейчас, в Америке трудно представить себе, что тридцать лет назад организация такого собрания в Москве, посещение такого собрания были гражданским поступком, требующим некоторой смелости. Но и забыть об этом тоже трудно. Среди солидных мужчин, сидевших с напряженными лицами за столом президиума, худой ры-

жеголовый юнец, не проявлявший никакого интереса к происходящему, казался случайным гостем. Речи выступавших не запомнились, но особая обстановка в зале, ощущение приподнятости и нервозности живы до сих пор. По моему, уже в конце кто-то объявил, что Иосиф Бродский прочтет свое стихотворение, которое любила Анна Андреевна. Рыжий молодой человек встал, тонким детским голосом сказал, что стихотворение называется «На смерть Элиота», и после первых нескольких строчек случилось необъяснимое: исчез нескладный молодой человек с длинным носом, исчез зал, президиум. Остались поэт и его стихи. Об этом и рассказала Няма.

В кухне, где мы сидели, на обеденном столе стояла неубранная посуда. Няма держала на руках Мотю. Рядом ерзал на стуле Левка с пакетиком сока. Но сегодня, в первый день после смерти, Иосиф Бродский был жив. У Нямы блестели глаза, и для нее как раз сегодня он, может быть, родился.

1 февраля. Снова говорила с Нямой о Бродском. Показывала газеты с его портретом и стихами. Во вчерашнем «Бостонском времени» на первой странице рядом с портретом Бродского напечатано прекрасное его стихотворение.

Бессмертия у смерти не прошу.
Испуганный, возлюбленный и нищий,—
но с каждым днем я прожитым дышу
уверенней, и сладостней и чище.

Как широко на набережных мне,
как холодно и ветренно, и вечно,
как облака, блестящие в окне,
надломленные, легки и быстротечны.

И осенью и летом не умру,
но всколыхнется зимняя простынка,
взгляни, любовь, как в розовом углу
горит меж мной и жизнью паутинка.

И что-то, как раздавленный паук,
во мне бежит и странно угасает.
Но выдохи мои и взмахи рук
меж временем и мною повисают.

Да. Времени — о собственной судьбе
кричу все громче голосом печальным.
Да. Говорю о времени себе,
но время мне отвечает молчаньем.

Лети в окне и вздрагивай в огне,
слетай, слетай на фитилечек жадный.
Свисти, река! звони, звони по мне,
мой Петербург, мой колокол пожарный.
Пусть время обо мне молчит.
Пускай легко рыдает ветер резкий.
И над моей могилою еврейской
младая жизнь настойчиво кричит.

1961

С трудов веришь, что автору этого стихотворения 21 год, что написано оно больше 30 лет назад.

2 февраля. Завтракали вдвоем с Акивой и — редкий случай — никуда не спешили. Говорили о Бродском. Взяла в руки «Новое русское слово» с портретом Бродского и некрологом. Под некрологом отрывок из стихотворения «На смерть Т.С. Элиота». Может быть, оттого, что Бродский тоже умер в январе, оно сейчас производит еще более сильное впечатление.

Он умер в январе, в начале года,
Под фонарем стоял мороз у входа.
Не успевала показать природа
Ему своих красот кордебалет.
От снега стекла становились уже.
Под фонарем стоял глашатай стужи.
На перекрестках замерзли лужи.
И дверь он запер на цепочку лет.

4 февраля. Очень холодно. Днем, когда потеплело, час катались на лыжах. Прочла в «Бостонском времени» Нобелевскую речь Бродского. Рассуждения о том, что человек, много читавший Диккенса, не станет стрелять в другого человека, показались мне неубедительными, так же как мысли о первичности эстетики и вторичности этики. Но все, что Бродский говорил о языке, о литературе, о поэзии и поэте, произвело очень сильное впечатление. Ecce homo*. И нет его.

* Ecce homo (лат.) — Вот человек.

ВНУКИ

Зима 1996 года

Левка вдруг заинтересовался проблемой родственных отношений и стал упорно называть меня мамой. Раз поправила, два. Спросила, как он называет Инну. Сказал, что Инной. «А почему ты меня называешь мамой? Я тоже твоя бабушка, как Инна». — «Нет, ты мама. Моя мама говорит тебе мама». Долго объясняла, кто кому кем приходится, слушал внимательно, потом спросил: «У тебя есть папа?» Сказала, что папы у меня, к сожалению, уже нет. «Нет, у тебя есть папа», — решительно заявил Лева. «Кто же мой папа? — спросила я. «Кика», — тут же ответил Лева. (В семье, среди близких друзей за Акивой сохранилось его детское имя.) Вечером он долго донимал теми же вопросами Юлю. Она не выдержала и спросила: «Скажи мне, Лева, кто ты Моте?» Левка задумался, потом сказал: «Я Моте пес».

Рассказывала Няме о древнем городе Пальмире. Хотела, кроме всего остального, объяснить, откуда взялось выражение «Северная Пальмира». Показала иллюстрацию из учебника, спросила, на какой город похожа Пальмира. «Я помню, помню... Сейчас... на Санкт-Петербург».

Лева по-прежнему увлечен стрельбой из всего, что попадет под руку. Ухожу домой. Левка хватает противоугонное устройство для машины, целится в меня и кричит: «Юня, когда придешь? Приходи скорее!» — «Хорошо, Лева, а что ты хочешь?» — «Я хочу тебя стрелить». — «Мне же будет больно». — «Нет, я буду тебя стрелять понарошку».

ПИСЬМО В МОСКВУ

Из дома вышли заблаговременно. После недавних морозов и снегопадов ртутный столбик внезапно поднялся до +16°C. Пошел проливной дождь, ветер валил с ног. Поток, низвергавшийся с неба, на глазах превращал сугробы в бурные ручьи, а тротуары и мостовые в стремительные реки. В одной из них, сорванный ветром, тут же поплыл Акивин берет. Берет я догнала, но надеть на голову грязный

мокрый блин Акива не решился. На остановку трамвая пришли, вымокнув до нитки.

Беспользные зонты сломались еще во дворе нашего дома, стоять под ливнем на рассвирепевшем ветру было не очень приятно, но трамваи один за другим шли в обратную сторону. Для разнообразия два трамвая прошли в нужном направлении, но не остановились. Как ни странно, в театр мы успели, хотя пришли, конечно, к самому началу. «Знаешь, — сказал Акива, когда мы добрались до своих мест, — сидеть в сухих штанах, оказывается, гораздо приятнее, чем в мокрых».

Но как только поднялся занавес, дождь, ветер, Бостон, мокрая одежда — все исчезло. До вчерашнего вечера — до 19 января 1996 года — я знала, что Марта Грэхем — известная балерина, хореограф и только. Теперь знаю, что она создательница особого сценического мира, который, спасибо судьбе, я увидела собственными глазами. Удивительное это наслаждение, удивительная радость!

Первый балет — «Весна в Аппалачах». Боже, какая свежесть, какая добрая красота! Утро безгрешного мира. Сейчас, в наше кровавое время. Сельская то ли свадьба, то ли помолвка. На сцене шесть женщин, двое мужчин. Декораций почти нет. Вместо них детали-намеки: деревянный стул, перед ним ступенька — дом. Две вертикальные планки, одна поперечная — забор. При всей своей безыскусности намеки эти удивительно красноречивы и живописны. Как и чем это достигается, не знаю. Но главное, конечно, балерины и танцовщики. Выразительность их танцев напомнила мне давний праздник гастролей «Берлинского ансамбля» в Москве. Тогда я впервые увидела, как актеры жестом, взглядом воссоздают реальный, конкретный мир. Здесь было то же самое и к тому еще безупречная танцевальная техника. Прекрасная музыка Копланда и простые, но очень красивые костюмы, которые Марта Грэхем, как правило, сама придумывала для своих балетов — все было великолепно.

Марта Грэхем родилась в 1894 году, умерла в 1991. Свой последний балет она поставила за год до смерти. Но Марта Грэхем была не только прекрасной балериной и ярким своеобразным хореографом. Благодаря своему редкому педагогическому таланту она создала большую школу, из которой вышли многие выдающиеся танцовщики и хореографы нашего времени. Список ее наград и почетных

званий — от доктора искусствоведения Гарвардского университета до Ордена почетного легиона — занимает полстраницы убористого текста. Все это я узнала потом, дома, когда внимательно прочла буклет с программой концерта.

А на концерте вторым номером были отрывки из «Хроники», балета, премьера которого состоялась в декабре 1936 года. Бессмертие, наверное, один из признаков великого искусства. Вчера казалось, что мы смотрим первое представление. Солистка была одета в черное трико и пышную темно-вишневую юбку с алой изнанкой. Во время танца юбка превращалась то в знамя, то в темный плащ, скрывавший всю балерину, то в узкую извивающуюся ленту. Солистка — олицетворение свободы, борьбы за свободу. Вместе с ней на сцене танцевала большая группа женщин в черной развевающейся одежде. Костюмы, и для этого балета придуманные Мартой Грэхем, были очень красивы, естественны и в тоже время эффектны.

Все балерины танцевали босиком. Белые ступни, белые руки и лица балерин яркими пятнами выделялись на темном фоне. Движения танцовщиц, игра света и тени, неожиданные группы, которые они составляли, удивляли красотой и оригинальностью. Главную роль в этом балете когда-то исполняла сама Марта Грэхем. Ее внутренне-го горения было, видимо, достаточно, чтобы одушевить весь балет, сделать его действием. Вчера солистка танцевала прекрасно, но для действия ее огня не хватило, и балет воспринимался как красочная иллюстрация, а не как живой взрыв чувств, каким он, наверное, был в 1936 году. Я думаю, что легкая ирония, которая так украшала «Весну в Аппалачах» здесь тоже была бы уместна. Но уважение к памяти Марты Грэхем, наверное, мешает теперешним руководителям труппы что-то менять в балете, поставленном самой Грэхем.

После антракта прелестный танец «Насмешливая праздничная песенка» исполнила балерина в длинном облегающем платье с поперечными полосами желтого, белого и салатного цвета. Платье казалось кожей балерины с гуттаперчевым телом. Так грациозны и музыкальны были ее движения, с таким непринужденным изяществом она танцевала, что хотелось только одного: смотреть на нее подольше. Но, увы, танец был коротким.

Последний балет назывался «Ковер из кленовых листьев». Как

рассказать об этой красоте? В глубине сцены за роялем сидит пианист. Двадцать танцовщиц и танцовщиков в воздушных костюмах желтовато-розовато-зеленоватых тонов двигаются на пустой сцене, будто кленовые листья, с которыми играет ветер. В середине сцены стоит длинная скамья-качели. «Листья» иногда опускаются на нее группами и поодиночке и замирают, потом снова кружатся в танце. В танце-песне, в танце-сказке. Слияние движений и музыки поражает изысканной простотой и точностью, как и переливы красок костюмов. Светлая песня о радости жить, двигаться, наслаждаться движением и музыкой обрывается так же неожиданно, как и начинается. Вдруг стихает ветер, листья замирают. Аплодисменты.

На улице ветер бушевал с прежней силой. Но дождь кончился, и температура упала до -1°C . Мокрая одежда тут же стала деревянной, холод пробирал до костей. Все это не имело никакого значения. Очень хочется попасть на концерт труппы Марты Грэхем еще раз.

ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Из дневника 1996 года

Совсем уже собралась ложиться спать, случайно попала на глаза фотография старой, бодро улыбающейся женщины в «Бостон глобе». Прочла длинную статью, не отрываясь. Американская семейная хроника. Богатая, преуспевающая чета. Муж — адвокат, жена, — выпускница Уэллесли колледжа. Дом в Бруклине, сад с любимыми деревьями и цветами, две замужние дочери, внуки, правнуки.

Подошла старость. Тяжело стало подниматься на второй этаж в спальню, ухаживать за любимыми цветами. Дом продали, купили хорошую квартиру в Кембридже. Привыкли к шумным улицам, вечернему оживлению, радовались близости Гарвардского университета. Муж в 80 лет продолжал работать, жена посещала лекции в Гарварде. Увы, начались болезни. Две операции мужа, инфаркт. Поняли, что жить одни больше не могут. Переехали в комфортабельную квартиру в богатом доме для престарелых. Муж вскоре умер. Жена в 89 лет начала новую жизнь.

Она нашла в своем новом доме друзей, радуется возможности

обедать за общим столом, читать интересные книги. По понедельникам играет с друзьями в бридж, по вторникам работает в Библиотечном совете, по средам еще в каком-то совете. Жизнь продолжается. Главное — главное! — она самостоятельный, независимый человек. Но в перечне ее занятий ни дети, ни внуки не значатся. Она живет самостоятельно, и ее дети тоже живут самостоятельно. Наверное, они встречаются по большим праздникам, а может быть, и не встречаются, в статье об этом нет ни слова. Но как много слов написано о благополучной старости в благополучной Америке.

В одной из квартир в нашем длинном коридоре живет девяностолетняя Нетти Левин. Небольшого роста, худая как щепочка, с бесцветным лицом, с бесцветными волосами и яркими живыми глазами. Мы изредка встречаемся в коридоре. После перелома шейки бедра ей трудно ходить. «Нет, нет, Джун, — говорит она, — спасибо, я сама дойду до почтового ящика. Я должна ходить, иначе я стану зависимым человеком». Нетти всегда опрятно одета, приветлива и словоохотлива. «Мой отец бежал из России. Погром. Джун, вы знаете, что такое погром? Он был ювелир, богатый, всем помогал, но погром...» Когда ей нужно вдеть нитку в иголку, закрыть или открыть окно, она приходит к нам. Раз в день женщина из службы социальной помощи привозит ей горячий обед. У Нетти есть дочь, взрослые женатые внуки, они ее иногда навещают. Дочь с мужем живет в собственном доме. «Нет, Джун, я не хочу переезжать к дочери. Я хочу остаться самостоятельным человеком». Слушаю молча. Что сказать? Спросить, как она вечер за вечером ложится в постель, не слыша ни от кого: «Спокойной ночи»?

Американская система ценностей. Главное — самостоятельность и независимость. В этой системе есть здравый смысл, но каким ледяным холодом веет от нее. Только на меня? А эти женщины, что согревает их жизнь? Что думают об одиноких мамах и бабушках дети и внуки?

Вечером поехали в «Бостон симфони». Знали, что билетов нет, но поехали. Исполняли 10-ю симфонию Малера. С большим трудом, впервые в США, купила очень дорогие билеты перед входом.

Безумие, конечно, но счастлива, что не пожалела денег. Никогда не слышала Малера, кроме музыки к фильму Висконти «Ночь в Венеции». 10-я симфония, какая это боль! Какая мощь! Какая красота! Хочу купить кассету, послушать дома. Очень хочется еще раз попасть на концерт Малера. Но каковы американцы! Будний день, концерт кончается в половине одиннадцатого вечера — и аншлаги.

Вчера час провела в аптеке. Владелец аптеки мистер Лири дозвонился, в конце концов, моему врачу, который изменил дозу лекарства, о чем накануне сообщил помощнице мистера Лири. Доверяй, но проверяй, мистер Лири хотел поговорить с врачом сам. Высокий, стройный, с седой шевелюрой и молодым лицом, мистер Лири вполне годится в киногерои. Мешают только засученные рукава белой рубашки с галстуком, живые умные глаза и баночки с лекарствами, мелькающие у него в руках. И, конечно, надпись на стене его крошечной аптеки, где царит безупречный порядок: «Pharmacists are pillars of society». «Фармацевты — опора общества». Америка. Я живу в Америке.

РАЗГОВОРЫ С КОМПЬЮТЕРОМ

Жуткий судебный процесс в Бельгии. Судят выродка, который изнасиловал и убил нескольких маленьких девочек и молодых женщин. Адвокат, как положено, его защищает. А матери погибших девочек? Как теперь жить им? Почему не убить этого мерзавца, если факт преступления установлен? Да, когда-то законы были более жестокими: ворами отрубали руки, например. Законы смягчили в надежде, что нравы тоже смягчатся. Но этого ведь не произошло. Наоборот, средства мучения и уничтожения себе подобных стали более изощренными, а нравы разнузданнее. Так, может быть, пора пересмотреть законы?

Моисей Каганов, наверное, лет на шесть моложе Акивы. Известный физик, работал в МГУ, здесь — уже? всего еще? — года два. На дне рождения Маши Подъяпольской Каганов сказал, что любит

романы Стругацких, особенно «Пикник на обочине». В нескольких словах пересказал содержание и кончил словами: «Все мы здесь — люди на обочине. Предлагаю тост за всех присутствующих».

По дороге домой спросила Акиву, ощущает ли он себя человеком на обочине, и услышала в ответ: «Да». Ответ горький, но честный. Для Акивы это новое состояние и большая внутренняя ломка. А для меня нет. Большую часть своей сознательной жизни я прожила на обочине. На обочине Акивиной жизни с тех пор, как мы вместе. Так было в России, так осталось и здесь. Моя переводческая работа тоже проходила на обочине. Я никогда не плыла в потоке, не работала по заказу. Сама находила то, что хотела и считала нужным перевести, сама добивалась публикации. Сейчас я живу на обочине жизни своих детей и внуков. И мое жизненное пространство будет теперь только сокращаться. Но мне все еще кажется, что оно достаточно велико. У меня не хватает сил сделать на этом пространстве то, что мне хочется. Недостаток сил мучает меня сильнее, чем сознание, что я живу на обочине. Как замедлить отток сил? Не остановить — я понимаю, что это невозможно, — но замедлить?

В «Нью-Йорк таймс» большая фотография свадебной церемонии тысячи филиппинских девушек с южнокорейскими женихами и сообщение, что правительство Филиппин не разрешило выезд филиппинским женам в Южную Корею из страха, что их там ждет тяжелая участь. Акива напомнил мне, что Гавайские острова стали американским штатом примерно тогда же, когда Филиппины получили независимость. На Гавайях нормальная жизнь, хороший университет. На Филиппинах беспросветная нищета сначала при Маркосе и его супруге, теперь при демократии. Что такое хорошо и что такое плохо?

Видела в кино английский фильм «Ричард III». Понимала с трудом, хотя перечитала Шекспира. При чтении поразила современность «Ричарда». Действие фильма перенесено в наше время, но шекспировский конфликт — это конфликт нашего времени тоже: могущество зла, не связанного никакими нормами морали, и бессилие добра и человечности. Видимо, это вечный конфликт. Безупречная игра актеров, великолепная работа режиссера и оператора. Не понравился

балаганный конец. Но сейчас вдруг подумала: может быть, кровавый балаган в финале это предостережение? Предостережение нарочито грубое и кровавое в надежде пробить брешь в броне равнодушия?

Акива показал мне две интересные заметки в «Новом русском слове» (17–18 февраля, 1996). Одна об Ахматовой. В Британском музее открылась выставка рисунков Модильяни. Считалось, что из 16 рисунков Ахматовой, сделанных Модильяни, сохранился один, остальные погибли. Сохранившийся рисунок воспроизведен на супер-сборника Ахматовой «Бег времени» (1965 г.). Но оказалось, что это не так. Студентка МГУ приехала в Лондон, пришла на выставку в Британский музей и узнала Ахматову в рисунке, подписанном «Сидящая обнаженная». Не узнать нельзя даже в газете. Как возможно такое в Британском музее?

Другая заметка о книге Соломона Волкова «Санкт-Петербург. История культуры». Книга опубликована на английском языке и уже переведена на многие другие языки. Издателя для русского оригинала не нашлось*. Каждой из шести глав, составляющих книгу, предпослано краткое ее содержание. Даже эти заметки вызывают желание поскорее взять книгу в руки. «Глава 6, в которой город становится героем «Поэмы без героя» и, выживший вопреки всему и пестующий свой миф в подполье, обретает право вернуть свое первоначальное имя. Медный Всадник продолжает свой вечный галоп, но куда? Это Петербург Иосифа Бродского и его друзей по творчеству — независимых и жизнестойких поэтов, писателей, художников, музыкантов, на ком зиждется духовная судьба этого замечательного города».

Книга, наверное, очень дорогая. Как поскорее достать и прочесть?

Поразила книга Ирмы Кудровой «Гибель Марины Цветаевой». Три небольшие главы: «Большево», «Лубянка», «Елабуга» и приложение с письмами Цветаевой. Оторваться невозможно. Кажется, что все уже известно, все мы уже знаем и понимаем. Но нет, не все. До дна этой бездны не добаться. Книга написана спокойно и честно:

* К счастью, я ошиблась. С опозданием на пять лет книгу опубликовало издательство «Независимая газета», Москва, 2001. Спасибо ему.

это еще не подтверждено документами, а вот это подтверждено, об этом можно только гадать, это известно точно... Очень хочется запомнить стихи Цветаевой, обращенные к Сергею Эфрону. Цветаева переписала их в письме к Ариадне Берг и подписала: «Коктебель, 3-го июня 1914 г. — Ваня, 1937 г.».

В его лице я рыцарству верна,
— Всем вам, кто жил и умирал без страха! —
Такие — в роковые времена —
Слагают стансы — и идут на плаху.

В голове вряд ли, но в компьютере эти строчки останутся. Спасибо, компьютер.

Несколько минут — большая редкость — разговаривала утром с Юлей. Она вернулась домой после беседы с учителем иврита. Учитель не любит Няму больше всего за робость, давно поставил на ней крест. Поразила Юлиному совету похвалить ее за только что достигнутые успехи. Успехи, не без сопротивления, признал. Слушала Юлю, а сама была на улице Вавилова, вернее, в первой Юлиной школе у нас под окнами. Измученная учительница первого класса Евгения Васильевна. Жидкие бесцветные кудельки на голове, серые щеки, мятая юбка. Перемена. В душном классе беснуются сорок первоклашек. «Я не могу ее учить. Она меня боится. Я как скажу: «Яглом!», она вся дрожит», — возмущается Евгения Васильевна. Осторожно прошу улыбнуться Юльке, назвать Юлей, похвалить, хотя бы зря. Евгения Васильевна неохотно соглашается. Просьба хватало ненадолго, ходить в школу приходилось часто. «Договорились, что зайду через месяц. Ждать месяц, конечно, не буду, — кипела Юлька, — на следующей неделе пойду снова». Колесо жизни. Кому рассказать об этом, кроме компьютера?

Поднимались с друзьями на гору Монаднек. Тропа трудная: камни, бревна. Трусилась, но поднялась и даже обошлась без нитроглицерина. Сначала шла очень медленно, потом втянулась. Пришла на несколько минут позже остальных. Первым поднялся Акива. Шел с рюкзаком, очень легко. 75 лет, между прочим.

Сверху был очень красивый вид на широкую долину с цепью невысоких холмов на горизонте. Сквозь дымку проглядывали изгибы реки, небольшие озера. По лесам внизу бежали тени от облаков. День был неяркий, что очень облегчало подъем, но видно было хорошо. Гора Монаднек...

«Наш городок» Торнтон Уайлдера вышел 1979 году. Год опубликования я, конечно, забыла. Встала, разыскала маленькую книжечку. Лежит в целлофановом пакете вместе с другими моими книгами под стеллажом в кабинете Акивы. В издательстве «Искусство» пьеса «Наш городок» ждала выхода в свет около трех лет. Значит, я переводила ее году в 76-м, т.е. 20 лет назад. Тогда впервые узнала о существовании горы Монаднек, городков Линкольна, Конвея, Северного Конвея. И через 20 лет поднялась на Монаднек. До самой вершины мы чуть-чуть не дошли, но это неважно. Колесо жизни — вот что удивительно. Скажи кто-нибудь тогда, во время бесконечных тоскливых переговоров об издании пьесы, что я увижу эти места... С трудом верю сама себе. А ты веришь мне, компьютер?

НЕ НАПИСАННЫЕ РАССКАЗЫ

Красавец эфрон

*А в той машине писаний
Красавец эфрон...
А. Галич. «Леночка»*

Беда случилась, как всегда, неожиданно. «Что-то висит перед глазом, — сказала Лара, — смотреть мешает, читать этим глазом совсем не могу». Один врач, другой. Наконец диагноз: разрыв сетчатки. Правдами и неправдами удалось попасть в глазную больницу в Благовещенском переулке — лучшее место в Москве. Лечащий врач проявляет внимание, нужно поблагодарить. На семейном совете решили, что сделать это лучше всего мне. Через знакомую буфетчицу Ларина подруга достала большую коробку хороших конфет. Я приехала в больницу. У двери кабинета Лариного врача сидели больные, ожидавшие приема. Спросила, кто последний, села. Узкий гряз-

ный коридор, по коридору бродят полуслепые старики и старухи в серых бумазейных халатах, бегают сестры с пипетками и глазными каплями. Больных перед дверью много, очередь движется медленно.

Минут через сорок из кабинета вышла сестра и объявила, что врач уезжает по срочному вызову. Больные покорно разошлись, я оказалась у двери. Сестра заметила коробку и толкнула меня в кабинет: «А вы чего дожидались? Вы же по другому делу! Надо было пройти без очереди!» В глубине кабинета за письменным столом сидела женщина в белом халате и что-то торопливо писала. Я стояла и повторяла про себя заранее приготовленные слова: «Моя фамилия Родман, моя сестра... вся наша семья... мы так волнуемся... пожалуйста, мы очень просим...» Женщина вдруг подняла глаза и увидела меня и коробку. «Моя фамилия Родман, моя сестра...» — начала я, стараясь говорить отчетливо. «Родман, ах да, помню, я понимаю, вы от чистого сердца,— прервала меня женщина,— давайте, давайте, простите, я тороплюсь...»

Сестра выпроводила меня в коридор. Лара стояла у дверей. «Посмотри на кого ты похожа,— сердито сказала она.— Езжай немедленно домой и сейчас же померяй давление. Я тебе позвоню, опаздываю на процедуру»,—уже на ходу крикнула она.

...Встали в 5.30 утра, вызвали такси. Приехали в глазную клинику раньше назначенного срока. Немного погуляли. В половине восьмого Акиву увели на операцию, предупредили, что операция продлится около двух часов. В фойе на креслах сидели больные, ожидающие вызова, родные, друзья. На низких столиках лежали журналы, свежие газеты. Каждые тридцать минут негромко позвякивали большие настенные часы с маятником. Через два с половиной часа меня позвали к телефону. Доктор Томас сказал, что все в порядке, но катаракта оказалась более сложной, чем он предполагал, поэтому операция затянулась. Еще через час сестра пригласила меня в послеоперационную палату.

Большая светлая комната, куда меня привели, меньше всего была похожа на больничную палату. Справа от входа стоял длинный полукруглый стол с телефонами и компьютерами — пульт управления хирургического отделения. Большую часть соседнего стола занимала кофейная машина. Левая половина комнаты была разгорожена

занавесками на отдельные кабинки. В одной из них в кресле-кровати полулежал Акива и пил кофе с печеньем. Сестра указала мне на кресло рядом с ним и спросила, хочу ли я кофе. Машинально ответила: «Да». В то утро я все делала как автомат. Волновалась и zároveň заперла себя на ключ. Но глаза и голова работали четко. Сестра выдвинула на моем кресле подлокотник-столик, поставила пластиковый стаканчик с кофе и ушла. В кабинку вошел врач. Он нажал на кнопку в кресле Акивы, поднял изголовье повыше, сел, взял что-то со стойки с приборами и лекарствами, наклонился над Акивой, осмотрел его глаз, поправил повязку, улыбнулся и вышел.

Фойе, послеоперационное отделение, Акива с чашкой кофе, кабинка, где я с ним сидела — все, что я видела, казалось мне футурологическим фильмом. Сестра проводила нас в фойе и вручила сумку с многочисленными инструкциями и домашним телефоном доктора Томаса на случай непредвиденных осложнений. Дежурная в регистратуре вызвала такси. Через 10 минут мы сидели в машине, через 20 минут были дома.

Зимой доктор Томас занимался моими глазами, поэтому я знала, что на следующий день после операции он осматривает своих больных. Но мне не пришлось в голову, что этот порядок не нарушается даже 4 июля — в День независимости, один из самых больших американских праздников. Акиву оперировали третьего июля. Нас предупредили, что на следующий день из-за праздника здание клиники будет заперто, поэтому пройти на прием нужно через гараж. В клинику, не без труда, мы, в конце концов, попали. По пустым, гулким коридорам пришли в регистратуру. Вопреки обыкновению там не оказалось ни души. Только у двери в кабинет доктора Томаса сидело несколько человек с повязками на глазах.

Доктор Томас — эфиоп. Ему, наверное, лет сорок. У него прямые черные волосы, правильные европейские черты лица и очень темная кожа. Четвертого июля на нем были безупречно отглаженные брюки, белоснежная рубашка, и, может быть, потому, что он был без халата, в облике этого высокого стройного человека явственнее, чем обычно, проглядывало что-то царственное. Но гордо поднятая голова и сознание собственного достоинства сочетается у доктора Томаса с удивительно приятными манерами, тихим и необы-

чайню внятным голосом. Даже я хорошо его слышу и понимаю. От него исходит неподдельная теплота, его слова — опора и надежда, даже когда он говорит, что без операции не обойтись. Борясь с глаукомой, он лазером расширил мне каналы сначала одного глаза, потом другого, удалил катаракту с правого и левого глаза и каждый раз был неизменно терпелив, внимателен и заботлив. О его профессиональных качествах я не говорю — в Бостоне он считается одним из лучших офтальмологов. Как, когда он оказался в Америке, не знаю.

Состояние глаза Акивы удовлетворило доктора Томаса. После осмотра Акива получил очередную сумку с инструкциями и лекарствами и, на этот раз уже на метро, мы вернулись домой.

Русский француз

Что не высказано, то не существует.

Андрей Макин. «Время реки Амур».

Андрей Макин родился в 1957 году в Сибири в одном из лагерей ГУЛАГа. Родители неизвестны. Мальчика усыновила семья из Красноярска. Бабушка Шарлотта научила его французскому языку. Андрей кончил МГУ, преподавал в Новгороде, в 1987 году вместе с группой преподавателей приехал во Францию, назад не вернулся. Голодал, ночевал в склепах на кладбище и писал романы. Романы не печатали. Макин писал по-французски, в одном издательстве его роман приняли за перевод и попросили принести оригинал. Он перевел свой роман на русский язык, принес рукопись, у него на глазах ее бросили в корзину для мусора.

«Я делал буквально все, чтобы меня опубликовали. Назывался разными именами, менял заглавия, первые страницы, заклеивал пакет неопреновой лентой, чтобы убедиться, что его открывали, но пакет возвращали мне в точно таком же состоянии, с нетронутой лентой и аргументированным отказом!»*

Макин продолжал писать. В 1990 году издательство «Лафон» опубликовало его роман «Дочь героя Советского Союза». В

* «Новое русское слово», 17–18 февраля, 1996 г. Перепечатка из газеты «Монд», Париж.

1992 году увидел свет роман «Исповедь поверженного знаменосца», в 1994-м появились сразу два романа: «Время реки Амур» и «Французское завешание». И тогда свершилось: в 1995 году Андрей Макин получил Гонкуровскую премию. Безвестный русский француз Андрей Макин стал признанным писателем. Издательства охотились за рукописями Андрея Макина, его пригласили преподавать русскую литературу и стилистику в Эколь нормаль.

«Время реки Амур». Жаль, что русский перевод заглавия передает только конкретный смысл: время, когда Андрей Макин жил вблизи реки Амур. Но «amour» по-французски значит «любовь», поэтому во французском заглавии есть еще другой смысл: время потока любви. Любви в глуши Сибири, у берегов Амура. Читаю Андрея Макина запоем. Со страхом смотрю, как тает у меня в руках «Французское завешание». Жаль расстаться с этой книгой. Набрасываю конспект, хочу пересказать «Французское завешание» Няме.

С наслаждением читаю по-французски. Изредка заглядываю в словарь — в старенький, еще студенческий мой словарь, составленный К.А. Ганшиной. Заботами Акивы перед отъездом его отдал хорошему переплетчику. Он сделал новую плотную обложку и наклеил на нее кусок старой. На пожелтевшем коричневом прямоугольнике крупными темно-красными буквами написано: «Французско-русский словарь». Смотрю на истертые буквы и отчетливо вижу нить времени, протянувшуюся из Москвы в Бостон. Она бежит дальше, жаль, что деревья за окном мешают мне разглядеть, куда. Но зеленые, желтые и красные листья так полны жизни и света, что я верю: нить не оборвется. Сегодня верю. И тороплюсь рассказать, написать — что не высказано, то не существует. Спасибо, Андрей Макин. Встреча с единомышленником — всегда радость и поддержка.

ДНЕВНИК 11 августа. Вчера позвонили и сказали, что для нас Брайтон, 1996 есть путевки в Испанию. Обрадоваться почему-то не могу, но на радость надеюсь.

Сегодня проснулась с мыслью, что книгу, которую мне хочется написать, надо, наверное, назвать «Годы странствий». Все наоборот в нашей жизни: годы странствий не в юности, а на старости лет.

Мои теперешние «путевые заметки» нужно как-то объединить с рассказами о прошлом — со странствиями в прошлое, неизбежными в старости. Время и силы... Где найти время? Откуда взять силы?

ДНЕВНИК 14 октября. Мы вернулись из Испании 9 октября 1996 года. Сегодня 14 октября 2000 года. Неужели мы ездили в Испанию четыре года назад? Кажется, что недавно. Так ярко все помнится — и то, что видела, и то, как. На самом деле поездка эта была давно. За поворотом. Вернее, до поворота. До поворота в старость. На последнем отрезке пути, оказывается, тоже есть повороты. В Испании я этого не знала. Испания была счастьем и праздником. Была и осталась. Письмо в Москву об этой поездке писала долго, но это тоже было счастьем и праздником, часто трудным, мучительным, но все равно счастьем и праздником.

ПИСЬМО В МОСКВУ

Испания. 20 сентября—9 октября 1996 года

*Per aspera ad astra
Через тернии к звездам*

Часть I. Per aspera

Автобус медленно поднимается в гору. Выжженная солнцем трава, выжженная земля, бурая, растрескавшаяся, низкие изгороди из камней едва отличимы от травы. Серые скалы, зеленые кроны сосен тут и там, низкое выцветшее небо — Кастилия, сердце Испании.

Крест виден издали. Сложенный из нетесаного камня, он будто вырастает из серых глыб в середине огромной гранитной чаши. Дорога изгибается на склонах каменистых холмов в предгорьях Гвадаррамы. Крест то исчезает, то снова появляется.

Наконец остановка. Долина павших. Мемориал, воздвигнутый по приказу Франко. Здесь погребены участники войны 1936—1939 гг. Несколько лет, пока строился Мемориал, сюда свози-

ли останки республиканцев и фалангистов, покоренных во всех концах страны. Сейчас под сводами собора покоится 45 тысяч человек. В алтаре могила Франко.

Мемориал, построенный по проекту архитектора Антонио Виа-нетто, поражает и замыслом, и исполнением. В середине горной чаши высится огромная скала. В ней высечен храм, на куполе которого стоит каменный крест. В храме широкий просторный неф, высокие потолки — невозможно представить, что находишься в подземелье. Диаметр купола 100 метров. Высота креста на куполе 150 метров. Цифры не укладываются в голове.

Алтарь сделан в виде ротонды. В центре стоит тонкий металлический крест. Позади него — иконостас, перед крестом — плита в полу с фамилией Франко. Купол в центре нефа украшен мозаичным панно с летящими, парящими в небе фигурами. По обеим сторонам нефа стоят четыре женские статуи со склоненными головами — воплощение скорби Испании. Над входом в храм нависает скульптура лежащей на боку женщины, обнимающей павшего воина. Собор — памятник высоте духа, неодолимости гора.

Испания — католическая страна. Согласно официальной статистике, 99% испанцев регулярно посещают церковь, соблюдают католические обряды и отмечают праздники. В том числе 10 мая — День поминовения усопших, когда в Долину павших съезжаются тысячи людей. Деления на фалангистов и республиканцев больше не существует. Несмотря на ужасы гражданской войны, унесшей больше миллиона жизней, Испания осталась единой страной. Благодаря Франко.

Франко... Республиканцы... Восторги, тревоги, военные сводки с незнакомыми названиями городов, быстро ставшими привычными: Мадрид... Барселона... Теруэль. Солнечный зимний день. В Столешниковом как всегда много людей. У витрин мехового магазина, почти на углу Петровки, рядом с большими плетеными корзинами стоят женщины в белых халатах поверх зимних пальто и в необычных красных шапочках пирожком. В корзинах лежат апельсины — испанские. Их покупают по одному, по два. Цена зависит от размера. В руках у продавщиц картонки с кружками разной величины. Дорогие апельсины не проваливаются в самый большой кружок, более дешевые —

в маленький. «Выбери какой хочешь», — говорит папа. Я осторожно беру в руки яркий, скользкий апельсин и кладу на картонку.

Промелькнуло... шестьдесят лет. «По ком звонит колокол» Хемингуэя давно опубликован на русском языке, многие читали «Памяти Каталонии» Оруэлла. Мы очень поумнели с тех пор. Но то, что сделал для Испании Франко, наверное, нельзя себе представить, не увидев Испанию собственными глазами.

Наша туристская группа — 44 человека из разных городов США — летела в Испанию прямым рейсом Нью-Йорк—Мадрид. Добраться из Бостона в Нью-Йорк нетрудно. Но для нас путешествие началось необычно: из-за неисправности самолета рейс Бостон—Нью-Йорк, согласованный с вылетом самолета Нью-Йорк—Мадрид, отменили. Срочная перерегистрация багажа, билетов, считанные минуты, чтобы добежать до другого терминала, посадка в последнюю секунду, но главное — мы прилетели в аэропорт Ла Гардиа, а не в аэропорт Кеннеди, откуда наш самолет вылетал в Мадрид. Спасла четкая работа аэропортов. Из Бостона сообщили, что опаздывает группа туристов. В аэропорту Кеннеди, куда мы добрались из Ла Гардиа, пересаживаясь с автобуса на автобус, нас ждали. Мгновенная регистрация, снова бег, на этот раз по нескончаемым коридорам, наконец, в самолете, летим в Мадрид. После такого начала всю ночь не могла заснуть ни на минуту.

Безоблачное солнечное утро. Багаж уложен. Автобус трогается. За окном плоская равнина. Желтый песок, редкие пучки жухлой травы, вдали в синей дымке пологие холмы — отроги Гвадаррамы. Мадрид появился внезапно. Песок и холмы исчезли, шоссе стало оживленной улицей, по обеим сторонам улицы появились девяти-, десятиэтажные башни из красного кирпича. Зеленые газоны, детские площадки, деревья, клумбы — чисто, красиво и, наверное, удобно. Но такие районы теперь узнаешь без труда — Черемушки, правда, мадридские. Строительство этого большого жилого массива было начато в 1967 году по приказу Франко. До 1967 года жилых домов для жителей с низким доходом в Мадриде не строили. Так началось наше путешествие по Испании.

В последний вечер в Мадриде мы много гуляли по городу. Небольшими улочками — была среди них и улица Кармен — дошли от

нашей гостиницы до площади Пуэрто дель Соль и пошли по широкому проспекту, любуясь большими красивыми зданиями с колоннами, балконами, лепными карнизами, с мордами львов и слонов на фасадах, со статуями на крышах. Вечером все они были хорошо подсвечены и выглядели очень торжественно. Это Мадрид Бурбонов, как его здесь называют. Такой стиль нравился Франко, и на этой богатой улице архитекторы строили дома в его вкусе.

Мадридского университета мы не видели. Нам рассказал о нем Рафаэль, наш экскурсовод, на редкость знающий, образованный человек, очень украсивший эту поездку. Во время гражданской войны университет был превращен в развалины. В пятидесятые годы по приказу Франко он был отстроен и оборудован заново вместе со студенческим городком. Сейчас Мадридский университет — один из главных учебных и научных центров страны.

Заботам Франко обязана своим воскрешением и Национальная библиотека, тоже разрушенная во время войны. Библиотеку, расположенную в центре Мадрида, мы видели. Она построена из серого камня, фасад с широкой лестницей в два марша и высокими дверями из стекла и металла украшают статуи и бюсты известных испанских писателей. Здание кажется несколько тяжеловесным и переукрашенным. На негомотришь без восхищения, но с уважением. А можно иначе смотреть на библиотеку с двадцатью пятью читальными залами, с фондом редких изданий, насчитывающим около полутора миллионов единиц?

И как относиться к диктатору Франко, поднявшему страну из развалин и во многом предопределившему сегодняшнее благополучие Испании? Это не риторический вопрос, потому что в Испании, не участвовавшей в двух кровавых войнах, пережитых Европой в XX веке, трагедия гражданской войны и время Франко — это все еще настоящее. Прошлое Испании начинается с того, что было до гражданской войны, и уходит далеко в глубь веков.

Франко родился в 1892 году. Отец его был флотским офицером. После окончания военного училища в Толедо будущий диктатор воевал в Марокко, где в 22 года стал самым молодым капитаном, а в 33 — самым молодым генералом испанской армии. В 1928 году Франко был назначен директором военной академии, в 1935 году стал

начальником штаба, в следующем году был послан на фронт в Марокко.

Разразившийся в 1931 году экономический кризис и связанные с ним политические неурядицы вынудили короля Альфонса XIII отречься от престола и бежать в Париж. Политические бури и парламентские бои привели к вооруженным столкновениям. Началась гражданская война. Исход ее известен. Менее известно, что после окончания войны Франко объявил всеобщую амнистию и предоставил возможность всем желающим уехать из страны. Редко упоминается о том, что личная встреча Франко с Муссолини, состоявшаяся в Италии, не привела к дружбе двух диктаторов. Не сблизился Франко и с Гитлером. Франко не преследовал испанских евреев и, более того, открыл границу для евреев, бежавших из Франции. Несмотря на настояния Гитлера он отказался послать испанские войска на восточный фронт и не разрешил гитлеровской армии использовать территорию Испании, чтобы напасть на Гибралтар с суши. В 1940 году, почти сразу после окончания гражданской войны, по указу Франко в Испании было введено всеобщее бесплатное образование и бесплатная медицинская помощь. В 1955 году Испания вошла в ООН.

Франко оказался на редкость дальновидным диктатором. В 1947 году, опасаясь смут и раздоров после своей смерти, он издал закон о престолонаследии, согласно которому после его ухода из политической жизни в Испании восстанавливалась конституционная монархия. Закон этот был претворен в жизнь. Во время одной из поездок в Париж Франко познакомился с семьей покойного короля Альфонса XIII и обратил внимание на одаренного внука короля — Хуана Карлоса. С согласия отца он увез мальчика в Испанию, дал ему прекрасное образование и в 1959 году назначил Хуана Карлоса Бурбона своим преемником. В 1975 году Франко умер. Его сын, военный, поселился в Аргентине. Дочь со своими двумя детьми живет в Париже, где владеет парфюмерным магазином. Хуан Карлос благополучно царствует в Испании. Так как надо относиться к диктатору Франко?

Хуан Карлос внес много нового в жизнь государства. Испания Франко, отгороженная от мира глухой стеной, достойной соперницей железного занавеса, стала при Хуане Карлосе частью Европы. И первой достопримечательностью, которую мы увидели в Мадри-

де, были Ворота Европы. Это странное сооружение из двух наклонившихся друг к другу высоких параллелепипедов построено в 1989 году. Параллелепипеды стоят по обе стороны бульвара Кастельяно, красивой широкой улицы с аллеей акаций в середине, что, по мнению испанцев, придает ей сходство с Елисейскими полями. Сделанные из стекла и металла, Ворота Европы не украсили бульвар, но стали символом новой Испании.

Мадрид — это, на самом деле, не один город, а несколько городов, не похожих друг на друга. Старый официальный город с громоздкими зданиями министерств, среди которых самое красивое — Министерство сельского хозяйства с римской квадригой на фронтоне, а самое громоздкое — Министерство обороны, занимающее целый квартал. Новый деловой город со множеством современных высотных зданий банков, страховых обществ, торговых и промышленных компаний, гостиниц, огромных супермаркетов.

Исторический город соборов и памятников, с названиями улиц и площадей, которые хочется повторять вслух, как стихи. Площадь Лопе де Вега с монастырем, где Лопе де Вега преподавал богословие и литературу. Площадь Испании с памятником Сервантесу: писатель стоит на высоком постаменте с фигурами Дон Кихота, Санчо Пансы и Дульсинеи. Площадь Кастилии с огромным круглым памятником Кастилии, самой старой провинции Испании. Площадь Христофора Колумба с удивительным памятником Колумбу: круглая ажурная башня со статуей Колумба украшена изображениями кораблей и сценами прощания, под башней устроен культурный центр с читальным залом, комнатой для игр и концертным залом. На площадь выходит фасад Театра балета, где работает Майя Плисецкая. Рядом улица Гойи, где Гойя действительно жил.

Есть еще Мадрид тихих улиц и жилых домов со ставнями на окнах и балконами, увитыми цветами. По этому Мадриду вокруг площади Кортесов хорошо бродить поздним вечером. Заглянуть в ресторанчик с двумя-тремя столиками, где официант увлеченно беседует с единственным посетителем. Постоять у открытой двери маленького бара и посмотреть, как потягивает пиво и разговаривает небольшая компания друзей или просто завсегдатаев. Удивительные витрины в этих заведениях. В одной стоит бокал с красным вином, рядом на

блюдецке лежит несколько черных маслин. В другой расстелена белая салфетка, на ней стоит плетеная корзинка со свежими грибами.

Праздничный Мадрид тут же рядом, на Пуэрто дель Соль. В 11—12 часов вечера полны рестораны и кафе. Столики выставлены на площадь, бегают официанты, говор, смех. Рядом журчит фонтан, много гуляющих. Полно людей в нарядных магазинах. Одежда, обувь, парфюмерия, украшения — все красиво и заманчиво. А вот что-то непонятное: «Дом мяса». Внутри... Внутри с крючьев в потолке свешиваются копченые окорока. Под каждым прикреплена белая пластмассовая мисочка, чтобы капелька жира не упала на покупателя. На прилавках лежат копчености, ветчина, колбасы, среди них салами в семь обхватов и тоненькая как тростинка. В соседнем отделе такое же изобилие сыров и пирожков на все вкусы, тут же пиво и кофе. Все, что хочешь, отрежут, взвесят, завернут, подадут на тарелке, только скажи. Праздник. На Пуэрто дель Соль каждый вечер праздник.

И есть еще Мадрид музеев. И в нем два чуда: Прадо и Королевский дворец. О Прадо писать невозможно. В Прадо нужно, наверное, неделю ходить ежедневно. Мы провели в Прадо три часа. Самым большим потрясением был для меня Гойя: панно, написанные для шпалерной мастерской, портреты, сцены войны. Смотреть картины было трудно. Разноязыкая речь экскурсоводов, плотная толпа посетителей, спешка, боязнь потерять свою группу — все мешало видеть и понимать. Но Гойя, Эль Греко, Веласкес, Босх, Брейгель — все равно такой щедрый подарок, что забыть Прадо нельзя.

Отказавшись от прогулки вокруг Прадо, мы пошли в Центр искусств королевы Софии, где выставлена «Герника» Пикассо. По дороге видели музей Тиссена-Борнемиуса. Увы, о том, чтобы зайти, не было и речи: времени оставалось слишком мало и силы уже почти иссякли.

Перед входом в Центр молодые люди собирали деньги в помощь больным СПИДом. Кольнула мысль, что это подходящее вступление. «Гернику» смотрела с тревогой. Что изображено на этом огромном полотне? Распад и гибель современной жизни? Прообраз хаоса будущего? Странно, но эта историческая картина никак не связывается с историей, с прошлым. Она живет настоящим, она вся устремлена в будущее. Наверное, поэтому чем дольше на нее смотришь,

тем тревожнее становится на душе и тем труднее оторваться от картины. Летом в Нью-Йорке я видела очень интересную выставку портретов Пикассо, вернее, выставку картин с изображениями его жен и возлюбленных. Там на стенах полыхала любовь. В «Гернике» полыхает гнев. Многообразие Пикассо, кажется, нет предела.

В Королевский дворец шли из гостиницы пешком. Недалеко от дворца видели массивный крест на могиле Веласкеса. Веласкес был похоронен в церкви, разрушенной во время войны с Наполеоном. Церковь не восстановили, и могила оказалась на улице.

Часть города, прилегающая к дворцу, некрасива. Или показалась некрасивой из-за того, что она перестраивается. Лязг, скрежет, грохот, перерывы улицы, забитые машинами, и вдруг другой мир — красота, гармония, тишина.

Мадридский Королевский дворец — его строительство продолжалось около 70 лет и закончилось почти одновременно с XVIII веком — поражает роскошью. Но не кричащим, ошеломляющим богатством, а роскошью изысканной, утонченной, радующей ум и сердце. Удивительно красивые многоцветные мраморные полы дворца, ступени широких лестниц из цельных кусков мрамора, высокие колонны из цельных мраморных глыб. Удивительно красивые люстры. Не похожие друг на друга размером и формой, они безупречно вписываются в интерьер самых разных комнат и придают обстановке законченность произведения искусства. Удивительны сами комнаты. В одной в застекленных шкафах хранятся скрипки Страдивари и стоит очень красивый небольшой рояль. Другая отделана в стиле так называемого китайского рококо. По ее белым стенам и потолку вьется замысловатый «китайский» узор из металлических стеблей, листьев и бутонов. В обеденном зале стоит овальный стол на 160 персон, изящный и легкий несмотря на свои размеры. Сейчас за этим столом тоже происходят официальные обеды.

Трудно уйти из изысканных покоев дворца и вернуться на шумные улицы. Трудно после целого дня экскурсий, выставок и прогулок по городу уснуть вечером, когда оживает и стоит перед глазами увиденное за день. Трудно встать в семь утра, быстро позавтракать, сообразить, что понадобится во время очередной поездки, например в Сеговию, и бежать к автобусу, где Рафаэль всю дорогу будет

рассказывать об Испании — о той, что за окном автобуса, и о той, которую еще предстоит увидеть.

В Сеговии трудно поверить собственным глазам — акведук, тот самый водопровод, построенный еще рабами Рима, пересекает улицу с автобусами. В просветах арок, как ни в чем не бывало, сияет голубое небо и в подтверждение чуда рядом на белом постаменте стоит черная волчица с двумя младенцами и чуть ниже написано: «Рим — Сеговии по случаю двухтысячелетия акведука. 1974».

Но скорее, скорее, автобус уже трогается, мы едем в Алькасар. Этот замок редкой красоты начали строить римляне. Время известно: 79 г. д. н. э. Замок многократно достраивался, перестраивался и в конце XIV в. принял свой теперешний вид, пленивший Диснея, который не раз использовал макет замка в своих фильмах. В живописности с ним могут соперничать только окрестности.

Замок стоит на зеленом уступе горы. Вокруг лежат пологие холмы с побуревшей за лето травой. В одно из длинных узких окон замка видна изгибающаяся серая лента дороги, несколько домов из желтого песчаника, повыше на склоне церковь с четырехугольной колокольной под черепичной крышей и внизу река с неподвижной водой и позеленевшим от времени мостом. Смотришь в окно, и шемит сердце, глаза щиплет, а рот растягивается в улыбке. Какая-то терпкая красота разлита вокруг. Она особенно хватает за душу, когда стоишь на открытой площадке замка. Но это зрелище требует кисти художника или дара поэта. Я умолкаю.

И снова автобус, и Рафаэль уже рассказывает про Эскориал. Пусть рассказывает, я не буду. Все удивительно в этом небольшом городе: свежий ветер с гор, обилие зелени, серая громада дворца. Дворца-крепости, дворца-тюрьмы, дворца-музея (в Эскориале много хороших картин), дворца-склепа — в одном из залов, похожем на пантеон, стоят, как книги на полках, гробы усопших королей и королев, в прилегающих комнатах — гробы их умерших детей.

Дома, где живет Владимир Спиваков, мы не видели, но Рафаэль, конечно, упомянул и об этой достопримечательности Эскориала. И вот уже скрылся из глаз Эскориал. Промчался еще один день. За окнами автобуса снова иссохшая, жаждущая воды земля, блеклое, будто выгоревшее на солнце, небо. Автобус останавливается. Низкий

парапет. Глубоко внизу в обрывистых берегах течет обмелевший зеленый Тахо. На отлогом склоне другого берега в петле обессиленной реки лежат на солнце беспорядочно разбросанные золотисто-желтые кубики домов, упирается в небо колокольня собора, высится прямоугольник замка с угловыми башнями. Толедо. Мы приехали в Толедо.

Какая удивительная, нет, какая обычная для Испании судьба у этого города: римляне, вестготы, мавры, евреи, христиане — все они внесли свою лепту в его историю, в его культуру. Начало Толедо положили римляне, построившие крепость в излучине Тахо. От нее уцелели только стены. Вестготы надстроили на стенах зубцы и переделали ворота, которые потом украсили мавры. И зубцы, и ворота тоже сохранились.

А кафедральный собор! Из-за тесноты улиц осмотреть собор снаружи невозможно, но и внутри это трудно из-за его огромных размеров, из-за его несметных богатств: лес колонн из красного дерева, три органа, привезенных из Германии, 345 отлитых из бронзы скульптур в алтаре, множество мраморных скульптур в нишах стен — целый мир, более двухсот лет создававшийся трудом сотен и сотен людей. И какое смешение стилей: готика, барокко, ренессанс. И какое единение. Не только архитектурное, но и духовное. В этом католическом храме сохраняется древнейший христианский ритуал в Западной Европе: каждое утро в одной из капелл идет служба по обычаям вестготов. Удивительный город Толедо. Испанский город Толедо.

В этом городе в одной из немногих уцелевших синагог XII в., пережившей превращение в христианский храм, сохранились колонны и арки в мавританском стиле, рельефы и орнаменты на стенах, под которыми недавно обнаружили старую роспись. Еврейский квартал в Толедо с его характерными тесными улочками вливается в мавританский с улочками еще более тесными из-за домов с балконами, украшенными лепными узорными решетками. Толедо, один из самых испанских городов Испании, поразительно единен в своем многообразии.

Сменяют одна другую маленькие площади неправильной формы, более широкие улицы. На одной из них стоит скромная церковь Святого Фомы, и в ней чудо: вписанная в арку капеллы картина Эль Греко «Похороны графа Оргазы». Картина вытянута вверх. Внизу

два склоненных священнослужителя в золотистых одеяниях укладывают тело. Их будто стеной ограждает тесная группа участников похорон. Мужчины в черной одежде с одинаковыми белыми воротниками, подчеркивающими разнообразие лиц — каждое законченный портрет, — служат контрастным фоном для тела графа, священнослужителей и двух фигур в белом по бокам от них. Все они словно замерли, потрясенные зрелищем смерти. Над стеной мужчин вихрь ангелов, святых, поток людей, устремленных вверх к Христу. Внизу центр притяжения — тело Оргаза. Вверху под сводом — фигура Христа. Извечное противоборство земли и неба. Но картина едина и удивительно гармонична. В чем ее тайна? Откуда эта гармония? Почему в изображении смерти звучит гимн жизни? Трудно осмыслить, трудно вместить в себя то, что в нее вложено. Трудно расстаться с ней и трудно унести с собой такую ношу впечатлений.

Трудно и радостно. Как трудно и радостно ходить по улицам Толедо, смотреть на этот город, сотворенный из мечты, из духа человеческого, запечатленного в громаде собора, в храмах, в домах, во всех этих желтых, пропитанных солнцем строениях из песчаника, теснящихся на обвитом рекой клочке земли. Хочется остановиться, страшно хочется остановиться, снова постоять у парапета, вернуться в собор, побродить по узким улицам, зайти еще раз в церковь Святого Фомы, но наш властелин-автобус неумолим.

Позади остался Толедо, уже позади и Мадрид. За окном снова плоско, переливы желтых и коричневых тонов нарушают только купы оливковых деревьев, иногда ряды саженцев винограда. Какая скудная, какая гордая, красивая земля вокруг.

Недолгая остановка в Ламанче. Памятник Дон Кихоту, долбленое корыто у входа в стилизованную харчевню с белеными стенами и соломенной крышей. Внутри харчевни современное кафе и магазин сувениров.

Но вот дорога пошла вверх. Груды камней, выбросы лавы, будто полчище серых воинов, подступают вплотную к шоссе. Мы поднимаемся на Сьерру-Неваду. Наконец, перевал. Перед нами Андалузия. Как быстро все изменилось вокруг. В Андалузии коричневая лоснящаяся земля, до горизонта тянутся аккуратные ряды оливковых деревьев, совсем молоденьких и взрослых, похожих на лохматых

лошадок. Тут и там видны белые дома в окружении садов. По сторонам дороги на крутых склонах растут посаженные в шахматном порядке молодые деревья, каменные склоны укреплены сетками. Невозможно представить себе, сколько труда вложено в каждую пядь этой земли.

Автобус идет все медленнее. Сомкнулись белые оштукатуренные стены невысоких домов с глухими фасадами и внутренними двориками, украшенными цветами и зеленью. Мы приехали в Кордову. Из времен далекого римского прошлого Кордова сохранила память о том, что здесь родился Сенека, и мост через Гвадалквивир. Мост, как ни удивительно, в хорошем состоянии, а Гвадалквивир обмелел, зарос камышом и уже давно не «бежит» и не «шумит».

Из времен халифата в Кордове сохранилось больше: знаменитая мечеть, ставшая в XIII в. собором. Снаружи из-за многочисленных переделок она похожа скорее на крепость, чем на место служения Богу. Но внутри ее красоту не разрушило даже превращение мусульманского храма в католический.

Мавры строили эту мечеть около двухсот лет, в VIII–X вв. Мрамор привозили из Египта, ливанский кедр из Ливана. Когда ходишь сейчас среди ее 850 розоватых колонн и любуешься сводами и арками в мавританском стиле, возникает странное чувство, что попала в заколдованный лабиринт. И уже не кажется удивительным, что, победив мавров, испанцы, пораженные красотой мечети, не разрушили ее, как намеревались, а удовлетворились переделками и превратили в собор.

Несколько часов в Кордове пролетели как миг. Мечеть, прогулка по городу — путаница узких улиц, желтое, вытянутое в длину здание медресе, старинный университет с красивым готическим порталом, сейчас Дворец выставок и конгрессов Андалузии, памятник Маймонида из черного гранита, крепость вестготов, вокруг которой мавры разбили сад, где посадили апельсиновые и мандариновые деревья, привезенные из Марокко, — так много интересного вокруг, что разбегаются глаза, не хватает дыхания. Жизнь в темпе Allegro требует предельного напряжения физических и душевных сил.

«В 1971 году король Хуан Карлос принес извинения за изгнание еврейского народа в 1492 году, — на ходу рассказывает Рафаэль. —

В Испании начали восстанавливать памятники еврейской культуры, в частности здесь, в Кордове». Но мы, как ни обидно, уже прощаемся с Кордовой. Автобус набирает скорость и мчится на юг.

Мчится автобус, и мчится время. В Севилью мы приезжаем вечером. Гостиница «Фердинанд III» стоит на старой узкой улице. Небольшой холл, крутая лестница наверх в номера и вниз в ресторан, тесный, всегда перегруженный лифт и хороший благоустроенный номер на третьем этаже. Ни присесть, ни умыться после дороги нет времени. Бегом по лестнице спускаемся в ресторан, где нас ждет обед, хотя по нашим представлениям настало время ужина. Хорошо организованное самообслуживание ускоряет процесс поглощения пищи, но изобильный шведский стол и ограниченные возможности собственного желудка требуют серьезных раздумий. С едой, наконец, покончено, и те из нашей группы, кто еще в состоянии двигаться, выходят на улицу.

Высокое темно-синее, почти черное небо с редкими крупными звездами. Теплый воздух, незнакомые ароматы — вина? пряностей? Узкие, плавно изгибающиеся улицы иногда расширяются. На маленьких площадях за столиками сидят, что-то едят и пьют люди. Негромкие разговоры, приглушенный смех, звуки гитары. Парами, группами проходят парни и девушки, смеются, переговариваются тоже в полголоса. Непривычный покой царит на этих улицах, покой и радость. И хотя ощущение сказки, волшебного сна не отпускает ни на минуту, мысль, что этот город, как говорит легенда, основал Геркулес, не укладывается в голове. Слишком здесь все полно жизни — сейчас, сию минуту.

Узкая улица вдруг вывела на большую площадь. Высокие, мощные стены, башни, своды — собор, знаменитый севильский кафедральный собор, третий по величине в Европе после собора Святого Петра в Ватикане и кафедрального собора в Милане. В 1401 году, изгнав из Севильи мавров, христиане дали обет построить такой огромный собор, что их сочтут сумасшедшими. Им понадобилось всего 150 лет, чтобы осуществить свой замысел. Созданное ими безумие в камне действительно производит ошеломляющее впечатление. Рядом с собором высятся стены огромного замка XIV в., над замком, над собором темное небо в ярких звездах, а в воздухе стру-

ится радость — Севилья! Мы в Севилье. Неужели этот вечер после долгого трудного дня не выдумка, не сказка?

Неутомимый Рафаэль уже снова что-то рассказывает и ведет нас по узеньким улицам еврейского квартала. «В начале XIX в. в Севилье жил Вашингтон Ирвинг, он был тогда послом США в Испании... Завтра вы увидите дом, где жил Бомарше...» Молодые ребята, гитарист и певец, подходят к нашей группе, ждут перерыва в объяснениях, поют, протягивают шапку, добродушно, без навязчивости.

А мы уже вышли на площадь Сады Мурильо. В темноте плохо видны дома, окружающие небольшой сквер с беседкой из кованого железа. Когда-то здесь стояла церковь, где был похоронен Мурильо. В 1808 году французы ее разрушили и теперь в память о Мурильо стоит только беседка.

И снова узкие улицы, и снова площадь, на этот раз довольно большая и хорошо освещенная. Но неба не видно, потому что над площадью натянут тент. Площадь Сан-Сальвадоре — место встречи молодежи. Днем, когда очень жарко, тент спасает от солнца тех, кто приходит сюда перекусить, выпить стакан вина, поговорить с друзьями. Вечерами на площади течет своя радостная жизнь. В будний день в половине двенадцатого ночи здесь жарят каштаны, раздаются приглушенный смех, слышатся переборы гитары.

Но ранним утром улицы Севильи пустынные. В половине восьмого еще совсем темно, над головой все то же почти черное небо. И вдруг стремительный восход. Все вокруг розовеет, желтеет, исчезают звезды, и через 20—30 минут ярко светит солнце. В 9 утра еще холодно, в 10 уже жарко, больше +30°C. День вступает в свои права.

Наш автобус объезжает территорию Всемирной выставки 1992 года. На плоских берегах Гвадалквивира громоздятся вычурные ультрасовременные павильоны. Глаз отдыхает только на легких, будто парящих мостах, перекинутых через реку.

После езды по шумным улицам современного делового города, после слишком подробного осмотра малоинтересного дворца Альфонса XIII, построенного к открытию Испано-американской выставки 1929 года, парк Марии Луизы — отдых и отрада. Высокие зеленые деревья, тенистые аллеи, тишина. И любопытный памятник севильского скульптора Валеры севильскому поэту Адольфу Бе-

керу. Огромный вяз с ветвями, опущенными вниз, как у ивы, опоясан скульптурной группой: белый мраморный бюст поэта на круглом пьедестале, по сторонам черные бронзовые Амур и пронзенная стрелой женщина, а на скамье, огибающей могучий ствол, сидят в романтических позах три красивые девушки из белого мрамора.

Девушки могут и посидеть, но мы нет. Мы уже расстались с парком и идем вдоль высокой чугунной ограды с медальонами, на которых написано: «Fabrica Real de Tabacas». Когда-то, когда фабрика работала, вдоль ограды пролегал ров, наполненный водой. Табак привозили из заморских владений Испании, он ценился очень высоко, поэтому фабрика, где девушки делали сигары и папиросы, тщательно охранялась.

Сейчас тут находятся биологический и химический факультеты Севильского университета. Во внутренних двориках (над некоторыми натянуты тенты) идет обычная университетская жизнь. Студенты куда-то спешат, некоторые собираются группами, что-то обсуждают. А в одном из дворики в круглом каменном бассейне стоят одна над другой три чаши, увенчанные фигурками ангелочков, поддерживающих бочку. Это тот самый фонтан, около которого когда-то завтракали работницы табачной фабрики. Если верить Мери-ме, у этого фонтана Кармен поссорилась со своей товаркой, попала в руки Хозе, а потом были горы, контрабандисты, красавец тореадор и опера Бизе. Стоять в этом дворе, у этого фонтана, видеть их воочию и так же отчетливо видеть кусочек своей давно прожитой жизни: Столешников, черное кресло, «как у Ленина», я в кресле с томиком Мери-ме — это такое сильное горестно-радостное потрясение, что от него трудно опомниться.

Но Севилья не ждет. Севилья — калейдоскоп, фейерверк. Чтoby хоть что-то увидеть за один день, переживания лучше отложить на потом. Знаменитое здание городского совета: очень красивое барокко XVII в. Во время гражданской войны часть здания была разрушена бомбой. Ее восстановили, но сознательно без барочных украшений — оставили зарубку на память. Для сегодняшних испанцев гражданская война — прошлое, неотторжимое от настоящего.

Интересный еврейский ресторан. Вход скрыт аркой из вьющихся растений. Стены небольших комнат украшены керамикой и ста-

ринным оружием, в переходах стоят рыцари в доспехах, и повсюду развешаны связки чеснока.

Удивительный оперный театр. К его боковой стене прилепилась старая уютная церковь, открытая только для актеров, которые приходят сюда молиться перед спектаклем. Сам же театр, построенный в 1840 году, переделали к выставке 1992 года, и теперь он представляет собой желтый куб с возвышающимся над ним синим цилиндром. На другой стороне улицы напротив этого странного громадного здания стоит небольшой, но не менее странный памятник Моцарту в стиле скульптур Шемякина.

Огромная конная статуя короля вестготов Фердинанда III, памятники Колумбу, Сервантесу, дом Сервантеса, интересные улицы, площади... Севилья-калейдоскоп, Севилья-фейерверк. Но в Севилье есть еще знаменитый кафедральный собор. Это огромное сооружение — город в городе — христиане воздвигли на месте разрушенной мечети, от которой уцелел лишь минарет, надстроенный и превращенный в звонницу — Джеральду, как ее теперь называют.

Строители собора добились своего: их творение оглушает, ослепляет, ошеломляет. В нем трудно стоять, ходить, смотреть. Здесь все очень большое: органы, часовни, порталы, колонны, алтари, иконы, картины, памятники. И в том числе символический памятник Колумбу: на внушительном постаменте четыре герольда-великана в пышных одеждах держат на плечах богато украшенный саркофаг. Собор строили больше ста лет. Краеугольный камень для него привезли из Вифлеема, органы — из немецких земель. Но сокровищ и украшений в соборе слишком много, в их нагромождении нет облагораживающего художественного замысла и, отягощенная роскошью и избытком, вера с трудом возносится к Богу в этом храме.

Правда, в соборе есть Джеральда. В этой высокой четырехугольной башне, стройной и легкой несмотря на размеры, удивительно гармонично сочетаются готическая христианская верхушка с башенками и крестами и стены бывшего минарета, украшенные восточным орнаментом. На Джеральду можно подняться по внутреннему пандусу, превращающему 34 пролета лестницы в пологую дорогу. Известно, что с верхнего балкона Джеральды открывается красивая панорама города. Но я осилила лишь 13 пролетов и была вознагра-

дена более скромным видом на севильские дома с белыми стенами и серыми черепичными крышами, на пальмы, возвышающиеся над домами, на один из балкончиков собора вровень с моим узким окном и на красивую башенку над ним.

И вот уже вечер. Торопливый обед, и мы снова на улице. Темное небо с крупными звездами, темные улицы старого города с огоньками баров и ресторанчиков. Столики выставлены на тесные улицы, за столиками едят и пьют вино спокойные, веселые люди. Заглядываем в один бар, в другой — хотим попасть на концерт фламенко. Севилья — родина фламенко и до сих пор славится исполнением этого национального испанского танца. На знакомой — уже знакомой! — площади Сады Мурильо нашли бар, где танцевали фламенко, но очередной концерт начинался в половине двенадцатого ночи, а на следующий день встать нужно было в семь утра. Благоразумие и усталость взяли верх. Мы удовлетвоались прогулкой и вернулись в гостиницу.

Ночь и день сомкнулись. Резкий звонок будильника. За окном черное небо, редкие звезды. Смутно видны круглая башня, перед ней куб другой башни, серая черепица плоских двускатных крыш пониже, повыше. На горизонте небо стремительно светлеет. Проходит пять-десять минут, и вот уже вдали прорезалась желтая полоса, из темноты выступили глухие желтые стены домов напротив. Полоса ширится, полнеба залито ярким солнечным светом, стены домов из желтых становятся оранжевыми. Настал день.

От зрелища торжествующего дня трудно оторваться. До черепичных крыш, до домов через улицу можно, кажется, достать рукой. Стены зданий, наверное, уже теплые. Хочется прикоснуться к ним, постоять на этой безлюдной улице. Сейчас об этом нечего и думать. Может быть, когда-нибудь потом... вернее, никогда. Скорее умыться, одеться, спуститься вниз и выпить кофе. В большом зале ресторана из-за гула голосов и звяканья посуды не слышно, что говорят рядом. Все торопятся. Крошечный лифт, конечно, занят. Поднимаемся по лестнице, берем вещи и спускаемся в холл. Прощай, Севилья.

Ловкие гостиничные мальчики укладывают чемоданы на тележки, подкатывают к маленьким закрытым грузовичкам, везут два квар-

тала, где запрещено движение обычного транспорта, и перегружают в экскурсионный автобус. Прощай, Севилья! Мы едем к морю.

Часть II. Ad astra

В долине Гвадалквивира выращивают виноград, оливки, хлопков, рожь, пшеницу. Солнца здесь сколько угодно, но воды нет, орошение искусственное. В Севилье, в Мадриде на улицах не видно лотков с фруктами и овощами. В ресторанах закуска под названием «Салат» состоит из нескольких листиков зеленого салата, двух-трех ломтиков помидора и кружочков репчатого лука. На десерт подают консервированные ананасы, свежих фруктов нет. Нет воды. Воды нет, но коричневая с серым налетом земля вся распахана, распаханы даже пологие склоны холмов, прилегающие к долине. Только кое-где видны зеленые островки деревьев, чаще всего пиний. Они здесь невысокие, с плоскими широкими кронами.

Цепи холмов, чаши долин уже не кажутся такими гордыми и суровыми. Но изменился не только ландшафт, другим стал воздух: менее терпким, более влажным, ласковым. И не удивительно — мы едем на юг, к морю. Уже показался Атлантический океан. Остановка. Город Кадис, самый древний город Испании. Кадис основали финикийцы около 800 г. д. н. э. Потом здесь появились греки, это они привезли в Испанию оливковые деревья и виноградные лозы. Кадисом владели карфагеняне и римляне, вестготы и арабы, только в XIII в. кастильский король Альфонс X вернул Кадис Испании.

Сейчас в этом большом современном городе с прямыми улицами и многоэтажными белыми домами — солнце светит здесь 360 дней в году! — реликвии отдаленного прошлого не бросаются в глаза. Зато есть музыкальный театр имени Де Фальи (родился в Кадисе в 1888 году), университет и любопытный памятник конституции, принятой в 1812 году. В центре украшенного барельефами полукруга с конными статуями по бокам возвышаются стела и две скульптуры: на фасаде женщина с книгой конституции в руках, на обратной стороне Геркулес, по преданию, раздвинувший скалы и создавший пролив, соединивший Средиземное море с Атлантикой. На стеле устроили гнездо аисты, спокойно взирающие на туристов.

Хорошо в Кадисе идти по берегу океана: широкая полоса песча-

ного пляжа, синяя гладь залива, простор, легкий запах йода — смотришь вокруг и чувствуешь, как душа освобождается от оков. По другую сторону набережной тянется полоса парка. Легкий ветер с океана теребит листья самшита и эвкалиптов, колышет ветви пиний, раскачивает верхушки пальм-коротышек с меня ростом, пальм-великанов, пальм со стволами-бочками, пальм тонконогих, как балерины.

За чертой города на выжженных холмах растут кактусы, кое-где видна высохшая бурая трава, белеют каменные бассейны с водой для скота. По холмам бродят небольшие стада коров, на пологих склонах машут белыми крыльями ветряные двигатели. Их ставят группами, чтобы «собрать» весь ветер, дующий с побережья Африки.

Африка рядом: ширина Гибралтарского пролива в самом узком месте всего 14 километров. Здесь на Мысе Европы, южной точке Иберийского полуострова, примостился небольшой городок Тарифа. Узкие кривые улицы, мощенные булыжником, глухие белые стены домов: в отличие от европейского Кадиса Тарифа — мавританский город. Ничем особенным он не примечателен, но с набережной Тарифы в ясную погоду видна Африка.

Мы приехали в Тарифу в прозрачный солнечный день. По темно-синему морю бежали белые барашки. По светло-синему небу не скользило ни облачка. Мягкие контуры Атласских гор — розоватых, желтоватых — манили и притягивали как магнит. Безмятежные, теплые и ласковые, они высились неправдоподобно близко. Доплыть до них, добежать по волнам, долететь по воздуху, казалось, не стоило ни малейшего труда. И душа плыла, бежала, летела в розово-желтую даль. Незабываемая радость полета, радость парения...

Гибралтар, этот огромный кусок гранита с зеленой гривой леса, рухнувший когда-то в море, виден только с изгиба дороги. Англичане, захватившие Гибралтар в начале XVIII в. во время войны за испанское наследство, не собираются отдавать его Испании. Говорят, что Черчилля однажды спросили, когда же Гибралтар станет испанским. «Когда на вершине Гибралтара переведутся обезьяны», — будто бы ответил Черчилль. Откуда на Гибралтаре взялись обезьяны, никто не знает, но по непроверенным сведениям англичане их подкармливают, на что английский парламент ассигнует необходимые средства.

За Гибралтарским проливом вдоль побережья Средиземного моря тянется знаменитый испанский курорт Коста дель соль — Солнечный берег. Когда-то здесь была голая, иссушенная солнцем земля. Нет рек — нет воды. Нет воды — нет жизни. Но Филипп Гонзалес, первый социалист, занявший в 1982 году пост премьер-министра, сумел вдохнуть жизнь в эти мертвые земли. Он отдал их на концессию. Иностранные дельцы получили право использовать побережье по своему усмотрению и 10 лет не платить налогов с обязательством по истечении этого срока передать недвижимость в собственность Испании. Приняв в расчет прекрасный климат и теплое море, предприниматели из Голландии, Англии и Германии построили на Коста дель соль несколько благоустроенных городков для туристов, и через 10 лет Испания получила современный международный курорт, который работает круглый год и приносит стране изрядный доход.

Новоявленный курорт — истинное дитя XX века. Он славится процветающей индустрией радостей, конвейером развлечений, каруселью удовольствий. Улицы в городках-близнецах состоят из нескончаемой вереницы магазинов и ресторанов. Гуляй — не хочу! В ладье, набитой льдом, покоится пучеглазая рыба, вокруг ладьи, тоже на льду, разложены крабы, лангусты, ракушки — витрина рыбного кафе. Рядом сверкает кольцами, брошами и ожерельями витрина ювелирного магазина, в следующей выставлены восточные сладости. Жить — значит радоваться. Радоваться — значит есть и покупать.

Можно еще плавать в море и лежать на пляже. На желтом песке у самой воды растет густой лес разнообразных зонтиков с подлеском из топчанов. Надоело плавать в соленой воде, плавай в пресной — при каждой гостинице есть бассейн и часто не один. Между бассейнами зеленеют газоны. По ним можно ходить, но не хочется, потому что трава кажется искусственной. Ощущение искусственности всего вокруг не оставляет ни на минуту. По улицам, с их навязчивым изобилием, не хочется гулять. На кубы гостиниц, собранных из одних и тех же деталей с минимальными вариациями, не хочется смотреть. Даже горы на горизонте кажутся невыразительной декорацией.

Но множество людей со всех концов света приезжают на Коста дель соль, гуляют, смотрят и радуются. Всюду слышна разноязыкая речь. Полны рестораны и кафе немецкие, французские, греческие,

арабские, японские. В лифте гостиницы несколько девушек говорили по-русски. «Откуда вы?» — спросила я. — «Из Самары. А вы?» — «Из Америки, из разных городов. Нравится вам здесь?» — Мгновенный ответ на разные голоса: «Очень. Кормят хорошо. Море теплое. Погода хорошая. Экскурсии интересные».

Все правда. И про гостиничный ресторан, и про море, и про погоду. Тем более про экскурсии. Одна из них была в соседний городок, куда мы без труда дошли пешком. Городок ничем не отличался от нашего, но там мы, наконец, попали на представление фламенко. Небольшой зал в полуподвале, маленькие столики с красными скатертями на двоих-троих посетителей стоят почти впритык друг к другу и к квадратному пятачку сцены. Между столиками проскальзывают официанты и разносят напитки. На сцене два гитариста, два певца, несколько женщин и мужчин. Но все это детали, а как рассказать о целом? О магических чарах гитары, кастаньет и чечетки? О красочном цветнике взметающихся юбок? О ловкой игре зонтиками, шляпами, платками в вихре зажигательной музыки? О шумном, разноцветном, искрящемся празднике на сцене, не отделимом от праздника в зале — с запахами вина, легким смехом и невольным притоптыванием ногами? Душа поет и, примолкнув на минуту от скорбных переборов гитары и траурного напева песни памяти Лорки, вновь ликует, подчиняясь радостному перестукиванию каблучков и кастаньет.

В Малагу пешком не дойти. Ездили на автобусе. Все перемешано в этом древнем городе, основанном финикийцами. Нарядная современная улица, площадь с пальмами, фонтанами и светлыми красивыми зданиями и рядом мрачные узкие улочки старинного еврейского квартала с памятником из черного гранита еврейскому поэту и философу XII века Галеви.

У подножия холма с арабской крепостью на вершине археологи обнаружили римский амфитеатр и несколько хорошо сохранившихся бюстов и статуй. Цел и невредим желтый пятиэтажный дом со ставнями и балкончиками, где родился Пикассо. Он стоит на ничем не примечательной улице, скромная мемориальная доска — его единственное украшение. Но щедро и пышно украшен экзотическими деревьями и памятниками большой парк в центре Малаги.

На площади, запруженной машинами и автобусами, бьют струи старого круглого фонтана и стекают в бассейн по мраморным одеждам хоровода девушек с распущенными волосами. За углом на узенькой улице, примостившись у голой стены с обвалившейся штукатуркой, сидит чистильщик ботинок и старательно наводит глянец на башмаки мужчины, оживленно разговаривающего по сотовому телефону. Многообразие, как известно, украшает жизнь. Что ж, спасибо смелым творцам науки и техники. Спасибо финикийцам, основавшим в прекрасной стране Испании любопытный город Малагу, где родился Пикассо.

Коста дель соль подарил нам еще одну радость: экскурсию в Гранаду. За окном автобуса убегают вдаль беспорядочно разбросанные холмы. Деревьев почти не видно. Обрывистые склоны покрыты выгоревшей травой, изредка мелькают белые домики. Рафаэль включил магнитофон, вьется нехитрая мелодия фламенко, вьется серпантин дороги. Едем вверх. Холмы все выше, все неприступнее. По крутым склонам карабкаются в одиночку бесстрашные оливки, дома исчезли. Серые скалы теснят коричневые холмы, появились туннели. Дорога взрывается в плоть земли — вверх, вверх, вверх. Вокруг все грубо, громоздко, неприветливо — первый набросок Вселенной. Серые горы пустынные: нет воды — нет растительности — нет животных. Редкие остовы деревьев и столбы электропередачи одного цвета.

Наконец автобус поднялся на перевал, короткая остановка, и дорога устремилась вниз. И сразу все вокруг переменялось, сгладилось, умиротворилось. Мы в провинции Гранада. Здесь много озер и рек, здесь черная земля и зеленая трава, на этой благословенной земле растут фруктовые деревья, оливки, колосится пшеница. Холмы, разлинованные рядами деревьев, отступают, на горизонте появились горы Сьерры-Невады. Автобус мчит по плоскогорью. И вот Гранада — город Гранада.

Все дышит радостью в этом городе на холмах со снежными горными вершинами на горизонте: яркое синее небо, яркое оранжевое солнце, пестрая толпа на улицах. Даже кафедральный собор Гранады в отличие от своих многочисленных собратьев кажется светлым, гармоничным и жизнерадостным. Недаром это единственная ренессансная церковь в Испании.

В королевской капелле собора, украшенной со всей мыслимой и немислимой роскошью, покоятся в мраморных гробах тела Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской, короля и королевы, завершивших здесь, в Гранаде, изгнание мавров из Испании. В ризнице развешаны сокровища из личной коллекции Изабеллы: «Тайная вечеря» Тинторетто, три картины Мемлинга, работы испанских мастеров. Мы приехали в Гранаду в воскресенье. В соборе шла служба, было много верующих и туристов, орган звучал торжественно и радостно.

Недалеко от собора празднично сияла старая рыночная площадь с фонтаном. Она была почти вся уставлена столиками под разноцветными зонтиками, и почти все столики были заняты. Это красивое место. От площади вверх по склону взбирается неширокая улица. Справа тянется пересохшее русло реки с развалинами римского моста, с крепостью на другом берегу исчезнувшей реки. Слева дома с магазинчиками, барами, маленькими кафе на первом этаже, с балконами на втором и третьем. Стену домов прорезают узкие переулочки, где почти не видно неба. В одном месте улица расширяется. Здесь стоит церковь. Когда мы к ней подошли, в дверях появились новобранцы в окружении пестрой группы молодых и пожилых мужчин и женщин.

Считается, что это хорошая примета. В нашем случае она не оправдалась. Из-за нераспорядительности компании, организовавшей поездку, наша группа не попала в Альгамбру. Вернее, после длительного ожидания, неприятных переговоров и каких-то махинаций несколько человек Альгамбру все-таки увидело. Я оказалась в числе счастливых.

Дворец, построенный маврами в XIV веке, — одно из чудес света. Как рассказать о чуде? Как рассказать об удивительном чувстве освобождения, охватывающем душу и тело, когда отрешаешься вдруг от всех дел и забот и переносишься в мир покоя, созерцания и наслаждения красотой? Этот мир вступает в свои права, едва переступаешь порог дворца. Лабиринт комнат, переходов удивительной, ошеломляющей красоты. Симфония из белого камня поразительной стройности и гармонии. И всюду вода. Фонтаны, ручейки, каскады с прозрачной струящейся водой поют свою завораживающую песню в торжественных залах, в уединенных покоях, во внутренних

двориках. Вода — редчайшее, драгоценнейшее сокровище в исламском мире, знак жизни, символ жизни — льется здесь с царственной щедростью и дарит тихую, всепоглощающую радость. Слушаешь пение воды, смотришь на хитросплетения орнамента, выходящего по стенам, на тончайшие кружева из камня, украшающие высокие потолки, и немеешь в изумлении перед неисчислимым воображением и тонкостью вкуса творцов этой красоты, перед их безупречным мастерством. Альгамбра — чудо замысла и чудо умения.

Альгамбра роскошна, даже в своем теперешнем виде она поражает богатством и изобилием. Но роскошь в Альгамбре естественна и уместна, красива и проста при всей своей изысканности. Она не дразнит, она утешает. Она не подавляет, а приподнимает. Стоишь ли в Зале послов, во Дворике миров или во Дворе львов, чувство причастности к чему-то высшему затопляет сердце. Не хочется ни говорить, ни думать, ни двигаться, только быть здесь, только сбегать эту редчайшую радость, только унести с собой крупицу чуда.

Полет над Испанией с юга на север — пауза, глубокий вдох. Самолет летит так быстро, что кажется, будто он недвижим. Медленно проплывает внизу лицо старого воина, изрезанное морщинами, иссеченное шрамами. Отчетливо видны глубокие впадины глаз, хребет носа, расщелина рта. Совсем не видно рек. Скорбь и достоинство застыли на лице, мужество и терпение. Одно лицо сменяет другое, третье, лиц много, но выражение остается неизменным.

И вдруг дома, синяя вода, обрывистый берег — Средиземное море. Мы прилетели в Барселону. Аэропорт удивил надписями на трех языках: каталонском, английском, испанском. Порядок не случайный, это знак протеста: каталонский — родной язык, английский — международный, испанский — государственный. Первый взгляд на город из окна автобуса испугал: грозное свинцовое небо, огромные здания из стекла и бетона, сложное переплетение дорог. Стройка, стройка, стройка: разрытые мостовые, дома в лесах, серые от пыли кроны пальм. Суровый, деловой город. Но ни первого, ни сто первого взгляда на Барселону недостаточно, чтобы возникло хоть сколько-нибудь цельное представление об этом удивительном, составленном из множества частей городе, объединившем несоединимое, объявшем необъятное.

Бульвар Рамблас — одна из главных улиц Барселоны. Она начинается на площади Каталонии и кончается в порту у памятника Колумбу. Середину ее действительно занимает широкий зеленый бульвар, и чего только нет на этом бульваре и на этой улице длиной около полутора километров. Нарядные кафе, блошинный рынок, магазинчики сувениров, богато украшенные церкви, рынок, где торгуют певчими и декоративными птицами, первый оперный театр, построенный в Испании. Театру уже полтора века лет, он сильно пострадал от пожара в 1995 году и до сих пор не отремонтирован.

На бульваре играют уличные музыканты, выступают фокусники и жонглеры и собирают дань удивления многочисленные «живые статуи». Алебастровая женщина в пышном белом платье застыла в изящном поклоне. В голову не приходит усомниться, что видишь статую. Но, выдержав невероятной длины паузу, «статуя» меняет позу, зрители изумленно ахают, и в корзиночку на земле летят монетки. Рядом на небольшом постаменте «статуя» Дали. Сходство безупречно, одни усы чего стоят. Дали стоит перед мольбертом с кистью в одной руке, с палитрой в другой. Полная иллюзия соцреалистического памятника. И вдруг «памятник» начинает рисовать. Все вокруг радуются, многие бросают деньги в сумку у постаumenta с плакатиком: «Gracias» (Спасибо).

Слово «рамбла» означает по-арабски «поток». Когда-то на месте бульвара была сточная канава, прорытая вдоль стены, отделявшей часть города, которая теперь называется Готическим кварталом, так как большинство зданий в этом квартале было построено в XIII—XV вв. Высокие островерхие дома из серого камня. Общий тон серый: дома, мостовые, небо. Узкие улицы, мощенные булыжником, глухие дворы, тупики. Старинные фонари едва освещают суровые фасады домов с редкими окнами и балконами. Окна с арочными верхушками, балконы без украшений: только перила и ограда. На безлюдной улочке в призрачном свете фонаря стоит флейтист. Печальная мелодия разносится далеко по темным пустынным улицам.

На площади перед кафедральным собором флейты уже не слышно. Собор массивный и невысокий — в стиле ранних готических храмов. Его начали строить в 1111 году и строили около шестисот лет. К собору примыкает римская крепость, от которой сохранились

стена и высокая четырехугольная башня. Вопреки здравому смыслу и законам искусства храм и крепость воспринимаются как единое целое. Тут же на площади стоит не лучший образец скульптуры XIX столетия — многофигурный памятник борцам с французским нашествием — и современный торговый центр с зеркальными витринами, над которыми натянута широкая лента с «детскими» рисунками Миро. И столько радости в этих рисунках XX в., так полны они свежести, чистоты и надежды, что оторваться от них невозможно. И ансамбля площади они, как ни странно, не разрушают.

Миро родился недалеко от Барселоны, большую часть жизни прожил в Париже, его искусство гораздо теснее связано с Францией, чем с Испанией. Но бывают же чудеса, особенно в Испании. Как хорошо смотрится Миро в Каталонии, культуру которой создали кельты, греки, карфагеняне, римляне, иберы, вестготы и мавры. Как легко вписываются в сложный пейзаж Барселоны ни на что не похожие рисунки и скульптуры этого удивительного художника. На едва освещенной старой площади, на шумной деловой улице — они всюду на месте. Как рисунки на стенах торгового центра, как скульптура «Женщина и птица», похожая на огромную раскрашенную керамическую бутылку со стаканом, лежащим на пробке, или другая скульптура, напоминающая рака с растопыренными клешнями, взгромоздившегося на высокий круглый постамент.

Площади, улицы все разные в Барселоне, но где ни стоишь, куда ни посмотришь, сразу видишь, чувствуешь и понимаешь — ты в Барселоне. В этом, наверное, колдовство Барселоны. Чары этого города не отпускают на небольшой сумрачной площади со строгими классическими зданиями ратуши и правительства Каталонии. И на широкой просторной площади Побед с триумфальной аркой из красного кирпича. Высокая арка украшена белым поясом барельефов с изображением военных подвигов каталонцев и гербом Каталонии. Герб держат в лапах два льва, сидящие над воротами. Герб странный, с горгонами, они, оказывается, отгоняют злых духов.

Чары рассеиваются лишь изредка под натиском суровой действительности. На склоне одного из холмов Рафаэль показал нам живописный квартал нарядных особняков, окруженных тенистыми деревьями. «Здесь живут «новые русские», — сказал он. — Они по-

купают дома за наличные деньги. По испанским законам владение недвижимостью дает иностранцам многие права граждан. Безвизовый въезд, например, возможность заниматься бизнесом, что и привлекает сюда русских». Russian coming! (Русские идут!) Этот возглас все чаще раздается теперь не только в Новом Свете, но и в Старом.

Наша группа поднимается пешком на Montjuïc — Гору евреев. Сверху спускается другая группа. Слышится русская речь. «Ой, русские! Вы откуда?» — «Мы из Перми, а вы?» — «Мы с Америки, — отвечает кто-то из наших. — Пермь это где?» У нас в группе много не «новых», а «старых» русских. Они приехали в США лет 15—20 назад, устроились, хорошо зарабатывают. Россия стала для них чем-то вроде Атлантиды.

Но главное в Барселоне — все-таки Гауди. Волшебник Гауди, чудотворец Гауди, Гауди — создатель духа и плоти Барселоны.

«Сотворение мира продолжается непрестанно с помощью человека. Но сам человек ничего не создает, он лишь раскрывает созданное. Те, кто стремится постигнуть законы природы и ищет в них опору своим трудам, помогают Создателю. Те, кто лишь подражает природе, Ему не помощники. Вот почему самобытность состоит в том, чтобы самому вернуться к истокам бытия».

Необычные слова. Но и творчество Гауди необычно. Антонио Гауди родился 25 июня 1852 года в небольшом городке Реус близ Таррагоны. Младший из пяти братьев в семье медника, он учился сначала в Реусе, потом в Высшей технической школе архитектуры в Барселоне. Все, что он сделал, находится в Барселоне, где он умер в июне 1926 года через три дня после того, как попал под трамвай.

Самое замечательное творение Гауди, собор Sagrada Família (Святое семейство), до сих пор недостроен. Строительство ведется очень медленно — у города Барселоны не хватает средств. Из трех фасадов собора выстроены пока только два. Над каждым из них стоят четыре башни. По замыслу Гауди, над тремя фасадами должно быть двенадцать башен — по числу апостолов. Над ними, вокруг огромного центрального шпиля — символа Христа Спасителя — еще четыре башни по числу евангелистов. Увенчает храм купол над шпилем, воплощение Девы Марии.

Нужно, наверное, быть Гауди, чтобы представить себе это грандиозное сооружение в законченном виде. Но то, что видишь сейчас, так захватывает, так потрясает ум, сердце, душу, что лишаешься дара речи. Но, слава Богу, не дара слез. И как не благодарить за это Бога, стоя у фасада страстей Христовых перед фреской «Тайная вечеря». Знакомая картина со знакомыми персонажами, столько раз уже виденная, что нового может она сказать? Кажется, ничего. Но здесь, набросанная скупыми черными линиями на грубых желто-коричневых стенах с летящими в небо башнями, здесь, как нигде и никогда, «Тайная вечеря» пронзает отчаянием и надеждой, смертной тоской и верой в спасение.

В чем колдовство этих линий? В их непритязательности? В их детской чистоте и недетской мудрости? Почему эти узорные, эти ажурные башни так неколебимо стоят на земле и так стремительно уносятся ввысь? Может быть, потому, что Гауди был не только необычайно талантливым, но и глубоко верующим человеком и, создавая собор, создавал гимн вере? Вере в Творца. Вере в Творчество. Вере в Человека.

В начале девятисотых годов граф Гуэль, друг и покровитель Гауди, решил построить в одном из пригородов Барселоны новый жилой квартал, не похожий на обычные городские застройки. Предполагалось возвести 70 жилых зданий, церковь, рынок, городские службы, театр на открытом воздухе, напоминающий древние греческие театры. Это была попытка создать город будущего: не врага, а друга человека, не разрушителя, а покровителя природы. Несмотря на огромный энтузиазм и энергию Гауди мечта Гуэля не осуществилась. Действительность оказалась сильнее. Работы продолжались с 1900 по 1914 год. За это время были построены два жилых дома, ворота в парк на холме, где должны были размещаться все дома, рыночный павильон и знаменитая скамья Гауди.

Ах, какие они радостные, творения Гауди в Парке Гуэля, как теперь называется эта часть Барселоны. Сколько в них солнечного света и земной красоты. Огромные вазоны на колоннах-подпорках высотой, наверное, в два человеческих роста украшают аллею, ведущую на вершину холма. Все разные, трогательно корявые, они будто выросли из коричневой земли, как могучие деревья рядом с

ними, или только что слеплены из светло-коричневой глины руками ребенка-великана.

Потолок рыночного павильона поддерживают граненые колонны. Наружный их ряд наклонен внутрь. Кажется, что сильные стройные женщины со священной ношей на голове изогнулись в каком-то языческом танце. Гигантская скамья-змея сделана из кусков черепицы. Ее спинка украшена мозаикой и медальонами из эмали. В уютных ложах, образованных изгибами «змей», сверкают и переливаются всеми мыслимыми и немыслимыми цветами нарядные узоры и медальоны. И ни один из них не похож на другой.

На ограде парка висят удивительные фонари-светляки, прихотливо оплетенные полосами кованого железа, будто наделенного даром непрестанного движения. Причудливые драконы из многоцветной керамики — яркие и, наперекор традиции, добродушные — украшают лестницу главного входа. И все, что создано в парке, все лестницы, колонны, павильоны слиты с крутыми и пологими склонами, с поворотами дороги, с растительностью, все они живут и дышат вместе с землей, солнцем и небом.

Гауди, видимо, действительно видел свою миссию в продолжении сотворения Вселенной и старался использовать все формы, все существующие технические приемы, все доступные материалы, чтобы сделать мир вокруг себя наряднее и красочнее. И как ни богата красками Барселона, она стала еще богаче благодаря собору Святое семейство, Парку Гуэля и нескольким домам, построенным Гауди.

Дом Батло останавливает взгляд и шаг неожиданным обликом: плавно изогнутыми выступами балконов, круглой башней с крестом, крутой черепичной крышей, похожей на спину дракона — всеми своими скользящими, текучими, завораживающими линиями. Фасад дома украшен тонким узором из дробленой керамической плитки и кусочков подкрашенного стекла. Нежные, мерцающие, переливающиеся краски делают его живым, изменчивым, одухотворенным — окрыленным талантом Гауди.

Дом Мила, огромный, ни на что не похожий дом-фантазия с вогнуто-выпуклыми стенами и будто вылепленными от руки балконами, плывет, спокойно покачиваясь на волнах. Нет, величественно парит в ярко-синем небе. Но нет же, он прочно и непринужденно

стоит на живой современной улице и прекрасно себя чувствует в окружении непритязательных соседей. Соседям он тоже пришелся по душе. Ничего не поделаешь, тайны гармонии непостижимы для простых смертных. Как непостижима притягательность сюрреалистических фигур на крыше дома Мила, расставленных там не только для красоты, но и для удобства жильцов — внутри этих прекрасных уродов спрятаны вентиляционные трубы. Гауди неизменно верен себе. Гауди всегда и архитектор, и волшебник.

Здание музыкального театра построили в 1905—1908 гг. ученики Гауди, так глубоко впитавшие его идеи, что оно тоже известно в Барселоне как дом Гауди. И глядя на театр, в этом невозможно усомниться.

Антонио Гауди — певучие звуки имени и фамилии. Ему словно вторят певучие плавные линии двух фасадов углового здания театра. Ленты балконов, балкончиков и галерей, перетяжки миниатюрных колонн с изящными капителями украшают его стены, словно кружевные оборки дорогое старинное платье. Как вписалась эта музыкальная шкатулка в лабиринт улочек сегодняшнего города, даже если это город Барселона? Вписалась. Стоит. Вот она, к ней можно прикоснуться рукой. Стоит?

На высоте первого этажа закругленный угол здания скрадывает большая скульптурная группа, точно драгоценная брошь, приколотая к нарядному одеянию. На уступе скалы Георгий Победоносец во всех доспехах с развевающимся знаменем в руке попирает поверженного врага. Скалу окружают полускрытые балюстрадой каталонцы — воины, крестьяне, ремесленники. В самом низу раскинула руки прекрасная девушка с распущенными волосами, олицетворение музыки. Переливы красок на фасадах, игра света и тени на лицах и одеждах Георгия, каталонцев, девушки. Блики, мерцания, приглушенные звуки музыки, доносящиеся сквозь закрытые двери и окна театра — сон? явь?

И вдруг... Что это? Дом качнулся... приподнялся... и поплыл на волнах доносящейся из театра музыки. Выше, еще выше. Улица, театр остались на месте, а драгоценная шкатулка летит над городом и — снова чудо! — над шумной просторной улицей превращается в бабочку. Да, да в нарядную бабочку с пестрыми округлыми крылышками и бархатными, загнутыми полукольцами усиками.

Знаменитая бабочка Гауди. Она опустилась на высокий серо-

зеленый дом в центре города и украсила его нарядной аппликацией из керамических плиток. Как ни странно, она прекрасно себя чувствует на каменной стене и прекрасно смотрится, даря тепло, свет и радость хмурым официальным зданиям. Останется она здесь или солнце и синее небо снова заманят ее в свои невидимые сети? Не знаю, не знаю. Надо вернуться в Барселону и посмотреть. Страшно хочется вернуться в Барселону. Очень хочется снова увидеть Испанию, особенно Барселону.

ДНЕВНИК 16 октября. Поездка была изнурительной, изматывающей, на пределе физических и психологических возможностей и неправдоподобно интересной. Вернулась неделю назад больная. Не могу спать, ночью просыпаюсь каждые два часа. Не могу есть, стойкое отвращение к любой пище, сил хватает только на то, чтобы пить. Держусь за чашку чая, как за якорь спасения.

7 ноября. Ларин день рождения. 48 лет назад 22 октября 1948 года в день смерти папы — и день рождения Лары — мама сказала Ларе, что ее днем рождения будет теперь 7 ноября. Десять лет назад этот день отъединился от официального праздника и стал Лариным днем. Но цифры: 48... 10... Уже пять лет Лара празднует свой день рождения без меня, а я свой — без нее. Звонила сегодня в Москву. «Ты веришь, что мы когда-нибудь будем в этот день вместе?» — спросила Лара. Ответила, что верю. В ту минуту искренне.

20 декабря 1996. Кошмар в Чечне. Застрелили пять спящих женщин, работников «Красного Креста». Помимо всего прочего, отвратительно, что это, возможно, заказное убийство и заказчики русские, заинтересованные в продолжении войны, на которой они наживаются.

Большая статья в «Нью-Йорк таймс» о Берлине. Предложение переименовать одну из улиц города в улицу имени Марлен Дитрих вызвало протест многих пожилых жителей. «Марлен Дитрих во время войны носила форму союзников, она предала фатерланд, не захотела вернуться на родину...» Это в Германии. А в России, в Воронеже, женщины во время выборов губернатора самозабвенно пели

песни о Сталине. Показали по ТВ эти кадры, мороз по коже дерет. Мир, в котором мы живем.

30 декабря. Все эти дни, когда выпадало несколько свободных минут, писала в Москву. Через неделю okazия. Написала 16 писем, в каждое вложила «Испанию».

Прощай, год 1996-й. Что-то принесет 1997 год?

ДНЕВНИК 1 ноября. Вчера проснулась около семи утра. Кто-то сказал: «Юня, вставай!» Открыла глаза. Акива спокойно спал. Приснилось? Заснуть больше не смогла. В девять с минутами была уже у Юли. Сенька долго спал после утренней кормежки, я тоже час спала.

Все остальное время крутилась. Сеньке уже пять с половиной месяцев, но он упорно отказывается от бутылочки, и все попытки накормить его с ложки мятым бананом, творожком, разваренной цветной капустой практически безуспешны. Вчера мне повезло: как-то я его все-таки накормила, и к приходу Нямы он снова мирно спал, что очень облегчило мой традиционный урок во время Няминого обеда.

Великую французскую революцию я на время оставила и немного рассказала Няме о другой революции — Великой октябрьской. Хочется, чтобы она поняла, что означает революция для людей — для тех, кто ее вершит, и для тех, кто живет в это время. Увидеть лицо французской революции, надеюсь, ей поможет фильм Анджелы Вайды «Дантон» с Жераром Депардьё в главной роли. Кассету с фильмом принесла. Не знаю только, найдет ли она время ее посмотреть.

Показать лицо Октябрьской революции пятнадцатилетней девочке, выросшей в Америке, труднее. Выбрала окольный путь. О Марине Цветаевой я Няме прежде говорила, читала стихи Цветаевой. Вчера рассказала о судьбе Марины Цветаевой после революции: о разлуке, голоде, смерти маленькой Ирины, участии Сергея Эфрона в белом движении, о встрече семьи в Чехии, о Париже, отъезде Сергея Эфрона и Ариадны в СССР, расстреле Сергея Эфрона, крестном пути Ариадны, самоубийстве Цветаевой и гибели Мура. Показала фотографии в книге Иры Кудровой «Гибель Марины Цветаевой». Может быть, что-то с Нямой останется.

Мой старый маленький компьютер стоит на столе у самого окна. Пишу и все время отрываюсь: смотрю в окно. Сегодня ветрено, перед окном раскачиваются огромные ветви дуба с резными листьями в таких переливах желтого, оранжевого и красного цвета, что я не могу отвести от них глаз. Но красавица-осень кончается. Ветры, дожди... Дома уже стоят два букета из веток с осенними листьями. Собрала в лесу в воскресенье.

Хватит смотреть в окно. Пора вернуться из 2000-го года в 1997-й, иначе книга не стронется с места.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ 1997 ГОДА

Были на прекрасном концерте вместе с Юлей и Мишей. Билеты — наш подарок к Новому, 1997 году. В первом отделении Ростропович играл посвященные ему произведения современных американских композиторов. Музыка непривычная, но интересная. Во втором исполняли фантастические вариации Рихарда Штрауса на тему Дон Кихота. Великолепен был Ростропович, великолепен Озава и оркестр, великолепна музыка. В зале был настоящий праздник. Юля сказала, что к этому Новому году Дед Мороз принес им очень хороший подарок.

Посмотрела «Гамлета» Кеннета Брана. Высидеть в кино 4 часа непросто. Но Кеннет Брана, режиссер и исполнитель роли Гамлета, совершил невозможное — создал шекспировский фильм. Не кино по Шекспиру, а шекспировский фильм. В фильме есть огрехи. Иногда Брана изменяет вкус, иногда он теряет чувство меры. Досадно, но фильм все равно замечательный, поразительный. Немолодой, невзрачный, необаятельный Брана — незабываемый Гамлет. Монолог «Быть или не быть» его Гамлет произносит, приближаясь к зеркалу. Предельное обнажение актера. Брана виден весь: со спины, в фас, лицо, глаза крупным планом. Физически ощущаешь биение его мысли. В фильме Козинцева Смоктуновский произносил этот монолог, стоя спиной к зрителям на фоне романтических башен замка. Стыдно было смотреть. Вчера в сцене на кладбище плакала. Не помню,

когда плакала в кино. Такой мощный взрыв любви и горя прозвучал в затертых словах: «Я любил ее, как сорок тысяч братьев любить не могут», что не выдержала, заплакала. Глаза, лицо, голос Гамлета не могу забыть.

Поразительная, пронзительная, пронзающая душу Офелия. Со всем молоденькая девочка с кукольным личиком, не обещающим ничего, — настоящая шекспировская героиня. Сцены безумия, Офелия в гробу — потрясение, от которого второй день не могу опомниться. Великолепны все остальные исполнители, кроме Гертруды и Клавдия. Гертруда слишком мелка и ничтожна, а маска благородства, которую носит Клавдий, полностью скрывает злодея.

Обидно, что на «Оскара» выдвинут Брана-режиссер и Брана-сценарист (надо бы заодно и Шекспира выдвинуть), а Брана-актер и фильм «Гамлет» — нет. Коммерция. Выдвижение на «Оскар» поднимает сборы. «Гамлета» выдвигай не выдвигай, толпа на этот фильм не побежит. Вот и не выдвигают. Я смотрела фильм днем, в зале сидело 30—40 юношей и девушек, наверное, студентов. Когда четырехчасовой фильм кончился и на экране появились титры, никто не шелохнулся. Но 30—40 человек коммерческой погоды не делают.

Вчерашний концерт — один из лучших, что я здесь слышала. Удивительный дирижер — итальянец Гатти, удивительный оркестр — Королевский филармонический оркестр из Лондона. *Pianissimo* в Неоконченной симфонии Шуберта и особенно в *Adagietto* пятой симфонии Малера пронзают не меньше, а может быть, больше, чем малеровский Траурный марш (первая часть пятой симфонии) и *Stürmisch bewegt* (вторая часть), где Гатти и оркестр потрясают мощью и выразительностью.

Во время исполнения Неоконченной симфонии вдруг подумала, что каждая жизнь — это неоконченная симфония. И может быть, Шуберт, ослепленный этой догадкой, потому и не смог кончить свою симфонию. И никто не может.

Я не знала, что Шуберту был всего 31 год, когда он умер, и что эпитафия на его могиле написана Грильпарцером: «Музыка похоронила здесь одно из бесценных своих сокровищ и еще более драгоценные надежды. Это могила Франца Шуберта».

Проснулась сегодня со странной мыслью, что пятая симфония Малера, особенно ее первые две части и *Adagietto* — это реквием Неоконченной симфонии. Реквием Шуберту. Поэтому такой тонкий мастер, как Гатти, исполняет эти два произведения вместе.

Видела трехчасовой фильм греческого режиссера Тео Ангелопулоса. Как перевести название «*Ulysses' Gaze*»? По-русски, наверное, точнее всего передают смысл несколько напыщенные слова: «И взглянул Улисс»... Но не в названии дело. Это фильм-событие. И не только кинематографическое. «Улисс» Ангелопулоса — это запечатленный на пленке взгляд на сегодняшний мир, взгляд, полный тоски, безнадежности и страха. В фильме много незабываемых кадров. Кадров-шедевров. Грек-таксист, завязнув в снегу, грозит кулаком заснеженной горе и кричит: «У, природа! Греция погибает среди обломков статуй и разбитых ваз, а ты!»... Взрыв отчаяния, бессильной злобы, взрыв гордости и гнева.

Граница. Большая группа нелегальных иммигрантов — албанцев, депортированных из Греции. Бесприютная припорошенная снегом земля. Неподвижно стоят люди. Видны только их силуэты без лиц. Камера медленно скользит от одной группы к другой. Люди стоят неподвижно. Но какое разнообразие поз. Какое безнадежное одиночество каждого даже в маленьких группках. Какое непреодолимое разобщение.

Сараево в развалинах. Берег реки. Туманный серый день. Далеко-далеко едва проглядывает солнце. По берегу идет большая семья. Старики, взрослые дети, внуки. Звонкая радость детей, подростков. Редкая минута покоя и тишины в городе. Группа уходит за кадр. Река. Туман. Тишина. Тишину вспарывает треск мотоциклов. Первые хлопки выстрелов. Отчаянные крики: «За что детей?!» Снова выстрелы. И снова тишина. Тишина за кадром смыкается с тишиной на берегу. Сколько душераздирающих расстрелов мы уже видели, но этот невидимый расстрел на пустом экране невозможно вынести.

В фильме много недостатков. Надуманный сюжет: кинорежиссер странствует в поисках трех непроявленных пленок, отснятых его родными. Играет его знаменитый актер Харвей Кейтель. Играет невыразительно и вяло. Но и играть ему нечего. Он созерцает сегодняш-

ний мир, вспоминает прошлое и служит объектом любви нескольких женщин. Эта сторона его роли совсем плоха, так как непонятно, как этот потухший человек может пробудить чьи-нибудь чувства.

Но женщины в фильме незабываемы. Их четыре. Современная деловая женщина в Сараево. Девушка румынка сороковых годов из богатой, благополучной семьи. Молодая рыбацкая болгарка, только что потерявшая мужа. И полная жизни девочка подросток, расстрелянная за кадром. У каждой из них небольшая, до предела насыщенная роль. Поразительно, что с первой секунды появления на экране они уже вне экрана, они в зале. Их подлинность потрясает. Но еще более потрясает, что все эти четыре роли играет одна и та же румынская актриса Майя Моргенстерн.

Небольшая, очень интересная выставка «Сокровища Византии» в Метрополитен музее. Много удивительных старинных книг, необычных икон, красивых фресок, мозаики, рельефов. Среди них чудом спасенные фрески погибшего во время войны Михайловского монастыря под Киевом. Странно было смотреть на них в Нью-Йорке. Судьбы XX века — людей, произведений искусства...

Кончила книгу Лидии Чуковской «Памяти детства». Хочу выписать несколько строк. «Вещи — они, как губка воду, имеют способность впитывать и хранить ушедшее время. Утрата вещей была для него (отца) утратой любимого времени, в них запечатленного». Так Лидия Чуковская рассказывает о разорении их куоккальского дома. Одно слово в этой цитате для меня лишнее: «любимого». Да, утрата вещей — это утрата запечатленного в них времени, запечатленного и сберегаемого ими прошлого. Любимого или тяжелого — неважно. Эта утрата — еще одна мучительная сторона эмиграции.

В «Нью-Йорк таймс» большая статья о наступлении прогресса на бульвар Сен-Жермен. Знаменитый книжный магазин «Диван» переехал — арендная плата стала непосильной. Гибнут знаменитые кафе. Вместо них появляются стандартные американские магазины мороженого. Исчезают магазинчики сыра, булочные, кондитерские — исчезает понятие «бульвар Сен-Жермен». Ломаются вековые традиции.

стиль, образ жизни. Я становлюсь решительной противницей объединения Европы, уничтожения всех красок и ароматов, разрушения национального колорита. Пусть политики занимаются политическим объединением, но пусть Франция останется Францией.

Кончила «Жизнь Рембо» Карре. Какая страшная жизнь. Две жизни, уложившиеся в 36 лет. Жизнь поэта и жизнь торговца. Одна страшнее другой. Страшнее этих жизней только жуткая смерть. А потом награда, о которой Рембо никогда не мечтал: бессмертие.

Дочитала «Медею» Кристи Вольф. По-моему, великое произведение. Не просто хорошее, очень хорошее, но именно великое. Какая мощь, какая удивительная гармония голосов, какое беспощадное видение и какая полная — тотальная — безнадежность. «Коринф погибнет!» — возглашает оплеванная, оклеветанная, изгнанная Медея, стоя у стен богатого, процветающего, могущественного города. И Коринф погиб. Погиб потому, что в этом городе никто не хотел знать правды.

Криста Вольф рассказывает, как убили всеобщую любимицу Ифиною, дочь царя Коринфа, убили по приказу отца, чтобы она не сменила его на троне. И весь город, по улицам которого она еще вчера ходила, поверил в нелепую сказку, будто ее похитил заморский царевич, увез в неведомые земли и сделал своей женой. Все поверили. Или так искренне притворились, что перестали отличать веру от притворства. Потому что «нет такой — самой нелепой — лжи, которую люди не способны проглотить, ежели она отвечает их тайному желанию в эту ложь поверить».

Детей Медеи по приказу царя забили камнями и обвинили в их гибели Медею. На седьмой год после смерти детей коринфяне отобрали семь мальчиков и семь девочек из самых знатных семей, остригли им волосы и отвели в храм Геры, где они должны были прожить год, поминая в молитвах убитых детей. В Коринфе решили, что так будет каждые семь лет. Легенды творятся на века. Правда никому не нужна. Те немногие, кто вынужден взглянуть в лицо правде, не в состоянии вынести бремени знания и погибают. Поэтому мир погибнет, утверждает Криста Вольф, рассказывая о судьбе мифической Медеи — о

нашей судьбе. О судьбе рода человеческого, не изменившегося нравственно и ничему не научившегося за свою столь долгую историю.

В Бостоне выходит небольшой ежемесячный бюллетень Arts\Mail. Его присылают бесплатно всем желающим. Единственное условие: раз в три-четыре месяца заказать билеты на концерт, в театр, на экскурсию (в Кению, в Лондон, в Сингапур — куда хочешь). Заказанные билеты присылают домой, и стоят они существенно дешевле, чем в кассе. Правда, заказывать надо не позже, чем за месяц. Этот бюллетень, как ежемесячная подробная афиша, позволяет быть в курсе всех художественных событий и очень выручает небогатых людей, которым покупка билетов за полную стоимость не по карману.

Я заказала экскурсию в Тэнглвуд давно, состоялась она в воскресенье 24 августа. Тэнглвуд находится в Беркшире, чем-то похож на Сигулду под Ригой. Холмы, поросшие соснами вперемежку с березами и дубами, озера, замкнутый горизонт, низкое небо в облаках и дымка грусти над холмами и озерами. Только мягкие пологие склоны холмов и ярко-зеленые лужайки напоминают, что Беркшир это не Прибалтика, а Новая Англия.

Но славится Беркшир не только своей живописностью. Здесь, в Тэнглвуде, каждое лето проходит международный фестиваль, на который съезжаются звезды музыкального мира со всего света. В этом году на фестивале современной музыки блистала Софья Губайдулина, которую многие знатоки считают композитором номер один из ныне живущих.

Тэнглвудскому фестивалю шестьдесят лет с небольшим. В 1936 году владельцы огромного поместья Тэнглвуд подарили свои владения Кусевицкому и его оркестру. Сначала концерты устраивали прямо на лужайке. Но однажды музыкальный праздник нарушил ливень. Тогда соорудили тент. Потом были собраны деньги на постройку Музыкального павильона, потому что иногда дождь, барабанивший по тенту, мешал слушать музыку. В результате в Тэнглвуде было воздвигнуто нечто, называемое американцами Shed, что по-русски означает «навес», «сарай».

Первый концерт в этом самом сарае состоялся 4 августа 1938 года, и с тех пор ежегодно в июле и августе в Тэнглвуде каж-

дый день, а иногда два раза в день устраиваются замечательные концерты. Известно, например, что летом 1941 года — да, да, тем самым летом, того самого года — на концертах в Тэнглвуде побывало сто тысяч человек.

Америка — удивительная страна. Как можно в таком красивом месте, как Тэнглвуд, построить то, что здесь построили, уму непостижимо. Зеленая лужайка на склоне холма, синее озеро во впадине между двумя соседними холмами, старые величественные деревья и... И кроме главного сарая тут и там режут глаз безобразные ларечки и забегаловки, где втридорога продают сувениры и дешевую снедь. «Непременно посмотрите новый зал Седжи Озавы, он очень красив!» — слышали мы от нашего гида еще в автобусе. Посмотрели. Сарай, только двухэтажный. На первом этаже унылый ряд прямоугольных арок напоминает о гостинице во дворе в маленьком русском городке. На втором такая же унылая вереница окон. Венчает это нелепое сооружение что-то вроде ангара. Здесь в этом году проходил фестиваль современной музыки. Один из вечеров был целиком посвящен музыке Губайдулиной.

В главном сарае огромного размера стен нет, так что правильное называть его навесом. Навес подпирают металлические брусья. Пол земляной. На полу стоят довольно обшарпанные деревянные стулья, намертво соединенные друг с другом. Над невысокой сценой висят странные треугольники с закругленными краями. Висят не сплошь, в промежутках между ними видны матовые шары ламп, подвешенных к потолку на металлических стержнях. Впечатление ошеломляющее. Но еще больше ошеломляет поразительная акустика. В 1959 году американские инженеры установили здесь какие-то уникальные приспособления, и с тех пор навес в Тэнглвуде славится в мире своей акустикой.

Во время концертов на лужайке вокруг навеса сидят люди. Билеты на лужайку стоят дешевле, чем под навесом, но тоже достаточно дорого. Тем не менее сюда приходят целыми семьями, большими компаниями. Сидят на траве. Приносят с собой низкие кресла, столики. Едят, пьют — только вино или воду, — тут же играют или спят дети. Вокруг на траве ни соринки, не слышно ни криков, ни просто громких голосов.

Во время антракта, удивленные всем происходящим, мы спросили у кого-то на лужайке, хорошо ли слушать музыку под открытым небом. «Прекрасно, — ответил седой загорелый мужчина. Женщины в кресле рядом с ним согласно закивали. — Мы ничего не видим, но музыку прекрасно слышим». Тут же нас, естественно, спросили, откуда мы. Узнав, что из Москвы, мужчина сказал по-русски: «Очень хорошо». Оказалось, что его дед родом из России, несколько слов по-русски внук еще помнит.

24-го в первом отделении исполняли «Молитвы Киркегора» Барбера. Честно говоря, не оценила. Не успела войти, вслушаться. Мешали другие впечатления. Девятая симфония Бетховена во втором отделении — незабываемое переживание. Как мог глухой старик — 54 года были тогда уже старостью, — истерзанный болезнями и нуждой, создать этот гимн радости, вере и надежде, постигнуть невозможно.

Очень не хотелось уезжать, но из Тэнглвуда до Бостона можно добраться или на собственной машине или в экскурсионном автобусе. Так что пришлось смириться. В автобусе делились впечатлениями между собой и с гидом. По дороге в Тэнглвуд наш гид интересно рассказывал о Барбере и Бетховене. На обратном пути кто-то спросил, имеет ли он какое-нибудь отношение к музыке. Молодой человек, сопровождавший нас на аристократический концерт в шортах и спортивной рубашке, что никого не удивляло, рассказал, что служит в городском медицинском управлении, а по воскресеньям подрабатывает, сопровождая группы на концерты в Тэнглвуд, потому что музыка — его хобби.

ЛЕВА

Леве уже четыре года. Прочла ему «Золушку», спросила, понравилась ли сказка. «Вообще понравилась, — сказал он, — но эта книжка мне уже мала».

Папа и мама подарили Левке компьютерную игру. Он очень ловко с ней управляется. Но вот что-то не получилось. Левка бежит к Няме и кричит: «Няма, ну помоги же мне! У меня прямо нет больше сил!».

Левка очень любит «Руслана и Людмилу», но только «боевую»

часть поэмы. Фарлафа презирает. Объяснил мне, что он был трус, и с важным видом добавил: «Вонтель скромный среди мечей». Спросила о Нанне. «Она была старая и уже нехорошая», — сказал Левка.

Лева спрятался под елку. Я долго ищу его, огорчаюсь, что не могу найти, — обычная игра. Наконец нахожу. «Здравствуй, Лева, как хорошо, что ты нашелся». — «Я не Лева». — «Кто же ты?» — «Я петушок». — «Петушок, а где твои курочки?» Подумал и сказал: «Мои курочки в детском саду».

Открыли с Левкой очередной необитаемый остров. Искали место для стоянки, речку и т. д. и т. п. Левка увидел необыкновенную птицу: петуха. Я сделала смелое предположение, что раз есть петух, значит, есть и куры, еда обеспечена. «А на этом острове куры кошёрные?» — спросил Левка.

ПИСЬМО В МОСКВУ

Один день из жизни американской бабушки

Сколько времени? Половина девятого. На минуту еще можно закрыть глаза. Лежать. Почему так хочется лежать? Ого! Без десяти девять.

— Акива, пора вставать. Я первая иду мыться.

В гостиной холодно. Забыла, что ночью открыла окно. Надо закрыть. Нет, раньше взять лекарство. Фу ты, запуталась в мешочках. Это мой и наш общий, это Акивин. Две мои и одну Акивину баночки на стол. Аспириин в рюмки, на стол. Где мое первое лекарство? Вот оно. В рот. Свою чашку, как всегда, забыла в спальне.

Горячая вода — блаженство. Жидкое мыло купила неудачное. Моет хорошо, но запах! Неужели такой запах кому-нибудь нравится?левой рукой уже могу повернуть кран. Почти не болит. Холодная вода обжигает. Приятно. Сон слетел. Снова горячая вода, опять холодная. Второй раз или третий? Опять сбилась. Ладно, не поскользнуться бы. Выхожу, выхожу!

Чуть не забыла. Гольфы, ночная рубашка, лекарства на завтра. С моей сумкой все. Завтрак Акиве. Сыр кончается. Надо записать. Бутерброд, йогурт, мандарин — в портфель. Одеться, пока Акива в

ванне. Грейпфруты, йогурт, творог на столе, кофейную машину заправила.

— Акива, скорее!

Кофе и творог — самая большая радость утром, не считая душа. Одеваемся. Почистить ботинки. У Акивы сегодня факультетский ланч.

— Ой, как же ты ходишь в таких ботинках? Посмотри, подошва совсем отстала.

— Я, действительно, много хожу в этих ботинках. А что я могу сделать?

— Как, что сделать? Сказать! Сказать, что они порвались!

— Откуда я знаю, что они порвались?

Где другие? Кажется, в шкафу в кабинете. Слава Богу, нашла. Скорее. Не забыть мешок с ботинками, может быть, завтра завезу сапожнику.

На улице благодать: солнечно, тихо. Благополучно разворачиваюсь, выезжаю со двора на улицу, Акива уже несет «Нью-Йорк таймс». Поехали.

Привычная дорога в МТИ, можно поговорить. Но едем молча. Я прокручиваю свой предстоящий день, Акива свой. Кенмор — самое трудное место. Сегодня площадь не очень забита машинами. Поворачиваю налево на Массачусетс-авеню. Благополучно. Мост, красивый вид на реку, на здания МТИ на другом берегу. Снова вспоминается Вильнюс, гостиница «Неринга», чудо красоты и комфорта, как тогда казалось. И книга Норберта Винера «Я — математик». Я только начала ее переводить и долго раздумывала над необычным посвящением: «Массачусетскому технологическому институту, которому я обязан возможностью работать и свободно размышлять обо всем, что меня интересует». В каком году это было? В 1959-м? В 1960-м? Мост позади, главный вход в Массачусетский технологический институт тоже, у бокового подъезда Акива выходит.

Разворачиваюсь и еду обратно. День какой хороший: солнце светит, светофоры встречают зеленым светом. Успею, пожалуй, захватить к сапожнику перед детским садом. Счастье, что сапожная мастерская рядом с большим супермаркетом, где есть парковка.

С сапожником у меня давняя дружба. Это наследственность: мама тоже всегда дружила с сапожниками. В приемной у Василия чистота

и порядок. Надписи на русском и английском языках. Диванчик, где можно присесть. Обувь он чинит прекрасно, ремонтирует сумки, вставляет молнии, меняет кнопки на куртках, приводит в порядок чемоданы — все своими двумя руками. В штате мастерской один человек — он сам. Такой вот типичный русский американец. Ботинки будут готовы завтра. Прекрасно. Заберу завтра по дороге домой.

Теперь за Левой. У меня двадцать минут. Успею. Только бы не подвела парковка. В прошлый раз долго крутилась, пока нашла, где поставить машину. Удивительная погода сегодня. Левка не даром спрашивает: сейчас зима или лето? В конце декабря снега нет. Яркое солнце, зеленая трава, только деревья голые.

Вот и мой поворот. Аллея Ицхака Рабина. Слева большой дом с дешевыми квартирами для пожилых людей. Через каждые пять метров строгий плакат: «Скорость не больше 10 миль в час». Это уже территория Еврейского центра имени Левентала — Сидман. Как они ухитрились построить такое безобразное здание? Что только не напридумано! Высокая башня, с одной стороны плоская крыша, с другой двускатная, какие-то зубцы, арки, балкончики — глаза бы не глядели. Зато внутри чистота, спокойствие, улыбки и все, что угодно для души и тела. Большой удобный концертный и кинозал. Бассейн для взрослых и для детей, прекрасные комнаты для нескольких групп детского сада, гимнастический зал, библиотека, комнаты для встреч с друзьями, для занятий. Кто-то вышивает, кто-то переплетает книги, кто-то что-то изучает.

Один вид этих пожилых людей, которых здесь с уважением называют senior citizens, старшие граждане, вызывает удивление. Подтянутые, хорошо одетые, и даже у тех, кто ковыляет с палочкой, нет знакомой российской забитости в глазах. В Центре, как всюду в Америке, специально обозначены парковки для инвалидов, только здесь их больше. Про пандусы и автоматические двери нечего и говорить. Не могу привыкнуть к этой заботливости. Не перестаю удивляться щедрости Левенталей и им подобных.

Забираю Левку и бегу с ним к машине. Сегодня он не залезает на деревянный паровоз, на свою любимую сосну. Мы не летим на сосне в Африку, не плывем на ней же в Австралию. Мы торопимся домой.

— А мама и папа уже приехали в Россию?

— Как, в Россию? Они же уехали в Нью-Йорк.

— А Нью-Йорк в России?

— Нью-Йорк в Америке, совсем близко от Бостона.

— Там сейчас холодно?

— Где?

— В Нью-Йорке.

— В Нью-Йорке тепло. Холодно в России. Там много снега и очень холодно.

— Ты там жила?

— Левка, залезай скорее в машину. Спросишь по дороге. Вот твое яблоко. Не вертись, а то я никак тебя не пристегну.

Солнце бьет в глаза. Опускаю козырек. Не очень помогает, надо было надеть темные очки. Хорошо, что ехать недалеко. Главное, не заводится сейчас дома. Левку надо непременно положить спать пораньше, чтобы хорошенько выспался, иначе уснет в театре. Последний поворот. Все, приехали. Ну конечно, по привычке паркуюсь на улице. Сегодня машину надо подогнать к дому, на ночь нехорошо оставлять ее на проезжей части. И сумки у меня очень тяжелые.

Ключ от машины сразу кладу в свою черную сумку в карманчик на молнии. Я уже забывала его в машине. И не один раз. Двери лучше запереть.

— Левка, вылезай. Яблоко бери с собой. Нет, нет сразу домой. Смотри не выпусти Мотю!

Стаскиваю с заднего сиденья две тяжелые сумки, захоплюваю дверцы машины и вхожу в дом. Чистота. Порядок. Юлька постаралась. И обед есть, первое и второе. Чем только покормить Левку сейчас? Где у меня, кстати, Левка? Бегаёт в саду вместе с Мотей. Пусть пока бегаёт. Собачьих консервов полно. Моте еда обеспечена. А Левка поест свой любимый зеленый горошек. Прекрасно.

Посмотрю пока, что буду сегодня рассказывать Няме. Учебники на стол. Моя тетрадь. Книги... Почему их так много? Ах да, хочу, чтобы Няма сама нашла образцы готического и романского стиля. Так, «Флоренция», «Мюнхен», «Ассизи», в русском и английском учебниках тоже есть иллюстрации. Выпала закладка. Надо проверить страницу. Где мои очки? Очки, наверное, еще не достала из сумки. А где моя сумка? Где сумка? Где... сумка...

Ноги ватные. Руки дрожат. Сердце в горле. Выскакиваю на улицу. Сумка лежит на переднем сиденье машины. Дверцы машины заперты. Вот моя сумка, но дверцы заперты. Что я наделала?! И как раз сегодня!! Сердце стучит оглушительно. Хватаюсь за машину. Нет, так нельзя. Надо... Да, что надо? Надо позвонить в Службу неотложной помощи автомобилистам. На моей членской карточке есть телефон. Сейчас я... Нет, карточка в сумке. У Юли есть телефонная книжка. Очки! Да, очки тоже в сумке. И все мои лекарства. И билеты в театр. Горят щеки. Стыдно. Левка, слава Богу, бегаёт во дворе. Стыдно. Ой, как стыдно. Горит шея. Сколько можно?! Все бросить. Убежать. Спрятаться. Куда?

Руки не слушаются. Номер Шерманов кое-как набрала. Юри нет дома, вернется нескоро. Инна ничего не может сделать. Полиция. Надо позвонить в полицию. 911 отвечает немедленно. Мужской голос три раза терпеливо повторяет номер телефона, по которому мне надо позвонить. Наконец записала. Звоню. Адрес, фамилия, телефон. Где стоит машина? Какого цвета? Какой марки? Ответила, кажется, правильно.

Если не приедут через полчаса, позвоню снова. Не садиться. Что-то делать. Как там белье? Грязного нет. В сушильной машине совсем мало. Разложу в минуту. Сколько минут прошло? Пять. Глупо высказывать на улицу. А вдруг? Никого. Вымыть овощи к обеду. Положить на место свои вещи, открыть банку консервов для Моти. Левку пора уже звать домой. Сколько минут прошло? Три.

Салфетки на столе есть. «Буратино» на месте. Шрифт крупный. Обойдусь без очков. Хорошо, что Левка во дворе. Стыдно смотреть ему в глаза. Постель приготовила. Что он наденет в театр? Парадные брюки на месте. Какую-нибудь рубашку в цвет. Сколько минут прошло? Четыре. Вдруг?

Открываю дверь на улицу — к дому поворачивает машина-буксир. Молодой парень, приветливое лицо, спокойный голос.

— You need not be asamed, mem. It's usual thing.

В руках у парня желтая деревяшка со скошенным концом и кусок металлической ленты. Легкое постукивание, скрежет металла, щелчок — дверца открыта.

— Thank you very much... Thank you very much...

— It's okay, mem. It happens many times every day. Have a nice day. Достану сумочку, расплачиваюсь, пожимаю ему руку. Буксир уезжает. Вхожу в дом. Странное ощущение во всем теле: тупая усталость. «Буратино» — большая удача. Половину небольшой странички занимает картинка. Четкий крупный шрифт. Сюжет знакомый, но читать все равно интересно. Начинать с одной странички. Теперь Левка за то же время прочитывает три. Главное — традиция. Усталый, сонный, в настроении, не в настроении — перед дневной едой Левка читает мне. Когда он ест, я читаю ему. Сегодня не столько читаю, сколько рассказываю содержание «Щелкунчика», благо, у меня есть программка. Очень нравится. Двух раз мало. После третьего я встаю и укладываю Левку в постель.

Передышка. Сегодня надо, пожалуй, прилечь. Нет, сначала все-таки выпить чаю. Достану «Нью-Йорк таймс». Главное — традиция. Днем у Юли, когда Левка спит, я минут сорок отдыхаю. Иначе трудно провести как следует занятие с Нямой. Сначала пью чай и читаю «Нью-Йорк таймс». Потом просматриваю свои записи. Если остается время, возвращаюсь к газете.

Сегодня — наука в Средние века. Возникновение университетов, значение слов «университет», «студент». Напомнить об Аристотеле, рассказать, что такое логика, схоластика и про Фому Аквинского. Хорошо, что Акива нашел книжку про Фому Аквинского. Лучше один раз увидеть, чем... Противная слабость во всем теле, а голова тяжелая.

Ой, какой замечательный подарок — Няма пришла пораньше. И в хорошем настроении. Пока она гуляет с Мотей, грею обед и накрываю на стол. Ставлю тарелки, кладу салфетки — борьба за старомодные манеры: «Нямочка, не клади хлеб на стол, вот тарелка... Нямочка, не облизывай пальцы, вот салфетка... Нямочка, сядь красиво...»

Левка появился в кухне, когда мы дошли до схоластики. Пришел голый, но с луком и стрелами. Лук, сделанный Мишей, больше Левки, когда стоит на полу. Левка очень его любит. Прошу Левку принести одежду, а лук оставить пока в спальне. Возвращается с одеждой и с луком. Мне некогда с ним спорить. У Нямы вечером занятия музыкой, она должна еще сделать уроки. Одеваю Левку и рассказываю Няме про Фому Аквинского. Приятно, что ей это интересно. «Спасибо, Юня», — говорит Няма и убегает к себе в комнату.

Теперь Левин обед.

— Левка, ты знаешь, что мы с тобой идем сегодня в театр?

— А что там будут говорить?

— Там не будут говорить, там все будут танцевать. Спектакль называется «Щелкунчик». Ты помнишь, я тебе рассказывала...

— Я не хочу идти в этот театр.

— Как, не хочешь? Почему?

— Театр — это когда говорят. Я не хочу, чтобы они танцевали.

Помирились на том, что я снова рассказала «Щелкунчик» и обещала, что они будут танцевать, а он будет как будто слышать, что они говорят.

Няма уезжает на урок. Последние инструкции: «Нямочка, ты вернешься раньше нас с Левкой. Запри дверь. Сделай себе чай. Мы приедем через полчаса после тебя».

Нам уже тоже пора. Меняю Левке рубашку, заляпанную во время обеда. Переодеваюсь сама. Беру бутерброд и сок для Левки. С аппетитом у него все в порядке.

— Левка, пошли! Подождем Катю на улице. Она скоро придет. Господи, зачем ты принес лук и стрелы?

— Я хочу взять лук в театр.

— В театр не ходят с луком.

— Почему? Объясни, почему?

Губы дрожат, в глазах слезы. Уговариваю, объясняю, предлагаю взять другую игрушку. Согласился, ушел к себе в комнату. Жду. Час от часу не легче — пришел с большим серым ослом. Еще недавно Левка сидел на нем верхом и болтал ногами. Сейчас Левка на него уже не садится, но куда деть осла в театре? Говорю Левке, что ослы терпеть не могут ходить в театр, особенно если там танцуют. «Почему? Объясни, почему?» — требует Левка.

Бормочу что-то насчет упрямых ослов, хватаю попавшего под руку маленького тигренка, и мы, наконец, выходим из дома. Я не знаю, с какой стороны подъедет Катя, Левка тоже. «Ты жди в ту сторону, — предлагает он, — а я буду ждать в эту». Ждали недолго. В машине Левка твердил, что не хочет идти в этот театр, потому что там не говорят. Катя пыталась его разубедить, но не преуспела. Я молчала. Наконец приехали.

Вэнг Центр — огромное здание в стиле «ампир XX века». Увидав в фойе черный «мерседес», украшенный лентами, Левка остолбенел. Воспользовавшись его замешательством, я подвела его к двери с «золотым» переплетом и сказала, что сейчас в лифте поедет наверх. Вопросы посыпались градом: где лифт, зачем наверх, как поедет и т. д. и т. п. Дверь открыл молодой лифтер, в большой лифт вошло несколько человек, и Левка снова оробел.

Фойе балкона, куда мы поднялись, устроено в Вэнг Центре в виде галереи вокруг прямоугольного нижнего фойе. Вид сверху на толпу людей внизу, вид на потолок с тяжелой лепниной и огромными сверкающими люстрами вселил в Левку беса. Он залезал на ограду галереи, вызывая укоризненные взгляды американских дам, наклонялся вниз, задирая голову вверх, бегал по скользкому паркетному полу — смотреть на него было одно удовольствие.

Я с трудом увела его в зал и усадила на место. Огромный зрительный зал поразил Левку, и он затих. Заиграл оркестр, поднялся занавес и... Я знала, что «Щелкунчик» поставлен очень плохо, но мне не приходило в голову, что в наше время можно показать на сцене такой образец кондового реализма. Парадная зала, обстановка, как в хорошем музее, слуги обметают пыль с мебели метелочками из перьев, съезд гостей с соблюдением всех церемоний, в конце первого действия с потолка спускается огромная сверкающая карета, в которой уезжают дети. Чего только нет на сцене! То есть чего нет, становится ясно в первые пять минут: нет поэзии, нет сказки. Попросту говоря, нет театра.

Я не обманула Левку, сказав, что на сцене будут танцевать так, что он как будто услышит слова. Никаких танцев в первом акте не было. Актеры старательно разыгрывали пантомиму, и все было совсем, совсем «как в жизни». И слова, действительно как будто были слышны. И крысы трясли длинными хвостами, и гости приносили огромные коробки с подарками, и мама зажигала свечи на елке и... и... И Левка был в восторге.

Рядом с нами сидела чета пожилых американцев. Они спросили у меня, сколько Левке лет, и весь спектакль смотрели то на сцену, то на него. Удивительно, сколько американцев ходят на «Щелкунчик» без детей. Эта стойкая предновогодняя традиция связана, ви-

димо, еще с тем, что в Америке очень любят Чайковского. Я тоже люблю Чайковского и люблю балет. Но смотреть этот длинный, тягостный, прозаический спектакль ради собственного удовольствия — это мне трудно понять.

В антракте я спустилась с Левкой к барьеру балкона и показала, где сидит оркестр, потому что во время действия он без конца спрашивал, где играет музыка. Разглядев все, что привлекло его внимание в оркестре, Левка заинтересовался лестницей. Не успела я оглянуться, как он стремглав помчался вверх и, добравшись до последнего ряда балкона, с радостью поскакал вниз. Потом снова помчался вверх и снова вниз. Так он и носился взад и вперед, пока в зале не начал гаснуть свет.

Во втором акте нет никакого содержания. Это дивертисмент. Танцев много, каждый сам по себе неплох, но все происходит в чудовищно замедленном темпе, с непереносимой сменой декораций, когда появляются то замок, то деревенский дом, то лес, то озеро, и все это тянется, тянется и тянется без конца. Смена декораций спасала Левку. Он то и дело спрашивал, куда делся лес, кто живет вон в том домике, а когда долго и нудно исполняли классический танец, громко спросил, когда они, наконец, кончат. Слава Богу, по-русски.

Я слушала музыку, смотрела на Левку, на балерин, а перед глазами стояла сцена Большого театра и я держала за подол маленькую Машу, боясь, что она выпадет из ложи. Или это была Юлия? Не помню.

За последнее время американский балет расцвел, во многом благодаря нашествию талантливых русских балерин, танцовщиков и балетных педагогов. Вторжение русских иначе как нашествием не назовешь. В какой-то газете я прочла, что только в 3% американских балетных трупп нет русских. Унылый бостонский балет преобразился. В этом году под руководством известного лондонского хореографа Пельцига бостонцы поставили «Ромео и Джульетту» с Ларисой Пономаренко в главной роли, и этот спектакль стал большим событием. Мечтаю посмотреть, но билеты достать трудно.

«Щелкунчика» новые веяния не коснулись. Во время второго действия многие дети, сташе Левы, спали. У Левки сна не было ни в одном глазу, не тот характер. После спектакля нам предстоял долгий путь на метро, и я не знала, как Левка выдержит дорогу. Мы

вышли из театра в половине одиннадцатого, но он был бодр и с интересом смотрел по сторонам.

В Ньютоне, где живет Юлия, улицы обычно пустынные. Разве что кто-нибудь выйдет прогулять собаку или пройдет спортивным шагом в погоне за здоровьем. Рядом с Вэнг Центром много других театров, и, на радость Лева, мы попали в людской водоворот. А тут еще какая-то дама вручила ему бумажную сумку, набитую рекламными объявлениями, образцами печенья, конфет, сухариков. «А Няме?» — беспокоился Левка. Пришлось мне тоже взять сумку, благо, их раздавали всем, выходящим из театра.

Метро рядом, наш поезд подошел сразу. Левка уселся у окна, а полезла в сумочку за бутербродом. Но не тут-то было.

— Мы едем под землей?

— Да.

— А как мы туда приехали?

И началось.

Где машинист? Кто толкает наш поезд? Почему тут светло, а там было темно? Зачем эти дяди вышли? Я больше не хочу ехать по зеленой линии, давай поедem по красной. А желтая линия есть? Почему мы остановились?

Народу в поезде немного. Соседи спрашивают меня, сколько лет мальчику, на каком языке он говорит, откуда мы едем так поздно. Всеобщее вниманиенисколько Левку не смущает. Он занят своими мыслями.

— А на красной линии все столбы красные? Правда?

— Правда. Сейчас будет Кенмор, последняя остановка под землей. Потом... Левка, погоди. Что-то объявляют. «Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны».

На Кенморе, наверное, что-то ремонтируют. Делать нечего, выходим. Интересно, когда мы сегодня попадем домой. Указатель: «К автобусам». Поднимаемся на эскалаторе вверх. Левка — американское дитя. Автомобиль для него — дом родной, поездка на метро, эскалатор — приключение.

У выхода из метро стоит несколько автобусов и полицейский. Америка, ядрёность, как изящно выражается в таких случаях Юлька. Спрашиваю у полицейского, какой автобус подвозит к зеленой ли-

нии метро. Бежим с Левкой к указанному автобусу. Садимся. Поехали. Левка в восторге.

— Юня, почему автобус поехал по мосту? А что под нами? А мы не упадем? Нам долго ехать? Я хочу долго.

Выходим на высокой эстакаде. Вниз к платформе наземного здесь метро ведет крутая лестница. Левка счастлив — такой лестницы он еще не видел. Но я видела. Я знаю, что металлические ступени скользкие. Мне страшно упасть. Здесь ступеньки, правда, с зубринами и не скользят, но Левка так стремительно бежит вниз, что у меня от напряжения дрожат ноги. Слава Богу, спустились.

Подходит поезд. Садимся. Град новых вопросов — едем ведь по земле. Наконец наша станция. Тишина. Редкие фонари. Полное безлюдье. Левка притих. Около телефона-автомата скамья. Пока я, как заранее условлено, звоню Косте, Левка укладывается на скамейку. Мне страшно, что он заснет. Я тогда с ним не справлюсь.

— Левка, ты хочешь, чтобы я тебя вместе со скамейкой положила в машину? — говорю я первое, что приходит в голову.

В ответ Левка громко хохочет. Мое дурацкое предположение кажется ему очень смешным. В разгар веселья подъезжает Костя, через несколько минут мы дома.

Бурный обмен впечатлениями, печеньем и конфетами из подаренных сумок, стремительный ужин — вот когда пригодился мой бутерброд, — звонок Акивы, Левкина ванна, наконец Левка в постели. И тут он вдруг изрекает:

— У меня сегодня замечательный день. Мама и папы нет, а я был в театре, мне дали подарок, я ехал на метро, потом на автобусе, потом опять на метро и еще на машине. Юня, сделай «куколку».

Я делаю «куколку» — подтыкаю одеяло со всех сторон, — напоминая, что утром довезу Няму до конца нашей улицы и он недолго будет дома один, целую мгновенно заснувшего Левку и тушу свет в его комнате.

Няма уже легла. Целую большую девочку и возвращаюсь в кухню. На часах половина первого. Кажется, справилась. Пью чай, что то ем. Блаженное чувство покоя и возможности принадлежать себе. Ставлю будильник на половину седьмого и ложусь в постель. Газету читать не в состоянии. Открываю «Разговоры в пользу мертвых»

Самуила Лурье, но его изысканные литературные опыты в этот вечер мне тоже не под силу. В половине второго гашу свет и тут же проваливаюсь в сон.

Будильник зазвонил точно в половине седьмого. Встаю сразу. Сон ушел так же резко, как пришел. Душ откладываю на вечер. Умываюсь, одеваюсь и бужу Няму. Она, против ожидания, тоже встает легко. Быстро принимает душ, одевается и выходит с Мотей. Возвращается с «приятным» известием: «Юня, в твоей машине замерзли все окна. На ней нельзя ехать». Пока Няма завтракает, чищу скребком стекла машины. Кончаю одновременно.

Отвожу Няму, открываю дверь дома и вижу Левку. Стоит в прихожей в ночной рубашонке, без штанишек. В глазах страх. Предупреждения не помогли, испугался, что один. Обнимаю теплый, мягкий комочек, уговариваю снова лечь в постель. «Я хочу в детский сад», — твердит Левка, цепляясь за меня ручонками. В сад, так в сад. Но уже восемь часов. Надо торопиться. Левка залезает в ванну. Я бросаю в стиральную машину свое постельное белье, открываю собачьи консервы для Моти и проглатываю утреннюю порцию лекарств.

В сад приехали вовремя. Но где поставить машину? Такая большая парковка и ни одного свободного места. Выхода нет, оставляю машину у дверей и поднимаюсь с Левкой наверх. Только сегодня замечаю, что часть большой светлой комнаты отгорожена барьером, за которым устроена кухня с электроплитой, раковиной, холодильником и столом. Неплохо.

У Левки в группе две воспитательницы на 15 детей. Кэрл, симпатичная высокая худощавая женщина, подходит к Левке и протягивает холщовую сумку с его фотографией. Левка узнал себя, взял сумку и вприпрыжку побежал к своему шкафчику. Обо мне забыл мгновенно. У Кэрл семеро детей: двое своих, пятерых сирот из России они с мужем усыновили. Она всегда красиво и к месту одета, всегда спокойна и радостно улыбается каждому ребенку. Как ей это удается, не знаю.

Машина моя мирно стоит в неполюженном месте. Теперь домой. Нет, еще заехать в магазин и зайти к сапожнику. Оставляю машину у супермаркета и иду к Василию. Ботинки починены великолепно — новая пара обуви. Остался магазин, но это уже пустяки.

Список покупок короткий, дорога домой тоже. Добралась благополучно. Все. Передышка.

ДНЕВНИК 10 ноября. Листопад. Летят и летят листья с соседнего дуба. Моросит дождь, ветер не такой сильный, а листья летят и летят. Елка под окном вся в белых бусинках дождя, на зеленые иголки наколоты узорные заплатки коричневых дубовых листьев. Осень. Перечитала «Один день...» Как давно был этот декабрьский день. Как изменились дети за это время, изменился даже наш новый малыш. Через четыре дня Сеньке будет полгода, он стал совсем другим. А я?.. Не хочется об этом думать. Смотрю в окно на желтые листья, на елку, вспоминаю достопамятный декабрьский день и лето 1997 года. Тур в Грецию купили заранее, все лето ждала этой поездки — ждала осуществления фантастической мечты: увидеть Акрополь своими глазами. Мечта сбылась. Я написала очередное письмо.

ПИСЬМО В МОСКВУ

Греция и Турция. 18 сентября—1 октября 1997 года

Часть I. Греция

Греция красивая страна: зеленые склоны невысоких гор, уютные долины, приветливые заливы, цепочки живописных островов в ласковом море — все красиво. Но ничто в этой стране не говорит сегодня о ее великом прошлом. Греция — храм искусства, прародительница нашей цивилизации, эта Греция исчезла почти бесследно. Почему же так тревожат, так волнуют и влекут развалины древнегреческих храмов, дворцов, городов? Что влечет? Что тревожит?

Первый номер «Иностранной литературы» за 1997 год целиком посвящен античности. Он попал ко мне в руки через месяц после возвращения из Греции. Я прочла его с жадностью. В статье Вяч. Всев. Иванова «Современность античности. «Черное солнце» Фед-

ры» наткнулась на слова: «Прежде всего: вся наша культура происходит из античности. Все, чем мы занимаемся и восторгаемся от математических теорем до гротескных комических спектаклей, коренится в том, что было сделано в Афинах в V веке до н. э. Мы можем переиначивать это наследие, от него отталкиваться, но при всех различиях поколений мы остаемся прямыми потомками Греции — и Рима как ее продолжения».

Ответ? Да, конечно. Но слишком общий, слишком расплывчатый и холодный. А настоящий? Не знаю. Может быть, он найдется, если я приведу в порядок свой дневник. Может быть, не знаю.

18 сентября. В самолете поняла, что больше всего удивляет в американских аэропортах. Не безупречная чистота, не изобилие в ярких нарядных киосках. Самое удивительное — странное, непривычное на вокзале, в аэропорту спокойствие. Нет суеты, нет суматохи, нервозности. В Нью-Йорке долго не могли найти нужный терминал, не знали, как туда проехать. Спросили служащую какой-то компании. С милой улыбкой она попросила немного подождать, вызвала машину, объяснила все, что нужно, шоферу и предупредила, что денег платить не надо, так как машина обслуживает аэропорт.

Плохо, что вылетела усталая. Раньше любая передышка — сон, чтение — быстро восстанавливала силы. Сейчас что ушло, то ушло. Теряю гибкость биологические часы. Перемена времени требует все большего напряжения. Обед в самолете предложили в 10 часов вечера, завтрак — в 2 часа ночи. В промежутке дремала. Трудное расписание. Увижу ли Грецию? Сумею ли увидеть?

19 сентября. В Афины прилетели с опозданием. Один из наших чемоданов волею судьбы и компании «Олимпик» остался в Нью-Йорке. Долго его искали, заполняли анкеты. Когда, наконец, закончили с формальностями, по местному времени был уже час дня. Автобус едет берегом Эгейского моря. Смотрю на силуэты гор в синей дымке, на зеленый мыс с белыми игрушечными домами.

Наш однооружий экскурсовод Юра говорит, не умолкая: «В Афинах живет 4 миллиона человек, это почти половина населения Греции... 10 миллионов греков принимают ежегодно 11 миллионов туристов... В 1461 году Афины были захвачены турками, турецкое иго продолжалось около пяти веков...»

Не могу включиться. Не могу понять, за окном автобуса Эгейское море? То самое, куда бросился царь Эгей, когда увидел корабль Тезея под черными парусами? Всю мою длинную жизнь это было одним из мифов Греции. Совсем недавно я рассказывала про Тезея и Ариадну Няме. Про царя Эгея знает уже Лева. Я, правда, в Греции? Остановка, выходим. Что такое говорит Юра?

— Подняться на холм можно только пешком. Стоит, стоит, не сомневайтесь. Поднимайтесь медленно. Не торопитесь.

Я не тороплюсь. После бессонной ночи в самолете и напряженного утра в аэропорту где уж торопиться. Каменистая тропинка идет вверх довольно круто. Низкорослые сосны, песок, редкие пучки травы. Жарко. В гостиницу еще не заезжали. Неподходящее платье, туфли — все мешает. Наконец поднялись. Наверху прохладнее. Дует ветерок, над головой синее небо в белых облаках. С холма видна неширокая долина, за ней еще один холм, на вершине холма Акрополь. Знакомый прямоугольник Парфенона с белыми колоннами. Знакомый? Я никогда его не видела. Не видела царственности его колонн, их гордости и величия. Не видела, как они парят в воздухе и как непреклонно стоят на плоской вершине холма. Греция-храм, великая и прекрасная, вырастает и оживает за этими колоннами. Она властно притягивает к себе, и душа летит навстречу этой красоте — такой простой и ясной, такой непостижимой, что из глаз текут слезы.

Дневная — автобусная — экскурсия по городу оставила тусклый след. Но пешая вечерняя — очень яркий. Современные Афины, застроенные многоквартирными домами, на удивление безлики. Архитектурные новшества, изредка останавливающие взгляд на серых улицах, выглядят инопланетянами в ряду своих унылых блочных соседей. Город задавлен потоком транспорта. Резкий запах бензина, грохот, лязг. На проспекте Королевы Софии стоят огромные здания больницы, американского посольства, отеля «Хилтон» — все не красивые. Достопримечательностью проспекта считается статуя бегущего человека, сделанная из пластин зеленого стекла, уложенных друг на друга. Огромные размеры этой скульптуры и острые неровные края пластин действительно производят впечатление. По моему, главным образом своим безобразием. Как можно выстроить все это в городе, который называется Афины, уму непостижимо.

В небольшой книжечке А.А. Сидоровой «Афины» написано, что древние статуи убраны с улиц города и хранятся в музеях, так как влажный, насыщенный парами бензина воздух Афин вреден для мрамора. Для моего, отнюдь не мраморного, сердца воздух Афин, видимо, тоже вреден. В этом городе оно решительно отказывается работать. Ходить не могу. Совсем. Возвращаться?

20 октября. Встали в 6.30 утра. В нашем отеле уютный ресторан, кормят очень вкусно. Устоять перед греческим белым хлебом, салатом из свежих помидоров и огурцов с овечьим сыром и крупными черными маслинами нет сил. Салат полит ароматным оливковым маслом, лимон выжимаешь сама. Доев салат, макаешь белый хлеб в масло с лимонным соком... И никакие напоминания о весах не помогают!

Около восьми утра выехали в Дельфы. Утром улицы Афин забиты транспортом так же, как днем и вечером. Много знакомых советских троллейбусов. Зелени нет совсем, чахлые деревья встречаются только на окраине. Зато многие улицы окутаны облаками пыли: Афины готовятся к Олимпийским играм, в городе лихорадочно строят метро. Развороченные мостовые, стрелы экскаваторов, густая пыль — обычный городской пейзаж.

За городом непривычное сочетание хлопковых полей, оливковых рощ и сглаженных очертаний гор вдали. Неожиданно поля пропали, их сменили лесистые холмы. Остановка. Короткая улица, магазинчик, кафе — Дельфы. Вернее, крошечный поселок рядом с тем, что когда-то называлось Дельфами.

Теперешние Дельфы — это многочисленные буклеты с хорошими (или плохими) иллюстрациями, подробный план с обозначением что, где когда-то находилось, груды камней и красочные или не очень красочные рассказы экскурсоводов (в том числе нашего Юры), как выглядели храмы, святилища и дарохранилища до того, как войны и землетрясения обратили их в развалины.

Теперешние Дельфы — это горы-близнецы Федриады, холмы, небо и древние камни. Кастальский ключ нашли, но он давно иссяк. Чашу, в которую когда-то изливались его воды, столько раз перedelывали и реставрировали, что от нее ничего не осталось. Удивляет Парнас: до его вершины, кажется, рукой подать. Нужны ли крылья, чтобы туда подняться?

От храма Аполлона, главного в Дельфах, уцелело шесть колонн. Они сложены из грубо отесанных кусков мрамора, напоминающих примитивные колеса, но стоят так величаво, так гордо смотрят вверх, в небо, что, кажется, слышишь, как они говорят друг другу: «Мы устояли и будем стоять вечно».

Известно, что Зевс плохо знал географию. Однажды, устыдившись своего невежества, он послал двух орлов в разные стороны и велел им облететь землю. Орлы встретились над храмом Аполлона в Дельфах. Чтобы отметить это место, Зевс сбросил с неба овальный камень с плоским основанием — пуп земли. Камень тоже уцелел и стоит рядом с храмом Аполлона.

Но настоящие Дельфы, все то подлинно великое и бессмертное, что связано с Дельфами, это не Парнас, не Федриады, не кастальский ключ, не колонны и не пуп земли. Это некрасивое прямоугольное здание музея, где хранится малая толика сокровищ, когда-то стоявших здесь под открытым небом. Не знаю, видела ли я в жизни что-нибудь, что с большим правом называется избитым словом «сокровища».

Мне очень хочется рассказать, написать о них, чтобы поделиться подаренной радостью, не потерять то, что увидела. Как это сделать? Где взять слова, краски, силы?

Мраморные статуи двух обнаженных мужчин, двух братьев. Скульптурам, значительно большим человеческого роста, примерно две с половиной тысячи лет. У одного из братьев не хватает руки, повреждено бедро. Но и это не разрушает иллюзии, что они родились вчера, что в их жилах течет живая теплая кровь. Вот сейчас они сойдут с пьедестала, выйдут из тесной комнаты и вздохнут полной грудью, увидев родные зеленые горы. В них такая мощь, их красота так естественна, что... Да, конечно, они совершенное создание, венец творения. Они эллины: люди, равные богам.

Огромный крылатый сфинкс на высокой колонне. Лапы и торс зверя, крылья птицы, лицо человека. И безупречная гармония во всем облике. За опущенными веками тайна. Никакому Эдипу не разгадать загадок этого сфинкса. Ему столько же лет, сколько братьям-эллинам, и всю свою жизнь он поглощен раздумьями. Я вижу, как пульсируют мысли в его мраморной голове. Сейчас он откроет

глаза и заговорит. Но нет, ему некуда спешить, его время еще не пришло. А мое — миг рядом с ним — уже почти истекло. Я говорю ему: «Спасибо. Прощай». И ухожу.

Головы женских статуй-кариатид с мраморными цилиндрами-подпорками, украшенными сценами из жизни богов. Барельефы так выразительны, что их можно читать как книгу. А лица этих женщин! Какое разнообразие характеров, оттенков настроения и какая внутренняя цельность, внутренний покой свойственны им всем, как ни отличаются они друг от друга. Цельность и... нет... не покой. Приятие мира со всем, что уготовила жизнь, дарованная богами. Головы высечены в VI в. д. н. э.

Поразительная колонна, увенчанная группой из трех танцовщиц, исполняющих ритуальный танец. Женские фигуры, изваянные из цельной мраморной глыбы, очень красивы, гибки и подвижны — да, да они, действительно, танцуют, стоя на колонне. Когда-то эта колонна служила опорой огромного треножника. Чаша треножника лежала на головах женщин, а ножки опирались на капитель. Треножник погиб, но колонна, к счастью, сохранилась. Скульптор, создавший это чудо около 380 г. д. н. э., неизвестен. Не знаю, как и чем достигается такое глубокое, многозначное, поднимающее над землей — над земным — воплощение в камне неразделимости движения и покоя. Какая-то пелена спадает с глаз, когда смотришь на эту колонну. Радость льется в душу, вера и надежда.

Удивительно красивая мраморная статуя Антиноя хранится в музее. О красоте Антиноя столько написано, что мне нечего к этому прибавить. Остается только чуть переиначить известную поговорку: «Лучше один раз увидеть подлинник, чем семь раз посмотреть на репродукцию». Если это, конечно, возможно.

Знаменитая бронзовая статуя возникшего. V в. д. н. э. Юноша в хитоне держит в единственной уцелевшей руке обрывки поводьев четверки лошадей. Известно, что статуя была отлита в честь победы одного из жителей Сиракуз в соревнованиях колесниц на Пифийских играх в 478 г. д. н. э. Повязка победителя на голове возникшего инкрустирована серебром. Губы сделаны из желтой меди, глазные яблоки из эмали, а радужные оболочки из полудрагоценных камней.

Но о мастерстве, искусстве не думаешь, глядя на возникшего, — он живой. Никаких ухищрений не замечаешь: спокойное лицо, напряженная шея, тело скрыто под широким хитоном. Спереди, где фигуру юноши закрывали лошади, складки хитона падают отвесно вниз, сзади слегка «колышались», передавая движение. Вот и все. Не считая души, вложенной скульптором в это бронзовое творение. Душа светится в правильных чертах молодого лица, в позе юноши, даже в его одежде. И в дарованной ему душе заключена, кажется, вся мудрость древних греков. Наверное, поэтому от статуи так трудно отойти. Ею не только любуешься, с ней хочется поговорить.

Фрагменты живописных фриз со сценами из жизни богов и людей, надгробья, жертвенники с удивительными рельефными изображениями, курильницы, бронзовые и мраморные статуи и статуэтки, золотые пластины с чеканным орнаментом, украшавшие одежду, статуя быка в натуральную величину из кованых серебряных пластин (статуя плохо сохранилась, уцелевшие пластины набиты на стену) — богатства музея несметны и бесценны, как несметны и бесценны были когда-то богатства Дельфов.

Греция, насколько я успела понять, делится на две части: на не Грецию и Грецию. Символ не Греции — Афины, где для контраста есть Акрополь. Символ Греции — музей в Дельфах.

Вернулись в Афины к вечеру. Долго ехали по проспекту Кефисиаза. Здесь много красивых современных зданий из стекла и бетона. Но они втиснуты между блочными коробками с пропыленными балконами, обособленными толстыми серыми рулонами свернутых тентов, спасающих афинян от немилосердной летней жары. Своего лица у проспекта нет. Новый дом, шеренга блочных домов, вдруг красивая старая церковь — какофония. Особенно неприятная после музея в Дельфах.

Вечером были на Плаке. Опоздали. Группа уехала без нас. Добирались одни на троллейбусе. Сначала огорчились, но быстро поняли, что опоздание во благо. Радостное ощущение свободы. Плака — это единственный пешеходный район в Афинах. Он расположен в старой части города и застроен двух-трехэтажными обветшавшими домами, полностью лишенными романтического ореола. Привлекательность Плаки в другом.

Весь этот район — большой живописный магазин-ресторан. Кафе, тавернам, ресторанам и ресторанчикам нет числа. На узких улицах стоят столики, горят свечи, дымится аппетитная еда. Витрины украшены так, что и сытый захочет есть. На улице кто-то играет на шарманке, кто-то на скрипке, кто-то поет под гитару. Тут же торгуют украшениями, прекрасными меховыми шубками и керамикой. Больше всего керамики. И она по-настоящему красива. В каждом магазине и магазинчике хочется купить все подряд. Вазы ручной работы можно рассматривать часами. Но у нас дома негде их поставить. И как их увезти? И где взять на это деньги? Остается смотреть и радоваться. Смотрели и радовались.

Купили мороженое. Оно в Греции очень вкусное. Соблазнились какими-то пирожками. Жевали на ходу пирожки, запивали лимонадом из бутылочек и смотрели по сторонам. Интересно. Видели две свадьбы в соборе, дам в невероятных туалетах, огромные коробки с подарками для новобрачных. Праздничная толпа спокойная и доброжелательная. Встретили свою группу. Все было хорошо в этот вечер, если бы не возвращение. Не могла дойти до троллейбуса. Нитроглицерин помогает на две-три минуты. Потом снова боль и удушье.

21 сентября. Поездка на автобусе к Акрополю. Высотных зданий в Афинах нет из-за угрозы землетрясений. Высокие есть — новые гостиницы, офисы иностранных фирм. Видела дом Шлимана. Он совсем почернел от афинского воздуха. Хотела бы попасть внутрь. Но...

Юра сказал, что до войны в Греции жило 50 тысяч евреев. Большинство погибло в 1941—1943 гг. Сейчас в Афинах и в Салониках осталось около 4 тысяч евреев.

Подъем на Акрополь не крутой, но длинный. Боялась, смогу ли. Поднялась легко. Неужели все дело в афинском воздухе? Хорошо бы.

Наверху, собирая группу — тихоходов и плохих ходов в нашей пожилой группе хватает и без меня, — Юра как всегда поднял маленький американский флажок. Откуда-то немедленно появилась слушающая Акрополя и попросила флажок убрать. «На территории Акрополя никакие флаги, кроме греческого, не разрешаются», — объяснила она. Думаю, что это справедливо. Акрополь — действительно, сердце Греции.

Отступление по техническим причинам

Книжку бывшего директора Акрополя Георгиоса Донтаса «Акрополь и его музей» я в Греции не открыла. О чем очень жалею. Её надо было внимательно прочесть, и не в Греции, а в Бостоне до поездки. Но до поездки было некогда, да и купил её Акива в киоске на Акрополе. Книжку Георгиоса Донтаса я читаю сейчас, через полтора месяца после возвращения из Греции. Она издана в Афинах в серии «Памятники и музеи Греции», щедро украшена великолепными иллюстрациями и хорошо переведена на русский язык. Это большая редкость. Обычно такого рода литературу на русском языке читать невозможно. Благодаря этой книжке многое становится теперь гораздо понятнее. Жалко, что в Бостоне, а не там, на Акрополе.

Мне не случайно показалось, что колонны Парфенона парят в воздухе, когда я увидела Акрополь с соседнего холма. Гениальность Фидия, создавшего Парфенон, заключается не только в том, что он нашел идеальное соотношение длины, ширины и высоты здания, но и в так называемых «тонкостях» Парфенона. Они были впервые открыты в прошлом веке, когда и появился этот термин. Тонкостей много. Одна из них состоит в том, что колонны сужаются кверху и несколько утолщаются на одной трети высоты снизу. Именно эта особенность колонн превращает их из необходимых опор в одухотворенное произведение искусства.

Но этого мало. Все колонны, и в особенности угловые, слегка наклонены к центру. Поэтому Парфенон кажется таким стройным несмотря на свои огромные размеры. В то же время чередование колонн и пустого пространства создает красоту ритмического движения, а незаметные различия колонн нарушают монотонность. Это тоже одна из «тонкостей» Парфенона.

Судьба Акрополя ужасна. Его грабили и разрушали варвары, перестраивали крестоносцы. В XV в., захватив Афины, турки превратили Парфенон в мечеть, а Эрехтейон в гарем. Венецианцы осадил турок и с моря вели артиллерийский обстрел Акрополя. Один из снарядов попал в Парфенон, где турки устроили пороховой склад. Здание взлетело на воздух.

В начале XIX в. начался планомерный вывоз ценных памятников и скульптурных украшений Акрополя в Англию. Все они хра-

нятся теперь в Британском музее. Вывоз их, конечно, был грабежом, но, не свершись это злодеяние, они погибли бы во время землетрясения 1894 года.

Прихоти судьбы казнили и миловали Акрополь не только в XIX в., но и в самом начале его истории. В 480 г.д.н.э. персы, захватив Афины, разрушили и город, и Акрополь. Через два года, изгнав персов, греки тщательно собрали обломки священных построек на Акрополе и захоронили их. Среди многих зарытых ими сокровищ, найденных во время раскопок 1886 года, оказались разбитые коры, статуи девушек (может быть, жриц). Для греков V в. д. н. э. они, видимо, были прежде всего воплощением живых женщин, поэтому они не пытались восстановить статуи, а похоронили, как хоронили людей, что и спасло эти удивительные скульптуры, которые стоят сейчас в музее Акрополя.

Я листаю и листаю книжку «Акрополь и его музей». С радостью и с сожалением смотрю на репродукции экспонатов музея. Сколько прекрасных статуй — коры, мужчина с ягненком на плечах, статуя всадника... Я помню, как трудно было от них отойти. Даже страничку книжки перелистнуть трудно. Во время экскурсии на Акрополь слишком мало времени осталось на музей. Как всегда слишком мало времени. И теперь уже никогда больше не увидеть сокровищ этого музея.

Издали Акрополь величественнее и красивее. Издали видны колонны Парфенона и не заметны разрушения. Вблизи все время слышишь слово «были», а видишь строительные леса и штукатурку. Реставрационные работы идут медленно. Не хватает денег. Всемирный совет архитекторов разрешает восстанавливать древние памятники только из подлинных материалов. Причина понятна: боязнь подделок. Но с тех пор, как это решение было принято, стоимость работ сильно возросла, а темп замедлился.

Вид с Акрополя на Афины удручает. Серый город. Вкрапления древних памятников не меняет его унылого облика.

Обедали на Плаке, куда нас с Акрополя привезли на автобусе. Ели в какой-то таверне, где было не очень дорого, очень вкусно, красиво и интересно.

Видели Арку Адриана, несколько старых церквей и президентский дворец. Впечатление произвели только гвардейцы, охраняю-

щие дворец. Караул меняется каждые полчаса. Церемония похожа на смену караула у Мавзолея в недобрые старые времена. Только мундиры другие.

Греческие солдаты одеты пестро, как куклы. Красная шапочка с помпоном. Поверх белой рубахи что-то разноцветное вроде жилета. Вместо брюк белая, туго накрахмаленная коротенькая юбочка с 450 складками — турецкое иго продолжалось 450 лет, складки — чтобы не забывали. На ногах туфли с загнутыми вверх носами и красными помпонами. Стоя в карауле, солдаты не имеют права шевелиться. Этим вволю пользуются туристы и особенно туристки, запечатлевая себя на живописном фоне. Подходят к недвижимым солдатам, обнимают их — отталкивающее зрелище.

Вечером бродили с Акивой около нашей гостиницы. На улицах пусто, грязно, пахнет бензином, носятся с ревом мотоциклы, вплотную, одна за другой, едут машины. Перейти улицу — сложная задача. Ходить неприятно, хотя наша вполне respectable и благоустроенная гостиница находится в центре города.

22 сентября. Встали в 6.45 утра. Подниматься в такое время становится все труднее. До порта доехали на автобусе. На теплоходе нашу русскую группу встретил почти русский экскурсовод — симпатичная латышка из Риги, эмигрировавшая в Грецию больше десяти лет назад. Она хорошо говорила по-русски и очень украсила нашу поездку. Для начала участникам экскурсии предложили сфотографироваться с красивыми парнем и девушкой в греческих национальных костюмах. Вечером раздавали прекрасные фото. Стоили они дорого, но устоять не мог почти никто. Туристский бизнес в Греции процветает.

Эгейское море удивительно безмятежно и живописно: шелковая голубая вода, цепочки зеленых островов. В этом домашнем море нет открытой воды, нет широких горизонтов. Невысокие горы на побережье, зеленые холмы на островах. И безлюдье. Греции принадлежит больше трех тысяч островов в Эгейском море, но из-за отсутствия питьевой воды обитаемы только 300.

Остров Эгина обитаем: маленький городок на берегу, довольно большой монастырь чуть выше в горах. Но интересен на острове только храм богини Афеи.

Ах, эти древние греки, как они строили свои храмы, как выбира-

ли для них место. Какой изумительный вид открывается с площадки храма Афеи. Залитые солнцем острова будто плывут в синей воде под куполом синего неба. Храм расположен невысоко. Холм, где он был построен в V в. д. н. э., возвышается всего на 300 метров над уровнем моря, а кажется будто он стоит на высокой горе. Но чудо в другом: храм Афеи на острове Эгина, Парфенон в Афинах и храм Посейдона на мысе Сунионе построены так, что являются вершинами равносортного треугольника. Как это было достигнуто, никто не знает.

От храма Афеи осталось немного — колонны. Большая часть скульптурных украшений храма находится сейчас в музее в Мюнхене. Колонн было когда-то 72. Осталось несколько. Землетрясения, набеги пиратов, турецкое иго — остров Эгина не избежал участи материковой Греции. Большинство колонн сделаны из цельных кусков известняка и украшены лишь суровыми дорическими капителями. Многие сильно пострадали от времени. Но как они красивы! Как они величественны и стройны! Неужели все дело в пропорциях, в гармонии между местом, размером и назначением? Неужели гармония дарит такую радость? Не знаю. Побывать на острове Эгина, увидеть храм Афеи — большая радость. Это теперь знаю.

Маленький скалистый остров Гидра. Крошечный живописный городок. Жалко, что не удалось выкупаться. Не нашли подхода к воде. Большой остров Фарос. Красивый вид на склон горы с террасами домов и стандартный набор магазинчиков на набережной.

В Греции сохранилось мало настоящих достопримечательностей. Они разбросаны на большом расстоянии друг от друга. Это создает много дополнительных трудностей. Из трех островов, на которых мы побывали, интересен только один — Эгина. Но из Афин до Эгины нужно плыть два часа на теплоходе, а прежде еще добираться до порта в Пирее. Соединить эту экскурсию еще с чем-нибудь невозможно, заполнить целый день посещением Эгины тоже невозможно. Поэтому вместо одного острова показывают три, хотя на Гидру и Фарос ездить незачем.

Чтобы пассажиры теплохода не скучали, в большом салоне был устроен концерт. Четыре музыканта и три танцора (два парня и девушка) исполняли греческую народную музыку и танцы. Музыка красивая и мелодичная. Смотрела и слушала с удовольствием.

На теплоходе были замечательные экскурсоводы. Каждый, кроме языка своей группы, — в салоне были русские, японцы, румыны, итальянцы, кто-то еще — говорил по-гречески, по-английски и еще на одном-двух языках. Главное — все они держались непринужденно и легко находили контакт с незнакомыми людьми.

Вечером в Афинах мы с Акивой умудрились заблудиться по дороге в знакомую таверну рядом с гостиницей. Нашли в конце концов. Греки на улице очень доброжелательны. Английский язык многие знают. Если видят, что их не понимают, покажут, объяснят снова.

Перед сном сложила вещи.

23 сентября. Накануне свет потушили в 12 ночи. В два часа проснулась. Долго не могла заснуть. Встали в 8 утра.

До Нафплиона ехали несколько часов на автобусе. Первая остановка на Коринфском перешейке. Первое ощущение — шок. Плоская голая земля, беспорядочно разбросанные дома-сарай, крикливые рекламные щиты. Неширокий перешеек рассечен шоссе и железной дорогой, перерезан каналом. Вдали высокие желтые трубы с шапками дыма — завод. Вблизи черные трубы на подпорках — мост. Какая это часть света? Что за страна? Говорят, Европа, Греция. Не верится. И только когда стоишь на мосту и смотришь на темную неподвижную воду коринфского канала, на пологий зеленый мыс в серебристо-синем море вдали за каналом, возвращается ощущение, что это Греция. Как изуродована греческая земля. Как редки оазисы уцелевшей красоты. Бедная Греция.

Знаменитый коринфский канал, соединивший Эгейское море с Ионическим, был построен в 1881—1893 годах. Канал странный: довольно длинный (шесть с лишним километров) и узкий (ширина около 25 метров), но глубокий — высота его стен 50 метров. Из-за этого он больше похож на ров, чем на канал.

Город Коринф тоже странный. Кучке одноэтажных домиков с террасами название Удельная или Красково подошло бы больше, чем Коринф. От древнего Коринфа не уцелело ничего. Да и как могло уцелеть?! Римляне, вестготы, византийцы, турки — кто только не топтал эту землю, уничтожая все и вся огнем и мечом.

Но на территории древней агоры Коринфа, там, где проповедовал когда-то апостол Павел, находится сейчас архитектурный музей

под открытым небом. Музей не богат, больше всего его украшают подлинность экспонатов и красота самой агоры, расположенной у подножия живописных холмов.

От храма Аполлона VI в. д. н. э. осталось семь колонн. Колонны высечены из цельных глыб мрамора и украшены только дорическими капителями. Они очень красивы. В чем тайна их красоты? В древности? Может быть, действительно, не надо реставрировать античные храмы, чтобы не лишать их подлинности?

В музее под открытым небом приятно бродить. Слышать журчание ручья, скрытого под развалинами римской бани, ступать по сохранившимся плитам древней римской дороги, смотреть на холмы, на небо в легких облаках. Здесь явственнее ощущается дыхание ушедшего мира, чем в залах городского музея, где выставлена большая коллекция римских статуй, посуды VII—VI в. д. н. э., маленьких терракотовых статуэток и многое другое.

После обеда нас отвезли в большой магазин керамики. Ох, сколько там было красивых, по-настоящему красивых ваз, блюд, тарелок, чашек — магазин ошеломил. Керамика в Греции великолепна, смотреть на нее — наслаждение. Многие вернулись в автобус с тяжелыми коробками. Я в основном любовалась витринами: дорого, трудно везти и нет дома, где эта красота пришлась бы к месту. Но несколько маленьких вазочек в подарок детям и друзьям купила.

Вторая половина пути радовала видами: рощи лимонов, гранатов, оливок, поля в раме пологих склонов и синего моря. Красивое сочетание цветов: зеленого (деревья), желтого (трава) и синего (небо, море). Красивые ландшафты: мягкие плавные линии холмистых полей и для разнообразия разбросанные тут и там купы деревьев. Но такие радости нечасты. Новая деловая Греция успешно теснит старую.

В маленьком приморском городе Нафплионе, где мы гуляли вечером, старое и новое живут мирно. Крепость венецианцев на горе над городом, католические храмы на крутых склонах холмов в городе, мечеть, превращенная в кинотеатр, недалеко от набережной и вереница кафе, таверн и ресторанов на самой набережной — вот, наверное, и все достопримечательности Нафплиона. Но в отличие от Афин здесь легко дышится и ходить по улицам приятно.

24 сентября. Ездили в Эпидавр и Микены. Красивые долины и горы, красивое море. Красивая мирная земля там, где она не изуродована современной цивилизацией. В ее умиротворенности ощущается покой вечности. Долины и горы Греции будто спят, укрытые саваном забвения, скрывающим великое прошлое и бурную историю. Ездить интересно и приятно: радость движения без напряжения. Теперь это уже ценное сочетание.

Эпидавр был когда-то священным местом, где, по преданиям, лечил страждущих бог Асклепий, он же Эскулап. Сын Аполлона, воспитанник кентавра Хирона, Асклепий погиб, сраженный молнией Зевса. Громовержец разгневался на Асклепия за то, что он возвращал людей из Аида, нарушая порядок, установленный Зевсом для смертных. Но убив Асклепия, Зевс пощадил его дочь Гигиену, которая продолжала заботиться о людях.

Две с половиной тысячи лет назад больных лечили здесь травами, медом, гимнастикой и массажем. Так как для массажа использовали змеиную кожу, в Эпидавре разводили змей. С тех пор змея стала эмблемой тех, кто помогает больным. Ничего не сохранилось в Эпидавре, кроме развалин стадиона, где занимались гимнастикой, развалин святилища Асклепия и больницы. Но на окрестных холмах так же, как в глубокой древности, растут высокие сосны с мощными кронами. Воздух в Эпидавре удивительный. Наверное, его целительные свойства помогали славе Асклепия. Недавно об этом вспомнили: за последние годы в окрестностях Эпидавра построено несколько реабилитационных центров.

Но сейчас Эпидавр пользуется всемирной известностью не из-за сосен и святилища Асклепия, а благодаря театру. Сцена и амфитеатр, где в 55 рядах могут сидеть четырнадцать тысяч человек, были построены в IV в. д. н. э. и открыты археологами в 1900 году. Когда-то на этой сцене прославляли Асклепия. В наше время здесь устраивают многочисленные фестивали, привлекающие лучших исполнителей со всего света и толпы состоятельных зрителей.

Артисты приезжают сюда, потому что в театре поразительная акустика. Утверждают, что из последнего ряда амфитеатра слышно, как падают на сцену сосновые иглы. Не знаю, не слышала. Но из середины амфитеатра слышала, как шуршал лист бумаги, который

комкал на сцене наш Юра. Достоверного объяснения этого чуда не существует. Предполагают, что оно связано с тем, что в склоне горы, где высечен амфитеатр, скрыты пустоты, которые служат резонаторами. Так это или нет, никто не знает, но театр удивительный.

В ничем не примечательном поселке, который почему-то называется город Микены, о древности напоминают только названия кафе и ресторанов: «Царь Минелай», «Гомер», «Ахилл». В одном из них мы дважды обедали — обычное современное кафе, которому вполне подошло бы название «Арфа» или «Красный маю», но здесь оно называется «Ифигения». Есть еще в Микенах гостиница «Прекрасная Елена», устроенная в доме, где во время раскопок жил Шлиман. В списке ее почетных гостей значатся Вирджиния Вульф, Дебюсси и Генри Мур.

Несмотря на пышные названия о теперешних Микенах не стоило бы говорить, если бы в 70-х годах прошлого века Генрих Шлиман не отрыл по соседству с «Прекрасной Еленой» древние Микены. К сожалению, от них, как и от Эпидавра, мало что осталось, но и руины древних Микен производят большое впечатление.

В город ведут знаменитые Львиные ворота. Им больше 30 веков. Они сделаны в стене, сложенной из грубо отесанных каменных глыб разного размера. Высота ворот около 7 метров. По бокам проема стоят два толстых каменных столба. В них сохранились отверстия и углубления для дверей и засовов. На каменную притолоку — весом в 18 тонн! — опирается каменная треугольная плита с рельефом: два льва, высеченные в профиль, стоят на задних лапах мордами друг к другу и держат в передних лапах факелы. Удивительной мощью веет от этих ворот, величием и мощью.

За воротами дорога круто поднимается вверх. На вершине холма стоял когда-то дворец Агамемнона. Он был двух- или трехэтажным. Уцелело от него немного. Узкий коридор ведет во внутренний дворик. Здесь сохранилась обитая медью дверь в одну из комнат, из которой можно пройти в зал с жертвенником посередине. В зале стоят обломки колонн, некогда они поддерживали верхние жилые помещения. Вот, собственно, и все.

В жаркий солнечный день подниматься наверх нелегко. Из нашей группы по дворцу Агамемнона, кроме нас с Юрой, бродило еще два человека. Я рада, что хватило сил подняться. Вид из дворца Агамем-

нона на долину, дремлющую под солнцем, остался в памяти. Теперь я могу любоваться им, когда захочу. И странное ощущение прикосновения к вечности, к умершему и продолжающему жить прошлому тоже осталось. Там, во дворце я почувствовала примерно то же, что, видимо, испытал Шлиман, когда вырыл на царском кладбище здесь, в Микенах, золотую маску, которую принял за посмертную маску Агамемнона. Потрясенный вещественным доказательством подлинности прошлого, он послал известие королю Греции: «Я увидел лицо Агамемнона». Бродя по развалинам дворца, я увидела лицо прошлого.

25 сентября. Встали в 6.30. Ездили в Мистру и Спарту. Дорога в Мистру лежит через Аркадию. Погода, увы, хмурая, любоваться благодатной Аркадией нелегко. Но не только из-за погоды. Древняя долина изуродована вторжением современности: некрасивые дома, бензоколонки, киоски, свалки мусора, груды металлолома — неприбранная, неухоженная земля. Там, где не видно следов деятельности человека, холмистая Аркадия красива даже под низким серым небом.

Мистру основали в 1249 году крестоносцы. В конце XVIII в. этот город-крепость, переживший многих властителей, был заброшен. Сейчас его реставрируют, работы здесь хватит на много десятилетий. Главная достопримечательность Мистры — живописная местность. Холмы, где расположился город, кажутся мрачными и суровыми — редкость в Греции. Крепостные стены, храмы висят на обрывистых скалистых склонах. Подойти к ним нелегко. Сверху красивый вид на долину, на храмы, прилепившиеся к склонам. В некоторых из них сохранились интересные фрески.

Спарта расположена недалеко от Мистры. Неясно, правда, что называть Спартой. Несколько улиц со стандартными двух-трехэтажными домами, которые мы видели проездом, не поворачивается язык назвать Спартой, хотя этот городок именуется именно так. Невысокий холм с рядами оливковых деревьев на пологих склонах и грудой замшелых камней на плоской вершине тоже трудно назвать Спартой. Хотя древняя Спарта находилась именно здесь. Основания храма, театра, руины крепостных стен — больше ничего не осталось от великого города, где жило когда-то 8—9 тысяч человек. Обычная в Греции беда. Но Спарте особенно не повезло.

В 1968 году здесь воздвигли памятник спартанскому царю Лео-

ниду, который в V в. д. н. э. возглавлял греческое войско в войне с персами и погиб в сражении у Фермопил.

И вот уже почти 30 лет в конце невзрачной улицы на фоне железных прутьев ограды парка стоит на стандартном пьедестале некий воин с мечом и щитом. То ли Александр Невский, то ли Леонид. Впечатление гнетущее — вторая гибель Спарты. Построили бы макет древней Спарты, чтобы можно было представить себе, как жили спартанцы в своем прославленном городе. Туристы приезжали бы толпами. Но нет. Поставили убогий памятник, будто галочку в ведомости. Обидно.

Возвращались в Нафплион другой дорогой. Ехали по узкому ущелью, стиснутому высокими горами. Извилистая дорога с крутыми поворотами, подъемами, спусками и красочными видами. Остановились у монастыря, построенного в XI веке. Монастырь действующий, сейчас в нем живет 20 монашек. Во внутреннем дворике бьет родник, на камнях лежит черпачок. Всюду много цветов и поразительная чистота. Нашу группу пригласили в трапезную. На длинном столе стояли тарелки с рахат-лукумом, стаканы с родниковой водой, чашечки с кофе. Монашки угощали добросердечно, но держались с достоинством. Тем, кто оставлял деньги, сдержанно говорили спасибо.

26 сентября. Разрыв между былым величием Греции и ее сегодняшними буднями, видимо, непреодолим. Пока, во всяком случае, никаких мостков не видно. Жить в стране, даже недолго, и всматриваться только в ее отдаленное прошлое, трудно. В этом есть что-то искусственное, что-то неестественное. Но в современной Греции не на чем остановиться глазу.

Ездили в Олимпию. Чтобы попасть из Нафплиона в Мистру и обратно, надо провести в автобусе больше четырех часов. Дополняют поездку в Мистру только Спарта и монастырь. В Олимпию ехать еще дальше: Олимпия находится на западном побережье Пелопонеса, а Нафплион на восточном. От Эгейского моря до Ионического больше трех часов езды на автобусе. Дорога красивая. Но одних красот пейзажа на шесть часов поездки в оба конца все-таки мало.

Олимпия интереснее Мистры. Каким-то чудом прошлое Греции — великой Греции — здесь уцелело. Уцелел, например, стадион. Когда проходишь под аркой и выходишь на небольшое овальное

поле, окруженное трибунами, где сохранились знаки старта и финиша, останавливаешься с удивлением. Трудно поверить, что здесь было положено начало состязаниям, которые мы теперь называем Олимпиадами.

В 776 г. д. н. э. здесь, в расположенном рядом храме Геры, впервые зажегся олимпийский огонь и здесь же перед олимпийскими играми он зажигается и теперь, хотя храм Геры давно лежит в развалинах. Связь времен, не распавшаяся, а живая в Олимпии перестает быть метафорой и становится реальностью. Это странное, непривычное ощущение утешает и помогает распрямиться. Пусть ненадолго, но помогает.

В Олимпии великолепный музей. В нем хранится одна из лучших в Греции коллекция скульптур. Их много, они очень интересные. На полках расставлены прекрасные чернофигурные вазы, литые, раскрашенные карнизы храмов. Но, может быть, самое лучшее, что есть в музее, это фрагменты тимпанов храма Зевса. Мне показалось, что они интереснее барельефов Пергамского алтаря.

27 сентября. Возвращаемся в Афины. За окном автобуса мирные горы, ласковые долины, шелковое море. Мелькают оливковые рощи, лимонные, апельсиновые. Вечером последняя прогулка по Плаке.

28 сентября. Встали в 4.45 утра. В аэропорт ехали по темным пустым улицам. Прощание с Грецией вслепую. Сидим в самолете. Через 10 минут вылет.

Часть II. Турция

28 сентября. Полет продолжался час. Только что за стеклами иллюминаторов была Греция и вот уже турецкий аэропорт. Стамбул начинается, как многие другие города, с Черемушек. Даже Стамбул. Тянутся и тянутся кварталы одинаковых пятиэтажных, девятиэтажных домов. На фоне блочных построек удивляют минареты: напоминают нацеленные вверх орудия. Обшарпанный автобус то и дело подпрыгивает на разбитых мостовых. Дома облеплены застекленными балконами, в просветах между ними поблескивает неподвижное серое в прожилках — мраморное! — море. Разноцветные силуэты кораблей будто нарисованы. Все вместе — картина Марке. Мешают только минареты, их много, и они неотвязно напоминают грозящие небу ракеты.

Город пестрит английскими вывесками. Наша гостиница называется «And». В нелепом названии «И» кроется, как выяснилось, глубокий смысл: те, кто останавливаются в этой гостинице, получают не только номер, но и возможность любоваться красивым видом на море и город с балкона ресторана. «И» так «И», не в названии дело. Номер хороший, кормят прекрасно, вид с балкона действительно очень красивый — да здравствует Стамбул! Мечети, казармы, университет, музей, кофейни, рынок — все вперемешку в этом городе. И всюду толпы людей, разноязыкая речь, громкий смех. Как непохож шумный праздничный Стамбул на замученные Афины.

Голубая мечеть, дворец Топкапы, университет — одно велел за другим в первый же день. Слепление, ошеломление, одурение. Строчки в моем блокноте прыгают как безумные. Рассказать о чем-нибудь связно нечего и пытаться. Удержать бы хоть какие-то впечатления.

Перед входом в Голубую мечеть кипит пестрый рынок. Ковры, шелковые косынки, тюбетейки, сласти, воду из кувшинов с длинными носами, путеводители на всех языках мира — что только не предлагают веселые наглые торговцы.

Наконец мы в мечети. Переход слишком резкий. Чтобы освоиться, нужно время. Свет проникает в мечеть через 260 окон, когда-то украшенных витражами. Но день сумрачный. Внутри полумрак. Храм действующий. В одном конце необъятного главного зала несколько человек молятся. В другом экскурсоводы в полголоса что-то рассказывают туристам. Справа и слева идут реставрационные работы.

Зал так велик, что его трудно охватить взглядом. Купол так огромен и так высок, что его трудно оглядеть. Округлые колонны, округлые своды, высота, простор. Странное ощущение полета и покоя. Из-за высоты и округлости всех линий? Вспоминается храм Бахаи в Хайфе. Бог един. Вершина одна. Пути к ней разные, но направление движения одно: вверх.

Дворец Топкапы — это город в городе. Здесь, в резиденции турецких султанов с середины XV в. до середины XIX в. жило около четырех тысяч человек. Дворцы, павильоны, гарем, кухни, дворы, мечети, фонтаны — голова идет кругом. Впрочем, голову теряешь уже в широкой аллее платанов, ведущей к Воротам счастья Топка-

пы. (Ох, эта восточная любовь к пышным названиям!) Уже тут оглушает многоязыкая речь с отчетливым звучанием русского и гортанными криками муэдзинов.

И конечно, рынок. На каждом шагу продают открытки, путеводители, самодельные игрушки, керамику, вареную кукурузу, лепешки. На все лады, едва не заглушая муэдзинов, звучит призывный клич: «Уан доллар! Уан доллар!»

Чем только не развлекают туристов в Топкапы! В бывшей султанской кухне устроена выставка посуды. Здесь можно ходить целый день, не закрывая рот от изумления. А ведь есть еще Сокровищница, где выставлены украшенные драгоценными камнями мечи и кинжалы, золотой трон, инкрустированный жемчугом и изумрудами, золотой сервиз для компота, украшенный бриллиантами, и прочее, и прочее, и прочее. Но вся эта оглушительная и мертвая роскошь ничего мне не говорит. Наверное, потому что мертвая. Потому что создана, чтобы ослеплять и внушать почтение к властелинам, а не к творцам. Я быстро устала, удовольствовалась беглым осмотром и рассталась с Сокровищницей без сожаления.

К университету шли пешком по одной из главных улиц Стамбула. Шумная, многолюдная, она круто поднималась вверх. На каждом шагу хотелось остановиться. Трудно пройти мимо красивых серебряных украшений, разложенных на небольшом столике. Хочется заглянуть в витрину кафе, где в середине небольшого зала что-то готовят, а на полу на коврах и подушках сидят люди и едят какие-то невиданные блюда. В списке стран с самой богатой кухней Турция, оказывается, занимает третье место после Франции и Китая.

На небольшой площади невольно останавливаешься перед высокой — 36 метров! — почти черной колонной. Это памятник императору Константину, установленный в IV в. н. э. Он сильно пострадал от пожара, поэтому у колонны такой необычный вид. От обожженной колонны до университета уже недалеко. Дошли быстро.

Но, Боже, что за толпа перед огромными каменными воротами, ведущими в парк университета? Оказывается, всего лишь очередной рынок. Мы же в Стамбуле. Лотки с горячей кукурузой, устрицами, арбузами. Рядом продавцы размахивают брюками, бюстгалтерами, кофтами, кожаными куртками. Снуют поилыцы водой в пе-

строй одежде с длинногорлыми кувшинами за спиной. Шум, гвалт, крик — Стамбул!

За воротами в университетском парке тишина. Университет, открытый Агаторком, размещается в здании дворца последнего турецкого паши. Перед входом стоит внушительный монумент: Агаторк во весь рост, по бокам девушка с факелом и юноша со знаменем. Группа эта очень напоминает творения Мухиной. Позади университета находится одна из святынь Стамбула: мечеть Сулеймана Великолепного. Она очень красива, но мы видели ее только издали.

Недалеко от университета бурлит другая жизнь. Здесь на тесных улицах, бегущих вверх, вниз, вкривь и вкось шумит русский Стамбул. Русские вывески на магазинах и магазинчиках, призывная русская реклама, русские кофейни и рестораны. Колорит этих улиц ничем не напоминает Россию, но и Турцию тоже. Это нечто совсем особенное — русский Стамбул. Здесь закупают товары российские «челноки», сюда приходят бывалые туристы за дешевыми покупками. И за сластями. Их очень много на каждом шагу: рахат-лукум, десятки сортов, халва, пахлава, орехи, пастила, пирожки — нескончаемый пир.

Посмотрев по сторонам, мы расстались с нашей группой и пошли домой одни по той же улице, по какой шли днем. Ужинали в турецком кафе, в витрину которого заглядывали по дороге в университет. При входе в это любопытное заведение устроен прилавок, на котором расставлены овощные, мясные блюда, салаты — бери, что хочешь. В середине небольшого зала три турчанки в шароварах замешивают и раскатывают тесто и тут же на низкой жаровне пекут блины. Разносят их по залу официанты в белых рубашках с галстуками-бабочками. Посетители сидят за низкими столами на маленьких стульях или полулежат на коврах, опираясь на подушки, и едят горячие блины с закусками, которые выбрали на прилавке. Публика самая разнообразная. Рядом с нами сидели молодые родители с грудным ребенком и группа парней и девушек, видимо, американцев. Много было и пожилых людей.

После ужина разморила усталость. Встали в пять утра, на часах уже восемь вечера. Но на улице очень интересно. Все привлекает внимание. Магазины ковров, например. Удивительно, с каким вку-

сом и изобретательностью оформлены их витрины. Стоишь перед ними и любишься красками, узорами, как на выставке. На каждом шагу рестораны и ресторанчики с завлекательной едой. Лавки, лавочки, лотки и простыни на тротуаре завалены одеждой, обувью, украшениями. А по середине улицы скользят обтекаемые вагоны современного бесшумного трамвая. Мы в Турции, в городе Стамбуле.

Зашли в кафе, где курят кальян. Чтобы туда попасть, надо пройти через небольшое кладбище при часовне. На кладбище каменные надгробья стоят в ногах могил, а не в головах, как мы привыкли. Кладбище странное: ни цветов, ни кустов, даже травы нет, не говоря о деревьях. От голых могил веет тревогой.

Но какой удивительный покой разлит в воздухе позади кладбища. В креслах за небольшими столами в окружении цветущих кустов и деревьев сидят, полулежат мужчины. Отрешенные лица, полускрытые глаза, в руках кальян. На столах стоят крошечные чашечки кофе, между столами бесшумно двигаются официанты. Кладбище, кафе с курильщиками кальяна, часовня — Турция, город Стамбул.

29 сентября. Царский завтрак: великолепные маслины, зеленые и черные, очень вкусные помидоры, нежный зеленый салат, свежий овечий сыр, прекрасный белый хлеб и кофе выше всяких похвал. Но главное украшение завтрака — вид на город с открытого балкона ресторана: на Голубую мечеть и Ай-Софию, на улицы, мечети и минареты вдаль, на Босфор с кораблями. Захватывает дух от этой красоты. Нет, не зря наша гостиница называется «И».

День начался с автобусной прогулки вдоль Босфора и осмотра дворца Долмабахче. Более всего заинтересовал, пожалуй, Босфор. Превращение набившего оскомину географического названия в голубой пролив с настоящими кораблями кажется волшебством. Дома, мечети и дворцы, стоящие вдоль берега, изрезанного узкими улицами, бегущими от пролива в гору, усиливают ощущение чуда.

В Долмабахче самым интересным был гарем. Сам дворец и парк — турецкий вариант Версаля. Все распланировано, все симметрично, в пруду, как полагается, плавают лебеди. И на каждом шагу роскошь, которая давит, оглушает и ослепляет. Медвежьи шкуры с головами и разверстыми пастьми, огромные ковры, невероят-

ного размера люстры в помещениях с низкими потолками, где они не к месту — все как полагается во дворце султана.

В путеводителе сообщается, что для мебелировки и украшения комнат дворца было использовано 14 тонн золота и 40 тонн серебра. При всей моей невосприимчивости к цифрам эти две произвели должное впечатление. Но сама позолота — нет. А быт интересен.

В гареме любопытно зайти в комнату главной жены и сравнить ее с комнатой второй жены, размером поменьше и обставленной гораздо скромнее. В комнате, где рожали жены султана, стоит большая кровать с высоким изголовьем, подсобный столик и стол с кувшинами для умывания. Детские комнаты маленькие, тесные, с низкими столиками и стульями из бамбука.

Уборная в гареме — небольшая комната с дырой в каменном полу, на голых стенах деревянные поручни. В ванных комнатах стены отделаны мрамором, в полу устроены маленькие бассейны. Сидя, в них, наверное, можно уместиться.

В Долмабахче жил в последние годы Ататюрк. Кровать, на которой он умер, похожа на остальные лежа под балдахинами в этом дворце, но в отличие от них застлана красным покрывалом с вышитыми полумесяцем и звездой. Из дворца приятно выйти на улицу — на волю. В турецких дворцах есть что-то гнетущее. Может быть, это гнет чужой восточной культуры, может быть, чрезмерной роскоши, не знаю.

Перед обедом мы расстались с группой и зашли вдвоем в подземное водохранилище неподалеку от нашей гостиницы. Оно было построено в VI веке специально для снабжения водой султанских дворцов. Впечатление странное. Огромный зал, высокий кирпичный купол поддерживают 336 колонн. В зале вода. Колонны стоят в воде. Вода подсвечена и кажется зеленоватой. Над водой проложены мостки, по ним ходят люди. Полумрак, слышится приятная музыка. Идешь между колоннами и кажется, что попала в заколдованное царство. Интересно.

Обедали в небольшой турецкой забегаловке. Кухня в зале, который правильнее было бы назвать комнатой. Пожилой повар колдовал над плитой, молодые парни подавали на стол, мальчишки убирали грязную посуду. За столиками ели и оживленно разговаривали

друг с другом местные жители. Мы с удовольствием к ним присоединились. Накормили нас быстро и дешево вкусным мясом с рисом и овощами.

После обеда большая часть группы пошла на рынок, а мы с Юрой и еще несколькими энтузиастами отправились искать русскую церковь Хора, знаменитую своими фресками. Шли пешком, ехали на автобусе — поиски оказались нелегкими, но интересными. Город разнообразный, полный жизни и множества соблазнов. Мечети, восточные кафе, дворцы — на все хочется посмотреть. А тут еще не дают прохода торговцы. Суют в руки кожаные куртки, чемоданы, сумки, косынки. И на каждом шагу щекочат нос запахи жареных каштанов, печеной и вареной кукурузы, а глаза невольно останавливаются на лотках с рахат-лукумом и множеством незнакомых сладостей.

Церковь мы, в конце концов, нашли. Она стоит так, что снаружи ее трудно осмотреть. Видно только, что ее много раз перестраивали. В 1500 году, когда город был завоеван турками, церковь превратили в мечеть. Потом она снова стала церковью. Мозаику и фрески начала XIV в. расчистили и отреставрировали только в 1948—1959 годах. Сейчас внутри церковь очень интересна. На фресках, выдержанных в теплых золотисто-коричневых тонах, изображены сцены из жизни Богоматери и Иисуса. Фрески сохранились, конечно, не целиком, но те, что уцелели, трогают мягкостью и человечностью. Очень красива многофигурная золотая мозаика внутри купола.

Вечером не устояли перед настойчивыми уговорами Юры и пошли в ресторан смотреть «Танец живота». Первую девицу разглядывали с любопытством, вторая и третья делали то же самое, только в костюмах другого цвета. В перерывах между танцами девушки вели себя непринужденно: садились на колени к мужчинам, пожелавшим — или не успевшим отказаться — с ними сфотографироваться, пылко их обнимали. Знающий свое дело фотограф непрерывно щелкал фотоаппаратом. На сцене тем временем крутилась пестрая шумная толпа статистов, изображавшая народное празднество с песнями и танцами. В общем, это было туристское развлечение довольно высокого класса с одним существенным недостатком: оно слишком затянулось. Кончилось представление минут на 30—40 раньше, было бы еще лучше.

30 сентября. Утром переехали на катере через Босфор. Красивый вид на берега, на корабли в проливе. Гуляли по азиатской части Стамбула. Она так же живописна, как европейская, но еще грязнее. Занятая харчевня в большой лодке у берега. Только что пойманную рыбу жарят тут же в лодке. Едят, держа пластиковые тарелки на коленях.

Во второй половине дня вернулись в Европу и гуляли по ипподрому. Здесь много интересного. Греческая пятиметровая колонна из трех толстых переплетенных змей. В 479 г. д. н. э. она была установлена в Дельфах в честь победы греков над персами в битве при Платеях. Названия городов, граждане которых участвовали в этой битве, написаны на изгибах змеиных тел у основания колонны. На ее вершине, опираясь на три змеиные головы, стоял прежде треножник с золотой чашей для возжигания благовоний. Константин Великий увез змеиную колонну из Дельф и установил на ипподроме. Во время одного из землетрясений чаша упала с колонны и была возвращена в Дельфы вместе с треножником. Написать бы новеллу под названием «Приключения колонны».

Но, может быть, самое интересное на ипподроме — это переплетение не змей, а прошлого и настоящего. Сейчас ипподром похож на большой сквер: зеленые лужайки, тут и там стоят какие-то памятники, по дорожкам гуляют веселые праздные люди, кучками стоят вокруг экскурсоводов беззаботные туристы. Кажется, что на этом сквере царит вечный праздник. «Здесь, на ипподроме, — рассказывает Юра, — во время правления Юстиниана казнили сорок тысяч мятежников. Султан Махмуд II здесь же казнил тридцать тысяч янычар. Там, подальше стоит Колосс — колонна из известняка, установленная императором Константином VII. Прежде ее покрывали бронзовые пластины, украшенные барельефами. Пластины сорвали и переплавили на свои нужды участники Четвертого крестового похода. Следы крепления пластин видны до сих пор». Вот тебе и вечный праздник.

Но ипподром с колоннами и туристами и шумный пестрый город Стамбул исчезают, перестают существовать, когда переступаешь порог собора Святой Софии — храма Святой Софии.

Храм. Ты в храме. И все вокруг беззвучно и явственно повторяет: «В храме». Ощущение близости к чему-то непостижимому, не-

достигаемому отнимает язык, волю. Нельзя вздохнуть, пошевелиться. Сознание возвращается медленно и постепенно. И вместе с ним появляется чувство прикосновения к тому, что одни называют Богом, другие небом или как-то иначе — чувство, что тебе дарована частица огромного бесценного дара.

До завоевания Византии турками этот храм был центром религиозной жизни Византийской империи. После завоевания он был превращен в мечеть и оставался мечетью почти пятьсот лет. В 1935 году по предложению Ататюрка собор Святой Софии стал музеем и вскоре — одним из самых знаменитых музеев мира.

Гигантский купол собора, построенный из легкого кирпича, поддерживают четыре колонны. Окна у основания купола расположены так, что потоки света будто приподнимают купол, отсекают его от храма. Купол парит над храмом. Удивительный ли купол, огромное ли — поразительное! — внутреннее пространство собора делают «Святую Софию» Храмом, трудно сказать, но ощущение это неодолимо.

Золотая мозаика на потолке, в нефе, орнамент, украшающий ниши окон, витражи, золоченое бронзовое литье утвари — все сокровища «Святой Софии» удивительно одухотворены и человечны. Наверное, поэтому они так красивы и притягательны. Наверное, поэтому музей «Святая София» — один из самых знаменитых музеев мира.

После «Святой Софии» трудно воспринимать что-то еще. Единственное, на что нас хватило в этот последний день в Стамбуле — рынок пряностей. Ни на что другое уже не было сил, ни физических, ни моральных. По дороге, конечно, заблудились: поехали на трамвае не в ту сторону. Но на подступах к рынку заблудиться уже невозможно — воздух так насыщен пряными запахами, что найти дорогу можно с закрытыми глазами.

Зато на рынке глаза не закроешь. Пиршество красок! Буйство красок! Не говоря о запахах. Пряности продают вразвес из мешков, стоящих на земле. Продают расфасованными: наборы прозрачных трубочек и коробочек с прозрачными крышками громоздятся на лотках, тележках, на полках вдоль стен. Зеленые, желтые, оранжевые, коричневые, красные — от них рябит в глазах и щиплет в носу. Я хотела купить шафран. Что может быть проще на рынке пряностей? Продавец понял меня, кивнул головой. В отличие от него я долго не

могла понять, что пряности разного цвета в мешках передо мной — это и есть шафран, и мне нужно только — только! — указать, какой именно шафран я хочу купить.

Джазвы, мельнички для перца и для кофе, медные чайники всех размеров, наборы чаев, кофе, рахат-лукум двадцати сортов и цветов, чурчхела толстая, тонкая, разнообразных оттенков — от светло-коричневой до почти черной, незнакомые сласти и незнакомые запахи — на этом рынке трудно устоять на ногах. Не помню, как мы выбрались из этой ослепительно-соблазнительной толкучки.

1 октября. Встали в 5.30 утра. В половине десятого традиционное расставание в аэропорту. Уже традиционное. Акива улетает в Москву. Я — в Бостон.

В самолете больше всего хотелось вернуться в Грецию и в Турцию. Наверное, поэтому я вернулась к тетради.

Стамбул очень украсил это путешествие. Греция — умозрительная страна. Великую древнюю Грецию можно увидеть только с помощью воображения или в музее. Современная Греция лишена колорита, красок, форм. Между великим прошлым и заурядным настоящим не сохранилось даже тропинок, даже узеньких мостков. Будет ли когда-нибудь воссоздана великая Греция? Дотянется ли современная Греция до своего прошлого? Уцелеют ли обломки прошлого в суете настоящего? Кто может уверенно сказать «да»? Никто, наверное. И поток туристов, приезжающих в Грецию, не иссякает.

Стамбул оглушает мощным биением жизни, ослепляет яркостью красок, разнообразием, пестротой. В Стамбуле за каждым углом видишь что-то новое. Грязь и убожество прекрасно уживаются в этом городе с роскошью и комфортом. Прошлое Турции продолжает жить в настоящем, в чем, наверное, залог будущего страны. Чужая восточная культура привлекает не только экзотикой, но и родственностью, хоть и остается чужой. Современные строительные леса в соборе Святой Софии, где перемешаны ислам и христианство, обетшание и нерушимость, прошлое и настоящее, может быть, и есть главный символ Стамбула, более достоверный, чем захлестнувший город рынок.

Спасибо судьбе за эту поездку. Возможность видеть мир, подавившая уже столько праздников, вряд ли сохранится надолго. Тем более, спасибо.

ДНЕВНИК 11 ноября. Хотела что-то еще написать о поездке в Брайтон, 2000 Грецию, но теперь уже не могу. Вчера днем вдруг громкий голос Акивы: «Юня, Захoder умер!» Акива оторвался на несколько минут от компьютера, взял в руки «Новое русское слово» и увидел заголовок маленькой заметки: «Умер Борис Захoder». «Что же теперь будет с Винни Пухом?» — мелькнула дурацкая мысль у меня в голове. «Винни Пуха», «Алису в стране чудес», «Малыша и Карлсона», «Мэри Поппинс» и «Питера Пена» — все книги, которым дал русскоязычную жизнь Борис Захoder, будут читать и читать. Они будут жить. Но Бориса Заходера больше нет. В 5.30 вечера о его смерти сообщило в последних известиях ОРТ*. И даже показало кусочек гражданской панихиды.

Несколько слов у гроба Бориса Заходера сказала Ия Саввина. Сколько лет я ее не видела? Не могу вспомнить, сосчитать... Давным-давно: Москва, Моховая, студенческий театр МГУ. Пьеса чешского писателя Павла Когоута «Такая любовь», в главной роли прелестная девочка Ия Саввина. Девочка покорила всех. Потом известная актриса Ия Саввина, все такая же прелестная, играла в театре им. Моссавата, во МХАТе, снималась в фильмах «Дама с собачкой», «Гараж»... Вчера, увидев на экране телевизора горестное лицо пожилой женщины в очках, я не могла поверить, что это Ия Саввина. Парад уходящей эпохи... Что к этому прибавить? Наверное, только главку, завершающую 1997 год.

ПАРАД УХОДЯЩЕЙ ЭПОХИ

Стареть неприятно, но это единственный способ прожить долго.

Бернард Шоу

18 января 1997 г. Кассета «Бенефис Гердта». Запись праздничного вечера в честь восьмидесятилетия Гердта**.

* ОРТ — Общественное российское телевидение

** З.Е. Гердт (1916—1996) — известный актер, во время войны был тяжело ранен, около сорока лет проработал в Центральном театре кукол С.В. Образцова, снимался в кино.

Из зрительного зала вышла на сцену пожилая женщина в скромном темном платье — медсестра, вынесшая Гердта из-под огня в 1942 году. Они с Гердтом долго, нежно целовались. Ким пел под аккомпанемент рояля. После инсульта у него не действует рука. Рязанов предупредил, что споет длинную песню, хотя у него нет ни голоса, ни слуха. Сказал правду. При всей любви к Рязанову очень хотелось, чтобы песня была вдвое короче. Никитины, по-моему, зря украсили милую и трогательную песню «Когда мы были молодые» множеством современных музыкальных безделушек. Гурченко лихо исполнила запетые когда-то до тошноты страдания: «А вчера пришло по почте два загадочных письма. В каждой строчке только точ-ки, догадайся, мол, сама».

Приветствий было много. Один за другим, каждый по-своему поздравляли Гердта Лев Никулин, пианист Петров, Михаил Жванецкий, Ширвиндт, Плучек, Гафт, Розенбаум — парад уходящей эпохи. Нашей эпохи.

Гердт почти не вставал со стула. Когда он изредка поднимался, его бережно поддерживали. Но в самом конце этот маленький, иссохший, немощный старик прочел стихотворение Самойлова «Давай уедем в город, где раньше мы бывали». Голос звучал как трубный глас, глаза сверкали, прекрасные руки готовы были обнять весь мир, и сам он стал большим, сильным и удивительно красивым. Через неделю после этого вечера Гердт умер. Мы смотрели «Бенефис», зная финал.

3 июня. Десять вечера. Умер Булат Окуджава. Конец эпохи. Мы ровесники. Он родился в мае 1924 года, я — в июне. Конец эпохи. Все время вспоминается его вечер здесь, в Бостоне. Уже тогда он казался измученным. Дома нет записей Окуджавы. Очень хочется услышать его голос.

19 июня 1997 г. Половина одиннадцатого вечера. Позвонила Маша Подъяпольская, сказала, что умер Лева Копелев. Бродский, Окуджава, Лева Копелев... Как жить? Чем жить? На что надеяться?

На днях ездила с Наташей и Владленом в мебельный магазин. У нас до сих пор нет своего обеденного стола, стульев. Хозяйский стол развалился. В машине Наташа поставила кассету с песнями Окуджавы. Давилась слезами всю дорогу. Забыла, куда еду, зачем. Кассету Наташа и Владлен подарили. После обеда сидели с Акивой

на диване, слушали Окуджаву и оба хлюпали носами. Сидели рядом, но не вместе. Каждый вспоминал свою жизнь. И третий день, что бы не делала, слышу: «Во дворе, где каждый вечер все играла радиола...», «Когда мне невмочь пересилить беду...», «Один солдат на свете жил...», «По Смоленской дороге — леса, леса, леса...»

И вот снова смерть — Лева Копелев. Левы Копелева больше нет. 21 июня 1997 г. Ира Кристи и Маша Подъяпольская составили текст коротенького письма. Акива сегодня отправил его факсом в Кельн:

Дорогие и любимые друзья!

Мы с вами. Горюем, вспоминаем все светлое, что многие годы связывало нас с Левой. Пока живы, он всегда будет с нами. А для потомков Леву будут хранить вечно его книги.

Маша и Настя Подъяпольские,
Ирина Кристи,
Сережа Генкин,
Юня и Акива Ягломы,
Александр Есенин-Вольпин.

Бостон, 21 июня 1997 г.

1 августа 1997 г. О смерти Рихтера узнала по телефону. Окуджава, Копелев, Рихтер... Кончается наше время.

Четыре строчки Самойлова запомнила сразу:

Сплошные прощанья! С друзьями,
Которые вдруг умирают...
Сплошные прощанья! С мечтами,
Которые вдруг увядают...

ДНЕВНИК 23 ноября. День благодарения. Звонила в Москву, Брайтон, 2000 разговаривала с Ларой. Радость, что вместе, жалко, что редко и мало. В Москве на улицах снег — зима.

А мне бьет в глаза солнце, мешает писать. Еще один солнечный День благодарения в Америке, еще один теплый человеческий праздник. Но День благодарения — знак, что год подходит к концу. Моя книга тоже подходит к концу. Пора. Понимаю, что пора, и тороплюсь. Просматриваю свой дневник за 1998 год. Запись

15 февраля 1998 г.: «В «Нью Йорк таймс» большая статья об Израиле. В Ливане убили молодого эмигранта из России Илью Рапопорта. Похоронить Илью на еврейском кладбище не разрешают, так как его мать русская. Илья Рапопорт достаточно еврей, чтобы погибнуть, воюя за Израиль, но недостаточно еврей, чтобы его похоронили на еврейском кладбище. Конец XX века, между прочим».

О том, что делается в Израиле — с Израилем — сейчас, страшно подумать, не только писать. В Газе палестинцы взорвали школьный автобус поселенцев. Убиты учитель и еще один взрослый, у многих детей оторваны руки, ноги. Израиль нанес ответный удар: разбомбил ночью здания управления полицией, палестинского правительства, телевизионного центра. Мир призывает Израиль к сдержанности! Восклицательный знак вместе с вопросительным хочется поставить в этой фразе не в конце, а после каждого слова. В газетах, на экране ТВ слово «война» мелькает все чаще.

В моем дневнике за 1998 год слово «война» тоже встречается, но, к счастью, по другому поводу. Запись 22 августа 1998 г.: «Вчера вечером была в кино, смотрела «Спасение рядового Райяна» Спилберга. Главное действующее лицо — война, вернее, Война. Сколько уже видела фильмов о войне, но такого не видела никогда. Высадка союзников в Нормандии... Беззники. Зима 1942 года. Вечер. В комнате холодно, неуютно, за столом мы с папой. Мама и Лара на кухне. Папа устал, подавлен. Но я безжалостно задаю свой ежевечерний вопрос: «Почему союзники не открывают второй фронт?» У папы в руках газета, он только начал ее просматривать: «Понимаешь, это трудно организовать... надо все подготовить... может погибнуть много людей...» Все те же туманные объяснения, я киплю от негодования.

Фильм Спилберга «Спасение рядового Райяна». У берегов Омаха Бич кипит красная от крови вода. С опозданием больше чем на полстолетия, похоронив папу, я слышу ответ на свой вопрос. Слышу, вижу и понимаю, что хотел сказать папа.

Забить фильм нельзя. Как достиг Спилберг полной — полной! — достоверности? Экрана нет. Кино нет. Есть жизнь. Вернее, смерть. Одно из объяснений известно. Спилберг использовал документальные кадры кинохроники и современную компьютерную тех-

нику. Длительность всех военных сцен в фильме до секунд совпадает с длительностью соответствующих документальных кадров. Движения, позы актеров вписаны в контуры кадров кинохроники. Ошеломляет оснащение бойцов. Я помню твои слова, папа: «... трудно организовать... все подготовить...» В фильме каждый боец — крепость. У каждого в комбинезоне специальные карманы для огнестрельного и холодного оружия, пакета первой помощи с заряженными одноразовыми шприцами, биноклей, переговорных устройств, в ранцах сухой паек, смена белья. Каждый боец — крепость. Но у берегов Омаха Бич кипит красное месиво. В «Нью-Йорк таймс» написано, что во время высадки в Нормандии погибло десять тысяч солдат. Я помню твои слова, папа.

Люди в фильме, по-моему, не получились. Но Война, главное действующее лицо этого фильма, Война получилась. Общие планы сражений, схваток в разрушенных городах, развалины городов... Некоторые кадры не могла смотреть, не хватало сил. Нужно посмотреть фильм еще раз. Страшно, но понимаю, что нужно.

ДНЕВНИК 10 января. Новый год встречали тепло и сердечно, *Брайтон, 1998* засиделись почти до семи утра. Прекрасная получилась пара из Деда Мороза — Эмы Мандела и Снегурочки — Акивы. Акива с косами и лентами, в моей фланелевой ночной рубашке был неотразим. Дед Мороз и Снегурочка раздавали подарки, все веселились как дети. Такого успеха своей затее я не ожидала. Эма прочел написанное к этому вечеру стихотворение:

Новогоднее

Встанем, старые хрены!
Жертвы мира и войны,
Жертвы снега и дождя,
Жертвы дурости вождя,
Пятых пунктов и клевет,
Трудных лет и просто лет,
Что бегут, не зная сна,
След которых — седина.

Ну и что. Ведь и сейчас
Наша юность — вся при нас.
Пусть над ней, сводя с ума,
Всё давя, царил тьма,
Но и в мути этих лет
Мы в потьмах искали свет,
Находили и несли,
Как умели и могли.
Пусть все спутано сейчас,
Этот свет не гаснет в нас.
Так верны мы ей,
Юности своей.
Годы, годы... Пусть идут.
Нас теснить — напрасный труд,
Мы всем прожитым сильны.
Выпьем, старые хрены!

РАЗРОЗНЕННЫЕ ЗАМЕТКИ

Японский фильм

Боковой подъезд МТИ. Останавливаюсь на минуту. Акива выходит. Что делать дальше? Кинотеатр рядом с МТИ. Сегодня последний день идет японский фильм, говорят, интересный. Вечером все равно нужно отвезти Акиву домой. Может быть, приехать пораньше и пойти в кино? Тогда надо сейчас доехать до кинотеатра и проверить, знаю ли я дорогу. Не хочется ни смотреть фильм, ни проверять дорогу. Значит, сдастся? Сдаваться тоже не хочется.

Все — свернула с Массачусетс-авеню направо. Описание дороги кладу рядом. На развилке повернуть налево. Зачем я поехала направо? Это, наверное, еще не та развилка, слишком близко к МТИ. А если та? Лучше вернуться. Легко сказать, а как это сделать на узкой улице в потоке машин? Ох, развернулась. Впереди указатель парковки, значит, еду правильно. Теперь повернуть на первую улицу направо. Вот она, поворачиваю. Слева от меня гараж и кинотеатр. Доехала, как ни странно. Не забыть только вечером, что развилка совсем близко от МТИ. Главное — начинать от пещки и иметь хорошую шпаргалку.

Дома редактора. Двойная неудача. Автор — женщина, в 30-х годах приехавшая из США в Россию строить коммунизм. Уцелела. Вышла замуж, родила двоих детей. Через 50 лет похоронила мужа, вернулась в США и решила написать воспоминания о жизни в России, хотя английский уже основательно забыла. Русская переводчица английскому не научилась, родной язык то ли забыла, то ли никогда как следует не знала.

«Мальчик сел на состав поезда»... «В холле гостиницы для иностранцев в Нальчике стоял мужчина в ситцевом костюме, в двойных очках и в соломенных сандалиях. Это был композитор Прокофьев». 15 страниц такого текста надо привести в удобочитаемый вид. Прочитала два часа, справилась с одной страницей. Больше не могу.

Шестой час. Сеанс начинается в 6.30. Если ехать, то сейчас. Поеду. Ни на что другое я сегодня все равно не способна. Хорошо, что утром доехала до кино. Вечером тоже доезжаю благополучно. Вот уже и турникет. Встала, конечно, неудачно. Не могу через окно дотянуться до автомата и оторвать талончик. Открываю дверцу машины, справилась.

Гараж. Низкие потолки, полумрак. Что это? Свободное место? Неужели не придется въезжать по пандусу на следующий этаж! Ну и удача! Только бы ухитриться встать между двумя машинами. Парковки — мое проклятье. Недаром еще в Москве незабвенный Александр Сергеевич, учивший меня водить машину, быстро убедился, что у меня нет глазомера, и сказал в сердцах: «Ты, Юня Самуиловна, пространства не понимаешь. Тебе, что 2 метра, что 20, все одно. Тебя ни за что к нам в органы на работу не взяли бы».

Как мало места. Почему этот человек машет руками? А, он мне помогает. Видит, что я растерялась, показывает, что надо взять правее. Кажется, встала. Нет, опять машет. Поняла, чуть-чуть вперед. Когда надо помочь с машиной, американцы обычно проявляют безграничное терпение и дружелюбие. Веди они себя иначе, я бы здесь погибла.

Благодарю своего помощника, старательно запоминаю место, где оставила машину, и выхожу на улицу. Нужно обязательно посмотреть, где расположен выезд из гаража и в какую сторону повернуть, чтобы не сбиться с дороги на обратном пути. В этом кинотеатре мы

с Акивой смотрели очень хороший фильм Де Сики «Сад Финиш-Контини» о судьбе итальянских евреев во время войны. На обратном пути, выезжая из гаража, я повернула не в ту сторону и час блуждала по темным улицам, пока не добралась до МТИ, откуда знаю дорогу домой. С тех пор прошел почти год. Жалко. Этот кинотеатр — что-то вроде старого московского «Иллюзиона», тут обычно идут интересные фильмы. Научиться бы сюда ездить.

Как повернуть, вроде, запомнила. Можно войти в фойе. Кофе! Возделенная чашка кофе. Это, правда, оказался огромный пластиковый стакан, но все равно. Сажу в небольшом уютном зале и ожидаю, медленно потягивая через пластиковую трубочку вкусный горячий кофе. В зале еще три-четыре человека. На экране реклама новых фильмов. Грохот выстрелов, ручьи крови, голые красавицы, визг, крик...

Но вот, наконец, начался фильм молодого японского режиссера, восходящей звезды японского кинематографа (фамилию не записала и забыла). Фильм называется «Firemakers». Не нашла этого простого слова ни в одном англо-русском и англо-английском словаре. Хуже, что, посмотрев фильм, не могу догадаться, что оно могло бы означать. Боюсь, это просто неудачный перевод с японского.

Фильм странный. Он состоит из двух очень разных фильмов, связь между которыми я не уловила. Сюжет одного — происхождения гангстеров. Убийства, жестокость, кровь. На экране современный японский город. Улицы, дома, кварталы делового центра. Токио? Городские задворки, свалка старых автомобилей. Кто-то их зачем-то кому-то продает. Все вместе — фантазмагория и при этом удивительная выразительность каждого кадра. Люди, дома этого города впечатываются в мозг. Совершенно непонятно, за счет чего это достигается. Никаких трюков, никаких специальных эффектов ни режиссер, ни оператор себе не позволяют. Но несмотря на удивительную образность и выразительность главным оказывается все-таки другой сюжет.

При всем своем драматизме он прямолинеен и прост. Молодая семья потеряла единственного ребенка — четырехлетнюю девочку, заболевшую лейкемией. Ребенка в фильме нет. Мать в состоянии безнадежной депрессии лежит в больнице. Лежит лицом к стене, без-

различная ко всему и ко всем, в том числе к мужу, который преданно ее навещает. Женщину выписывают, так как медицина бессильна ей помочь. Врач советует мужу чем-нибудь развлечь жену, может быть, отправиться с ней в путешествие. Они путешествуют по Японии на машине. Женщина оживает. Вот и все. О чем говорить?

Кадры Японии — морское побережье, мерцающая на заднем плане Фудзияма — нельзя забыть. Они подчеркнута неживописны, как кадры города, и так же врезаются в сознание. Но гораздо удивительнее люди. В фильме очень мало говорят. Он почти немой. Это один из самых красноречивых фильмов, которые я видела. Жизнь души обнажена до предела. Скупость выразительных средств тоже доведена до предела. Муж лишь изредка снимает темные очки. В сценах с женой он почти недвижим. Но его преданность, его нежность, его готовность положить жизнь за эту женщину кричат с экрана, врываются в сердце и разрывают душу.

В конце путешествия женщина чуть слышно говорит мужу: «Спасибо за эту поездку. Спасибо». Она не красавица, женщина средних лет, каких много. Муж и жена сидят рядом на берегу океана. Жена произносит эти слова, чуть обернув голову к мужу. Ни объятий, ни поцелуев. Более страстного признания в любви я не видела ни на сцене, ни на экране. Очень хочется посмотреть этот фильм еще раз.

Благополучно доехала до МТИ, забрала Акиву. Мы пообедали, я вымыла посуду и легла. Фильм остался со мной.

Клятва

На церемонии произнесения клятвы и получения сертификатов о гражданстве присутствовало более 300 человек. В зале царил полный порядок. Все продумано, все четко организовано и празднично. Мы сидели во втором ряду напротив стола, где выдавали сертификаты. Вереница людей, подходивших к столу, до сих пор стоит перед глазами. Разнообразие лиц, типов, возрастов, рас, цвета кожи поразительно. Сильное впечатление производит явное преобладание азиатов.

Дряхлую бабушку — вот-вот рассыплется — ведет под руки дочка, рядом семенит внучка. У бабушки жгуче-черные крашенные волосы, сквозь которые просвечивает детский розовый череп, она стра-

дальчески кривится, ей, видно, очень трудно двигаться. Гордо подходит к столу величественная негритянка с пышной седой шевелюрой. Еврейского вида моложавый дед держит на руках внука. Азиатская женщина, закутанная в яркие желтые одежды, шествует за низкорослым шуплым китайцем. И так три часа.

На галереях яблоку негде упасть — родные и друзья пришли на этот долгожданный праздник, чтобы быть вместе со своими. Мужья машут женам, поднимают детей, жены машут мужьям. Спят вспышки фотоаппаратов. В зале праздник — праздник надежды, надежд!

Не хотелось уходить, но мы торопились. Получили сертификаты, произнесли вместе со всеми клятву и тут же поехали в Центральное паспортное бюро. Предъявили наши новенькие сертификаты, подали анкеты и внесли дополнительную плату за срочное получение паспортов. Мы торопимся, потому что американские паспорта очень облегчили бы нашу летнюю поездку. Паспорта обещали прислать через несколько дней. Говорят, что Центральное паспортное бюро свои обещания выполняет.

Подарок

Живописный приморский городок Рокпорт по соседству с Бостоном. В парке маяк на холме, глубокий карьер с морской водой, берег моря с камнями, скалами и бухтами. Городские дома теснятся у самой воды. Позади домов к мосткам привязаны лодки, в одной из бухт покачиваются на волнах яхты. На Главной улице чуть не вплотную друг к другу стоят крепкие двух-трехэтажные особнячки с высокими двускатными крышами, многие прошлого, позпрошлого века. Первые этажи — сплошь витрины и вывески: гостиница на несколько комнат, магазинчик сувениров, семейный пансион, маленькое кафе, рестораник, картинная галерея, кондитерская с домашними конфетами и пирожками, рыбная лавочка с живыми крабами и раками, которых тут же готовят.

Главная улица незаметно приводит на неширокий зеленый мыс. После тесноты домов глаза слепит океанский простор. Бьются о берег легкие волны, им вторят волны музыки: молодой мужчина самозабвенно играет на скрипке. Рядом со скрипачом стоит длинная каменная скамья с низкой спинкой. На табличке надпись: «Я с радос-

тью прожила здесь, в Рокпорте, всю жизнь. На свой столетний день рождения дарю городу эту скамью. Сидите, отдыхайте, смотрите вокруг и радуйтесь». Подпись.

Ну почему не записала имя и фамилию! Скрипка отвлекла? Океан?

Сказка о рыбаке и рыбке

Вечером долго бродили с Майей Туровской по тихим пустынным улочкам недалеко от нашего дома. В чужих окнах уютно светились огоньки, а мы как-то одновременно заговорили о сказке Пушкина про рыбака и рыбку — о смысле этой сказки. И довольно скоро согласились, что сказка эта, наверное, о том, что самая успешная жизнь все равно кончается разбитым корытом.

Обе устали, но расставаться не хотелось. Медленно шли по чужим улицам чужого города и говорили о прощаньях с мечтами, которые вдруг увядают, с друзьями, которые вдруг умирают — о том, как прожить остаток жизни у разбитого корыта. Вариантов немного. Кто-то дарит скамью на мусу. Кто-то строит Карнеги-холл. Наверное, это помогает. Моя голубая мечта — дойти до берега и снова закинуть невод в море. Умереть на берегу моря с неводом в руках.

ДНЕВНИК 20 марта. Спасибо Торнтону Уайлдеру. На один из «проклятых» вопросов он помог мне ответить. Все эти годы пытаюсь понять, зачем рассказываю Няме про Жанну д'Арк, Левке про Тезея. Почему мне так важны их вопросы, замечания.

Недавно Левку привезли к нам. Он построил танк из складных стульев, прикрыл моими фартуками и спросил: «Юня, у тебя только одно тело, почему у тебя три фартука?» Растерялась, не ответила.

Понравился Левкин пересказ мифа о Тезее: «Когда Тезей вырос, он поднял скалу, достал свои тапочки и меч и пошел к папе... Ариадна спасла Тезея: она дала ему катушку ниток».

Кончила читать Няме «Жаворонок» Ануй. Говорили с ней о пьесе. Левка проснулся, пришел к нам. Ему уже пять лет, он не мешает, слушает, о чем мы разговариваем. Вечером Миша и Юля пришли с

работы, только сели обедать, в комнату явился Левка в полном вооружении: шлем, щит, палки, они же копыя.

Миша. Левка, ты почему со щитом и в шлеме?

Левка. Я — Жанна д'Арк.

Миша и Юля от удивления перестали есть. Я уронила сапог, который натягивала на ногу. Миша пришел в себя первый.

Миша. А Жанна д'Арк где сражалась?

Левка (сердито). Во Франции.

Миша. С кем же она сражалась?

Левка (с возмущением). С англичанами.

Миша. Но она же была девочка.

Я (бросаюсь на помощь). Жанна д'Арк была девочка, но она носила мужское платье...

Левка (вышел из себя). Ты, Юня, с ума сошла. Мужчины никогда не носят платья, платья носят только девочки и тети.

В «Дне восьмом» Торнтон Уайлдер наткнулась на фразу: «Что есть просвещение? Это мост из узкого личного мирка в мир общечеловеческого сознания». Как ясно и просто. Инстинкт насадки, вот почему я все это делаю: привести цыплят к зернышкам, если не по мосту, то хоть по досточкам.

ДНЕВНИК 30 ноября. Сегодня это письмо пришло. Я ждала Брайтон, 2000 его все последнее время. Дом, где мы живем больше семи лет, с осени принадлежит агентству, которому его продал наш прежний хозяин. В письме агентство извещает нас, что в ближайшее время их представитель обсудит с нами новые условия арендной платы. Мы и сейчас платим за квартиру непомерно большие для нас деньги — тысячу долларов в месяц. С нового года платить придется больше. Деваться некуда. Что делать, не знаю. Письмо пришло днем. Обед, телефонные звонки, последние известия из России — днем от письма удавалось как-то уходить. Сейчас половина десятого вечера. Куда бежать от мыслей о доме, о бездомье, о бессилье... Впереди ночь. Ночи боюсь. Остается старое испытанное средство: идти по знакомой тропинке. Возвращаюсь в 1998 год.

Летом 1998 года мы ездили в Европу. Для Акивы это была деловая поездка. Для меня — туристская. Вернувшись, как всегда написала письмо в Москву.

ПИСЬМО В МОСКВУ

Записи на ходу *
Июль, август 1998 года

«Панорама»

Красная черепица крыш, зеленые шапки деревьев, синее, синее море до горизонта и бездонное голубое небо. С балкона гостиницы на крыши, на море можно смотреть часами. Гостиница недаром называется «Панорама». Я снова приехала в Сен-Жан Кап-Ферра — городок на мысе Ферра недалеко от Ниццы. Летом он наряднее, чем зимой, когда я была здесь впервые. Жаль только, что на деревьях нет лимонов и апельсинов. Они очень красивы среди глянцевых листьев. Но на главной улице рядом с вывеской «Change» появилась русская: «Обмен» и в киосках продают русский журнал «Берег». В вывеске «Обмен» мне не хватает второго слова: «валюты». Это знак времени и страны. В послесталинской России объявление «Обмен» подразумевало обмен жилплощади, понятие неведомое в западном мире. Некоторые иностранцы, появившиеся тогда в Москве, кое-как знали русский язык и с недоумением спрашивали, что означает записка на столбе: «Меняю одну большую комнату на две маленькие». Слово «обмен» связано для них только с обменом валюты. Для них, но не для меня.

Ничего не поделаешь, здесь, в «Панораме», у меня на затылке появилась еще одна пара глаз, я постоянно смотрю вперед и назад. Это знак возраста. В Сен-Жане такое высокое небо и такое зовущее море, что взгляд все время убегает в даль — в ту, что впереди, и в ту, что позади.

Сегодня бег нарушила горничная. Она пришла убрать номер, когда я стояла на балконе и смотрела вниз, на красную черепицу крыш, на зелень деревьев, на синеву моря. Смотрела на Сен-Жан и видела Столешников. Зима. Медленно падают крупные тяжелые снежинки. Я иду домой вниз по Столешникову. Вечер, народу мало. С горки виден почти весь переулочек до Петровки. Столешников такой красивый под снегом. Я подставляю снежинкам лицо, левую руку. В правой у меня синяя нотная папка с портретом Шуберта. Нос Шуберта протерся и побелел. Я не достаю до звонка на двери учительницы музыки и нажимаю на кнопку носом Шуберта, сочинившего мою любимую «Форель». Сегодня я сыграла «Форель» почти без ошибок. Рахиль Ароновна меня похвалила.

Горничная спрашивает, можно ли убрать номер или прийти попозже. Не стоит приходить еще раз, можно убрать сейчас. Стройная, сильная горничная ловко орудует пылесосом. У нее прямые черные волосы, европейские черты лица и темно-коричневая кожа. Во Франции живет уже семь лет. Трехлетний сын, мужа нет, 32 года. Мне трудно в это поверить. Я думала, ей не больше двадцати.

Мы говорим по-французски. Интересно, где она жила раньше. Господи, она мальгашка, родилась на Мадагаскаре. Что? Французский выучила во Франции? Разве на Мадагаскаре... Понимаю. С тех пор как Мадагаскар стал независимым, в мальгашских школах перестали преподавать французский язык. О, радители национального возрождения, почему вы так узколобы и близоруки? У мальгашей никогда не было своей письменности, французский язык открывал им путь в большой мир. Теперь на Мадагаскаре дети пишут мальгашские слова французскими буквами. Прекрасно. А что они будут читать? Свои сказания и легенды, собранные и записанные французскими миссионерами? Если их переведут с французского на мальгашский. Кто-нибудь из мальгашей учился, наверное, в московском Университете дружбы народов. Может быть, на Мадагаскаре переведут с русского на мальгашский сказки и легенды, которые я перевела с французского? Безумный мир.

Горничная живет в Сен-Жане одиноко и трудно, раз в год ей удается съездить к родным на Мадагаскар. Она очень любит своего сына, жалеет, что у него нет отца. Мечтает пойти учиться, получить

* «Записи на ходу» опубликованы в журнале «Вестник» № 8, апрель 2001, Балтимор, США.

настоящую профессию. «Я не могу всю жизнь работать горничной, у меня сын растет», — сказала она, попрощалась и ушла.

Все так же красивые черепичные крыши под ярким солнцем и цветущие зеленые деревья. Все так же зовет море с белыми парусами яхт. Хорошо стоять на балконе и смотреть в синюю даль. Но я стою в кабинете Зои Лазаревны, заместителя директора Библиотеки иностранной литературы. В голове стучит: возьмет на работу, не возьмет? «На машинке печатать умеете? Нет? Ничего, научитесь. Каждая женщина должна уметь печатать на машинке».

Зоя Лазаревна взяла меня. В тогдашней Москве Библиотека иностранной литературы была одним из немногих оазисов человечности. В Библиотеку брали на работу евреев, брали вернувшихся из лагерей и ссылок. Удивительным человеком была Маргарита Ивановна Рудомино, создательница и директор библиотеки. Уже много лет ее нет на свете и все меньше остается тех, кто ее любит и помнит. Смерть все настойчивее теснит мое поколение.

Я быстро научилась печатать на машинке, добегать из Столешникова до улицы Разина за 15 минут и вовремя перевешивать табель. Научилась взбегать по высокой лестнице и, поздоровавшись со своим начальником Юрой Гиляревским, скрываться в уборной. После трудного утра дома здесь можно было перевести дух, причесть, узнать последние новости, поговорить с друзьями про свою дочку и посмотреть, кто что продает. Передохнув, мы расходились и начинали рабочий день.

Отдел каталогизации. Небольшая узкая комната, дверь напротив единственного окна, у окна Юрий стол. В середине комнаты проход, по бокам столы, на каждом стопки книг и пишущая машинка. На моем тоже. Книги разные: непонятные, скучные и интересные. Но посмотреть, даже полистать некогда. Вечером нужно написать в ведомости, сколько каталожных карточек напечатано за день. Трудная, кропотливая работа. Я редко выполняю норму.

Сегодня сделала совсем мало. Не могу выпустить из рук книгу Жанны де Лоншан «Сказки Мадагаскара». Книга большая, тяжелая, ее трудно держать в руках. Но мне не хочется с ней расставаться. Она прекрасно издана: плотная, чуть желтоватая бумага, красивый шрифт, необычные иллюстрации. Главное — ее интересно читать.

Причудливые обычаи, удивительные легенды о создании мира, предания о героях древности, лирические сказки.

Чуть не забыла шляпу от солнца, полотенце взяла, номер заперла. Тенистая улочка между двух внушительных заборов, ограждающих покой владельцев вилл. Говорят, новые русские скупили уже немало вилл в Сен-Жане. Еще один знак времени. Сен-Жан должен нравиться новым русским: красивый скалистый берег, живописные бухты, просторные дома в окружении садов с прекрасными деревьями. Есть гавань для яхт, Гранд-отель с фуникулером от пляжа до гостиницы, в гостинице большой банкетный зал с террасой над морем. И рядом Ницца со всеми ее городскими радостями. Сен-Жан, к сожалению, подходящее место для новых русских.

Вниз, вниз, вниз. Идти под гору — радость, как когда-то мчаться с горки на санках. Уже показалось море. Пальмы, синяя вода, яркое высокое небо. Стою на берегу, смотрю на море, волны несут меня все дальше и дальше, горизонт отступает, мир беспределен. Здесь, в Сен-Жане, у самого берега моря, на тропе высоко над морем, на балконе гостиницы, висящем над городком, это ощущение явственно до боли. Из-за прозрачности воздуха? Из-за высокого неба? Из-за вечного бега волн? Мир открыт и беспределен. Встань на цыпочки, раскинь руки, лети, куда хочешь. Мир вечен и беспределен.

Мир, наверное, да. Но не моя выносливость. Жарко. Скорее в воду. Плавать — блаженство. Особенно сейчас, после бессилия первых дней, когда болели руки, спина и я барахталась у берега, как ребенок. Плавать в море — блаженство.

Медленно поднимаюсь в гору. Тенистая улочка, шоссе, поднялась. Гостиница, два марша лестницы, наш номер, балкон. Виду с балкона можно радоваться в любое время дня. Освещение меняется, красота остается. Хочется есть. Приношу на балкон хлеб, сыр, помидоры, минеральную воду. И Москву.

Армянский переулок, дом 2, Главная редакция восточной литературы издательства «Наука». «Мальгашские сказки? Любопытно. Позвоните дней через десять. Через пару недель. После Нового года. Нет, рецензия еще не пришла, позвоните через месяц. Да, получили рецензию, нет, в план еще не вставили. Позвоните в конце кварта-

ла. Нет, договор еще не подписан. Позвоните через пару недель. Через пару месяцев...»

Жизнь только начиналась. Запас времени казался неисчерпаемым. Я тщательно отбирала сказки, медленно переводила. Долго писала предисловие, комментарии. Шли годы. Звонки, просьбы, переговоры, откладывания — все было по силам. В 1965 году «Сказки Мадагаскара» были опубликованы.

«Сказки» вышли в Москве. В Сен-Жане в комнату гостиницы вошла темнокожая горничная. Уже вечер. Солнце садится в море. Стало прохладнее. Промелькнула неделя в Сен-Жане. Промелькнула жизнь. Французские каникулы продлятся еще два дня. Потом Копенгаген, Дрезден, Берлин и Москва. Первое возвращение в Москву после шести лет, прожитых в Бостоне. Чем-то оно обернется? Но это не скоро, это потом. Пока я живу в Сен-Жане, в гостинице «Панорама».

Журавли

Странная улыбка застыла на губах Андерсена. Устал сидеть на бульваре своего имени? Надоели люди, толпящиеся вокруг? Вот еще одна женщина пристроилась у твоих ног и напряженно смотрит в фотообъектив. Сколько нужно терпения, чтобы выдержать такую бесцеремонность. Бронзовые цилиндр и сюртук позеленели — от времени? от тоски? — но в улыбке та же снисходительность, ирония и грусть, как в твоих сказках. Лицо все время меняется, как небо над Копенгагеном: выглянуло солнце, налетел ветер, заметались тучи, дождь полил и снова солнце. А улыбка все та же и под солнцем и под дождем.

К погоде здесь относятся с твоей снисходительностью, иронией и не без грусти: «Да, июль, но вот холодно и дождь, что поделаешь». Что поделаешь, Ганс Христиан, мне жаль расставаться с тобой, но пора. Мы давно не виделись. Я была маленькой девочкой, когда папа читал мне твои сказки. Мы жили тогда в Москве, в Столешниковом переулке. Теперь я живу в Америке, в Бостоне. Мой папа давно умер, и мама умерла. Твои сказки читает мне теперь младший внук. Он родился в Америке, ему пять лет, но он уже хорошо читает по-русски. Я бы еще поговорила с тобой, Ганс Христиан. Но мне хочется посмотреть на твой город. Ты не знаешь, почему собралась толпа вон там, на площади, недалеко от тебя?

Плотным кольцом стоят люди в плащах, в шерстяных свитерах. Народу много — воскресный день. В середине круга танцует раздетая темнокожая женщина. Вместо трусиков на ней шнурок вокруг талии и другой, чуть шире, между ног, на груди узкая повязка. Женщине аккомпанирует небольшой оркестр. Темнокожие мужчины в пестрой одежде громко бьют в барабаны и дуют в деревянные рожки. Под их навязчиво однообразную музыку женщина исполняет зажигательный танец ягодиц. Лицо ее трудно разглядеть, но ягодицы красивые. Грандиозный успех. В коробку на земле одна за другой летят монетки.

Пешеходная улица тянется от площади с памятником Андерсену до порта. Там, у моря, она идет вдоль канала с яхтами, кораблями и баржами и почти сплошь заставлена столиками кафе и ресторанов. Идти вдоль канала интересно, вокруг все неожиданно и заманчиво, особенно когда не льет дождь. Но здесь, недалеко от Андерсена, пешеходная улица ничем не примечательна — магазины, рассчитанные на богатых туристов, спокойные, сдержанные люди. Звук барабанов уже не слышно.

Сбоку показалась церковь из красного кирпича с высокой колокольней. Приятное разнообразие среди модных платьев, кроссовок, украшений и белья, переполняющих витрины. Интересная церковь начала XVIII века. Не такая оригинальная, как церковь-орган в новом районе Копенгагена, где я недавно была, но все равно интересная. Кладбища нигде по соседству не видно. Через улицу от церкви-органа я видела еще необычное кладбище. Зеленое поле разгорожено вдоль и поперек рядами невысокого густого кустарника. На небольших полянках стоят низкие каменные надгробия. Многие без имен и фамилий, некоторые со скудными надписями: «Моим любимым», «Моему ангелу». Рядом участок полностью безымянного кладбища. Зеленая лужайка. В земле зарыты урны. На траве никаких следов захоронения, только кое-где лежат цветы.

Церковь-орган строили двадцать лет и открыли не в самое подходящее время — в 1942 году. А может быть, как раз в подходящее? Церковь серая, как все окружающие ее дома в квартале копенгагенских Черемушек, где она стоит. Но в отличие от трех-четырёхэтажных домов-сараев церковь — произведение искусства. Ее фасад уди-

вительным образом повторяет форму органа. Он так красив и величествен, и так явственно напоминает орган, что, глядя на него, будто слышишь торжественное богослужение.

Здесь, на пешеходной улице, вдруг тоже слышится музыка. Нет, не органа и не модное «бум-бум», а знакомая любимая мелодия. На пешеходной улице стоит и играет на скрипке молодая женщина. Бледное усталое лицо, поношенная куртка, джинсы. Рядом сидит молодой человек, тоже плохо одетый, он аккомпанирует ей на киборде. Льется знакомая мелодия. Датчане идут мимо, изредка вежливо кивают, еще реже кладут деньги в футляр скрипки на земле. Мы с Акивой, единственные слушатели, стоим неподвижно. Я поднимаю глаза, встречаюсь взглядом со скрипачкой. Она улыбается мне, я улыбаюсь ей. Улицы нет, прохожих нет, осталась музыка и мы — те, кто ее исполняет, и те, кто ее слушает. Скрипачка продолжает играть, Акива кладет деньги в футляр, мы киваем на прощанье ей, аккомпаниатору и медленно уходим.

И снова витрины, чучело в яркой одежде высотой с человека у магазина сувениров, мужчина верхом на молодом парне с завязанными глазами жонглирует зажженными факелами. Вдруг опять музыка. На сей раз набившее оскомину «бум-бум», только в исполнении белых музыкантов и без танцовщицы. Одобрительные возгласы энтузиастов, кто-то хлопает, кто-то отбивает такт ногой. Но я ошиблась. Танцовщица есть, и не одна.

На противоположной стороне улицы, за спинами поклонников ритмических и шумовых эффектов, две симпатичные датские девочки, используя бесплатное музыкальное сопровождение, лихо отбивают чечетку. Девочкам с сытыми розовыми мордочками лет одиннадцать — двенадцать, они скромно, но хорошо одеты и, судя по их облику, танцуют не ради куска хлеба. Дуэт чечеточниц пользуется успехом, прохожие щедро бросают монетки в школьную сумочку для завтрака, стоящую у их ног.

Воскресный день в Копенгагене в разгаре. Дождь не забывает город, но на старой рыночной площади все равно много людей. Вот и журавли. Они тоже не боятся дождя. Вытянув шеи и взмахнув крыльями, они готовы взмыть в небо. Готовы вот уже почти четыреста лет и все еще не расстались со старой рыночной площадью. Они

замерли на постаменте в большой чаше фонтана, их гибкие шеи, сильные крылья, все они — порыв, полет, и они улетят, конечно, улетят.

Фонтан с журавлями построили на рыночной площади в самом начале XVII века. В Дании так много воды. Глубоко врезаются в болотистые равнины фиорды, куда ни посмотри — вода. Но пить ее нельзя. В XVII веке питьевую воду привозили в Копенгаген в выдолбленных колодах из ближайшего пресного озера в 6 км от города. Это было дорогое удовольствие. В фонтане с журавлями бедные могли брать воду бесплатно. Наверное, уже в те далекие времена датчанам были близки социалистические идеи. Недаром сейчас в Дании суровее, чем в других странах, подстригают доходы богатых и успешнее поддерживают бедных. Жилье, медицинское обслуживание, образование на европейском уровне — все доступно всем в этой стране.

Всем людям, но не журавлям. Журавли не могут вырваться из каменного плена. Их любят, вокруг них постоянно толпятся люди, но улететь они не могут. Даже на соседнюю площадь перелететь не могут. Там на небольшой эстраде играет джаз-оркестр. За столиками несмотря на дождь сидят люди и пьют пиво. А перед эстрадой кружится пара. Высокий плотный мужчина в теплой ковбойке на выпуск и небольшого роста женщина в черной кожаной куртке. Оба пожилые, некрасивые, оба поглощены собой и музыкой.

Снова и снова повторяется нехитрая мелодия. Кружится и кружится пара перед эстрадой. Официанты разносят высокие стаканы с пивом. Идет дождь. Курлыкают журавли? Нет, показалось. Журавли подняли крылья, вытянули шеи и замерли. Они ждут своего часа. Ждут уже почти четыреста лет. Кто знает, может быть, в этом их счастье.

Дрезден. Улица Высокая

Почему она Высокая? Улица — как все соседние: тихая, зеленая, с новыми домами по обеим сторонам, с деревьями по краям тротуара. Когда-то здесь, наверное, были сады. На соседних улицах много одичавших яблонь, груш. На Высокой больше всего рябины. Еще только июль, но ягоды уже налились. Горят красные гроздья среди зеленой листвы. И у каждого дома газон с клумбами. Больше всего на Высокой любят розы. Розы на клумбах, розы в ящиках на балконах, на окнах. А людей не видно. Справа за оградой из металлических

прутьев бегают дети. Там детский сад — горки, лесенки, песочницы, две воспитательницы оживленно разговаривают друг с другом.

Но улица пустынна. Я иду медленно. Спешить не хочется — не хочется нарушать покой этой улицы. Покой, в котором без причины слышится тревога. Как постоянно в Дрездене. Впереди уже виден широкий проспект. Там людно, мчатся машины, автобусы. Дойти до угла? Вернуться? Пожалуй, дойду.

Странное здание из почерневших каменных глыб стоит на углу. Толстые стены почему-то доложены сверху красными кирпичами. Режет глаз неестественное сочетание кирпича и почерневших камней. Кирпичная кладка где выше, где ниже. А что на кирпичах? Трудно понять, надо отойти подальше. Черные стены занимают чуть не полквартала. На стенах кое-где видны барельефы. Портал, полукруглая апсида... Это же церковь. Как я сразу не догадалась. Конечно, церковь. Какие мощные своды. Даже изуродованные, они сохраняют грозное величие. Верх церкви погиб, крыши нет. Стены доложены кирпичами, потому что на них лежит толстая серая плита. Пресловутая немецкая аккуратность. Не успели отреставрировать и тщательно оберегают то, что уцелело.

Странная церковь. Очень уж она большая и неприступная. Церковь-крепость. Полуразрушенная — и все равно храм, и все равно крепость. Кто-то обращается ко мне по-немецки. Вздрагиваю и оборачиваюсь. Рядом со мной стоит старый, почти лысый человек. Я не заметила, как он подошел. Седые виски, лицо в морщинах, сгорбленная спина. Прищулив глаза, он смотрит на церковь. Немецкий я совсем забыла. Пытаюсь говорить по-английски, по-французски. Нет, он знает только немецкий. Спрашивает, откуда я. «Москва. Америка», — неопределенно отвечаю я. Что для него хуже? Стоим молча и смотрим на церковь, старый немец и старая еврейка. Старик вдруг поднимает руку, показывает на церковь и говорит: «Alles kaput». Киваю и повторяю: «Alles kaput».

Стоим вместе еще немного и расходимся. Улица Высокая тиха и пустынна. Но по-другому. Тишина гибели. Пустынность смерти. Эти розы цветут на могилах? Как много высокой рябины на Высокой улице. Спят глаза красные гроздья. Это лица детей в крови. Детские черепа с провалами глазниц висят на окровавленных

деревьях. Раздавленные ягоды под ногами сочатся кровью. На улице тишина смерти. Безлюдье смерти.

Заново отстроенная улица Высокая названа в честь разрушенной церкви? Церковь была очень высокой.

Фраункирхе

Она была гордостью Дрездена. Ее необычный купол-колокол и четыре башенки высились над старым городом — его главное украшение, символ Дрездена. Фраункирхе была очень большой, около трех тысяч человек вмещалось под ее сводами. В 1736 году Иоганн Себастьян Бах первым прикоснулся к ее великопному органу. Она простояла больше двух столетий, с 1722 года до февраля 1945 года.

Фраункирхе больше нет. Нет уже пятьдесят три года. Она погибла в 1945 году во время бомбежки Дрездена. Погибла от пожара. Когда внутри сгорели все опоры, огромный купол упал и довершил разрушение.

Зачем бомбили Дрезден в 1945 году, когда Германия была уже разгромлена? Почему бомбили сокровищницу Дрездена — Цвингер, исторический центр города, где не было ни одного военного объекта? Кто отдал этот приказ? С какой целью?

В феврале 1945 года здесь погибло тридцать тысяч жителей города и около миллиона беженцев с востока. Кому понадобились их жизни? Для чего? Вопросов много. Ответов нет до сих пор. Только предположения.

Говорят, увидев первые концлагеря, союзники потеряли голову от ужаса и отчаяния. Бомбежка Дрездена — месть немцам за печи концлагерей. Говорят, американские и английские летчики получили задание разбомбить военные заводы Круппа, расположенные недалеко от Дрездена. Но чья-то могущественная рука, заинтересованная в сохранении заводов, отметила на картах другой квадрат. Слухи. Доказательств нет. Если не считать доказательством стертой с лица земли Цвингер — старый город Дрездена.

В 1976 году, в славное время торжества социалистической идеологии в Восточной Германии, в Дрездене был создан документальный фильм, приуроченный к тридцатилетию событий 1945 года. В небольшом зале под самой крышей Музея транспорта гаснет свет.

На экране черно-белые кадры. Дымятся развалины. Небо заволочло черным дымом. Разбитая статуя на земле. Надпись уцелела: Мартин Лютер. Искореженный фонтан. Крест рухнувшей церкви. Дом без наружной стены. Снова обломки статуй. Руины оперного театра. Мост через Эльбу без двух пролетов. Камера медленно скользит среди почерневших от копоти развалин. Час? Полтора? Нет, пять минут. И сразу, без перехода — прекрасный город Дрезден. Весело бежит трамвай по зеленым улицам. Радостно улыбаются прохожие. Красиво одетые люди самозабвенно слушают музыку в концертном зале, в оперном театре. Жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи. Все счастливы в новеньком с иголки городе. Старый знакомый сценарий. Где происходит действие? Ах, в Дрездене, в ГДР. Ну да, конечно, конечно. В ГДР... в СССР... Суть фильма понятна.

В жизни все было несколько иначе. Только в 1977 году положили первый камень в основание нового здания оперного театра. Только 13 февраля 1985 года, в сорокалетнюю годовщину бомбежки Дрездена, в восстановленном оперном театре состоялось первое представление.

Сейчас Дрезденский оперный театр снова ослепителен. Главное его сокровище — красивый подковообразный зрительный зал с четырьмя ярусами, вмещающий 1300 человек. Он славится своей акустикой и тем, что всегда полон, хотя Дрезден небольшой город и летом, когда здесь много туристов, театр закрыт. Фасад здания украшают скульптуры Гете и Шиллера, над входом высится квадрига пантер, запряженная в колесницу, на которой стоят Дионис и Ариадна. Внутри театра все празднично и нарядно: фойе с колоннами, обшитые красивыми панелями стены, расписанные потолки, сияющие люстры, наборные паркетные полы. Создано это великолепие только из местных материалов, включая зеленоватые ионические колонны из искусственного мрамора, о чем невозможно догадаться.

У Фрауэнкирхе другая судьба. Ее почерневший остов до сих пор стоит в городе как укор, напоминание и обвинение — как окаменевший колокольный звон. Строительство идет, но в городе так много разрушенных церквей и домов. Надежда отслужить в 2000 году первую службу в обновленной Фрауэнкирхе растаяла. Забор, окружаю-

щий строительную площадку, обвешан призывами пожертвовать деньги, чтобы закончить восстановление церкви к 2006 году.

Идут мимо забора нарядные люди. Изредка замедляют шаг, читают, идут дальше. На соседней улице в арке одного из домов два школьника достают из футляра скрипки, настраивают, готовятся начать уличный концерт. Идут и идут люди. Мимо школьников, мимо забора с призывами, мимо длинного забора-решетки. Идут, не оглядываясь, не останавливаясь. Цвингер — главная достопримечательность Дрездена, этот восставший из руин уникальный дворцовый ансамбль, эта торжественная многоголосая песня в камне, Цвингер остался позади.

Но я останавливаюсь. За решетчатым забором выстроились, как солдаты, шеренги трехэтажных нар. На нарах лежат камни, каменные глыбы, куски стен, обломки статуй, колонн. Это кладбище Фрауэнкирхе и соседних домов. Все, что можно было собрать, собрали, пронумеровали и аккуратно уложили здесь, за забором. Из мелких обломков построили типовые дома: оштукатуренные желто-розовые четырехэтажные дома с цветами на окнах и балконах. Эти обычные дома, плоть новых районов Дрездена — памятники бойни, необычной даже в XX веке.

А пронумерованные камни лежат и ждут. И кричат. Кричат так громко и так долго, как могут кричать только камни: война кончилась больше пятидесяти лет назад! Те, кто погиб здесь, наверное, тоже кричали, горя заживо, задыхаясь в дыму. Но сейчас они молчат. А немые камни все кричат и кричат. И чистый, благопристойный, зеленый, нарядный Дрезден тоже кричит: «Зачем?!» Вот уже больше пятидесяти лет.

Тянутся и тянутся ряды нар за решеткой. Идут и идут мимо оглохшие люди.

P.S. 30 ноября 2000 г. Я ошиблась, оглохли не все. В 1999 году Нобелевскую премию по медицине получил американец немецкого происхождения 63-летний Гюнтер Блобель, профессор биологии Рокфеллеровского университета. Узнав о присуждении премии, он сразу же объявил, что жертвует ее на восстановление Фрауэнкирхе, Дрезденской синагоги и исторического здания в итальянской деревушке Фубине.

Утро. Маленькая, тихая улица. Высокие узкие дома, одни свежеекрашены, другие ждут своей очереди. На улице пусто, но бар открыт. Ключи от номера лежат, оказывается, в баре. Странный пансион—вывеска на улице, ключи в баре, вход со двора. После нескольких безуспешных попыток входная дверь, наконец, открывается. Крутая лестница. Номер на четвертом этаже. Лифта нет. Но есть три тяжелых чемодана.

В Дрездене попросили заказать номер подешевле. Просьбу выполнили старательно. По такой лестнице нам и без чемоданов трудно подняться на четвертый этаж. С чемоданами об этом нечего и думать. Хорошо, что работает бар. Один из посетителей любезно вносит чемоданы наверх. В большой голой комнате чисто. У одного из трех стульев обгорело сиденье. При попытке открыть шкаф вываливается дверца. Дверца, стул — ерунда. Скорее в город.

Такси быстро довозит до Острова музеев. Это странное словосочетание, наверное, надо писать в кавычках: «Остров музеев». Разумная мысль расположить несколько музеев недалеко друг от друга пришла в голову немецкому архитектору Шинкелю в начале XIX века. Не знаю, как все это выглядело в прошлом веке, но сейчас... Какой чужой город, не похожий ни на один другой. Чем? Дома, улицы, канал... Каналы есть и в Копенгагене, не говоря про Амстердам, если вспомнить только ближайших соседей. Какой-то здесь другой дух или... Может быть, это я смотрю на Берлин другими глазами?

Торопливый завтрак. Пергамский музей. Провал в прошлое.

Юля еще не родилась. Маша совсем маленькая. На Рижском взмorie с Машей осталась мама. Вечером поезд в Риге. Утром восторг первой встречи с Таллиным, радостное потрясение длиной в день. Вечером поезд в Ленинград. Утром Русский музей, выставка «Пергамский алтарь». Из этого приезда в Ленинград запомнился только Пергамский алтарь.

Пергамский музей. Возвращение в настоящее. Город исчез. Вернулось нормальное зрение. Смотреть все равно трудно. Не успеваешь опомниться, перевести дух. Таких колонн я никогда не видела. Такого величия, такой мощи колонн, фресок, статуй я никогда не

видела. Экспозиция не закончена, но того, что выставлено, довольно, чтобы почувствовать себя пигмеем и титаном одновременно.

За стенами музея люди, машины, шумные пестрые улицы. Лотки на тротуарах заставлены красивым фарфором, керамикой, стеклом, завалены шарфами, косынками, безделушками. В центре города ярмарка. Человеческий поток уплотнен до предела. Трудно повернуть голову, шевельнуть рукой. Двигаться можно только вместе с толпой. Оглушительно гремит музыка. За столиками едят, пьют, смеются.

В середине Унтер-ден-Линден бульвар с невзрачными липами и заманчивыми скамейками — можно присесть и отдохнуть. Здания по сторонам бульвара внушают почтительное удивление. Дворец Унтер-ден-Линден, оперный театр, университет имени Гумбольдта, Центральный мемориал, Исторический музей — сложно сказать, какое из этих громоздких строений величественнее и тяжеловеснее. Много камня потрачено на их сооружение, очень много. Поменьше бы камня, побольше воображения.

Путеводитель утверждает, что недалеко находится Николайфиртель, уцелевший квартал старого города. После официальной Унтер-ден-Линден хочется увидеть что-то более человеческое. На пути неожиданное препятствие: огромный памятник из коричневого гранита. Два памятника. Да, на гранитной площадке двое, неразлучная пара: Маркс и Энгельс. Один сидит, другой стоит. Рядом на высоких гранитных плитах силуэты Владимира Ильича. В кепке, без кепки, с поднятой рукой, с опущенной... Тут же цитаты из его трудов.

Берлин — город в первые дни творения. Памятники, музеи, университет уже есть, но всюду идет стройка, улицы и дома еще не расставлены по местам. Карл Маркс-штрассе плавно переходит в аллею Джона Фостера Даллеса. Рядом с суперреалистическими Марксом и Энгельсом образец супермодерна: здание с балконами в виде полушаров из черного граненого стекла. Еще несколько шагов — и Николайфиртель.

Улица прошлого века. Дома с барельефами владельцев, фонари и вывески из старых детских книжек, булыжные мостовые, церковь Святого Николая на небольшой площади. Это самая старая приходская церковь в городе, ее построили около 1230 года. Красный кирпич, узкие длинные окна с розетками. Тут же на площади старый

бездействующий фонтан и высокая металлическая тумба: колодец с ручкой и желобом-головой тритона. Экспонат музея под открытым небом? Не только. Подошла молодая пара. Мужчина взялся за ручку. Женщина вымыла ноги под струей из рта тритона. Весело смеясь, они ушли в кафе. Их несколько на этой спокойной, приветливой площади. Вот «Kartoffeln Stube». Как перевести это название? Что такое «Пельменная», понятно. А как быть, если в кафе едят не пельмени, а картошку? Во всех видах. Подают, например, большую горячую картофелину в коже. Картофелина разрезана пополам и залита расплавленным сыром, смешанным с укропом. Очень вкусно. Кафе украшено снопами, рогожными мешками с картофелем, соломенными куклами крестьян и крестьянок. Немцы вокруг дружелюбно улыбаются, охотно помогают иностранцам.

И снова широкая магистраль, поток машин. Враждебное царство бетона и асфальта, безлюдное и бездушное. Наконец Александерплац. Что-о? Вот эти разрытые мостовые с деревянными мостками для пешеходов, это беспорядочное нагромождение экскаваторов, строительных кранов, недостроенных зданий под зеленой сеткой, магазинов с необъятными витринами, многоэтажных ресторанов и баров — это и есть знаменитая Алесандерплац? Да, как ни странно, вот табличка.

Сотни архитекторов приняли участие в объявленных в начале 90-х годов международных конкурсах на застройку в излучине Шпрее, Александерплац, Потсдамерплац, других районов Берлина. Сейчас, по официальным данным, в городе осуществляется около двух тысяч проектов с общим объемом капиталовложений около ста миллиардов долларов. Мир, кажется, еще не знал такого размаха преобразования городов.

Строительные краны и зеленая сетка создают особый пейзаж Берлина? Его режущее глаз настоящее или незримое, режущее душу прошлое? Стоянка такси, садимся в машину. Все происходит слишком быстро, я не успеваю взглядеться, подумать. Хочется остановиться, закрыть глаза, перевести дыхание. Такси, наконец, вырвалось из потока транспорта. Кранов не видно. Покружив по тихим улочкам, добираемся до пансиона. Восхождение на четвертый этаж. Передышка.

Утром длинное путешествие в Египетский музей на другом конце

города. Очень торопились и приехали за час до открытия. К счастью. Оказалось, что рядом с музеем находится дворец Шарлоттенбург, удивительной красоты здание XVII века в стиле рококо. Все в этом дворце красиво, легко и соразмерно, все нарядно и человечно. Только один у него недостаток — или достоинство? — дворец чужой в этом городе.

Но что дворец, когда в Египетском музее выставлена голова Нефертити. Нет, не та маленькая, изящная, изумительной красоты головка, которую уже несколько раз посчастливилось увидеть в разных музеях. Это изображение Нефертити — 1340 г. д. н. э.! — нашли в 1912 году в разрушенной мастерской придворного художника, сделавшего из известняка и гипса образец, служивший моделью другим скульпторам. Ни поврежденные уши, ни отсутствие зрачка в левом глазу не разрушают колдовства этого удивительного творения, а может быть, и помогают ему.

Бюст Нефертити стоит в отдельной комнате на высоком постаменте под стеклянным колпаком. Его можно обойти вокруг. Можно постоять перед ним и рассказать Нефертити о своих самых горьких горестях, о самых несбыточных мечтах. Она поймет. Она многое пережила и, потеряв глаз и ухо, сохранила ум и душу. Она понимает все и сочувствует тому, кто на нее смотрит. Боль стихает, рождается надежда.

Египетский музей прекрасно организован и богат сокровищами. Фрески, бюсты, статуи — необъятный мир красоты и мудрости, созданный в незапамятные времена, возвращает веру в Человека прекрасного. Даже в этом городе. Ненадолго, но возвращает. И все-таки главное в музее, конечно, Нефертити.

А в городе? Что главное в этом городе? Обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе. Из-за пробок на улицах текст в наушниках не совпадает с тем, что видишь из окна. Долго стоим у какого-то роскошного магазина. Европу-центр и фонтан «Земной шар» проскакиваем слишком быстро. Новое здание филармонии с залом на 2200 мест объезжаем вокруг. Ультрасовременный храм музыки составлен из невиданных геометрических фигур с устрашающим числом острых углов. Диктор в наушниках утверждает, что этот диссонанс в камне является выдающимся достижением современной архитектуры.

Кадры города за окном: зеркальные витрины магазинов, ресторанов, тротуары загромождены нарядными столиками, улицы запружены людьми, машинами, и всюду экскаваторы и строительные краны, строительные краны и экскаваторы.

Документальные кадры американского телефильма «Холодная война»: гигантские скелеты рухнувших зданий, цепочка изможденных людей передает из рук в руки обломки каменных глыб, едва расчищенные улицы безлюдны, город мертв, разрушен до основания.

Уничтоженный войной, поправленный послевоенным разделом, расчеченный окровавленной стеной, сегодня этот город яростно стремится затоптать, заглушить, затмить позор прошлого ошеломляющим будущим. Строить, строить, строить. Если Центр, то Европациентр высотой в 86 метров с часами, показывающими время во всех точках Земли. Если фонтан, то «Земной шар». Отторгнуть прошлое, отсечь, отрубить стремятся площади, улицы, дома, двухэтажные автобусы и строительные краны.

Но вот Бранденбургские ворота. Автобус уехал. Парижская площадь, Бранденбургские ворота, отель «Адлон» — грудная клетка города. Прошлое, предпрошлое, сегодняшнее и вчерашнее — здесь все живо. Стою и молча смотрю на Бранденбургские ворота, на «Адлон», на площадь. В конце старого польского фильма «Как быть любимой?» после страшных мытарств войны героиня летит над Берлином и поражается собственному бесчувствию. «Да, подо мной Берлин. И что же? Ничего? Просто ничего?» Не могу забыть, как проносила Барбара Крафтувна эти слова.

Какие слова произнести мне, стоя перед Бранденбургскими воротами? Говорить не хочется. Стою молча. Война началась, когда я кончала школу. Сейчас подходит к концу жизнь. Я стою молча и смотрю на Бранденбургские ворота.

Рейхстаг рядом. Сердце города здесь, рядом. Оно не бьется. Огромное полуразрушенное здание тут и там прикрыто зеленой сеткой. Рабочих не видно. Воскресенье, стройка замерла. Людей вокруг тоже не видно. Слева от Рейхстага чугунная ограда сквера. На ней большие белые кресты с именами погибших при попытке бежать в Западный Берлин. Мертвая зона. Живой кусок прошлого. Пока живой.

Почему пока? Зачем заброшена зеленая сетка на развалины Рейх-

стага? Может быть, не надо к ним прикасаться? Может быть, сохранить эти полуразрушенные стены с пустыми оконными проемами? Как зарубку на память. Как памятник погибшим. Как заповедь живым: «Не сотворите вновь!» Есть злодеяния, о которых нельзя забывать.

Здание Рейхстага перестраивается и реставрируется. Дети не отвечают за грехи отцов. 9 ноября 1989 года рухнула Берлинская стена. 31 декабря 1999 года должны открыться двери нового Рейхстага, с этого дня он станет официальным местом заседаний парламента объединенной Германии. Начало новой эры в жизни Германии совпадает с началом нового тысячелетия. Красивая символика. Дети не отвечают за грехи отцов. Новый Рейхстаг — символ новой Германии.

Но где символ старой? И нужен ли он? Нам, уходящим, нужен. Только нам? А им, еще полным сил и надежд? Им нужен? В тихом Николайфиртеле, на грохочущей Александерплац, в Египетском музее и на Унтер-ден-Линден, у фонтана «Земной шар» и перед Бранденбургскими воротами стучат в мозг все те же вопросы. Нет на них ответа в городе Берлине. Потому что снова и снова задает их безгласный — нет, вопиющий к небу — Рейхстаг. Задает сейчас, изуродованный, разрушенный, прикрытый зеленой сеткой, и будет задавать всегда, сколько бы его не переделывали, не реставрировали и не украшали.

ДНЕВНИК 29 октября. Сегодня очень мрачные известия из России. Празднование восьмидесятилетия комсомола. Молодые понятия не имеют, что это такое. Старики самозабвенно вспоминают славное прошлое. Зюганов и компания торжественно празднуют. Зюганов приехал на «мерседесе», и его машина была не самой шикарной.

Под Саратовом в поселке Сланцевый живет расформированный полк вертолетчиков. У Саратова нет денег отапливать поселок, содержать школьный автобус. Зарплаты вертолетчики не получают, жить им не на что, уехать некуда. Единственная надежда — завербоваться в какую-нибудь горячую точку, где вертолетчики в цене.

5 ноября. Страшные известия из России. Впервые испугалась,

слушая речь генерала Макашова. «Жида хотят нас скрутить, но мы живыми не дадимся». Лицо, сжигаемое злобой. И торжество: наконец проорал то, о чем мечтал.

21 ноября. Убита Галина Старовойтова*. Узнала сегодня утром. Все пошло в накат. Макашов, его поддержка в Думе. На Чукотке и в Магадане нет тепла, света и продовольствия, танкер с топливом затерт во льдах. Статья в «Нью-Йорк таймс» о том, что делается в бывших закрытых городах. И убийство Галины Старовойтовой. Все пошло в накат. Неужели остался один выход — русский Гитлер?

31 декабря. Час дня, четверг. Последний день года. Стоит большая нарядная елка. Вечером придут гости. Приготовила всем подарки, написала «стихи». А настроение непростое. Что принесет год 1999-й?

ДНЕВНИК **16 декабря.** Суббота, 8 часов вечера. Дома одна. **Брайтон, 2000** Начались предновогодние праздники. Акива уехал на факультетский вечер. Как кончится двухтысячный год? Что принесет следующий? Все те же предновогодние вопросы. Кому? За окном шквальный ветер и дождь — ливень, гром и молния в декабре! На душе тревога. Выдержать. Выдержать во что бы то ни стало. Остаться на ногах. Не сломать колено. Кончить книгу. Смогу?

Старение — хитрая штука.
Скольжение вниз с высоты.
Прощанье, прощенье, разлука
И память — до смертной черты.

Память. Формальная память подводит все чаще. Не помню, чьи строчки написала. А неформальная? Она нужнее, для книги нужнее, это я теперь хорошо понимаю. В дневнике за 1999 год нашла запись: «Воспоминания всегда такой документ, который легко может быть оспорен». (А. Ваксберг. «Лилия Брикс», стр. 238). Возможно. Но вот

* Г.В. Старовойтова (1946—1998) — депутат Гос. Думы 6-го созыва, сопредседатель движения «Демократическая Россия», убита в подьезде своего дома в Санкт-Петербурге.

есть у нас книга Сергея Львова о Питере Брейгеле старшем. В начале книги Львов пишет, что о Брейгеле достоверно известно шесть фактов, и сообщает, какие. Потом читаешь написанную им удивительно яркую биографию Брейгеля, человека и художника, в которой дорога вымысла подводит к каждому факту так естественно и неотвратимо, что достоверное и домысленное сливаются воедино. И Брейгель живой, и эпоха, и картины Брейгеля видишь, несмотря на неважные иллюстрации.

Ваксберг написал о Лиле Брикс толстую книгу, полную достоверных фактов. Но чем дальше ее читаешь, тем больше расплываются и бледнеют действующие лица: Лилия, Маяковский и все остальные. Таинственные законы творчества. Таинственные свойства, отличающие художественное произведение от нехудожественного.

Отвлеклась. Хотела написать, что принес 2000 год. Внуки радуют. Опубликован давно написанный рассказ «Березники—Бостон». Из его заглавия родилось название этой книги.

ВНУКИ

Няма не пошла в школу — удалили зуб, болела десна. Разговаривала с ней про «Беренику» Расина. Она хорошо слушает, спрашивает, у нее есть свое мнение. Рада, что с ней можно разговаривать про Расина и «Беренику».

Рассказала Леве про события на Эвересте, где нашли труп первого восходителя, сохранившийся во льду с 1924 года. Карта Гималаев, схема восхождения на Эверест в «Нью-Йорк таймс», откуда я узнала об этой истории, — Левке все было интересно. Читала Няме «Мольера» Булгакова. Левка сидел рядом. Рассказала о Лафонтене, с которым дружил Мольер, о Крылове, басни которого они оба читали, о Эзопе и эзоповом языке. Для «закрепления материала» процитировала стишок Эрдмана: «НКВД пришел к Эзопу и хватил его за попу. Мораль сей басни ясна: не нужно басен». Но оказалось, что я напрасно использовала детский вариант. Слово «жопа» они оба прекрасно знают. Такая их осведомленность в русском языке оказалась для меня неожиданностью.

Левина сентенция: «Мама — самый нужный человек. Ее никто не может заменить. Она меня ругает, она меня одевает, она меня учит. Маму никто не может заменить».

Показывала Левке альбом греческого искусства. Увидела статуэтку: мужчина с большой ступкой у ног, в руках тяжелый пестик. Про ступку — Няма не знала, что это такое, — рассказывала Няме из-за строчек: «Не позволяй душе лениться, чтоб воду в ступе не толочь, душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь». Показать ступку тогда не смогла. И вот удача. Показала заодно статуэтку Левке, спросила, что дядя делает. Левка подумал и сказал: «Прочищает унитаз».

БЕРЕЗНИКИ — БОСТОН С СОСТАНОВКАМИ И ПЕРЕСАДКАМИ*

В соседнем дворе появились детские качели, горка, турник. По зеленой траве бегают славный круглощекий малыш. Он бежит, а я смотрю на него из окна и тоже бегу по разноцветным крышам, по зеленым макушкам деревьев. Бегу легко, как он, все дальше и дальше назад.

Окно. Другое: высокое, двустворчатое, с широким подоконником. Над створками с форточкой третье поперечное стекло. Рамы двойные, поперечные стекла не легко мыть: трудно повернуть руку между ними, достать до самого верха. Москва, Столешников. Июнь, как сейчас. Недавно вымытое окно распахнуто. С подоконника хорошо виден магазинчик наискосок через улицу. В узких дверях давка: одни торопятся войти, другие выйти. Входят с пустыми руками. Выходят с полными: несут куски коричневого хозяйственного мыла, пакеты с торчащими наружу макаронами, пачки спичек, соли. У детей в руках тоже мыло, макароны, спички, соль. Воскресенье. Утро 22 июня 1941 года.

Ветер раскачивает ветви деревьев, небо потемнело. Бежать стало трудно. Идти трудно. Рельсы разбегаются веером, пересекаются, исчезают, снова появляются. Нужно все время смотреть под ноги.

* Рассказ «Березники — Бостон» опубликован в журнале «Вестник» № 15, июль 1999, Балтимор, США.

Чемодан оттягивает руку. Небо низкое, серое, моросит дождь. «У вас лето уже кончилось?» — «Да нет, не должно. Бывает, в сентябре еще припекает, а сейчас только август». Товарные вагоны, пассажирские, груды угля, мусор.

Ехали до города в грузовике? В автобусе? Улицы появляются, исчезают, снова появляются. Четырехэтажные кирпичные дома стоят как попало: торцом к тротуарам, под углом. Форточки затянуты марлей — желтой, бурой. Город Березники. Интересно, что написано о Березниках в Большой советской энциклопедии?

Вот они, тридцать темно-красных томов. Как хорошо, что привезли. И место для них привычное. Стеллаж во всю стену в кабинете Акивы — подарок старого друга Юры. В квартире на Вавилова энциклопедия тоже стояла на стеллаже, только узком. Когда ее купили, створку двери из коридора в комнату девочек заменили стеллажом. Другого места в нашей переполненной книгами квартире для энциклопедии не нашлось. *Habent sua fata libelli* — книги имеют свою судьбу, как утверждает латинская поговорка. Нашла, т. 3: «Березники, город в Пермской области, образован в 1932 г., порт на левом берегу Камы, ж.-д. станция на линии Чусовская — Соликамск. Крупный центр химической промышленности СССР. Главные предприятия: азотнотуковый завод, комбинаты химический, калийный, титано-магнийный. В городе производятся азотные и калийные удобрения, синтетический аммиак, азотная и серная кислота и мн. др.»

Ну и ну, я не знала, что Пермская область такая большая. Березники — это ведь уже Северный Урал. В школе мы пели:

Город на Каме, где не знаем сами.
Не дойти ногами, не достать руками.
Город на Каме, матушке реке.

Комната. Три кровати, стол. Папа сделал полки внутри большого фанерного ящика. Это наш шкаф. Крутая лестница. Бегом поднимаюсь на... второй? третий?... этаж с маленьким мешочком в руке. В мешочке мой школьный завтрак: 50 грамм черного хлеба. Лара ждет у двери. Мы учимся в разные смены: я — в первую, она — во вторую. Лара увидела меня, улыбается, осторожно вынимает из ме-

шочка хлеб, громко смеется и, зажав в руке черный квадратик, бежит вниз по лестнице. Ее улыбка и смех остаются со мной.

Дар улыбки у Лары от Бога и от папы. Мама никогда так не улыбалась. Папа очень редко. После войны, когда мама посылала Лару в булочную на углу Столешникова и Пушкинской, Лара бежала по переулку и все парни смотрели ей вслед. Смотрели и улыбались. Первые цветы солнечная Ларина улыбка принесла ей, когда мы ехали из Москвы в Березники. В переполненном людьми и вещами поезде с нами в купе оказался моряк. Во время одной из бесчисленных остановок наш состав застрял посреди бескрайнего луга, заросшего цветами. Многие вышли размяться и подышать. Я стояла у окна, смотрела, как моряк рвет цветы, и заранее ежилась: сейчас вернется, поднесет букет, что-то надо ему сказать. Поезд тронулся, моряк вернулся и вежливо преподнес цветы. Не мне, а моей маленькой сестре. Он получил в награду лучик солнца, я вздохнула с облегчением, но все-таки удивилась. Цены солнечных лучей я тогда еще не знала.

Березники. Базарный день. По нашему двору, опустив голову, идет папа, за ним плетется коза. У козы на глазах опадают бока, подгибаются ноги. Встревоженное мамино лицо. Угрюмое папино. Суэта во дворе. Кто-то уводит козу. На следующий день мама приходит домой с большим свертком. Мяса хватило на два обеда, из шкуры выкроили две пары стелек.

Мой фотоаппарат обменяли на мешок картошки. Фотоаппарат — подарок в день последнего звонка в девятом классе. Я не успела сделать ни одного снимка. Экзамены, школьный вечер, сердечные переживания... Он ушел после вечера, не оглянувшись. Я стояла на углу Столешникова и Пушкинской и смотрела, как он идет, широко шагая и размахивая руками, смотрела на его красивую пеструю куртку, на темные волосы. Стояла долго, но он не оглянулся. Его убили в самом начале войны. Как почти всех мальчиков из нашего класса.

Картошка замерзла на балконе в первый грянувший мороз. Мама научилась ее варить: бросала, не размораживая, в круто посоленную кипящую воду. В воде картошка синела, у нее был неприятный сладковатый вкус, мы ели ее с удовольствием.

Зима. Мороз. Из школы отпустили раньше обычного. Днем всем

классом идем в госпиталь: писать письма раненым, читать вслух, если попросят. В прошлый раз я читала «Нос» Гоголя. Смеялись, радовались. На улице мороз — настоящий, уральский. Солнце светит ярко-ярко. Смотреть на снег больно глазам. Снег искрится, скрипит под ногами. У самого подъезда на снегу валяется палка с обрывком шпагата. Слегка поддаю ее ногой и тут же поднимаю. Бегу по лестнице со всех ног. Бежать надо вниз, там в подвале офицерская столовая. Колбасу несли в столовую, одну уронили. Я знаю, что бежать надо вниз. И бегу вверх. Дверь открывает мама. «Откуда?... Где ты?»... Колбаса уже у мамы в руках. На лице у мамы мука. Наши глаза встречаются. Мамины руки чуть дрожат, на щеках два красных пятна, губы шепчут: «Никому ничего не говори». И почти обычный мамин голос: «Раздевайся. Суп готов». Несколько дней мама давала всем нам на завтрак по ломтику колбасы.

Брайтон. Суббота. Середина дня. По нашей тихой зеленой улице возвращаются из синагоги евреи. Мужчины в лапсердаках, женщины и девочки в длинных нарядных платьях, мальчики в костюмчиках и кипах. В будние дни на нашей тихой зеленой улице перед домами сидят мамы с шитьем, играют стайки детишек. На улице течет своя сложившаяся жизнь. Мы живем в другом потоке.

Субботние разговоры с Москвой. Радость призрачных телефонных встреч. Но обычно дома тихо. Беззвучно работают два компьютера в двух комнатах. Чаше один. Внуки, кухня, магазины — мой компьютер не перегружен. Изредка звучит магнитофон. Хорошо, что я купила его тогда в Амстердаме, вот уже столько лет тому назад. Сегодня чинила сарафан и слушала Моцарта. Текут дни, недели, месяцы. Мы уже три года живем на этой тихой зеленой улице. Уже больше пяти лет живем в Америке. Но поток нашей жизни то и дело застревает на незнакомых отменях деловых писем и счетов, крутится в водоворотах неясных деловых отношений, разбивается о рифы неосвоенной техники. Успеть бы написать, прочесть, увидеть.

За окном темно. Не видно домов напротив. Не видно дороги. Метель. Снег и ветер не дают открыть глаза, рот. Мы идем уже несколько часов. Мама впереди, я за ней. Тело, руки ооченели. Ноги вязнут в снегу. «Мама, вернемся!» — «Скоро вернемся. Вон свет, видишь?» Тусклый огонек. Высокое крыльцо. Мама поднима-

ется по засыпанным снегом ступенькам, стучит. Долго не открывают. Наконец чей-то голос: «Что надо?» — «Лук, чеснок». — «Что дашь?» — «Кофту, шерстяную». На обратном пути ветер дул в спину, идти было легче. Домой вернулись счастливые. Принесли несколько луковиц, головку чеснока и сумку луковичной шелухи.

«Посылают на Северный Урал, в Березники. Нужно взять все теплые вещи», — говорит папа, вернувшись с работы. Мама развязывает оранжевую скатерть, в которую накануне упаковала летнюю одежду. Папа не может удержаться: «Надо было покрасить!» В своей прежней белой жизни скатерть была очень красива. Но совершенно бесполезна. В мастерской, куда мама ее отдала, скатерть почему-то покрасили в ярко-оранжевый цвет. Папа огорчился. Он любил красивые вещи, даже бесполезные.

«Посылают в Среднюю Азию, в Чирчик. Теплых вещей брать не нужно», — объявляет папа на следующий день. Мама снова развязывает скатерть. Билеты дали неожиданно. Времени на сборы не было, взяли, что оказалось под рукой, и уехали на Северный Урал. На хутора мы больше не ходили, менять было нечего.

Когда строили Березники, кто-то распорядился найти ровное место недалеко от заводов и комбинатов и спланировать город так, чтобы с самолета была видна пятиконечная звезда. Указание было выполнено. Суровым уральским ветрам понравилась звездная планировка. Они почти постоянно дули от заводов в сторону города и, прихватив ядовитые газы химкомбинатов, гуляли между домами и улицами, не зная преград.

Любили они резвиться и на поле перед Дворцом культуры. В тот зимний день ветры разгулялись здесь вовсю. Вопреки всем ветрам мы роем на поле бомбоубежище, выполняем задание Березниковского горкома партии. У ветров другое задание: они треплют наши шарфы и шапки, залетают в рукава пальто, пробираются под платья. Ломами орудуют мальчишки. Девочкам поручили отгребать землю. Но отгребать нечего. Ломы со звоном ударяются в намертво промерзший грунт. Ребята хохочут. Учителя мечутся по полю, до нас долетают обрывки фраз: «Бессмысленно... Невозможно... указание горкома»... Кто-то предложил разложить костры, отогреть землю. Ветры взбесились и разметали пламя. Смеркается, нас отпуска-

ют домой. В сумерках ветер стих, повалил снег. Исчезли дома, трауары, плотный белый саван укрыл город.

Колю Марина укрыли белой простыней до пояса. Коричневый пиджак, белая рубашка, желтое с синевой лицо. Гроб поставили на столе у окна. За окном плавно опускались на землю крупные снежинки, пламя свечей. Коля лежит в гробу. Коля стоит на поле, руки с ломом поднял над головой, хохочет во все горло. Завязки шапки развязались. Пальто расстегнуто, ветер раздувает полы. Сейчас Коля улетит. Коля лежит с сомкнутыми губами, с закрытыми глазами. Простудился, долбя ломом мерзлую землю. Воспаление легких. Болел недолго, два-три дня. В полутемной комнате теснится наш класс. Мы молча смотрим на Колю. За окном идет снег. Вокруг гроба горят свечи. За стеной кто-то плачет.

Крошечного ребенка развернули, он расплакался, дергает ручки, ножки. Маленькая комната, лампочка под потолком, выкрашенный белой краской стол, на столе ребенок. «Прижми сильнее. Видишь, кожа натянулась, теперь вена хорошо видна. — Спокойный голос Льва Герцевича помогает. Руки перестают дрожать. — Не бойся, коли». Колю. Уже немного привыкла. Брать кровь у малышей легче, чем у женщин. Женщины не плачут, они рассказывают про свою жизнь. Рассказы страшные: кругом лагеря. У женщин, у их новорожденных детей я беру кровь для анализа на сифилис. Результат почти всегда один и тот же: положительный.

Мама устроила меня на работу в лабораторию санитарно-эпидемиологической станции. Рабочая карточка — очень большое подспорье в нашей семье. Пробирки, трубки, провода... Большая комната, куда привел меня заведующий станцией Лев Герцевич, похожа на папину московскую лабораторию в ГИАПе. «Что умеешь делать?» — грозно спрашивает Лев Герцевич, насупив мохнатые седые брови. — «Ничего», — честно отвечаю я. — «Тогда смотри и запоминай». Лев Герцевич все знал, все умел и все понимал. Терпение его было безгранично. Я очень старалась.

Каждая пробирка в лаборатории была на вес золота. Однажды я разбила длинную очень ценную пипетку. Лев Герцевич поставил передо мной две банки, одну с водой, другую пустую и протянул

пипетку. «Эта последняя, — сказал он. — Перекапай воду в пустую банку и постарайся пипеток больше не бить». Повернулся и ушел. Глотая слезы, я перекапала и ничего больше в лаборатории не разбила.

Лежать, лежать и не двигаться. Не хочется открывать глаза, расставаться с бездумьем сна, окунаться в поток сегодняшних дел. Будильник, слава Богу, замолчал. Только бы не уснуть. Как? Уже девять! Значит, все-таки задремала. Японки из дома напротив моют машину. Моют старательно, с шампунем, поливают из шланга, вытирают большой белой тряпкой. Бедная моя красная корова, с тех пор, как ты попала ко мне в руки, моет тебя только дождь. Попала бы к японкам... Да нет! Ты уже старая, как я, японкам ты ни к чему. А мне, я надеюсь, еще послужишь. Будь только, пожалуйста, здорова. Да, да, я готова. Моя сумочка, сумка с книгами, сумка с купальником. Глазные капли взяла. Яблоко Левке положила? Положила. Левка садится в машину, когда я забираю его из детского сада, и тут же спрашивает: «Сегодня ты какое яблоко принесла, зеленое или красное?» А сначала хныкал: «Не хочу». На улице, наверное, снова липкая жара. Где мои темные очки?

Возвращаюсь домой около девяти вечера. На улице темно. Очки уже не нужны. В темноте я хорошо вижу нашу комнату в Березниках. За окном неторопливо летят снежинки. Перед окном стоит стол, за ним сидит папа, просматривает какой-то научный журнал. На папе старенький московский свитер. Локти заштопаны. В комнате холодно. В нашей квартире по-настоящему тепло только в уборной, где проходит толстая труба центрального отопления.

Папа трет руки. «Интересно, — говорит он, не отрываясь от журнала, — выращивают дрожжи на отходах древесины». — «Кто? Где? — мама переменялась в лице. — В Березниках большая лесопильня, горы опилок. Дрожжи! Ты понимаешь, что это значит? В городе уже началась цинга!» Почему так всполошилась мама, подумала я и вернулась к урокам.

К урокам и заботам, которые казались мне важнее дрожжей и отходов древесины, благо, мама ухитрялась как-то нас кормить. Я кончала школу. В какой вуз поступать? Куда ехать? Войне не видно конца. «Папа, почему американцы не открывают второй фронт?»

без конца задавала я один и тот же вопрос. Папа терпеливо пытался мне объяснить, что происходит, но я плохо его слушала.

Я знала, куда хочу поступить. Но пока не кончилась война, об этом нечего было и думать. Папа и мама догадывались, о чем я мечтаю. Мама, со свойственной ей решительностью, сказала: «Нет. Не смей об этом думать». Папа посоветовал не терять времени и поступать пока в Московский университет, тем более, что университет недалеко — в Свердловске. В самом конце октября — или в начале ноября? — 1941 года Московский ордена Ленина государственный университет имени М.В. Ломоносова эвакуировали в Ашхабад, а потом перевели в Свердловск. Голодные студенты остригли в столовой: «Да здравствует наш университет, единожды орденосный, дважды эвакуированный и трижды проклятый».

Вокзал. Я приехала с папой. У меня на спине рюкзак, в руках сумка. Накануне почти все мои вещи увязали, как в Москве, в оранжевую скатерть и отправили багажом. Платформа, непривычно короткий состав, женщины с детьми, старики куда-то бегут, что-то кричат. Папа подталкивает меня в спину, у подножки его оттесняют. Попрощаться не успели. Втискиваюсь в вагон. Какие-то женщины подвигаются, сажусь четвертой на нижнюю лавку и снимаю с плеч рюкзак. Тупо смотрю на аккуратный разрез. Буханки хлеба и вареной картошки, положенных мамой, в рюкзаке нет. Мешочек с солью и мешочек с мукой уцелели.

Широкий, светлый коридор УИИ — Уральского индустриального института. С одной стороны коридора большие окна, с другой высокие двери аудиторий. В простенке между дверями стол, за столом пожилая женщина. Она что-то пишет, не поднимая головы. Длинная очередь девочек, поступающих на филологический факультет МГУ, тает на глазах. Школу кончили? Имя? Фамилия? Отделение? Язык? Приняты. Талон на карточки, на топчан, ордер на вселение в квартиру. Распишитесь. Следующая.

Ночь в физкультурном зале УИИ. На матах, на голом цементном полу, накрывшись кто чем мог, лежат новопеченные студентки. Тяжелый прерывистый сон. Найти квартиру, стучит в голову, найти квартиру.

Ордер на вселение выписан в дом № 52 на улице Ленина. Это

последний дом на широкой новой улице с каменными домами. За домом мост. За мостом поле — раздолье всем ветрам и метелям. За полем величественное здание УИИ в стиле сталинского ампира и студенческий городок с четырехэтажными кирпичными домами-близнецами. Несколько корпусов дома № 52 занимают целый квартал. Куда идти? Страшно позвонить, страшно войти в чужую квартиру, показать нерадостную бумажку. Встречают враждебно, в квартирах грязно, кричат маленькие дети. День бесплодных хождений, уже вечер. И вдруг: «Заходите, пожалуйста». Три женщины с бледными землистыми лицами: седая с короткими волосами, пожилая с пучком на затылке, девочка с косичками. Спрашивает пожилая: «Одна? Студентка? Рояль отодвинем. Топчан можно поставить у окна. Это моя мама. Это дочка, учится в шестом классе. У меня сейчас бюллетень, днем я обычно на работе. Стирать, готовить у нас нельзя — керосина получаем очень мало. А так — живите».

Несу топчан на спине, как показали на складе. Пугали: «Через поле, если ветер, не ходи, не донесешь!» На поле ни ветерка. Смотрю под ноги, на утопанную тропку, на серые камушки, считаю шаги. Сто шагов, остановка. Сто шагов, остановка. Топчан втиснули между роялем и стеной с окном. Уютно. Впервые в жизни у меня «своя комната».

Зима. Засиделась в читалке. Скоро двенадцать ночи. На цыпочках пробираюсь из передней к топчану. С хрустом отдираю от окна примерзшее одеяло. На минуту замираю — вдруг разбудила? Нет, спят. Сажусь в ногах топчана — сбоку к нему не подойти, — раздеваюсь, залезаю под одеяло. Но так было потом, когда появилось одеяло.

На вокзале сумятица. Никак не могу найти пакгауз. Посылают то в одну сторону, то в другую. Наконец кто-то показывает огромные двери-ворота. Над ними надпись: «Выдача багажа». Перед воротами кучка растерянных людей. Женщина что-то выкрикивает, голос срывается: «Да, месяц хожу... десять с утра выпускают... один выйдет, другого пустят... там горы, все вперемежку, как найти?»

Створка двери приоткрывается. «Один, проходи!» Моя очередь. Тусклый свет голых лампочек. От пола до потолка навалены тюки, чемоданы, узлы, ящики. Узкие проходы между горами вещей. Горы вещей, без людей. От «главной улицы» направо и налево отхо-

дят другие «улицы», от них «переулочки». Я уже давно не знаю, где выход, то и дело попадаю в тупики. Страшно. Иду, куда идут ноги. Где-то впереди что-то мелькнуло. Солнечный зайчик? Откуда? Протискиваюсь поближе. Родная оранжевая скатерть!

Не помню, как вытащила тюк из пакгауза, как добралась с ним до дома, до топчана. Перед глазами только скатерть, переливы ее узора, не убитые краской, руки чувствуют, как топорщится яркая тяжелая материя, нос щекочет терпкий запах апельсинов. Оранжевая скатерть и апельсины нерасторжимы. Оранжевая скатерть и Лара тоже.

У Лары корь. 1935 год? 1934? У Лары корь. Она не смеется, не ест, лежит, не открывая глаз. Мама уходит в Торгсин с единственной нашей драгоценностью — посеребренным молочником, возвращается с пакетом пахучих оранжевых апельсинов. Мама сидит около Лары, счищает тонкую шкурку с апельсиновых долек, вкладывает их Ларе в рот. Лара неохотно сосет оранжевые комочки. Я стою рядом, смотрю, как мама чистит дольку за долькой, как бежит сок у нее по пальцам. Незнакомый терпкий запах апельсинов щекочет нос. Цвет врзается в память — оранжевый, как скатерть. Нет, скатерть оранжевая, как апельсины.

Лето какого года? 1953? Отличница Лара кончила биофак МГУ. Тщетные поиски работы. Одна неудача за другой. Ни тени уныния. Все та же солнечная улыбка. Утро. «Сегодня ответ. Экспедиция, очень интересная. Зачислят. Биолог нужен позарез». Ушла с улыбкой. Кто спал на железной кровати с панцирной сеткой в нашей «детской» комнате? Я или Лара? Не помню. Вместо покрывала кровать застелена оранжевой скатертью, днем она — диван. Лара вернулась с плотно сжатыми губами. Легла ничком на оранжевую скатерть. «Нет, не зачислили. Еврейку взять не могут». Слез я не видела, но голос...

Встаю осторожно. Хозяйки и девочки уже нет дома, бабушка еще спит. Быстро одеваюсь, прохожу на цыпочках в закуток с раковиной и керосинками, насыпаю в алюминиевую кружку столовую ложку муки из березниковского мешочка, бросаю щепотку соли и развожу муку холодной водой из-под крана. Стоя выпиваю болтушку и бегу в университет.

В ветреный день минут через пять мое московское зимнее паль-

то улетучивается и прихватывает с собой «утепленные» ботинки. Пройти — пробежать! — кусочек улицы Ленина до моста не трудно, но впереди поле. Считать шаги некогда, останавливаться нельзя, смотрю под ноги, только уголком глаза вижу: огромное здание УИИ все ближе. Конец, добежала. Читальня. Стол, стопка книг, блаженное тепло растекается по телу.

Лекции кончаются около шести. В столовой в это время всегда полно студентов и профессоров. Гул голосов, пар от пальто и шапок, въедливый сладковатый запах щей из мороженой капусты. Длинные хвосты в кассу, к раздатчице, руки, протягивающие деньги, талончики. Наконец, вожделенный миг: кто-то уже занял место за столиком, можно сесть. На столе с липкой клеенкой перед каждым неизменная тарелка щей без соли, тарелка с несколькими ложками жидкой каши без признаков жира и стакан тепловатого напитка. В меню он называется кофе, среди студентов: «Повар помыл ноги». Для меня главное — четыре прямоугольника черного хлеба, моя дневная студенческая норма. Хлеб вкусный или кажется вкусным в семь часов вечера после не слишком сытного раннего завтрака. Я делюсь привезенной из Березников солью и наш столик дружно радуется обеду. Два куска хлеба я съедаю тут же в столовой, два — когда добираться домой, лежа под одеялом. После столовой снова читальня до закрытия. Потом поле, мост, улица Ленина и топчан. Счастливая студенческая жизнь.

Сегодня вечером я с опаской вхожу в читальню УИИ. Здесь все осталось по-прежнему. Большие яркие люстры под потолком, узкие проходы между столами с настольными лампами, головы, склоненные над книгами. В читальном зале УИИ ничего не изменилось, но я изменилась. Кто это сидит вон там под антресолями? Лицо девочки знакомо и незнакомо. Перед ней лежат тетради, сшитые из оберточной бумаги, тоненький сборник рассказов на французском языке, французско-русский словарь, немецко-русский словарь, раскрытая книга... Что-что? «Отцы и дети» на немецком языке? Да, эта девочка читала в Свердловске «Отцы и дети» по-немецки. Боялась забыть язык. Папа очень хотел, чтобы она занималась немецким. Мама нашла хорошую учительницу. В 9 классе эта девочка уже с увлечением читала Гейне. И прозу и стихи. Как странно выглядит

слово «самовар», написанное латинскими буквами: «Samovar». А как выглядит седая женщина, вернувшаяся в читальню УИИ через полвека с лишним?

С антресолей кто-то спустил на веревке свернутую в трубочку записку: «Юнька, пришли кусочек хлеба. Умираю от голода». Поднимаю глаза. Фрида. Глаза блестят. Щеки пылают. Пишу на бумажке недавно выученное латинское изречение: «Dum spiro spero» («Пока дышу, надеюсь»), заворачиваю кусок хлеба в свое послание и дергаю за веревку. Фрида сияет. Вспоминает она когда-нибудь Свердловск? Читальню УИИ? Не знаю. Однажды ночью, уже после окончания университета мы долго бродили с ней по Моховой, по улице Горького, по соседним переулкам. Я уговаривала Фриду не вступать в партию. Не уговорила. И наши пути разошлись.

Брайтон будто вымер сегодня. На нашей улице ни души. По воскресеньям здесь на улице всегда мало народа, но в сегодняшнем воскресном безлюдье есть что-то зловещее. Может быть, потому, что по серому небу бегут тучи, а температура за окном почти +30°C. Еще рано, но на улице сумерки. Ель под нашим окном, акация через дорогу стоят, не шелохнувшись. Им тоже страшно, как мне.

Целый день сегодня перебираю строчки Цветаевой:

Счастье или грусть —
Ничего не знать наизусть,
В пышной тальме ходить бобровой,
Сердце Пушкина теревить в руках
И прослыть в веках
Длиннобровой
Ни к кому не суровой
Гончаровой.
Сон или смертный грех
Быть как губы, как веер, как мех,
И, не слыша стиха литого,
Проще себя
Без морщин на лбу,
Если скучно — кусать губы,
И потом в гробу
Вспоминать Ланского.

Я наткнулась на это стихотворение в статье Михаила Слонима, в

третьем томе пятитомного собрания сочинений Цветаевой. Счастье или смертный грех — ничего не знать наизусть? Не ворошить прошлое? Не рассказывать Няме об Андрее Макине и Греции? Не учить Левку читать? Не рваться еще раз увидеть Испанию? Восьмой десяток. Пора. Пора уже научиться просто мудро жить. Смотреть на небо и молиться Богу. А как быть с тревогой?

Обещанного дождя нет как нет. Сквозь слезы мне все чудится, что по стеклам бегут струйки. Стекла сухие. Это мои щеки мокрые. Не знаю, почему сегодня такое слезонизвержение. Нет, знаю, конечно, но писать об этом не хочется.

В ту зиму в Свердловске я плакала один раз. Шла вечером по незнакомым улицам, искала магазин, где выдают одноразовый донорский паек, и плакала. Меня знобило, по щекам текли горячие слезы. Я хотела сдать кровь и получить на месяц рабочую карточку: 600 г хлеба в день вместо 400. На нашем курсе многие жили впроголодь и охотно становились донорами. Моя попытка кончилась неудачей.

Больница. Сводчатые коридоры, куда-то спешат женщины в халатах. Длинная очередь, наконец кабинет. Сестра безуспешно пытается взять у меня кровь. Развязывает жгут, завязывает, зовет другую сестру. Снова неудача. Приходит врач, у него тоже ничего не получается. Обе мои руки исколоты, голова слегка кружится. Кто-то ведет меня в хирургическое отделение, укладывает на стол. Седая женщина что-то делает с моими руками — война, кровь очень нужна, — но в конце концов она тоже отступает. Выписать рабочую карточку на месяц, не взяв кровь, врач не может, но ей, наверное, стало жаль голодную девчонку, и она выписала мне одноразовый паек: сахар, хлеб, пол-литра водки.

Я иду за пайком и плачу от обиды, от голода, от растерянности: впереди сессия, первые университетские экзамены. Хоть один экзамен нужно сдать досрочно. Иначе бессмысленно ехать в Березники. Каникулы короткие, дорога длинная и трудная. Рабочая карточка очень бы выручила. И вот сорвалось.

В магазине много людей. Едва получаю паек, какая-то женщина тут же в толчее предлагает обменять полкило сахара на буханку черного хлеба. Соглашаюсь, не раздумывая. Только потом вижу, что в магазине все что-то на что-то меняют, спорят, торгуются. Но и

тогда не понимаю, какую глупость я сделала. Это мне объясняют на следующий день в университете. Объяснения, к сожалению, не помогают. Через несколько дней я так же невыгодно обменяла на рынке водку — тоже на хлеб. К экономическим дисциплинам у меня явно не было способностей.

Хлеб, полученный за сахар, ем в трамвае по дороге домой. Сначала отщипываю маленький кусочек, потом еще один, потом не могу остановиться. Домой добираюсь, когда мои хозяева уже спят. Бесшумно раздеваюсь, залезаю под одеяло, вспоминаю, как сердился папа, когда я в Столешниковом отдирала корку от хлеба, отрывая корку от своего пайка, съедаю и, тихонько плача, засыпаю.

На следующий день лекция Леонида Петровича Гроссмана, как всегда уже вечером. Место занимаю заранее. В больших аудиториях УИИ лампочки горят только у доски и освещают два-три первых ряда. Студенты нашего курса стараются сесть поближе к свету. Есть у стула подставка для записей или нет — неважно. Писать можно и на коленях, но в темноте ничего не запишешь. Аудитория всегда набита до отказа: сидят на подоконниках, втроем на двух стульях, стоят, когда не хватает ни подоконников, ни стульев. Приходят студенты других курсов, других факультетов. Холодно, все в пальто, кутаются в платки, шарфы. Но после целого дня занятий, после сумятицы столовой усталость, голод и холод — все забывается, когда в аудиторию входит Леонид Петрович.

Высокий, худощавый, с орлиным профилем и седой шевелюрой над выпуклым лбом, он входит упругим шагом, снимает, не торопясь, свое поношенное пальто и аккуратно вешает его на стул. В хорошо отглаженном костюме с непременным белым уголком платка в верхнем кармане пиджака он кажется пришельцем из другого мира, и война, страх, одиночество отступают. Остаются только сверкающие глаза Леонида Петровича и его властный голос.

Что такое теория литературы? Сухой предмет со скучным названием. Леонид Петрович Гроссман читает нам теорию литературы, и каждая его лекция — праздник. Затекают ноги, слезятся глаза, качаются руки, но об этом вспоминаешь потом, когда лекция кончается. А на лекции, когда Леонид Петрович объясняет, что такое аллитерация, и на всю аудиторию гремит его великолепный баритон:

Шипенье пенных бокалов
И пунша пламень голубой...

на лекции ни о руках, ни о ногах не вспоминаешь, на лекции живешь в прекрасном мире красоты и гармонии, веры и надежды.

Праздники, увы, сменяются буднями — приближается сессия. Как набраться храбрости, подойти к Леониду Петровичу и сказать, что я хочу сдать экзамен досрочно? Первый в жизни университетский экзамен. Почему досрочно? К маме и папе захотелось поехать. Все-таки подхожу, что-то лепечу. «Конечно, конечно, — наклоняется он ко мне. — Когда вы хотите сдать экзамен? Прекрасно. Приходите ко мне домой, в семь вечера. Запишите адрес».

Заснеженные улицы. Одноэтажные домики. Деревня. Городские только номера домов. Дорожка к дверям расчищена. Звоню. Дверь открывает Леонид Петрович. На нем свитер. Непривычно видеть его без пиджака, без белого уголка платка. Леонид Петрович вешает мое пальто, ведет к себе в кабинет.

Не помню, что Леонид Петрович спрашивал. Не помню, что я говорила. Помню только, как он наклонился над столом и поставил в зачетку пятерку. Потом протянул мне руку, крепко пожал и сказал: «Спасибо, мне было очень приятно с вами побеседовать». В передней он подал мне пальто. От волнения я никак не могла попасть в рукава. Щеки горели, я радовалась, что в передней темно и Леонид Петрович не видит моего лица.

Кухня в Березниках. На столе широкая солнечная дорожка, за окном сугробы снега. Мама стоит у плиты и сосредоточенно переворачивает оладушки. «Если раскалить сковородку, можно жарить без масла. Надо только вовремя переворачивать», — говорит она, не отрывая глаз от сковороды. Я проглатываю странные серые оладушки один за другим. Стараюсь есть медленнее, но не могу. «На фабрике-кухне из дрожжей делают котлеты», — рассказывает мама. — Оладушки, по-моему, вкуснее. Тебе оладушки, кажется, тоже понравились. Жидкие дрожжи продают теперь без карточек. Я только что принесла бидончик».

В Березники ехала с пересадкой. В Соликамске долго ждала своего поезда. Из всех пейзажей помню только ярко-желтый ледяной

холм в коричневых разводах перед входом в уборную. От каникул остались в памяти кухня, стол с солнечной дорожкой и мамини оладушки. И прохожие на улицах с маленькими бидончиками в руках.

Мама не забыла папины слова о дрожжах, выращенных на отходах древесины. Она организовала в Березниках производство дрожжей. Когда мама за что-нибудь бралась, она обычно доводила дело до конца. Город был спасен от цинги. Горком партии, с которым мама долго воевала, в конце концов наградил ее почетной грамотой. Но ни дрожжи, ни грамота не спасли маму. Сейчас об этом рассказать? Наверное, да. Теперь уже ничего нельзя откладывать.

Сегодня суббота. В праздничные дни одиночество чувствуется особенно остро. Утром ездила в библиотеку, на почту, снова безуспешно искала подарок своей внучке. У нее красивое имя Наоми, но она хочет, чтобы ее звали Няма. Надеюсь, что передумает, но пока она Няма. Бостон очень красив все последние дни. От желтых, желто-красных, красных листьев на деревьях нельзя оторвать глаз. Яркое солнце, прохладный ветер — здесь, в Америке, осень мое любимое время года.

Звонила в Москву. У Лары сегодня собрались старые друзья. Чувство разрыва с прошлым ощущается почти физически. А близость остается. После разговора с Москвой, как всегда, трудно вернуться в Бостон.

Да, мама. Ее удивительная способность преодолевать препятствия. Первый Всесоюзный съезд многодетных матерей мама организовала вместе с Идой Шапиро. О нем я только слышала и тогда, перед войной, плохо понимала, почему мама и Ида так радуются. Их заботами многодетные матери начали получать пособие на детей. Пособие... трое детей дают право на пособие... четверо... Добились — трое. Смысл их слов ускользал от меня.

Но заочную школу матерей при Институте санитарного просвещения мама организовала у меня на глазах. Она начала заниматься школой еще во время войны, когда вернулась из Березников в Москву. Долгое время ничего не получалось — не было денег, бумаги, — но мама не отступала. После войны школа уже работала без перебоев.

Мама все смогла: выбила, как тогда говорили, фонды и бумагу.

договорилась с врачами, с типографией, организовала рассылку. Каких усилий это стоило, невозможно себе представить. Бледное мамино лицо, глаза, всегда полные тревоги. Днем бесконечная беготня, вечером несмолкающие телефонные звонки. Но школа работала, и мама была завалена письмами с Камчатки, Сахалина, из Сибири — из сотен Богом, но не мамой — забытых углов великой советской державы, где беспомощные матери не имели возможности обратиться к врачу и лечили больных детей сами, а те почему-то умирали.

После окончания университета, когда я перебивалась случайными заработками, школа выручала и меня. Врачи-специалисты писали популярные руководства по своей специальности, я их редактировала и рукописи уходили в типографию. Главное, что вменялось мне в обязанность, это соблюдение правил политической игры. Сначала я очень мучилась, но потом научилась и бойко писала введение ко всем рукописям подряд. Выглядело оно всегда одинаково: «Заботами партии, правительства и лично товарища Сталина, дифтерия (дифтерия, корь, коклюш и т.д.) давно искоренены в нашей стране. Но в отдельных случаях... если у вашего ребенка появились...» Дальше я старалась плавно передать слово автору очередного руководства. Как ни удивительно, но за эту «деятельность» мне даже платили деньги. Правда, куда более удивительно, что мама одна крутила эту громоздкую машину, и машина спасала детей.

Но это было уже в конце маминой жизни. Начало, насколько я знаю, было куда более бурным. Строгая религиозная семья. Бедная — отец мелкий посредник, — но уважаемая. И вдруг в одном из старших классов гимназии Бася, их дочь-красавица, заявляет, что больше не верит в Бога, и во время революции ходит по Минску с винтовкой даже в субботу. Как пережили Рафаил и Нехама эту беду, мама никогда не рассказывала. Спасла их, видимо, широта души и терпимость. Когда мамин младший брат Нейях женился на русской девушке, они прислали ему письмо, о котором мама рассказывала не один раз. Рафаил и Нехама поздравляли сына с началом новой жизни, желали здоровья и счастья ему и его жене и писали, что, хотя Нина русская, они верят, что в глубине души она все равно еврейка.

Рафаил и Нехама погибли в минском гетто в первые месяцы войны. В июне 1941 года Нейях должен был поехать в Минск и

привезти их в Москву. Старикам стало трудно жить одним. На семейном совете было решено, что я поеду в Минск вместе с Нейяхом. Я очень ждала этой поездки. Срочные дела не отпускали Нейяха с работы, поездка откладывалась со дня на день. 22 июня началась война. И Рафаил с Нехамой погибли.

Их дочь Бася, наша с Ларой мама, в самом деле была красавицей. До глубокой старости она сохранила удивительно белую кожу, мраморную, как когда-то говорили, и большие черные бездонные глаза. У нее был точеный нос с едва заметной горбинкой, яркие красивые губы, мягкие выходящие черные волосы. Однажды, когда Лара была уже студенткой, мы с ней хозяйничали у нас в комнате, кажется, делали тесто. Вернее, делала, как всегда, Лара, а я суетилась рядом на должности «прими, подай, поди вон». Неожиданно раздался стук в дверь. Вошел старый мамин знакомый. Узнав, что мамы нет дома, он уже собрался уходить, но задержался у двери, окинул нас взглядом и решительно заявил: «Вы своей матери в подметки не годитесь. Когда ей было столько лет, сколько вам, она была настоящая красавица, не то что вы». Сердито хлопнув дверью, он ушел. Лара опомнилась первая и громко расхохоталась.

Мама, действительно, была красавицей и при том бесстрашной. Считая, что девушка с такой внешностью не должна вызывать подозрений, она держала в Минске явку. В 1918 году во время оккупации города помогала переправлять в Польшу тех, за кем охотились немцы. Поехала на Кавказ одна с четырехлетней дочкой (со мной) уговаривать женщин записываться в колхоз. В селе под Моздоком хладнокровно выслушивала разговоры мужчин под окном своей комнаты, обсуждавших, когда они ее убьют.

До 83 лет, пока не случился микроинсульт, мама не знала усталости. Для нее не существовало слов: «Не могу». Только: «Надо». Поехать, отнести, сделать то, что нужно, утром, днем, вечером. И любую погоду мама считала чем-то само собой разумеющимся. И постоянно, годами мама кого-нибудь опекала, кому-нибудь помогала, не считая нас с Ларой и наших детей. От микроинсульта она оправилась, но силы ее растаяли. И тогда состоялся наш с ней роковой поход в Моссовет.

Почему здесь, в Бостоне, я так часто разговариваю с мамой? Так

часто вижу ее? Ярко-синее платье с короткими рукавами, белый воротничок у самой шеи. Весна. Мама, такая молодая, красивая, стоит посередине нашего большого столешниковского двора без травинки, без единого деревца. Вышла позвать меня домой. Мама лежит на большой никелированной кровати с четырьмя шариками по углам. Папа кладет рядом с ней белый сверток. Из свертка раздается пронзительный крик. Сияющее мамино лицо. «Теперь у тебя есть сестра», — папа это сказал или мама? Мама в парадном темно-коричневом платье. «Единственное приличное платье», — ворчал папа. Горящие мамыны глаза. Руки что-то торопливо перебирают в сумке. Тихо говорит с папой по-еврейски. И только у двери громко по-русски: «Ложитесь спать. Собрание может затянуться». Нет, потом, потом, после войны, после смерти папы... Мы же ни о чем не успели поговорить...

Огромную столешниковскую квартиру забирало какое-то ведомство. Жильцов выселяли на окраины Москвы. Мама хотела прописать к себе Машу, мою дочку, в надежде, что тогда у Маши будет когда-нибудь свой угол. Для этого нужно было разрешение начальника жилотдела Моссовета.

Столешников перулок, дом 11, наш подъезд рядом с дверью знаменитой московской кондитерской. От нас до Моссовета рукой подать. Переходим Пушкинскую, поднимаемся в гору мимо сквера, куда меня маленькую водили гулять. Мама все тяжелее опирается на мою руку. В лице ни кровинки, щеки запали. Бюро пропусков на улице Станкевича. «Да, пропуск есть. Паспорт!» Входим в лифт. Нажимаю кнопку.

Широкий пустынный коридор. Высокие потолки. По обоим сторонам коридора двери. Поворот под прямым углом. Снова такой же коридор. Гулкий топот, как на параде. Обе вздрагиваем и оглядываемся. Сзади нас двое солдат с ружьями на плече отбивают шаг. Такая же пара движется с другого конца коридора нам навстречу. Я чувствую, как дрожит мамина рука. Кто-то в штатском торопливо подходит к нам: «Ваш пропуск. Почему вы на этом этаже? Вам нужно на следующий. Пройдите к лифту».

Молча поднимаемся в лифте еще на один этаж. Снова такие же коридоры, снова шагают навстречу друг другу наряды солдат с ру-

жьями. Но здесь есть скамейки со спинками, из комнаты в комнату с бумагами в руках снуют какие-то люди. Маму вызывают довольно скоро. Войти с ней мне не разрешают. Через несколько минут мама выходит и говорит, что в ее заявлении не хватает выписки из домовой книги. Дальше провал: как мы вернулись домой, не помню. В памяти остались голые коридоры, громкий стук сапог и леденящий страх. Больше ничего.

Бог захочет, веник стреляет. В нашей домовой книге паспортница по ошибке написала, что мама в 1944 году вернулась в Москву не из Березников, а из Бердичева. Бердичев во время войны был занят немцами. Значит, мама находилась на оккупированной территории. В те времена в Советском Союзе царил порядок, о котором так тоскуют нынешние коммунисты. Он обрекал тех, кто совершил это «преступление», на многие муки и часто на смерть.

В Моздоке — молодая, с ребенком на руках — мама не боялась ни мук, ни смерти. И в 1937 году, видимо, тоже не боялась, только говорила мне каждый вечер, как одеть Лару и куда с ней пойти, если утром дома не будет ни папы, ни мамы. На девятом десятке в гнилое время Брежнева ни документы, ни уговоры, ни лекарства не помогали. Мама считала, что совершила преступление, скрыв, что во время войны была на оккупированной территории, и семь лет мучительно умирала.

Белка бежит по проводу высоко над землей. Не упали, дурочка. Слава Богу, добежала до дерева. Сколько в Бостоне белок. На улице Эмбасси их тоже много. Прелестные зверьки. Они никого не боятся. И правильно делают. Здесь их никто не обижает. Сегодня на удивление тихая суббота. За весь день ни одного звонка. Даже Юлька не позвонила. Не могу найти дома латинско-русский словарь. Нашла два словаря латинских слов и выражений, а обычного словаря нет. Но вот волшебство: пока искала словарь, исчезли улица Эмбасси, белка, телефон.

Свердловск. Студенческий городок. Куда мы с Броней идем? «Зачем ты занимаешься ерундой? — звенит высокий Бронин голос. — Почему ты не переходишь к нам в группу? К Александру Николаевичу? У нас каждый урок — это настоящий праздник». Мы познакомились недавно. Я побаиваюсь Брони. Она столько всего знает и

помнит. Однажды во время перерыва между лекциями я стояла рядом и слышала, как они с Майей Туровской разговаривали. «Ты понимаешь, комплекс Эдипа... да, но вся Орестея... а проблемы Агамемнона-Клитемнестры...»

Вечером, возвращаясь домой, я совсем замерзла. Не хотелось идти, не хотелось передвигать ноги. Даже заветный кусок хлеба не манил. Я шла, все равно шла. Знала, что останавливаться нельзя, и шла. А в голове крутилось: зря поступила на филфак. Никогда я не разберусь с Агамемноном, Орестом, Клитемнестрой. Клитемнестра это, кажется, жена Агамемнона? И что там еще стряслось с Орестом? Нет, надо уходить. А папа? Как сказать папе? Как ему объяснить? Такое хорошее письмо он мне прислал. Он так радуется, что я учусь в университете. В письме длиннющий список книг. Когда я их все прочту? Хорошо Броне и Майе. Они про Эдипа и Ореста знают с пеленок. А мне что делать? Завтра надо прийти в читальню пораньше и заняться прежде всего греческой мифологией. Потом папиным списком. Слава Богу, вот уже мост. Думала не дойду.

—Я поговорила с Александром Николаевичем, он тебя возьмет,— Броня сияет.— Нужно только сдать зачет по неправильным глаголам.

— Сколько их?— со страхом спрашиваю я.

— Для начала десять. Список я тебе дам. Учи. Ты не представляешь, как интересно заниматься с Александром Николаевичем. Учи.

И началось. Каждую свободную минуту: *Ago, egi, actum, agere* — делать. *Parco, reperci, temperatum, parcere* — терпеть.

УИИ, небольшая комната. Черные столы, шаткие стулья. На стене у двери доска, перед ней небольшой стол для преподавателя. За столом старик в изношенном драповом пальто. Блестят голубые глаза на бледном измученном лице, худые бескровные пальцы сжимают маленький туристский котелок со шами из мороженой капусты. В аудитории холодно, котелок горячий, от него поднимается легкий пар. Александр Николаевич Попов ждет, когда мы рассядемся. Наконец тишина. «*Parco*», — слышу я его негромкий голос. Правая рука отрывается от котелка, маленькая указка останавливается на Броне. «*Reperci, temperatum, parcere* — терпеть», — мгновенно выпаливает Броня. «*Ago*», — указка требует ответа от меня. Стараюсь

говорить уверенно, но голос все равно дрожит: «*Egi, actum, agere* — делать». Так начинается почти каждое занятие.

Так начинается праздник. Римская история, философия, литература, нравы и обычаи римлян — о чем только не рассказывал нам Александр Николаевич, сжимая исхудавшими пальцами помятый котелок. Его волей склонения и спряжения, которыми он с нами занимался, уводили нас из маленькой холодной аудитории в огромный мир напряженных поисков истины и поклонения красоте. Стройная латинская грамматика как способ мышления, как одно из средств постижения этого мира вызывала у нас изумление и восхищение, и неправильные глаголы мы учили радостно, как стихи.

Однажды в Москве — не помню, зачем, почему, — мы с Броней ездили домой к Александру Николаевичу. Долго блуждали где-то на окраине. На улице с низкими домишками между бульжниками мостовой пробивалась трава, мы с удивлением смотрели по сторонам и вспоминали занятия латынью в Свердловске. «*Pomnitis? Tempora mutantur et nos mutamur in illis**». А Горация? «*Exegi monumentum aere perennius*»**... В конце концов, нашли дом Александра Николаевича — одноэтажный, деревянный, с цветами на узких подоконниках. Номер заметили не сразу. Но в одно из окошек увидели стеллаж с книгами. И не ошиблись.

Как вернуться с той улицы на Эмбасси-роуд? Как соединить разорванную цепь? Что делать с уцелевшими клочками, кочками, ост- ровками прошлого, не захлестнутыми набегающими днями, годами, десятилетиями? Как их сберечь? Где спрятать? Кому отдать?

Тук, тук... тук, тук... Стучат колеса на стыках рельсов. Не спит- ся. Скоро Москва. Я еду в Москву. Мама, папа, Лара остались в Березниках, я возвращаюсь в Москву с университетом. Весна, по- моему, май 1943 года. Моховая. Большая комната? Зал? Гул голосов, сутолока, списки, талоны, карточки — все сквозь пелену.

Пешком до Столешникова с чемоданом, с какой-то сумкой. Иду, ничего не видя, ничего не замечая, ничего не чувствуя. У самого

* *Tempora mutantur et nos mutamur in illis*. — Времена меняются и нас заставляют меняться. (лат.)

** *Exegi monumentum aere perennius*. — Я памятник воздвиг прочнее металла. Нач-ало «Памятника» Горация. (лат.)

дома проблеск: наша кондитерская. Знаменитая столешниковская кондитерская рядом с нашим подъездом. Из кондитерской выходят люди. У них в руках... Что они несут? Булки? Да, продолговатые булки с белыми боками, со светло-коричневой корочкой. Короткая очередь. Встаю, не раздумывая. Хлеб дают на два дня: на сегодня и на завтра. Касса, прилавок. Женщина передо мной просит поменять сайку. Эти душистые белые булки называются, оказывается, сайки. Хорошо, пусть сайки. Скорее бы дали. Наконец-то. Пальцы тонут в мякоти. В подъезде откусываю огромный мягкий кусок и проглатываю, едва разжевав, прежде чем поднимаюсь на второй этаж.

Дверь в квартиру была открыта? Я позвонила? Кто мне открыл? А дверь в комнату? Не помню. Вкус сайки помню. Сумрак в комнате помню. И нашу соседку Татьяну, ее голос: «Пианино от окна сюда передвинули, чтобы чего не случилось. Стекло, видишь, вылетело. Фанеру ваш какой-то знакомый приходил, вставил. А так, все у тебя цело».

У меня все было цело. И пианино, и черное кресло «как у Ленинина». Я по-прежнему забиралась на него с ногами, только не с Пушкиным, а со своими конспектами. Однажды сунула руку за сиденье и вытащила какие-то корявые палочки. Не сразу догадалась, что это засохшие хлебные корки. Перед войной я часами сидела в кресле, учила наизусть «Онегина» и жевала хлеб, а корки совала за сиденье. Они пригодились. Я размачивала их в воде и жевала, вспоминая строфы «Онегина». Но здесь я, пожалуй, поставлю точку. Уже поздно. Скоро, наверное, раздастся вечерний Юлин звонок. Она уложит детей спать и позвонит узнать, как мы с папой провели день. Это новая традиция, она родилась в Бостоне. Я очень ею дорожу. Хорошо бы до звонка успеть погладить. Не люблю, когда выстиранные рубашки висят на вешалке в нашей прихожей-гостиной-столовой.

Эмбасси-роуд уже спит. Еще один день благополучно подошел к концу.

ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На дороге

В воскресенье вечером поехали к Шерманам на семейный обед. Шел сильный дождь. В темноте большую лужу заметила поздно. Объехать по краю вслед за предыдущей машиной не сумела, поехала наперерез. В середине лужи мотор захлебнулся, машина встала. Вода была вровень с краем дверцы. «Опытная американка», дверцу я не без труда открыла и крикнула: «Call police, please!» Первая же машина остановилась. Мужчина приоткрыл окно и на родном русском языке спросил: «Чего надо?». Вместе со своим спутником он откатил нашу машину на обочину и уехал. Владелец сотового телефона из другой машины помог вызвать техпомощь, женщина из третьей машины предложила мне свой сотовый телефон, и я позвонила Шерманам. Сказала Юле, что случилось, объяснила, где мы. Юля и Миша приехали через 15 минут. Техпомощь ждали полтора часа — из-за плохой погоды вызовов было много. И полтора часа, несмотря на проливной дождь, почти каждая проезжавшая мимо машина останавливалась и кто-нибудь спрашивал, не нужно ли помочь. Конец, как в святочном рассказе: техпомощь отбуксировала нашу машину домой, Юля с Мишей привезли нас к Шерманам, Инна и Юра накормили вкусным обедом. В сотый раз в первый класс — лужи теперь буду объезжать.

В больнице

В двухместной палате, куда положили Акиву, соседом оказался пожилой мужчина в тяжелом состоянии. Около него сидела жена лет пятидесяти в дорогом костюме, шелковой блузке, с серьгами, бусами, безупречно уложенными волосами и основательным гримом на лице. На другой день я застала ее в другом дорогом костюме с другим набором украшений. Держалась она приветливо и дружелюбно. Когда мы прощались, она рассказала, что ни у нее, ни у мужа нет родных — ни братьев, ни сестер, ни детей. Муж в госпитале уже две недели, его скоро переведут в больницу для хронических больных. Ей и теперь страшно приходить в пустой дом, потом будет еще страшнее. Накануне в палату заходила Юля, и жен-

щина спросила, почему сегодня нет моей дочери. Я сказала, что дочь уехала к детям. «У вас есть внуки?!» — воскликнула она и заплакала.

Ланч накануне принесли при мне. Молоденькая официантка кормила из ложки мужа моей новой знакомой, та молча за ней наблюдала. Я смотрела на эту сцену, едва веря собственным глазам. Вошла сестра, положила на кровать Акивы чистое постельное белье, предупредила, что скоро вернется, и вышла. Я не стала ее дожидаться и поменяла белье сама. Боже, как сестра изумилась! «Вы мне так помогли, так помогли!» — твердила она, растеряно перевешивая чистое полотенце с места на место. Я изумилась не меньше нее. Вечером Юля смеялась: «Ну что ты, мама, наделала. Сестра будет теперь всем рассказывать про дикую женщину из России, которая у них в госпитале сама перестелила постель мужу».

Дома

Заметка в «Нью-Йорк таймс» (17 мая 1999 г.). Женщина-калека шестидесяти восьми лет решила расправиться с дочерью и ее возлюбленным, потому что они хотели отдать ее в дом инвалидов. Одноглазая мать, прикованная к креслу на колесах, выстрелила в них из пистолета. Возлюбленный остался невредим, дочери пуля попала в шею. Сорокавосемилетняя дочь парализована, начиная от шеи, живет с помощью дыхательного аппарата и искусственного питания. Она потребовала, чтобы аппарат отключили. Врачи отказались. Она подала на них в суд. Суд решил, что дочь имеет право умереть, но предупредил, что смерть дочери повлечет за собой обвинение матери в убийстве. Решение дочери осталось неизменным.

ДНЕВНИК 21 декабря. Перечитала заметку в «Нью-Йорк Таймс». Американская трагедия новейшего образца, непостижимая, как и волна убийств школьников школьниками, прокатившаяся по стране. Что порождает жажду крови в сытой, благоустроенной, благополучной Америке? Какие преграды остановят шквал насилия, захлестнувший мир? И останавливает ли? Трудно в это поверить.

Еще труднее жить без веры. Особенно в старости, когда знаешь, что твое время истекает.

Время
ты умещаешься на ладони
в сердце
в одной-единственной памяти

какое же ты
оказывается
маленькое

Стихотворение Иры Новицкой, написанное 13, 15 мая 1997 года, поразило простотой, глубиной и образностью. Так же как другое, совсем маленькое, написанное неделей позже:

Мои глаза
еще смотрят
но уже видят
предел*

Может быть потому, что предел близок, многое видится сейчас ярче и задевает острее и в Америке, и в России. И я все пытаюсь удержать время: что-то записываю в дневник, делаю заметки на память, пишу письма.

ЗАМЕТКИ НА ПАМЯТЬ. 1999

Две книги: автобиография Артура Миллера «Timebends» (в русском переводе «Наплывы времени») и книга Л. Михеевой «Жизнь Дмитрия Шостаковича». Миллер и Шостакович современники. Предки обоих — выходцы из Польши. Прадеда Шостаковича выслали в Сибирь после подавления польского восстания 1830—1831 гг. Дед Миллера эмигрировал в США. И вот судьбы потомков.

* Оба стихотворения опубликованы в книге Иры Новицкой «Время придвинулось. Книга свободных стихов», Москва, «Ленор», 1999 (стр. 10, 11).

В очень интересной книге Артура Миллера понравились строчки: «Может быть, писатели пишут, чтобы доказать: забвение не всевластно. Доказать не только себе, но и тем, кто живет в глубинах жизни, куда не проникают лучи солнца — искры культуры».

Статья Майи Туровской «Время Клавдия» о нескольких постановках «Гамлета» в Москве («Новое русское слово», 7 апреля). В России времена Клавдия. И Аллы Пугачевой. Награждение Пугачевой орденом. Ельцин: «Я счастлив, что живу в эпоху Пугачевой». Фарс, достойный Мольера.

Бомбежки Сербии и шабаш ведьм в Москве. В ушах слова Лары: «Под Сербию здесь можно списать что угодно». Перед глазами сцена в Косово из передачи СиНН: грузовик с пакетами продовольствия, вокруг лес протянутых детских рук.

Концерт в Бостон симфони. Софья Губайдулина «Под сенью дерева» для кото и оркестра. Старинный японский инструмент кото — что-то вроде плоского ящика на высоких ножках. На крышку ящика натянуты струны, японская солистка ударяла по ним металлическими палочками, деревянными, щипала пальцами. Звук кото, сухой, пронзительный и тревожный, по-новому окрашивал звучание симфонического оркестра. Музыка Губайдулиной о трагизме жизни XX века, о нашей жизни.

Кошмар в Минске. 30 мая во время молодежного праздника под открытым небом хлынул дождь с градом. Толпа бросилась в метро. На скользких от дождя ступенях поскользнулось и упало больше всего девочек на высоких каблуках. Их затоптали вместе с двумя молодыми милиционерами, пытавшимися сдержать толпу. 54 человек погибли, много раненых.

Документальный голландский фильм 1998 года «Победители» о музыкантах, завоевавших в 1955—1976 годах первое место на международных конкурсах в Брюсселе. Фильм интересный и трагический. Блистательный Хиршхорн, новый Паганини, заболел и оста-

вил скрипку. Могилевского 20 лет — 20 самых творческих лет! — не выпускали из СССР. Пианистом остался, но за пределами страны мало известен. Победителей показывали совсем юными и в старости. Наглядная безжалостность времени.

Необычное балетное представление. Знаменитая танцевальная группа Марка Морриса и знаменитый виолончелист Йо-Йо-Ма. Начало: слева на сцене сидит Йо-Йо-Ма в черной мантии до пола, в центре стоит большая скульптура: резное дерево, как на дверях старинных церквей. При первых звуках виолончели скульптура рассыпается. Ее изображали танцовщики, застывшие на невысокой деревянной лестнице. Под третью сюиту Баха для виолончели соло 15 мужчин и женщин исполняли удивительно гармоничный и красивый танец. Самое удивительное — рождение движения из звука. Йо-Йо-Ма и танцовщики создавали балет на глазах у зрителей. Балет называется «Падающая лестница».

Документальный фильм «Фотограф» о гибели лодзинского гетто. Немецкие циркуляры, кадры из жизни гетто, снятые работавшим в гетто немецким бухгалтером, рассказ случайно выжившего врача. Лодзинское гетто погибло одним из последних в Восточной Европе, так как глава еврейского совета Румницкий умело использовал страх немецких охранников перед отправкой на фронт, грозившей им при ликвидации гетто. Когда русские подошли к Висле, у жителей гетто появилась надежда на спасение. Но советские войска подошли и остановились, потому что мудрый Сталин решил расправиться с Армией Крайовой руками немцев. Промедление советских войск позволило вывезти лодзинских евреев в Освенцим, где вместе с остальными погиб и Румницкий. Фильм стоит перед глазами. Жаль, что смотреть его будут в основном те, кто знает о трагедии Холокоста, а не те, кто считает, что Холокост — выдумка евреев.

ДНЕВНИК 6 января. Час дня. С утра мело, сейчас ветер стих. Брайтон, 2001 редкие снежинки лениво кружатся в воздухе. Первая суббота нового года, века, тысячелетия. Разумом по-

нимаю огромность события. Душа молчит, переполненная другим. Так ясно помню майский день: Юля родила третьего ребенка — сына. И декабрьский день: Маша родила первого ребенка — дочку. У меня теперь четверо внуков. Смотрю в окно на нашу елку, рассказываю ей про майский день, про декабрьский, про новых малышей. Елка смотрит на меня, покачивает головой. Понимает, что я радуюсь новым жизням и грущу — эти два малыша будут расти уже за моим расчетным сроком. Спасибо, елка. Мне теплее оттого, что ты рядом. Ну вот, замахала лапами. Ты права, права. Возвращаюсь к книге, к 1999 году. Он был нелегким, но летом этого года состоялось, вопреки всему, еще одно интересное путешествие, и я послала очередное письмо в Москву.

ПИСЬМО В МОСКВУ

*Франция—Бельгия—Голландия.
21 августа—7 сентября 1999 года*

Дневник

21 августа. В самолете сидели оглушенные. Не верилось, что летим. Не верилось, что прилетим. Ели, что давали, дремали. В полусне пыталась сосчитать, сколько раз мы за последнее время побывали в больнице. Моя глазная операция, Акивина глазная операция, моя сердечная операция, Акивин мозговой спазм... И дополнение: прекращение контракта со Стенфордом, повышение квартирной платы, поломка машины — налаженная жизнь рассыпалась как карточный домик. Засыпала, просыпалась с теми же мыслями.

В Париж прилетели в семь утра. До 11 просидели в аэропорту в ожидании прилета остальных участников тура. До часа довольно бессмысленно катались по городу, так как в гостинице еще не были готовы номера. Днем немного отдохнули, поели, вечером с удовольствием смотрели на Париж из окна автобуса и ходили пешком, когда позволяли условия обзорной экскурсии.

22 августа. Утром, пока группа меняла деньги, бродили по маленьким улочкам позади собора Парижской Богоматери. Случайно увидела памятную доску, машинально прочла: «Здесь стоял дом поэта Иохима Дю Белле. Он умер в 37 лет 1 января 1560 года». Никуда больше не хотелось идти. Снова прочла надпись. Парижа не стало. Москва, МГУ на Моховой, семинар Юры Виппера, доклад о Дю Белле. Читаю его стихи. В горле ком. Потом успокоилась. Рассказывала о Дю Белле, о его поэзии. Напряженная тишина в маленькой комнате, удивленное лицо Юры Виппера, его слова: «Благодарю вас. Вы сделали интересный доклад». Руки и ноги чужие, снова ком в горле. Юра Виппер только что кончил Сорбонну. Только что начал вести у нас семинар. Первый человек, живший, учившийся в Париже, с которым я разговаривала. Потрясение, не забытое через пятьдесят с лишним лет. Через пятьдесят с лишним лет я в Париже. Дом с памятной доской на углу Голубиной и Китайской улиц. Обе они узкие, кривые. Вдоль тротуара стоят машины. Пешеходов нет. Нет и пятидесяти с лишним лет. Рядом на набережной Цветов, у собора Парижской Богоматери толпы туристов. Я в Москве, в маленькой комнате старого МГУ на Моховой.

Возили по городу. Интересно увидеть то, что уже видела. То, что еще не видела, тоже. После возвращения стирка (все с себя, с Акивы — в Париже жаркий летний день) и душ. Ужинали в номере, благо, на этот раз я привезла кипяtilник.

23 августа. Наш трехзвездочный отель «Коралл» устроен в старом жилом доме. Можно только удивляться, как изобретательно использован здесь каждый квадратный сантиметр площади в номере, в холле, в столовой. Узкое место — лифт. Узкое в прямом смысле слова: три человека без чемоданов умецаются в нем с трудом. Наш номер — на третьем этаже пятиэтажного дома с винтовой лестницей. Гостиница заполнена до отказа, лифт свободен редко. Акива поднимается шутя, спускается с трудом — кружится голова. Я спускаюсь бегом, поднимаюсь медленно и осторожно. После операции чувствую себя неуверенно. Режим жесткий. Встаем в 7.30 утра. Завтрак для третьего этажа в 8.15. В 9 наш автобус отходит от гостиницы.

Экскурсия в собор Парижской Богоматери. Снаружи все знакомо и как прежде поражает красотой и величием. Внутрь раньше заходи-

ли на несколько минут. На этот раз внутри пробыли долго. Очень хороши витражи и деревянные горельефы — сцены из жизни Иисуса.

Экскурсия к Дворцу инвалидов. Дворец стоит на вершине холма. Немного ниже — большая площадь с домами-утогами. С площади красивый вид вниз — на широкую зеленую улицу и вверх — на дворец. Сбоку видна Эйфелева башня.

Лувр. Плата за наш тур включает стоимость билетов на все экскурсии. Прошли контроль и расстались с группой. Начали с залов римской и итальянской скульптуры, старой итальянской живописи. Очень трудно было смотреть на «Джоконду». Плотная толпа, мелькание света, несмотря на запрещение снимать со вспышкой. Мешает, что слишком близко к «Джоконде» висят другие картины. Обещание повесить Мону Лизу в отдельной комнате, к сожалению, не выполнено. Долго стояли перед другими картинами Леонардо. Много времени провели в залах испанской живописи. Очень понравились два женских портрета Гойи. На одном женщина в черном с розовым бантом на голове. На другом — с веером в сером платье с большим декольте. Обе богатые, обе несчастливые, каждая по-своему.

Разыскали Нику. Увидели ее не с нижней ступени лестницы, как в первый раз, а с балкона. Сразу оказались на одном с ней уровне. Поразили мощь и женственность торса. Тело ее выражает так много, что отсутствие головы не разрушает впечатления. Спустились, стояли рядом. Уйти трудно. Увидела табличку: «Найдена 15 апреля 1863 г. В Лувре с 11 мая 1964 г.» Прочла и испугалась. Лувр без Ники?

Подшли к Венере Милосской. Она не стареет. Около нее мне показалось, что и я не постарела: потрясение такое же, как в первый раз. Но жизнь идет вперед. В первое посещение Лувра рядом с Венерой фотографировались девушки, главным образом некрасивые. Рядом с Никой тогда не фотографировался никто. Сейчас рядом с Венерой и Никой фотографировались девушки, юноши, пожилые мужчины и женщины, в одиночку, по двое, группами. Смотреть на эту непрерывную фотосъемку неприятно.

Три часа в Лувре дались нелегко. Усталые и голодные перекусили там же в кафе, немного отдохнули и пошли домой пешком. Не записала и забыла, по какой улице часа через два дошли до площа-

ди Бастилии. Идти было интересно и приятно. Смотрели на витрины нарядных магазинов, на людей вокруг. Побродили по площади Мэри, посидели в скверике около черной колокольни сгоревшей церкви Сен-Жака.

У самой площади Бастилии зашли в маленький китайский магазинчик и наугад купили какую-то еду. Молодая женщина в белоснежном халате аккуратно уложила все в пластиковые коробочки и дала в подарок пакет китайских чипсов. Ужин оказался очень вкусным.

24 августа. Утром Монмартр. Бродили по улицам. Грустная радость воспоминаний. Перед Сакре-Кёр трогательно радовался своей нехитрой музыке шарманщик. Сфотографировала. Не знаю, получится ли, день был пасмурный. Акива наслаждался кофе в маленьком ресторанчике. Не удержалась, отпила несколько глотков из его чашки. Забытый вкус настоящего ароматного кофе опьянил. Пить кофе боюсь, хотя чувствую себя хорошо. Скачки давления прекратились. Аппарат для измерения давления лежит в сумке без употребления. Смена обстановки помогла? Новое лекарство попало в цель?

В середине дня автобус привез нашу группу к зданию Гранд-опера. Здесь идут сейчас только балеты, но название сохранилось. Удивил мраморно-мрачный амбир наружной отделки театра. Внутри тот же амбир, но блеск золота и красная бархатная обивка кресел смягчают мрачность. Необъятные люстры и канделябры. Позолоченный юноша-ваза. В вазе большой «букет» свечей с лампочками. Часы в рост человека, на них что-то вроде пышно украшенной корзинки. В баре на отдельном столе высится бронзовый рог изобилия величиной с тромбон, из него «высыпаются» пышные бронзовые цветы. В многоярусном зрительном зале удивительный потолок: красивый, воздушный, яркий, как небо. И совершенно нелепый в этом театре. Потолок расписан Шагалом в конце жизни. Мощный всплеск его творческих сил вызывает изумление, но обидно, что «небо» похоронено в Гранд-опера.

Очень интересен подземный этаж. Там находится библиотека, где собраны партитуры всех оперных и балетных спектаклей, поставленных в театре. Идешь мимо стеллажей с тяжелыми палками, читаешь названия старых опер и балетов, смотришь на старомод-

ные портреты композиторов... Осязаемое погружение в историю. Удивительное чувство.

Здесь же в библиотеке видели макет прежнего, до шагаловского потолка со старой росписью. При всех своих недостатках он гораздо больше подходит к зрительному залу и ко всему этому театру, чем творение Шагала.

Удивительно хороши макеты декораций к балетам Русских сезонов. Никогда не видела таких выразительных, интересных и так мастерски сделанных театральных макетов. Очень хотелось не спеша рассмотреть фотографии и зарисовки Нижинского и Карсавиной в «Видении розы», в «Жар птице», портреты других участников дягилевских балетов, но наш гид Лиля считала, что все это мало интересно, и большая часть группы, увы, была с ней согласна.

Пешком дошли до дворца Ришелье. Беда современного Парижа — известняк, из которого построено большинство старых парижских зданий. Известняк — пористый камень, он легко впитывает пыль и быстро темнеет от загрязненного воздуха. Многие здания сейчас чистят, и они, хоть ненадолго, обретают свой прежний мерцающий беловато-серовато-розоватый цвет, прославивший Париж. С дворцом Ришелье поступили решительнее. Его не только почистили, но — одно из чудес нашего века — превратили площадь перед ним в мойщика, сохраняющего дворец чистым.

Для этого под площадью установили систему труб и колонн, по которым течет горячая вода, а асфальтовое покрытие площади заменили решеткой. Ночью сквозь решетку пропускают горячий пар, образующийся в трубах и колоннах, и он смывает со стен дворца грязь, накопившуюся за день. Плоские верхушки колонн выступают над решеткой и служат местами для сидения, когда по вечерам в портике дворца, как на сцене, идут спектакли. Днем решетка с этими «сидениями» используется как оригинальная игровая площадка для детей.

К дворцу Ришелье примыкает Комеди франсез. Здание театра еще не очищено, но все равно красиво. Фасад украшен резьбой и бюстами знаменитых французских писателей. Шли быстро, разглядела только Корнеля, Расина, Мольера и Гюго.

Эйфелева башня. На площади перед башней столпотворение. Вагончики бегут вверх и вниз внутри всех четырех опор башни, но

огромная очередь еле двигается. В таких ситуациях наш гид Лиля — танк. Ждали недолго.

Очень интересно увидеть изнутри, как устроена башня. Изогненное, тщательно рассчитанное переплетение тросов, которое издали кажется кружевным, на расстоянии вытянутой руки поражает мощью, не разрушая впечатления воздушности. Вагончики поднимаются вверх с остановками на всех этажах башни, где есть кафе и магазины сувениров, на верхний балкон попадаешь не сразу. Он находится на высоте птичьего полета над городом. Идеальный выбор. Будь балкон выше, не увидели бы ничего, кроме неясных очертаний. Будь он ниже, детали помешали бы увидеть целое. С верхнего балкона Эйфелевой башни бело-серо-розовый Париж весь как на ладони.

Отчетливо видна Сена с мостами и островами, Триумфальная арка, площадь Этуаль с лучами расходящихся улиц, Нотр Дам, Дворец инвалидов, Сакре-Кёр, Лувр... Стоишь наверху и будто паришь над залитым солнцем городом. Удивительное ощущение.

Катание на прогулочном катере по Сене было отдыхом, но и только. Понравилось смелое название встречного катера: «Титаник». За ним, правда, плыл «Дидро». Но мы уже видели рядом с нашей гостиницей отели «Бастилия» и «Юлий Цезарь», так что не очень удивились.

25 августа. Версаль. Зимой рассказывала о Версале Няме. Приносила из библиотеки альбомы, показывала парки, дворец, внутренние покои. В натуре все оказалось похоже и непохоже.

Старая дорога из Парижа в Версаль упирается в большую площадь. В глубине площади возвышается Королевский дворец, по бокам — флигели, где жили придворные, слуги, охрана. В центре дворца над балконом — многофигурный фронтон с большими часами. Когда умирал король, часы останавливали и стрелки показывали час и минуту кончины монарха. Часть площади, расположенная перед дворцом, называется Мраморный двор, та, что ближе к дороге — Королевский двор. В Королевском дворе стоит большая конная статуя Людовика XIV. Весь ансамбль двора выглядит очень величественно и... запущенно. Краски поблекли, рельефные портреты древних римлян, украшающие стены флигелей, повреждены.

Многие из них утрачены. Реставрация требует огромных средств. Денег, как всегда, нет.

Парки в лучшем состоянии. Зеленые лужайки и тщательно подобранные цветы, обычно самые простые — петунии, ноготки, маргаритки, анютины глазки — образуют нарядные красочные ковры. Но каскады не работают и фонтаны тоже.

Внутренние покои ослепляют роскошью: золото, мрамор, зеркала от пола до потолка, расписные потолки, стены, отделанные малахитом, украшенные барельефами из золота, мрамора, увешенные огромными историческими картинами в массивных рамах, ковры, люстры, канделябры, статуи, кровати с пышными пологам, галерея с бюстами королей, выдающихся деятелей и писателей, королевская часовня с органом, похожая на драгоценную шкатулку — все вокруг кричит о славе и богатстве. По-моему, слишком громко. Слишком навязчиво. Чтобы передохнуть, я смотрела в окна. Любовалась цветами, парком, прудами — гармонией, величием и осмысленностью рукотворного ландшафта, дышавшего покоем, чего так не хватало афиладам парадных комнат дворца.

В версальском дворце разрешается давать объяснения только экскурсоводам Версаля. Гиды, сопровождающие группы, обязаны молчать. Местные профсоюзы строго охраняют право на работу своих членов и сурово наказывают тех, кто пытается с ними конкурировать. На некоторое время это избавило нас от необходимости слушать словоизлияния Лили. С гидом нам не повезло. Безграмотность Лили не уступала ее самоуверенности. Любимая тема: кто с кем спал, кто кому с кем изменял и т.д. и т.п. Значительную часть нашей группы из сорока четырех человек Лили вполне устраивала. Многие старательно записывали ее откровения. Меня она не раздражала, так как я плохо ее слышала. Глухота иногда — благодетель. Но стоило Лиле назвать не того Людовика, не тот век, не ту войну или страну, Акива взвизывался и мне стоило большого труда его успокоить. Так что благодаря профсоюзным строгостям я осматривала версальский дворец, ни о чем не беспокоясь.

Из Версаля нас привезли в Дефанс. Расставшись с XVII веком, мы оказались в XXI. Я была прежде в этом новом районе Парижа. Мне он очень нравится. Я не хотела бы жить среди домов-кубов,

домов-шаров и пирамид, среди эстакад, многоэтажных улиц, лестниц, уходящих в небо. Жить в этом городе будущего я бы не хотела. Но посмотреть на него, походить среди его невиданных конструкций, по-моему, очень интересно.

Времени у нас, к сожалению, было немного, так как мы хотели еще попасть в новый еврейский музей, а музей в Париже закрывается рано. До квартала Маре довольно быстро доехали на метро. Музей на улице Храма искали долго, потому что не знали, что улиц Храма три: Нового храма, Старого храма и просто Храма. В конце концов догадались зайти в еврейскую библиотеку, и милая библиотечка показала нам дорогу. В Маре приятно ходить пешком: машин почти нет, прохожих тоже. На первых этажах старинных домов висят вывески на еврейском языке. Парикмахерские, булочные, мясные лавки, сапожные мастерские, ювелирные магазинчики — в Маре до сих пор ощущается еврейское прошлое этого квартала.

Музей еврейского искусства и истории открылся в Париже зимой 1999 года. Разместился он в одном из особняков XVII века недалеко от Центра Помпиду и музея Пикассо. Значительную часть экспозиции музея занимают документы, предметы культа и образцы прикладного искусства, относящиеся к жизни французского, европейского и сефардского еврейства, начиная со средних веков и кончая нашим временем. Комнаты музея заполняют древние камни с еврейскими письменами XII—XIII в., надгробные плиты, свитки торы, миноры, ханукальные свечи, обручальные кольца. В витринах выставлены халаты восточных евреев, мужская, женская, детская одежда евреев разных стран, фотопортреты евреев. Есть в музее уникальный экспонат: фрагмент настенной росписи сирийской синагоги III в. н. э.

Из-за ремонта в Центре Помпиду художественный отдел музея временно пополнился интересными картинами и скульптурами Дюфи, Мари Лоренсен, Леже, Утрилло, Вламинка, Шагала, Цадкина, Модильяни, Липшица, Сутина, Ханны Орловой, Паскина.

К выходу из музея с третьего этажа на первый ведет деревянная лестница. Она расположена в торце здания. Напротив лестницы застекленный проем окна высотой в три этажа. За окном глухая оштукатуренная стена соседнего дома. На стене таблички: имя, фамилия, год рождения и смерти тех, кто жил в этом доме и погиб во время

войны. Большая часть из них — евреи, депортированные в лагеря. Увидев стену, останавливаясь на верхней площадке лестницы. Постояв, медленно идешь вниз по ступенькам, читаешь новые и новые имена на стене и выходишь из музея, унося с собой лестницу, оштукатуренную стену и таблички с неизвестными именами.

26 августа. Поездка в Реймс. Жители Реймса не оказали сопротивления армии Юлиа Цезаря и были вознаграждены: их поселение при поддержке римлян стало важным торговым центром в галло-римской Шампани. Здесь скрещивались многие дороги, и одну из них, мощенную булыжником, нам показали. На ней сохранилась колея, проложенная колесницами во II в. н. э. Из достопримечательностей этой эпохи уцелела еще римская арка с тремя сводами.

Город приятный: приветливый, чистый и зеленый. Есть старые кварталы, есть современные улицы. На оживленном перекрестке с трамваями и автобусами сохранилось здание старой ратуши. Королевскую площадь украшает памятник Людовику XV с нестандартной надписью: «За мягкость правления лучшему из королей, давшему счастье своим гражданам».

Но главное в городе — собор, знаменитый Реймский собор. Он стоит на небольшой площади и сам он небольшой, его можно охватить взглядом весь целиком. Высокие плакучие ивы и рябины с красными ягодами по сторонам апсиды не закрывают его стен. Стройность Реймского собора, человечность его размеров, кружево украшений — башенок, шпилей, скульптур, витражей — дарят тихую, спокойную и глубокую радость. Мне показалось, что знаменитый улыбающийся ангел над северным порталом потому и улыбается. Ангелов редко изображают улыбающимися, но этот ангел понимает, где стоит. Он знает, что собор излучает свет и надежду, и лицо его озарено улыбкой.

В 1974 году три окна центральной капеллы собора были украшены витражами Шагала с изображением эпизодов из истории библейских царей. Удивительно, как уместны оказались эти витражи в соборе XIII века. По духу, по стилю они неотличимы от остальных. А по красоте, живописности, воздушности превосходят многие из них. Невозможно представить себе, что Шagal создал их за три года до своего девяностолетия.

Гуляли по городу. Заглянули в какой-то двор. Вошли. Оказалось, что это двор местного Музея изящных искусств. Понравилась скульптура: небольшие фигуры идущих мужчин из черного металла. (Бронза?) Все они идут в разные стороны. У них на плечах — другие мужчины. Они тоже идут в разные стороны. Автор Роберто Барни. Беспорядочное движение одиноких мужчин создает ощущение тревоги. Жалко, что не записала, в каком году сделана эта композиция.

На одной из площадей недалеко от собора видели памятник Жанне Д'Арк. Очень маленькая Жанна, почти ребенок, сидит на бронзовом коне. Надпись на постаменте: «Жанне Д'Арк. Реймс. Франция. Памятник воздвигнут на деньги, собранные по национальной подписке, объявленной Академией города Реймса. 1886—1896».

Реймс — главный город Шампани. Возили нас, конечно, в винные погреба, где делают знаменитое французское шампанское. Водили по подземельям, вырубленным в скалах монахами в незапамятные времена. Показали подземный цех, где изготовлению вина помогают современные механизмы. Вторжение техники XX века в древние пещеры производит сильное впечатление. Но когда видишь, сколько кропотливого ручного труда требует шампанское, о технике забываешь. Погреба тянутся на несколько километров. Бутылки выдерживают годами. Они стоят на наклонных стеллажах, где их регулярно вручную поворачивают на определенный градус и делают соответствующую отметку на каждой бутылке. И все это тоже в XX веке.

Мы ездили в Реймс в четверг, в тот единственный день недели, когда музей Орсе открыт до 10 вечера. Несколько человек из нашей группы этим воспользовались. На обратном пути из Реймса автобус остановился около музея, и мы вышли. Орсе необъятен, но в музеях Аквив гид высокого класса. Видели много интересного и, несмотря на усталость, получили большое удовольствие.

Эдуард Мане, Дега, Берта Моризо, Клод Моне, Уистлер, Ренуар... Устали, вышли на балкон передохнуть. Заходящее солнце освещало Сакре-Кёр и улицы Монмартра, Сену с мостами — очень было красиво. Потом были еще Ван Гог, Сезанн, Тулуз-Лотрек...

Домой добирались на метро до Бастилии, оттуда пешком до гостиницы. Вернулись очень усталые и довольные.

27 августа. Замки Луары.

Амбуаз

Замок Франциска I в Амбуазе видели только издали. Но Кло-Люсе, дом, построенный Франциском специально для Леонардо да Винчи, осматривали долго, комнату за комнатой. Леонардо приехал в Кло-Люсе из Рима в 1516 году. На спине мула в кожаных седельных сумках он привез три картины: «Мону Лизу», «Святую Анну» и «Иоанна Крестителя». Через три года здесь, в Кло-Люсе, Леонардо да Винчи умер.

Мы приехали в Амбуаз в ясный летний день. Турень встретила ярким солнцем и голубым небом с легкими белыми облаками. От плоской равнины с полями подсолнуха нельзя было оторвать глаз. Повернутые в одну сторону желтые головки с черными кружками в середине так красивы, что стало понятно, почему Ван Гог с таким увлечением рисовал подсолнухи.

Неширокая деревенская улица с необычным названием «Авеню Леонардо да Винчи» начинается от стоянки туристских автобусов, полого поднимается вверх и упирается в небо. Кло-Люсе стоит в парке и с улицы не виден. Но за воротами парка виден весь сразу. Дом с башенками, балконами, барельефами на стенах и коньками на острокопечной крыше разной высоты и формы построен из розового кирпича и известкового туфа. Он так наряден, что кажется дворцом в миниатюре. В дом встроена часовня. Ее башня — часть фасада дома. Башня украшена статуей Святого Себастьяна, покровителя лучников, и барельефом, на котором два ангела держат герб Франции. Перед домом разбит большой яркий цветник.

Внутри, в комнатах с низкими потолками, сумрачно. Праздник остался на улице, здесь будни. Спальня Леонардо да Винчи. Смотришь на его кровать под тяжелым красным балдахином и пытаешься представить себе, как три года каждый вечер Леонардо да Винчи раздевался в этой комнате, ложился спать на эту кровать и однажды на этой кровати умер. Прошло больше четырехсот лет, а несколько дней назад в толпе других людей мы пытались еще раз взглянуть на Джоконду, долго стояли перед «Марией и Анной», «Иоанном Крестителем», «Богоматерью в скалах». В Кло-Люсе связь времен кажется нерасторжимой.

После смерти Леонардо да Винчи многие комнаты в доме изме-

нили свое назначение. Кроме спальни в прежнем виде сохранились кабинет, где он работал над чертежами инженерных сооружений и архитектурными проектами для Франциска I, комната для приема гостей и кухня. В кухне стоит узкая кровать слуги Леонардо, сохранился камин. Холодными зимними вечерами Леонардо любил сидеть перед этим большим кухонным камином.

В подвальном этаже выставлены модели военных машин, сделанные по чертежам Леонардо с помощью компьютера: парашют, профиль крыла летательной машины, «танко», катапульта и другие. Дверь в глубине подвала ведет в подземный переход к замку. Если верить преданиям, этим переходом пользовался Франциск I, когда приходил по вечерам беседовать с Леонардо.

На стенах в доме Леонардо висят пожелтевшие листы бумаги с его изречениями: «Что остановит ненависть? Только любовь». «Тот, кто победит в битве тысячу человек, одержит меньшую победу, чем тот, кто победит самого себя». «Наполненный день дает спокойный сон. Наполненная жизнь — спокойную смерть». Простодушие этих высказываний гармонирует с духом и обстановкой дома и что-то прибавляет к образу Леонардо.

Замок Шенонсо

Шенонсо — сказка на воде. Широкая спокойная Луара с островами, высокие деревья по берегам реки. Удивительно ласковая мирная картина. Средняя часть Шенонсо, построенная в XVI веке на основаниях старой мельницы, соединила два старых замка на разных берегах Луары. Смотришь из окон Шенонсо на Луару, на деревья по берегам, на парки с цветниками, окружающие замок, — райские куши. Внутреннее убранство покоев очень богато и красиво. Картины, gobелены, резная мебель, камин, потолки с выступающими балками, дубовые двери — все красиво. Даже портрет Людовика XIV в огромной выпуклой раме, сделанной из четырех цельных кусков дерева.

История замка не так безмятежна, как окружающая его природа. Замок видел многих владельцев. Франциска I, Генриха II. Генрих подарил Шенонсо своей фаворитке Диане де Пуатье, после нее здесь жила вдова Генриха II Екатерина Медичи. Во время Первой миро-

вой войны владелец Шенонсо оборудовал в замке госпиталь. Вторая мировая война упрочила славу замка. Вход в Шенонсо находился в оккупированной зоне, южные двери галереи вели в свободную зону. Многим это спасло жизнь.

К замку Шамбор ехали низким берегом Луары. На полдороге на другом берегу показались дома — город Блуа. Сколько раз натыкалась на это географическое название и вдруг увидела, что оно означает. Солнце, как по заказу, выглянуло из облаков и осветило широкий склон холма с ярусами белых домов, замок с башнями, соборы, старый мост через Луару. Водитель снизил скорость почти до нуля, Блуа был долго виден из окон автобуса.

Замок Шамбор

Шамбор — самый большой, самый величественный и самый оригинальный из замков Луары. В нем 440 комнат, длина его фасада 128 метров, как указано в путеводителе. Цифры мало что мне говорят, а замок интересный.

Считается, что проект этого необычного сооружения принадлежит Леонардо да Винчи. Основание центральной части замка, так называемой крепости, в плане представляет собой греческий крест, вокруг которого сгруппированы в определенном порядке окружающие крест аппартаменты. Так устроены все три этажа крепости. Главное украшение этой части замка — знаменитая мраморная лестница, построенная в виде двойной спирали. Она позволяет подняться с первого этажа на третий и выйти на крышу. Этажи высокие, подняться нелегко, но лестница, действительно, очень красива. Ее справедливо считают одним из лучших образцов архитектуры французского Ренессанса.

Франциск I начал строительство замка в 1519 году. Позднее по его повелению к зданию крепости были пристроены крылья с круглыми башнями и начато возведение фантастического города на крыше. Многие исследователи считают, что этот город тоже был спланирован Леонардо да Винчи.

В середине крыши стоит высокая нарядная башня-фонарь. Она будто продолжает мраморную спираль центральной лестницы замка. Вокруг нее теснятся резные каминные трубы, башни и башенки

со слуховыми окнами, балконами, скульптурными украшениями. Таинственные своды, переходы, глубокие ниши — все вместе это, действительно, город из сказки. Вид сверху на зеленые газоны и желтые дорожки, на поля, луга и леса до горизонта тоже уносит в страну счастливых детских сказок. Очень не хотелось возвращаться из этой страны.

28 августа. Последнее утро во Франции.

Вещи сложила вечером. Группа сборная. Разъезд в разное время. За шесть дней в Париже увидели очень много. Без группы, без автобуса это немыслимо, хотя гид Лиля и группа все-таки угнетали.

В такси по дороге к Северному вокзалу почувствовали освобождение. На вокзале я справилась, очень меня выручает французский. Узнала, к какой платформе подойдет поезд на Брюссель, где надо заранее предъявить наши билеты и доплатить за проезд по Бельгии. Не могу сказать, что все это далось без труда, но все-таки справилась.

Сидим в поезде, в пустом вагоне. Акива спокойно читает. Я пока не могу. Страшновато, что одни, без подпорок. Успех на вокзале подбодрил. Может быть, и дальше справимся. Смотреть в окно приятно, хотя замки и Луара все еще заслоняют зеленые и желтые поля за окном. 12 часов дня. Подъезжаем к Брюсселю.

28 августа. Брюссель. Только в поезде внимательно посмотрели, в каких гостиницах забронировал нам места Игорь, жуликоватый агент, с которым мы случайно связались. Прочли распечатку брони и остолбенели. В Брюсселе — в «Хилтоне», в одном из очень дорогих отелей. Сокрушаться об этом в Брюсселе было поздно, но и в Бостоне ничего бы не смогли сделать — Игорь прислал все бумаги за день до отъезда.

В «Хилтон» приехали на такси. Вошла в холл... Удивительно, как можно устроить такой бестолковый неудобный холл при таком обилии мрамора и швейцаров в ливреях. Регистрация. Нам нужно переночевать одну ночь. Это стоит 300 долларов. Хорошо, что у меня была с собой банковская карточка. Не знаю, где бы мы иначе ночевали. Сентябрь — все еще разгар сезона.

Номер на семнадцатом этаже размером с хороший физкультурный зал. Стиль тот же, что в холле. Чемоданы деть некуда. Перед

окном спинками к свету — строй огромных кресел. Письменный стол — в темноте у самой двери. Гостиная загромождена сборищем уродов: пуфиками, столиками, буфетами. В огромной ванной комнате нет ни одного крючка. Полотенца лежат на полочке, для меня недостижимой. Повесить одежду не на что. Предполагается, видимо, что в ванную входят голыми и в таком же виде выходят.

Расстроенные и взвинченные бросили вещи и вышли на улицу. Знали, что Музей изобразительных искусств закрывается в пять часов вечера и очень торопились. Музей нашли легко. В музее были недолго, записывала мало. Видели Ван дер Вейдена, Мемлинга, Босха, Кранаха, Брейгеля. Прекрасные картины обрадовали и успокоили.

Гуляли по городу. Дошли до старого королевского дворца, но из-за ремонта не удалось увидеть даже его фасад. Кафедральный собор величественно стоит на высоком холме. Снаружи он богато украшен, внутри очень скуп: голые беленые стены, в нишах огромные статуи, в алтаре триптих «Распятие Христа». Играл орган, туристов было примерно столько же, сколько молящихся.

Очень красива суровая мрачная площадь Ратуши, или Большая площадь, как ее здесь называют. Она окружена домами XVII века, почерневшими от времени. Тонкая резьба по камню, интересные скульптуры, каждый дом — произведение искусства. Большая площадь — центр старого города. Вокруг нее лабиринт тесных живописных улочек. Дома низкие и узкие, в два-три окна на фасаде, и ни один не похож на другой. Настоящий музей старинного градостроительства.

Ели в уличном кафе. В меню вместо названий блюд помещены фотографии больших тарелок с мясом (самым разнообразным), овощами (пяти-шести сортов), брынзой, маслинами, жареным картофелем во всевозможных комбинациях. Цены доступные, наглядность очень упрощает выбор, еда вкусная, кафе полно. Сидеть на улице и смотреть по сторонам интересно.

К отелю шли все время вверх. Несмотря на длинный подъем и плотную еду, одной таблетки нитроглицерина вполне хватило. Шла с удовольствием. «Хилтон» все время маячил перед глазами, что очень помогало ориентироваться.

Пересекли уютную площадь Большой Саблон. Она вымощена булыжником, окружена старинными домами и вопреки названию

небольшая. Что значит ее название, не смогла узнать. На склоне очередного холма зашли в нарядный сквер Эгмонта с памятниками, красивыми цветами и высокими деревьями. К отелю вышли с задней стороны и увидели странный сад. Ярко-зеленая трава на склоне невысокого холма. Широкие ступени из черного мрамора. По обеим сторонам от ступеней высокие мраморные плиты с надписями по-фламандски. В одном месте разобрала подпись Маргерит Юрсенар. Мне показалось, что это какой-то мемориал.

В отель вернулись довольные: прожили в Брюсселе длинный интересный день. Но вечер тоже оказался интересным. В номере не сразу нашли, где зажигается свет, и, стоя у окна, смотрели на город с высоты семнадцатого этажа. Внизу перед нами лежал широкий проспект Ватерлоо. Он был ярко украшен неоновыми рекламными и красными огоньками потока машин. За проспектом провал — темные жилые кварталы. Вдали поднимался в небо подсвеченный голубоватый шпиль старой ратуши. Слева от него висел огромный шар полной луны. Она отливала золотом и казалось, что это не луна, а потускневшее в темноте солнце. От этого зрелища трудно было оторваться.

Оторвались все-таки. Я ушла принимать душ первая. Название и цена отеля обязывают: в большой уютной комнате ванна стоит в одном углу, душевая кабинка — в другом. Ванна меня не прельстила. Задвигая дверцу душевой, я заметила, что осталась довольно большая щель, но с помощью ручного шланга благополучно вымылась и блаженно легла в постель. Акива залез в ванну, не справился с многочисленными кранами и тоже встал под душ. Вернувшись, сказал, что дверца душевой кабинки закрывается плохо и вода налилась на пол. Мне очень не хотелось вставать, и я решила, что завтра утром в «Хилтоне» с этой бедой как-нибудь справятся. Только задремала, громкий стук в дверь. Несколько человек за дверью настойчиво просят разрешения войти. Чертыхаясь, разрешила.

Один из вошедших объяснил, что под нашим номером начался потоп. На сколько этажейхватило воды, пролитой Акивой на мраморный пол, я не выяснила. Ни мотом, ни как-нибудь иначе никто не ругался. В ванной все быстро привели в порядок, и слесаря вместе с горничной, извинившись за беспокойство, удалились. Да здравствует «Хилтон»! Тем более, что строительная компания, воздвиг-

нувшая это чудо современного дискомфорта, наверное, неплохо на нем заработала.

Утром на такси доехали до вокзала и через два часа были в Брюгге.

29 августа. Брюгге. Уютная гостиница «Азалия» в старинном доме. Из окна номера на третьем этаже видны красные черепичные крыши. На первом этаже окна небольшого зала с камином, где утром можно позавтракать, выходят на канал. Кусты на берегу канала стучатся в стекло.

Воскресенье. На улицах много людей, особенно на площади Ратуши. Она совсем не похожа на ратушную площадь в Брюсселе. Дома на брюссельской площади погружены в мрачные раздумья. Они видели столько зла на своем веку, что не ждут уже ничего хорошего. В Брюгге дома вокруг площади рады людям. Они улыбаются, смеются, только что не машут ставнями. Их светлые фасады и стены так щедро украшены резьбой по камню, статуями и статуэтками, башенками и балкончиками, что кажется, на площади всегда праздник. Не знаю, как в другие дни, но в последнее воскресенье августа здесь действительно праздник — Праздник урожая.

В центре площади устроена огромная клумба с затейливым узором из картошки, свеклы, брюквы, моркови, огурцов и помидоров. Рядом клумбы поменьше из яблок, груш и клубники. В углу площади двое рослых мужчин, сбросив рубашки, с азартом молотят цепами хлеб. Молодые парни подносят снопы. Зерно убирают в мешки и грузят на телегу, запряженную двумя толстозадими лошадьми.

На этот праздник приходят семьями. Дети, молодые и совсем старые люди — все радуются солнечному дню и праздничной суматохе. Кафе, лотки, киоски бойко торгуют вкусной снечью. Праздничные лица, праздничная площадь, праздничные улицы.

Брюгге — удивительный город маленьких разноцветных домов с островерхими крышами. Перед нами по улице идут парень и девушка, через каждые два шага они останавливаются и целуются. Глядя на них, я вспомнила песню времен далекой юности, чуть изменила ее и запела:

Хорошо сегодня, братцы,
В граде Брюгге целоваться.
Милый друг, друг-другок,
Замечательный денек.

Очарование Брюгге в его цельности. Каким-то чудом весь этот город сохранил свой средневековый облик. Современных домов в городе нет. Автомобили, конечно, есть, но их немного. Зато много холеных лошадей, запряженных в нарядные коляски. Под хвостами у лошадей висят мешки, мостовые чистые. Пустых колясок не видно. Желающих покататься так много, что приходится даже стоять в очереди.

На широкой улице на берегу канала необычный рынок: распродажа старой утвари. На столах стоят угольные утюги, медные кастрюли — огромные и совсем маленькие, — чайники, тазы, керосиновые лампы. Горками лежат медные ручки, занятые вешалки (подкова с лошадиными мордами стянута внизу планкой с крючками), наличники для замочных скважин, ключи.

Нашли, наконец, Музей старых мастеров и с наслаждением провели в нем несколько часов. Сколько великолепных картин: Ван Эйк, Ван дер Бильден, Боутс, Мемлинг, Босх...

Долго искали дорогу домой. Был уже вечер, город обезлюдел. На пустой улице остановила двух велосипедистов, спросила, где гостиница «Азалия». В ответ услышала громкий смех. Гостиница была в двух шагах от нас, мы умудрились пройти мимо нее и не заметить.

30 августа. Утром по дороге на Ратушную площадь тщательно записывала, по каким улицам идем и где, куда поворачиваем. В конце одной из улиц увидели какое-то странное сооружение и решили взглянуть, что там такое. Наше любопытство было наказано. Просторная площадь. В середине огромный фонтан. Множество фигур из черного мрамора. Голые женщины, парни на велосипедах, воины в касках. Струи воды бьют из разверстых пастей каких-то животных, из груди уродливой русалки. Все это безобразие воздвигнуто в память погибших во время Второй мировой войны. Как такое возможно, трудно понять.

Утешил другой фонтан тоже из черного мрамора. Случайно наткнулись на него вечером, когда возвращались домой. Основание фонтана — высокая мраморная тумба. На ней небольшой старинный колодец с головой барана. У барана симпатичная морда, закрученные рога, из открытого рта льется вода. Рядом с колодцем стоит лошадь. Она пьет, вытянув шею к плоской чаше под мордой барана. Чаша переполнена, струя воды бежит по узкому желобу вокруг тум-

бы. Выше бараньей головы тумба становится стволом дерева с несколькими толстыми расходящимися ветвями. У дерева замерли в нежном поцелуе влюбленные. Нежностью веет от всего этого фонтана: от плавного изгиба лошадиной шеи, тонкого желоба вокруг тумбы, трогательной позы влюбленных.

Тридцатое — день фонтанов и воды, но, конечно, не без музеев. Музей экспрессионизма и сюрреализма. За редким исключением ничто меня здесь не тронуло.

Магрит. Огромное грязного цвета полотно. Внизу два рваных черных башмака, из них торчат натуральные пальцы с грязными ногтями. Хочется зажмуриться и забыть про них. Около «Башмаков» Ван Гога в Бостонском музее можно стоять час.

Последний зал лучше остальных. В картинах Ван Донгена, Марке, Дюффи, Кандинского есть и поэзия и красота.

Зашли в кафедральный собор. Величественный протестантский храм, высокий, просторный и холодный. Единственное украшение — несколько скульптур. Вместо алтаря орган. На органе распятие: крест до потолка, на нем распятый Иисус.

Брюгге изрезан каналами. Не покатайся на катере невозможно. По дороге к пристани увидели необычную картину. В узком проеме входной двери за небольшим столиком сидела лицом к улице пожилая женщина в старинном платье, в кружевной наклочке на волосах. Ловко перебирая коклюшки, она плела кружева. На мой вопрос, можно ли ее сфотографировать, приветливо кивнула, не прекращая работы. Через квартал от нее увидели еще одну женщину за той же работой. На сей раз это была молодая негритянка в джинсовой юбке и майке.

Около часа плавали по каналам среди узких улиц с разноцветными островерхими домами, низкими арками мостов, склоненными над водой деревьями — чистая святая радость.

Пока сидели на пристани в ожидании катера, Акива прочел в путеводителе, что в кафедральном соборе есть, оказывается, небольшой музей, где выставлена «Мария с младенцем» Микеланджело. После прогулки на катере вернулись в собор. Музей оказался интересным. С любопытством разглядывали саркофаги Марии Бургундской и ее отца Карла Смелого. Так как я ничего про них не знала, Акива тут же прочел мне лекцию по истории, и я наконец поняла,

каким образом Нидерланды оказались под властью Испании. Виновата в этой трагедии, оказывается, Мария Бургундская. Когда ее потомки завладели испанским тронem, Нидерланды, принадлежавшие бургундским герцогам, тоже стали владениями Испании. В дальнейших взаимоотношениях Франции, Испании и Нидерландов я разобралась, так как рассказывала об этом Няме. Но меня все время тревожило, что завязку драмы я пропустила. Век живи, век учись, результат известен.

Саркофаги, конечно, не самое интересное в музее, где есть скульптура Микеланджело. «Мария с младенцем» (1504—1505 г.) — одна из немногих работ Микеланджело, оказавшихся за пределами Италии. Она предназначалась для алтаря кафедрального собора небольшого итальянского города, но была куплена богатой семьей из Брюгге. И вот стоит теперь здесь в музее.

Скульптура, высеченная из белого каррарского мрамора, — воплощенная печаль. Печалью дышит не только юное лицо Марии, но и ее поза, складки ее одежды. У ног матери стоит нежный ласковый мальчик с печальными глазами. Левая рука Марии еще держит ручонку сына, правая уже бессильно лежит на коленях. Спасибо Акиве, жалко было бы не увидеть Микеланджело.

По дороге домой зашли в магазин кружевных изделий. Мне хотелось купить несколько салфеточек в подарок детям и друзьям. Что-то спросила у молодой женщины за прилавком. Разговорились, подошла еще одна продавщица, постарше. Удовлетворив их любопытство — кто, откуда, где учила французский, — я спросила, нравится ли им жить в Брюгге. Обе радостно заулыбались. Да, очень нравится. Жить в Брюгге удобно и приятно, не то что в большом городе. Туристы приезжают круглый год, кружева охотно покупают, зарабатывают в магазине хорошо, и работать интересно: покупатели — люди со всего света, можно поговорить, узнать что-то новое. Задавая вопрос, я не ожидала услышать такой радостный ответ. Приятная неожиданность.

31 августа. Поездка в Гент. От Брюгге до Гента полчаса езды на поезде. Гент гораздо больше Брюгге. До центра города ехали на трамвае. Центр Гента старый и красивый. Но соборы, мосты и дома здесь суровее и величественнее, в них нет трогательной приветливости улиц Брюгге.

Мы приехали в Гент ради знаменитого «Гентского алтаря», как называют полиптих Ван Эйка, находящийся в одной из боковых капелл собора св. Бавона. При входе в капеллу бесплатно раздают магнитофоны с записанными на разных языках объяснениями и комментариями. Можно сидеть на расставленных перед алтарем стульях, включив или выключив наушники, можно стоять или ходить. Нельзя одного — оторваться от того, что видишь. Алтарь так велик, что некоторые створки не удалось развернуть. Чтобы их увидеть, надо зайти за алтарь. Здесь кроме изображений святых есть еще фигуры мужа и жены, дарителей денег на этот алтарь, и от них тоже трудно отойти, хотя створки позади алтаря плохо освещены.

Мы сидели, стояли, ходили перед алтарем и позади него. Смотрели на «Заклание агнца», праздничную многофигурную сцену на фоне зеленого пейзажа, на «Благовещение» в комнате с таинственным голубоватым видом города за окном, на поющих ангелов, на ангелов, играющих на музыкальных инструментах. Исчезло утро в Брюгге, поезд, Гент. Осталось великое творение художника, созданное пять веков назад. Остались изумление и радость. И неразгаданная тайна: в чем колдовство этих средневековых картин, не утратившее силы и в наш прагматический век?

Мы провели у «Гентского алтаря» около двух часов. Но и на улице он долго не отпускал нас. Трудно было перестроиться, переключиться, хотя в старом Генте есть на что посмотреть.

С моста Св. Михаила открывается очень красивый вид на Шельду, на шпили соборов, на старинный замок и нарядные дома вдоль реки. До замка, построенного на острове, шли пешком по набережной. Солнце ярко освещало разноцветные дома на другом берегу реки, идти было легко и приятно.

В замке сейчас музей. В проспекте написано, что внутри можно увидеть жилые покои и комнату пыток с гильотиной, которая особенно нравится детям. Ввиду явно недетского возраста ограничились осмотром снаружи. Такого грозного замка с толстыми стенами, башнями, галереями, крытыми переходами, смотровыми вышками и пушками на открытых площадках я никогда вблизи не видела. Впечатляющее сооружение. А вокруг все очень мирно: на улицах много туристов, на зеленых берегах реки лежат, прижавшись друг к другу,

нежные парочки. Побродив еще немного по Генту, перешли в маленьком кафе за чашкой хорошего кофе с вкусным яблочным пирогом, добрались на трамвае до вокзала и уехали в Брюгге.

В гостиницу вернулись усталые и довольные. Я села на кровать и открыла сумочку. Хотелось пересмотреть купленные в Генте открытки. Открытки оказались на месте, но своего паспорта я не увидела. Вытряхнула все, что было в сумочке, на кровать. Паспорта нет. Акива вынул книгу и газету из портфеля, с которым ездил. Оба вывернули карманы. Паспорта нет. Я предъявляла паспорт в Генте, когда получала деньги в банке. Выронила? Забыла взять назад? Названия и адреса банка не помню. Девять часов вечера. Ехать завтра в Гент? Ни в Брюгге, ни в Генте американского консульства нет. В Брюсселе, наверное, есть. Ехать в Брюссель? Сердце стучит, голова налилась свинцом, руки дрожат. Акива ходит из угла в угол и твердит: «Ерунда какая-то... Как он мог потеряться? Чудес-то не бывает...»

Мне надо лечь, иначе... Про иначе думать нельзя. Надо лечь. На чужих ногах подхожу к изголовью кровати. У изголовья стоит тумбочка. На тумбочке лежит мой паспорт. Я вынула его, когда вернулась в гостиницу. Хотела положить на место, что-то отвлекло, не положила и забыла. Новая жизнь. Как к ней приспособиться, не знаю.

На следующее утро сложила вещи. Накануне вечером не смогла, хотя поиски паспорта сняли усталость как рукой. Перед отъездом присели. Я посмотрела на платяной шкаф и подумала, что открыла только правую створку, когда складывала чемоданы. Твердо помнила, что левой половиной шкафа не пользовалась. На всякий случай открыла. В шкафу на полках лежали все наши теплые вещи. Как жить без головы?

1 сентября. Антверпен.

В зале ожидания писала, Акива читал газету. Чуть не пропустил поезд в Антверпен. На платформе молодая девушка услышала, что мы говорим по-русски, подошла, поздоровалась. Джиным, май-ка, на спине рюкзак, во рту папироса — все, как предполагается. Расказала, что родители русские, жили на Украине, эмигрировали. Она родилась в США, но по-русски говорит хорошо. Учится, летом путешествует с друзьями — иногда поездом, иногда автостопом или

как придется. В это лето едет из Бельгии в Голландию, потом в Швейцарию, Италию и Испанию. Рассказывала о предстоящем путешествии, как о чем-то вполне обычном. Попрощались тепло.

Пишу в поезде. В «Азалии» нас провожали очень сердечно. Такси пришло мгновенно. За рулем огромной машины сидела немолодая женщина, но с нашими чемоданами она управилась легко и быстро. Едва сели в поезд, кто-то из пассажиров показал, куда убрать чемоданы, не поднимая их на верхнюю полку. Непривычная жизнь в мире доброжелательности. Прошел приветливый контролер. Словосочетание «приветливый контролер» до сих пор кажется странным, но контролер, действительно, был приветлив.

На вокзале, как вчера, купили «International Herald Tribune». На первой странице крупный заголовок: «Взрыв бомбы в Москве недалеко от Кремля». Онемение. Страшно.

В Генте рядом сел какой-то мужчина. Увидел, что Акива читает по-русски «Я — Клавдий» Грейвза, и что-то спросил. Сосед оказался поляком. Во время войны вместе с женой бежал из Польши. Попал сначала в Финляндию, в конце концов оказался в Бельгии. Жизнью в этой стране очень доволен. Еще одна любопытная дорожная встреча.

В Антверпене сдали вещи в камеру хранения и пошли в город. Одна из главных улиц Антверпена начинается прямо у вокзала. Сначала она похожа на огромный вытянутый в длину ресторан, разделенный в середине коридором, по которому движется плотная толпа людей. Кухни этого ресторана представляют, наверное, все страны мира. Воздух насыщен неизвестными пряными ароматами, запахами жареного мяса, крепкого кофе. Идти нелегко. Ресторан, в конце концов, кончается, и улица принимает более нормальный вид. Величественные дома в своеобразном стиле — смесь ампира с барокко, — роскошные магазины с зеркальными витринами — Антверпен красивый европейский город. После Брюгге и Гента он слегка ошеломляет: глаза не сразу привыкают к масштабам, уши — к городскому шуму. Но идти по незнакомому городу, смотреть по сторонам, чувствовать, что плывешь в потоке новой жизни — не знаю, с чем сравнить эту радость. Ощущение свободы приподнимает, разнообразие впечатлений тоже. Прошлое исчезает, жизнь кажется бесконечной.

Вышли на небольшую ратушную площадь Антверпена, обрамленную красивыми старыми домами. Массивные четырех-пятитажные здания внушают почтение. Торжественный вид площади нарушают только безобразный памятник в центре и кафе с выставленными на улице столиками. Кафе, бары (есть даже старинный ирландский бар) — это понятно, но памятник! Груда позеленевших камней, на ней какие-то фигуры... Понять, что все это значит, так и не удалось.

Подшли к очень высокому собору со шпилем в небе. Снаружи он красив, внутри голый, ничем не примечательный. Перед дверями собора три музыканта исполняли классическую музыку. Руководил скрипач, высокий пожилой мужчина с волосами до плеч и загорелым лицом с резкими грубыми чертами. На нем была черная рубашка, черные брюки и сапоги. Облик его плохо вязался со скрипкой, но музыканты играли хорошо и место для классической музыки было выбрано удачно.

Вышли к Шельде. Широкая, спокойная река, коричневая, но очень чистая вода. На набережной воздвигнут памятник солдатам и морякам, сражавшимся на Шельде в 1944 году. У подножия памятника лежат свежие цветы. Рядом пришвартовано несколько судов, участвовавших в битвах на Шельде. В Антверпене, как всюду в Европе, чтут прошлое. На стенах соборов висят мраморные доски с именами погибших в Первую и Вторую мировые войны. Памятные доски — часть городского пейзажа.

Обедали на ратушной площади. Антверпен славится ракушками, похожими на наши черноморские мидии. Мы тоже отдали им дань. Я никогда прежде не видела, как их едят. Ракушки, оказываясь, подают на стол в больших черных кастрюлях. Крышку с кастрюли снимает официант. Если сделать это неумело, можно ошпариться паром. Официант переворачивает крышку и кладет ее на стол рядом с кастрюлей. Крышка служит тарелкой, куда бросают створки ракушек, когда съедают их содержимое — нежный розоватый комочек моллюска очень приятный на вкус.

В ресторанчике, где мы сидели, на стол подавал весьма пожилой галантный и дружелюбный официант с лицом артиста на первые роли. Он и был артистом, настоящим мастером своего дела. Приятно было смотреть, как он двигается, управляется с кастрюлями, с

посудой, разговаривает с посетителями. Удивительно красивое и вкусное кофе-капучино он мне принес. Сверху в чашке плавала роза из сливок, на тарелочке лежал кусок торта, украшенный ягодами и дольками яблока, из крошечной кастрюльки поднимался легкий пар от горячего топленого молока. Да, не даром столько людей сидит в кафе и ресторанах в славном городе Антверпене. Не знаю, как остальные виды искусства, но кулинария здесь на высоте.

На обратном пути снова постояли перед трио у собора, с удовольствием послушали, как они играют, оставили деньги. Толпа на главной улице Антверпена очень живописна: много темнокожих и желтокожих всех оттенков, мусульман в характерной одежде — мужчины в черном, женщины закутаны с ног до головы. Видели двух русских музыкантов, один играл на баяне, другой на балалайке. Красивый, спокойный, интересный, разнообразный день. Пишу на платформе. Через десять минут едем в Амстердам.

3 сентября. Амстердам. В Амстердаме, вернее в Димене, одном из пригородов Амстердама, мы жили у наших старых московских друзей: грузина Кахи, бывшего аспиранта Акивы, и его жены Светы, наполовину украинки, наполовину голландки. Мать Светы девочкой была угнана на работу в Германию, в конце войны попала в концлагерь и познакомилась там со своим будущим мужем голландцем. А Каха познакомился со Светой, приехав туристом в Голландию, где Света опекала его группу в качестве гида и переводчика. Семейная история вполне в духе XX века.

Второго сентября мы отдыхали. Оба очень устали за время нашего интересного путешествия. Сидели на террасе Кахиного дома, гуляли вдоль канала. Днем я спала, Акива сидел в саду и читал Владимира Соловьева. Перед общим вечерним обедом зашли в супермаркет. Утром я была там со Светой и отдала в ремонт одну Акивину туфлю. Сапожник, молодой черный парень, без затруднений говорил по-голландски. Света сказала, что он родился в Амстердаме и принадлежит уже ко второму поколению эмигрантов.

Починенную туфлю мы благополучно получили, купили абрикосовый торт к чаю и вернулись. Свету застали на крыльце дома. Она читала и нежилась на солнце. В Голландии это редкое удовольствие в сентябре. Разговаривали сначала втроем. Потом вернулся с

работы Каха. Мужчины принялись обсуждать мировые проблемы, а мы со Светой ушли на кухню готовить обед. Вспоминали прошлое, но не только. Говорили о литературе, художественных выставках, концертах. И, конечно, о детях.

Старшему сыну Светы и Кахи 17 лет. Он последний год в школе, учится очень хорошо. В каникулы зарабатывал деньги: работал вечерами в какой-то фирме. Младшему 14 лет. Оба помогают родителям: моют окна, убирают дом пылесосом, делают мелкий ремонт. Но за работу в доме Света им платит. Правильно это? Не знаю. С тех пор как Няма начала работать безиситером (школа требует, чтобы дети какое-то время работали), она стала относиться к деньгам серьезно и бережно. В ее домашние обязанности входит стирка белья (с помощью стиральной и сушильной машины, конечно). Юля ей денег за это не платит, но при своих довольно ограниченных возможностях старается покупать Няме одежду и обувь в соответствии с молодежной модой. Нямина подруга одолжила деньги у родителей и купила дорогие горнолыжные ботинки. Она тоже работает безиситером и понемногу возвращает деньги, хотя родители получают довольно высокую зарплату. Нужно это? Не знаю.

Дети Светы и Кахи производят очень приятное впечатление: воспитанные, спокойные, с живыми глазами. Но в Лувр, когда были в Париже, и в галерею Уффици во Флоренции пошли после долгих уговоров. В обоих музеях не захотели стоять в очереди и так никуда и не попали. Света преподает голландский язык эмигрантам. Она выбрала эту работу, чтобы побольше времени проводить с детьми. В доме много книг по искусству, художественной литературе, в Амстердаме прекрасные музеи. Но ни книги, ни музеи детей не интересуют. Их бог — компьютер. Света говорила об этом с тревогой. Я слушала ее с тревогой. Меня тоже пугает компьютеризация всего и всех. Преимущества новой цивилизации очевидны. А потери? И последствия этих потерь?

4 сентября. Музей Ван Гога.

Музей замечательный: автопортреты, портреты, ранние картины, парижский период, Арль, Сан-Реми — провели с Ван Гогом около трех часов. Вышли в изнеможении, переполненные впечатлениями. А на улицах Амстердама парад цветов.

Медленно движутся машины, украшенные цветами одна изобретательнее другой. Дети и подростки делают на ходу гимнастические упражнения, цирковые трюки на велосипедах, гарцуют на лошадях. Зрелище эффектное, тротуары запружены людьми. Участники парада обходят зрителей с кружками — собирают деньги для поддержки научных учреждений, занимающихся онкологическими исследованиями.

По случаю парада трамваи не ходили. Не без труда дошли пешком от музея до площади Ватерлоо, где в Амстердаме находится огромный блошинный рынок. Как все меняется. Девять лет назад, в первый приезд в Амстердам, я дошла пешком от вокзала до площади Ватерлоо без малейшего напряжения и на рынке, как ребенок, прежде всего купила невероятной красоты мороженое в красивой вазочке с красивой ложечкой. Съела мороженое, ложечку украдкой спрятала в сумочку, вазочку спрятать не решилась, а потом увидела, что ложки и пластмассовые вазочки все бросают в урны. Рынок показался мне тогда ослепительным. До сих пор ношу летнее платье, купленное за гроши в тот приезд. Акивины парадные летние брюки тоже были приобретены здесь и до сих пор остаются парадными. Сейчас лотки и навесы с кучей наваленных и кое-как развешенных вещей показались такими убогими, что смотреть не хотелось.

5 сентября. Музей Рембрандта.

Приехали поздно. Подошли прежде всего к «Ночному дозору». Потрясение. Картина хорошо знакома и все равно — потрясение. В этом же зале на двух других стенах висят огромные групповые портреты, выполненные по канонам того времени: один, два, три ряда тщательно выписанных фигур, застывших в напряженных позах. Контраст поражает. Общеизвестная история «Ночного дозора» тоже поражает. В 1642 году перед приездом Марии Медичи гильдия стрелков заказала Рембрандту групповой портрет своих членов. «Ночной дозор» стрелкам не понравился. Не записала и не помню, кто стал его владельцем, отрезавшим части картины, не уместившейся на стене, которую он ей предназначил. В музее висит копия первоначального варианта «Дозора», сделанная учеником Рембрандта. На ней показано, какие части картины были отрезаны. Никогда прежде их не видела.

Пока мы сидели и ходили перед «Ночным дозором», к картине

подошла группа русских туристов с очень хорошим русским экскурсоводом. Он, видимо, уже давно приехал в Голландию, и его русский звучал иногда, как перевод с иностранного. Но слушать было интересно, и некоторое время мы ходили по музею вместе с ним. Это он привел свою группу, а заодно и нас, к копии «Ночного дозора» с отмеченными обрезанными частями и показал, что потеряла картина от этой экзекуции.

Очень хорошо он говорил о Вермейере и хорошо его показывал. У картины «Девушка с письмом» сказал, что всегда читает здесь «Письмо в семнадцатый век» Галича.

Уж так ли безумно намеренье —
Увидеться в жизни земной?!
Читает красotka с картины Вермейера
Письмо, что написано мной.
Она — словно сыграна скрипкою —
Прелестна, нежна и тонка,
Следит с удивленной улыбкою,
Как в рифму впадает строка.
А впрочем, мучение адово
Читать эти строчки вразброд!
Как долго из века двадцатого
В семнадцатый — почта идет!

От музея до вокзала шли пешком. Радостная прогулка: солнечная, праздничная. Красивые узкие улицы с каналами. Красивые узкие невысокие дома. Каждый со своим лицом. Спокойные, приветливые люди. Спросили у встречного мужчины дорогу. Оказалось, что он бывший москвич. Многие кафе выставили столики на тротуары. Почти все места за столиками заняты: осенью солнечные дни в Амстердаме редкость. А кафе и рестораны те же, что в Америке и повсюду в Европе: китайские, итальянские, японские, индийские.

7 сентября. Пишу в самолете около часа дня.

Вчера никуда не ездили. Бродили вдоль канала по солнечному Димену. Купили к прощальному обеду бутылку французского вина, дыню и красивый горшок бело-розовых бегоний. Поставили на стол. Обрадовались, что Свете и Кахе наш натюрморт понравился.

Сегодня встали в 5.30 утра. Акива решил снова проверить наши

билеты и... увидел, что на его билете указано, что он вылетает из Парижа в 4.20 дня из аэропорта Шарль де Голль, а я в 1.10 из аэропорта Орли. Когда прошел столбняк и вернулась способность соображать, Акива понял, что произошло. Так как он отменил поездку в Москву, ему поменяли вылет из Парижа с 14 октября на 7 сентября. Все остальное — аэропорт, время — оставили на билете без изменения, но дали распечатку, где все значилось так, как у меня. Про распечатку Акива забыл, а в пачке билетов и распечаток его билет лежал сверху. Поэтому накануне мы купили билеты не на первый скоростной поезд Амстердам — Париж, а на второй, считая, что улетаем в 4.20.

До вокзала в Димене я еле дошла, хотя Акива тащил оба наших чемодана и сумку. В поезде больше всего мучила мысль, как успеть сообщить Юле, почему мы не прилетели. Зная, что в острых ситуациях Юля действует решительно, я боялась тяжелых последствий нашей задержки. Но подъезжая к Амстердаму, я вдруг поняла, что можно попытаться попасть на наш самолет. Для этого надо сесть не на тот скоростной поезд, на который были куплены билеты, а на предыдущий, отходивший через пять минут после прибытия поезда из Димена. Мы заранее встали у двери вагона, выскочили, как только поезд остановился и, не знаю как, но на поезд успели.

Все остальное — объяснения, доплата за билеты — было уже несложно. Нас посадили на свободные места, накормили вкусным завтраком — одним словом поступили, как принято в мире, где к пассажирам относятся доброжелательно, хотя бы потому, что они приносят доход. Понять это легко, привыкнуть к такому отношению, как ни странно, гораздо труднее.

Поезд прибыл в Париж в 11 часов утра. До остановки такси бежали бегом, в очереди, к счастью, стояли недолго. Когда отъехали от вокзала, я посмотрела на часы. В Орли началась регистрация пассажиров, улетающих нашим рейсом. Поезд из Амстердама прибыл на Северный вокзал, чтобы попасть в Орли недалеко от Южного вокзала, нужно было пересечь весь город. Светофоры в Париже стоят на каждом перекрестке. Расстояние от перекрестка до перекрестка — квартал. Город плотно забит машинами. Стоим перед каждым светофором, часто между светофорами. Спросила у водителя, почему столько пробок. Он объяснил, что в начале сентября

начинается учебный год. В город возвращаются преподаватели, профессора, студенты и школьники. Учащиеся из других городов приезжают с родителями, родители хотят не только проводить детей, но и увидеть Париж. В Париже машинам всегда нелегко, но в начале сентября особенно трудно.

Я сказала шоферу, что мы опаздываем на самолет. Он видел, что я нервничаю и подвез нас вплотную к нужному входу в аэропорт. Акива взял все вещи и пошел вперед. Регистрация заканчивалась, но он успел. Из последних сил я доплелась до места регистрации. Увидев меня, служащая компании сказала, что немедленно вызовет «скорую помощь», и спросила, знаю ли я, какое лекарство нужно принять до приезда машины. Еле упростила «скорую помощь» не вызывать, объяснила, что все лекарства у меня с собой. После операции физически я стала гораздо сильнее, но нервные нагрузки переносу теперь почему-то еще хуже.

В заключение — идиллия. Сидим у окна. Два места рядом, проход отделяет от других пассажиров. Успели на свой рейс. Надеюсь, прилетим сегодня в Бостон. Самолет медленно покотился по взлетному полю.

Кончаю любопытную книгу друга Михаила Булгакова Сергея Ермолинского «Из записок разных лет». Начала читать по-английски статью о Герцене из сборника Исайи Берлина «Русские мыслители». Интересно.

Самолет разгоняется. Очень трясет. Писать больше не могу.

ДНЕВНИК 22 января. Писать больше не могу. Моя книга подошла к концу. А жизнь продолжается. Сегодня исполнился месяц дочке моей старшей дочери Маше. Неделю назад — восемь месяцев младшему сыну Юли.

Молодые жизни продолжают. А старые? Решившись на некоторую вольность, я хочу ответить на этот вопрос, пусть неточными, но все-таки словами Иосифа Бродского, поэта, которого я люблю и чту.

Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
С каждым рвущимся к свету ростком я чувствую солидарность.
И пока мне рот не забили глиной,
Из него раздаваться будет лишь благодарность.

Вместо оглавления

Бостон, 1999

Почему не отпускают воспоминания? Ответ Б.Л. Пастернака 3

Москва, 1992

Мы уезжаем. Утро: самодельный клей, ветер треплет объявления с надрезанными краями 4

Перед отъездом

Разговоры на улицах, в ателье, в прачечной, у магазина ветеранов. 5

Дневник. Москва, 1991

Сегодня и давным-давно: обиженная старушка в булочной, случайная встреча на улице, Уфа 8

Дневник. Бостон, 1999

Воспоминания разбегаются, как козы тропы в горах. Неприятная помощь: международный конкурс эссеистов 11

Перед отъездом (продолжение)

На улице и дома: сумка на колесах, разлука со швейной машинкой, перлы нового газетного стиля 13

Письма дочерям

1990 г. Международная панорама. Лозунги на Кубе: «Социализм или смерть!», «Кто не прыгает, тот янки!»

1991 г. Любимый фильм: «Как быть любимой», выставка «Другое искусство», скульптуры Генри Мура. Солдаты на берегах озера Сенеж. Стихи Окуджавы, Агнiewiczева 19

Я еду в Америку

Спейт, письмо из Союза писателей 41

Письма дочерям

1992 г. Объявления на улицах Москвы, роман Лимонова, стихи Кушнера 46

Из последних писем дочерям

Март 1992 г. Почему евреи не бежали? Каша жизни: православная школа для детей, талоны на водку, статья «Хамством по перестройке». 51

Перед отъездом (продолжение)

Поручения, пожелания в портретах и монологах: теща одноклассника дочери, классная руководительница, врач академической поликлиники, парикмахер Таня. 52

Дневник. Бостон, 2000

Ветреный солнечный день. Пляска ветвей, теней, солнечных бликов. Не пишется. Мысли улетели в Москву. 56

Отъезд

Снежная Москва, Шереметьево. 56

Дневник. Бостон, 2000

Снежный Бостон. 59

Дневник. Бостон, 1992

Март 1992 г. Мы в Америке. Нью-Йорк, Бостон. С чего начать, когда скоро 70? 59

Письма в Москву

Улица Лонгвуд, библиотека города Ньютона. 62

Ньютон, 1992

Письма самой себе: банк, комната-фонарь, внучка Няма 65

Дневник. Ньютон, 1992

Приобщение к американскому быту: фильмы на видеокассетах. «Умри, замри, воскресни», «Свой круг». 67

Дневник. Брайтон, 2000

Новое прошлое: жил-был у бабушки серенький ослик по кличке «Шевроле». Внучка Няма и Буратино 68

Письмо в Москву

Выставка «Перекрестки импрессионизма» в Бостонском музее изобразительных искусств 73

Ньютон, 1992

Новое настоящее: соседка Сара, эмалированный душлаг ... 77

Письмо в Москву

Город Бартлет: летний дом, окрестные леса, книги Цвейга, Большакова, Коретты Кинг 80

Дневник. Ньютон, 1992

Внучка Няма играет в куклы 86

Дневник. Брайтон, 2000

В Бостоне снегопад, метель принесла мои старые письма....87

Письма дочерям

1989 г. Выставка «Памяти жертв сталинских репрессий». Осада посольств. Автошкола. Стихотворение И. Лиснянской «На отъезд Л. Копелева». Концлагерь АЛЖИР.

Смерть А.Д. Сахарова. Траурное заседание «Московской трибуны». Прощание во Дворце молодежи. Митинг в Лужниках. Поминки в ресторане гостиницы «Россия».

1990 г. Вечер авторской песни: «Это есть наш последний и решительный бой и надо слезть с броневика», «В России никого нельзя будить» и др. Поездка в город Старицу. Фильм А. Вайды «Человек из мрамора». Книги А. Володина «Одноместный трамвай», С. Голицына «Записки уцелевшего». Стихотворение Ю. Мориц «На смерть Джульетты».

1991 г. Похороны Усова, Комаря, Кричевского. Государственный переворот. Звонок журналиста из Техаса. Спасительный голос «Эха

Москвы». Джунгли империализма на ул. Вавилова. Первый писательский паек, происшествие с конфетой «Коровка». Штабеля «Ракового корпуса» и «Архипелага ГУЛАГ» в магазине на Кузнецком. Американский фильм о Сахарове.

1992 г. Тянь-Шань. Планы-приманки. Планы-перила. Спектакль Виктюка «М. Баттерфляй». Спектакль Розовского «Майн кампф фарс» 88

Дневник. Брайтон, 2000

В Бостоне весна, цветет вишня.124

Дневник. Ньютон, 1992

В Ньютоне осень, листопад. Летим в Италию.....125

Письмо в Москву

Италия, 16 сентября—14 октября 1992 г. Флоренция, Рим....125

Дневник. Ньютон, 1993

Новогоднее столкновение двух поколений: спор о Солженицыне. Воспоминания-антиподы А. Бенуа и Н. Коржавин 179

Письмо в Москву

Безумная неделя, или рождение внука. 12—20 марта 1993 г.181

Дневник. Брайтон, 2000

Сказка о рождении братика. «А как звали папу?» Лева 7 лет, родился Сеня. Бег времени.....189

Дневник. Ньютон, 1993

Бессильный гнев: опоздали. «Новое русское слово», статья об эмиграции: о тщете надежд, горечи разочарований, о бесплодности усилий влиться в чужую жизнь.191

Ненаписанные рассказы

«Победители? Побежденные?», «Концерт», «Суббота в Нью-Йорке».....193

Дневник. Брайтон, 1993

Книжка-малютка «Война обезьян с крабами». Книжку читали мои дочери Маша и Юлия, только что ее прочла моя внучка Няма. Можно сохранить ниточку, связывающую всех нас?

Маша о нью-йоркской выставке «Советский социалистический реализм, 1932—1956». В залах выставки звучали записи песен «Тучи над городом встали», «Тачанка», другие. Неожиданный эффект: слезы посетителей. Что означает миф об Орфее и Эвридике в наше время? 202

Письмо в Москву

Франция, 10 января — 10 февраля 1994 г. Воспетая Ницца. Не-воспетый Париж 203

Торопливые заметки. Брайтон, 1994

В. Швейцер. «Быт и бытие Марины Цветаевой». Бостонская весна — нарядная и чужая. В израильском посольстве. Происхождение слова «совесть». Первое сентября в Бостоне. «Книга любви и гнева» Н. М. Комаровой. Сапожник Аркадий. «Лавка читателя» 258

Дневник. Брайтон, 1994

Что не отдано, то пропало. Не хочу, чтобы пропало. Пишу пись-
ма 261

Письмо в Москву

Израиль, 16 октября—6 ноября 1994 г 262

Дневник. Брайтон, 2000

Школа НАТО в Альпах. Дома одна. Квартира на ул. Эмбасси — мой дом? Не знаю, но знаю, что случилось, наконец, место для моего рассказа «Пианино» 306

«Пианино» 308

Дневник. Брайтон, 2000

Пожар на Останкинской башне 315

Дневник. Брайтон, 1995

«Нева» (№ 10, 1989), заметка об А. Г. Достоевской «Солнце моей жизни». Ю. Айхенвальд. «Отцы и дети», «Моя родословная». Эми Тэн. «Клуб счастливых женщин» — китайские женщины в Америке. Китайские женщины в Китае: Джанг Чэнг. «Дикие лебеди» — сага о трех поколениях китайских женщин. «Военный рекви-ем» Бриттена. Хрустальная неделя в Бостоне. День смерти Ста-лина. И неотступно: как жить? Последние строчки «Моей родос-ловной»: «Право выбрать не ту, что надо, — ту, что хочется, из дорог» 315

Письмо в Москву

Новая Зеландия и Австралия. 17 июля — 16 августа 1995 г. Про-лог: водевиль в двух действиях «Мы едем в Австралию!» Ч.И. Сказ-ка. Ч.П. Быль 322

Дневник. Брайтон, 2000

Клубок тревог. «Оборотики». Новый московский анекдот. 364

Ненаписанные рассказы

День рождения. (Рождение Юли.) P.S. Неотвязное воспомина-ние. (Рождение Нямы.) Неизвестный Эйзенштейн 366

Заметки для себя

Празднование семидесятилетия Наума Коржавина. «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского» Цвейга. Ингмар Бергман: «Laterna Magica» (клубок пестрых нитей), «Змеиные яйца» (чело-век среди зверей) 371

Письмо в Москву

Фильм «Никсон» 372

Дневник. Брайтон, 1995

Конец 1995 года. Стихи Л. Эпштейна «День благодаре-ния» 374

Дневник. Брайтон, 2000

День неудач 375

«Осенний день» 377

Дневник. Брайтон, 2000

Необычное воскресенье. Остановить мгновение нельзя, а сохранить на бумаге? 387

Дневник. Брайтон, 1996

Иосиф Бродский. Жизнь, смерть, стихи. Внуки 387

Письмо в Москву

Балет Марты Грехэм 390

Внуки 390

Открытие Америки продолжается

Американская семейная хроника. Соседка Нетти Левин. 10-я симфония Малера. Аптека мистера Лири 393

Разговоры с компьютером

Судебный процесс в Бельгии. На обочине. Филиппины и Гавайи. Фильм «Ричард III». Рисунок Модильяни в Британском музее. Книга Соломона Волкова «Санкт-Петербург». Кудрова о Цветаевой. Гора Монаднек 395

Ненаписанные рассказы

Красавец эфиоп. Русский француз 399

Дневник. Брайтон, 1996

Как назвать книгу? Может быть, «Годы странствий»? Жизнь перевернута: годы странствий не в юности, а в старости, когда путешествия по свету переплетаются со странствиями в прошлое 403

Дневник. Брайтон, 2000

В Испанию ездили четыре года назад. Давно? Недавно? Испания была счастьем и праздником. Была и осталась 404

Письмо в Москву

Испания, 20 сентября — 9 октября 1996 г. Через тернии к звездам. Ч. I. Через тернии. Ч. II. К звездам 404

Дневник. Брайтон, 1996

День рождения сестры. День смерти папы. Чечня: убийство спящих женщин, работников «Красного Креста». Попытка назвать улицу в Берлине именем Марлен Дитрих 434

Дневник. Брайтон, 2000

Традиционный урок во время Няминого обеда. Нетрадиционный рассказ об Октябрьской революции: судьба Марины Цветаевой и ее семьи 435

Из переписки 1997 года

Фильм «Гамлет» Кеннета Брана. «Неоконченная симфония» Шуберта, эпитафия Грильпарцера на могиле Шуберта. Греческий фильм «И взглянул Улисс». Выставка «Сокровища Византии» (судьбы сокровищ искусства XX в.). Л. Чуковская. «Памяти детства» (вещи — хранители прошлого). Разрушение традиций бульвара Сен-Жермен. «Медя» Кристи Вольф. Поездка в Тэнглвуд 436

Лева

«Эта книжка мне уже мала». Кошерные куры на необитаемом острове 443

Письмо в Москву

Один день из жизни американской бабушки 444

Дневник. Брайтон, 2000

Осень. Ветер уносит листья и приносит воспоминания о лете 1997 года — о месяцах ожидания поездки в Грецию 456

Письмо в Москву

Греция и Турция. 18 сентября—1 октября 1997 г 456

<i>Дневник. Брайтон, 2000</i>	
Смерть Бориса Заходера. Ия Саввина	484

Парад уходящей эпохи

Бенефис и смерть Гердта, смерть Булата Окуджавы, Льва Копелева, Святослава Рихтера	484
--	-----

Дневник. Брайтон, 2000

Набеги смерти все опустошительнее. Взрыв в школьном автобусе в Израиле. Война — главное действующее лицо в фильме Спилберга «Спасение рядового Райяна». Новые возможности кинематографа: компьютеризация съемок	486
---	-----

Дневник. Брайтон, 1998

Новый год у нас дома. Дед Мороз — Наум Коржавин, Снегурочка — Акива. Новогоднее стихотворение Коржавина	488
---	-----

Разрозненные заметки

Японский фильм (старомодная любовь в мире гангстеров). Клятва при получении гражданства. Каменная скамья в подарок. «Сказка о рыбаке и рыбке»	489
---	-----

Дневник. Брайтон, 1998

Занятия с внуками и их плоды. Торнтон Уайлдер помогает отвечать на «проклятые» вопросы	494
--	-----

Дневник. Брайтон, 2000

Неприятное письмо: повышение квартплаты	495
---	-----

Письмо в Москву

Записи на ходу. Июль, август 1998 г. «Панорама» (окрестности Нишцы и Москва). Журавли (Копенгаген). Улица Высокая и Фрауэнкирхе (Дрезден). Рейхстаг (Берлин)	496
--	-----

Дневник. Брайтон, 1998

Мрачные известия из России: празднование 80-летия комсомола, речь Макашова, убийство Галины Старовойтовой	513
---	-----

<i>Дневник. Брайтон, 2000</i>	
Писать все труднее. Хватит ли сил кончить книгу? Подходит к концу двухтысячный год. Что он принес? Опубликован рассказ «Березники — Бостон»	514

Внуки	515
-------------	-----

«Березники — Бостон с остановками и пересадками»	516
--	-----

Открытие Америки продолжается

На дороге. В больнице. Дома	539
-----------------------------------	-----

Дневник. Брайтон, 2000

Ира Новицкая. Два стихотворения о времени	540
---	-----

Заметки на память. 1999

Автобиография Артура Миллера и биография Шостаковича. М. Туровская. «Время Клавдия». Бомбежки Сербии. Софья Губайдулина. «Под сенью дерева» для кота с оркестром. Трагедия на празднике в Минске. Голландский фильм «Победители». Балет «Падающая с лестницы». Документальный фильм «Фотограф»	541
--	-----

Дневник. Брайтон, 2001

Прибавление семейства: в Бостоне родился внук, в Нью-Йорке — долгожданная внучка	543
--	-----

Письмо в Москву

Франция, Бельгия, Голландия. 21 августа — 7 сентября 1999 г. Париж: реликвии древности в объятиях современной техники. Версаль, Реймс, замки Луары: сокровища древности и неостановимый бег времени. Неподвластное времени чудо Гентского алтаря. Путники без головы: приключения с паспортом и билетами	544
--	-----

Дневник. Брайтон, 2001

Книга кончена. Жизнь продолжается. Стихи Бродского	573
--	-----

Литературно-художественное издание

Ю. Родман

Москва — Бостон

Редактор Н.Н. Дрыкова
Корректор В. П. Кабарихо
Компьютерная верстка Е.К. Касьяновой

Лицензия на издательскую деятельность
ЛР № 070565 от 12 мая 1998 г.

Подписано в печать 15.06.2002. Формат 60 x 84 ^{1/36}
Печать офсетная. Тираж 300 экз. Гарнитура Times New Roman Сут.
Бумага офсетная № 1. Печ. л. 36,5. Изд. № 10

ООО Студия «КРУК-Престиж»
Москва, 3-й Самотечный пер., д. 2, стр. 1
Тел.: 281-93-49

Отпечатано в типографии ООО Студия «КРУК-Престиж»
Тел.: 277-02-49

Юня Самуиловна Родман родилась в Москве.
Окончила филологический факультет Московского государственного университета и Московский институт иностранных языков.
Преподавала в школе, работала во Всесоюзной библиотеке иностранной литературы, переводила художественную и научно-популярную литературу. Опубликованные переводы: Роберт Винер "Я - математик" (автобиография), Ч.П. Сноу "Две культуры" (сборник эссе), Торнтон Уайдлер "Наш городок" (пьеса), Ричард Бах "Чайка по имени Джонатан Ливингстон" (повесть-притча), рассказы американских, канадских и австралийских писателей, сборники сказок и легенд маори, острова Мадагаскар и др.
С 1992 г. живет в Бостоне, США.

BOSTON



MOSCOW

